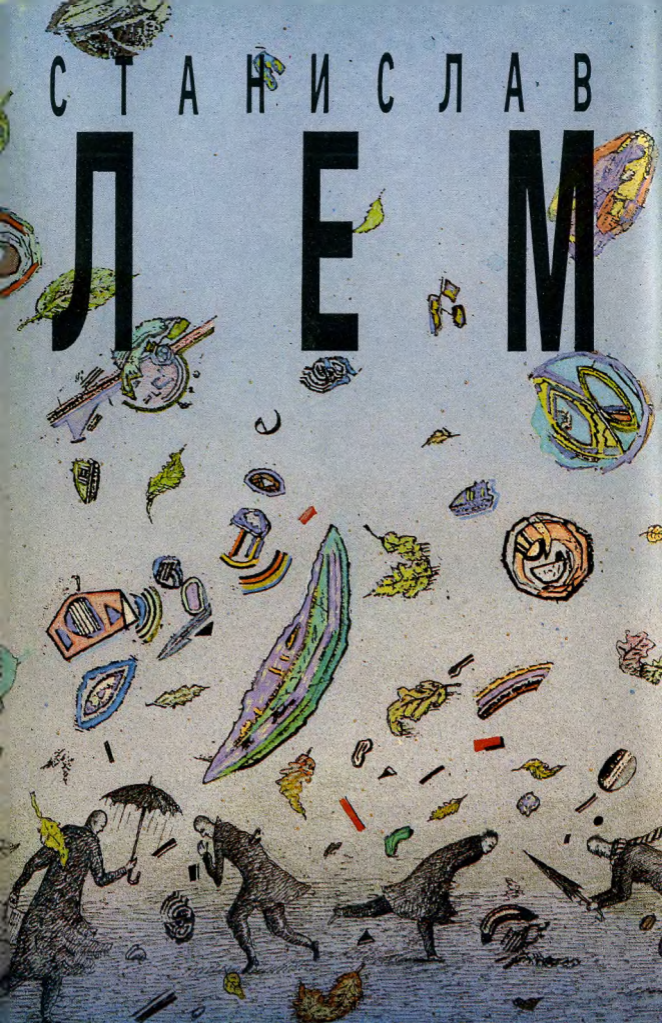


СТАНИСЛАВ

ЛЕМ



S T A N I S Ł A W  
L E M

DZIEŁA ZEBRANE

С Т А Н И С Л А В

Л Е М

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

---

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

*дополнительный*



БОЛЬНИЦА ПРЕОБРАЖЕНИЯ *роман*

ФИАСКО *роман*

МОСКВА «ТЕКСТ» 1995

84.4П  
Л44

Художник Владимир Галиев

Ответственный редактор Александр Мирер

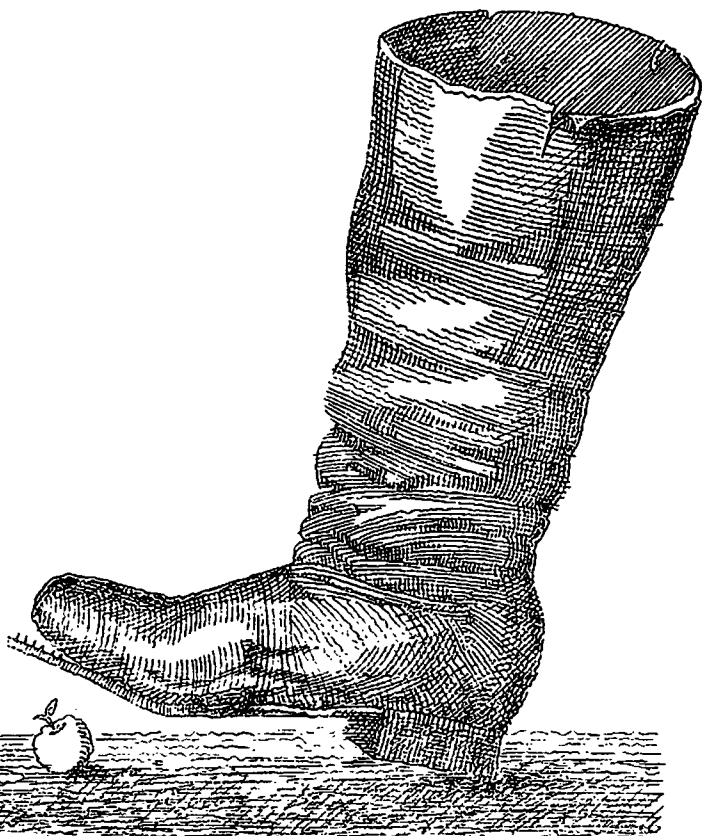
Л  $\frac{4703010100-161}{95}$  подп.

ISBN 5-7516-0040-1  
© С.Лем, 1982, 1987  
© «Текст», 1995



БОЛЬНИЦА  
ПРЕОБРАЖЕНИЯ

*РОМАН*



## ПОХОРОНЫ

В Нечавах поезд останавливался на несколько минут. Стефан едва успел пробраться к дверям и прыгнуть на землю, как паровоз, пытаясь, потащил за собой состав. Последний час пути Стефан терзался мыслью, что не сумеет выбраться из вагона, — ни о чем другом и подумать не мог, даже о цели своей поездки. И вот теперь он робко побрел куда-то, обжигаясь непривычно свежим после вагонной духоты воздухом, щурясь на солнце, чувствуя себя и раскованным, и беспомощным, будто после мучительного сна.

Был самый конец февраля, небо все в серых тучах с раскаленными добела краями. Подтачиваемый оттепелью снег тяжело оседал в котловинах и оврагах, обнажалась стерня, заросли кустарника, прорисовывались черные от грязи дороги и глинистые склоны холмов. Монотонная близина разрушалась печатью хаоса — предвестника перемен.

Эта мысль Стефану обошлась дорого: он не туда поставил ногу и в ботинке захлопала вода. От отвращения Стефана даже передернуло. Удалявшееся посапывание паровоза за бежинскими холмами совсем заглохло, и тогда стал слышен какой-то шорох, похожий на стрекотание кузнечиков, — смазанные, наставшие со всех сторон, однообразные голоса таяния. В мохнатом реглане, в мягкой фетровой шляпе и легких городских туфлях Стефан на этом бескрайнем предгорье выглядел весьма неслеп, он это понимал и сам. По дороге, взбиравшейся к деревне, неслись бурные, слепящие глаза ручьи. Перепрыгивая с камня на камень, Стефан добрался наконец до развилки и взгля-

нул на часы. Скоро час. О точном времени похорон не сообщалось, но надо было поторопиться. Гроб с телом отправился из Келец еще вчера. Значит, он уже в доме дяди Ксаверия, а может, и в костеле, ибо в телеграмме было какое-то неясное упоминание о панихиде. Или просто об отпевании? Стефан не мог этого вспомнить и разозлился на себя за то, что размышляет о религиозных обрядах. До дядино дома ходу минут десять, до кладбища — столько же, но если погребальная процессия направится окольным путем, в костел... Стефан совсем растерялся, не зная, как быть. Он дошел до поворота шоссе, постоял, вернулся на несколько шагов назад и опять остановился. Заметил в поле старика крестьянина — тот шел по меже, на плече он тащил крест, какие обычно несут впереди погребального шествия. Стефан хотел было окликнуть его, но не решился. Стиснув зубы, он решительно зашагал к кладбищу. Старик исчез за кладбищенской стеной. Но на деревенском проселке он не объявился, так что Стефан, наплевав на все, подобрал полы своего реглана, словно женщина подол, и отчаянно понесся по лужам. Дорога, ведущая на кладбище, огибала невысокий пригорок, заросший орешником. Стефан побесжал напрямик, не обращая внимания на проваливающийся под ногами снег и хлеставшие по лицу ветки. Неожиданно чашоба расступилась. Он спрыгнул на дорогу возле самого кладбища. Тихо тут было и пусто, старика нигде не видеть. Стефану вдруг расхотелось спешить. Обливаясь потом и тяжело дыша, он мрачно посмотрел на свои ноги — по щиколотку в грязи, бросил взгляд поверх калитки на кладбище. Там не было никого. Стефан толкнул калитку, она пронзительно вскрикнула, тоскливо охнула и смолкла. Грязный, ноздреватый снег волнами укрывал могилы, расступаясь воронками у подножий крестов. Их деревянные шеренги доходили до кустов одичавшей сирени; за ними тянулись каменные надгробья нечавских священников и, чуть особняком, возвышался семейный склеп Тшинецких — черный, с золотыми датами и именами, с тремя березами у гранитного изголовья. На свободном месте, которое, словно ничейная земля, отделяло склеп от других захоронений, глиняным пятном на белом зияла свежевыкопанная могила. Стефан озадаченно остановился. В склепе, видно, уже не было места, а на его расширение не хватило времени или средств, так что Тшинецкому предстояло лежать в глине, как простому смертному. Стефан представил себе, что пережил дядя Ансельм, когда распорядился привезти сюда останки, но выхода не было: некогда Нечавы принадлежали Тшинецким, здесь их всех и хоронили, и, хотя сейчас тут уцелел только дом дядюшки Ксаверия,

традиция поддерживалась, и после каждой кончины семья направляла со всей Польши своих представителей на похороны.

С крестов, с веточек дикой сирени свисали прозрачные сосульки, тихо щелкали срывавшиеся с них капли и дырявили снег. Стефан постоял над открытой могилой. Надо было идти домой, но ему так этого не хотелось, что он решил побродить по деревенскому кладбищу. Фамилии, выжженные раскаленной проволокой на дощечках, превратились в черные подтеки, многие вообще стерлись, остались только чистые доски. Проваливаясь то и дело в снег — ноги у него совсем заоченели, — Стефан обошел кладбище и вдруг остановился у могилы, над которой возвышался большой березовый крест с прибитым к нему куском жести. Виднелась на нем надпись, выведенная замысловатой вязью:

Прохожий Расскажи Польше Что Тут  
Лежат Ее Сыны Что Они Были Ей Верны  
До Последней Минуты

Ниже — фамилии и воинские звания. Последним значился неизвестный солдат. Была еще сентябрьская дата 1939 года. С того сентября не прошло и шести месяцев, но надпись не пощадил бы ненастье и морозы, если бы не подновляла ее чья-то заботливая рука. О памяти свидетельствовали также пихтовые ветки, укрывавшие могилу, на удивление небольшую: трудно было поверить, что здесь покоятся несколько человек. Стефан постоял немного, растроганный и одновременно смущенный, ибо не знал, надо ли ему снять шляпу; так ничего и не решив, пошел дальше. В ледящем снегу отчаянно мерзли ноги; постукивая туфлей о туфлю, он взглянул на часы. Было двадцать минут второго, и следовало бы поторопиться, если он хочет вовремя попасть в усадьбу, но Стефан подумал, что, дождавшись здесь похоронную процессию, он удачно сократит свое пребывание на траурной церемонии, так что вернулся к выкопанной могиле, которая готова была принять тело дяди Лешека. Заглянув в пустую яму, Стефан обнаружил, что она очень глубокая. Ему были ведомы тайны погребальной техники, и он сообразил, что могилу углубили сознательно, дабы в будущем в ней мог поместиться еще один гроб — тетки Анели, вдовы дяди Лешека. Открытие это неприятно поразило Стефана, словно он невзначай увидел нечто отвратительное; он невольно отпрянул от могилы и устоялся на ряды покосившихся крестов. Уединение, казалось, обострило его восприимчивость; сейчас то, что различие в имущественном положении сохраняется и в сообществе мертвых, показалось ему абсурдом и подлостью. Комок подкатил к горлу. Вокруг — пол-

нейшая тишина. Ни звука не доносилось из ближайшего села, даже вороны, чье карканье сопровождало Стефана, пока он бродил по кладбищу, совсем угомонились. Короткие тени от крестов лежали на снегу, холод поднимался по ногам и подбирался к самому сердцу. Ссугулившись, Стефан запрятал руки в карманы и в правом обнаружил маленький сверток — хлеб, который мать успела сунуть ему, когда он выходил из дома. Ему вдруг страшно захотелось есть, он вытащил из кармана сверток и развернул тонкую бумагу. Между ломтиками хлеба розовел лепесток ветчины. Стефан поднес было кусок ко рту, но есть над разверстой могилой не смог. Он убеждал себя, что это предрассудок, — подумаешь, всего-то яма, вырытая в глине, — но пересилить себя так и не сумел. Держа хлеб в руке, побрел к кладбищенским воротам. Попадались и безымянные кресты, в их корявых очертаниях тщетно было бы доискиваться каких-либо индивидуальных черт, способных что-то рассказать об их владельцах-покойниках. Стефан подумал, что забота о сохранности могил — выражение родившейся в незапамятные времена веры в то, что вопреки утверждениям религии, вопреки очевидности гниения, вопреки тому, что подсказывают нам чувства, умершие под землей влечат какое-то существование, может, неудобное, может, даже жалкое, но влечат его до тех пор, пока над землей еще стоят какие-то опознавательные знаки.

Стефан добрался до ворот, еще раз взглянул издали на ряды утопающих в снегу крестов и желтоватое пятно вырытой могилы, затем вышел на раскисшую дорогу. Додумав до конца последнюю свою мысль, он ясно осознал нелепость кладбищенских церемониалов, а собственное участие в сегодняшних похоронах посчитал делом постыдным. Он даже мысленно попенял родителям за то, что они впутали его в эту историю, тем более нелепую, что он, собственно, и не был тут сам по себе, а лишь представлял больного отца.

Стефан неторопливо принялся за бургерброд с ветчиной; каждый кусок приходилось обильно смачивать слюной, глотал он с трудом, в горле совсем пересохло. А мысли обгоняли друг друга. Да, так оно и есть, рассуждал он, люди какой-то самой глухой к очевидным доводам частью своего естества верят в это открытое мною сейчас «бытие умерших». Иначе, если бы забота о могилах была лишь выражением любви к ушедшему и скорби о нем, они удовлетворялись бы заботой о надземной, зримой части могилы. Однако, если свести причины кладбищенских хлопот людей к такого рода чувствам, нельзя объяснить, почему они так стремятся устроить трупы поудобнее, почему покойников обряжают, кладут

им подушечку под голову и помешают их в футляры, которые, насколько возможно, защищают их от воздействия сил природы. Теми, кто так поступает, должна руководить слепая и неслепая вера в дальнейшее существование умерших — то жуткое, пугающее живых существование в тесноте заколоченного гроба, которое, как подсказывает им интуиция, видимо, все же лучше полного исчезновения и слияния с землей.

Не отдавая себе в этом отчета, Стефан запагал в сторону села и колокольни костела, блестевшей на солнце. На повороте шоссе он вдруг заметил какое-то движение и еще прежде, чем понял, в чем дело, торопливо сунул бутерброд в карман.

Там, где шоссе огибало цепь холмов, пробегая у подножья ее крутой, глинистой стены, показалось темное пятно погребально-го шествия. Люди были так далеко, что он не различал лиц, видел только плывший впереди крест, а за ним — белые пятнышки стихарей, крышу автомобиля и подалее — множество крохотных фигурок, которые шли так медленно, словно топтались на месте. Двигались они навсерьняка степенно, но издали казались такими маленькими, что все это выглядело гротескно. Трудно было отпестись к этому карликовому шествию всерьез и с надлежащей миной поджидать его здесь, но и отправиться ему навстречу было не легче. Шествие напоминало разбросанных как попало, обряженных в черное кукол; сгрудившись, они пробирались под крутым глинистым откосом, и ветер доносил оттуда ошметки каких-то невятных причитаний. Стефану хотелось оказаться там как можно скорее, однако он не решался сделать и шага и, обнажив голову — ветер тут же взлохматил ему волосы, — остался стоять у обочины. Человек непосвященный не смог бы разобрать: то ли это опоздавший участник траурного обряда, то ли просто случайный прохожий. Процессия приближалась, и фигуры идущих росли, вот они уже переступили незримую границу того «далска», эффект которого произвел такое странное впечатление на зрителя. Наконец Стефан узнал старика крестьянина, шагавшего впереди с крестом, обоих ксендзов, ползуший за ними грузовик с соседней лесопилки и, наконец, все бредущее врассыпную семейство. Нескладное пение деревенских баб не умолкало ни на минуту, а когда до процессии оставалось всего несколько шагов, послышался церковный звон — сперва несколько робких звуков, потом удар полновесный, мощный, величественно растекающийся окрест. Услышав звуки колокола, Стефан подумал, что сперва потянул за веревку меньшей из Шымчаков, Вицек, которого тут же отогнал рыжий Томек, единственный, кому доверялось звонить, — но тут же и спохватился: «меньшой» Вицек должен быть

уже взрослым парнем в его, Стефана, возрасте, а о Томеке, с тех пор как он подался в город, ни слуху ни духу. Но значит, борьбу за право звонить продолжало в Нечавах юное поколение.

Бывают в жизни положения, не предусмотренные учебниками хорошего тона, столь сложные и щепетильные, что найти выход из них способен лишь тот, кто обладает большим тактом и очень уверен в себе. Стефан, лишенный этих достоинств, не имел понятия, как ему присоединиться к шествию; он пребывал в нерешительности, чувствуя, что его наверняка заметили, и это только усугубляло его замешательство. К счастью, перед самым костелом процессия остановилась, один из ксендзов подошел к кабинс грузовика и о чем-то спросил водителя, и тот закивал в знак согласия, а незнакомые Стефану мужики залезли в кузов и принялись стаскивать гроб. Началась общая неразбериха; воспользовавшись этим, Стефан успел присоединиться к группе, топтавшейся у грузовика. И тут же увидел коренастую фигуру и седеющую, втянутую в плечи голову дяди Ксаверия, который поддерживал под руку тетку Анелию — она была вся в черном; в это время кто-то тихо позвал его: нужны были люди, чтобы внести гроб в костел. Стефан метнулся туда, но, поскольку, как обычно, когда требовалось на глазах у всех совершить мало-мальски ответственное деяние, он порол горячку, его готовность к действию проявилась лишь в нервическом притоптывании подле кузова грузовика. Наконец гроб вознесся над головами присутствующих без его помощи, Стефану же досталось нести медвежью бурку, которую в последнюю минуту сбросил с себя и протянул ему старший брат отца, дядя Анзельм.

Бурку эту Стефан внес в храм, войдя одним из последних, но он был убежден, что, волоча эту огромную медвежью шкуру, он помогает тому, чтобы церемония проходила надлежащим образом. Колокол закончил свою однообразную песнь коротким ударом, словно поперхнулся, оба ксендза на минуту куда-то пропали, потом снова появились, а тем временем семейство рассаживалось, и от алтаря поплыли первые латинские слова заупокойной молитвы.

Стефану ничто не мешало сесть, свободных мест на скамейках было полно, да и дядина бурка оттягивала руки, но он предпочел остаться со своей ношей в нефе — может, и потому, что стоять было тяжело, и он словно бы расширялся этим за свою недавнюю робость. Гроб уже поставили против алтаря, и дядя Анзельм, зажегши вокруг него свечи, направился прямо к Стефану, чем даже немного смутил молодого человека (тот посчитал, что тень от колонны, за которой он стоял, не выдаст его). Положив Стефану руку на плечо, дядя под распев священников прошептал:

— Отец болел?

— Да, дядя. Вчера у него был приступ.

— Все камни, да? — спросил Анзельм своим пронзительным шепотом и хотел было взять бурку у Стефана, но тот, однако, не хотел отдавать ее и бормотал:

— Да нет, пожалуйста, я уж подержу...

— Ну, отдай же, осел, тут ведь холод собачий! — возразил дядя добродушно, но почти не понижая голоса, накинул на плечи бурку и подошел к скамье, на которой сидела вдова, оставив Стефана в дураках; молодой человек почувствовал, что у него запылали щеки.

Это, в сущности, пустяковое происшествие вконец испортило ему настроение. Успокоился он нескоро и только тогда, когда заметил дядю Ксаверия, сидевшего на последней скамье, с самого края. Стефан даже развеселился немного, подумав, как нецелесообразно должен чувствовать себя тут Ксаверий, этот воинствующий безбожник, который пытался наставлять на путь истинный каждого вновь прибывающего приходского священника. Это был старый холостяк, горячая голова и правдолюб, азартный подписчик библиотеки Боя<sup>1</sup>, сторонник регулирования рождаемости и вдобавок единственный врач на двенадцать километров окрест. В свое время родственники из Келсец попытались выжить его из старого дома, годами воюя с ним в повятовых и окружных судах, но Ксаверий выиграл все процессы, да еще так хитроумно, как он сам говорил, им нахамил, что они ничего не смогли с ним поделать. Сейчас он сидел спокойно, огромные руки лежали на шопитре; от поверженной родни его отделяла пустая скамья.

Едва зазвучал проникновенный голос органа, как в душе Стефана забрезжило воспоминание о давнишнем ощущении пылкой и смиренной святости, которое обжигало ему душу, когда он был еще совсем ребенком; к органной музыке он всегда испытывал глубочайшее уважение. Заупокойная служба шла по всем правилам; один из ксендзов раздул кадило в маленькой жаровне и обошел гроб, обволакивая его клубами пахучего — правда, немного отдававшего гарью — дыма. Стефан искал глазами вдову — она сидела во втором ряду, согбенная, покорная, удивительно равнодушная к словам ксендзов, которые в узоры латыни то и дело вплетали ее фамилию, а значит, и фамилию покойного, повторяя ее нараспев, торжественно и, казалось, настойчиво, — но обра-

---

<sup>1</sup> Более ста томов переводов произведений французской классической литературы, выпущенных в 30-е годы XX в. известным писателем, критиком и переводчиком Таллушем Бой-Желенским (1874 — 1941).



щались они не к кому-нибудь из живых, только к Провидению: его они просили, его умоляли, от него они чуть ли ни требовали проявить снисхождение к тому, кого уже не было.

Орган умолк, и снова надо было брать на плечи гроб, воздвигнутый на возвышении перед алтарем, но теперь Стефан даже не пытался к нему приблизиться; все встали и, покашливая, готовились продолжить путь. В тот момент, когда гроб, слегка покачиваясь, выплывал из полутемного нефа на ступеньки костела, произошел казус: продолговатый тяжелый ящик угрожающе накренился вперед, но тут же лес вздетых рук вернул ему равновесие, и он, еще сильнее раскачиваясь, словно возбужденный тем, что едва не произошло, выскользнул навстречу солнцу, теперь уже почти касавшемуся земли.

В эту минуту у Стефана промелькнула крайне нелепая и чудовищная мысль, что в гробу, конечно же, дядя Лешек, ибо он всегда любил откалывать разные номера, особенно по торжественным случаям. Мысль эту он тут же пресек, вернее, повернул ее в русло вполне здравого рассуждения: все это абсурд, и в гробу вовсе не дядя, а лишь какие-то крохи от него, что-то, оставшееся от него, такое постыдное и неприличное, что для устранения этого из мира здравствующих изобрели и инсценировали всю эту, несколько затянутую и слегка отдающую притворством процедуру.

Тем временем он вместе со всеми шел за гробом к распахнутым настежь воротам кладбища. Окружающая Стефана процессия состояла из каких-нибудь двадцати человек; здесь, поодаль от гроба, они производили довольно странное впечатление, поскольку одежда их представляла собой нечто среднее между дорожной (почти все приехали в Нечавы издалека) и праздничным нарядом, причем черный цвет преобладал. Вдобавок большинство мужчин были в английских башмаках с крагами, а некоторые дамы — в похожих на сапоги высоких, отороченных мехом ботинках. На ком-то — Стефан не мог узнать его со спины — была шинель без знаков различия; петлицы словно выдраны, шинель туго перетягивал ремень; эта шинель, которая надолго приковала к себе взгляд Стефана, служила здесь единственным напоминанием о Сентябрьской кампании; впрочем, нет, решил он тут же, свидетельствовало о ней также отсутствие тех, кто в иных обстоятельствах явился бы сюда непременно: скажем, дяди Антония и кузена Петра, сейчас оба они в немецком плену.

Пение, а скорее завывание деревенских баб, повторяющих протяжное «Вечный покой ниспошли ему, Господи...», какое-то время раздражало Стефана, но вскоре перестало доходить до его сознания. Процессия растянулась, потом сгрудилась у кладби-

щенских ворот и вслед за высоко поднятым гробом потекла черным ручейком между крестов. Над разверстой могилой снова начались молитвы. Стефану это уже поднадоело, и он даже подумал, что, будь он верующим, счел бы эти беспрестанно повторяющиеся просьбы навязчивостью по отношению к тому, к кому они обращены.

Он еще не успел додумать этого до конца, как кто-то потянул его за рукав. Стефан оглянулся и увидел обрамленное меховым воротником широкое, с орлиным носом, лицо дяди Анзельма, который спросил его — опять слишком громко:

— Ты что-нибудь ел сегодня? — и, не дождавшись ответа, быстро добавил: — Не беспокойся, будет бигос!

Он хлопнул племянника по спине и, сутулясь, стал пробираться между собравшимися, которые окружали пустую еще могилу. К каждому он прикасался пальцем и шевелил губами — Стефана это очень поразило, но потом он разгадал прозаический смысл дядиных действий: Анзельм попросту пересчитывал присутствующих. И затем громким шепотом дал какое-то распоряжение парнишке, который с простоватой учтивостью выбрался из черного круга, а оказавшись за воротами, рванул напрямик к дому Ксаверия.

Покончив с хозяйственными делами, дядя Анзельм снова то ли умышленно, то ли случайно встал рядом со Стефаном и даже улучил момент, чтобы обратить его внимание на живописность группы, обступившей могилу. В это время четверо рослых мужиков подняли гроб и начали опускать его на веревках в яму, пока он не улегся на дно, но немного косо, так что одному из них пришлось, упершись посиневшими руками в края ямы, пнуть гроб сапогом. Такая бесцеремонность по отношению к предмету, который до этого мгновенья был окружен всеобщим почтением, покорила Стефана. В этом факте он увидел еще одно подтверждение своей мысли о том, что живые, как бы они ни изощрялись, стараясь смягчить чудовищно резкий переход от жизни к смерти, все-таки никак не умеют отыскать и занять единообразную последовательную позицию по отношению к покойным.

Когда лопаты, трудившиеся с рвением, переходящим в иступленность, засыпали могилу и выровняли продолговатую кучу глины, явственно обнаружилась военная специфика этих похорон, ибо нелегко было, чтобы уходящие с кладбища оставили могилу одного из Тшинецких не усыпанной цветами, однако в ту первую послесентябрьскую зиму об этом нечего было и думать. Подвели даже оранжереи соседней усадьбы Пшетуловичей, поскольку стекла были выбиты во время боев, так что своеобразное

надгробие образовалось лишь из охапок слового лапника. И вот, по прочтении последней молитвы, сотворив крестное знамение, собравшиеся один за другим стали словно украдкой поворачиваться спиной к зазеленевшему холмику из глины и гуськом потянулись снежными тропами на залитый водой, грязный сельский проселок.

Когда ксендзы, промерзшие, как и все, сняли свои белые стихари, они сразу стали выглядеть как-то обыденно. Подобная же, хотя и менее разительная, перемена произошла с остальными: улетучилась торжественная серьезность, не осталось и следа от эдакой замедленной плавности движений и взглядов, и наивному наблюдателю могло бы показаться, что эти люди до сей поры все время ходили на цыпочках, а теперь вдруг пошли нормальным шагом.

На обратном пути Стефан изо всех сил старался не попадаться на глаза тетке Анеле — вдовсе; не то чтобы он ее не любил или ей не сочувствовал, напротив, ему было жаль тетку, тем более что он знал, какой они с дядей были счастливой супружеской парой, но как он ни старался, не мог выдать из себя ни единого слова соболезнования. Эти душевные терзания и загнали его в первые ряды возвращавшихся, где дядя Ксаверий вел под руку тетку Меланью Скочинскую. Картина была столь странной и редкостной, что Стефан просто обомлел, ибо дядя терпеть не мог Меланью, называл ее ампулкой со старым ядом и говаривал, что необходимо дезинфицировать землю, по которой ступала ее нога. Тетка Меланья, старая дева, с незапамятных времен занималась разжиганием внутрисемейных раздоров, наслаждаясь сладкой ролью нейтрального человека: она переносила из дома в дом ядовитые колкости и сплетни, из-за чего вспыхивали великие обиды и случалось множество неприятностей, так как все Тшинецкие отличались и горячностью, и необыкновенной твердостью в однажды зароненных в их души чувствах. Завидя Стефана, Ксаверий еще издали крикнул:

— Приветствую тебя, брат во Эскулапе! Диплом уже получил, а?

Стефан, естественно, остановился, чтобы поздороваться, и с размаху клоннул носом озябшую длань тетки-девицы, затем они уже втроем пошли к дому, вынырнувшему из-за деревьев, — самая настоящая усадьба, цвета яичного желтка, с классическими маленькими колоннами и огромной верандой, смотрящей на фруктовый сад. У входа остановились, дожидая остальных. Дядя Ксаверий вдруг почувствовал себя хозяином — он с таким жаром стал приглашать всех в дом, словно родственники только и думали, что разбежаться по заснеженным и топким полям. Уже в две-

рях Стефан подвергся недолгим, но мучительным истязаниям приветствиями: отложенные до окончания похорон, теперь они обрушились на него лавиной. Приходилось быть пачеку, чтобы, целуя попеременно ручки и колючие щетки, не склониться непароком к мужской руке — такое иногда с ним случалось. Он даже не заметил, как, наслушавшись шарканья подошв и шелеста рукавов снимаемых одежд, оказался в гостиной. Увидя огромные напольные часы с бронзовыми гирями, он вдруг почувствовал себя дома: вот там, у противоположной стены, под рогатым оленьим черепом, стелили для него постель, когда он приезжал в Нечавы на каникулы; по углам стояли одряхлевшие кресла, с которыми он днем сражался, добираясь до их волосяного нутра, а ночью его иногда будил басовитый бой часов, и щит циферблата призрачно мерцал из мрака отраженным лунным свечением — круглый, холодный, размазанный сном и мертвенно светящийся, совсем как луна. Стефану, однако, не удалось предаться воспоминаниям детства: в гостиной становилось все оживленнее. Дамы рассаживались в кресла, мужчины стояли кто где, прячась в облаках папиросного дыма, разговор еще не завязался по-настоящему, а обе створки дверей в столовую уже распахнулись, и на пороге появился Анзельм. С суровым добродушием слегка рассеянного цезаря он пригласил всех к столу. Разумеется, о поминках не было и речи, слово это прозвучало бы неуместно — попросту опечаленных и уставших с дороги родственников приглашали скромно перекусить.

Был тут, среди родни, и один из ксендзов, что возглавляли процессию на кладбище. Худой, с желтоватым, утомленным, но улыбающимся лицом, словно радовался, что все прошло так гладко. Этот ксендз, низко, но с достоинством склонив голову, беседовал со старейшиной рода Тишнецких — тетушкой-бабушкой Ядвигой, маленькой старушкой в длинном и слишком свободном платье, в котором, казалось, она пребывала испокон веку, а теперь вот увяла и съезжилась, и потому ей приходится держать руки молитвенно воздетыми, дабы кружевные манжеты не сползали до кончиков высохших пальцев. Ее чуть плоское и в общем-то нестарое лицо было отрешенным и упрямым, словно она, вовсе не слушая ксендза, замышляла какую-то старчески наивную шалость. Обозревая собравшихся круглыми голубыми глазами, она внезапно обнаружила Стефана и согнутым в крючок пальцем поманила его. Молодой врач набрался духу и подошел, ксендз замср, а тетка-бабка разглядывала Стефана снизу вверх внимательно и вроде даже лукаво и наконец проговорила поразительно низким голосом:

— Стефан, сын Стефана и Михалины?

— Да, да, — с готовностью поддакнул он.

Тетушка-бабка улыбнулась ему — довольная то ли своей памятью, то ли видом внучатого племянника; взяла его руку своей костистой, высохшей от старости ручкой, поднесла ее к глазам, осмотрела с обеих сторон и потом вдруг отпустила, словно не нашла в ней ничего интересного. Опять посмотрела своими светлыми глазами в глаза ошеломленного всем этим Стефана и сказала:

— А знаешь ли ты, что твой отец хотел стать святым?

Тихонько трижды прокудахтала и, не дав Стефану сказать ни слова, прибавила ни к селу ни к городу:

— У нас еще где-то есть его пеленки, сохранились.

Потом ушла прямо перед собой и больше не подавала голоса. Между тем дядя Ансельм появился снова и уже энергичнее пригласил всех в столовую, затем отвесил грациозный поклон тетке-бабке и двинулся с ней в первой паре; за ними последовали другие. Тетушка-бабушка не забыла про Стефана, так как выразила желание, чтобы он сел рядом с ней, и тот исполнил ее желание с радостным отчаянием: случается человеку испытывать подобные сочетания полярно противоположных чувств. Суэта, сопровождавшая рассаживание по местам, стихла; появился отсутствовавший доселе хозяин, дядя Ксаверий, с огромной фаянсовой супницей, источавшей крепкий аромат бигоса, и, обходя всех по очереди, своей эскулапской рукой с пожелтевшими от никотина пальцами черпал половником бигос и низвергал его в тарелки с такой удалью, что женщины шарахались, опасаясь за свои туалеты, — настроение за столом сразу поднялось. Говорили об одном и том же: о погоде и надеждах на весеннее наступление союзников.

Слова от Стефана сидел высокий, плечистый мужчина, который еще на кладбище привлек его внимание своей армейской шинелью. Это был родственник матери Стефана, Гжегож Недзиц, арендатор с Познанщины. Он все время молчал, а когда менял позу, застывал в ней надолго, точно аршин проглотил, и только улыбался бесхитростно, робко и как-то очень по-детски, словно извиняясь за неудобство, которое он доставляет своим присутствием; улыбка эта резко контрастировала с его загорелым, усадым лицом и одеждой — ее наверняка сшили дома из солдатского одеяла, так как сидело все на нем ужасно.

Чувствовалось, что подобные встречи за столом после похорон для присутствующих не в новинку, и Стефан вспомнил, что в последний раз он видел всю родню за трапезой на Рождество в

Келесах. Это давало пищу для размышлений, ибо всеобщие примирения были редки, и родственников сплачивали исключительно похороны, но, хотя тогда никто из близких и не скончался, накал всеобщего горя был схож, поскольку происходило это вскоре после похорон отчизны, — следовательно, тогдашнее согласие вовсе и не было исключением из правила.

Стефан чувствовал себя неуютно в этом обществе, притом по многим причинам. Он вообще не любил больших, а особенно — торжественных соборщ. Далсе: видя здесь ксендза, он знал заранее, что присутствие духовного лица неминуемо спровоцирует Ксаверия на богохульство и подковырки, а скандалов Стефан просто не выносил. Наконец, он чувствовал себя скверно потому, что его отец (которого он здесь представлял) не пользовался у родни доброй славой, — он единственный, насколько помнится, изобретатель среди помещиков и врачей, да еще такой, который, хоть ему и было уже под шестьдесят, ничего, собственно, не изобрел.

Настроения этого не смягчало соседство Гжегожа Недзица; он, казалось, родился молчуном, так как на попытки завязать разговор отвечал лишь более теплой, чем обычно, улыбкой и благодарным взглядом, который он на миг отрывал от тарелки, — но Стефану этого было мало, он жаждал погрузиться в беседу, тем более что заметил зловещие вспышки в глазах Ксаверия: тот явно к чему-то готовился. И вот, когда воцарилась относительная тишина, нарушаемая только стуком ложек по тарелкам, дядя промолвил:

— А ты, дорогой мой Стефанек, в костеле, наверное, чувствовал себя, как свнух в гареме, верно?

Реплика эта должна была рикошетом задеть ксендза, и дядя, судя по всему, планировал острое продолжение, но ему не удалось насладиться реакцией на свои слова, ибо родственники, как по команде, заговорили громко и торопливо, благо все знали, что Ксаверий подобные вещи говорить должен и единственное противодействие — немедленно глушить их общим громким разговором. Потом одна из прислуживавших баб вызвала дядю в кухню на поиски грудинки, которая куда-то запропастилась, и трапеза была прервана неожиданной паузой. Стефан скрашивал се созерцанием коллекции родственных физиономий. Пальму первенства он бесспорно отдавал дяде Анзельму. Широкий в плечах, грузный, но не тучный, скорее массивный, лицо не красивое, но барствено-породистое, и он знал этому цену! Пожалуй, наряду с медвежьей буркой, только это лицо и осталось у него, некогда владельца обширных угодий, утраченных лет двадцать назад. Якобы благо-

даря сельскохозяйственным экспериментам — но на этот счет Стефан не знал ничего определенного. Наверняка было известно лишь то, что Анзельм энергичен, задирист и вспыльчив одновременно; причем предаваться гневу он умел, как никто в семье, — по пять, а то и десять лет, так что даже тетя Меланья забывала, из-за чего, собственно, разгорелся сыр-бор. В эти затяжные раздоры никто не отваживался вмешиваться, так как, если дядя обнаруживал, что родственник чего знает причины его обид, гнев Анзельма автоматически распространялся и на незадачливого посредника. Именно так ожегся отец Стефана. Однако самые сильные враждебные чувства в душе дяди Анзельма, как и вообще в семье, стихали, когда умирал родственник; вызванная таким образом «*truga Dei*»<sup>1</sup> продолжалась, в зависимости от обстоятельств, несколько дней или чуть больше недели. Тогда его врожденная доброта отражалась в каждом взгляде и слове — такая бесконечно щедрая и незлопамятная, что всякий раз Стефан бывал глубоко убежден, что это не временное перемирие, а окончательный отказ от гнева. Но потом нарушенный соприкосновением со смертью строй дядиных чувств восстанавливался, неумолимая суровость воцарялась на годы, и ничто не менялось — до следующих похорон.

Эта неподвластность дяди Анзельма и его чувств времени необычайно нравилась Стефану в детстве; позже, в университетские годы, он отчасти разгадал, в чем дело. Некогда гневливость дяди опиралась на его материальное могущество, на его владения, то есть, проще говоря, на будущее наследство, но благодаря стойкости характера Анзельм не лишился в семейном кругу способности гневаться и после потери состояния, и его побаивались по-прежнему, хотя гнев его уже не подкреплялся угрозой лишения наследства. Но, даже обнаружив этот ключ, Стефан так и не освободился от почтения, сдобренного страхом, — чувства, которое вызывал у него старший из братьев отца.

Грудинка неожиданно нашлась здесь же, в столовой, в черном буфете; когда эту огромную глыбу мяса извлекали из недр старинного буфета, ее черный цвет напомнил Стефану о черном цвете гроба, и на минуту ему стало не по себе. Из двери, ведущей в коридор, с топотом и шумом внесли вереницу жареных уток, банки с терпкой брусникой и блюда с дымящимся картофелем; обещанная ранее скромная трапеза явно превращалась в пиршество, тем более что дядя Ксаверий доставал из буфета одну за другой бутылки вина. Ощущение отчужденности от присутству-

---

<sup>1</sup> Благословенная пауза (лат.).

ющих неожиданно и резко обострилось; Стефана и до сих пор немного огорчал и тон разговоров, и изобретательность, с которой избегали упоминания о смерти, а ведь в конце концов именно она и была единственным поводом этой встречи, теперь же это огорчение многократно возросло, и Стефана уже оскорбляло все, в том числе и стелания по утраченной родине, сопровождавшиеся энергичной работой вилок и челостей. А когда он подумал о дяде Лешке, который лежал теперь заваленный глиной на пустынном кладбище, ему показалось, что только он еще и помнит о покойном; с неприязнью взирал он на раскрасневшиеся лица сотрапезников, и его возмущение выплеснулось за пределы семейного круга и вылилось в презрение ко всему миру. Но пока Стефан мог выразить его лишь воздержанием от еды, в чем настолько преуспел, что встал из-за стола почти голодный.

Но еще до этого в поведении доселе молчавшего Гжсгожа Недзица, его соседа слева, произошла какая-то перемена. Уже некоторое время он озабоченно вытирал усы, робко посматривал по сторонам и на дверь, словно прикидывая на глазок расстояние; он явно к чему-то готовился. Вдруг наклонился к Стефану и шепотом объявил, что ему пора идти, чтобы успеть на познанский поезд.

— Ты что, хочешь ехать на ночь глядя? — как-то рассеянно удивился Стефан.

— Да, завтра надо быть на работе.

Гжегож стал объяснять, что там, на Познанщине, немцы пляков едва терпят и отпуск на день удалось получить с огромным трудом; всю ночь он добирался до Нечав, а теперь самое время в обратный путь... Оборвав нескладную речь, громадный усач глубоко вздохнул, резко поднялся, едва не потащив за собой скатерть вместе с посудой, и, кланяясь вслепую, на все стороны, стал протискиваться к дверям. Посыпались вопросы, протесты, но на пороге упрямый молчун еще раз отвесил всем низкий поклон и исчез в передней. За ним бросился дядя Ксаверий, вскоре хлопнула входная дверь. Стефан глянул в окно. На дворе уже стояла тьма. Он представил себе долговязую фигуру в куцой солдатской шинели на раскисшей дороге... Посмотрел на опустевший стул по левую руку, заметил, что бахрома низко свисающей накрахмаленной скатерти раскручена и старательно расправлена прилежными пальцами, и в груди защемило от теплой, сердечной жалости к этому, собственно говоря, незнакомому дальнему родичу, который уже вторую ночь кряду будет трястись в темном, холодном вагоне ради того только, чтобы пешком пройти сотню-другую шагов, провожая покойного.



Гости вставали из-за стола, который, как обычно после обильной трапезы, выглядел жалко — на тарелках высиделись обглоданные кости, облепленные застывшим жиром. Наступило минутное затишье, воспользовавшись которым мужчины полезли в карманы за папиросами; Ксендз протирал замшей очки, а тетушка-бабушка впадала в тупую задумчивость, которая походила бы на дремоту, если бы не широко открытые глаза. Среди этого всеобщего молчания, пожалуй, впервые прозвучал голос Ансли — вдовы. Все еще сидя за столом, не пошевелившись, не поднимая поникшей головы, она проговорила, упершись взглядом в скатерть:

— Знаете, все это как-то смешно...

И голос ее осекся. Напряженного молчания, которое вслед за этим наступило, никто не решался нарушить: ничего подобного никто обычно себе не позволял, никто не был к этому подготовлен. Ксендз, правда, тотчас направился к Ансле, двигаясь с какой-то рутинной озабоченностью, словно врач, которому положено оказать первую помощь, но который не знает, что надо сделать; однако этим он и ограничился, застыл подле нее — она вся в черном, он тоже в черной сутане, с лимонно-желтым лицом и припухшими веками; он стоял и часто моргал, пока не выручила всех прислуга, вернее, исполняющие ее роль деревенские бабы, которые вошли и с невообразимым шумом принялись собирать тарелки и блюда.

В полумраке гостиной, рядом с поблескивающим стеклами дубовым книжным шкафом, под бронзовой, слегка коптящей керосиновой лампой с абажуром апельсинового цвета, дядя Ксаверий объяснялся торопливым полущепотом с родственниками. Одних уговаривал переночевать, других информировал о расписании поездов, распоряжался, когда кого будить; Стефан хотел было немедленно отправиться в обратный путь, но, узнав, что поезд у него только в три часа ночи, заколебался, дал себя уговорить и решил остаться до утра. Ночевать ему предстояло в гостиной, напротив часов, поэтому пришлось ждать, пока все разойдется. Когда это наконец произошло, была уже почти полночь. Стефан быстро умылся, разделся под едва-едва мигавшей лампой, задул ее и, зябко поеживаясь, скользнул под холодное одеяло. Сонливость, одолевавшую его до этого, как рукой сняло. Он долго лежал на спине без сна, а часы, едва различимые в кромешной тьме, величественно, с каким-то чрезмерным рвением, вызванивали четверти и часы.

Мысли его, поначалу неопределенно-гуманные, цеплялись за сценки пережитого дня, однако неторопливо и как бы преднамеренно бежали в одну сторону. В характере всего семейства со-

шлись лед и пламень, горячность и упрямство. Тшинецкис из Келец славились алчностью, дядя Анзельм — вспыльчивостью, тетка-бабка — неким, сглаженным временем любовным безумством; эта роковая черта проявлялась у каждого в семействе по-своему: отец был изобретателем, всем остальным занимался изпод палки, от мирских забот отмахивался, как от мух, часто путал дни недели, дважды проживал четверг, а потом выяснялось, что проворонил среду, но это не была обыкновенная рассеянность, только чрезмерная сосредоточенность на идее, которая в данный момент его обуревала. Когда отец не спал и не болел, можно было дать голову на отсечение, что он торчит в своей крохотной, оборудованной на чердаке мастерской, среди пламени спиртовок и газовых горелок, в окружении раскаленных инструментов, вдыхая запах кислот и металлов, и что-то к чему-то прилаживает, что-то шлифует, что-то сочленяет, и все эти манипуляции, из которых складывается процесс поиска, никогда не прекращались, хоть и менялись направления экспериментов, — от одной неудачи отец шествовал к другой с одинаковой верой, со страстью, настолько мощной, что на посторонних производил впечатление одержимого или законченного безумца. В Стефане он никогда не видел ребенка. С мальчонкой, появившимся в полутемной мастерской, он разговаривал как со взрослым, причем таким, который, например, плохо слышит, и потому беседа с ним постоянно обрывается, оба то и дело друг друга не понимают. Невзирая на это, отец — с набитым шурупом ртом, в прожженном халате, переходя от токарного станка к тискам, а от них снова к токарному станку, — говорил с сыном так, словно читал лекцию, прерываясь, чтобы с головой погрузиться в какую-нибудь операцию. А о чем он говорил? Стефан теперь и не помнил толком, ибо, когда слушал эти речи, был слишком мал, чтобы понять их смысл, но, кажется, говорил отец примерно так: «Того, что было и миновало, нет, точно этого вообще никогда не было. Это вроде пирожного, которое ты съел вчера, никакого тебе от него толка. Поэтому можно себе приделать прошлое, которого у тебя не было: стоит в него только поверить, и будет так, словно ты его и в самом деле прожил».

А однажды сказал ему такое: «Разве ты хотел появляться на свет? Ведь нет же — правда? Ну не мог же ты хотеть, если тебя не было? Видишь ли, я тоже не хотел, чтобы ты родился. То есть хотел сына, но не тебя, ведь тебя я не знал — значит, не мог и хотеть тебя... Хотел сына вообще, а ты — реальный...»

Стефан, собственно, редко заговаривал с отцом и ни о чем его не спрашивал, но как-то (было ему лет пятнадцать) все-таки

спросил, что отец сделает, когда у него получится его изобретение? Тот нахмурился, долго молчал, а потом ответил, что займется изобретением чего-нибудь еще. «Зачем?» — тут же спросил Стефан. Вопрос этот, как и первый, был продиктован глубоко скрываемой, но нарастающей с годами неприязнью к своеобразной профессии отца, которая — это подросток знал слишком хорошо — была предметом всеобщих издевок, и тень от отцовского чудачества падала и на него. Старший Тшинецкий ответил подростку сыну так: «Стефек, так спрашивать нельзя. Видишь ли, если бы умирающего спросили, хочет ли он прожить жизнь заново, он наверняка согласился бы и вовсе не стал интересоваться, зачем ему жить. Так и с моей работой».

Эта работа, подвижническая и изнурительная, не приносила ничего, дом содержала мать — точнее, ее отец. Следовательно, отец был на иждивении жены, и это до такой степени возмутило Стефана, когда он об этом узнал, что некоторое время презирал отца. Подобные, хоть и менее сильные, чувства питали к Тшинецкому его братья, но с годами это как-то постепенно сгладилось: то, к чему за долгое время люди привыкают, в конце концов им надоедает. Пани Тшинецкая любила мужа, но, к сожалению, его занятия были выше ее понимания: супруги вели друг против друга партизанскую войну, хотя почти и не догадывались об этом, поскольку было это противоборство предметов, принадлежащих к двум сферам: мастерской и жилищу; отец и думать не хотел о том, чтобы превратить квартиру в продолжение мастерской, но это происходило как бы само собой; на столах, шкафах и секретерах вырастали горы проволоки и металла, а мать тряслась над своими скатертями, кружевными салфетками, рододендронами и араукариями; отец не жаловал этот огород, исподтишка подрезал корни, тайно радуясь симптомам увядания, мать во время генеральных уборок смахивала то какой-нибудь бесценный кабель, то какую-нибудь незаменимую шайбу, и все это делалось без задней мысли. Погружаясь в работу, пан Тшинецкий словно отправлялся в далекое путешествие, а возвращался оттуда только сраженный очередным приступом болезни. Хотя пани Тшинецкую действительно тревожили хвори супруга, полнейшее спокойствие она обретала лишь тогда, когда муж лежал в постели, стонущий, беспомощный, обложенный грелками, ибо тогда-то она по крайней мере понимала, что ему нужно и что с ним происходит.

Громкий бой часов расчленил темноту над лежащим Стефаном, мысли которого уже покинули родительский кров и вернулись к пережитому дню. Рассматриваемые на холодную голову

родственные узы, это хитросплетение интересов и чувств, сплочение в дни рождений и смертей, — все это представлялось ему ничемным и скучным. Его одолевала страсть к обличительству, ему представлялось, будто он должен прокричать в лицо родне жестокую правду, сказать, что вся ее будничная и праздничная возня. — пустышка, но, когда он стал подбирать слова, с которыми мог бы обратиться к живым, мысль его коснулась дяди Лешака и замерла, словно с перепугу. Когда это произошло, он не перестал думать, но теперь мысли его побежали как бы сами собой, а он только следил за их бегом. Приятная усталость растеклась по всему телу — предвестник скорого сна, — тут-то он и вспомнил братскую могилу на сельском кладбище. Победенная отчизна умерла, это была метафора, но та скромная солдатская могила вовсе не была метафорой, и что же там было еще делать, как не стоять молча, с сердцем, замирающим от горя, но и от радости — в предвкушении общности, которая больше, чем единичная жизнь и единичная смерть. И тут же, рядом, был дядя Лешек. Стефан увидел его могилу, не припорошенную снегом, нагую, так ясно, будто уже во сне. Но он не спал, и родина вдруг смешалась в его сознании с семьей. И ту, и другую он подверг суду разума, и обе они продолжали жить в нем самом, а может, это он жил в них, ах, ничегошеньки он уже не знал и только, засыпая, прижал руки к сердцу, ибо ему привиделось, что порвать связь с ними — все равно что умереть.

## НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Открывая глаза, еще затуманенные сном, Стефан приготовился увидеть прямо перед собой овальное зеркало на львиных лапах из позолоченного гипса, брюхатый комод и зеленое облачко аспарагуса в простенке. Каково же было его удивление, когда явь опровергла эти ожидания: он лежал очень низко, почти на самом полу, в огромной комнате, незнакомой, в которой все как будто звучно позванивало; в небольших окнах, завешенных прозрачной бахромой сосулес, голубел рассвет — чужой, так как не было серой стены соседнего дома.

И, лишь потянувшись и сев в постели, он вспомнил весь вчерашний день. Быстро встал, дрожа от холода, выскользнул в переднюю, отыскал на вешалке свое пальто и, набросив его на рубашку, направился в ванную. Из приоткрытой двери падал отблеск горящих свечей, оранжевый по контрасту с фиолетовым светом утра, струящимся в переднюю сквозь стеклянный короб

веранды. В ванной кто-то был; Стефан узнал голос дяди Ксаверия, и ему страсть как захотелось подслушивать. Он тут же оправдал себя ссылкой на любознательность психолога, благо порой верил в существование некой единственной, конечной правды о человеке, в то, что открыть ее можно, подсматривая за людьми и ловя их с поличным, когда они остаются наедине с собой.

Поэтому возле ванной комнаты он постарался ступать тише и, не прикасаясь к дверям, заглянул в щель шириной в ладонь.

На стеклянной полочке горели две свечи. Они окрашивали в желтый цвет клубы пара, поднимавшиеся из ванны около стены и накрывавшие призрачным покровом фигуру дяди Ксаверия, который стоял в посконных портах и вышитой на украинский манер сорочке и брился, корча в запотевшее зеркало диковинные рожи, и с пафосом, но не очень разборчиво — мешала бритва — декламировал:

...Просей, прошу покорно, эти сласти  
сквозь дырку затхлую ширинки...

Стефан был несколько разочарован и не мог решить, как быть теперь, а дядюшка, будто почувствовав его взгляд (а может, увидав племянника в зеркале), не оборачиваясь, сказал совершенно другим тоном:

— Как жизнь, Стефек? Это ты, да? Давай сюда, можешь сразу умыться, есть горячая вода.

Стефан пожелал дядюшке доброго утра и покорно вошел в ванную. Принялся за утренний туалет торопливо, немного стесняясь присутствия дяди — тот продолжал бриться, не обращая на него внимания. Какое-то время оба они молчали, потом дядя вдруг выпалил:

— Стефан...

— Да, дядя?

— Знаешь, как это было?

По дядиному тону Стефан сразу понял, что имел в виду Ксаверий, но, поскольку в таких делах нельзя полагаться на одну догадливость, переспросил:

— С дядей Лешekom?

Ксаверий не ответил. Молчал он долго, потом, уже выскабливая верхнюю губу, ни с того ни с сего начал:

— Второго августа он сюда приезжал. Собирался порыбачить, форель половить, там, выше мельницы, ты знаешь. И о себе, естественно, — ни слова. Я его прекрасно понимаю. А на обед была утка, как вчера. Только с яблоками, теперь-то их нет. Что было, солдаты позабирали в сентябре. И он эту утку отказался есть, а ведь так любил всегда. И это меня как-то насторожило. Да и лицо

уже было такое. Только вот у близкого человека не замечашь. Мысли не допускаешь, что ли...

— Отвращение к мясу и похудание? — спросил Стефан, отдавая себе отчет, как это казенно прозвучало.

Собственный профессионализм немного смутил его, но доставлял некоторое удовлетворение. Он стал торопливо вытираться — кое-как, он уже понял, что последует дальше, а слушать такое голым был не в силах. Может, оттого, что чувствовал бы себя вроде как обезоруженным? Сам он об этом и не подумал. Ксаверий по-прежнему стоял к нему спиной, разглядывая себя в зеркале; он пропустил вопрос Стефана мимо ушей и продолжал:

— Не давал себя осмотреть. Ну, а я с грехом пополам... Шутя — мол, щекотку изучаю, животом его интересуюсь, у кого из нас брюхо больше и так далее... А опухоль была уже с кулак, с места не сдвинешь, твердая, сросшаяся со всем, черт-те что...

— *Carcinoma scirrhosum*, — произнес вполголоса Стефан, а зачем? Он и сам не знал. Это латинское наименование рака походило на формулу изгнания бесов — некое научное заклинание, изгоняющее из реальных обстоятельств неопределенность, тревоги, страсти, — проясняющее эти обстоятельства и придающее им видимость естественного хода вещей.

— Классический случай... — бурчал дядя Ксаверий, пробривая одно и то же место на щеке.

Стефан, запахнувшись в куций купальный халат, держа в руках брюки, неподвижно застыл на пороге — а что еще оставалось делать? Он слушал.

— Ты знаешь, что он был без пяти минут врач? Как это не знаешь? В самом деле? Ну что ты, он с четвертого курса медфака сбежал. Вечным студентом был не один год, а учиться-то мы начинали вместе, я ведь после гимназии уйму времени потерял. Из-за одной... Н-да. Так что он меня насквозь видел, когда я его обследовал, и все ему было ясно. Оперировать, разумеется, было поздно, но раз уж ты врач, альтернативы медицине у тебя нет — только гробовщик. А с этим всегда успеется. Я думал, будут невесты какие батальи, а он с ходу согласился. Ездил я и к Хрубинскому. Ничтожество, а руки золотые. Согласился оперировать только за доллары: положение, мол, неопределенное, злотый может провалиться в тартарары. Просмотрел рентгеновские снимки и отказался наотрез, но я его уломал.

Тут пан Ксаверий повернулся к Стефану и с таким выражением лица, точно он едва мог сдерживать смех, спросил:

— Ты, Стефан, становился хоть раз перед кем-нибудь на колени? Не в костеле, — добавил он поспешно.

— Нет...

— Вот видишь. А я становился. Не веришь? Ну так я тебе говорю, было такое! Хрубинский оперировал двенадцатого сентября. Немецкие танки были уже в Тополеве, Овсяное горело, вдьмы-монашки разбежались, я сам ему ассистировал. В кои-то веки... Хрубинский вскрыл, зашил и вышел. Был взбешен. Я его понял. Наорал на меня. Но всюду — сплошная бессмыслица, весь этот сентябрь, все кругом — Польша, вот так...

Пан Ксаверий принялся править бритву на ремне, движения его становились все неторопливее и все обстоятельнее, говорил он без умолку:

— Перед самой операцией, уже после инъекции скополамина, Лешек спрашивает: «Это конец, да?» Ну я, естественно, как с больным. А он: Польше, мол, конец. И чтобы я пришел на могилу шепнуть ему, когда Польша снова будет. Фантазер был! Хотя, впрочем, кого же учили умирать? А когда проснулся, ну, уже после операции, я один около него был, спросил, который час. И я, старый идиот, сказал ему правду. Не сообразил, что следовало бы часы переставить, а ведь он, как медик, знал, что серьезная операция продолжалась бы час или больше, а тут — четверть часа, и шабаш. Значит, уже знал, что ничего...

— А потом? — вырвалось у Стефана; он боялся, что опять воцарится тягостное молчание.

— Потом я отвез Лешка к Анзельму, так он захотел. Я не видел его три месяца, только в декабре... Но это уже было уму непостижимо.

Дядя Ксаверий медленным движением, не глядя, отложил бритву и, стоя боком к Стефану, уставился прямо перед собой, немного вниз, — казалось, он увидел у своих ног что-то диковинное.

— Я застал его в постели, худого — настоящий скелет, уже и молоко мог проглотить с трудом, и голос у него какой-то пискливый сделался, тут даже слепой бы увидел, сообразил, а он... как бы это выразить? Я застал его — счастливым! Все, понимаешь ли, все он себе объяснил или, если так можно сказать, разобъяснил: и операция-то удалась, и сил у него с каждым днем прибывает, и поправляется он, и вот-вот встанет с постели; руки себе велел массировать и ноги, и Анеле диктовал по утрам, как себя чувствует, для врача она записывала, чтобы правильнее его лечили... А опухоль была уже с каравай. Но велел наложить себе плотную повязку на живот, чтобы сам до него дотронуться не мог, — якобы так шов в большей безопасности. О болезни своей вообще говорить не желал, а если случалось, то объяснял, что это был

только отск, и прикидывался, что становится все крепче и что вообще ничего у него нет...

— Вы полагаете, дядя, что он был... ненормальный? — прошептал Стефан, и не предполагая, что услышит в ответ.

— Нормальный! Ненормальный! Что ты болтаешь, дурачок! Что ты знаешь? Нормальный умирающий — вот, не угодно ли — нормальный! Вырвать из тела эту опухоль не мог, так вырвал из памяти. Лгал, верил, других заставлял верить, откуда мне знать, где кончалось одно и начиналось другое! Говорил все тише, что чувствует себя лучше, и все чаще плакал.

— Плакал? — как-то по-детски ужаснулся Стефан, который помнил плечистого дядю Лешка на коне, с двустволкой, обращенной стволами к земле...

— Да. А знаешь почему? Боли были сильные, ему ставили свечи с морфием. Сам себе их и всаживал. А когда однажды это сделала сиделка, расплакался. Я, говорит, сам уже и ни могу ничего, кроме как свечку вставить, а меня и этого лишают... Вставить не мог, а говорил, что не хочет. Если молока выпьет — этого, дескать, мало, не стоит после молока вставать, другое дело после бульона. А после бульона еще чего-нибудь придумает. Вот так! Побыл я тогда с ним, побеседовал! Руки протянет, они как палки, а все, чтобы сказать: толстеют, мол; и странное дело, какой же он при этом подозрительный был! Чего вы там по углам шепчетесь? Что сказал доктор? Наконец тетка Скочинская позаботилась о кесндзе. Естественно, он явился со святыми дарами. Я Бог весть что подумал, а Лешек отнесся к этому вполне спокойно. Только той же самой ночью — я сидел возле него — шепчет. Я подумал — во сне, не отвечаю, а он громче: «Ксав, сделай что-нибудь...» Подхожу к нему, а он опять: «Ксав, сделай что-нибудь...» Стефан, ты же врач? Ну так знай, я прислал к нему с запасом морфия. Если бы он захотел... Захватил я с собой нужную дозу. В жилетном кармане держал. Тогда, ночью, я решил, что он хочет, чтобы — ну, сам понимаешь. Но посмотрел я ему в глаза и вижу, он помощи просит. Я молчу, а он свое: «Ксав, сделай что-нибудь...» И так до самого рассвета. Потом ничего уже не говорил — такого. Мне надо было уехать. Вот так... А вчера мне Анеля рассказала, что накануне вечером пошла к себе, легла, утром приходит к нему, а он уже мертв. Только лежал в постели наоборот.

— Как это наоборот? — странно испуганный и опешивший, прошептал Стефан.

— Наоборот: ногами там, где голова. Почему? Откуда я знаю. Хотел что-нибудь сделать, чтобы жить...

Дядя Ксаверий, в жеваных холщовых штанах, в вышитой ру-



бахе, распахнутой на груди, с мазками мыльной пены на щеках, глубоко задумался и медленно опустил голову. Потом полоснул взглядом Стефана. Посверлил его своими черными, теперь строгими и горящими глазами.

— Я рассказываю тебе это, потому что ты врач и свой... Ты должен знать это! И это... со всей моей медициной. И что я там... уж не знаю, я... я почти молился. До чего человек доходит!

Было слышно, как оседающий на зеркале пар увесистыми каплями падает на пол. Вдруг оба они вздрогнули, словно очнулись ото сна, — часы в гостиной пробили громко, величественно, весомо...

Дядя повернулся к тазу, принялся энергично ополаскивать лицо, шею, громко отплеывался, прочищал нос, а Стефан тем временем торопливо, словно украдкой, оделся и молча выскользнул из ванной.

В столовой был уже накрыт стол. Голубоватые сосульки за окном вбирали в себя хрустальную прозрачность дня; золотистые блики скользили по оконным стеклам, играли на стекле футляра напольных часов, радужными искрами рассыпались по граням графина на столе. Появились дядя Анзельм, Тшинецкий из Келец с дочерью, тетка-бабка Скочинская, тетка Анеля.

Много горячего кофе, сливки, огромные караваи хлеба, брусочки масла, мед; завтракали молча, все были какие-то притихшие, поглядывали в залитые солнцем окна, перебрасывались одним-двумя словами. Стефан нервничал, боясь, что ему в кофе вместе с молоком напустят пеню, он их терпеть не мог. Дядя Анзельм был задумчив и угрюм. Вроде все как обычно, но сидеть за столом почему-то было невыносимо. Стефан несколько раз поглядывал на дядю Ксаверия, который явился последним, без галстука, в расстегнутом черном пиджаке. Стефан был уверен, что они только что заключили тайный союз, как бы связавший их друг с другом, но дядя не обращал внимания на его многозначительные взгляды, скатывал хлебные шарики и пускал их по столу. Вошла деревенская баба, одна из тех, что помогали дяде по хозяйству, и с порога на всю комнату объявила:

— Какой-то господин пришел и спрашивает господина Тшинецкого-младшего.

Это «господин Тшинецкий-младший» было плодом трудов дяди Лешака, который, гостя у Ксаверия, неизменно муштровал его прислугу, а на одну упрямую девку, которая твердила, что «молодой господин Тшинецкий» и «господин Тшинецкий-младший» — одно и то же, даже рывкнул: «Не твоего это ума дело! Неужто, по-твоему, «Помяни, Господи, раба твоего» и «Помяни,

Господин, раба твоего» — одно и то же, дура ты набитая?» Но сейчас, сконфуженный и недоумевающий, Стефан и не вспомнил об этом; он испуганно вскочил из-за стола и, что-то пробормотав, выбежал в коридор. Там было светло, но свет падал из застекленной веранды так, что лица гостя разобрать было нельзя — лишь черный силуэт на солнечном фоне. Человек был в пальто, шляпу он держал в руке, и, только когда он заговорил, Стефан узнал его.

— Сташек! Ну, Сташек! Что ты здесь... ну, знаешь... кого-кого ожидал бы встретить, но тебя!!

Стефан потащил было прищельца в гостиную, но в дверях прямо-таки набросился на него и чуть не силой сорвал с него пальто с меховым воротником. Вынес в переднюю, вернулся, усадил гостя в кресло, а себе придвинул стул.

— Ну, что ты, как ты? Что поделываешь? Откуда тут взялся? Да рассказывай же!

Станислав Кшечотек, университетский товарищ Стефана, сконфуженно и одновременно радостно улыбался. Горячность Стефана его немного смутила.

— Ну что? Да так, ничего особенного, работаю тут неподалеку, в Бежинце. Вчера случайно услышал об этих похоронах, то есть о том, что твой дядя... — Он осекся, отвел глаза, потом продолжил: — Вот я и подумал, что, наверное, тебя здесь встречу. Давненько мы с тобой не виделись, а?

— Ах, вот, значит, как... да. — Стефан никак не мог собраться с мыслями. — Позволь, так ты работаешь в Бежинце? Подумать только! Так ты повятовый врач, что ли? Ведь дядя Ксаверий...

— Нет. Я работаю в лечебнице, у Паенчковского. Ну ты же знаешь, тебе ведь эти места знакомы...

— Ах! Как же я не сообразил! В этой лечебнице... позволь, значит — психиатром? Специализировался в этой области? Это для меня новость!

— Я и сам не знал, что так повернется. Но еще перед войной, понимаешь ли, была вакансия, и по объявлению Медицинской палаты...

Кшечотек начал излагать историю своего переезда в Бежинец многословно в обычной своей манере — с массой несущественных подробностей, а Стефан, как всегда, горячился, понукал его вопросами, пропускал мимо ушей целые фрагменты реляции. И при том взирал на приятеля с нескрываемой радостью. Познакомились они на первом курсе медицинского факультета, их сблизила схожесть чувств, которые каждому приходилось преодолевать, когда он попадал в прозекторскую. Сташек жил неподалеку от Стефана и вскоре предложил заниматься вместе, сославшись

на чрезмерную дороговизну учебников и невозможность долго оставаться с книгой один на один. Стефан и раньше сталкивался с Кшечотеком, но близко с ним не сходил, так как ему казалось, что в Сташке есть что-то от отличника, а зубрил он не терпел. Проникся к нему доверием только на вечеринках и балах, где тот всегда верховодил. Узнав его поближе, Стефан понял, что веселость и задор приятеля — напускные. Это был юноша закомплексованный, не уверенный в себе. Страхился экзаменов, однокурсников, трупов, профессорских настроений, женщин, короче — всего на свете. Очень искусно создал себе маску весельчака, но сбрасывал ее с облегчением, едва представлялась возможность. Стефана это удивляло тем более, что девушкам Сташек нравился и они охотно смеялись его шуткам. Но только толпа придавала Кшечотеку храбрости. С двумя девушками он еще чувствовал себя сносно, изящно флиртовал наперебой с обеими, но, оставшись с глазу на глаз с одной, проигрывал вчистую. Тут уж шутки в сторону, надо браться за дело всерьез, а это у него и не получалось. Танцы, флирт и зубоскальство по общепринятым понятиям были как бы подготовительным маневром, неким вступлением, чем-то вроде распущенного хвоста, которым павлин обвораживает самку. Между тем светские таланты Сташка на том и кончались. Стефан догадался об этом, наблюдая поразительные перемены, происходившие с Кшечотком: едва он покидал общество, душой которого был, как моментально стихал, сникал и грустнел. Так наступил период долгих бесед вдвоём, прогулок по осенним аллеям, бесконечного философствования по вечерам, жарких споров, поисков «абсолютной правды», «смысла жизни» и тому подобных словопрений о сущности бытия. Ни один из них порознь не смог бы отыскать столь отточенных формулировок. Они подстегивали и обогащали друг друга. Их взаимная откровенность все же была небезграничной — слабела, утыкаясь в проблемы более интимного характера. Сташек подвел под свои мужские неудачи целую теорию: он не верил в любовь вообще. Читать о ней ему нравилось, но верить в нее он не верил. «Послушай, — говорил он, — почитай-ка Абдергальдена!<sup>1</sup> Если обезьяне сделать укол пролактина и подкинуть ей щенка, она тут же начнет его ласкать и псетовать, но стоит только прекратить впрыскивать гормон, и через два-три дня она слопает своего любимого песика. Вот тебе материнская любовь, самое высокое чувство: капля химикалий в крови!»

---

<sup>1</sup>Абдергальден Эмиль (1877 — 1950) — швейцарский биохимик, исследователь структуры и функции белков.

Стефан втайне свысока относился к своему экспансивному другу. Лицо у Кшечотека было круглое, как луна, и пухлое, хотя сам он был поджарый; добродушный нос — картошкой, на кончике постоянно обретался крупный прыщ. Зимой Сташек всегда мерз, так как не носил кальсон, считая это недостойным мужчины. Кроме того, три четверти года страдал от несчастной любви — демонстративно, безнадежно и забавно. Отношения их сложились так, что о жизни вообще они толковали очень много, а собственной почти не касались. Но сейчас, здесь, в сумрачной, несмотря на солнечный день, гостиной дядюшки Ксаверия, обитой шелковыми узорчатыми обоями, трудно было с маху вскочить на какого-нибудь спасительного философского конька. Поэтому, когда Кшечотек завершил свое повествование, установилось тягостное молчание. Сташек попытался его разогнать, спросив Стефана, как у него с работой.

— Я? Ах, пока ничего, еще не знаю... Пока нигде не работаю. И немцы теперь... оккупация... сам не знаю. Присматриваюсь. Чем-то надо будет заняться, найти какое-нибудь место, но конкретно я об этом не думал...

Стефан говорил все медленнее. Они еще помолчали, теперь уж основательно. От огорчения, что им почти нечего сказать друг другу, и только из желания поддержать разговор Стефан после лихорадочных поисков темы спросил:

— Ну, а как там, в лечебнице? Ты доволен?

— А, лечебница...

Кшечотек оживился и собрался было рассказывать, но тут его словно осенило, глаза расширились, и лицо радостно засияло.

— Послушай, Стефан! Мне это только что пришло в голову, ну и что? Архимед тоже вдруг... ты же знаешь! Стефан, послушай, Стефан, если бы — ты да к нам в лечебницу, а? Место хорошее, очень хорошее, специализация, края тебе знакомые, тут и спокойно, и работа интересная... и... времени свободного достаточно, да, наукой займешься, я же помню, ты ведь на это нацеливался...

— Я — в лечебницу? — ошеломленно пролепетал Стефан и растерянно улыбнулся. — Видишь ли, вот так, с бухты-барахты... приспал на похороны, и тут же... впрочем... собственно, мне все равно, — выпалил он и осекся, испугавшись неуместности этого своего последнего замечания, но Сташек ничего не заметил.

Еще с четверть часа он не закрывал рта, толковал только об этом, потом они прикидывали, как будет, если Стефан на самом деле устроится в лечебницу врачом, ведь вакансия там действительно была. Сташек опрокидывал одно сомнение Стефана за другим:

— Не специализировался по психиатрии? Это не беда, никто же не родится специалистом. Врачи там первоклассные, сам увидишь! Ну, естественно, как это обычно бывает, врачи ведь люди, кто лучше, кто хуже. Но интересно все. И какие удобства! И словно нет никакой оккупации, да что там, как на другой планете!

Кшечотек так разошелся, что в его устах лечебница превратилась в некое подобие внеземной или космической обсерватории, этакий островок уютного одиночества, в котором человек, одаренный от природы выдающимся умом, может развиваться, как ему заблагорассудится. Они болтали так и болтали, и Стефан, хотя он был совершенно уверен, что ничего путного из этого не выйдет, охотно подыгрывал другу, словно ища в этом разговоре спасения от жуткой пустоты, обложившей его со всех сторон.

Кто-то постучал в дверь: тетка с дядей Анзельмом уже собрались на станцию. Приличествовало бы их проводить, но Стефан как-то отвертелся от этого, бросившись торопливо целовать ручки и отвешивать поклоны. Тетя Ансля, казалось, была в хорошем настроении; при иных обстоятельствах Стефан осудил бы ее — рассказ Ксаверия не выходил у него из головы, — но он слишком торопился вернуться к Кшечотеку, и ему некогда было морализировать. Очередное свидание с родней, барственность Анзельма, который обнял его, но не поцеловал, а лишь коснулся его лица колочей щекой, какие-то бессмысленные наставления и поручения тетки Меланьи — все это только прибавляло привлекательности неожиданному предложению Сташека. Но, едва увидев друга, с напускной небрежностью глазевшего на старинные гравюры, развешенные по стенам гостиной, он снова заколебался. Наконец после долгих размышлений над всеми «за» и «против» Стефан решил ехать домой, — мол, там ему надо уладить кос-какие дела (это была отговорка, никаких дел не существовало, но выглядела она внушительно и толково). Потом он вернется, то есть через некоторое время (Тшинецкий подчеркнул это, дабы не выглядеть законченной свиньей) приедет в Бежинец.

Ровно в полдень Стефан учтиво, но прохладно распрощался с дядей и пошел на станцию. Кшечотек его провожал, добраться до Бежинца он мог на том же поезде.

День был теплый и уже совсем весенний; снег таял, текли звонкие ручьи, превратившие дорогу в настоящее болото; приятели говорили мало, так как переправа через лужи требовала внимания, да и о чем было говорить? На станции еще немного поскучали, ища спасения в курении, — по студенческой привычке они, как в перерывах между лекциями, укрывали сигареты в кулаках. Но вот подкатил поезд. Он еще не успел остановиться,

как Сташек, пораженный его видом, решил идти пшчком: вагоны были набиты битком: люди свесивались из окон, облепили крыши, висели на всех поручнях, скобах, ступеньках. Когда поезд остановился и его атаковала толпа крестьян и мешочников, началась шумная драка. Стефан проявил ожесточенность, какой от себя и не ожидал; вопя, он почти вслепую таранил стену тулупов — так отчаянно, словно боролся за жизнь. Поезд, сопровождаемый всеобщим ревом, уже тронулся, когда Стефану удалось носком ботинка нащупать край деревянной ступеньки и обеими руками ухватиться за тулупы и пальто тех, кто уже висел выше него, вцепившись в дверь. Однако у него хватило ума сообразить, что так не продержаться и нескольких минут, и он спрыгнул на ходу, едва не рухнув в грязь. Однако обошлось, его лишь обдало с ног до головы снегом и грязной водой. Стефан, побагровевший от натуги и злости, пошел назад и увидел на платформе Сташека; тот снисходительно, хотя и сочувственно улыбался. Злость вспыхнула с новой силой, но приятель, оценивший его старания, еще издали закричал:

— Не злись, Стефан, сам видишь, это судьба, а не я. Давай сюда, вместе пойдем в Бежинец...

Стефан постоял в нерешительности, потом заговорил — уже не о каких-то там «делах, нуждающихся в урегулировании», а о белье и мыле, но Кшечотек с несвойственной ему энергией подхватил друга под руку и дал понять, что все необходимое найдется, и вышло у него это так по-свойски, сердечно, что Стефан, лишь теперь заметивший грязные потеки на своем пальто, вдруг рассмеялся, махнул рукой на условности и вместе с приятелем побрел по грязи к маячившим на светлеющем горизонте трем горбам бежинецких холмов.

## УЗЛЫ ПРОСТРАНСТВА

От Нечав до Бежинца было двенадцать километров петляющей серпантином, раскисшей, глинистой дороги. Когда путники преодолели самый крутой подъем, дорога вползла в глубокую выемку, которая вывела их на проселок, такой же топкий, и наконец они увидели за рощицей пологий холм, с юга окаймленный мелкоколесьем. На его вершине — несколько сереньких зданий, окруженных кирпичной стеной. К центральным воротам тянулась дорога, вымощенная щебнем. До цели оставалось несколько сот метров, но друзья, запыхавшиеся от быстрой ходьбы, остановились. Отсюда, с высоты, Стефан окинул взглядом безбрежное, изборожденное

мягкими складками пространство, над которым в лучах заходящего солнца проплывали кое-где клочья тумана. Размытые тона снегов выдавали невидимую работу тепла. Над темными воротами высилась прикрытая по бокам кустами щербатая каменная арка с поблекшей надписью. Когда они подошли поближе, Стефан смог ее разобрать: CHRISTO TRANSFIGURATO<sup>1</sup>.

Прибавив шагу и давя сохранившиеся в тепистых местах оконца замерзших луж, друзья добрались до калитки. Толстый небритый привратник выпустил их. Теперь Кшечотек развил бурную, хотя и не очень заметную деятельность. Велел Стефану ждать в боковой пустой комнате первого этажа, а сам помчался к главному врачу. Стефан кружил по каменным плиткам пола, лениво разглядывая роспись, частично закрытую штукатуркой: какой-то бледно-золотистый нимб и — уже под слосом голубоватой штукатурки — разверстый то ли кричащий, то ли поющий рот. Заслыша шаги, Стефан оглянулся — неожиданно быстро возвращался Сташек. Он был в длинном, почти до пят белом халате со слегка обтрепанными от частой стирки рукавами и как будто даже стал стройнее и выше ростом. Его круглая физиономия прямо-таки расплывалась в радостной улыбке.

— Ну, прекрасно, я все уже обговорил с Пайпаком, — объявил он, беря Стефана под руку. — Это наш главный, понимаешь. Фамилия его на деле — Паенчковский, он заикается — оттого такое прозвище, — но ты, верно, есть хочешь? Признавайся! Ну, сейчас все организуем.

Врачи жили в отдельном красивом здании, очень уютном и светлом. Тут все было продумано до мелочей. В комнатке, куда препроводил его Сташек, Стефан нашел и горячую воду в умывальнике, и опрятную, не очень-то больничного вида кровать, и мебель, в меру светлую, хотя довольно-таки строгого стиля, и даже три подснежника в стакане на столике. Самое же главное, здесь вовсе не было запаха иодоформа, вообще не пахло больницей. Под неумолчную болтовню приятеля Стефан открыл по очереди каждый кран, осмотрел ванную, насладился ласковым шумом душа, вернулся в комнату, выпил кофе с молоком, намазывал чем-то соленым и желтым хлеб, ел, но все это проделывал, в сущности, ради дружбы, чтобы Сташек мог порадоваться результатам своей расторопности.

— Теперь садись здесь, рядом со мной. Ну что? Как оно будет-то? — спросил Сташек, когда все наконец было осмотрено и съедено.

---

<sup>1</sup> Преображение во Христе (лат.).

— Ты о чем?

— Ну, вообще, разумеется, — что будет с миром и с тобой?

— Вызываешь на серьезный разговор? — Стефан не сдержал улыбки.

— Нет, что ты! Какие там споры! Мир — это теперь немцы. Все считают, что им врежут, хотя я в это не очень-то верю... к сожалению. Уже поговаривают о смене руководства — поляк якобы не имеет права быть директором... но это еще не наверняка. Ну, а что касается тебя — ты должен потихоньку со всем тут познакомиться. И только потом выберешь себе отделение. Не спеши, сперва оглядись.

Сташек говорит почти как тетка Скочинская, подумал Стефан, а вслух спросил:

— А где... они?

Из окна он видел окутанные туманом клумбы, зыбкие очертания выстроившихся друг за другом корпусов; над самым дальним возвышалась башня не то в турецком, не то в мавританском стиле — в этом Тилинецкий не разбирался.

— Все увидишь. Они вон там, и с другой стороны — тоже. Скоро именины нашего старика. Повеселишься. Сегодня, разумеется, еще не пойдешь по палатам, я тебе все обстоятельно растолкую, чтобы ты не запутался. Ты, дорогуша, в больнице для чокнутых.

— Это я знаю.

— Тебе только так кажется. Ты сдавал психиатрию и наблюдал одного пациента, наверняка какого-нибудь невропата, верно?

— Да.

— Вот видишь. Терапия — ничего особенного: до сорока лет сумасшедший — это *dementia praecox*<sup>1</sup>: скополамин, бром и холодный душ. После сорока — *dementia senilis*<sup>2</sup>: холодный душ, скополамин; бром. Ну, и шоки. Вот, собственно, и вся психиатрия. А здесь, дорогуша, мы — крошечный островок в удивительнейшем море. И скажу тебе, что, если бы не персонал, если бы... ну да ладно, со временем сам все поймешь — стоило бы тут провести всю жизнь, если даже и не врачом...

— То сумасшедшим, ты это хочешь сказать?

— Ну что ты несешь? Я имел в виду — гостем. У нас и такие есть. С выдающимися людьми можешь тут познакомиться, не смейся, я серьезно.

— Ну, ну?

<sup>1</sup> Шизофрения (лат.).

<sup>2</sup> Старческое слабоумие (лат.).



— Например, с Секуловским.

— Что ты говоришь, с этим поэтом? Так он...

— Вовсе нет! Просто отсиживается у нас, то есть как бы это сказать? Наркоман. Морфий, кокаин, даже гашиш, но он уже от этого избавился. Живет у нас, как на даче. От немцев прячется, короче говоря. Пишет целыми днями, причем не стихи, а мечет философские громы и молнии! Сам увидишь! А теперь у меня вечерний обход, брошу тебя на полчаса, ладно?

Сташек ушел. Стефан долго стоял у окна, потом неторопливо осмотрел свое новое жилище. Как, однако, важно то, что вокруг нас. Все это каким-то непостижимым образом проникало в него, и вовсе не тогда, когда он пристально, словно через лупу, рассматривал то или другое, но когда стоял просто так, отдыхал. Стефан чувствовал, как пережитое в последние дни начинает покрываться новым, иным слоем, как этот геологический пласт воспоминаний затвердевает снизу, подгачиваемый только снами, сверху же остается размягченным и зыбким и поддается влияниям внешнего мира.

Он остановился перед зеркалом. Долго и напряженно всматривался в свое, выплывшее из глубины стекла лицо. Лоб мог быть и повыше, а волосы — поопределеннее: или уж светлые, или черные, как смоль; между тем бесспорно черной была только щетина на лице, от чего он вечно выглядел небритым. Ну, а глаза — сам он говорил, что они ореховые, другие считали, что карие. Значит, и тут какая-то неопределенность. Только нос, унаследованный от отца, тонкий, загнутый; «алчный нос» — говаривала мать. Он слегка напряг мышцы лица, чтобы черты заострились, сделались благороднее. За этой гримасой последовала другая, он стал строить рожи, потом резко отвернулся от зеркала и подошел к окну.

«Хватит самого себя передразнивать! — подумал Стефан зло. — Стану прагматиком. Действовать, действовать и действовать!» Он вспомнил слова отца: «человек, у которого нет цели в жизни, должен ее себе придумать». Впрочем, хорошо, когда есть целая череда целей, ближайших и отдаленных. И это — не какое-то расплывчатое: «быть доблестным», «добрым», а «починить бачок в уборной». Это наверняка принесет больше удовлетворения. Ему вдруг до боли захотелось прожить жизнь простого человека.

«Господи! Если бы я мог пахать, сеять, жать и опять пахать. Или табуретки какие-нибудь сколачивать, корзины плести, торговать ими на базаре». Карьера деревенского скульптора — изготовителя фигурок святых — либо гончара, обжигающего красных

глазурованных петушков, представлялась ему вершиной счастья. Спокойствие. Простота. Дерево было бы деревом — и точка. Никакого идиотского, бессмысленного и чертовски мучительного рассусоливания: на кой ляд оно растет, что значит «оно живое», зачем существуют растения, почему ты — это ты, а не кто-то другой, состоит ли душа из атомов — и вообще, чтобы раз и навсегда с этим покончить! Стефан нервно заходил взад-вперед по комнате. К счастью, пришел Сташек. Стефан подозревал, что Кшечотек чувствует себя в больнице так же хорошо, как одноглазый среди слепцов. Он был тихим сумасшедшим в миниатюре, а значит, на живописном фоне пышно цветущих безумств производил впечатление человека, необычайно цельного психически.

— А теперь пошли ужинать...

Столовая для врачей помещалась наверху, под самой крышей, по соседству с просторной бильярдной и другой комнатой, поменьше, со столиками для карт или еще для каких-то игр. Стефан, проходя мимо, заглянул туда.

Покормили недурно: после зраз с кашей и салата из фасоли — хрустящие оладьи. Потом кофе; его подали в кувшинах.

— Война, коллега, à la guerre comme à la guerre<sup>1</sup>, — сказал Стефану сосед. Справа сидел Сташек; можно было понаблюдать за сотрапезниками. Как всегда, когда видишь новые лица, некоторые из них не различаешь; Стефан в них путался, они ничем не задевали его чувств. Тот, который глубокомысленно изрек афоризм о войне, доктор Дигер или Ригер — представился он невнятно, — был низкорослый, носатый, смуглолицый, со шрамом в глубокой вмятине на лобной кости. Он носил крошечное пенсне в золотой оправе, оно постоянно сползало, и доктор привычным движением водворял его на место. Вскоре это стало раздражать Стефана. Они вполголоса перекидывались замечаниями на нейтральные темы: закончилась ли наконец зима, как с углем, много ли работы, сколько теперь платят. Доктор Ригер (все-таки оказался на «Р») пил мелкими глотками кофе, выбирал оладушки поподжаристее и говорил в нос, не проявляя к беседе особого интереса. Как-то так получилось, что, разговаривая, оба они смотрели на Пасечковско-го. Этот старикан, смахивающий на недожаренного голубя из-за своей реденькой перистой эспаньолки, сквозь серебряные прядки которой просвечивала розовая кожица подбородка, со слегка трясущимися, морщинистыми ручками, тщедушный и заикающийся, прилебывал кофе, а когда начинал говорить, порой дергал головой, словно не соглашаясь сам с собой.

<sup>1</sup> На войне как на войне (фр.).

— Так вы у нас хотели бы поработать, да?.. — спрашивал он Стефана и тут же возражал себе покачиванием головы.

— Да, хотел бы...

— Ну, конечно... конечно... стоит...

— Ведь практика... необходима... пригодилась бы... — бормотал Стефан. Он ужасно не любил старикашек, официальных представлений и скучных разговоров, а тут получил все разом.

— Ну, так мы вам все капитально... как только сами... — говорил Пайпак и продолжал возражать сам себе, мотая головой.

Рядом с ним сидел высокий, тощий врач в халате, испачканном ляписом. Страшно, но как-то симпатично безобразный, со следами швов после операции заячьей губы, приплюснутым носом и широким ртом, он улыбался сдержанно, бледно. Когда он положил руку на стол, Стефан подивился ее размерам и изяществу. Стефан считал важными две вещи: форму ногтя и соотношение длины кисти с шириной. У доктора Марглевского и то и другое свидетельствовало о породе.

За столом сидела одна женщина. Она привлекла внимание Стефана, едва он вошел; он здоровался со всеми, и его поразило тогда безжизненный холод ее ладони, узкой и упругой. Мысль о том, что можно ласкать такую руку, и отталкивала, и возбуждала.

У госпожи (или барышни) доктора Носилевской было бледное лицо, обрамленное разметавшимися каштановыми волосами, отливающими, когда на них падал свет, медом и золотом. Под чистым красивым лбом — поистине крылатый разлет бровей, а под ними — строгие голубые глаза, в которых, казалось, то и дело вспыхивали электрические разряды. Она была идеально красива, и потому красота ее не бросалась в глаза сразу: ни одно пятнышко не раздражало взгляда. В спокойствии ее было что-то материнское, как у Афродиты, но стоило ей улыбнуться, как яркими искорками начинали улыбаться и волосы, и глаза, и крошечная впадинка на левой щеке — не ямочка, а игривый на нее намек.

Из разговоров Стефан понял, что работа хотя тяжелая и надоедливая, но интересная; что нет лучше призвания, чем психиатрия, хотя большинство присутствующих, если бы только представился случай, переменили бы специальность; что больные совершенно несносны, хотя спокойны и тихи, и что вообще не стоит лезть из кожи вон, поскольку в психиатры идут люди ненормальные, — следовательно, все вместе должны лечиться электрошоком, и точка. Противоречия эти объяснялись, разумеется, различием индивидуальных воззрений собеседников. О политике почти не вспоминали. Было тут как на морском дне: движения ленивы и медлительны, а мощнейшие бури на поверхности

отзывались здесь какими-то новыми болезненными отклонениями, которые облекались в форму соответствующих диагнозов. На другой день выяснилось, что Стефан познакомился не со всеми врачами лечебницы. Направляясь вместе с доктором Носилевской на утренний обход (его прикрепили к женскому отделению), он встретил на вымощенной щебнем, орошенной каплями с деревьев дорожке высокого мужчину в белом халате, Стефан не успел его толком разглядеть, но запомнил хорошо. Его некрасивое желтое лицо было словно вырезано из какого-то твердого материала вроде слоновой кости, глаза прикрыты дымчатыми стеклами, нос — заостренный, огромный; кожа губ туго, как пленка, обтягивала зубы; он напоминал мумию Рамзеса Второго, которую Стефан видел на рисунке в какой-то книге: аскетическая отрешенность от возраста, некая вневременность черт лица. Морщины не свидетельствовали о прошедших годах, они были неотъемлемой частью этого лица-изваяния. Кроме того, врач — Стефан узнал, что это лучший хирург санатория, — был тощ, как скелет, страдал плоскостопием; широко разбрасывая ноги, шлепая ими по грязи, он небрежно поклонился Носилевской и взбежал на ступеньки наружной винтовой лестницы красного павильона.

Носилевская держала в своей белой руке ключ, которым отперла дверь, ведущую в следующий корпус. Практически все здания соединялись длинными, остекленными сверху галереями, так что врачам, обходящим палаты, не страшны были ни холод, ни дождь. Галереи эти походили на тамбур оранжереи, крытый стеклом. Но стоило войти в корпус, как впечатление менялось. Все стены выкрашены светло-голубым масляным лаком. Никаких кранов, выступов, выключателей, дверных ручек: гладкие стены до уровня двух с половиной метров. В палатах, холодных и светлых, с ненавязчиво зарешеченными или затянутыми сеткой окнами, на подоконниках которых стояли в длинных ящиках цветы, вдоль двух рядов аккуратно, почти по-военному заправленных коек, прогуливались больные в вишневых халатах, шаркая шлепанцами на картонной подошве.

Доктор Носилевская, выходя из палаты, как-то машинально, едва заметным движением, словно во сне запирала за собой дверь, затем точно так же открывала следующую. У Стефана уже был свой ключ, но у него не получилось бы так ловко.

Вереница лиц — бледных и осунувшихся, будто обвисших на костях, или распухших, похожих на гриб-дождевик, полыхавших нездоровым румянцем, заросших щетиной. Мужчины были острижены наголо, а это стирает индивидуальность. Не прикрытые волосами шишки и прочие диковинные изъяны черепов своим

безобразием, казалось, изгоняли с лиц всякое выражение. Оттопыренные уши, взгляд отсутствующий или упершийся в какой-нибудь предмет, словно скользящий к нему по стеклянной нитке, — именно это отличало большинство больных; по крайней мере, такое представление складывалось во время стремительного обхода. В коридоре они встретили санитаря, который тянул за собой больного. Обращался он с ним не то чтобы жестоко, но просто не как с человеком; однако, завидя Стефана и Носилевскую, на миг вроде смягчился. Откуда-то издали доносился довольно миролюбивый рев, точно кто-то голосил не по принуждению, не от боли, а в охотку, словно тренируясь. Впрочем, Носилевская была особой незаурядной; Стефан еще утром понял это. За завтраком он, будучи эстетом, пытался запечатлеть в памяти ее черты, чтобы потом можно было их мысленно посмаковать. Тогда-то он и заметил, как она, по-лебединому склонив голову над дымящейся кружкой, устремила взгляд в никуда — решительно в никуда — и словно бы перестала существовать. Он, правда, видел, явственные признаки жизни: нежную пульсацию в ямочке на шее, безмятежный сумрак зрачков, трепет ресниц, но Стефан был уверен, что тень восторга, играющая на ее лице, выражает испытываемое ею наслаждение оцепенением, бездумным, полным небытием. Когда она пришла в себя и неторопливо перевела на него взгляд своих голубых и немного еще отрешенных глаз, он готов был испугаться, а минуту спустя отдернул ногу, когда колени их случайно соприкоснулись, — прикосновение это показалось ему угрожающим.

Кабинет Носилевской, уютно обставленный, помещался в женском отделении. Хотя не было здесь ни одной ее личной вещи, присутствие женщины чувствовалось даже в воздухе, — впрочем, естественно, это был всего лишь запах духов. Они сели за белый никелированный стол, Носилевская достала из ящика истории болезни. Как и всем женщинам-врачам, ей приходилось отказываться от маникюра, но ее коротко стриженные, закругленные ногти были по-мальчишески прекрасны. Высоко на стене висело распятие — маленькое, черное, придерживаемое двумя непропорционально массивными крюками. Стефана это поразило, но надо было сосредоточиться: докторица деловито растолковывала ему его обязанности. Голос ее подрагивал; казалось, ей очень трудно сдерживать его, чтобы он не рассыпался трелью. Стефан никогда еще не заносил в истории результатов наблюдений за психическими больными: готовясь к экзамену, он, разумеется, списывал. Узнав, что пока не придется заводить новые истории, а только продолжать вести записи в старых, он по достоинству

оценил благорасположение к нему Носилевской — она, как и он, понимала, что вся эта писанина чертовски скучна и нелепа, но так надо, такова традиция.

— Ну вот, коллега, вы уже все знаете.

Стефан поблагодарил, и они приступили к пробному приему. Потом Стефан ломал себе голову: представляла ли эта эlegantная женщина в чулках «паутинка» и со вкусом скроенном белом халате (застегнутом на пуговицу из искусственного жемчуга), как будет выглядеть эта жанровая сцена. Носилевская позвонила, вызвав санитарку — конопатую, приземистую девицу.

— Обычно мы обходим палаты и расспрашиваем больных о самочувствии и фантазиях, то есть симптомах, вы понимаете, коллега, но я хочу продемонстрировать вам часть моего царства.

Это действительно было ее царство: хотя он и не страдал клаустрофобией, но чувствовал себя паршиво, когда за ним магическим ключом одна за другой запирались двери. Даже здесь, в кабинете, на окне темнела решетка, а в углу, за шкафчиком с лекарствами, бесформенной кучей лежала небрежно скомканная парусина: смирительная рубаха. Привели больную; она выглядела дико в чересчур длинных и узких пижамных штанах. Бедрa вызывающе выпирали. На ногах — черные башмаки. Лицо — застывшая маска, но чувствовалось, от нее можно ждать чего угодно. Она накрутилась; ее можно было посчитать даже привлекательной. Брови начертила прямо-таки нахально — наверное, углем, — продлив их до самых висков; вероятно, это и производило впечатление чудаковатости, но Стефану некогда было заниматься наблюдениями, так его шокировала первая же реплика вошедшей. На вопрос, что нового, заданный нейтральным тоном, без тени заинтересованности, больная многообещающе ухмыльнулась.

— Проведали меня, — сообщила она тонким, певучим голосом.

— Ну и кто же у вас, Сусанна, был?

— Господь Иисус. Он ночью приходил.

— Неужели?

— Да. Залез на кровать и... — она употребила наиболее вульгарное определение полового акта, глядя Стефану в лицо с любопытством, словно говоря: «И что ты на это?..»

Стефан, хоть и был врачом, попросту остолбенел и так смутился, что не знал, куда девать глаза. Между тем Носилевская вытянула из кармана миниатюрный портсигар, угостила его, закурила сама и стала расспрашивать больную о подробностях. Они

были такие, что у Стефана тряслись руки, когда он подавал коллеге огонь. Сломал три спички. Его уже чуть ли не тошнило, а Носилевская попросила его проверить рефлексы — он с грехом пополам справился с этим. Потом санитарка, все это время равнодушно стоявшая поодаль, взяла большую за руку, дернула, словно узел с бельем, и, не дав ей договорить, вывела за дверь.

— Паранойя, — сказала Носилевская, — у нас часто бывают галлюцинации. Разумеется, коллега, все записывать не надо, но пару слов все-таки черкните.

Следующая больная — старая тучная женщина с рыжевато-седыми волосами и пористым лицом — протыкала сотни движений, замиравших в зародыше, словно хотела отбиться от державшей ее сзади за складки халата санитарки. Говорила она без умолку; поток слепленных друг с другом слов, без склада и лада, не иссякал даже тогда, когда ей задавали вопросы. Неожиданно она дернулась сильнее — Стефан невольно отпрянул вместе со стулом. Носилевская распорядилась ее вывести.

Третья потеряла уже всякий человеческий облик. От нее валил густой и приторный смрад. Тшинецкому пришлось собрать все силы, чтобы усидеть на месте. Трудно было догадаться, какого пола это долговязое истощенное создание. Сквозь дыры халата на вздутых, похожих на яблоки суставах проглядывала синеватая кожа. Лицо было костистое, широкое, тупое, как у куклы. Носилевская что-то сказала больной — Стефан не разобрал что. Тогда та, не сдвинувшись с места, откинув в сторону руку, заговорила — *Menin aeide thea!*<sup>1</sup>...

Больная декламировала «Илиаду», правильно выделяя цезуры гексаметра. Когда санитарка вывела ее, Носилевская сказала Стефану:

— Она — доктор философии. Некоторое время находилась в кататонии. Я специально ее вам показала, это почти классический случай: идеально сохранившаяся память.

— Но какой же вид... — не выдержал Стефан.

— Не корите нас за это. Дали бы ей чистые вещи, через несколько часов они стали бы точно такими же, невозможно возле каждого копрофага<sup>2</sup> поставить санитарку, особенно теперь... Мне надо сходить в аптеку, а вы сообразовите заполнить истории болезни, потом впишите номера и даты в книгу. Эту бюрократическую формальность мы, к сожалению, должны выполнять сами

У Стефана так и вертелся на языке вопрос, часто ли прихо-

<sup>1</sup> Гнев, о богиня, воспой... (греч.)

<sup>2</sup> Здесь — пожиратель экскрементов (греч.).

дится выслушивать такие мерзости, какие рассказывала первая больная, но это обнаружило бы его полнейшее невежество, поэтому он промолчал. Стал перебирать бумаги. Носилевская вышла. Когда он закончил, ему стоило больших усилий взять себя в руки, чтобы выйти в палату. Там прохаживались женщины. Некоторые, хихикая без усталости, украшали себя бумажками, лоскутками, тесемочками. В углу стояла кровать с боковыми сетками и таким же веревочным верхом. Пустая. Когда Стефан проходил вдоль стены (он инстинктивно старался не поворачиваться к больным спиной), откуда-то сбоку раздался протяжный, плаксивый вой. За очень толстым стеклом, вставленным в низкую дверь, виднелся освещенный лампой изолятор, по которому носилась голая женщина, колотясь всем телом, как мешком, в обитые стены. Когда глаза ее натолкнулись на лицо Стефана, она замерла. Какой-то миг побыла она нормальным человеком, устыдившимся отвратительного зрелища и собственной наготы. Потом что-то забормотала и стала приближаться к двери. Наконец, когда лица их разделяло только стекло, по которому разметались ее длинные, рыжеватые волосы, она раззявила посиневший рот и исцарапанным языком начала лизать стекло, оставляя на нем полосы розовой слюны.

Стефан кинулся прочь, даже не пытаясь себя сдерживать. Следующая палата встретила его криком. В умывальной санитарка пыталась затолкать в ванну больную — та редела и всю брыкалась. Ноги ее были багрово-красными. Оказалось, что вода слишком горяча. Стефан велел добавить холодной. Он был чересчур учтив с санитаркой, понимал это, но не смог на нее накричать. Оправдываясь перед собой, что время для этого еще не пришло.

В третьей палате — храп, хрипы и свист. Под темными одеялами на койках лежали женщины, усмиренные инсулиновым шоком. Порой из-под одеяла выглядывал чей-то светло-голубой глаз и бессмысленно, словно глаз насекомого, следил за ним. Какая-то больная провела пальцами по его халату — просто так. В коридоре он встретил Сташека. Видимо, Стефана выдавало лицо, так как друг похлопал его по плечу и быстро заговорил:

— Ну, что там еще? Ради Бога, не принимай этого так уж всерьез... — Сташек заметил, что белый халат Стефана потемнел под мышками. — Так вспотел? Ну и ну...

Стефан с облегчением исторг из себя рассказ о первой больной и о том, как выглядели другие. Кошмар!

— Ты ребенок. Это не высказывания и не суждения, а симптомы. Симптомы болезни, ясно?

— Не хочу тут больше оставаться.



— Женское отделение всегда похуже. Не болтай ерунды. Впрочем, я уже говорил с Пайпаком. — Стефан с удовлетворением отметил, что Сташек немного важничает. — Я это предвидел, но Носилевская действительно одна, и ей нужна помощь. Для проформы побудь у нее с неделю, потом тебя перебросят к Ригеру, а может, ты предпочитаешь... Погоди, это идея. Ведь ты же когда-то был анестезиологом у Влостовского?

Действительно, Стефан довольно прилично давал наркоз.

— Видишь ли, Каутерс как раз жалуется, что у него никого нет. Ну, Орибальд, знаешь.

— Что?

— Доктор Орибальд Каутерс, — по складам произнес Сташек. — Забавное имя, верно? Он смахивает на египтянина, а родом вроде бы из курляндских дворян. Нейрохирург. Неплохо оперирует!

— Да, это бы лучше всего... научился бы чему-нибудь. А здесь... — Стефан махнул рукой.

— Я собирался сказать тебе раньше, да случая не было. Так вот, наш младший персонал в принципе совершенно неквалифицированный. Ну, и действует немножко по-деревенски, грубовато. Бывает свинство и похуже.

Стефан поддакнул: вот, санитарка едва не ошпарила больную кипятком.

— Да, случается. Надо смотреть в оба, но в принципе... сам понимаешь, как плохо с людьми. Надо быть любителем весьма своеобразных ощущений, чтобы...

— Это маргинальная часть интересной проблемы, — сказал Стефан. Он почувствовал желание поговорить и одновременно нашел повод, чтобы не возвращаться в палату. — Свобода выбора рода деятельности вроде бы и хороша, — продолжал он, — но, собственно, лишь закон больших чисел гарантирует, что найдутся желающие для выполнения всех важных в жизни общества функций. По крайней мере, теоретически возможно, что через несколько лет никто не захочет стать, например, канцеляристом... и что тогда? Принуждать или как?

— Однако до сих пор это как-то утрясалось, и механизм самообеспечения общества пока не подводит... Кстати, знаешь, что ты затронул одну из любимейших тем Пайпака? Надо ему это сказать. Он любит порой устраивать нам лекции. Ведь мы тут повышаем квалификацию, а бывает, даже развлекаемся. — Сташек обнажил в улыбке желтые от никотина зубы. — Это счастье, утверждает он, что люди так мало образованны... «Сплошь — университетские профессора. Это было бы ужасно, уважаемые кол...

коллеги, кто бы подмстал улицы?!» — затянул вдруг Сташек, неплохо подделываясь под дребезжащий голос старика.

Стефану и это наскучило.

— Прогуляешься со мной в палату? Хочу забрать истории болезни к себе. Казалось бы, все условия, да не смогу здесь писать, дверь за спиной.

— Ну и что?

Стефану пришлось сказать все.

— Мне чудится, их глаза колот меня в спину сквозь замочную скважину.

— Завесь дверь полотенцем, — так искренне и быстро вырвалось у Сташека, что Стефан заподозрил, что его друг пережил то же самое, и почувствовал себя капельку уверенней.

— Нет, так лучше.

Они направились в дежурку, для чего надо было миновать три женские палаты. Высокая блондинка с изможденным испуганным лицом поманила Стефана в сторонку — так подзывают не врача, а незнакомого человека на улице, прося о помощи.

— Вижу, вы новый доктор, — зашептала женщина, тревожно озираясь. — Уделите мне пять минут... ну, две... — проговорила она умоляюще.

Тшинецкий поискал взглядом Сташека; тот, устало улыбаясь, поигрывал резиновым диагностическим молоточком.

— Доктор... я абсолютно нормальная!

Поскольку теоретически Стефан знал, что десимуляция — классический симптом некоторых помешательств, слова больной его не очень-то тронули.

— Побеседуем, сударыня, когда я буду делать обход.

— Это точно, да? — обрадовалась она. — Вижу, что вы, доктор, понимаете меня... — И зашептала ему в самое ухо: — Ведь тут сплошные психи. *Сплошные*, — повторила она с нажимом.

Это заявление и заговорщическое подмигивание удивили его — кому же еще находиться в подобном заведении? Вдруг, уже шагая за Сташеком, он сообразил: она имела в виду всех, и врачей тоже! Значит, и Носилевскую? Попытался очень осторожно выведать, не считает ли Сташек ее «странной», но тот фыркнул ему в лицо:

— Она?! Эта очаровательная девушка?! — и принялся с жаром объяснять, какая она умная да из какой семьи.

Кшечотек прямо-таки захлебывался. «Втирился», — подумал Стефан и словно по-новому посмотрел на друга; на его подвижном кадыке заметил несколько недобритых волосков, похожих на крохотных червячков, увидел безобразные зубы,

набирающий силу прыщ и волосы, поредевшие спереди: там, где еще недавно отливала угольной чернотой прядь, едва виднелось прозрачное облачко. «Никаких шансов», — дисквалифицировал его Стефан.

Самого его она ничуть не привлекала. Хороша, очень хороша, глаза необыкновенные, но есть что-то отталкивающее.

По дороге Сташек вспомнил о Секуловском и решил продемонстрировать его Стефану.

— Потрясающе умный тип, но, понимаешь ли, сумасброд. Приятно с ним беседовать, только смотри не ляпни чего-нибудь. Веди себя, как в светском обществе, понял? Это его слабость.

— Учту, — пообещал Стефан.

Направляясь в корпус выздоравливающих, они вышли из галереи. Пасмурное небо распогодилось, ветер проделывал огромные дыры в серой вате облаков. Ключья тумана плавали над самыми деревьями.

У корпуса какой-то человек в короткой куртке тянул тачку с землей. Это был еврей с лицом, темным не от загара и основательно, почти до глаз заросшим.

— Добрый день, господин лекарь, — обратился он к Стефану, не обращая внимания на Сташка. — Вы меня не припоминаете, господин лекарь? Да, вижу, вы меня забыли.

— Не знаю... — проговорил Стефан, останавливаясь и слегка кивая в ответ.

Сташек едва заметно улыбнулся и стал ковырять носком ботинка втоптаные в грязь стебли.

— Меня зовут Нагель, Соломон Нагель. Я для вашего папы работал по металлу, припоминаете?

Теперь Стефан начал догадываться. Действительно, у отца был кто-то вроде подручного — они иногда вместе запирались в мастерской, строя свои модели.

— Вы знаете, кто я тут? — продолжал Нагель. — Я, видите ли, здесь первый ангел.

Стефану стало не по себе. Нагель подошел к нему вплотную и горячо зашептал:

— Через неделю я буду на большом совещании. Сам Господь будет, и Давид, и все пророки, архангелы и кто хотите. Со мной там очень считаются, так, может, вам, господин доктор, что-нибудь нужно? Скажите, я устрою.

— Нет, ничего мне не нужно...

Стефан схватил Сташка за руку и потянул к двери. Еврей, опершись о лопату, проводил их взглядом.

— Для непосвященных лечебница — невесть что... — разгла-

гольствовал Кшечотек, когда они свернули в длинный, облицованный желтым кафелем коридор.

За лестничной площадкой проход раздвигался. Влево шел коридор без окон, освещенный маленькими лампочками; чем-то это напоминало лес. Пока они шли, темнота через равные промежутки накрывала их.

— ...Между тем симптомы поразительно стереотипны. Видения, галлюцинации, такая стадия, эдакая стадия, двигательное возбуждение, потеря памяти, кататония, мания — и шабаш. А теперь — внимание!

С этими словами Сташек остановился у обыкновенной, запирающейся на ключ двери, над которой горела матовая лампочка.

Они вошли в небольшую, но казавшуюся просторной комнату: заправленная кровать у стены, несколько белых стульев и стол, на котором возвышалась аккуратная стопка толстых книг. На полу валялось множество скомканных листов бумаги. Человек в фиолетовой, в серебряную полоску, пижаме сидел спиной к вошедшим. Когда он повернулся, Стефан вспомнил фотографию в каком-то иллюстрированном журнале. Это был рослый, можно сказать, красивый мужчина, хотя подкожный жирок уже начинал размывать чистоту линий его лица. Под бровями, лисхматыми и припорошенными сединой — так же, как и виски, — горели глаза, большие и, казалось, не мигающие, но живые, как бы чуть обленившиеся в затворничестве. Бесцветные сами по себе, они подлаживались под тона окружения. Теперь они были светлыми. Кожа посты, изнеженная долгим его пребыванием взаперти, была совсем прозрачной и провисала под глазами едва заметными мешочками.

— Разрешите вам представить моего коллегу, доктора Тишнецкого. Он приехал поработать у нас. Великолепный партнер для дискуссий.

— Если и партнер, то лишь универсальный дилетант, — произнес Стефан, с удовольствием отвечая на теплое, короткое рукопожатие Секуловского.

Сели. Наверное, выглядело это довольно странно: двое в белых халатах, из карманов которых неделикатно выглядывали стетоскопы и диагностические молоточки, и пожилой господин в экзотической пижаме. Поболтали о том о сем; наконец Секуловский заметил:

— Медицина может быть недурным окном в беспредельность. Порой я жалею, что не изучал ее систематически.

— Перед тобой выдающийся знаток психопатологии, — сказал Кшечотек Стефану; тот заметил, что его друг более сдержан и официален, чем обычно.

«Пыжится», — подумал Стефан. Вслух он сказал, что никто еще не написал романа о людях их профессии, а ведь кто-то мог бы стать настоящим исследователем этой сферы, нарисовать верную ее картину.

— Это дело копиистов; — небрежно, хотя и учтиво, усмехнулся поэт. — Зеркало на проселочной дороге? Что тут общего с литературой? Если так подходить, господин доктор, то роман — вопреки мнению Виткаци<sup>1</sup> — это искусство годглядывания..

— Я имел в виду всю сложность явления... метаморфозу человека, который вступает в университетские стены, зная людей лишь со стороны их кожного покрова и, возможно, слизистой оболочки, — Тшинецкий улыбнулся, ибо это должно было сойти за двусмысленность, — а выходит... врачом.

Это прозвучало идиотски. Стефан с досадой и удивлением обнаружил, что не способен достаточно быстро формулировать мысли, подбирать слова и смущается, как школяр перед учителем, хотя никакого почтения к Секуловскому не испытывает.

— Мне кажется, что о своем теле мы знаем не больше, чем о самой далекой звезде, — негромко заметил поэт.

— Мы познаем законы, которым оно послушно...

— И это в то время, когда чуть ни на каждый тезис в биологии есть свой антитезис. Научные теории — это психологическая жевательная резинка.

— Но позвольте, — возразил уже несколько задетый Стефан, — а как вы обычно поступали, когда заболели?

— Звал врача, — улыбнулся Секуловский. Улыбка у него была по-детски открытая. — Но лет в восемнадцать я понял, какое множество тупиц становится врачами. С тех пор панически боюсь заболеть: разве можно исповедоваться в своих постыдных слабостях перед человеком, который глупее тебя?

— Иногда это лучше всего; неужели вас никогда не тянуло пооткровенничать с первым встречным о том, что вы бы утаили от самых близких?

— Кто же, по-вашему, может быть «близким»?

— Ну, хотя бы родители.

— Кто ты такой? Маленький поляк, — изрек Секуловский. — Это родители-то — самые близкие? Почему не панцирные рыбы? Ведь они тоже были звеном в эволюции, как учит ваша биология; следовательно, нежность должна распространяться на все семейство, включая ящеров. А может, вы знаете кого-нибудь, кто за-

---

<sup>1</sup> Виткаци (псевдоним Станислава Игнацы Виткевича, 1885 — 1939) — польский писатель, художник, философ.

чинал ребенка, предаваясь трогательным мыслям о его будущей духовной жизни?

— Ну, а женщины?

— Вы, наверное, шутите? Оба пола взаимодействуют по причинам довольно маловразумительным; по всей видимости — это результат того, что когда-то какой-то комочек белка чуток пере-кривился, тут что-то убавилось, там выпятилось, ну, вот и возникли какие-то впадины и соответствующие им выпуклости, но чтобы отсюда начался путь к близости? Разумеется, духовной... Близка ли вам ваша нога?

— Какое это имеет... — попытался возразить Стефан. Он видел уже, что сдает; Секуловский словно меткими выстрелами дырявил разговор.

— Все имеет. Нога, конечно, ближе, ибо вы можете прочувствовать ее двояко: первый раз с закрытыми глазами, как «осознанное чувство обладания ногой», а второй раз, когда на нее взглянете, коснетесь ее, — иными словами как вещь. Увы, любой другой человек всегда вещь.

— Это чистейший абсурд. Не хотите же вы сказать, что у вас никогда не было друга, что вы никогда не любили?

— Ну, вот мы и приехали! — закричал Секуловский. — Разумеется, все это было. Но близость-то тут при чем? Никто не может быть мне ближе, чем я сам, а я порой так далек от самого себя...

Поэт прикрыл глаза; сделал он это с таким усилием, словно отрекался от всего мира. Их беседа походила на блуждание в лабиринте. Стефан решил взять дело в свои руки и выложить самое заветное. Можно будет позабавиться.

— Мы говорили о литературе. Вы слишком односторонне выхватываете слова и переиначиваете подробности...

— Валяйте смелее, — поощрил его поэт.

— Между тем художественное произведение — дитя традиции, а талант — умение нарушать таковую. Я приемлю не только реализм; хорош любой литературный стиль, если только автор хранит верность внутренней логике произведения: кто однажды заставил героя пройти сквозь стену, тот должен делать это и дальше...

— Извините, но... зачем, по-вашему, существует литература? — осведомился Секуловский тихо, словно сквозь дрему.

Стефан еще не кончил свою мысль, и вмешательство поэта совершенно сбilo его с толку, он потерял нить.

— Литература учит...

— Да-а-а? — протянул поэт. — А чему учит Бетховен?

— А чему Эйнштейн?

Стефана охватила досада, граничащая со злостью. Секуловского явно перехваляли. Чего ради он должен его щадить?

Поэт тихо смеялся, очень довольный.

— Естественно, ничему, — сказал Секуловский. — Он забавляется, дорогой мой. Только не все об этом знают. Если давать собаке колбасу, зажигая при этом лампу, через некоторое время собака начнет выделять слюну, увидев свет. А если человеку показывать чернильные каракули на бумаге, немного погодя он скажет, что это — модель беспредельности Вселенной. Все это — физиология мозга, дрессировка, не более того.

— А что является колбасой для человека? — быстро спросил Стефан, ощущая себя фехтовальщиком, который нанес точный удар противнику. Но Секуловский не замешкался с ответным ударом.

— Эйнштейн — колбаса или еще какой-нибудь достойный авторитет. Разве математика — не разновидность интеллектуальных пятнашек? А логика, эти шахматы со строжайшими правилами? Это же как детская игра с веревочкой, которую двое ловко снимают с пальцев, всячески переиначивают, а под конец возвращаются к исходной точке. Известно ли вам доказательство Пеано и Рассела<sup>1</sup>, что дважды два — четыре? Оно занимает печатную страницу алгебраических формул. Все развлекаются, и я развлекаюсь. Может, вы видели мою пьесу «Сад цветистый»? Я назвал ее химической драмой. Цветы — это бактерии, поскольку бактерии — растения, а сад — человеческое тело, в котором они размножаются. Там идет ожесточенная борьба между туберкулезными палочками и лейкоцитами. Раздобыв бронезилеты из липидов, некое подобие шапки-невидимки, бактерии объединяются под водительством сверхмикроба, побеждают армию лейкоцитов, и перед ними вот-вот должно открыться благостное и светлое будущее, но вдруг сад умирает у них под ногами, то есть гибнет человек, и бедные растеньица вынуждены умереть вместе с ним...

Стефан не знал этой драмы.

— Извините, что говорю о себе. Но в конечном счете любой из нас является неким проектом гуга земли, да только не всегда добротным выполненным. Много, много халтуры в человекопроизводстве. Ну, а мир, — тут он усмехнулся, глядя чуть пониже окна, словно заметил там нечто забавное, — это скопище самых фантастических чудес, обыденность которых ничего не объясняет... Разумеется, проще всего притворяться, что ничего не видишь, и

---

<sup>1</sup> Пеано Джузеппе (1858 — 1932) — итальянский математик. Рассел Бертран (1872 — 1970) — английский философ и математик.

то, что есть, оно есть — и точка. Я так и поступаю по будням. Но этого слишком мало. Не помню точно цифр (память последнее время подводит), но я читал, сколь маловероятно возникновение живой клетки из сонмища атомов... примерно один шанс на триллион. Затем еще нужно, чтобы эти клетки в количестве скольких-то там миллиардов соответствующим образом сгруппировались, учреждая тело живого человека! Каждый из нас — облигация, на которую выпал главный выигрыш: несколько десятков лет жизни, великолепной забавы. В царстве полыхающих газов, раскручивающихся до белого каления туманностей, трескучей космической стужи появился выброс белка, студенистой массы, стремящейся немедленно обратиться в насыщенные бактериями испарения и гниль... Сотни тысяч крючков-уловов удерживают этот диковинный всплеск энергии, который, как молния, рассекает материю на бытие и гармонию; узел пространства, ползающий в пустоте, и зачем? Затем, чтобы чей-то глаз подтвердил существование неба? Глаз, вы понимаете? Вы когда-нибудь задумывались, почему облака и деревья, золотисто-коричневые осенью, бурые зимой, этот пейзаж, преображаемый временами года, почему все это дубасит нас своим великолепием, как молотом, — по какому праву? Ведь мы должны быть черной межзвездной пылью, клочьями туманности Гончих Псов; ведь нормой является гул звезд, метеоритный поток, бездна, тьма, смерть...

Секуловский устало откинулся на подушки и глухим, низким голосом продекламировал:

Only the dead men know the tunes  
The live world dances to...<sup>1</sup>

— Так что же для вас литература? — решил, нарушив долгое молчание, спросить Стефан.

— Для читающих — попытка забыться. А для творца — попытка обрести спасение... вместе со всеми.

— Ваш мистицизм...

Стефану определено не везло в разговоре: он не успел выложить самые веские козыри, так как Секуловский фыркнул и соскочил со своего конька — бесконечности.

— Я — мистик? Кто это вам сказал? У нас едва кто-нибудь напечатается раза четыре, ему тут же навешивают ярлык прямо-таки с формулировкой, подходящей для надгробия: «тонкий лирик», «стилист», «жизнелюб». Критики, которых я некогда ок-

---

<sup>1</sup> Только мертвые знают мотив,  
Под который танцуют живые... (англ.)



рестил крестинами, это — врачи литературы, ибо подобно вам ставят липовые диагнозы, тоже знают, как должно быть, и тоже абсолютно не способны помочь... Превратили меня в мистика насильно, и кто? — провонявшие клопами типы, хамы, остолопы, и вот еще одна странность из миллиона других: имея мозг, якобы аналогичный моему, можно думать как бы кишечником.

— Наша беседа несколько бессистемна — не диалог, а двойной монолог с перевесом в вашу пользу, — сказал Стефан. Он решил поднапрячься и мощным ударом свалить Секуловского. Он уже совершенно забыл о своей медицине. — Я ведь знаю ваши сочинения. Так вот, вы намекаете на существование иной яви, нежели «Явь Бытия». Описываете несуществующие миры, хотя и правдоподобные, — что-то вроде отрицательной кривизны Римановых пространств... Но ведь и мир, который нас окружает, довольно интересен, как вы сами утверждаете. Почему же вы так мало о нем пишете?

— Мир, который нас окружает? Ах, так вы полагаете, что я «придумываю миры»? Значит, вы несколько не сомневаетесь в подлинности мира, который окружает меня и вас, того мира, в центре которого вы восседаете на крашеном стуле?

Стефан подумал, что мир этот малость чокнутый, но, разумеется, сказал:

— До некоторой степени — да.

Секуловский услышал только это «да», так как оно было ему нужно.

— Я смотрю иначе. Недавно господин доктор Кшечотек разрешил мне заглянуть в микроскоп. Он видел там, как потом рассказывал, розовато окрашенные частицы слизистой оболочки, среди которых располагались темными венчиками возбудители дифтерии — характерной колбовидной формы; я правильно за ним повторяю?

Сташек подтвердил.

— А я видел архипелаги коричневых островов, похожих на коралловые атоллы в лазурном море, где плавали розовые обломки льдин, влекомые могучими, пульсирующими течениями...

— Эти «атоллы» как раз и были бактерии, — заметил Сташек.

— Да, но я этого не видел. Так где же общий для всех мир? Разве книга — одно и то же для переплетчика и для вас?

— Неужели вы сомневаетесь даже в возможности понять другого?

— Этот разговор чересчур академичен. Могу сознаться в одном: я действительно как бы удлиняю иные штрихи на рисунке мира, я всегда стремлюсь к идеальной последовательности, кото-

рая в итоге может оказаться непоследовательностью. И не более того.

— Следовательно, упорядоченный абсурд? Это — одна из возможностей, и я не знаю, почему...

— Любой из нас — одна из возможностей, которая превратилась в необходимость, — перебил Секуловский, и Стефану припомнилась мысль, которую он однажды в одиночестве произвел на свет:

— Подумали ли вы когда-нибудь: «я, который был живчиком и яйцеклеткой»?

— Это любопытно. Вы позволите, я запишу? Разумеется, если это не из ваших литературных заготовок... — спросил Секуловский.

Стефан промолчал, чувствуя, что его ограбили, хотя формально он и не может заявить протест, и Секуловский крупным косым почерком сделал запись на закладке, вынутой из книги. Это был «Улисс» Джойса.

— Вы беседовали, господа, о последовательностях и их продолжениях, — заговорил молчавший до того Сташек. — А что вы скажете о немцах? Последствием, вытекающим из их идеологии, было бы биологическое уничтожение нашего народа после того, как будут полностью использованы его людские ресурсы.

— Политики — слишком глупые люди, чтобы разумным образом предполагать, как они поступят, — ответил Секуловский, аккуратно завинчивая зеленовато-янтарное вечное перо «Пеликан». — Но в данном случае то, о чем вы упомянули, не исключено.

— Так что же делать?

— Играть на флейте, ловить бабочек, — ответил поэт, которому, похоже, накутила беседа. — Мы добиваемся свободы различными способами. Одни — за чужой счет, это очень некрасиво, зато практично. Другие — выписывая в обстоятельствах щель, сквозь которую можно улизнуть. Не будем бояться слова «безумие». Я утверждаю, что могу совершить деяние по видимости безумное, чтобы продемонстрировать свою свободу действий.

— Например? — спросил Стефан, хотя ему и показалось, что Сташек, которого он видел только краешком глаза, делает какой-то предостерегающий жест.

— Например? — сладко отозвался Секуловский, сморщился, вытаращил глаза и замычал во все горло, как корова.

Стефан побагровел, как свекла. Сташек отвернулся, ухмылка на его губах превратилась в гримасу.

— *Quod erat demonstrandum*, — сказал поэт. — Я слишком ленив, чтобы изобразить нечто более впечатляюще.

Стефану вдруг стало жалко затраченных сил. Перед кем он мечет бисер?

— Это не имеет ничего общего с настоящим безумием, — продолжал Секуловский. — Это лишь маленькое доказательство. Давайте же расширять наши возможности не только в пределах нормы, давайте искать выходы из положений, выходы, которых никто не замечает.

— А на эшафоте? — сухо, но не без внутренней запальчивости бросил Стефан.

— Там, по крайней мере, можно откреститься от животного хотя бы самой формой умирания. А как бы вы, доктор, поступили в подобной ситуации?

— Я... я... — Стефан не знал, что сказать. До этого слова сами собой соскальзывали с языка, теперь, показалось ему, язык отяжелел от пустоты. А так как Тшинецкий очень боялся оконфузиться, он и в самом деле языком не мог шевельнуть. И надолго умолк. И не скоро снова обрел дар речи. — Мне кажется, мы вообще находимся на отшибе. Да вообще эта лечебница — явление нетипичное. Типичная нетипичность, — сказал Стефан; этот придуманный им оборот даже немного его ободрил. — Немцы, война, поражение — все это воспринимается тут как-то очень уж приглушенно, в лучшем случае как далекое эхо...

— Горы железных останков, правда? А настоящие корабли плавают по морям, — проговорил Секуловский и вдруг уставился в потолок. — Вы же, господа, пытаетесь поправить Творца, который испортил не одну бессмертную душу...

Он встал, прошелся по комнате и несколько раз звучно откашлялся, словно настраивая голос.

— Так что же, *радиоиге дослушатели*, мне вам еще *продемонстрировать*? — спросил поэт, остановившись посреди комнаты и скрестив на груди руки. Лицо его неожиданно просветлело. — Грядет, — прошептал он. Чуть наклонился и так напряженно стал вглядываться во что-то поверх голов врачей, что они, будто достигнутые этим странным ожиданием чего-то, тоже не могли пошевелиться. Когда напряженная тишина стала уже совсем невыносимой, поэт начал декламировать:

И бунчук из жемчужно-кольчатых червей  
На могилу мою водрузите. Пусть их шелест изложет  
Мой череп, как разрушенный город  
Гложет отблеск кровавых огней.  
Трупных бактерий белая пляска —  
Пусть повесть эту продолжит.

Потом отвесил поклон и отвернулся к окну, словно перестав замечать гостей.

— Я же просил тебя... — начал Сташек, едва они вышли.

— Я ведь ничего...

— Ты его провоцировал. Надо было все время притормаживать, а ты сразу — на полный ход. Тебе больше хотелось доказать свою правоту, чем выслушать его.

— Понравились тебе эти стихи?

— Представь себе, несмотря ни на что — да! Черт знает, сколько ненормальности таится подчас в гении и наоборот.

— Ну, знаешь ли, Сскуловский — гений! — воскликнул Стефан, так задетый, словно его это касалось кровно.

— Я дам тебе его книгу. Наверняка не читал «Кровь без лица».

— Нет.

— Сдашься!

И Сташек простился с Тшинецким, который обнаружил, что стоит возле дверей собственной комнаты. Стал шарить в ящике стола, нет ли там пирамидона. Виски разламывались, словно сжатые свинцовым обручем.

Во время вечернего обхода Стефан тщетно старался увильнуть от увядшей блондинки. Она вцепилась в него. Пришлось отвести ее в кабинет Носилевской.

— Доктор, я вам все расскажу, — затараторила она, нервно сплетая пальцы. — Меня схватили за то, что я везла свиное сало. Ну, я и притворилась сумасшедшей, испугалась, что отправят в концлагерь. А тут хуже лагеря. Я боюсь этих психов.

— Как ваша фамилия? Какая разница между ксендзом и монахом? Для чего служит окно? Что делают в костеле?

Задав эти вопросы и выслушав ответы на них, Стефан понял, что женщина действительно вполне нормальна.

— А как вы смогли притворяться?

— Ну, у меня золовка, она в психиатрической больнице Яна Божьего, так я кое-что повидала, наслушалась... будто разговариваю с кем-то, кого нет, а я его вроде бы вижу, ну и еще всякие штучки.

— Что же мне с вами делать?

— Выпустите меня отсюда. — Она молитвенно сложила руки.

— Это так просто, знаете ли, не делается. Какое-то время нам придется понаблюдать за вами.

— А это долго, доктор? Ой, и зачем я на это решилась.

— В концлагере не было бы лучше.

— Но я же, доктор, не могу быть рядом с той, которая делает под себя, умоляю вас. Мой муж сумеет вас отблагодарить.

— Ну-ну, только без этого, — отрезал Стефан с профессиональным возмущением. Он уже нашупал нужный тон. — Переведем вас в другую палату, там тихие. А теперь идите.

— Ох, мне все равно. Визжат, поют, глазами вращают, я попросту боюсь, как бы самой не спать.

Спустя несколько дней Стефан уже наловчился заполнять истории болезни «вслепую», с помощью нескольких расхожих штампов, благо так поступали почти все. Быстрее всего он раскусил Ригера: человек, несомненно, образованный, но ум его что японский садик — вроде бы и мостики, и дорожки, и вообще все красиво, но очень уж крохотное и бесполезное. Мысль его катилась по наезженным колеям. Познания его словно были сложены из разрозненных, но плотно слипшихся плиток, и он распоряжался ими совершенно по-школярски.

Спустя неделю отделение уже не производило на Тшинецкого столь неприятного впечатления. «В сущности, несчастные женщины», — думал он, хотя некоторые, особенно маньячки, хвастались общением со святыми отнюдь не в духе религиозных догм.

На воскресенье пришлось именины Паенчковского, который явился в свежееглаженном халате и с аккуратно расчесанными влажными сосульками своей реденькой бородки. Глаза его, похожие на глаза одряхлевшей птицы, одобрительно помаргивали за стеклами очков, когда психопатка из отделения выздоравливающих декламировала стишок. Потом пела алкоголичка, а в завершение выступил хор психопатов, но потом программа торжества была внезапно скомкана: все бросились к старику, и он взлетел над лесом рук под потолок. Гам, пыхтение — нашлась даже женщина-чайник, почти по Эдгару По. Старика с трудом вырвали из рук больных. Врачи выстроились в процессию — несколько на монастырский лад: во главе настоятель, за ним братья — и направились в мужские палаты, где ипохондрик, вообразивший, что болен раком, начал декламировать, но его прервали трое паралитиков, затянув хором: «Умер бедняга в больнице тюремной» — их никак не удавалось остановить. Потом было скромное пиршество во врачебном корпусе, в завершение которого Пайпак попытался сказать патриотическую речь, но у него ничего не вышло: крохотный старикашка с подергивающейся, словно все отрицающей головой прослезился над рюмкой тминной, пролил водку на стол и, наконец, к всеобщему удовлетворению, сел на место.

Больница кишмя кишела интригами. Хитроумно растянутые их сети только и ждали неловкого шага дебютанта. Кто-то старался выжить Паенчковского, распускал слухи о скорой смене руководства, радовался каждому сбою в работе, но Стефан, наблюдательный, как сквозь стекло аквариума, за выкрутасами ущербной психики, был слишком поглощен этим зрелищем, чтобы вникать в мирские дела.

Его тянуло к Секуловскому. Расставались они довольные собой, хотя Стефана раздражало, что поэт чувствует себя как рыба в воде в пучине кошмаров, на которую сам себя обрек, а Секуловский видел в молодом человеке только спарринг-партнера, полагая, что его собственный разум — мерилу всего и вся.

Дошли сюда первые известия о варшавских облавах, слухи о скором учреждении гетто, но, профильтрованные сквозь больничные стены, они казались какими-то туманными и неправдоподобными. Многие бывшие солдаты, участники сентябрьской кампании, которых война выбила из душевного равновесия, покидали больницу. Благодаря этому сделалось попросторнее; до последнего времени в некоторых отделениях одна койка приходилась на двух, а то и трех больных.

Зато труднее стало с продовольствием, не хватало лекарств. После долгих раздумий Пайпак составил и издал инструкцию, обязывающую к строжайшей экономии. Скополамин, морфин, барбитураты, даже бром оказались под ключом. Инсулин, предназначенный для шоковой терапии, заменяли кардиазолом, а тот, что еще оставался, выдавали скупой и осмотрительно. Больничная статистика захромала; из еще не устоявшихся цифр пока нельзя было выстроить новую модель сообщества умалишенных; одни рубрики таяли, другие постоянно менялись или застывали — то был период неопределенности.

Апрель день ото дня набирался сил. Дни, напоенные веселым шумом дождя и зелени, сменялись мгlisto-метельными, будто одолженными у декабря. В воскресенье Стефан встал рано, разбуженный напористым солнцем, которое сквозь веки окрасило его сон в сумрачный пурпур. Выглянул в окно. Картина, открывшаяся перед ним, то и дело менялась, будто великий художник широкими мазками набрасывал эскиз за эскизом одного и того же пейзажа, всякий раз прибавляя новые краски и подробности.

<sup>1</sup> Ангельский доктор (*лат.*). В средние века — почетное звание богословов.

В длинные ложбины между холмами, неподвижными, как спины спящих зверей, врывался волокнистый туман; черные штрихи ветвей размазывались в его волнах. Тут и там, словно кисть на что-то наталкивалась с ходу, темнели за пеленой тумана разномастные угловатые тени. Потом в белизну просочилось сверху немного золота; все заволновалось, образовались жемчужные водовороты, туман растянулся до самого горизонта, поредел, осел, и из раскальвающихся туч сверкнул день, блестящий, как ядрышко очищенного каштана.

Стефан вышел из больницы на прогулку. И сразу свернул с дороги. Зелень покрывала каждую пядь земли, буйствовала в канавах, выплескивалась из-под камней; расклеивались почки, нежные бледно-зеленые облачка окутывали далекие деревья. Стефан зашагал напрямик вверх по склону холма, по которому вольно разгуливал теплый ветер, миновал вершину, шелестевшую засохшей прошлогодней травой. От холма крутами разбежались поля, напоминавшие грязный полосатый больничный халат. На каждом стебельке сияли капли воды, голубые и белесые, внутри каждой — осколочек отраженного мира. Далекий лес, косой полоской протянувшийся к горизонту, казался перламутровым. Ниже по склону стояли три дерева, до половины окунувшиеся в небосвод, — бурые созвездия липких почек. Стефан направился в ту сторону. Обходя стороной густые заросли кустарника, он усылхал прерывистое дыхание.

Приблизился к перепутанным ветвям. В кустах на коленях стоял Секуловский и смеялся чуть слышно, но так, что у Стефана мороз пробежал по спине. Не оглядываясь, поэт позвал:

— Идите сюда, доктор.

Стефан раздвинул ветки. Показалась круглая полянка. Секуловский смотрел на кочку, вокруг которой пульсировали, петляя среди рыжеватых былин, жиденькие ручейки муравьев.

Тщинецкий стоял молча, а поэт, окинув его задумчивым взглядом, поднялся с колен и заметил:

— Это только модель...

Поэт взял Стефана под руку. Они выбрались из кустов. Вдали виднелись казавшиеся отсюда серыми и приземистыми больничные постройки. Красным пятном — словно по ошибке заброшенный туда детский кубик — выделялся хирургический корпус. Секуловский присел на траву и принялся что-то торопливо строчить в блокноте.

— Вы любите наблюдать за муравьями? — спросил Стефан.

— Не люблю, но иногда приходится. Если бы не мы, насекомые были бы отвратительнейшими творениями природы. Ведь

жизнь — это отрицание механизма, а механизм — отрицание жизни, а насекомые — оживленные механизмы, насмешка, издевка природы... Мошки, гусеницы, жучки, а ты тут изволь — трепещи перед ними! Не искушайте сил небесных...

Секуловский наклонил голову и продолжал писать. Стефан заглянул ему через плечо и прочел последние слова: «...мир — борьба Бога с небытием». Он спросил, не строчка ли это будущего стихотворения.

— Почему я знаю?

— А кто же знает?

— И вы хотите быть психиатром, психологом?

— Поэзия — это выражение отношения к двум мирам: зримому и переживаемому, — неуверенно начал Стефан, — Мицкевич, когда он сказал: «Наш народ, как лава»...

— Мы не в школе, бросьте, — перебил его Секуловский, моргая. — Мицкевичу можно было, он романтик, наш же народ как коровья лепешка: снаружи — сухо и невзрачно, а внутри — известно что. Впрочем, не только наш. А о выражении всяких там отношений и занимании позиций при мне, пожалуйста, не говорите, меня от этого мутит.

Он долго блуждал взглядом по залитым солнцем просторам. Спросил:

— Что это такое — стихотворение?

Тяжело вздохнул.

— Стихотворение возникает во мне, как фрагменты росписи, которые проступают из-под облупившейся штукатурки: отдельными, яркими обрывками. Между ними зияет пустота. Потом я стараюсь связать эти сплетения рук и горизонтов, взгляды и предметы воедино... Так бывает днем. Ночью, ибо это порой случается и во сне, ночью — это как вибрирующие удары колокола, которые сливаются в нечто целостное. Самое трудное в том, чтобы проснуться и захватить это с собой в явь.

— Стихотворение, которое вы прочли при нашей первой встрече, дневное или ночное?

— Скорее дневное.

Стефан попытался его похвалить, но получил нахлобучку.

— Вздор. Вы не знаете, что это могло быть. Что вы вообще можете знать о стихах? Писание — это окающая повинность. Если кто-то, наблюдая за агонией самого близкого ему человека, невольно вылавливает из его последних конвульсий все, что можно описать, — это настоящий писатель, Филистер тут же завопит: «Подлость». Не подлость, милейший, а только страдание. Это не профессия, этого не выбирают, как место в конторе. Спо-



койствие — удел лишь тех писателей, которые ничего не пишут. А такие есть. Они блаженствуют в океане возможностей, понимаете? Чтобы выразить мысль, надо ее сперва ограничить, то есть убить. Каждое произнесенное мною слово обкрадывает меня на тысячу иных, каждая строфа — это гора самоотречений. Я вынужден выдумывать уверенность. Когда отваливаются те самые куски штукатурки, я чувствую, что глубже — там, за золотыми фрагментами, разверзается невысказанная бездна. Она там наверняка, но любая попытка докопаться до нее оборачивается крушением. И мой страх...

Он умолк и вздохнул.

— Всякий раз мне кажется, что это — последнее слово. Что больше не смогу... Вам, разумеется, не понять. Вы понять не можете. Страх, что слово это последнее, — как это объяснишь? Ведь слова хлещут из меня, как при паводке — вода из-под дверей. Не знаю, что за ними. Не знаю, не последняя ли это волна. Мощь источников не в моей власти. Они настолько во мне, что как бы вне меня. И вы хотите, чтобы я «выражал отношение»... Я вечно внутренне скован. Свободным я могу быть только в людях, о которых пишу, но и это — иллюзия.

Для кого мне писать? Исчез пещерный человек, который пожирал горячий мозг из черепов своих ближних, а их кровью рисовал в пещерах произведения искусства, равных которым нет и по сей день. Миновала эпоха Возрождения, гениальных универсалов и костров с поджаривающимися еретиками. Исчезли орды, обуздывающие океаны и ветер. Близится эра загнанных в казармы пигмеев, консервированной музыки, касок, из-под которых невозможно смотреть на звезды. Потом, говорят, должны воцариться равенство и свобода. Почему равенство, почему свобода? Ведь отсутствие равенства порождает сцены, полные провидческой символики, порождает пламя отчаяния, а беда способна выжечь из человека нечто более ценное, чем лощенная пресыщенность. Я не хочу отказываться от этих колоссальных перепадов напряженности. Если бы это от меня зависело, остались бы и дворцы, и трущобы, и крепости!

— Мне рассказывали, — отозвался Стефан, — о русском князе, отличавшемся крайней чувствительностью. Из окон его дворца, стоявшего на высоком холме над деревней, открывался чудесный вид. Лишь несколько ближайших, крытых соломой изб нарушали колористическую цельность картины. И он велел их сжечь: контуры обугленных стропил придали картине нужную тональность, которую он так искал. Она сделалась сочной.

— Этим вы меня не проймете, — сказал Секуловский. — Ра-

ботаем для масс, да? Я не Мефистофель, дорогой доктор, но я люблю каждую проблему продумывать до конца. Филантропия? К милосердию приговорены дипломированные девицы с иссохшими гормонами, что же касается революционных теорий, то беднякам некогда заниматься такими вещами. Этим всегда занимались ренегаты из стана толстобрюхих. Впрочем, людям всегда плохо. Тот, кто ищет покоя, тишины, благодати, найдет все это на кладбище, а не в жизни. Да к чему тут абстракции? Я сам вырос в нищете, о какой вы понятия не имеете, господин доктор. Знаете, свое первое рабочее место я получил трех месяцев от роду. Мать давала меня напрокат побирушке, так как женщине с ребенком больше платят. Восьми лет от роду я болтался вечерами возле ночных заведений и выбирал в изысканной толпе самую шикарную пару. Шел за ней по пятам и плевал на котиков, бобров, ондатр, оплевывал изо всех сил манто, пропахшие духами, и женщин, пока не пересыхало во рту... А то, чего добился, я отвоевал себе сам. Тот, у кого действительно есть способности, всегда выбьется.

— А остальные — удобрение для гения?

Стефан порой сам думал так же; это походило на спор с самим собой.

Он забыл об осторожности: в раздражении поэт бывал груб.

— Ах да... — Секуловский оперся локтями о траву и, глядя на пламенеющие облака, презрительно рассмеялся. — Это вы-то предпочитаете быть удобрением для грядущих поколений? Ложиться костями под стеклянные дома? Бросьте, доктор; больше всего я не выношу скуки.

Стефан почувствовал себя задетым.

— Значит, вам, например, нет никакого дела до массовых облав в Варшаве, до вывоза людей в Германию? Собираетесь ли вы туда вернуться, покинув нас?

— Почему облавы должны волновать меня больше, чем набег татар в тринадцатом веке? По причине случайного совпадения во времени?

— Не спорьте с историей — она всегда права. Надеюсь, вы не сторонник страусиной политики?

— История выигрывает: таково право сильного, — сказал поэт. — Конечно, будучи для себя целым миром, в лавине событий я подобен пылинке. Но ничто и никогда не заставит меня мыслить, как пылинка!

— А известно ли вам, что немцы провозгласили тезис о ликвидации всех душевнобольных?

— Сумасшедших на свете, кажется, миллионов двадцать. Надо

бросить призыв к единению: будет священная война, — сказал Секуловский и лег навзничь.

Солнце припекало все сильнее. Видя, что поэт хочет увильнуть от ответа, Стефан попытался его дожать.

— Я вас не понимаю. При нашей первой встрече вы говорили об искусстве умирания.

У Секуловского явно портилось настроение.

— Где же тут противоречие? Мне наплевать на независимость государства. Важна лишь духовная независимость.

— Следовательно, по-вашему, судьбы других людей...

Секуловский вскочил, лицо его дергалось.

— Ты скотина! — заорал он. — Ты хам!

И помчался вниз по склону. Стефан, раздосадованный до глубины души, чувствуя, как приливает кровь к лицу, бросился вдогонку. Поэт остановился и рывкнул:

— Шут!

Когда они уже подходили к санаторию, Секуловский успокоился и, глядя на стену, заметил:

— Вы, господин доктор, плохо воспитаны; я бы сказал: вы делаетесь вульгарным, когда в разговоре стремитесь непременно меня уязвить.

Стефан был взбешен, но старался показать, что он, врач, прощает больному его выходку.

Через три недели Тшинецкий перешел в отделение Каутерса. Перед началом работы нанес новому начальству визит. Открыл ему сам хирург; он был в слишком просторной синей тужурке с серебряными галунами. Стефан извинился и продолжал заранее заготовленную речь, пока они шли через темную переднюю до гостиной, — тут он ошеломленно умолк.

Первое впечатление — цвет: бронза с чернью и пульсирующими прожилками фиолетового. С потолка свешивались похожие на четки гирлянды из бледно окрашенной чешуи, пол застилал черно-апельсиновый арабский ковер — выцветшие гондолы? языки пламени? саламандры? Стен не видно было за гравюрами, картинами в черных рамах, за узкими, как придорожные часо-венки, шкафчиками с радужно переливающимися стеклами дверок, на ножках из рогов буйвола. Из ближайшей стены, как клинок из ножен, высывалась, скаля желтые зубы, пасть крокодила: ни дать ни взять — одревеневшее хищное растение. Стол очень низкий, покрытый девятиугольником отшлифованного стекла, под стеклом — море янтарных и коричневых фантастических, ни на что не похожих цветов. По обе стороны две-

рей — шкафы, хаотично забитые книгами: фолианты в кожаных переплетах, замшелые от старости издания с золотым обрезом. Огромные атланты-альбомы с серыми, пунцовыми и пестрыми корешками выглядывали из-за безделушек, занимавших передние края полок.

Каутерс усадил гостя — Стефан все еще не мог оторвать глаз от японских гравюр, древнеиндийских божков и поблескивающих вещей из фарфора, — сказал, что очень рад и попросил рассказать немного о себе: им надо познакомиться поближе. В этой глуши интеллигентные люди — редкость. Желает ли он специализироваться?

Стефан что-то пробормотал в ответ, с удовольствием ощупывая густую бахрому чесучового чехла, который покрывал подлокотники кресла, аэродинамического колосса, обтянутого скрипучей кожей. Постепенно он стал осваиваться; примыкавшая к окнам часть комнаты служила, судя по всему, кабинетом. Над огромным письменным столом висели репродукции и гипсовые маски. Некоторые он знал. Была там целая галерея уродцев: на хилом, улиткообразном тельце — голова без шеи, с лягушачьим раскрытым глазом и полуоткрытым ртом, заполненным червеобразным языком. Под стеклом — несколько мрачных, отталкивающих лиц работы Леонардо да Винчи; одно — с подбородком, торчащим, как носок старого башмака, и глазами напоподобие сморщенных гнездышек — смотрело на него. Были там замысловато деформированные черепа и чудовища Гои с ушами вроде сложенных крыльев летучих мышей и косыми острыми скулами. В простенке между окнами висела большая гипсовая маска из церкви Санта Мария Формоса: правая половина лица принадлежала мерзкому оскалившемуся пропойце, левая вздувалась опухолью, в которой плавали выпученный глаз и редкие зубы лопаточками.

Заприметив любопытство гостя, Каутерс начал с удовольствием показывать свои сокровища. Он был страстным коллекционером. У него оказался огромный альбом гравюр Менье, запечатлевших давние способы лечения умалишенных: вращение в громадных деревянных барабанах, хитроумные кандалы с жалащими шипами, ямы с гремучими змеями, пребывание в которых якобы целительно воздействовало на помутненное сознание, железные груши с запирающейся на затылке цепочкой, которые вставлялись в рот, дабы больной не мог кричать.

Возвращаясь от письменного стола к креслу, Стефан заметил на шкафах шеренги высоких банок. В мутном растворе плавало что-то фиолетовое и серовато-сизое.

— Ах, это моя коллекция, — сказал Каутерс и принялся по-

очередно тыкать в банки черной указкой. — Это — *cephalothoragocoragus*, далее — *cranioragus parietalis*, великолепный образец уродца, и один весьма редкий *epigastrius*. Последний плод — это очаровательный *diprosopus*<sup>1</sup>, у которого из нёба растет нечто вроде ноги, — к сожалению, слегка поврежден при родах. Есть и несколько менее интересных...

Каутерс извинился и приоткрыл дверь. Донеслось нежное побрякивание фарфора, и вошла госпожа Каутерс с черным лаковым подносом, на котором дымился пунцовый с серебряными ободками кофейный сервиз. Стефан снова изумился.

У госпожи Амелии были мягкий, большой рот и строгие глаза, немного похожие на мужнины. Улыбаясь, она показывала острые, матово поблескивавшие зубы. Красивой назвать ее было нельзя, но взгляд она притягивала. Черные волосы, заплетенные по бокам головы в тугие, короткие косички, раскачивались, словно сережки, под ушами при каждом ее движении; она знала, что у нее красивые руки, и надела кофточку с короткими рукавами; на груди — брошь, аметистовый треугольник.

— Нравятся вам наши фигурки? — осведомился хирург, подвигая Стефану сахарницу в форме ладьи викингов. — Ну что ж, люди, которые, как мы, отказались от столь многого, имеют право на оригинальность.

— У нас мягко выстланное гнездышко, — сказала госпожа Амелия и кончиками пальцев притронулась к пушистому коту, который бесшумно карабкался на кресло. Очертания ее бедер, сочные и мягкие, растворялись в черных складках платья.

Стефан уже не изумлялся, а впитывал в себя впечатления. Кофе был отменный, давно он не пил такого ароматного. Фрагменты интерьера, казалось, позаимствованы у голливудского режиссера, который вознамерился показать «салон венгерского князя», не зная, что такое Венгрия. Дверь квартиры Каутерса была словно нож, который отсек лезущую отовсюду в глаза, нос и уши больницу с ее вылизанной белизной кафельных стен и отопительных батарей.

Вглядываясь в желтоватое лицо хирурга с трепещущими, как крылья встревоженных бабочек, веками за стеклами очков, Стефан подумал, что эта комната — как бы сердцевина воображения Каутерса. Мысль эта пришла ему в голову как раз в тот момент, когда речь зашла о Секуловском.

— Секуловский? — Хирург пожал плечами. — Какой Секуловский? Его фамилия Секула.

<sup>1</sup> Латинские наименования сросшихся близнецов разных видов (прим. ред.).

— Он изменил фамилию?

— Нет, зачем же? Взял псевдоним, когда разгорелся скандал, ну, из-за той книги. — Каутерс повернулся к жене.

Амелия улыбнулась.

— «Размышления о пользе государства». О, так вы ее не читали? В самом деле? Нет, у нас ее нет. Столько было шуму... Что там было? Ну... вообще... рассуждения. Вроде бы обо всем, но больше о коммунизме. Левые на него набросились... это сделало ему огромную рекламу. Стал повсюду бывать.

Стефан, опустив голову, рассматривал свои ногти.

Амелия вдруг спохватилась:

— Сама я этого не помню, само собой. Я была маленькая. Мне уже потом рассказывали. Мне нравились его стихи.

Она взяла с полки томик, протянула Стефану. При этом с полки свалилась на пол тоненькая книжица в эластичном светлом переплете. Стефан бросился помочь. Когда он поднял книгу с пола, Каутерс показал на нее пальцем.

— Красивый переплет, верно? Редкость, — сказал он. — Кожа с внутренней стороны женских бедер.

Когда Стефан отдернул руку — резче, чем следовало, — хирург отобрал у него книгу.

— Мой муж — чудак, — сказала госпожа Амелия. — Но до чего мягонький переплет, вы потрогайте.

Стефан что-то буркнул и, весь взмокший, вернулся на свое место.

Он подумал, что это нагромождение диковинок — как бы парафраз человеческих состояний, заточенных в больничных корпусах. Подобно тому, как цветы, содержащиеся в необычных условиях, подвержены мутациям, человек, произрастающий не во дворе обычного городского дома, ударяется в необычность. Но потом сам себя поправил: может, именно потому, что он не такой, как другие, Каутерс отказался от города и создал этот сумрачный, лиловый интерьер.

Амелия, разговаривая (голос у нее был низкий), грациозно скидывала руку к лицу и изящным движением крупных пальцев слегка касалась уголка глаза или рта, словно сама этого не замечая.

Уже прощаясь, Стефан заметил за ширмочкой аквариум — прозрачный чан, переливающийся вплавленной в стекло радугой. На поверхности воды плавала маленькая золотая рыбка — зеленоватым брюшком вверх; вне всяких сомнений, мертвая. От этой картины трудно было отделаться, он почувствовал себя разбитым, как после изнурительной умственной работы. На ужин идти не

хотелось, но он побоялся, что на это могут обратить внимание, и заставил себя пойти. Носилевская была за столом такая же, как всегда: немного сонная, предупредительная; она редко улыбалась, и сейчас это было особенно приятно. Сташек пожирал ее глазами; глупец — думал, что никто этого не замечает.

Ночью Стефан никак не мог заснуть и в конце концов принял люминал. Ему приснилась госпожа Каутерс с корзиной дохлых рыб. Она раздавала их стоявшим вокруг нее врачам. Когда подошла к нему, он проснулся с колотящимся сердцем и уже не заснул до утра.

Секуловский вовсе не оскорбился: передал через Сташека, чтобы Тишинецкий утром заглянул к нему. Стефан пошел сразу после завтрака. Теперь он повел себя иначе: не похлопывал поэта по плечу, не смотрел на него сверху вниз. Порой еще пытался возражать, критиковал его идеи, но сам уже нуждался в них, как в опоре.

Поэт сидел у окна, рассматривал большую фотографию, на которой был зал, заполненный непринужденно беседующими людьми.

— Взгляните на лица, — сказал он, — на эти типично американские рожи. Какое самодовольство, как все разложено по полочкам — обед, ужин, постель и подземка. Ни минуты для метафизики, для размышлений о жестокости Вещей. Воистину, Старому Свету, видимо, так уж на роду написано: мы обречены выбирать всего лишь разновидность мук — более почетную или менее почетную.

Стефан рассказал о своем визите к Каутерсу. Он отдавал себе отчет в том, что нарушает неписанные больничные законы, говоря с Секуловским о коллеге, но сам же мысленно и оправдал себя: они оба выше этого. О том, что Каутерс сказал о Секуловском, Стефан, разумеется, умолчал.

— Не ерундите, — добродушно возразил поэт. — Какое уродство? В искусстве все можно сделать или хорошо, или плохо — иного не бывает. Ван-Гог нарисует вам старый ночной горшок так, что только ахнешь. А вот халтурщик первую красавицу превратит в кич. В чем же суть? Да в том, чтобы человека малость выпотрошить. Отблеск мира, запечатленное умирание, катарсис — и точка.

Стефан заметил, что это все же перебор — жить в таком музее.

— Вы это недооцениваете? Несправедливо. Может, закроете окно? — попросил поэт.

В ярком свете он выглядел особенно бледным. Ветер нес со двора навязчивый запах цветущих магнолий.

— Запомните-ка, — продолжал Секуловский, — все существует во всем. Самые далекие звезды влияют на венчик цветка. В росе нынешнего рассвета — вчерашнее облако. Все сплетает между собой вездесущая взаимозависимость. Ни единая вещь не может вырваться из-под власти других. А тем более — вещь мыслящая, человек. Камни и лица отражаются в вашем сне. Запах цветов искривляет направление наших мыслей. Так почему же не моделировать произвольно то, что формировалось случайно? Окружая себя игрушками и побрякушками из золота и слоновой кости, мы как бы подключаемся к аккумулятору. Божок величиной с палец — это плод фантазии художника, которая конденсировалась годы. И вот сотни часов не пропали даром: можно возлечь погреться...

Поэт замолчал, а потом добавил со вздохом:

— «А порой мне довольно рассматривать камень»... Это не я, — пояснил он, — это Чанг Кю Лин. Великий поэт.

— Древний?

— Восьмой век.

— Вы говорите: «мыслящая вещь», — сказал Стефан. — Вы ведь материалист, да?

— Материалист ли я? О, магия классификаторства! Я полагаю, что человек и мир сделаны из одной и той же субстанции, хоть и не знаю, что она собой представляет — за гранью слов. Но это — две поддерживающие друг друга арки. Ни одна не может существовать отдельно. Вы скажете, что после нашей смерти стол этот все равно будет существовать. Но для кого? Ведь для мух это уже не будет «наш стол». «Бытие вообще» не существует, поскольку предмет сразу же распадается: стол «существует безлюдно» — как что? Как полированная доска на четырех колышках? Как куча мумифицированных клеток древесины? Как хаос химических цепочек целлюлозы или, наконец, как кружение электронных туманностей? Следовательно, что-то — оно всегда для кого-то. Вот дерево за окном, оно и для меня, и для микроба, который питается его соками. Для меня — шумящая частица леса, ветви на фоне неба; для него же единственный лист — зеленый океан, а ветка — целый остров-вселенная. Так есть ли у нас — у меня и у микроба — какое-то общее дерево? Вздор. Почему же тогда выбирать именно нашу точку зрения, а не микроба?

— Потому, что мы не микробы, — вставил Стефан.

— Пока нет, но будем. Размельчимся в земле на мириады азотных бактерий, проникнем в корни деревьев, заполним яблоко, которое кто-то съест, философствуя, как мы теперь, и любуясь



розовеющими облаками, в которых будет влага из наших тел. И так — по кругу. Число превращений беспредельно.

И, довольный собой, Секуловский закурил.

— Значит, вы атеист.

— Да, но несмотря на это, у меня есть часовенка.

— Часовенка?

— Вы, может, читали «Молитву моему телу»?

Стефан вспомнил этот гимн легким, печени, почкам.

— Оригинальные святыни...

— Ну, это стихи. Я разграничиваю мои философские взгляды и творчество и никому не позволяю судить обо мне по уже написанным вещам, — сказал Секуловский с внезапным озлоблением и, бросив под стол сигарету, продолжал: — Иногда я все-таки молпось. Прежде говорил: «Господи, которого нет». Какое-то время это, в общем, меня удовлетворяло. Но теперь... молпось Слепым Силам.

— Как вы сказали?

— Молпось Слепым Силам. Ведь, в сущности, это они распоряжаются и телом нашим, и миром, и словами, которые я произношу в данную минуту. Я знаю, что они молитвам не внемлют, — поэт улыбнулся, — но... разве это беда?

Время шло к одиннадцати. Стефан, хочешь не хочешь, отправился на утренний обход. В восьмом изоляторе уже около месяца находился ксендз Незглоба, невысокий костлявый человек; руки его были словно оплетены сеткой фиолетовых жил. Видно, когда-то он немало ими потрудился.

— Как вы себя чувствуете? — войдя, ласково спросил Стефан.

Ксендзу сделали поблажку и оставили сутану; она чернела бесформенным пятном на белизне больничной комнатенки. Стефан стремился быть деликатным, поскольку знал, что заведующий отделением Марглевский в минуты хорошего настроения величает ксендза «послом царства небесного» и развлекает анекдотами из жизни церковных иерархов. Тоцкий доктор был большим докой по этой части.

— Терзает меня это, господин доктор.

Голос у ксендза был нежный; пожалуй, даже чересчур сладкий. Он страдал бесконечно повторяющимися галлюцинациями; как-то, подвыпив на крестинах, он услышал женский голос у себя за спиной. Тщетно озирался он по сторонам: незримый голос звучал с высот, в которые он не мог проникнуть взглядом.

— Все та же персидская княжна?

— Да.

— Но вы ведь понимаете, что это вам лишь чудится, это галлюцинация?

Ксендз пожал плечами. Глаза у него были запавшие от бессонницы, темные веки — в мельчайших жилках.

— Таким же нереальным может быть и мой разговор с вами, тот голос я слышу столь же отчетливо, как ваш.

— Ну-ну, пожалуйста, не расстраивайтесь, это пройдет. Но алкоголя вам уже нельзя ни капли.

— Никогда бы себе этого не позволил, — покаянно отозвался ксендз, глядя в пол, — но мои прихожане — неисправимые людишки. — Он вздохнул. — Обижаются, сердятся, а уж настойчивые... Вот, чтобы их не обидеть...

— Гм...

Стефан машинально проверил мышечные рефлексы и, пряча молоточек в карман халата, спросил на прощанье:

— А что вы делаете целый день, отец? Не скучно вам? Может, принести какую-нибудь книжку?

— У меня есть... книжка.

Действительно, перед ксендзом лежал пухлый том в черной обложке.

— Да? А что вы читаете?

— Я молюсь.

Стефан вдруг вспомнил «Слепые Силы» и с минуты постоял в дверях. Потом, пожалуй слишком стремительно, вышел.

В отделении Носилевской он уже не бывал вовсе. Личные судьбы больных, которые привлекали его поначалу — как в детстве анатомический атлас дяди Ксаверия, полный кровавых картинок, — сделались ему безразличны. Порой он перекидывался несколькими словами со старым Пайпаком, иногда вызывался ассистировать ему при утреннем обходе.

Работая у Каутерса, он ближе узнал старшую сестру его отделения. Фамилия ее была Гонзага. Тучная, носившая несколько юбок, широкая в кости, она казалась строгой. Но строгой лишь как-то вообще, ибо в гнсе никто никогда ее не видел. Она действовала на человеческое воображение, как пугало на воробьев. Щеки ее сбсгали к синеватой линии рта множеством морщинистых складок. В огромных руках она всегда что-то держала — то кожаный кошель с ключами, то книгу с записями назначений, то кипу салфеток. Поднос со шприцами она не носила: для этого были санитарки. Толковая хирургическая сестра, молчаливая и одинокая; казалось, у нее нет никакой свосй жизни. К ней одной Каутерс относился с уважением. Однажды Стефан увидел, как, прижав обе ладони к груди, высокий хирург словно оправдывался перед ней, нервно подергивая плечами; убеждал в чем-то или просил. Сестра Гонзага стояла, вытянувшись во весь свой огромный

рост, не шевелясь, с лицом, разделенным надвое тенью от оконного переплета, глаза без ресниц не моргали. Сцена была столь необычной, что запала Стефану в память. Больше такое не повторялось. Старшую сестру можно было встретить в коридорах днем и ночью, плывущую — ног из-за множества юбок видно не было — почти как луна, особенно если смотреть со спины; казалось, ее рогатый чепец освещает сумрачные галереи.

Стефан разговаривал с ней только о предписанных большим процедурах и лекарствах. Как-то, едва расставшись с Секуловским, он искал в шкафчике дежурки какую-то баночку, и старшая сестра, записывавшая что-то в книгу назначений, вдруг изрекла:

— Секуловский хуже сумасшедшего: он комедиант.

— Извините, — Стефан обернулся, изумленный этим известием к кому обращенным заявлением. — Вы это мне, сестра?

— Нет. Вообще, — ответила она и поджала губы.

Тшинецкий, разумеется, не осмелился рассказать поэту об этом инциденте, но все же спросил, знает ли тот сестру Гонзагу. Но Секуловского вспомогательный персонал не интересовал. О Каутерсе он выразился лаконично:

— Не кажется ли вам, что его интеллигентность орнаментальна?

— ?

— Она такая плоская.

В углу, образованном двумя стенами ограды, помещался запущенный и как бы забытый, оплетенный лозами, сейчас еще прозрачно безлистными, корпус кататоников. Стефан навещал туда редко. Вначале вознамерился было вычистить эти авгиевы конюшни — мрачные, с подслеповатыми окнами палаты, словно приплюснутые сизым потолком, в которых неподвижно стояли, лежали и преклоняли колени больные, — но вскоре забросил эти реформаторские проекты.

Сумасшедшие лежали на сетках без матрасов. Их тела, заросшие грязью, покрывались нарывами соответственно рисунку их ажурных проволочных лежбищ. Воздух был насыщен едким смрадом аммиака и испражнений. Этот последний круг ада, как однажды назвал его Стефан, редко навещали и санитары. Казалось, какие-то неведомые силы удерживают в живых этих людей с угасающим сознанием. Внимание Стефана привлекли два паренька; первый, еврей из маленького местечка, с шаровидной головой, поросшей жесткими волосами морковного цвета, вечно голый, натягивавший на голову одеяло всякий раз, как кто-ни-

будь входил в его отдельную каморку, сидел, съезжившись, на койке. Без конца, дни напролет, он визгливым голосом повторял какие-то два слова на идише. Когда к нему приближались, повышал голос до жалобного молитвенного вопля и начинал дрожать. Взгляд его голубых глаз, казалось, раз и навсегда прилип к железной раме койки. Второй, блондин с соломенными волосами, ходил по пространству, отделявшему общую палату от каморки еврея, — от угловой койки до стены и обратно. На этой восьмishaговой голгофе он всякий раз ударялся с размаха о железную спинку кровати, но не замечал этого. Повыше бедра чернела вздувшаяся рана. Заслышав шаги чужака, он вскидывал руки, до того скрещенные на груди, и закрывал ими лицо, но ходить не переставал. И как-то по-детски начинал стонать — странно это было слышать из уст мужчины, хотя именно в этот миг он им и становился. Его тело, освободившееся от власти сознания, жило по звериным законам — под распахнутой рубашкой лоснилась лепнина мускулатуры, придающая осанистую монументальность торсу. На лице его, белом, как стена, о которую он ударялся, с синеватыми белками глаз, застыл то ли вопрос, то ли просьба.

Стефан как-то заглянул туда в необычное время, после обеда, желая проверить одно свое предположение: он подозревал, что санитарка Ева поступает с парнями подло, так как после ее посещений они всегда бывали крайне возбуждены. Еврея трясло так, что скрежетала проволоочная сетка, а статный блондин чуть не бегом носился по проходу, врезался в спинку кровати, отскакивал от нее и ударялся о стену.

Палаты заполнял полумрак мгlistых, сгущающихся сумерек. Ветер стучал в стекла шупальцами лоз. Стефан замер в коридорчике: Носилевская, стоя возле койки еврея, неторопливо сдвинула у него с головы одеяло, которое попытались было водворить на место его толстые красные пальцы, и движениями необычайно легкими и ласковыми принялась гладить спутавшиеся, жесткие волосы больного. Повернувшись лицом к окну, она, казалось, смотрела куда-то вдаль, хотя в четырех шагах от стекла застила свет кирпичная стена, покрытая замысловатой сетью трещин.

Стефан глянул в сторону — в полосе тени он увидел второго хроника, который, прервав свой неустанный поход, стоял, прижавшись к дверному косяку, и не сводил глаз с темного на фоне окна силуэта женщины. Тшинецкий хотел было войти в палату, потребовать объяснений, но повернулся и, ступая как можно тише, пошел прочь.

Был май. Все пронзительнее зеленел лес, который двумя широкими, напоминающими пухлые полумесяцы дугами опоясывал взнесенную на холм больницу. Всё новые цветы распускались каждую ночь, всё новые листочки, которые вчера еще болтались на ветках влажными жгутиками, расправлялись, словно крылья к полету. Колонны берез, уже не тускло-серебряные, а спящие белизной, подступали к самым окнам. На тополях всеми оттенками светлого меда искрились набухшие солнцем сердечки-листья. Дорога, петляющая среди холмов, стороной обходила вытянувшийся вверх крест, который сиротливо чернел на фоне распахнувшихся настезь просторов. Тут и там песчаные холмы ощетинились глиной; казалось, кто-то раскидал по этой радующей глаз картине медовые соты.

Каутерс поручил Стефану обследовать инженера Рабевского, которого доставили на автомобиле из соседнего городка.

Жена больного рассказала о странной перемене, произошедшей с мужем в последние месяцы. Он был хорошим специалистом, но после прихода немцев, когда при бомбежке разрушили завод, на котором он работал, устроился преподавателем на технические курсы. Уравновешенный, флегматичный, лысеющий, он самозабвенно рыбачил, собирал библиотеку и не ел мяса. Слыл человеком добрейшей души, который и мухи не обидит. С Нового года напала на него сонливость. Дошло до того, что он стал задремывать за обедом, потом, правда, неожиданно пробуждался, словно оцепеневший жучок, которого внезапно потревожили. Он сделался ленив, не мог заставить себя ходить на занятия, но вот дома его будто подменили: любой пустяк выводил его из себя, — правда, он очень быстро и отходил. После каждой такой вспышки засыпал на несколько часов, а просыпался от резкой боли в висках. Ко всему прочему он стал как-то чудно шутить: его смешили такие вещи, в которых никто, кроме него, ничего смешного не находил.

Санитар, которого все называли Юзефом-младшим, огромный детина, способный своими мозолистыми ручищами утихомирить любое отчаяние, ввел инженера в кабинет. Полный мужчина с лысиной, обрамленной венчиком седеющих волос, в вишневом больничном халате, с трудом дошаркал до стула и плюхнулся на него до того неловко, что даже зубы щелкнули. На вопросы отвечал только после долгого молчания, повторять их ему приходилось по несколько раз и формулировать как можно проще. Увидев стоявший на столе стетоскоп, инженер негромко захохотал.

По всем правилам заполнив историю болезни, Тщинецкий приступил к обследованию рефлексов. Уложил инженера на клеенчатый диван. Солнце за окном буйствовало, все никелированные предметы в кабинете превратились в осколки радуги. Стефан обстукивал молоточком сухожилия, когда в кабинет вошел Каутерс.

— Ну, как там, коллега?

Он был оживлен и деловит. Удовлетворенно выслушал заключение Стефана.

— Это поразительно, — заметил он. — Да. Давайте так и запишем: *suspectio quoad tumorem*<sup>1</sup>. Пока. Сделать, скажем, обследование глазного дна. И пункцию. Ну, и это...

Он взял молоточек и принялся выстукивать худые ноги Рабевского.

— Ага? Что? Ну-ка, дотроньтесь левой пяткой до правого колена. Нет, не так. Объясните ему, коллега. — Он отошел к окну.

Стефан стал громко объяснять. Каутерс снова приблизился к ним, разминая пальцами лист, сорванный с прижавшейся к оконной раме ветки. Нюхая свои длинные узловатые кисти, удовлетворенно заметил:

— Превосходно. Значит, у нас и атаксия.

— Вы полагаете, доктор, церебральная?

— Пожалуй, нет. Ну, так этого не обнаружить. Но вот провалы в мышлении. Абулия. Сейчас посмотрим. — Он вырвал из блока листа, начертил на нем круг и показал Рабевскому. — Что это?

— Такая часть... — после долгих раздумий ответил инженер. Голос у него был страдальческий.

— Чего часть?

— Катюшки.

— Ну, вот вам!

Стефан рассказал об эпизоде со стетоскопом. Каутерс потер руки.

— Отлично. *Witzelsucht*<sup>2</sup>. Как в учебнике, правда? Убежден, у нас опухоль в лобной части. Разумеется, так оно и окажется. Пожалуйста, коллега, запишите свои наблюдения поподробнее.

Больной лежал на клеенчатом диване навзничь, вперив выкаченные глаза в потолок. Он выдыхал шумно; верхняя губа приподнималась, и открывались желтые крупные зубы.

К вечеру у Стефана сделался жар, заболела голова, стало ло-

<sup>1</sup> Предположительно — опухоль (лат.).

<sup>2</sup> Здесь: неадекватная смешливость (нем.).

мить в костях. Он выпил два порошка аспирина, а Сташек, неожиданно заглянувший к нему, принёс ещё и четвертинку спирта: это уж точно поможет. Однако слабость, озноб и жар по вечерам продержались четыре дня. Только на пятый он смог встать с постели. После завтрака сразу отправился в изолятор к Рабевскому — его занимало, как он там. Перемены были значительные. Обычную низкую больничную кровать заменили специальной, с веревочными сетками сверху и по бокам. В этой своеобразной клетке высотой в сорок сантиметров лежал, словно в сетях, инженер; он, казалось, весь распух. Склонившийся над кроватью Каутерс пристальнейшим образом разглядывал его, то и дело отводя голову в сторону, так как узник пытался плюнуть ему в лицо; по толстым складкам над верхней губой больного текла белая пена. Хирург снял очки, и Стефан впервые увидел его глаза, не защищённые стеклами. Выпуклые, матовые, темные, они напоминали глазки насекомого, если на них посмотреть в лупу.

— Опухоль разрастается, — неуверенно прошептал Стефан.

Хирург пропустил его слова мимо ушей. Он снова отпрянул, поскольку Рабевский ухитрился повернуть голову в его сторону и брызгал слюной. Больной хрипел, напрягая мышцы спеленутого тела.

— Давление на двигательные зоны, — пробормотал Каутерс.

— Вы, доктор, думаете об операции?

— Что?.. Сегодня сделаем пункцию.

К вечеру мозг, истязавший тело Рабевского, казалось, пришёл в неистовство. Мышцы больного сжимались и стремительно перекачивались под блестящей от пота кожей. Сетка кровати брэнчала, словно струнный музыкальный инструмент. Стефан дважды приходил со шприцем, но это не очень-то помогало: только хлораловый наркоз на какое-то время успокоил безумца. Очнувшись, инженер впервые за много часов прорсагировал на свет и прохрипел:

— Знаю... это я... спасите...

Стефана передернуло. После пункции и откачки ликвора наступило небольшое облегчение. Каутерс просиживал в изоляторе дни напролет, а когда приходил Стефан, делал вид, будто и сам только что заглянул сюда проверить рефлексы. Тшинецкий поначалу удивлялся, отчего хирург тянет, потом это стало его тревожить: день ото дня шансы на успех операции уменьшались.

Состояние возбуждения скоро прошло. Инженер уже мог сидеть в кресле — бледный, заросший, совсем не похожий на того плотного мужчину, который появился здесь три недели назад. Он стал постепенно слепнуть. Стефан уже не решался спрашивать о

дате операции: Каутерс явно был не в своей тарелке, словно чего-то ждал; Рабевский стал его любимчиком — он приносил инженеру кусочки сахара и долго наблюдал, как тот чавкает, разгрызая его, как пыгается определить положение собственного тела, дотрагиваясь рукой до колена, голени, ступни. Чувства у инженера постепенно угасали, мир отдалялся от него. Когда ему кричали прямо в ухо, подрагивание век означало, что он еще слышит.

Десятого июня Каутерс, выглянув из изолятора, поманил проходившего мимо Стефана. Палата выглядела пустой: ни стульев, ни столика. Рабевский опять висел в своей клетке — голый, распухший, огромный.

— Смотрите-ка, коллега, и примечайте, — распорядился сияющий Каутерс.

Стянутое веревками тело вздрогнуло. Рука больного ползала по сетке, словно обезумевшее животное. Затем туловище стало дергаться — вверх, вниз, вверх, вниз. Сетка скрипела, железные ножки кровати барабанили по полу. Казалось, кровать вот-вот перевернется. Врачам пришлось притиснуть ее к стене. Приступ прекратился так же неожиданно, как и начался. Напрягшесся, одеревеневшее тело обвисло в сетке. Изредка по руке или ноге пробегала судорога. Потом все успокоилось.

— Что это? Знаете? — спросил хирург, будто экзаменуя Стефана.

— Раздражение двигательной зоны, вызванное давлением опухоли...

Каутерс был иного мнения.

— Нет, коллега. Мозговая кора уже начинает отмирать. Рождается «бескорый человек»! Освобождение от сдерживающего воздействия коры, дают знать о себе более глубокие, более древние участки мозга, еще не поврежденные. Этот приступ был *Bewegungssturm* — двигательная буря, рефлекс, проявляющийся у всех живых существ, от инфузории до птицы. Испугавшись чего-то, что угрожает его жизни, животное начинает беспорядочно метаться, пытаясь убежать. Наступающее затем одеревенение — это вторая скорость того же самого реактивного аппарата. Так называемый *Totstellreflex*, рефлекс симуляции смерти. Как у жучков. Видите, как это происходит? О, теперь это получается преотлично! — возбужденно закричал он, наблюдая за тем, как терзаемый судорогами инженер, выгнув спину, словно лук, бросился на натянутую сетку. — Да... это идет через четверохолмие. Классический случай! Механизм, которым миллионы лет назад пользовались еще земноводные, теперь, когда отпадают более поздние наслоения мозговой массы, пробивается у гомо сапиенс...



— Надо... надо все приготовить к операции? — спросил Стефан. Он не мог больше смотреть ни на бющееся в судорогах тело, ни на радость хирурга.

— Что? Нет, нст. Я дам вам знать.

Обойдя палаты, Стефан заглянул к Секуловскому. Их взаимоотношения, поначалу довольно-таки неопределенные, теперь прояснились окончательно: мастер и ученик, который обязан смиренно сносить взбучки. Стефан, как правило, не рассказывал ему о больных, но тут сделал исключение, поскольку ситуация повергла его в отчаяние и он нуждался в разумном совете. Сам он ни на что решиться не смел, да и не знал, как поступить. Пойти к Пасничковскому? Но это выглядело бы жалобой на Каутерса — как-никак его начальника, опытного практика. И он решился просто описать Секуловскому состояние инженера, рассчитывая хотя бы на взрыв ярости, на возмущение поэта. Но тот и сам в последнее время чувствовал себя скверно, охотно слушал о том, что кому-то еще хуже, и отблагодарил Стефана пространством суждением. Поправив подушки за спиной (он писал в постели), Секуловский начал:

— Я где-то сказал (кажется, в «Вавилонской башне»), что человек напоминает мне такую вот картину: будто бы кто-то в результате многих сотен веков кропотливого труда вырезал восхитительно прекрасную золотую фигурку, одарив каждый сантиметр ее поверхности изумительной формой. Молчащие мелодии, миниатюрные фрески, красота всего мира — и все это собрано в единое целое, подчинено воздействию тысяч волшебных законов. И эту стройную фигурку вмонтировали в нутро машины, которая перемещивает навозную жижу. Вот вам примерно и место человека на свете. Какая гениальность, какая тонкость исполнения! Красота органов. Упорство замысла, благодаря которому удалось с железной последовательностью собрать воедино разбегающиеся во все стороны атомы, легкие дымки электронов, дикие частицы и, заточив в оболочку тела, заставить их выполнять чуждые им задания. Спроектированные с беспредельным терпением простые механизмы суставов, готика костей, лабиринты бегущей по кругу крови, чудесные оптические приборы, архитектура нервной системы, тысячи и тысячи взаимно друг друга обуздывающих аппаратов, которые совершенством своим превосходят все, что мы только способны вообразить. И все это абсолютно бесполезно!

Ошеломленный Стефан подавленно молчал. А поэт хлопнул ладонью по страницам огромной раскрытой книги, заваленной, как и вся его кровать, бумагами, — анатомический атлас, который по его просьбе принес ему сам Стефан.

— Какое несоответствие средств и цели! Этот ваш инженер-ришка существовал себе, даже и не ведая, что в нем было заточено, а потом вдруг клетки сорвались с цепи, дали волю заключенным в них силам, которые до того были нацелены вовнутрь, обслуживали нужды почек и кишок. Это нечаянное освобождение! Взрыв тысяч замурованных возможностей! Душа, пребывавшая до этого мига в коконе, вылезает наружу в чем мать родила, да еще словно под увеличительным стеклом: часы со взбунтовавшимися колесиками.

— Вы имеете в виду раковую опухоль?

— Вы называете это так. Но что такое название? Знаете ли, доктор, мысли ваши просто вымочены в формалине. Ради Бога, хоть капельку воображения. Рак? Это всего-навсего «ход вбок», эдакий «Seitensprung» организма... Эти мои Слепые Силы, которые сотней тысяч способов предохраняли живую ткань от всяких случайностей, видимо, одной какой-то щелки не законопатили достаточно тщательно. Все действует четко, прямо как часы, и вдруг — непредвиденный выброс! Вы видели когда-нибудь, как ребенок, играя, вытаскивает из часов колесико секундной стрелки? Как все начинает крутиться, жужжать, словно шмель, и как стрелки, вместо того чтобы с пользой отмерять часы, начинают безумствовать, пожирая придуманное время! Такая вот опухоль, крохотный росточек, вытягивающийся из одной взбунтовавшейся клетки. Свободной, вы понимаете? Свободной... Как это развивается в мозге, как обвивает мысли, как сжирает и уничтожает эти аккуратные грядки, засаженные человеческой мешаниной...

— Может, вы и правы... — отозвался Стефан. — Но почему он не хочет оперировать?

Поэт его слов не услышал, он лихорадочно писал; перо то и дело рвало бумагу. Молчание затягивалось. В гущу листьев перед окном проскользнул пробивший облака рыжий луч. Комната свет проглотила, луч угас. Ни с того ни с сего у Стефана защемило сердце. Хотя это и не имело никакого отношения к их разговору, он вдруг спросил:

— Скажите, пожалуйста... отчего это вы написали «Размышления о пользе государства»?

Лежавший на боку Секуловский как-то весь скорчился и посмотрел ему в глаза. Лицо поэта стало наливаясь кровью, а Стефан был очень доволен собой — он все-таки решился задать этот вопрос.

— Какое вам до этого дело? — грубо, совершенно незнакомым Стефану тоном отозвался Секуловский: — Прошу мне не докучать! Мне надо работать!

И повернулся к Стефану спиной.

Стефан пошел к Кшечотеку. Может, он? Друг давно завершил свою докторскую диссертацию и, перевязав ее лентой, сунул в стол. С той поры разверзлась перед ним опасная пустота. Больница его не интересовала, больные ему наскучили. Он не мог ни ходить, ни сидеть, ни лежать. Всякую минуту стояла у него перед глазами Носилевская.

— Тебе надо решиться, — сказал Стефан; ему вдруг стало жаль Сташека. — Хочешь, я приглашу ее сегодня, ты тоже приходи, а я потом скажу, будто мне нужно готовиться к операции, и оставлю вас наедине.

Сейчас он казался себе образцовым другом.

Носилевская приглашения не приняла. Она что-то выписывала из толстой немецкой книги по паталогоанатомии. Запачканные зелеными чернилами кончики пальцев делали ее похожей на девочку. Сказала, что как раз собирается к Ригеру. Собственно, она сама к нему напросилась — он в свое время был ассистентом на кафедре паталогоанатомии и может кое в чем ей помочь. Она заговорила о любопытных формах дегенерации мозговой ткани.

Сташек, дожидавшийся в комнате Стефана, чем обернутся хлопоты друга, ни с того ни с сего вообразил, будто Ригер пригласил девушку вовсе не для научной беседы, и мысль эта сразила его.

— Ну, хорошо, — задумчиво сказал Стефан. Недавно он прочитал американский учебник, содержащий психотехнические тесты. Правда, о любви там не было ни слова, но он попытался, опираясь на метод американцев, изобрести что-нибудь самостоятельно. — Скажи, ты ее любишь?

Кшечотек пожал плечами. Он поместился на кресле боком, забросив ноги на подлокотник и нервно барабанил ими по сиденью.

— Я на глупые вопросы не отвечаю. Ни работать не могу, ни читать; не сплю, с мыслями своими совладать не в силах, одно только знаю, что сам не свой, вот и все.

Стефан закивал головой.

— Ты становишься пошлым; это, пожалуй, любовь. Задам тебе несколько вопросов наудачу. Во-первых, мог бы ты почистить зубы ее зубной щеткой?

— Что за идиотизм?

— А ты ответь.

Сташек задумался.

— Ну... может, и да.

— Ощущаешь ли ты боль и жжение в груди, эдакий «божественный огонь»?

— Иногда.

— Фу! А еще элишься, что она идет к Ригеру? Amor fulminans progrediens in stadio valde periculoso<sup>1</sup>. Диагноз железный. Тут не до профилактики, лечить пора.

Сташек мрачно посмотрел на друга.

— Брось валять дурака.

Стефана вдруг осенило, что стоило бы ему только захотеть, у него с Носилевской все вышло бы в два счета, и он попытался прикрыть смущение улыбкой.

— Не сердись. Приглашу ее завтра, а еще лучше — после операции. Голова ничем другим забита не будет.

— Не понимаю, при чем тут твоя голова?

— А, да ты ее ко мне ревнуешь? — Стефан рассмеялся. — Брому тебе дать?

— Спасибо, у меня свой есть.

Сташек разглядывал книги на полке; перелистал «Волшебную гору», но отложил, решившись в конце концов остановиться на «Зеленой пантере».

— Это детектив, к тому же кошмарный, — предостерег Стефан.

— Тем лучше, как раз под настроение.

Сташек собрался уходить. Стефану стало его безумно жалко.

— Послушай, — неожиданно спросил он, — тебе хотелось бы, чтобы она тебя обманула или чтобы с ней случилось что-нибудь скверное?

— Во-первых, она не может обмануть меня, так как нас с ней ничего не связывает, а во-вторых, что это за альтернатива такая?

— Просто психологический тест. Отвечай.

Кшечотек набычился и выбежал из комнаты, громко хлопнув дверью. Стефан, не раздеваясь, повалился на приготовленную уже постель. Он только сейчас сообразил, что все это время злился на Сташека за то, что не смог рассказать ему об инженере. Вскочил, подсел к книжной полке и принялся листать учебник по нейрохирургии. А может, Каутерс все делает правильно? Но это не укладывалось в голове. В учебнике ничего определенного он не нашел. Марлевая занавеска в распахнутом настежь окне едва заметно шевелилась. Кто-то постучал в дверь.

Это был Каутерс.

— Коллега, прошу срочно в операционную!

— Что, что? — Стефан вскочил, но хирург уже исчез.

Шурша полами незастегнутого халата, он скрылся в темном

<sup>1</sup> Любовный приступ в крайне опасной стадии (лат.).

коридоре. Стефан, радостно возбужденный, бросился вниз по лестнице, даже позабыв потушить свет.

Ночь была влажной и теплой. Ветер приносил крепкий дразнящий запах цветущих хлебов. Сокращая путь, Стефан двинул прямо по траве — ботинки тут же покрылись сверкающими капельками росы — и по железной лестнице взбежал на второй этаж, в операционную. За матовым стеклом маячила белая фигура.

Первоначально операционная предназначалась для малой хирургии, скажем, чтобы вскрывать нарывы и ради этого не возить больных в город. Но оборудовали ее как бы «на вырост». Каутерс этим и воспользовался. Универсальный стол годился для любой операции; кроме того, здесь были: баллон с кислородом, электрическая костная дрель, подвешенная на стене, и диатермический аппарат, похожий на радиоприемник. Небольшой коридор без дверей, выложенный, как и остальные помещения, мелкими кафельными плитками лимонного цвета, вел в другую комнату, где на обитых жестью столах расположились рядами банки с химикалиями, лежали кучками резиновые трубки и под стеклянным колпаком — белье. В двух широких шкафах на дырчатых подносах были аккуратно разложены инструменты. Даже когда в операционной не горели лампы, в этом углу неизменно что-то слабо поблескивало, искрилось на острых кончиках скальпелей, крючков, пинцетов. На отдельном столике стояли плоские сосуды с раствором Люголя, в которых отмокали клубки кетгута, приобретающая изумрудный оттенок, а чуть выше, на полочке, белели шеренги стеклянных трубок с белыми шелковыми нитками.

Сестра Гонзага подкатила столик для инструментов к наклонному, на трех толстых ногах операционному столу и теперь поддвигала к нему большие никелированные стерилизаторы на высоких ножках — они чем-то напоминали улы. Стефан, растерявшись, беспомощно озирался по сторонам. Ему казалось унизительным спросить у сестры, кого будут оперировать. Поскольку Гонзага принялась намываться, он набросил на себя длинный резиновый фартук, пустил мощно загудевшую струю себе на руки и стал их намыливать. Вода шумела, маленькие капельки бесконечной чередой бежали по зеркалу, прочерчивая белую мглу на его поверхности поблескивавшими ртутью полосками. Белые хлопья пены широким ободом ложились на дно пышащей паром раковины.

Неожиданно рядом прогремел голос Каутерса:

— Ну, помедленнее, помедленнее, — говорил он, затем слышалось силовое дыхание, словно кто-то нес что-то тяжелое.

В вертящихся дверях показалась покрасневшая лысина стар-

шего санитаря, который, закинув неподвижную тушу Рабевского себе на спину, втаскивал его в операционную. Санитар с шумом сбросил инженера на стол, а Каутерс, всовывая ноги в белые резиновые тапочки, спросил сестру:

— Второй и третий комплекты есть?

— Да, господин доктор.

Завязав на шее тесемки фартука, хирург ногой надавил на педаль, пуская воду, и стал привычно мыть руки.

— А шприцы есть?

— Да, господин доктор.

— Иглы надо заточить.

Все это он говорил машинально, казалось не ожидая ответа. Ни разу не взглянул на стол. Юзеф раздел Рабевского, уложил его навзничь и привязал руки и ноги белыми лентами к ручкам-скобам, после чего принялся бритвой скоблить ему голову. Стефан не мог вынести этого тупого скрежета.

— Юзеф, ради Бога, да намывьте же!

Юзеф что-то пробурчал в ответ — в присутствии Каутерса он никого больше не слушал, — но все-таки решил смочить голову больного; тот был без сознания, только изредка и еле слышно хрипел. Собрав горсть седых ключев, санитар привязал к бедру Рабевского большую пластину анода и отступил в сторону. Сестра Гонзага закончила мыться третьей щеткой, швырнула ее в мешок и с поднятыми руками подошла к стерилизаторам. Юзеф помог ей водрузить на лицо желтоватую маску, потом надеть халат, наконец, натянуть тонкие нитяные перчатки. Подойдя к высокому столику с инструментами, на котором стояли три обернутых салфетками подноса — так их и вытащили из автоклава, — она открыла корнцанг и стала орудовать этими блестящими стальными щипцами, раскладывая инструменты в соответствии с их назначением и очередностью, в которой они могут понадобиться.

Стефан и Каутерс кончили намываться одновременно. Тшинецкий подождал, пока хирург оботрет руки спиртом, затем и сам направил тоненькую его струйку себе на пальцы. Страхивая обжигающие капельки, он озабоченно разглядывал руки.

— У меня заусенец, — сердито буркнул он, прикоснувшись к хвостик у припухшей кожи над ногтем.

Каутерс натягивал резиновые перчатки, дело подвигалось трудно; он насыпал в них талька, но руки были влажные.

— Ничего страшного. У него наверняка нет ПП<sup>1</sup>.

Юзеф, как нечистый, встал от стола подальше.

<sup>1</sup> Сокращение от «прогрессивного паралича».

— Свет! — скомандовал хирург. Санитар повернул выключатель, загудел трансформатор, и большая лампа, косо подвешенная над столом, набросила на стоявших голубоватый круг.

Каутерс взглянул в окно. Его лицо, до самых глаз скрытое маской, казалось смуглее, чем обычно. Врачи, каждый со своей стороны, подошли к больному; он был без сознания. Юзеф равнодушно прислонился к умывальнику; в зеркале появилась огромная, как подсолнух, темная и блестящая лысина.

Стали обкладывать Рабевского салфетками. Гонзага только что не швыряла их, жонглируя длинными щипцами, стремительно летающими между стерилизаторами и руками хирурга. Они укладывали стопкой большие квадраты стерильного полотна, от тора к лицу. Стефан скреплял их зажимами.

— Что вы делаете, в кожу его, в кожу! — негромко, но грозно прикрикнул хирург и сам через салфетку острыми зажимами зацепил бледную кожу лежавшего.

Стефан давно привык к виду полосуемого ножом тела, но так и не научился сдерживать дрожь, когда салфетки вокруг операционного поля прищипливали к коже, хотя знал, что больной под наркозом. Инженер, однако, был всего лишь без сознания, и вдруг по накрытому простыней телу пробежала дрожь; Рабевский так громко скрипнул зубами, что показалось, будто провели ножом по стеклу. Стефан вопросительно посмотрел на Каутерса. Тот был в нерешительности, потом махнул рукой: ну, колите, если это доставит вам удовольствие.

Помазав йодом оголенную голову, выпирающую из горы плотно укутавших ее салфеток, Тшинецкий в нескольких местах ввел новокаин и слегка помассировал вздувшиеся под кожей буторки. Когда он отбросил коричневый от йода тампон, хирург, не обращившись, протянул руку назад: сестра вложила в нее первый скальпель. Лезвие тонкой стали слегка коснулось лба и, мягко вдавливаясь в кожу, выкроило овальный лоскут. Анатомическим пинцетом Каутерс очистил рану, добравшись до самой кости, та глухо заскрежетала. Затем бросил инструменты на грудь больного и протянул руку за трепаном. Машинка — яйцеобразный моторчик, соединенный стальным шлангом со сверлом трепана, — стояла позади него. Сестра замерла, держа в каждой поднятой вверх руке по несколько инструментов. Стефан едва успел провести белым тампоном по набухающей свежей кровью линии разреза, а Каутерс уже пустил в ход трепан. Бур вгрызся в кость и, удерживаемый хирургом, словно перо, разбрасывал в стороны мелкие опилки, оставляя вдоль краев раны бороздку кровавого месива.

Жужжание смолкло. Хирург отшвырнул уже ненужное сверло

и потребовал распатор. Но костная пластина не поддавалась: видно, где-то еще не была отделена. Каутерс осторожно надавил на нее тремя пальцами, будто хотел вжать в череп.

— Долото!

Каутерс под углом приставил его к кости и равномерно стал постукивать деревянным молотком. Посыпались стружки, кровь брызнула на кожу, салфетки понемногу всасывали багряные кляксы. Вдруг вся обтянутая кожей пластина поддалась. Хирург подцепил ее ручкой распатора, надавил — раздался короткий хруст, будто раскололи орех: пластина поднялась и отвалилась в сторону.

В голубом свете поблескивала твердая мозговая оболочка, раздувшаяся, словно воздушный шарик; вся она была расчерчена сеткой набухших сосудов. Каутерс протянул руку, в ней появилась длинная игла. Стал в разных местах прокалывать оболочку — один раз, второй, третий.

— Так я и думал, — пробурчал он. Над маской в стеклах его очков пылали крохотные отражения лампы.

Стефан, который до сих пор практически ничего не делал — лишь залеплял стерильным воском кровоточащие отверстия губчатой кости, — наклонил голову, их закрытые марлей лица соприкоснулись.

Каутерс, по-видимому, колебался. Лево́й рукой раздвинул края раны, правой принялся осторожно ощупывать оболочку, под которой все явственнее просвечивал — розовым и серым — мозг. Он поднял голову, будто ожидая какого-то знака свыше, его огромные черные глаза стали стекленеть; Стефан даже испугался. Пальцы, обтянутые тонкой резиной, дважды вкрутовую обошли открытый участок оболочки.

— Скальпель!

Это был маленький, специальный ножичек. Оболочка поддалась не сразу — но вдруг лопнула, словно пузырь, и изнутри выполз мозг. Вылезла наружу пульсирующая, отчетно красная кила, по которой растекались слизистые струйки крови.

— Нож!

Зажужжало снова, на сей раз звук был иным, басистым: заработал электрический нож. Сестра сняла марлю, прикрывавшую его, и вложила нож в протянутую назад руку хирурга. Врачи склонились над столом. Крови пока немного, ни один из больших сосудов задет не был, но картина оставалась неясной. Каутерс медленно, миллиметр за миллиметром, расширял отверстие в оболочке. Наконец все стало понятно: выползшая набухшая кила была передней частью лобной доли. Когда хирург пальцем ото-



двинул се, в глубине щели между полушариями показалось грязно-жирное образование, подступиться к которому было трудно. Указательный палец скользил по вспухшим, словно поднявшееся тесто, слоям коры. Но вот с помощью черенка пинцета до части нароста удалось добраться. На дне черепной ямы, пока еще не заполненной стекающей в нее кровью, заискрилась перламутровой синевой, словно внутренняя сторона раковины, опухоль, похожая на цветную капусту, плотная снизу, рыхлая сверху, обмазанная коричневой кашицей.

— Ложка!

Началось выгребание кашицы, слизи, каких-то кусочков, набухших кровью. Неожиданно Каутерс резко отпрянул назад; Стефан поначалу просто остоленел: со дна раны, между раздвинутыми половинами мозга (палец хирурга все еще оставался в продольной щели), взвилась отвесно вверх тонюсенькая, будто паутинка тумана, струйка светлой крови — артериальной. Каутерс часто заморгал: несколько капель попали ему в глаз.

— Черт побери! — рявкнул он. — Марля!

Тампоны сочлились кровью, часть новообразования оставалась внутри, а видно ничего не было. Оторвав живот от стола, Каутерс ухватился в потолок и шевелил пальцами в ране. Продолжалось это довольно долго, салфетки еще некоторое время отсасывали кровь, затем она залила старые сгустки, образовавшиеся в начале операции, — надо было накладывать новые салфетки, потому что и руки, и инструменты сделались липкими. Стефан растерянно и испуганно посмотрел на Каутерса. Маска на лице Тшинецкого перекосилась, марля лезла в нос, но коснуться ее было нельзя.

Хирург ногой включил электрический нож и поднес его к разрезу.

Кровь, по всей вероятности, была из распадавшихся тканей опухоли, поскольку едва лишь поднялась первая струйка сизоватого дымка от горящего белка и сквозь марлю в нос продраглась характерная вонь, кровотечение прекратилось. Лишь по торчавшим в ране зажимам ползли, словно муравьи, красные капельки.

— Ложка!

Операция шла своим чередом. Хирург термокоагулятором отрезал верхнюю часть опухоли, затем, когда она омертвела и стала остывать, принялся вычерпывать ее, помогая себе пальцем. Но чем дольше это продолжалось, тем хуже шло дело. Опухоль не только раздвигала лобные доли, она в них вросла. Движения хирурга становились все быстрее, он забирался в рану все глубже, вдруг что-то щелкнуло; он вытащил руку, перчатка на ней была

порвана. Разодранная острым краем кости, желтая резина сползла с пальца.

— ...Твою мать! — глухим, дрожащим голосом выругался Каутерс. — Стяните-ка мне это.

— Новую пару, господин доктор? — спросила сестра и тотчас мягким движением длинных щипцов выхватила из стерилизатора обсыпанный тальком сверточек.

— К чертям собачьим!

Каутерс швырнул рваную резину на пол. От морщин, собравшихся вокруг глаз, повесяло злобой, худое продолговатое лицо покрылось капельками синеватого в этом освещении пота. Жилки на висках надулись; Каутерс в бешенстве сжал зубы. Он ожесточенно копался в ране, выдирая дряблые кусочки ткани, омертвевшие волокна, пучки каких-то сосудов, и отбрасывал все это в сторону. Пол был усеян кровавыми запятыми и восклицательными знаками.

Электрические часы показывали десять: операция продолжалась уже час.

— Посмотрите-ка зрачки.

Стефан торопливо приподнял край простыни, отяжелевшей и заскорузлой от ошметков тканей, облепивших ее, заляпанной кляксами порьжевшей крови. Склонился над бледным, как полотно, странно мерцающим лицом Рабевского и приподнял пинцетом веко. Зрачок больного был сужен. Вдруг глаз дико задвигался в разные стороны, будто его дергали за ниточку.

— Как там?

— Нистагм<sup>1</sup>, — изумленно сказал Стефан.

— Так, так.

В голосе хирурга проскользнули язвительные нотки. Стефан взглянул на него — Каутерс водил иглой по коре долей. Значит, вот и причина нистагма. Мозг основательно разрезан. Огромная масса омертвевшей, распадающейся ткани. Она как бы сплавилась воедино с тканью мозговых извилин. Стефан посмотрел на края раны, напоминавшей растянутый в крике рот: белая масса нервных волокон, поблескивающая, как очищенный орех, и собственно серое вещество, на самом-то деле коричневатое, с едва заметным, узеньким следом разреза. И все усеяно рубиновыми точками-капсельками крови.

Вконец расстроенный хирург широко раздвинул растягивающиеся, как резина, извилины и пробурчал:

— Заканчиваем!

---

<sup>1</sup> Непроизвольные ритмические движения глазного яблока.

Это была капитуляция. Теперь пальцы хирурга заработали быстро и споро, подталкивая вывалившееся полушарие, пытаясь вогнуть его обратно, в черепную коробку. Опять где-то начало кровоточить. Каутерс прикоснулся к сосуду темным концом электрического ножа и остановил кровь. Он уже сделал из пальца от перчатки трубочку для дренирования, но вдруг замер.

Стефан, который больше уже не пытался осмыслить, что сейчас делает хирург, взглядевшись в спеленутую, словно мумия, фигуру больного, понял: грудь больше не вздымается. Каутерс, забыв о том, что может занести инфекцию на свои руки, подцепил простыню, накрывавшую лицо и грудь оперируемого, отбросил ее, несколько мгновений прислушивался, затем молча отошел от стола. Его забрызганные кровью резиновые тапочки полетели в угол. Сестра Гонзага взялась за кончик простыни и торжественно накрыла застывшее лицо инженера. Стефан подошел к окну — хотелось глотнуть свежего воздуха. За его спиной сестра Гонзага швыряла инструменты на металлический поднос, в автоклавах журчала вода, Юзеф смывал с пола кровь. Стефан высунулся из окна. Вокруг беспредельная, молчаливая тьма. На границе неба и земли — граница эта едва угадывалась — тьма казалась еще гуще. Словно украшенное желтыми бриллиантами кольцо в бархатном футляре, переливались огнями склады в Бежинце. Ветер запутался в ветках и угомонился, звезды подрагивали. Бормотанье воды в раковинах становилось все глуше.

## МАСТЕР ВОХ

Июнь наливался жарой. Темная зелень лесов, покрывавших мягкие холмы, из окна казалась малахитовой и пятнистой, прошитой серебром берез, вечером — густой, словно подводные заросли, на рассвете — прозрачной. Бесконечными волнами накатывал нежный гул, расцвеченный гомоном птиц. Колея, по которой шествовало солнце, изо дня в день поднималась все выше, деля небосвод на все более равные части.

Однажды ночью нагрянула первая летняя гроза. Освещаемый молниями пейзаж сверкал, как бриллиант, синими вспышками.

Стефан подолгу блуждал по полям, забредал в лес. Телеграфные столбы, как опьяневшие от высоких нот камертоны, гундосили что-то невразумительное. Высившийся стеной лес отливал голубизной сосен; то тут, то там белели гнутые стволы берез.

Вдоволь находившись, Стефан останавливался под огромным деревом или усаживался на холмик порыжевшей хвои. Однажды,

зайдя довольно далеко, обнаружил укрытую под глинистым обрывом полянку, на которой росли три высоченных бука. Вытянувшись из одного комля, они плавно расходились в разные стороны. Ниже стоял, словно поднявшись на цыпочки — пробегавший тут по весне ручей вымыл у него из под корней глину, — дубок; его горизонтальные ветви были причудливо, японски, искривлены. Еще двести-триста шагов, и лес обрывался. По склону горы взбиралась колонна ульев, выкрашенных в кирпичный и зеленый цвета, они походили на глиняные фигурки святых. В этом как раз месте и пряталось эхо; Стефан отважился разбудить его, хлопнув в ладоши. Разогретый воздух захлопал в ответ, всякий раз тише и глуше. Многоголосое жужжание пчел лишь оттеняло полное безмолвие. Время от времени какой-нибудь улей заводил воинственную песнь. Издали улья были похожи на убогую клавиатуру деревенского пианино.

Стефан решил пройти еще немного и вскоре с удивлением заметил, что жужжанье ульев, оставшихся далеко позади, не стихает — напротив, становится громче. Все более низкое, басовитое, оно разливалось окрест, и, когда дно оврага, по которому он шел, сравнялось с поросшими травой берегами, Стефан прямо перед собой, вдалеке, увидел квадратный домик красного кирпича, походивший на ящик, поставленный на низкие бетонные кубики. С трех сторон, от самого горизонта, сюда сбегались ряды деревянных столбов, перечеркнутые проводами, а из распахнутых окон выползало мерное гудение. Подойдя к этому странному домику поближе, Стефан увидел двух мужчин, сидевших на траве в тени под открытым окном. Он даже вздрогнул — ему было показалось, что в одном из сидевших он узнал кузена Гжегожа, которого в последний раз встретил на похоронах в Нечавах. Но тут же понял, что ошибся: его сбил с толку солдатский, без знаков различия, мундир незнакомца, его светлые волосы и манера держать голову. Но человек этот все же заинтересовал его, и Стефан будто ненароком сошел с тропки и побрел к дому прямо по траве, рассеянно озираясь по сторонам и всем своим вилом показывая, что вот, мол, гуляет, а здесь оказался случайно. Сидевшие заметили его только тогда, когда он подошел вплотную. Оба подняли головы, две пары глаз спокойно разглядывали его. Стефан остановился. Тот, которого поначалу он принял за Гжегожа, сидел неподвижно, упершись руками в колени и скрестив ноги в заляпаных глиной ботинках; воротник мундира был расстегнут, очерчивая треугольник загорелой кожи; густые, слипшиеся волосы поблескивали, — казалось, на голове у него медная каска. Худое, суровое лицо; прищуренные от яркого солнца глаза упер-

лись в Стефана. Второй был значительно старше; громадный, но не толстый, руки и лицо пепельного цвета, на голове кепка козырьком назад, на месте одного уха росли волосы, из-под которых выглядывал крохотный, свернутый комочек, похожий на бутон розы.

— Это... электростанция? — еле выдавил из себя наконец Стефан, чтобы нарушить тягостную тишину, которую лишь подчеркивало лившееся из окон гудение.

И тот, и другой промолчали. Только теперь Стефан разглядел в окне еще одного — невзрачного старика, над лысым черепом которого вилась легкая дымка волос. Его синий комбинезон едва можно было разглядеть в крошечной тьме за окном, в доме. Молодой зыркнул на товарищей, повернулся опять к Стефану, стараясь, однако, не смотреть ему в глаза, и с угрозой в голосе заметил:

— Тут лучше не ходить.

— Что? — вырвалось у Стефана.

— Лучше не ходить, говорю. На баншцу<sup>1</sup> можно напороться или еще что, и будет нехорошо.

Старший — тот, что без уха, — тут же встрял:

— Подожди, сынок. Вы сами откуда будете?

— Я? Из лечебницы. Я врач. А что?

— А-а, — протянул безухий и, чтобы удобнее было продолжать разговор, оперся рукой о землю. — Вы — доктор этих?.. — Он щелкнул пальцами около виска.

— Да.

Губы безухого чуть растянулись в бледной улыбке.

— Ну, это ничего, — сказал он.

— Разве нельзя здесь ходить? — спросил Стефан.

— Отчего же? Можно.

— Как же так? — переспросил Стефан, сбитый с толку. — Это не электростанция? — предпринял он еще одну попытку.

— Нет, — впервые подал голос старик в окне. За его спиной во мраке поблескивала медь проводов. Он высунулся из окна, чтобы выбить трубку, из чересчур коротких рукавов комбинезона по локоть вылезли руки — высохшие, все в веревках сухожилий. — Это подстанция шестьдесят ка-ве на пять, — закончил он, принимаясь набивать трубку.

Стефан и этого не понял, но, изобразив, что ему все ясно, спросил:

— Это вы даете нам электричество в санаторий?

---

<sup>1</sup> Охрана железной дороги, охранник (от нем. bahnschutz).

— М-гм, — промычал старик, затягиваясь трубкой так, что ввалились щеки.

— Но сюда можно ходить? — невесть зачем еще раз попытался выяснить Стефан.

— Можно.

— Но вы же говорили... — повернулся Стефан к молодому, который все шире растягивал рот в улыбке, показывая острые зубы.

— Я — да, — помолчав, сказал он.

Стефан так и стоял над ними, и безукий счел нужным все растолковать.

— Он не знал, кто вы такой, — начал он, постреливая в Тшинецкого маленькими глазками. — Молод еще, вот и ошибся. Да и вы, уж извините, сами из себя на лицо такой черныи. Ну, вот и оттого.

Заметья, что Стефан все еще ничего не понимает, он дружелюбно ткнул его пальцем в колено.

— Ну, подумал он, что вы из Бежинца, из тех, кого сейчас свозят со всей округи...

Он показал, будто правой рукой чем-то обвязывает левую, и тут уж Стефану все стало ясно. «Он меня предостерегал, приняв за еврея», — сообразил Стефан. Такое порой с ним случалось.

Безукий внимательно смотрел на него — как он теперь поведет себя, не обидится ли, но Стефан молчал, только покраснел немного. Безукий, как человек бывалый, счел приличным чем-нибудь загладить неловкость.

— Вы, господин доктор, в больнице ведь работаете? — начал он. — А я вот — здесь. Вох я, мастер-электрик. Но в последнее время не работал, болел я. Жалко, про вас не знал, господин доктор, — лукаво добавил он. — Спросил бы совета.

— Вы болели? — вежливо поинтересовался Стефан. Он продолжал стоять, возвышаясь над ними, и все никак не решался уйти. Это было его бедой — не умел ни завязать разговор с незнакомым человеком, ни закончить.

— Да, болел. У меня вышло так, что сперва я видел одним глазом в одну сторону, а другим — в другую, после все перед глазами стало ходить колесом, без остановки, а нюх у меня такой сделался, что ой-ой-ой!

— И что? — спросил ошеломленный таким описанием болезни Стефан.

— А ничего. Само прошло.

— Не само, не само, — укоризненно попенял ему старик в окне.

— Ну, не само, — послушно поправился Вох. — Поел я горохового супца с грудинкой копченой, такого жирнощого, что ложка стояла торчком, спиртика с душицей, значит, пузырек высосал, и как рукой сняло. Это мне кум так присоветовал — вот, который в окне стоит.

— Это замечательно, — проговорил Стефан, торопливо кивнул всем троем и быстро ретировался, опасаясь, что Вох станет допытываться, какая это была у него болезнь.

И, только взобравшись на ближайший холм, посмотрел назад. Там, на дне мягко закруглявшейся котловины, стоял красный домик. На первый взгляд никого в нем нет, из широко распахнутых окон плывет бесконечное, басовитое гудение — оно долго еще преследовало Стефана на обратном пути в больницу, слабеющее, размываемое порывами ветра; наконец оно слилось с жужжанием насекомых, носившихся над освещенной солнцем травой.

Приключение это цепко впилося в память Стефана, а пустячные, в сущности, его подробности настолько очаровали молодого врача, будто в них был заключен какой-то таинственный смысл. К тому же в воспоминаниях эпизод выглядел таким красочным, что поделил время на два периода, и в мыслях Стефан неизменно возвращался к этому происшествию всякий раз, когда надо было восстановить в памяти ход больничной жизни. Он никому не рассказал о случившемся, да и какой в этом был бы толк. Может, Секуловский и нашел бы литературную изюминку в том, как мастер Вох описывал свою болезнь, но Стефана занимало совсем другое. Что? Он и сам не знал.

После утреннего обхода он отправлялся на прогулку по окрестностям, прихватив с собой «Историю философии», а поскольку чтение ее шло довольно туго (он винил в этом жару, стыдясь признаться себе, что его вовсе не интересуют тонкости онтологических систем), Стефан стал прихватывать и другую книгу, которую дал ему Каутерс, «Сказки тысячи и одной ночи» — прекрасно изданный толстенный том в сиреновом кожаном переплете. Миновав лесную опушку, он устраивался в красивом уголке под тремя огромными буками с гладкой, обтягивающей стволы корой (ему представлялось, что так именно должны выглядеть каучуковые деревья) и, спустив ноги в заросшую брусничкой яму, жмурясь от солнечных бликов, проносившихся по желтоватым страницам, читал о приключениях торговцев, цирюльников и чернокожижников Кашмира, а «История философии» отдыхала рядом, брошенная на бугорке сухого мха. Он и открывать ее больше не пытался, но продолжал носить с собой, словно в укор самому себе.

В одно прекрасное, знойное даже в лесной глуши утро, одолев половину повествования халифа Гаруна аль-Рашида — который как раз переоделся водоносом, чтобы побродить по базарам и собственными глазами взглянуть на жизнь своих подданных, — Стефан, вероятно осмелев от одиночества, вдруг подумал, как хорошо было бы устроиться на подстанцию рабочим. Со смущенной улыбкой тут же отбросил эту мысль, правда пожалев, что и о ней никому не сможет рассказать.

По вечерам, когда солнце жарило уже не так сильно, а между нагретыми склонами холмов и в остывающих долинах начинал кружить, шелестя листьями, ветерок, Стефан снова уходил из больницы и, испытывая какое-то непонятное возбуждение, сворачивал с привычных тропок, подбирался поближе к подстанции и петлял вокруг да около. Но больше так никого и не встретил.

Он не подходил к красному домику; ему достаточно было издали увидеть его кирпичные стены и пустые, настезь раскрытые окна, из которых лилось гудение; оно ни на шаг не отставало от него и на обратном пути. Прогулки эти обогатили его сны еще одной темой: несколько раз ему привиделся электрический домик у самого подножья поросшего травой склона, домик этот притягивал его какой-то монотонной мелодией, очень похожей на восточную. Как-то утром, раньше обычного отправившись в лес, Стефан сделал небольшой крюк, чтобы, забравшись на самую вершину холма, поглазеть на подстанцию; он еще поднимался по склону, когда заметил человека, шедшего ему навстречу. Это был тот самый молодой рабочий с медными волосами; в заляпанных известью брюках, по пояс голый, он пружинисто вышагивал по тропке с двумя полными ведрами глины. Стефан и сам не мог понять, хочется ли ему встречаться с парнем, но на всякий случай пошел помедленнее. Тот приближался, под кожей его обнаженных рук перекачивались мышцы, но лицо оставалось безучастным, словно застывшим. Парень прошел мимо, так старательно не замечая Стефана, что не оставалось и тени сомнения — его узнали; он зашагал дальше, не решаясь даже оглянуться.

Неделю спустя он в послеобеденное время возвращался из городка, куда ходил за покупками. Стояла удушливая жара. Уже несколько часов кряду за горизонтом погромыхивало, но прожаренная, жгучая синева была пуста. Дно залитого солнечным зноем глинистого оврага походило на раскаленный бетон. Добравшись до верхнего, заросшего елками края оврага, Стефан увидел над их вершинами стену туч. Все вокруг на глазах рыжело: это зловещее освещение заставило его пуститься почти бегом; на последнем повороте, уже с трудом лоя ртом воздух, он увидел мастера



Воха. Тот шел в ту же сторону, но помедленнее; рядом с собой он вел, придерживая за руль, велосипед. Заслыша шаги за спиной, Вох украдкой оглянулся. Сразу узнал Стефана и поздоровался; они молча пошли рядом.

На Вохе были стоптанные башмаки, свитер и сброшенный на плечи пиджак с мятыми лацканами и рукавами. Стефан в своей рубашке и полотняных брюках обливался потом, а тому жара была, казалось, ничем. Лицо Воха, как обычно, серое, ничего не выражало, краснел только бугорок заросшего волосами уха. Над головами уже проплывали извивавшиеся желтоватые языки туч. Стефан с радостью припустил бы бегом, но его удерживало присутствие Воха — тот по-прежнему шел размеренным шагом.

Овраг раздался в стороны, края его сравнялись с землей, на проселке песок задымил под первыми крупными каплями. Уже видно было подстанцию.

— Может, со мной пойдете? А то вымочит, — сразу же предложил Вох.

Стефан поспешно принял приглашение. Они молча пошли к подстанции. Тяжелые капли все чаще расплощивались на лице и руках, мокрыми горошинами покрывали рубаху и светлые брюки.

На посыпанной щебенкой дорожке, не дойдя нескольких шагов до двери, Вох остановился и, опершись обеими руками на руль велосипеда, оглянулся. Стефан последовал его примеру. Чернеющая, словно бы перевернувшаяся вверх дном желтая туча надвигалась прямо на них, завешивая весь горизонт темными отростками, из которых тянулись к земле синие щупальцы.

— В моих краях о такой говорят: туча-кобель, — заметил Вох, оглядывая небо прищуренными глазами.

Стефан хотел было улыбнуться: метко, мол, сказано, но лицо Воха оставалось мрачным. С пронзительным шумом на них обрушился ливень.

Стефан в два прыжка добрался до сеней. Вох, с которого текла вода, словно не обращая внимания на этот приступ бешенства природы, приподнял сначала переднее, потом заднее колесо велосипеда и вкатил его в узенький коридорчик. Прислонил к стене и только затем вытащил платок и тщательно вытер глаза и щеки.

В приоткрытую дверь видна была гремящая серая завеса дождя, залившего все вокруг. Стефан с наслаждением вдыхал напоенный свежестью воздух; секунду назад он бессознательно радовался, что счастливо убежал от потопа, но, когда Вох открыл вторую, ведущую внутрь дома дверь, сообразил, что ему подвернулся исключительный случай.

Он последовал за Вохом. Помещение было не очень обширное. По трем его окнам в дальней стене сейчас яростно барабанил дождь, и было бы совсем темно, если бы не множество пылавших под потолком ламп. В их неподвижном свете он увидел на одной стене пульта и щиты с часами; противоположная стена напомнила ему зоопарк — там рядками стояли доходившие до самого потолка клетки, огражденные серой проволочной сеткой. Что было в этих высоких и узких клетках, Стефан разглядеть не смог, но что живностью там и не пахло, это уж точно: там царил полный покой. Посреди комнаты стояли небольшой квадратный столик, два стула и несколько ящичков. На каменном полу постелена резиновая дорожка.

— Значит, тут никого нет? — удивленно спросил Стефан.

— Пошчик тут, его смена. Обождите-ка здесь. Только уж прошу ничего не трогать!

Вох подошел к двери в углу комнаты, где кончалась серая проволочная сетка, открыл дверь и что-то сказал. Кто-то приглушенным голосом ответил. Вох вошел и прикрыл за собой дверь. С минуту Стефан оставался в полном одиночестве. Воздух был пропитан запахом разогретого масла, неведомо откуда доносилось глухое гудение; было слышно, как по железной крыше с грохотом перекатываются валы дождя.

Стефан огляделся и заметил что-то блестящее за проволочной сеткой. Подойдя поближе, увидел тянущиеся к потолку медные шины и фарфоровые грибы изоляторов. И услышал голоса за стеной. Вох говорил:

— Ты что, Владек, надрался? Прямо сейчас все хочешь выгашить?

— Да мы в поле переждем, — отозвался другой голос, потише.

— В поле не в поле, коли нагрянет, все одно в землю пойдем, ты хоть соображаешь, сколько этого всего?! Убирайся отсюда сейчас же час!

— Ладно, Ясь, ладно. Ясь, а может, в лес?..

— В лес, вот-вот! Иди, я гостя привел...

— Как же так?..

Дальше разобрать ничего было нельзя, Стефан поспешно отошел подальше от клеток. Появились Вох и старый Пошчик, и оба посмотрели в его сторону — на часы; мастер что-то сказал, но его слова заглушил раскат грома. Вох сделал еще несколько шагов, замер, расставив ноги, и опять уперся взглядом в приборы.

— Ну как? — спросил старик.

Ответом был скупой жест рукой: мол, не мешай!

Вох склонил голову набок, обхватил обеими руками плечи и,

застыв в таком положении, — Стефан подумал, что мастер похож на капитана корабля, застигнутого бурей, — медленно стал поворачиваться на каблуках; заметил Тишинецкого и как будто даже удивился. Взял стул, вынес в коридорчик и поставил там, проговорив:

— Посидите-ка здесь. Тут самое верное дело.

Стефан послушался. Дверь в комнату осталась открытой, и она превратилась как бы в сцену для необычного представления, ну а он, Стефан, сидевший в темном и узеньком коридорчике, в единственного зрителя.

Те двое не делали ничего. Старик присел на ящик, Вох продолжал стоять. Теперь они, казалось, перестали обращать внимание на приборы, словно просто ждали чего-то. Их лица все ярче поблескивали в желтом свете лампы; Стефана мутило от душлинового запаха масла; на дворе мерно громыхала и гремела гроза. Вох вдруг кинулся к черному пульта, придвинул лицо к одному циферблату, потом к другому, вернулся на прежнее место и опять замер. Стефан даже почувствовал какое-то разочарование, но в следующий миг ему показалось, будто что-то переменялось, хотя он и не мог понять что. Беспокойство его нарастало, и наконец он открыл его причину.

Что-то шевелилось в клетках у стены. Слышался не то скрежет, не то шипение; звук этот перешел в назойливое жужжание, затем стих, потом появился опять. Вох и Поцчик не могли его не слышать, они разом обернулись, а потом старик бросил короткий и, как показалось Стефану, тревожный взгляд на мастера. Но ни тот, ни другой так с места и не сдвинулись.

Минута бежала за минутой, по крыше барабанил дождь, под неподвижным светом басисто гудело электричество, но звуки в клетках не утихали. Что-то там шелестело, скрежетало, жужжало, будто какое-то живое существо то подпрыгивало, то бросалось на стену, — эти странные звуки раздавались то совсем рядом, то в дальнем углу зверинца, то снизу, то под самым потолком, и Стефану чудилось, будто это «что-то» все отчаяннее мечется за сеткой из стальной проволоки. В двух клетках вдруг вспыхнуло голубое зарево, разгорелось, запыльхало, отбрасывая на противоположную стену изломанные тени двух мужчин, и исчезло — едкая, настырная вонь обожгла ноздри Стефана. И опять резкий звук, язык пламени со свистом взметнулся еще в одной клетке; в то же самое время из железного прута, торчавшего под дверцей клетки, выскочил пучок искр.

Старый Поцчик встал, сунул трубку в карман фартука, как-то неестественно выпрямился и молча посмотрел на Воха. Тот цепко

схватил его за руку, лицо его перекошилось, словно от бешенства, он что-то закричал, раскат грома поглотил его крик. Сразу в трех клетках взвились столбы света, на миг он как бы потушил лампы, — казалось, запыльхала вся стена. Вох отшвырнул старика в коридорчик, к Стефану, а сам, сгорбившись, прижав руки к груди, стал медленно пятиться к черным пультам. В клетках, за проволокой, звуки не утихали, впечатление было такое, будто стреляли из револьвера, бело-рыжее пламя лизало сетку, запах озона становился невыносимым, Стефан вскопчил и бросился по коридору к входной двери. Рядом жался старик, а Вох, в последний раз приблизив лицо к прибору, затем сиганул к ним так резко, как будто в одночасье помолодел. Все трое теперь стояли в коридорчике. За сетками постепенно все угасало, по углам то и дело вспыхивали синие язычки, раскаты грома становились глуше, только дождь по-прежнему яростно барабанил по крыше.

— Прошло, — нарушил наконец молчание старик, вытягивая из кармана трубку.

Стефану почудилось, что рука у него дрожит, но было темно, — может, только померещилось.

— Ну, значит, продолжаем жить, — подытожил Вох. Вышел на середину комнаты, потянулся, как после крепкого сна, похлопал себя руками по бедрам и плотно уселся на табуретку.

— Идите сюда, теперь можно, — кивнул он Стефану.

Когда раскаты грома прекратились совсем (хотя дождь продолжал лить так, будто зарядил на недели и месяцы), старик сначала послонялся немного по комнате, изредка отмечая что-то на клочке бумаги в клеточку, а затем, открыв маленькую дверцу в самом углу — Стефан ее раньше и не заметил, — нырнул в нее и загремел какими-то железками. Вернулся он со сковородкой, примусом, кастрюлей начищенной картошки и, расставив что на ящиках, а что и прямо на полу, взялся застряпню. Бубня себе под нос: «Что бы тебе такого дать, что бы тебе такого дать», он топтался на месте, то куда-то исчезал, потом снова возвращался, склонялся над скворчащей сковородкой, с благоговейно-сосредоточенным выражением на лице разбивал и нюхал яйца. А Вох, изображая хозяина дома, предложил Стефану переждать дождь на подстанции. Тшинецкий попытался было расспросить, что все-таки произошло, и Вох, не желая показаться молчуном, охотно объяснил, что спасли их громоотводы, что атмосферные разряды — вещь обычная; он говорил о перенапряжении, о каких-то перегрузочных выключателях, но у Стефана, хотя он мало что понял, создалось впечатление, что, в сущности, дело совсем не в этом, а Вох по каким-то одному ему ведомым при-

чинам старается преуменьшить грозившую им опасность. Стефан же ничуть не сомневался, что такая опасность действительно была, он ведь преотлично видел, как вели себя электрики. Потом Вох поводил его по комнате, объясняя, как называются приборы и аппараты, даже позволил Стефану заглянуть в отгороженный стенкой коридорчик, где они до того беседовали с Поцчником. Там к стене было прикреплено что-то похожее на котел, к которому шли медные шины, а под ним все было завалено щебнем — это, объяснил Вох, чтобы не допустить пожара, если бы котел (а он и был выключателем) лопнул и из него полилось горящее масло.

— А там, под щебнем, что? — спросил Стефан, который сидел задавать разумные, деловые вопросы.

Вох холодно смерил его взглядом.

— А что там должно быть? Ничего там и нет.

— Ну да, ну да.

Они вернулись в комнату. Тем временем на столике появилась небольшая бутылка сорокаградусной водки и ломтиками нарезанный огурец. Вох наполнил стаканчики, чокнулся со Стефаном, затем заткнул бутылку и поставил ее на шкаф, заметив при этом:

— Нам водка вредна.

О грозе речи он больше не заводил, зато явно подобрел. Старика как будто и вовсе не замечал, словно его вообще тут не было; они со Стефаном сидели за столиком, Вох повесил на спинку стула свой пиджак и остался в сером свитере, обтягивавшем его бочкообразную грудь. Вытащил из кармана жестяную коробочку с табаком и папиросной бумагой, протянул ее Стефану, предупредив:

— У меня крепкий.

Стефан принялся скручивать сигарку, но у него ничего не получалось; наконец соорудил нечто пузатое, заостренное с концов и так заслонил бумагу, что самокрутка лопнула. Тогда Вох, который вроде бы и не смотрел на Стефана, взял добрую щепоть ломкого и корявого, как стружка, табаку, примял его толстыми пальцами одной руки, пристукнул сверху большим пальцем другой и протянул Стефану почти готовую самокрутку — оставалось только послонить край бумажки. Тшинецкий поблагодарил, наклонился над пламенем зажигалки, которой Вох предупредительно щелкнул, — чуть не опалил себе брови, но мастер ловко отвел язычок в сторону. В первое мгновенье Стефан едва не задохнулся, слезы навернулись на глаза, но он изо всех сил старался не показать виду. Вох вежливо притворился, будто ничего не замечает.

Так же ловко скрутил еще одну сигарку, прикурил, затянулся; теперь оба они молчали, дым над их головами уже сбился в облако, голубеющее под светом лампы.

— Вы давно работаете по своей специальности? — начал разговор Стефан, побаиваясь, правда, что Вох попросту отмахнется от этого наивного вопроса, но ему больше ничего не приходило в голову.

Мастер, словно не расслышав, продолжал молча курить, но совершенно неожиданно вытянул руку и резко опустил ее к полу.

— Вот таким мальчонкой пришел работать. Нет, вот таким, — поправился он, еще ниже опуская руку. — В Малаховицах. Электричества еще не было, французы приехали турбины устанавливать. Мастер у меня был человек что надо. Как гаркнет в котельной, наверху слышать. Ну, и не зря: работа наша понятия требует. На мальцов не орал, был терпелив и учил. Кто впервой шел на высокое напряжение — разъединители чистить, с этого ведь все начинается, — так он всегда тому наперед показывал кисть со следом покойника, чтобы, значит, покрепче запомнил.

— А что это было? — не понял Стефан.

— Ну, обыкновенная кисть, как малярная, волосяная. Такой и пыль смахивают. Только вот провода должны быть без тока и не под напряжением. А кто забудет и до провода под током дотронется, так огнем как плюнет, и готов. Вот от одного такого кисть и осталась. Деревенского. Я его не знал, это не при мне было, раньше. Следы от пальцев на ручке мастер показывал, черные, что тебе уголь. Ведь тот самый покойник весь обуглился. Целиком, — втолковывал Вох, сбавляя темп повествования ради Стефана, у которого глаза полезли на лоб. — Это верный способ. Никакой болтовней человека нашей работе не обучишь. Глаз, рука — у нас всё. И — постоянно смотри в оба. Попобил я свое ремесло. И мастер меня любил. После слабых токов более серьезным делом занялся. Я и на сетях работал, случалось, да все как-то без огонька. Сеть не по мне. Тащись от столба до столба, железки с собой волоочи, лезь, слезай, провод натяни и опять все по кругу — любому осточертеет, вот люди и начинают потягивать из бутылки. Однако, винь, водка в этом ремесле — радость недолгая. Одна промазка, не тот провод — трях, и вечное сияние, — неторопливо, безмятежно, почти добродушно закончил Вох.

Он сунул в рот до половины докурившую самокрутку, привычно прилагив ее к губе и тем выволовив руки, хотя сейчас в этом и не было нужды.

— Приятель у меня был, Фиялек Юзеф. В голове — ничего,

кроме бутылки. На работу приходил весь в грязи, двух слов связать не мог, все бормотал что-то, но пока держался, работник был хороший. Вот так и тянул от зарплаты до дырки в кармане. Первую половину месяца — не мужик, а золото, вторую — чистый зверюга. Однажды, сразу после зарплаты, пропал. Искали его, искали, а нашли на распределительном щите. Улегся спать в шинной сборке высокого напряжения, но пьяный был, и как с гуся вода. За ноги мы его оттуда остороженько выволокли. Ну, а потом доигрался. На трансформаторной его достало. Пошел я к нему в больницу, а он в бинтах весь. Просит: «Подними мне руку». Поднял, а у него под мышкой ничегошеньки, кости одни. Все мясо выгорело. Он тут же и помер.

Вох помолчал, затянулся, выпустил дым. Воспоминания захватили его.

— Профсоюз ему похороны устроил, все как положено. И семье пропасть не дали. Вот как оно раньше-то было — всё больше жили, не помирали. А потом, в тридцатом, начались увольнения. Ну!

Он с отвращением затушил окуроч.

— Под моим началом аварийная бригада была. Это значит — сиди до ночи и жди. Аварии — ясное дело, то птицу ток спалит, то какой-нибудь болван ветку на провода закинет, то мальчонка змеем короткое замыкание устроит. Ну, а в тридцатом кое-что новенькое появилось. Первого самоубийцу, которого мы нашли, до гробовой доски не забуду. Взял парень камень, обмотал его проволокой, конец себе к руке привязал и забросил камень на провода. Сам весь черный, рука отвалилась, а вокруг жиру полно, из него вытопился. Если бы я еще его не знал, а то знал ведь, он на сортировочной работал, пока не выбросили, холостой был. Холостых первыми увольняли. Девушки его любили, малый выспий сорт. Да, люди ведь не знают, что электричество — смерть легкая, а тут вроде как научились, что ли. Дело-то и вправду пустяковое: у нас французы, которые линию строили, пустили провода рядом с пешеходным мостиком. Так проволоки меньше ушло. Они народ бережливый были. Так что только камень да проволока, а бросать недалеко.

Вох вцепился рукой в край стола, как будто хотел оторвать его от пола.

— Потом, как в дежурке телефон забренчит, прямо сердце сжимается! А на третий раз человек уже из себя выходит — да тут еще и весь город знает. Напротив нашей электростанции биржа труда была. Поехали мы раз, а там народищу тьма — безработных, значит. Кто-то крикнул: «Санитары электрические едут!» Монтер

мой, Пеллох, как заорет сверху: «Идите в реку, топитесь, вот мы и не будем санитары!» Ну, знаете, как те только про реку услышали! Хорошо еще, шофер скумекал, удрали мы, в общем. В нас уж и камни полетели. А Пеллоха этого сам я на работу брал, причем совсем недавно. Монтер он был никудышный, но у него жена болела. На это место я мог взять сотню куда лучше, чем он, вот меня злость и разобрала. «Ты, — говорю, — сам там неделями гнил, а тут, едва работы понюхал, так уж своих товарищей в реку плещь?» А он — на меня. Горячий был мужик. Слово за слово, прогнал я его к чертям собачьим. Приходил потом ко мне, кланялся, пожалеть просил, есть нечего, жена помирает, ну, что мне с ним было делать? Жена его и вправду померла. Осенью. Возвращается он с похорон, голову в окно просовывает, а я как раз дежурил, и тихонько так говорит: «Чтоб ты подох, да не сразу, а помаленьку». Не прошло и недели, выезжаем мы на аварию, опять на мост. Гляжу, а покойник-то, слушайте, он и есть! Изжарился, словно гусь. Пальцем по груди постучал — сухой, как скрипка, так спекся.

Старик поставил перед ними две миски с густым супом, сам пристроился на ящике рядом, держа на коленях дымящийся котелок. Принялись за еду — те не спеша, осторожно, а Стефан сразу опшарил себе язык. Он не подал виду, но стал подолгу дуть на каждую ложку. Поели, и опять появилась жестяная коробочка. Закурили. Стефан надеялся, что Вох продолжит рассказ, но мастеру явно было не до того. Серый, большой, нахолившийся, он сидел на своем стуле, шумно выпускал изо рта дым и односложно отговаривался от вопросов Стефана. Узнав, что Вох несколько лет проработал мастером на электростанции в его родном городе, Стефан заметил:

— Ах, вот оно что, стало быть, если так можно выразиться, благодаря вам в моей квартире был свет?

Ему хотелось сказать, что это хотя и тоненькая, но все же нить, как-то их связывающая. Вох промолчал, как будто не слышал его слов. Дождь почти прекратился, только из единственной водосточной трубы подле окна на землю изредка падали крупные капли. Стефан все не уходил, ему не хотелось расставаться с Вохом вот так, когда между ними возникла чуть ли не неприязнь. Но разговор уже совсем иссяк; в попытках как-то его оживить Стефан взял со стола зажигалку Воха, блестящую, никелированную, с выгравированным на плоских боках орнаментом. С одной стороны была готическая надпись: «Andenken aus Dresden»<sup>1</sup>. Вертя

<sup>1</sup> На память о Дрездене (нем.).



зажигалку в пальцах, Стефан заметил на ее крышечке выбитые буквы: «Für gute Arbeit»<sup>1</sup>.

— Какая красивая у вас зажигалка, — льстиво сказал Стефан. — Вы работали в Германии?

— Нет, — ответил Вох, отсуствующим взглядом уставившись прямо перед собой, — это мне здесь мой начальник дал.

— Немец? — Известие неприятно удивило Стефана.

— Немец, — подтвердил Вох и как-то странно посмотрел на Стефана.

— За хорошую работу, — уже и не спрашивал, а как бы хотел попрекнуть этим Вох Стефан, хотя и понимал уж, что такая тема наверняка не поднимет настроения.

— Да, за хорошую работу, — подчеркнуто, пожалуй даже язвительно, в тон Стефану ответил Вох.

Стефана это совсем сбilo с толку; он мучительно искал какого-то нового «подхода» к Воху — встал и даже с деланной непринужденностью прошелся по комнате, наклоняясь и разглядывая приборы. Он рад был бы выслушать и строгое замечание об опасности, лишь бы нарушить враждебное молчание, которое его убивало. Все впустую. Старик погромел пустыми мисками и унес грязную посуду; вернувшись, заговорил с Вохом на свой манер. — Стефан, слушая его бормотанье, не разобрал ни слова. Вох продолжал сидеть на своем месте, сгорбившись, навалившись грудью на столик, гудело электричество, из окна — его открыл Пошчик — тянуло ночной свежестью. Дверь в коридорчик неожиданно распахнулась, и вошел молодой рабочий, которого Стефан видел уже дважды. Наброшенная на плечи, вывернутая наизнанку армейская куртка промокла насквозь и потемнела, медные волосы слиплись, вода ручейками стекала по лицу. Он остановился на пороге, у его ног сразу же образовалась небольшая лужица. Никто не произнес ни слова — сразу стало ясно, что парня ждали. Переглянувшись с Вохом, старик поплелся в угол, а Вох, до этой минуты сама неподвижность, порывисто поднялся из-за стола и подошел к Стефану.

— Я провожу вас, господин доктор. Уже можно идти.

Сказано это было так откровенно, без тени вежливого притворства, что все скоропалительно и хаотически возводившиеся Стефаном планы придать своему уходу хотя бы видимость добровольного вмиг рухнули. Раздосадованный, даже разозленный, он позволил выпроводить себя во двор. Здесь Вох показал ему, в какую сторону идти, чтобы добраться до больницы, и еще секунду как бы не отпускал от себя; и тут Стефана прорвало:

---

<sup>1</sup> За хорошую работу (нем.).

— Господин Вох, я у вас, отчего так, вы же понимаете, я...

Он не знал, что еще сказать.

Тьма стояла такая, что они едва могли рассмотреть лица друг друга. Вох тихо проговорил:

— Пустяки. Не дать человеку вымокнуть — дело житейское. Только, видите, специально заходить сюда незачем. Не то чтоб что такое, а так. Вы же понимаете.

Заговорив, он положил руку на плечо Тшинецкого, вернее, едва коснулся его плеча; в жесте этом не было и намека на панибратство, только желание прикосновением возместить невозможность посмотреть в глаза, ведь их разделяла тьма. Вох говорил просто, но выходило как-то значительно. Стефан, ничего не понимая, торопливо бросил в ответ:

— Да, да, ну, тогда спасибо и спокойной ночи. — Он почувствовал, что Вох слабо пожал его руку, круто развернулся и пошел восвояси.

Стефан карабкался в гору по глинистому склону, порывы ветра швыряли ему в лицо капли дождя. Он весь был во власти случившегося, и эти несколько часов перевесили месяцы жизни в больнице. Горькая обида на Воха, которую он испытывал на подстанции, испарилась, когда они прощались в темноте, и теперь его смущало, что сам он так глупо вел себя, — впрочем, что, собственно, ему еще оставалось, как только задавать идиотские вопросы? Наверное, он был похож на ребенка, который пытается разгадать, чем занимаются взрослые. Когда показалось, будто его подпустили к первой тайне, его тут же выставили за дверь. Стефан даже подумал: а не вернуться ли, не подглядеть ли в окно, что они там делают? На такое, естественно, он бы не отважился, но сама эта мысль говорила, в каком состоянии он находился. Стефан убеждал себя, что на подстанции ничего особенного не происходит, что те двое пойдут спать, а Вох, залитый резким светом ламп, устроится подле приборов, посидит, встанет и посмотрит на какой-нибудь циферблат, черкнет что-то на разлинованном клочке бумаги, потом опять усядется на место; все это бессмысленно и неинтересно, но почему же так притягивает к себе его мысли их молчаливая, однообразная работа? Стефан нащупав в темноте влажный холодный замок, повозился с ключом, открыл высокую калитку, вслепую пошел по убитой известковой щебенкой тропинке, которая едва видной белой полоской перечеркивала черную траву, и вскоре оказался в своей комнате. Не зажигая лампы, торопливо разделся и юркнул под одеяло; он никак не мог согреться в холодной постели, чувствовал, что уснуть ему будет нелегко. И не ошибся.

Из тех, кто заходил в кабинет-мастерскую его отца, Стефана в детстве больше всего привлекали рабочие — слесари, токари, монтеры, которым изобретатель заказывал различные части приборов. Стефан их немножко боялся, так они были непохожи на других людей, которых он знал. Неизменно сдержанные, они молча и сосредоточенно выслушивали отца, чертежи брали в руки осторожно, чуть ли ни благоговейно, но под этой их вежливой предупредительностью ощущалась какая-то отчужденность, какая-то жесткость. Стефан подметил, что отец, любивший за столом порассуждать о людях, с которыми сталкивался, не поминал и словом о знакомых рабочих, будто в противоположность инженерам, адвокатам или торговцам они были лишены индивидуальности. Из этого Стефан сделал вывод, что их жизнь («настоящая жизнь» — так он ее называл) окутана тайной. Долго ломал он голову над загадкой этой «настоящей жизни», потом посчитал свое предположение глупостью и позабыл о нем.

И вот сейчас, ночью, бодрствуя и вглядываясь в мрак за окном, он вдруг вспомнил об этом. Значит, в его мальчишеских бреднях был какой-то смысл, была, существовала эта настоящая жизнь людей — таких, как Вох!

Пока дядюшка Ксаверий пропагандировал атеизм, пока Анзельм сердился, пока отец изобретал, а сам он копался в философии и беседовал с Секуловским — месяцами только читал и болтал, чтобы познать «настоящую жизнь», — она удерживала на своих плечах весь их мир, словно Атлас — небесный свод, а сама была незаметна, как земля под ногами... Стефан подумал, что впадает в мифотворчество, ведь существует же взаимный обмен услугами и взаимная зависимость в обществе: Анзельм занят сельским хозяйством, Секуловский пишет, он и дядюшка Ксаверий лечат... но Стефан тут же поймал себя на мысли, что, если бы все они вдруг исчезли, почти ничего бы не изменилось, — а вот без Воха и таких, как он, мир существовать не может.

Он повернулся на другой бок и зачем-то резко щелкнул выключателем. Лампа на ночном столике загорелась — ничего особенного, но свет вдруг показался ему символом, вроде бы знаком, свидетельством того, что Вох бодрствует. В этом желтом свете, равнодушно заливающим комнату, было что-то успокаивающее, гарантирующее свободу заниматься чем угодно и размышлять о чем угодно; пока горел свет, можно было преспокойно мечтать об иных, отличных от всех существующих, мирах.

«Надо спать, — решил Стефан. — Ничего я не придумаю». Он опять протянул руку к выключателю, но заметил на столике рас-

крытую книгу — первый том «Лорда Джима»<sup>1</sup>, который он еще не дочитал. Рука, протянувшаяся к лампе, повернула выключатель, и Стефана опять накрыла тьма. Он вдруг подумал: а прочитал ли бы Вох эту книгу, но это было так невероятно, что он даже криво усмехнулся во мраке. Вох ее бы и в руки не взял; за проблемами «Лорда Джима» ему незачем отправляться в океан, он презрительно отнесся бы к тому, как Конрад разрешает их на бумаге, ведь самому Воху приходится сталкиваться с ними в реальной жизни! О том, чего это ему стоит, какими страданиями и заботами он оплачивает наблюдение за электрическим током, об этом никому и ничего известно не было. Какое счастье, что «настоящая жизнь», поддерживая свет в лампах, ничем не докучала Стефану и ничем ему не досаждала. Лучше всего было бы вовсе не касаться ее и не очень-то задумываться о ней, иначе не знаешь.

Мысли Стефана начали расползаться. Под закрытыми веками замаячили безбрежное небо и домик, на который обрушиваются все грозы мира; он увидел хмурое, серое лицо Воха, его сильные руки, словно загорающиеся при вспышках разрядов, — и потом уже не было ничего.

## ЛЕКЦИЯ МАРГЛЕВСКОГО

В жаркие июльские дни больницу заполонили постояльцы военной поры, и между вновь прибывающими и выздоравливающими установилось равновесие. Солнце в полдень зависало в самой середине неба, окаймляя плотной лентой тени больничный парк, по которому, раздевшись чуть не до гола, слонялись больные. По вечерам с помощью ручного насоса для них устраивали примитивный душ. Насосу сонно кланялся санитар, прозывавшийся Юзефом-старшим, огромный детина с лицом старца и телом юноши.

Сидя в кабинете, искрящемся от солнечных лучей, словно кварцевая лампа, Стефан записывал в книгу приемного отделения нового пришельца, бывшего узника лагеря. По счастливой случайности перед ним распахнулись ворота, которые вроде бы открываются лишь для того, чтобы впустить в лагерь. Проходивший по коридору Марглевский заглянул в кабинет и заинтересовался случаем.

— Фу-фу, миленькая кахексия, истощеньице, — проговорил

---

<sup>1</sup> Роман Дж. Конрада (1857—1924), английского писателя польского происхождения.

он, кладя руку на голову человека, который в сверкающей белизной комнате выглядел, словно куча лохмотьев.

Больной неподвижно сидел на вертящейся табуретке, щеки его наискось, от глаз к подбородку, прорезали две морщины, тс-рявшиеся в щетине, которой заросло его лицо.

— Дебил, да? Идиот, да? — выпытывал Марглевский, все еще не снимая руки с головы несчастного.

Оторвавшись от писанины, Стефан отсутствующим взглядом посмотрел на него и словно очнулся.

По отмороженным, фиолетового оттенка щекам пациента скатились две крупные, очень прозрачные слезы и исчезли в борде.

— Да, — сказал Стефан, — идиот.

Встал, швырнул бумаги на угол стола и отправился к Секуловскому. Начал разговор как-то бессвязно: вот, мол, переменял некоторые свои мнения, сейчас наступает время, когда нужно избавиться от части своего интеллектуального багажа.

— Кое-какие подходы уже устарели, — говорил он, стараясь подсластить свое отступничество цинизмом. — Вот я только что пережил маленький катарсис...

— Войдзевич в прошлом году угощал меня вишнежкой, которая вызывала большой катарсис... подозреваю, он в нее кокаину подсыпал, — отозвался Секуловский, но, заметив выражение лица Стефана, добавил: — Ну, доктор, говорите же, я вас слушаю. Вы человек ищущий и попали в самую точку. Сумасшедший дом — всегда некая выжимка духовного состояния эпохи. Все искривления, все духовные отклонения и чудачества так растворены в нормальном обществе, что их трудно обнаружить. И только тут, так сказать, в сгустке, они четко обрисовывают облик своих эпох. Вот музей душ...

— Да нет же, не о том речь, — перебил его Стефан и вдруг почувствовал себя чудовищно одиноким. Он искал нужные слова, но так и не смог их найти. — Нет, собственно говоря, нет... — пробормотал он, попятился и поспешно вышел вон, словно опасаясь, что поэт удержит его, однако внимание Секуловского привлек к себе паук, показавшийся из-за кровати и поползший по стене вверх; он кинул в него книгу, а когда она с шумом шлепнулась на пол, долго рассматривал кляксу, подергивавшую тонкой, как волосок, ножкой.

На галерее Стефан столкнулся с Марглевским, который стал зазывать его к себе.

— Я достал бутылочку «Extra Dry», — сообщил он, — может, заглянете ко мне? Горло промочим.

Стефан было отказался, но Марглевский считал это пустой вежливостью.

— Ну, ну, пошли, какие могут быть разговоры.

Жил Марглевский на том же этаже, что и Стефан, только в другом конце коридора. Комнату доктора загромождала сверкающая мебель: стол со стеклянной столешницей, опиравшейся одним краем на пирамиду из ящиков, а другим — на изогнутые стальные трубы; из таких же трубок были сооружены и креслица. Все это напомнило Стефану приемную зубного врача. Несколько картинок в легких металлических рамках. Две стены занимали книги, очень аккуратно расставленные, на корешке каждой наклеен белый померок. Пока Марглевский накрывал салфеткой низенький столик, Стефан, подойдя к полкам, наугад вытянул томик и стал его перелистывать. В «Провинциальных письмах» Паскаля разрезаны были только две первые страницы. Хозяин выдвинул ящик современного буфетика: появились бутерброды на белых тарелочках. После третьей рюмки язык у Марглевского развязался. Водка только подчеркнула своеобразную манеру хозяина вести разговор — сказанное он любил иллюстрировать показом. Сообщая, к примеру, что испачкал халат и его надо выстирать, тер что-то невидимое в руках, как это делают прачки. Вот и сейчас, словно размахивая дирижерской палочкой, он принялся демонстрировать Стефану картотеку — множество ящичков, рядом стоящих на подоконнике. Разноцветные зажимы скрепляли большие картонные листы. Выяснилось, что Марглевский занимается наукой. Как бы невзначай он переключал с места на место пузатые папки с рукописями; он исследовал влияние камней в моче Наполеона на исход битвы под Ватерлоо, доискивался, как воздействовало усиленное производство гормонов на коллективные видения святых, — тут он провел пальцем вокруг головы, что должно было означать нимб, и рассмеялся. Ему было жаль, что Стефан неверующий. Он искал наивных, чистых, погрязших в догматике. Они были ему нужны, как полотенце грязнуле. Он говорил:

— Вы ведь, коллега, часами просиживаете у Секуловского? Спросите его, отчего литература так врст? Дорогой коллега, не одна любовь разбилась только из-за того, что малому захотелось пописать, а он постеснялся сказать об этом барышне, изобразил внезапный приступ тоски по одиночеству и дал тягу в кусты. Я сам знаю один такой случай...

Стефан скорее от скуки, чем из любопытства заглядывал в открытые картотеки. Между твердыми прокладками были сложены тщательно выровненные листки, заполненные машинописью.

ным текстом. А Марглевский говорил и говорил, однако речь его становилась все беспорядочнее, будто думал он о чем-то другом. Однажды Стефан даже поймал на себе его острый, холодный взгляд. Теперь, когда доктор сидел вот так — сгорбившись, выставив вперед чутко приплюснутый нос, он казался Стефану похожим на старую деву, которой невтерпех признаться в единственном своем грехе.

Марглевский начал говорить, так густо уснащая речь латынью, что нельзя было ничего понять. Его нервные, худые пальцы нетерпеливо ласкали полированную крышку ящика, потом он наконец открыл его. Стефан, подгоняемый любопытством, заглянул внутрь: длинный реестр, что-то вроде инвентарной описи. Он успел прочитать: «Бальзак — гипоманиакальный психопат, Бодлер — истерик, Шопен — неврастеник, Данте — шизоид, Гете — алкоголик, Гельдерлин — шизофреник...»

Марглевский приподнял завесу тайны. Он замахнулся на великую книгу о людях гениальных, даже собирался опубликовать отрывки из нее, — к сожалению, помешала война...

Он стал раскладывать огромные листы с изображениями генеалогических деревьев. Говорил, все более распаяясь, на щеках выступили бурые пятна. Он перечислял извращения, попытки самоубийства, обманы и психоаналитические комплексы великих людей с такой страстью, что Стефан невольно заподозрил: Марглевский сам, наверное, страдает какими-то отклонениями от нормы и стремится столь сомнительным образом породниться с гениями, втереться в их семью. С необычайным тщанием собирал он описания всех житейских промахов великих людей, исследовал и раскладывал по ящичкам их неудачи, трагедии и несчастья, жизненные провалы. Обнаруженный в посмертных бумагах самый слабый след какой-нибудь греховности или только догадка о ней несказанно радовала Марглевского. Когда он бросился к нижнему ящичку стола и, размахивая во все стороны руками, принялся раскидывать папки, намереваясь продемонстрировать какую-то новейшую свою добычу, Стефан, воспользовавшись его молчанием, проговорил:

— Мне представляется, что великие творения возникают не благодаря безумию, а вопреки ему...

Он взглянул на Марглевского и пожалел, что сказал это. Тот поднял голову от бумаг, глаза его превратились в щелки.

— Вопреки?.. — язвительно протянул он. Резким движением собрал рассыпавшиеся страницы, чуть ли не вырвал из-под носа Стефана развернутые диаграммы, стал нервно распахивать все поскоросшивателям. И, только покончив с этим, повернулся к

гостю. — Вы, дорогой коллега, еще неопытны, — заговорил он, сплстая руки. — Мы в конце концов не живем в эпоху Возрождения; впрочем, и тогда непродуманные действия могли обернуться роковыми последствиями... Вы, по всей вероятности, не охватываете... однако то, что с субъективной точки зрения может быть оправдано, перестает быть таковым перед лицом фактов...

— О чем вы говорите? — холодея, спросил Стефан.

Марглевский не смотрел на него. Он растирал свои длинные, тонкие пальцы и упорно разглядывал их. Наконец сказал:

— Вы много гуляете... но эти бежинецкие электрики... этот их кирпичный дом... Это может бросить на больницу не только тень дурной славы, но и Бог весть что! И не в том даже дело, что они прячут там какое-то оружие, но этот молодой, этот Пощчик, он же бандит, самый заурядный бандит.

— Откуда... откуда вы знаете? — вырвалось у Стефана.

— Не важно.

— Этого не может быть!

— Не может быть?! — Спрятавшиеся под очками глаза Марглевского с холодной ненавистью буравили Стефана. — А о подпольной Польше вы слышали? О лондонском правительстве? — выпалил он свистящим шепотом, и его большие руки, поглаживавшие белый халат, при каждом слове слегка подрагивали. — Здесь, в лесах, армия в сентябре оставила оружие. Заботу о нем взял на себя этот... этот Пощчик! Требование указать место он отверг. Сказал, что подождет большевиков!

— Так и сказал?.. Откуда вы знаете? — растерянно повторил Стефан, оглушенный неожиданным поворотом разговора и возбуждением Марглевского — того буквально трясло.

— Я не знаю! Я ничего не знаю! Я не имею с этим ничего общего! — взорвался он яростным шепотом. — Все об этом знают, кроме вас! Кроме вас, *коллега!*

— Так вы говорите, туда не ходить?.. — Стефан встал. — Правда, однажды я случайно, во время грозы...

— Я ничего не говорю! — оборвал его Марглевский, тоже вставая, а вернее, сорвавшись с кресла. — Покорнейше прошу вас навсегда позабыть об этом! Я всего лишь считал своим товарищеским долгом — а уж вы поступайте, как сочтете нужным, но, подчеркиваю, решайте исключительно сами!

— Разумеется... — забормотал Стефан. — Если вы, господин доктор, этого желаете... Я никому не скажу.

— Дайте в знак этого руку!

Помедлив, Стефан протянул ему руку. Происшедшее ошеломило его, но в этот момент его больше всего поразила нервность,



явная тревога Марглевского. Может, этот скелет ненароком про болтался? А его ярость? Неужто он как-то связан с подпольем? Какой-нибудь, как это говорится, контакт?..

Стефан вышел в коридор; он был совершенно сбит с толку, растерян. Жара стояла такая, что и здесь, в корпусе, он то и дело отирал платком пот со лба. Проходя мимо уборной, услышал за дверью смех. Голос казался знакомым. Дверь распахнулась, и из уборной, пошатываясь от хохота, больше напоминающего икоту, выскочил Секуловский в пижамных брюках. На светлых волосах, покрывавших его грудь, подрагивали капельки воды.

— Может, раскроете причину столь хорошего настроения? — спросил Стефан, жмурясь от ярких лучей, которые, пробивая стеклянную крышу, рассыпались в коридоре всеми цветами радуги и красочными пятнами расползались по стенам.

Секуловский прислонился к стене; он никак не мог прийти в себя.

— Доктор... — прохрипел он наконец. — Доктор... это та ку... ха-ха-ха... не могу. Вспомнились мне наши уч... ученые диспуты... феномены... философия... Упанишады... звезды... дух и небеса, а как только посмотрю на кучу, ну... не могу! — Он опять расхохотался. — Какой дух? Кто такой человек? Куча! Куча! Куча!

Отбормотавшись — приступ судорожного веселья все не отпускал его, — поэт отправился к себе, то и дело раздражаясь смехом. Стефан, так и не проронив ни слова, пошел в свою комнату. Секуловский чертовски его расстроил. «И такие открытия он делает сейчас!» — подумал Стефан. Он не знал, как теперь быть. Выходя от Марглевского, он решил пойти на подстанцию и предостеречь Воха. Какое значение имеет слово, данное Марглевскому, если молчание может поставить электриков под удар? Однако Стефан быстро сообразил, что никуда не пойдет. Кого, собственно, Вох должен был остерегаться? Марглевского? Вздор. Так что же — сказать ему, что он прячет оружие? Но если это правда, Вох и сам это знает лучше Стефана.

Несколько дней ломал он себе голову, обдумывая самые нелепые способы предостеречь Воха, предупредить, чтобы тот был поосторожнее: может, анонимная записка, может, вызвать мастера на ночной разговор, — но все это не стоило и ломаного гроша. В конце концов он просто махнул на это рукой. На подстанцию не ходил, считая, что обещал это Воху, но какое-то время спустя опять стал бродить в тех местах. Однажды ранним утром заметил на вершине одного из самых высоких холмов Юзефа. Санитар неподвижно сидел на траве, словно зачарованный открывавшейся перед ним красочной картиной, но Стефан полагал,

что не тот он человек, который способен наслаждаться прелестями природы. Он украдкой понаблюдал за Юзефом, но, так ничего и не открыв для себя, ушел. Уже подойдя к лечебнице, вдруг подумал, что Юзеф мог быть осведомителем Марглевского. Встречается с мужиками — в деревне ничего не скрыть, — да и работал он в отделении Марглевского, а тонкий доктор, человек по натуре желчный, тем не менее поддерживал с ним даже в какой-то мере доверительные отношения. Хотя — что могло быть общего у Юзефа с лондонским правительством? Все это трудно было понять, различные мелочи не складывались в целостную картину, но Стефан опять почувствовал, что должен предостеречь Воха. Однако всякий раз, только представив себе, как в действительности будет протекать разговор с мастером, испытывал страх.

В те дни новые события нарушили привычный ритм жизни лечебницы. Стефан с любопытством наблюдал за тем, что происходило за стеной, в соседней квартирсе. До того пустовавшая, она готовилась принять нового жильца — профессора Ромуальда Лондковского, бывшего ректора университета. Этот ученый, чьи работы в области электроэнцефалографии сделали его известным далеко за пределами Польши, человек, восемнадцать лет возглавлявший психиатрическую клинику, был изгнан немцами со своего поста. Теперь его ждали в лечебнице — неофициально, как гостя Паенчковского. Адъютант несколько раз сзидил на вокзал, чтобы в качестве почетного эскорта сопровождать прибывавшие партии профессорского багажа. Сам Лондковский явился на следующий день. Запыхавшийся Юзеф носился с этажа на этаж — то с лестницей, то с каким-то шестом, то с потертым ковром.

Целый день слышал Стефан за стеной стук молотка, шум передвигаемых ящиков и грохот расставляемой мебели. К самому факту приезда Лондковского врачи отнеслись равнодушно. За обедом стояло молчание, которое только подчеркивалось яростным жужжанием мух. Стефан завссил окно в своей комнате влажной марлей, надеясь таким образом защититься от сухого и знойного воздуха, и, растянувшись на кровати, листал учебник психологии. Разглядывая фотографии незнакомых людей, он ясно почувствовал, что все они — разновидности одного и того же типа, широкая распространенность которого в жизни оскорбляет его представление о неповторимой индивидуальности. К индивидуальным различиям приводит простое изменение основных пропорций: одно лицо характеризуется глазами, другое — скорее скулами, в третьем главное — щеки. Попадая в город, Стефан любил представлять себе лица идущих впереди него людей,

прежде всего женщин. Улицы, эти подвижные собрания лиц, давали возможность играть так часами.

Ни с того ни с сего заглянул Паенчковский и прервал его размышления. Поинтересовался чтением «уважаемого коллеги», потом перешел к своей излюбленной теме.

— Ну, вы уже этого не увидите, — грустно говорил он, — к сожалению, такие мощные, классические приступы с истерической дугой теперь больше не встречаются. Помню, у Шарко в Париже...

Он расчувствовался.

Но, заметив кислую улыбку Стефана, добавил:

— Ну, в известном смысле это вроде бы и хорошо, хотя истерия у нас есть до сих пор. Думаю, просто-напросто течения психических расстройств прорыли себе новое ру... русло. Ах да... что же это я хотел сказать?

Стефан с самого начала именно этого и ждал, ведь визит предвещал нечто из ряда вон выходящее. И Пайпак принялся втолковывать, что Лондковский — светило, его друзья Лэшли и Гольдшмидт — в Америке, а теперь вот немцы вышвырнули его на улицу.

— На улицу... — повторил он дрожащим от волнения голосом. — Так вот, надо, чтобы мы ему взамен, ведь правда же... все, что в наших силах...

Он попросил Стефана нанести визит ректору, когда настанет его очередь.

Паенчковский обошел с этим всех врачей больницы.

В первый же вечер отправились, чтобы, как выразился Марглевский. «вручить верительные грамоты», он сам, Паенчковский и Каутерс — как старшие. На следующий день — Носилевская с Ригером. Наконец, на третий — Станек и Стефан. Кшечотек проворчал что-то насчет деловиальных<sup>1</sup> обычаев: вроде бы все и равны, вроде бы и работают вместе, вроде бы единство перед лицом врага, а чуть доходит до дурацких визитов, становись в очередь по возрасту и должности.

Стефан откопал на дне чемодана какой-то кошмарно черный галстук, прикрыл пятно на нем пиджаком, и они отправились.

Лондковский был похож на тощего льва без шеи. Бугристая голова, обрамленная серебристыми локонами; из ноздрей торчат пучки волос; нос размятой картофелиной; лицо изборождено глубокими изломанными складками; нависшие серые, пушистые брови трепещут при каждом движении головы. От гладко выбри-

<sup>1</sup> Здесь: доисторических.

того подбородка туго натянутыми струнками сбегали морщины. Лондковский в профиль немного напоминал Сократа.

Стефан, уже побывавший в нескольких квартирах врачей, с любопытством разглядывал профессорское жилье, обставленное все же наспех, хотя фура шесть раз ездила на вокзал и обратно.

Прямо от двери начинались книжные полки, занимавшие всю стену; они прогибались от толстенных томов. Книги в основном — в черных переплетах с золотым тиснением. В самом низу — кипы научных журналов. Кое-где виднелись на полках, словно случайно туда затесавшиеся, желтые или зеленые томики. Наискосок к окну стоял письменный стол, передний край которого был, словно забором, огорожен учебниками. Строгость этой комнаты, почти кельи, смягчали ковры: один, с высоким, как трава, ворсом, ромбом лежал у самого порога, другой — что-то вроде маленького гобелена — служил фоном для фигуры Лондковского.

Молодые люди рабски что-то пробормотали вместо приветствия. Профессор умел разговаривать живо, вроде как обо всем на свете, а в сущности, ни о чем. Вышло так, будто они явились к нему за советами и знаниями. Он их расспрашивал о работе, интересах — разумеется, исключительно профессиональных, старательно избегая всего, что касалось больничной жизни. Держался он совершенно на равных. И именно благодаря этому сохранял солидную дистанцию. Даже крупную доброжелательности могла свести к нулю его собственная душевная надменность. Взглянув на две бронзовые головы на низенькой полочке — Канта и неандертальца, — Стефан даже поежился. Его поразило, что, хотя в похожем на клубень черепа и сильно выдававшихся вперед глазницах неандертальца притаилась дикость, отсутствующая в другой голове, от обеих веяло каким-то бесконечным, мучительным одиночеством, словно каждая из них вобрала в себя жизнь и смерть многих поколений.

На стенах висели портреты: Листер с байроновской печалью в опущенных долу глазах, Павлов — резко торчащая вперед борода, лицо до жестокости любопытного ребенка, и Эмиль Ру — старик, добитый бессонницей.

Посчитав, что молодежь свое отбыла, профессор с необыкновенным тактом срежиссировал обмен поклонами и короткими, но теплыми рукопожатиями, так что они очутились в коридоре, немного сбитые с толку, чуть ли не против собственной воли.

— Черт возьми! Великий человек! — ошеломленно протянул Стефан.

Ему захотелось основательного, большого разговора из разря-

да тех, которые подтачивают устой мироздания, но партнер оказался совсем не на высоте. Энергия, которую Кшечотек демонстрировал Лондковскому, испарилась. Было похоже, что, войдя в его кабинет, свое несчастье он оставил за профессорской дверью. А теперь вновь натягивал его на себя. Носилевская дожимала его все больше. Загорелая, равнодушно-всхливая, она отвечала на его трагически-вопросительные взгляды улыбкой, которая не означала ничего; она всегда оставалась врачом, готовым объяснить румянец приливом крови к голове, а сердцебиение — переполненным желудком. Заряженная, словно аккумулятор, женственностью, она мучила его каждым своим движением. Он, однако, робел заговорить с ней: собственное молчание оставляло ему хоть видимость надежды, которую неопределенность как бы укрепляла. Стефан давно уже состоял при друге деятельным утешителем-резонером и нес эту службу добросовестно, порой даже наслаждаясь ее изысканностью. Иногда он пускал в ход диссонансы, раздражаясь после какого-нибудь излияния Сташска громким хохотом или больно хлопая его по лопатке, но немедленно брал себя в руки.

Июль слетел с календаря. Августовские дни, словно горячий, золотистый ранет, скатывались в короткую, испещренную звездами тьму. После вечерней грозы, когда деревья, сотрясавшиеся от раскатов грома, успокоились и, отяжелевшие от влаги, смиренно стояли в наползающих сумерках, к Стефану явился торжественный Марглевский: он организовал научную конференцию с демонстрацией болыпых.

— Будет очень интересно, — говорил он. — Впрочем, не хочу опережать событий. Вы, коллега, и сами увидите.

А Стефан на этот вечер пригласил к себе Носилевскую — ему хотелось протаранить несносную робость Сташска; опять все пошло прахом...

В библиотеке уже расставили обитые красным плюшем креслица. Первым пришел Ригер, за ним — Каутерс, Пасничковский, Носилевская, наконец, Кшечотек. Когда, казалось, пора было уже и начинать и все выжидательно поглядывали на Марглевского, суевившегося подле высокого попитра, на котором лежали его бумаги, вошел Лондковский. Это было настоящим сюрпризом. Старик с порога всем поклонился, затем погрузился в большое кресло, которое Марглевский предусмотрительно поставил для него впереди остальных, скрестил на груди руки и замер. Желая как-то вознаградить Сташска, обманутого в своих надеждах, Стефан постарался устроить так, чтобы Носилевская оказа-

лась между ними. Докладчик подошел к попитру, откашлялся и, покопавшись в своих листочках, поднял на присутствующих блестящие стальные очки.

Его доклад, заявил он, — скорее предварительное сообщение, обзор еще не до конца обработанных материалов, касающихся специфического влияния, каковое некоторые болезненные состояния психики оказывают на ум человека. Речь идет о симптоме, который можно было бы назвать тоской выздоравливающего по ушедшему безумию; в особенности это характерно для простых людей, неинтеллигентных, которых шизофрения в некотором роде одаривает обогащающими их внутренний мир экзотическими состояниями; такие больные, излечившись от болезни, тоскуют по ней...

Марглевский говорил, едва заметно сардонически улыбаясь, сплетая и расплетая пальцы. По мере того как, перекладывая странички, он погружался в тему, росло и его возбуждение. Он заглатывал окончания слов, сыпал латынью, строил бесконечные, головоломные фразы, стараясь не смотреть в свои записи. Стефан с интересом разглядывал красиво очерченную голень Носилевской (она заложила ногу за ногу). Он уже довольно давно перестал слушать Марглевского. Этот вибрирующий голос убаюкивал. Но вот докладчик попятился от попитра.

— А теперь я продемонстрирую коллегам выздоравливающего, у которого проявляется эта, как я ее называю, тоска по безумию. Прошу! — Он резко повернулся к открытой боковой двери.

Оттуда вышел пожилой мужчина в вишневом больничном халате. В темном проеме двери маячило белое пятно — халат санитаря, поджидавшего в коридоре.

— Поближе, пожалуйста, поближе! — с фальшивой любезностью попросил Марглевский. — Как вас зовут?

— Лука Винцент.

— Вы в больнице давно?

— Давно... очень давно. Может, с год! Пожалуй, год.

— Что с вами было?

— Что было?

— Почему вы пришли в больницу? — сдерживая нетерпение, спросил Марглевский.

Стефану неприятно было наблюдать за этой сценой. Конечно же, Марглевского совершенно не интересовал этот человек; ему хотелось лишь вытащить из него нужное признание.

— Меня сын привез.

Старик внезапно смутился и опустил глаза. Когда же он их поднял, они были совсем иными. Марглевский облизал губы и

хищно выгнул вперед шею, упершись взглядом в желтое лицо больного, затем резко взмахнул рукой, давая знак зрителям, словно дирижер, который вытягивает чистое соло одного инструмента, но не забывает и об оркестре.

— Сын меня привез, — уже увереннее повторил старик, — потому как... я видел...

— Что вы видели?

Мужик замахал руками. Кадык дважды прокатился по его высохшей шее. Больной явно что-то хотел сказать. Несколько раз начинал он поднимать вверх обе руки, пытаясь подтвердить жестом свои слова, но слова эти так и не были произнесены, и каждый раз руки беспомощно опадали.

— Я видел, — наконец растерянно повторил он. — Я видел.

— Это было красиво?

— Красиво.

— Ну, так что же такое вы видели? Ангелов? Господа Бога? Богородицу? — четко, деловито выспрашивал Марглевский.

— Нет... нет, — всякий раз возражал мужик. Потом посмотрел на свои белые пальцы. И, не отрывая от них глаз, тихо протянул: — Неученый я... не умею. Началось, как я шел с сенокоса, там, где усадьба Русяков. Там это на меня и нашло. Все эти деревья там, во фруктовом саду... знаете, барин, и овин... как-то переменялись.

— Подробнее объясните, что это было?

— Переменялось там, возле усадьбы Русяков. Вроде бы и то же самое, но по-другому.

Марглевский окинул взглядом зал. Торопливо и четко, как актер, произносящий реплику «в сторону», бросил:

— Шизофреник с распадом психических функций, совершенно излечившийся...

Он хотел сказать что-то еще, но старик перебил его:

— Я видел... столько, столько видел...

Он загнулся. На лбу проступили капельки пота. Он сосредоточенно тер большим пальцем висок.

— Ну, хорошо, хорошо. Я знаю. А теперь вы больше ничего не видите, да?

Мужик опустил голову.

— Нет, не вижу, — покорно подтвердил он и весь как-то съежился.

— Прошу внимания! — бросил Марглевский зрителям и, подойдя вплотную к старику, заговорил с ним медленно, нажимисто, с расстановкой: — Больше вы уже не будете видеть. Вы здоровы, скоро пойдете домой, потому что у вас ничего

нет, — ничего у вас не болит. Понимаете? Вернетесь к сыну, к семье...

— Значит, больше уже не буду видеть?.. — повторил старик, не двигаясь с места.

— Нет. Вы здоровы!

Старик в вишневом халате был явно огорчен; больше того — на лице его выразилось такое отчаяние, что Марглевский даже просиял. Он отступил на шаг, словно не желая за-слонять собою вызванный им эффект, и лишь едва заметным движением прижатой к груди руки указывал на стоявшего перед ним человека.

Тот вдруг так крепко сцепил пальцы, что они хрустнули, и, тяжело ступая, подошел к попитру. Положил на него свои огромные, квадратные руки, с которых болезнь согнала загар и ввевшуюся в грубую кожу грязь. Только прозрачно-желтые мозоли, словно сучки на древесном срезе, сверкали на его ладонях.

— Господа... — запинаясь, начал он тоненьким голосом, — а нельзя так сделать... зачем же, господа, со мной занимались? Я уж там... что так уж меня кидало во все стороны, этот электрик или как его там... но вот если бы мне остаться... В избе голым голо, сыну на четыре рта не нагорбатиться, чего уж мне туда? Еще бы если работать мог — да, но руки-ноги не слушаются. Какая с меня польза? Мне уж недолго, чего мне надо-то, вишь, оставьте меня тут, оставьте...

По мере того как старик говорил, лицо Марглевского стало резко меняться: радость уступила место изумлению, тревоге, наконец, его исказил едва сдерживаемый гнев. Он дал знак санитару, который быстро подошел к старику и схватил его под локти. Тот инстинктивно рванулся, как всякий свободный человек, но тут же обмяк и, не сопротивляясь, позволил себя увести.

В зале воцарилась глухая тишина; Марглевский, белый, как полотно, обеими руками водрузив на нос очки, противно скрипя новыми ботинками, двинулся к попитру; он уже открыл было рот, когда из задних рядов раздался голос Каутерса:

— Ну, тоска тут была, коллега, но не столько по болезни, сколько по полной миске!

— Прошу меня извинить! Я еще не кончил! Свои замечания, коллега, вы сможете высказать потом! — прошипел Марглевский. — Больной этот, коллеги, бывал во власти экстатических состояний, его обуревали возвышенные чувства, которые он теперь не в силах передать... Перед болезнью он был дебил, не так ли, почти кретин, я его вылечил, но, если так можно выразиться, мозгов ему маслом смазать не мог... То, что он тут воспроизвел,



это увертки, хитрость, нередкая у кретинов. Симптомы тоски по болезни я наблюдал у него в течение длительного времени...

Он говорил в таком роде еще долго. Наконец дрожащими руками протер очки, подпер языком нижнюю губу, покачался на пятках и проговорил:

— Ну, собственно, это... все. Благодарю, коллеги.

Профессор тут же ушел. Стефан, бросив взгляд на часы, решительно наклонился к Носилевской и пригласил ее к себе. Она немного удивилась — не поздно ли? — но все-таки согласилась.

Они прошли мимо столпившихся в дверях врачей. Марглевский, схватив Ригера за пуговицу, что-то возбужденно доказывал. Каутерс молча грыз ногти.

— Настоящая тоска по безумию! — услышал Стефан, выходя в коридор.

Стефан усадил Сташека подле Носилевской, откупорил бутылку вина, выложил на тарелочки остатки кекса и не забыл об апельсиновой настойке, которую недавно прислала ему тетюшка Скочинская. Выпил рюмку, потом вдруг вспомнил, что ему надо заглянуть в третий корпус, кашлянул, извинился и вышел из комнаты с чувством хорошо исполненного долга.

Немного пошатался по коридорам, раздумывая, не отправиться ли к Скуловскому, подошел к окну — тут его и настиг Юзеф-старший.

— Господин доктор, ох как хорошо, что вы здесь. Пацциковьяк, ну, тот из семнадцатой, вы же знаете, выкобенивается.

У Юзефа была своя терминология. Если пациент вел себя беспокойно, он говорил, что тот «даст». «Выкобенивание» было уже симптомом более серьезным.

Стефан пошел в семнадцатую.

Десятка полтора больных без особого интереса наблюдали за скакавшим по-лягушачьи мужчиной в халате, который, издавая воинственные — никого, правда, не путавшие — крики, скалил зубы, мотался из стороны в сторону, далеко выбрасывая ноги, и, подлетев к кровати, разорвал простыню.

— Будет! Будет! Пацциковьяк, что случилось? — добродушно начал Стефан. — Вы — такой спокойный, культурный человек, а устраиваете бузу?

Безумец исподлобья посмотрел на него. Это был маленький тощий мужчина с головой и длинными пальцами безгорбого горбуна. Смутьившись немного, он пробормотал:

— А, так это вы, господин доктор, сегодня дежурите? Я думал, доктор Ригер. Простите, не буду больше...

Стефан, недолюбливавший Ригера, улыбнулся и спросил:

— А чем вам не угодил доктор Ригер?

— Э-э... да так... ничего больше не будет, ша, господин доктор. Раз вы дежурите, ни гугу.

— Я не дежурю... так просто зашел... — проговорил Стефан, и, поскольку это прозвучало чересчур уж по-домашнему, он, подстегиваемый чувством служебного долга, поправился: — Ну, не надо делать глупостей. Я или доктор Ригер — все едино. А то отправят вас сейчас на шок, на что это вам?

Пащчиковяк сел на кровать, заслонив дырку в простыне, оскалил мелкие зубы в дурацкой улыбке. Это был, отмечалось в истории болезни, дебил, обладавший, однако, немалой смекалкой, которую не удавалось описать бытующими в диагностике формулами. Стефан заглянул в другую палату. На ближайшей к дверям койке что-то бормотал, укрывшись с головой одеялом, ветеран лечебницы, идиот. Остальные больные сидели, только один топтался подле своей кровати.

Стефан вошел.

— Ну как? — обратился он к бормотавшему под одеялом.

На подушке показалось изможденное, заросшее рыжей щетиной лицо с желтоватыми глазами и беззубым ртом. Бормотание стало громче.

— Ну, сколько будет... сто тринадцать тысяч двести пять на двадцать восемь тысяч шестьсот тридцать?

Это была милость: согбенный человек забормотал на иной лад — ревностно, чуть ли не молитвенно, — и спустя некоторое время выдавил из себя:

— ...сят... миллион... ячи... шесть... двад... пять...

Стефану не нужно было и проверять. Он знал, что это — феноменальный вычислитель, который множит и делит шестизначные числа безо всякого труда в течение нескольких секунд. По приезде в лечебницу Стефан пытался расспросить его, как он это делает, но в ответ слышал лишь гневное бормотание. Однажды, не устояв перед лакомством (Стефан принес ему дольку шоколада), идиот обещал открыть свою тайну. Побормотав и изейдя шоколадной слюной, он выговорил: «У меня... там такие ящички в голове. Это прыг, скок. Тысячи тут... маьены тут... и прыг, скок. И здесь. И готово». — «Как это — готово?» — разозарованно спросил Стефан.

... «Математик» накрылся одеялом, и лицо его на миг просветлело. Он был велик. Он побормотал еще и прогнусавил:

— Сязите ще!

Это означало, что он кончит, чтобы ему назвали два больших числа.

— Ну... — Стефан добросовестно отсчитал тысячи и велел перемножить.

Идиот пустил слюни, зашептал, икнул и назвал результат. Тицинецкий в задумчивости постоял в ногах его кровати.

— Сязите ще!

Стефан, чтобы отвязаться, назвал несколько чисел. Может, ему это нужно для самоутверждения? На Стефана порой нападали страх, в эти мгновенья ему казалось, что он должен повиниться перед всеми, на коленях выпрашивать у них прощения за то, что он вот такой нормальный, что иногда он радуется, что забывает о них...

Деваться Стефану было некуда — он пошел к Секуловскому.

Поэт брился. Заметив на столе том Бернаноса<sup>1</sup>, Стефан заговорил о ценностях христианской этики, но Секуловский не дал ему закончить. Стоя с намыленным лицом перед зеркалом, он так решительно замахал кисточкой, что пена разлетелась во все стороны.

— Господин доктор, это не имеет никакого смысла. Церковь, эта старая террористическая организация, массирует души вот уже две тысячи лет, и что, какой результат? Для одних это — симптомы, для других — откровения.

Секуловского, однако, заинтересовала проблема гениальности; Стефан полагал, что он размышлял о ней «изнутри». Сам себя почитал гением.

— Ну да, ну да... Ван-Гог... Паскаль... Да, старая история. Но с другой стороны, и вы, мусорщики человеческих душ, не знаете о нас ничего.

Ага, подумал Стефан.

— Со времен своего ученичества я помню несколько любопытных, попросту чистых форм, возвращенных в питательной среде разных литературных групп. Был там один такой молодой писатель. Все давалось ему удивительно легко. Фотографии в газетах, переводы, интервью, вторые издания. Я всему этому завидовал до судорог. Я умел созерцать ненависть, как Будда — небытие. Как-то по пьяному делу мы познакомились. Он был уже совсем тепленький: со слезами на глазах признался, что завидует моей элитарности, камерности. Что я такой замкнутый, что в стихах я так скуп на слова. Что мое одиночество таит в себе такую энергию, что такое оно независимое. Назавтра мы уже раззнакомились. Вскоре он написал эссе о моих вещах: *éinc*

---

<sup>1</sup>Бернанос Жорж (1888—1948) — французский католический писатель и публицист.

Spottgeburt aus Dreck und Feuer! Подлинный шедевр прикладного садизма. Если хотите слушать, прошу в ванную, мне надо принять душ.

С некоторых пор Секуловский допускал к себе Стефана во время вечерних омовений — быть может, ради того, чтобы и таким образом унижить врача. Раздевшись догола, он влез под душ и продолжал:

— В молодости мне было не по нутру, если друзья меня долго нахваливали. Когда они умолкли, я подумал: ого! Ну, а когда посыпались со всех сторон советы, чтобы я перестал, что тупик, что дорога в никуда, что я кончаюсь, я уже знал — все отлично.

Он натирал рукавичкой волосатые ягодицы.

— Были там некогда двое постарше. Первый, якобы эпик (не издал ни одной большой вещи), пользовался славой в кредит. Кредитовали его все, но только не я. Он коллекционировал афоризмы, как бабочек. Они нужны ему были для «книги жизни». Писал он ее с юношеских лет, все правил, ссылаясь на рукописи Флобера, все что-то там переменял, и все было не так. За неделю переставлял три слова. Когда он умер, я на несколько дней достал его рукопись. Вы смотрите с любопытством, да? Скажу кратко: шаром покати. Ни упорства, ни желания, ни труда. Не верьте-ка хвастунам: талант надобно иметь. Пусть мне не тычут в нос измызанные клопиной кровью правки рукописи Флобера, я-то видел работу Уайльда. Да, Оскара. Вы знаете, что «Портрет Дориана Грея» он написал в две недели?

Секуловский сунул голову под струю и оглушительно прочистил нос.

— Второй был славен *in partibus infidelium*<sup>2</sup>. Член Пен-клуба. Упанишады читал в оригинале и писал по-французски не хуже, чем по-польски. Его даже критики уважали. Одного меня он боялся и ненавидел, поскольку я знал его пределы. Слышал их в каждой его вещи, словно глухой стук от удара по дну. Начинал он изумительно, обрисовывал обстоятельства, людей накачивал кровью, сюжет развивался легко, но дело неминуемо доходило до момента, когда надо было оторваться от плоскости листа испиываемой бумаги и приподняться — на чепуху, на один шагок. Вот тут и наступал его конец. Он не мог. Другие не слышали фальши, вот он и думал, что перебьется, как голый андерсеновский король. Но я слышал, слышал этот звук пустой бочки. Вы меня понимаете? Чужая вещь похожа на лежащий на земле тяже-

<sup>1</sup> Здесь: смесь грязи и огня (нем.).

<sup>2</sup> В стране неверных (лат.).

лѣй предмет. Уже подходя к нему, я мог оценить: подниму или нет? Это значит: способен ли я на такой размах?

— И чем кончились эти попытки?

Секуловский с наслаждением чесал намыленную спину.

— Пожалуй, удачно. Правда, когда волна отступала, я сам читал то, что написал, с некоторым изумлением... Но речь главным образом о стиле. Различия между поколениями сводятся к тому, что какое-то время пишут: «Утро пахло розами». Приходят новые: ого, вывернуть! И какое-то время пишут: «Утро пахло мочой». Но прием-то тот же самый! Никакие это не реформы. Не в этом новаторство.

Он фыркнул под горячей струей, как тюлень.

— У каждой вещи должен быть скелет, как у женщины, но такой, чтобы его нельзя было нащупать... тоже как у женщины. Подождите-ка, я вспомнил отличную историю. Позавчера доктор Ригер дал мне почитать несколько старых литературных журналов. Как это забавно, доктор, как забавно! Эта свора критиков, которые выговаривали каждое слово в убеждении, что их языком вещает история, хотя в лучшем случае все это было икотой после вчерашней пьянки. Ау! — Пена прилипла к его волосам. Он нежно массировал себе живот, не переставая говорить: — У меня о тех годах воспоминания самые горькие, хорошо еще, что судьба залепила их, словно рану, пропитанным бальзамом пластырем. Слышали вы о?.. Впрочем, оставим имена в покое. Пусть спит себе в гробу, на который я нас... — грубо засмеялся он, может, из-за того, что был наг. Ополоснувшись, взял купальный халат и заговорил спокойнее: — Я был вроде нахальнейшим созданием на свете, но, в сущности, сама неуверенность... Тогда человек подбирал себе идеологию, как галстук, из целой связки: какая поцветистее и поденжнее. Я был таким беззащитным бедолагой, а над всеми нами сиял, словно ярчайшая звезда, некий критик старшего поколения. Он писал так, как Хафиз воспевал бы паровозы. Он был плоть от плоти девятнадцатого столетия, задыхался в нашей атмосфере, ему недоставало великих. Нас, молодых, он еще не замечал. Поодиночке мы были не в счет: нужен был десяток, чтобы он поклонился. Доктор, это был лобопытный тип. Просто прирожденный писатель — у него был и талант, и меткая метафора по любому поводу, и юмор, и полное отсутствие сострадания. Это самое важное: в таком случае можно описать любую грозу, глядя на нее из бездонных геологических глубин. Ни капельки волнения. Запихивать страсть во фразы — это значит загубить любую вещь. Он был такой: ради одной прицельной метафоры, если она пришла ему в голову, он был готов раздолбать

любую книгу вместе с ее автором. Вы спросите: вопреки своему мнению? Вы наивны, — Секуловский с большим тщанием расчесывал влажные волосы, — сегодня я знаю совершенно точно, что он ни во что не верил. Зачем? Это были великолепные часы без одной малюсенькой шестереночки, писатель без гирьки. Ему недоставало ерунды, чтобы стать польским Конрадом, но это можно было исправить.

Секуловский надел рубашку.

— Тогда я потерял Бога. Не то чтобы перестал верить: я потерял его так, как некоторые теряют женщин, — без повода и без возможности вернуть. Я тогда страдал, мне нужно было пророчество. О, еще бы чуть-чуть, и он прикончил бы меня. Прежде всего: во что-то он все же верил. В себя. Он излучал эту веру, как некоторые женщины излучают женственность. К тому же он был до того прославлен, что всегда оказывался прав. Он прочитал несколько стихотворений, которые я принес ему, и оценил их. Мы противостояли друг другу, как мотыга и солнце. Я был острой мотыгой. — Он усмехнулся, размашисто завязывая галстук. — Он все это разложил на простейшие элементы, покопался в них и объяснил, почему они ничего не стоят. Поколебавшись, в конце концов позволил мне продолжать писать. Он мне позволил, понимаете? — Секуловский весь скривился. — Ах, это старая история. Но как подумаю, что для молодых сегодня имя его — пустой звук, испытываю наслаждение. Месть, к совершению которой никто и мизинца не приложил, которую учинила сама жизнь. Месть эта созревала медленно, как плод: не знаю ничего слаще, — и, очень собою довольный, поэт застегнул серебряные шнурки тужурки из верблюжьей шерсти.

— Вы что, думаете, никто из современников не в состоянии оценить гениального человека? Что судьба Ван-Гога будет повторяться вечно?

— Откуда мне знать. Пошли в комнату, тут так жарко, дышать нечем.

— Я полагаю, что многие сумасшедшие — это непроявившиеся гении; им не хватает какой-нибудь одной гирьки, как вы выразились. Вот, скажем, Морск...

Стефан рассказал о внявшем в идиотизм вычислителе. Секуловский зло оборвал его:

— Тоже мне гений! Прямо как ваш Паенчковский, только что на другой должности.

— Паснчковский, чтобы там ни говорить, *sapientia*, величина в психиатрии... в особенности его работы по циклофрении, — возмутился Стефан.

— Да, да. Большинство ученых — как раз такие вот вычислители. Слоней, правда, не пускают, но замурованы они в своей специальности... был у меня знакомый лихенолог. Вы, может, не знаете, что это такое? — неожиданно спросил Секуловский.

— Знаю, — ответил Стефан, который и в самом деле не знал.

— Ну... такой травник, специалист по мхам и лишайникам, — тем не менее счел нужным пояснить Секуловский. — Эдакое чучело, толоконный лоб. Латыни его хватало, только чтобы классифицировать; из физиологии он знал лишь то, без чего не напишешь статьи, а о политике, кроме как со своим кучером, потолковать был не в состоянии. Когда разговор с грибов перекакивал на другие темы, он становился скучен. Наш мир кишмя кишит такими «гениальными вычислителями», они всего-навсего приспособили свои ничтожные способности к тому, что отвечает общественным потребностям, вот их и терпят. В литературе полно таких, которые, сочиняя послание прачке, оттачивают его, думая о посмертных изданиях... Ну, а врачи?

Стефан попробовал уклониться от неприятной сферы врачебной практики, чтобы вытянуть из Секуловского еще какую-нибудь занятную формулу, но это кончилось грубой отповедью. Раздосадованный Стефан отправился к себе наверх.

«Только Секуловский и способен сбить меня с панталыку», — подумал без всяких к тому оснований Стефан. Ему захотелось на ком-нибудь отыграться, и он решил подслушать, что творится в его комнате. В коридоре было пустынно и темно. Он подкрался к своей двери на цыпочках: тишина. Какой-то шелест, шорохи — платье? одеяло? Потом какой-то звук, словно поршень выбило из шприца: шлепок. Затем опять полная тишина — и рыдания. Да, там кто-то плакал. Носилевская? Этого он и вообразить себе не мог. Стефан тихо постучал, а поскольку никто не ответил, постучал еще раз и вошел.

Горел только грибок на столике, заливая комнату нежно-лимонным полумраком, зеркало отбрасывало широкую полосу мягкого света на стену и кровать. Опустошенная наполовину бутылка апельсиновой настойки: добрый знак. Постель в беспорядке, словно тут пронесся торнадо, но где же Носилевская? На кровати лежал один Сташек, одетый, зарывшись головой в подушку, и плакал.

— Сташек, что произошло? Где она? — изумленно воскликнул Стефан, подбегая к кровати.

Сташек зарыдал еще громче.

— Ну, говори же, говори, что случилось?

Все еще всхлипывая, Сташек повернул к Стефану распухшее, красное и зареванное лицо; лик отчаяния.

— Если тебе... если я могу... если у тебя...

— Да ты скажешь наконец? Ну!

— Не скажу! Если у тебя есть ко мне хоть капелька дружеского чувства, мы ни... мы никогда не будем говорить об этом.

— Да что же струсилось?! — закричал Стефан, в котором любопытство окончательно победило такт.

— О, я несчастный!.. — пробормотал Сташек. И вдруг заорал: — Не скажу, не говори теперь со мной! — и убсжал, прижимая к груди подушечку-думку.

— Думку отдай, ненормальный! — крикнул ему вслед Стефан, но дробь шагов уже скатывалась вниз по лестнице.

Стефан уселся в кресло, огляделся по сторонам, даже одеяло приподнял, подумав, понюхал подушку, но никаких открытий не сделал. Любопытство сжигало его, он было собрался к Носилевской, но раздумал. Может, к утру Сташек утомится... может, по ее виду удастся что-нибудь понять... (Наверняка ничего — возразил он самому себе.)

## ОТЕЦ И СЫН

Прошел август. На вспаханных полях, словно огромные кротовишты, чернели навозные кучи. Осина под самым окном болела: ее слишком рано пожелтевшие листья покрылись черными оспинами. Застыв у окна, Стефан всматривался в голубевший, как лезвие ножа, горизонт. Частенько теперь на него накатывало какое-то оцепенение; надолго замерев в самой неудобной позе, упершись глазами в небо, он всматривался в узоры, которые рисовали пылинки, кружившие в безжизненной ясности, обрамленной оконной рамой.

Носилевская попросила Стефана заполнить за нее историю болезни новой пациентки. Ему хотелось убить время, и он согласился охотно.

Сказать, что больная была черноволосой, тощей барышней, значило бы исказить ее портрет. Она была из тех худеньких, похожих на подростков крестьянок, которые украшают платье кружевами и притягивают к себе взоры мужчин. Все очарование этой восемнадцатилетней шизофренички было в ее глазах, темных и подвижных. Руки ее постоянно находились подле лица, и ладони, трепеща пальцами, словно худенькие голуби — крыльями, присаживались то на щеки, то на крохотный подбородок. Стоило только оторвать взгляд от ее глаз, как все чары улетучивались.

Регулярный обход больных доставлял Стефану удовольствие.



Девушка тем больше привлекала его, чем сильнее он этому противился. Несчастливая, трагическая любовь (трудно было от нее добиться, что же все-таки произошло) толкнула ее к бегству от злого мира, в котором она испытала столько страданий, в мир зеркальный. Ей захотелось обосноваться в собственном отражении.

Стефана она не дичилась, знала, что у него всегда с собой маленькое никелевое зеркальце. Он позволял девушке в него смотреться.

— Там так... так... так чудесно... — шептала она, и ее трепещущие пальцы без конца касались то бровей, то волос. Она не могла оторвать глаз от блестящей поверхности.

Девушка напомнила Стефану нескольких знакомых дам, жен его городских приятелей. Они умудрялись с утра до вечера просиживать перед зеркалом, часами примеряя разнообразны улыбки, изучая блеск глаз, исследуя каждую веснушку, каждую складочку, тут что-то разглаживая, там к чему-то осторожно прикасаясь, будто алхимик, колдующий над ретортой в ожидании, когда появится золото. Разумеется, болзненные навязчивости: как это он раньше об этом не подумал? Правда, это были безмозглые бабенки, но разговоры об интеллигентности всех неврастеников — просто чушь.

«Можно быть нервным идиотом», — подумал Стефан со злобой, ибо это было похоже на признание: «И я, собственно, таков».

Девушка часами просиживала в ванной, потому что там висело зеркало. Изгоняемая оттуда, она затаивалась под дверью и кидалась на каждого, кто открывал дверь, молитвенно складывала руки и просила позволения взглянуть на свое отражение. Она не пропускала ни одной никелированной поверхности.

С некоторых пор Стефана стала донимать бессонница. Он подолгу читал в постели, стараясь измучить себя, но сон не приходил, а когда наконец все-таки одолевал его, то казалось, что в комнате, за мечущейся над ночником мошкой, кто-то неподвижно стоит. Стефан знал, что никого там нет, но сон снимало как рукой, и только на рассвете, под первый зябкий щелст птиц, он погружался в беспокойную дрему.

В ночь с 29 на 30 сентября, расцветенную крупными звездами, он заснул раньше обычного. Вскоре неясная тревога разбудила его. За окнами тлела белесая заря. Не одеваясь, в ночном белье, Стефан подбежал к окну. На посыпанной щебенкой дороге, подходившей к самым дверям лечебницы, мурлыкали моторами две большие легковые машины в камуфляжной окраске, хорошо различимые в отражавшемся от стен свете фар. Подле

дверец стояли немцы в темных касках. Из-под козырька, нависающего над воротами, вышли несколько офицеров. Один что-то прокричал. Моторы взревели, офицеры сели в машины, солдаты с обеих сторон на ходу вспрыгнули на подножки. Свет фар скользнул по клумбам, стегнул по ехавшей впереди машине — это продолжалось какое-то мгновение. Яркие пятна вырвали из мрака сидевших; Стефан увидел обнаженную голову между двумя касками и узнал ее обладателя. Столбы света уткнулись в ворота, около которых стоял ослепленный фарами вахтер с шапкой в руке. Потом моторы заревели уже на шоссе. Еще раз, на повороте дороги, свет фар вырвал из тьмы ряды на миг позеленевших деревьев, неподвижные кружева листьев; побежали плоские тени стволов, а напоследок сверкнул белизной и тотчас пропал березовый крест. От самого горизонта вновь накатила тишина, пульсировавшая, словно кровь в гигантском ухе, стрекотанием сверчков. Стефан сорвал с крючка плащ, наспех натянул его и босиком выскочил в коридор.

На первом этаже собрались все врачи; они наперебой засыпали друг друга вопросами, что-то кричали, толком ничего нельзя было разобрать. Но постепенно дело прояснилось: в лечебнице побывали эсэсовцы из летучего отряда, расположившегося сейчас в Овсяном. С собой они привозили рабочего, арестованного на подстанции; остальных разыскивали. Марглевский громогласно объявил, что с этого момента никто не должен ходить в лес, так как эсэсовцы будут его прочесывать, а с ними шутки плохи.

В больнице обыск не делали, лишь прошли по корпусам и поговорили с Паенчковским.

— Их офицер стеком у... ударил по столу, перед которым я стоял, — рассказывал он, в лице его не было ни кровинки, под глазами круги.

Возбуждение постепенно спало, и все разошлись. Марглевский, проходя мимо Стефана, остановился, словно собираясь что-то сказать, но только зловеще покачал головой и исчез в коридоре.

Стефан так и не сомкнул глаз до самого утра. Его трясло, как в лихорадке; десятки раз он крепко зажмурился и вызывал в памяти коротенькую ночную сцену; он уже не решался, как тогда, когда наблюдал за ней, уговаривать себя, что арестованный — не Вох. У него не осталось ни малейших сомнений в том, что это его большую квадратную голову увидел он со второго этажа. Стефан изо всех сил сдерживал себя, чтобы не застонать, огромной тяжестью навалилась на него ужасающая ответственность. Испытывая неистребимое желание на кого-нибудь перевалить ее,

чтобы очиститься от мучительного чувства вины, Стефан с самого утра отправился к Секуловскому, но тот не дал ему и рта раскрыть. Он был явно не в своей тарелке и, едва Стефан переступил порог, закричал:

— Вы что, не видите, я же пишу! Хорошенькое дело, опять мне надо «занимать позицию»?! Каждый делает, что умеет. Поэт — такой человек, который умеет красиво быть несчастным. Неужели вы полагаете, что после этой войны все лесные ахиллесы станут катонами? Фурии были не лучше вас, но их я понимаю, они хоть женщины по крайней мере! Да оставьте вы наконец меня в покое!

Стефан ушел как побитый. «Поделом мне!» — думал он, идя по коридору. Он готов был пожертвовать чем угодно, лишь бы заглянуть на подстанцию. Стефан понимал, что раз электричество в лечебнице есть, значит, кто-то должен быть и на подстанции; кто-то там работает — вместо Воха; может, этот кто-то знает?..

Пытаясь укрыться от собственных мыслей, Стефан забрел в дальний угол мужского корпуса. Его внимание привлекли красноватые пятна на полу, но, приглядевшись, он понял, что это не кровь.

Молоденький шизофреник лепил что-то из глины. Стефан долго наблюдал за его работой. Лицо юноши оставалось бесстрастным. Желтоватое и слегка перскошенное, маленькое, с резко очерченным профилем, оно походило на живую маску. Порой он прикрывал глаза и застывал — даже ресницы не вздрагивали, затем задирал голову и водил кончиками хищных пальцев по поверхности глины. Какое-то умиротворение чувствовалось в опущенных уголках его рта. Призраки больше не преследовали его, фразы разваливались у него во рту, он уже не в состоянии был достучаться до окружающих: ушел от всего. Высшая степень безразличия, какая воцаряется лишь в толпе и у людей, потерявших сознание, давала юноше возможность оставаться один на один со своей работой, — казалось, он заперт в келье. На круглом столике из плоского кружочка глины поднимался перед ним высококрылый ангел. В перьях, раздвинутых очень широко, как у задуманной птицы, чудилось, притаился ужас. Лицо ангела — готически вытянутое, прекрасное, спокойное. Низко опущенными руками — словно это вызывало у него самого отвращение — он сдвигал горло младенца.

— Что это? Как ты это назвал? — спросил юношу Стефан.

Тот молча растирал глину кончиком большого пальца. Из угла огезвался санитар, Юзеф-старший: больные обязаны отвечать докторам.

— Отвечай сейчас же, раз господин доктор спрашивает, — напомнил он, тяжело шагнув к юноше.

Юзеф не обходил больных стороной, это они уступали ему дорогу. Парень не шелохнулся.

— Я знаю, что ты можешь. Говори сейчас же, а не то эту твою куклу!.. — Он замахнулся, будто собираясь сбросить фигуру. Парень опять не шелохнулся.

— Ну-ну, — смутившись, вмешался Стефан, — не надо. Вы бы, Юзеф, сходили в дежурку и принесли бы поднос со шприцами и две ампулки скофеталия, сестра вам даст.

Ему хотелось как-то вознаградить паренька за унижение.

— Знаешь, очень красиво, — сказал Стефан, — очень красиво и странно.

Больной ссутулился, волосы прилипли к его вспотевшему лбу, под нижней губой разрасталась какая-то тень — тень презрения.

— Я этого не понимаю, но, может, когда-нибудь ты мне растолкуешь? — сказал Стефан, забыв о психиатрии.

Парень тупо уставился на перемазанные глиной пальцы.

Совсем растерявшись, Стефан неожиданно для себя самым обыденным образом протянул юноше руку.

Тот вроде бы испугался: отдернул ладонь и отступил за столик. Стефан смущенно посмотрел по сторонам — нет ли кого, кроме больных, в палате. Но тут парень стремительно и неловко перегнулся через столик, едва не свалив скульптуру, и схватил руку Тшинецкого. Не пожав, отпустил, словно его обожгло. Потом повернулся к фигурке, уже не обращая на врача внимания.

Наутро Юзеф сообщил зашедшему в палату Стефану:

— Эта глина, господин доктор, знаете, как называется?

— Что? Ах да! Ну? Ну?

— Ангел-душитель.

— Как?

Юзеф повторил.

— Любопытно, — протянул Стефан.

— Чего уж тут любопытного. Он, подлец, кусается. — Юзеф показал красные отметины на своей огромной ручище.

Стефан удивился, он ведь знал обо всех испытанных присмаках санитаров: лучше сломать больному руку, чем дать ему себя поцарапать, — таков был их девиз. Малый, вероятно, порядочно «навыкобенивал». Но видно, и получил сполна. Хотя санитаров тысячи раз учили и предупреждали, они тайком, когда врачи не видели, брали реванш и пациента, который им докучал, били мстительно, наверняка, по-мужицки, как побольнее, с умом. Колошматили через одеяло или в ванной, чтобы следов не остава-

лось. Стефан об этом знал и хотел строго-настрого запретить избивать паренька, но не мог: официально побои запрещены, а вмешиваться в «способы» санитаров было не в его власти.

— Видите ли... этот парень...

— С этим ангелом, что ли?

— Да... так вы... присматривайте за ним, чтобы никакой смуты обиды...

Юзеф оскорбился. Он за всеми присматривает. Тогда Стефан вытащил из кармана кулак; в нем была зажата бумажка в пятьдесят злотых. Юзеф помячал. Он понимает. Он и раньше присматривал, но теперь-то уж как за родным...

Они стояли в дверях палаты. Вокруг ходили больные, но все было так, будто они в полном одиночестве. Пока Юзеф незаметно прятал сложенную купюру, Стефан, задохнувшись от собственной решимости, изменившимся голосом проговорил:

— А вы, Юзеф, случайно не знаете, что стало с тем — ну, которого немцы прошлой ночью арестовали?.. Вы знаете...

Взгляды их встретились. У Стефана сердце готово было выскочить из груди. А Юзеф, казалось, еще ждал чего-то. В глазах промелькнула искорка любопытства, тут же затушенная ухмылкой ревностного служаки.

— Это который без уха, что на электричестве работает, Вох? Вы его знаете, господин доктор?

— Знал, — сказал Стефан, чувствуя, что отдает себя в его руки. Разговор этот отнял у него столько сил, что даже голова закружилась.

Глуповато-хитрая физиономия Юзефа расплывалась все более откровенной, все более слащавой ухмылкой. Его воловьи глаза округлились.

— Вы, господин доктор, его знали? Говорят, сам он *этого* в той яме при электричестве не держал, это крестник его, Антек. Ну, кто его знает? Ох, уж и конбинатор был, конбинатор! — повторил он, будто любясь этим словом. — С немцами пил, делишки с ними разные обдсывал, уж с *человеком* и слова сказать не хотел, такой *важный!* Думал, купил он немца-то, а немец — хитрый, пришел ночью и, как курицу, схватил! Сегодня на машине туда с Овсяного приезжали, два раза туда-обратно мотались — столько *этого* было! Под щепснкой все запрятано, в ящиках запаковано, что тебе товар!

— Вы, Юзеф, видели?

— Сам не видал. Где там? Люди видали. И видали, и ведали, а Вох с этим *не считался!* Ума палата! Ну, вот тебе и конбинатор.

— А с ним что?

— Почему я знаю? Вы рудзянский карьер знаете? Где раньше пруд был? Как вдоль дороги идти — через лес и направо... Там суют лопату в руки — яму копать, и над этой ямой ставят. Потом мужика на дороге изловят, чтобы, значит, закопал. Сами, вишь, не мараются...

Стефан, хотя и догадывался о чем-то подобном, больше того — уверен был, что иначе и не могло быть, ощутил такую ярость, такую ненависть к Юзефу, что пришлось прикрыть глаза.

— А те? — глухо спросил он.

— Пощички, что ли? Камень в воду. Ничего неизвестно. Наверное, к лесным подались. И куда это такому старому по болотам-колдобинам корячиться? Все от того, что пригляду не было, да от глупости. Ихнее, что ли, дело-то — эта амуниция, или как там ее? — понизив голос, закончил Юзеф.

Стефан кивнул, резко повернулся и пошел к себе. Осторожно вытряхнул на ладонь таблетку люминала, затем, подумав, еще одну, проглотил обе, запив водой, и как был в белом халате, брошенном на ночное белье, повалился на кровать.

Поздним вечером из глубокого сна его вырвал стук: с телеграммой в руках Юзеф барабанил в дверь. Тетка Скочипская сообщила, что отец тяжело заболел. Звала срочно приехать.

Стефан попросил Сташека подежурить в его отделении и без труда получил у Паенчковского отпуск на несколько дней.

— Все еще уладится, — покашливая, тряс руку Тишинецкому адъютант, — а поскольку вы уж туда едете, может, разузнаете, как там немцы?

— Простите?

— Осмотритесь там, что слышно... Такие дурные вести оттуда доходят...

— Что вы имеете в виду, господин адъютант?

— Э-э, да ничего особенного, ничего особенного, коллега.

Когда Стефан зашел к Секуловскому — вроде как попрощаться, — поэт был поглощен писанием: волосы всклокочены, казалось, они источают электричество. Зрачки подергивались; это означало, что он все глубже уходит в себя. Его громкий, металлического оттенка голос гремел на весь коридор; входя в комнату, Стефан услышал:

Сердце мое, ты — красных термитов планета,

Паникующих в поисках собственных троп.

Дев и столпников путь темнокудрый — я, как монета,

Тускнею. Я гасну. Плоть теснит меня в гроб.

Ночь, ты бесстыдно срываешь последний покров,  
Когда смерть, кровавобедрая дива, лицо мое  
Нежно ласкает: о, мой покинутый кров...

Стефан прикрыл за собой дверь, и поэт умолк. Тшинецкий рассказал о маленьком скульпторе.

— Ангел-душитель? — переспросил Секуловский. — Погодите-ка, это любопытно. Любопытно...

Аккуратно записал что-то на клочке бумаги своим ломким почерком.

— *Благоудушаемы* тихие, ибо их есть царствие небесное, — вслух прочитал он.

Потом бросил бегающий взгляд на Стефана.

— За то, что вы мне помогли немного, я вам кое-что покажу.

Он стал рыться в бумагах, беспорядочно разбросанных по одеялу.

— Мне грезится описание Земли, увиденной из другой планетной системы. Такое вот примерно вступление. — Он взял листок и начал читать: — «Матка, гноящаяся солнцами: Вселенная. В ней копошатся триллионы звездных личинок. Бурное размножение...» исторгающее гарь и клубы черного порохового дыма, схватка следует за схваткой, тьма идет за тьмой, — импровизировал он, так как на листочке было всего несколько коротких фраз.

— Куда? — вырвалось у Стефана.

— Вся соль в том, что в никуда.

— Вы в это всрите?

Секуловский задержал дыхание. Поднял голову; лицо его, на котором ярко полыхали глаза, было вдохновенно и красиво.

— Нет, — сказал он, — я не верю. Я знаю.

Поездка стала для Стефана сплошным кошмаром: три обыска — искали жиры, — жандармы, толпа, дико атакующая двери и окна, темные вагоны, провонявшие перекисшим потом, клопы. В чудовищной толчее трудно было сохранять достоинство: в темноте лица не видно, а молчание воспринималось тут как капитуляция. Спустя час Стефан уже ругался, как сапожник.

Город изменился. Все улицы носят новые названия, немецкие. Патрули коваными башмаками шаркают по мостовой, звук такой, словно по ней тянут металлический невод. Над крышами домов изредка пролетают самолеты с черными крестами: небо было немецким.

Дом встретил Стефана привычным запахом вареной капусты, на втором этаже главенствовал сладковато-затхлый аромат мастерской меховщика, и это сразу разбудило память.

Завидя обшарпанную коричневую дверь своей квартиры с плоской львиной головой, вырезанной в притолоке, Стефан едва смог сдержать волнение. Дверь как дверь...

В передней — хлам, этажерки, жестянки, под потолком в свете тусклой лампочки темнели, словно чудовищные чучела каких-то животных, модели непостроенных отцовских приборов; они громоздились на полках, затянутых пушистой сеткой паутины. Мать, как тут же известила его драматическим шепотом тетушка Скочинская, уже месяц живет в деревне, здесь денег на хозяйство не хватает. Тетка, еще не закрыв двери, обняла его, и он утонул в ее пропахшем нафталином бюсте. Она чмокнула его, оросила слезинкой и втолкнула в столовую — отведать хлеба с вареньем и чаем.

Переставляя с места на место баночки с наклейками, она говорила о растущих ценах на жиры, о каком-то адвокате и лишь много времени спустя упомянула об отце. С нескрываемым наслаждением принялась в подробностях описывать события последних месяцев. Нарисовала портрет непризнанного, несчастливого гения, истерзанного болезнью почек и сердца. Она, единственная во всем свете, хоть и дальняя только родня, позаботилась о великом изобретателе. «Твой отец», — повторяла она, и опять: «твой отец», — так что в конце концов Стефан даже начал подозревать, что она хочет уколоть его и укорить за черствость. Но у нее и в мыслях не было ничего подобного. Просто она всем сердцем ему сочувствовала. Когда-то она была красива. Стефан в свое время чуточку влюбился в фотографию, которую стянул со стены в ее кабинете. Теперь избытки жира затопили остатки былой красоты.

Когда он поел и умылся, его наконец допустили в спальню.

Тетушка взяла на себя роль посла; несколько раз входила туда и на цыпочках возвращалась обратно. При этом она размахивала руками — казалось, отталкиваясь веслами от сопротивляющегося воздуха. Настроение создалось торжественное. «Прямо-таки возвращение блудного сына», — подумал Стефан и вошел, почему-то тоже на цыпочках; в воображении его рисовались какие-то эскизы коричневатого Рембрандта.

Сразу бросилось в глаза, что мамина коллекция фикусов, аспарагусов и иной растительности безжалостно задвинута в самый темный угол комнаты. Отец лежал в постели, натянув на подбородок одеяло. И лишь лимонного цвета руки слабо сжимали его край искривленными пальцами — они напоминали мертвые, уродливые украшения.

— Как себя чувствуешь, папа? — с трудом выдавил из себя Стефан.



Отец промолчал. Стефан смешался, ему захотелось вежливо и быстро покончить с визитом. Мелькнула мысль, что было бы хорошо, если бы отец сейчас умер: место действия в лучших патетических тонах, «у одра»; сам он опустится на колени и пробормочет какулю-нибудь молитву, а затем можно и уезжать. Это намного бы все упростило. Но отец не умирал. Напротив, приподнялся на постели и попытался что-то сказать — заговорил сначала шепотом, но потом голос его окреп: «Стефек, Стефек», — повторил он несколько раз, «Стефск», — сперва это прозвучало недоверчиво, потом радостно.

— Я слышал, отец, что ты чувствуешь себя неплохо, и так перепугался, когда получил телеграмму, — солгал он.

— Э-э, чего там.

Отец пытался подняться, надо было ему помочь; Стефан оказался совершенным неумехой. Под своими пальцами он обнаружил тоненькие кости, дужки ребер, выпиравшие наружу, ощутил угасающую теплоту, удержать которую пыталось это тощес, беспомощное тело.

— У тебя болит что-нибудь? — спросил Стефан с удивившей его самого нежностью.

— Садись на кровать. Садись, — повторил отец, уже немного раздражаясь.

Стефан послушно присел на самый краешек; было очень неудобно, но трогательно. О чем теперь говорить?

Он помнил только одно выражение отцовского лица: бесконечно отрешенный взгляд в какой-то иной мир, в котором строились его приборы. Руки у него постоянно были в ссадинах от проволоки, изрезанные, обожженные кислотой или вымазанные краской экзотических цветов. Теперь все это с них сошло. В темных, толстых жилах под вснушчатой кожей рук слабо подрагивала собиравшаяся покинуть его жизнь.

Горькое откровение для Стефана.

— Я устал ужасно, — сказал отец. — Лучше бы уснуть и больше не просыпаться.

— Папа, ну, как же можно, — возмутился Стефан. А сам подумал: к чему стремится вот это тело и вот эта голова, в которой мозг чуть ли не перекачивается, как высушенный орех в скорлупе? Вот суставы — скрипящие, проржавевшие петли, легкие — астматически хрипящие меха, сердце — барахлящий, разбитый насос. Убожество строительного материала предопределяло и формы ветшающей трущобы, жилец которой с ужасом замечает, что она готова обрушиться ему на голову. Он вспомнил стихотворение Скуловского. Вот именно, плоть нас

и убивает, тело послушно только одним законам: природы — но не воли.

— Может, съешь чего-нибудь, папа? — неуверенно спросил Стефан, напуганный легкостью руки, которая поглаживала его лежавшую на одеяле кисть. И сам устыдился своих слов, так это глупо вышло.

— Я ничего не ем. Мне не нужно. Я столько хотел тебе сказать, но так сразу... по правде говоря, я всю ночь обдумывал. Даже и спать уже не могу, — пожаловался он.

— Так я сейчас... сейчас выпишу тебе. — Стефан полез в карман за бланками рецептов. — И вообще, отец, кто тебя лечит? Марцинкевич?

— Оставь это, оставь. Да, лечит. Теперь уже все равно. — Он уткнулся в подушку. — Этот час, Стефан, настает для каждого. Когда нет большей заботы — только чтобы какая-нибудь жилка в мозгу не лопнула. Это глупо, но не хотелось бы умереть в одночасье. Если бы знать наперед. Но это бессмыслица.

Ладонь, поглаживавшая его руку, замерла, словно в нерешительности.

— Мы так плохо друг друга знаем. У меня никогда не бывало времени. Теперь я вижу, что, в сущности, все равно: те, кто топчутся, и те, у кого есть время, приходят в одно и то же место. Никогда не жалею, не жалею. — И, помолчав, добавил: — Никогда не жалею, что был тут, а не там, что мог сделать, а не сделал. Не верь этому. Не сделал, значит, не мог. Во всем свой смысл только потому, что все кончается. Видишь: всегда и везде — это ведь то же самое, что никогда и нигде. Не жалею, запомни это!

Отец опять замолчал, задышал труднее, чем прежде.

— Я, собственно, не то хотел тебе сказать. Но меня уже и собственная голова не слушается.

— Я бы дал тебе, папа... не знаю, ты какие лекарства принимаешь?

— Колят меня иголками, колят, — сказал отец, — не беспокойся. Ты на меня в обиде, да? Скажи!

— Но...

— Давай теперь не лгать друг другу, ладно? Я знаю, ты обижаешься. Никогда не было времени. Впрочем, мы чужими были. Видишь ли, мне никогда не хотелось отказываться от самого себя, наверное, я не любил тебя, иначе бы это... впрочем, не знаю. А тебе хорошо, Стефан?

Стефан не знал, что ответить.

— Я не спрашиваю тебя, счастлив ли ты. О том, что счастлив, человек узнает только после, когда это проходит. Человек

живет переменной. Скажи, девушка у тебя есть? Может, жениться надумал?

У Стефана перехватило горло. «Вот человек, он умирает, он мне почти чужой, но думает обо мне. А я, сумел бы я так?» — и на этот вопрос Стефан не нашел ответа.

— Молчишь? Значит, есть?

Не глядя на отца, Стефан отрицательно покачал головой. У отца глаза были голубые, налитые кровью, но главное — истрадавшиеся.

— Да, тут советами не поможешь. Но я вот что тебе скажу: мы, Тшинецкие, такие люди, которым женщины необходимы. В одиночку мы сами с собой не справимся. Человек, чтобы ему чисто жить, и сам должен быть чистым. Ты всегда был строптивым, может, я и нехорошо делаю, что так говорю. Но ты не умеешь прощать, а в этом, в сущности, все, больше ничего и не надо. Не знаю, научишься ли. Во всяком случае, от женщины не стоит требовать ни красоты, ни ума. Только мягкости. Чувства. Остальное приложится. А без мягкости... — Он прикрыл глаза. — ...Ничего они не стоят... А это так легко... — И очень сильным, давнишним голосом заключил: — Можешь все позабыть; как хочешь. Не слушать советов — это тоже мудрость. Но ничьих, помни. А теперь... что я тебе хотел сказать?.. В столе три конверта.

Тут Стефан удивился.

— А в нижнем тайнике, — зашептал отец, — есть такой рулон, перевязанный красной ленточкой, там чертеж моего пневмомотора. Вся схема. Слышишь? Запомни это. Как только немцы уйдут, отнеси Фронцковяку, надо будет сделать модель. Он знает как.

— Но, папочка, — возразил Стефан, — ты распоряжаешься так... так... вроде как завещание делаешь. Но ты ведь хорошо себя чувствуешь, правда?

— Ну да, но когда-нибудь я не буду себя хорошо чувствовать, — раздраженно сказал отец. Ему уже не нужны были утешения. — Этот пневмомотор — удача. Поверь мне. Я знаю, что говорю. Так вот, возьми это, а лучше бы, если бы сейчас прямо забрал, сейчас.

Он вытянул свою лимонного цвета, дряблую шею и горячо зашептал:

— Тетка Меля невыносима. Не-воз-можна! — Он как бы подчеркнул это слово. — Я ей ни на грош не верю. Забери это сейчас же, я дам тебе ключи.

Он едва не свалился с кровати, силясь стянуть со стула брюки. В карманах брюк они вдвоем — вытащив оттуда сначала грязный

платок, мотки проволоки и клеи — отыскивали связку ключей. Поднеся их к самым глазам, отец снял с колечка маленький английский ключик и вручил его Стефану. Когда тот возвратился из кабинета, отец дремал. Открыл глаза:

— Что? Это ты? Ну, взял?

Потом долго вглядывался в Стефана, будто что-то вспоминая, наконец сказал:

— Для твоей матери я был нехорош. Она ничего не знает, что я вот... я не хотел... — И, немного погодя, прибавил: — Но ты... помни. Помни!

Стефан был уже в дверях, когда отец неожиданно спросил:

— Придешь еще?

— Да ведь я, папочка, не уезжаю, мне надо по делам, я вернусь к обеду.

Отец откинулся на подушку.

Кабинет доктора Марцинкевича сверкал стеклом и белизной — солюкс, три кварцевые лампы, все это, по-видимому, имело определенную связь с выселением врачей-евреев в гетто. Через каждые три слова он величал Стефана коллегой, но чувствовалось, что всерьез его не принимает. Оба искренне презирали друг друга. Марцинкевич без обиняков сообщил Стефану, что отец в очень тяжелом состоянии: камни — это чепуха, но вот грудная жаба, правда, нетипичная, так как боли слабые и не отдающиеся, однако изменения в коронарном кровообращении сулят самое худшее. Он разгладил на полированной столешнице электрокардиограмму и начал было что-то объяснять, но Стефан резким движением руки прервал его. Однако на прощание повел себя вежливо, попросив позаботиться об отце. От денег Марцинкевич отказался, но так мягко, что Стефан оставил их на столе. Он не успел выйти из кабинета, как деньги уже исчезли в ящике стола.

Стефан заглянул в несколько книжных лавок в поисках «Гаргантюа и Пантагрюэля». Ему давно пришлось по вкусу эта книга, а теперь, когда завелись деньги, захотелось купить ее в переводе Боя. Но найти ее нигде не мог: с книгами было плохо. Наконец ему повезло — у букиниста. По старому знакомству Стефан приобрел у него и несколько учебников, которые продавали только немцам, и последний номер немецкого медицинского журнала для Пайпака. Пачка оказалась довольно тяжелой, и возвращаться Стефан решил на трамвае. Подошел набитый битком вагон, за запотевшими окнами подрагивали, словно рыбки в аквариуме, фигуры людей. Свободной рукой (в другой была пачка книг) Стефан уцепился за поручень. Вскочил на подножку, но тут кто-то

крепко и сноровисто схватил его за шиворот и стал стягивать на мостовую. Чтобы не упасть, Стефан соскочил с подножки. Прямо перед собой он увидел молодое, хорошо выбритое лицо немца в черном мундире, который бесцеремонно оттолкнул его локтем, а когда ошеломленный и растерявшийся Стефан попытался влезть в трамвай вслед за ним, другой немец, видимо, приятель первого, грубо отпихнул его.

— Mein Herr! — воскликнул Стефан и тут же получил тупой, не очень болезненный пинок: немец до блеска начищенным сапогом ткнул его в ягодицу. Трамвай зазвонил и отошел.

Стефан остался торчать на мостовой. Несколько прохожих остановились неподалеку. Он еще больше смутился и, сделав вид, будто что-то заинтересовало его на противоположной стороне улицы, не стал дожидаться следующего и отправился в обратный путь пешком. Это происшествие настолько выбило его из равновесия, что он отказался от мысли навестить университетского приятеля и, сопровождаемый неумолчным сухим шелестом листьев, двинулся к дому.

Отец сидел в кровати и, чавкая, с большим тщанием выскребал с алюминиевой сковородки остатки яичницы. Стефан, еще не остыв от возбуждения, рассказал о своем приключении.

— Да, да. Они такие. Volk der Dichter<sup>1</sup>, — заметил отец. — Ну что поделаешь. Вот она, их молодежь. До сентября<sup>2</sup> я переписывался с Феллигером — помнишь, это фирма, которая интересовалась моей машиной для глаженья галстуков. Потом он вообще перестал отвечать. Хорошо еще, я чертежей ему не отослал. Ох-мели. Все мы теперь, впрочем, хамеем.

Он вдруг скривился и заорал во все горло:

— Меля! Ме-е-ля-я!

Стефан вздрогнул от неожиданности, но тут же послышались шаркающие шаги, в дверь просунулось лицо тетушки.

— Дай мне еще немного селедки, но чтобы луку было побольше. Может, и ты съешь, Стефан?

— Нет... нет!

Стефан был очень разочарован. Выходя от Марцинкевича, он предвкушал новую встречу с отцом, еще более сердечную, чем первая, а старик все разрушил своим аппетитом.

— Папа... мне, собственно, надо уже сегодня вернуться.

Он стал описывать сложные взаимоотношения в больнице; из его слов вытекало, что на нем лежит большая ответственность.

<sup>1</sup> Народ поэтов (нем.).

<sup>2</sup> До войны, до 1 сентября 1939 года.

— Смотри-ка... смотри... — протянул отец, стараясь подцепить соскальзывающий с тарелки кусочек селедки. Поймал его на вилку, отправил в рот еще и большой кусок белой булки и закончил: — Ты бы там очень не встревал. Я ничего не знаю, но после этой истории в Колохово...

— Какой истории? — Стефан насторожился; название это он слышал.

— Не знаешь? — удивился отец, вычищая тарелку мякишем. — Там ведь сумасшедший дом... то есть лечебница, — поправился он, исподлобья взглянув на сына — не обиделся ли тот.

— Да, маленькая частная лечебница; так что там произошло?

— Немцы забрали здание под военный госпиталь, а всех сума... больных увезли. Говорят, в лагерь.

— Что ты говоришь? — недоверчиво протянул Стефан. В портфеле у него лежал новый немецкий труд по лечению паранойи, изданный уже во время войны.

— Ну, не знаю. Так говорят. Однако вот что, Стефан! Смотри, пожалуйста, как у меня это из головы вылетело! Я тебе сразу хотел рассказать. Дядя Анзельм сердится на нас.

— И за что же? — неприязненно спросил Стефан. Это его мало трогало.

— Целый год живешь под боком у Ксаверия, а ни разу к нему не заехал.

— Так это дядя Ксаверий должен сердиться, а не дядя Анзельм.

— Угомонись. Ты же знаешь Анзельма. Не надо его против себя восстанавливать. Ну, сходил бы туда разок. Ксаверий тебя любит, правда, любит.

— Хорошо, отец, я схожу.

Когда они прощались, отца уже занимали только его последние изобретения. Это была икра из сои и котлеты из перемолотых листьев.

— Хлорофилл очень полезен. Подумай, ведь есть деревья, которые живут шестьсот лет! Безо всякого мяса, но с моим экстрактом — я тебе скажу — котлеты изумительные! Как жаль, что последнюю я съел вчера. Эта глупая Меля дала тебе телеграмму...

Стефан узнал, что поводом к отсылке телеграммы послужило неожиданное обострение отношений между отцом и теткой, которая решила покинуть этот дом. Однако еще до приезда Стефана они помирились.

— Я бы тебе дал баночку моей икры. Знаешь, как она делается? Сначала варишь сою, потом подкрашиваешь углем, саго ап-

malis, ты в этом и сам разбираешься, а затем добавляешь соли и моего экстракта...

— Того самого, что для котлет? — с серьезной миной спросил Стефан.

— Еще чего! Другого, специального, ну и для вкуса подливаешь оливкового масла. Был тут один еврейчик, общал привезти целую бочку, но его забрали в лагерь...

Стефан поцеловал руку отца и собрался было уходить.

— Подожди, подожди. Я тебе еще про котлеты не рассказал.

«Совсем старичок из ума выживает», — подумал Стефан; ему жаль было отца, но того волнения, которое охватило его утром, он уже не испытывал.

Позабыв о немцах и оккупации, Стефан шел на вокзал, рассчитывая сегодня же вернуться в лечебницу. Это оказалось делом невозможным: страшная давка, гвалт, беготня. Люди, как черви, заползали в окна вагонов, какой-то огромный бородач, забаррикадировавшись в клозете, втаскивал через окно раздутые чемоданы; устраивались даже на крышах. Стефан не дождался еще до таких способов путешествия. Тщетно пытался он попасть в вагон, доказывая, что ему надо ехать в Бежинец. Ему советовали пуститься за поездом бегом. Не зная, что предпринять, он уже собрался вернуться к отцу, но тут кто-то потянул его за рукав. Незнакомец в засаленной кепке и клетчатой, сшитой из одеяла куртке

— Вы в Бежинец?

— Да.

— У вас что, билета нет?

— Нет.

— Может, вместе что придумаем, но надо подмазать.

— О, я охотно... — начал было Стефан, но незнакомец уже исчез в толпе и вскоре вернулся с кондуктором, которого цепко придерживал за локоть.

— Дадите ему злотый... ну, значит, сотню... — втолковывал он изумленному Стефану. Тишинецкий дал, кондуктор раскрыл блокнотик, подложил полученную бумажку к другим таким же, посплонил пальцы, отер их о лацканы и вытащил из кармана железнодорожный ключ. Они двинулись за кондуктором, пролезли под вагоном на другую сторону поезда и спустя минуту уже сидели в крохотном купе.

— Счастливого пути, — всжливово напутствовал их кондуктор, пошевелил усами, приложил руку к фуражке и пошел восвояси.

— Я вам очень признателен, — начал было Стефан, но спутник, оказалось, внезапно потерял к нему всякий интерес и отвернулся к окну.

Смуглос, не старое, а, пожалуй, потрепанное лицо с ввалившимся ртом и тоненькой полоской губ. Когда незнакомец скинул и повесил на крючок куртку, Стефану бросились в глаза его руки — большие, тяжелые, с пальцами, которые словно бы привыкли захватывать предметы неправильной формы. Толстые, мутные, как слюдяные пластинки, ногти. Натянув кепку на самые глаза, он как-то вжался в угол. Поезд тронулся. В купе оставалось места по меньшей мере для двоих — люди, теснившиеся в коридоре, прескрасно это видели. Лица их посуровели. На дверь навалился элегантный мужчина с нежной, пухлой, казалось, вечно влажной физиономией. Он непрерывно дергал ручку, барабанил по стеклу и проделывал это все решительнее. Наконец перешел на крик, а поскольку через дверь услышать его было нельзя, вытащил какую-то справку с немецкой печатью и продемонстрировал ее, приложив к стеклу.

— Немедленно откройте! — вопил он.

Сотоварищ Стефана какое-то время делал вид, что ничего не замечает, потом вскочил на ноги и заорал в дверь:

— Молчать! Это службное купе, подонок!

Тот еще поворчал, пытаясь сохранить достоинство, и смирился. Путешествие обошлось без приключений. Когда за окном побежали, наскакивая друг на друга холмы, предвещавшие приближение Бежинца, незнакомец встал и натянул куртку. Пола ее скользнула по деревянной переборке, послышался глухой, металлический стук. Стефан этому немного удивился, но не более того. Повизгивая колесами на крутом повороте, поезд подкатил к пустому перрону. Заскрежетали тормоза. Стефан и незнакомец соскочили на щебенку. За их спинами тяжело засопел паровоз, одолевая подъем. Они прошли через проем в железной оградке. Миновали вокзальчик, и во всей торжественной красе раскинулась перед ними осьель. Прикрыв глаза, Стефан посмотрел на солнце, полюбовался радугой, скользнувшей по кончикам ресниц, и, все еще жмурясь — от этого под веками плясали красные огоньки, — зашагал к лечебнице.

Незнакомец шел рядом, не произнося ни слова. Городок остался позади, они свернули в овраг; спутник Стефана, казалось, был в некоторой нерешительности.

— Вы в лечебницу? — удивленно спросил Стефан.

Тот помолчал, потом ответил:

— Э-э, нет. Так, проветриться захотелось.

Они прошли еще с полкилометра. Когда овраг кончился и показалась стена деревьев, за которой был пока еще невидимый кирпичный домик, Стефана осенило.



— Послушайте... — забормотал он.

Незнакомец остановился как вкопанный, взглянул ему в глаза.

— Вы, может, на подстанции, а?... Я... вы не отвечайте... Пожалуйста, не ходите туда!

Незнакомец испытующе посмотрел на Стефана — не то насмешливо, не то недоверчиво; на губах его заиграла кривая усмешка, в узеньких щелках глаз неподвижно застыли зрачки. Он так и не произнес ни слова, но не уходил.

— Там сейчас немцы... — срывающимся голосом выпалил Стефан. — Не ходите туда! Они... взяли Воха. Арестовали его. Вроде бы... вроде бы... — Стефан осекся.

— Кто вы такой? — спросил незнакомец. Лицо его посерело, окаменело, он сунул руку в карман, и слабая улыбка, которая все еще блуждала у него на губах, превратилась в холодную ухмылку.

— Я врач из лечебницы. Я его знал...

Стефан осекся.

— На подстанции немцы? — переспросил незнакомец. Он выдавливал из себя слова, словно человек, который тащит неподъемную тяжесть. — Ну, меня это вовсе не касается... — добавил он, растягивая слова. Было заметно, что он мучительно обдумывает что-то. Однако быстро овладел собой и, приблизив лицо к лицу Стефана, обдал его дыханием и резко спросил: — А те?

— Пощички? — торопливо подхватил Стефан. — Убежали. Немцы их не поймали. Они в лесу, у партизан. То есть я так слышал.

Незнакомец поглядел по сторонам, схватил его за руку, сильно, до боли пожал и пошел прочь.

Не дойдя до поворота дороги, он взобрался по склону на холм и исчез в лесу. Тшпинекский облегченно вздохнул и по тропинке, вившейся по откосу холма, пошел к лечебнице. У каменной арки обернулся и посмотрел вниз, на поля, взглядом ища своего спутника. Поначалу он принимал за него стволы, темневшие в море лимонных и огненно-рыжих листьев. Потом увидел. Незнакомец был далеко, он застыл на месте — черное пятно в безбрежном, безветренном пространстве. Так продолжалось всего миг; незнакомец наклонился и исчез между деревьями; больше он не показывался.

У дверей мужского корпуса стоял — редкое явление в саду — Паенчковский; рядом с ним — ксендз Незглоба. Ксендз уже несколько недель чувствовал себя совсем хорошо и, собственно, мог бы возвращаться к исполнению пастырских обязанностей, но до Нового года он еще числился в епархии отпускиником. К тому же,

как он сам признался, ему не хотелось проводить со своими прихожанами Рождество.

— Смех да и только, — рассказывал он, — но у нас любой обидится, если с ним не выпьешь. И на Новый год так, и на Пасху, с освящением-то, это уж всего хуже. Сейчас мне нельзя, но разве они уважают болезнь? Мне не отбиться. Лучше уж посижу здесь, если вы, господин профессор (так он титуловал Пайпака), меня не прогоните.

Старый адъюнкт питал к церкви слабость. Только из-за этого несколько лет назад не удавалось уволить двух сестер милосердия, славившихся немилосердным отношением к больным: тогда одна пациентка скончалась от ожогов, полученных в ванной, и в лечебницу даже приезжала комиссия из министерства. Вскоре, правда, они ушли сами — втайне от всех Паенчковский заставил их это сделать. Так, по крайней мере, эту историю передавали.

Ксендз уговаривал Паенчковского позволить в ближайшем воскресенье отслужить мессу в маленькой часовне, которая стояла в саду, у северной стены, окружавшей лечебницу. Он уже разузнал в приходской канцелярии, что можно, что никаких препятствий к тому нет, уже позаботился обо всем необходимом и только просил «господина профессора» дать формальное разрешение. Пайпак страдал, ему-то хотелось, но он стыдился коллег. Известное дело: богослужение в сумасшедшем доме — это же чуть ли не издевка. Если бы только для персонала, но ксендз полагал, что пациенты — те, что поздоровее, — могли бы...

В конце концов Паенчковский, на лбу которого выступила испарина, согласился и тут же успокоился. Потоптался на месте, что-то вспомнил и, извинившись, ушел. Тут и объявился Стефан.

— Вы, отец, больше уже не видите княжны? — спросил он, оглядывая запущенный сад. Деревья, постоянно обдуваемые ветром, теряли здесь листья раньше, чем в долине. Он поначалу и не сообразил, что мог своим вопросом больно обидеть ксендза.

— Рассудок мой, дорогой господин доктор, — проговорил ксендз, — я уподобил бы музыкальному инструменту, в котором фальшивили несколько струн... Вот душа, этот удивительный артист, и не могла исполнить нужной мелодии. Теперь же, когда вы, господа, меня исцелили, я совершенно здоров и присилен благодарности.

— Одним словом, вы уподобляете нас настройщикам, — замялся Стефан и улыбнулся про себя, но лицо его оставалось серьезным. — Можно и так. Кажется, какой-то богослов девятнадцатого века говаривал, что телодвижения, то есть окончания

нервных клеток, погружены в мировой эфир... Жаль только, что мировой эфир уже ликвидирован физикой.

— Еще недавно я не слышал в вашем голосе подобных ноток, — печально заметил Ксендз. — Прошу простить бесцеремонность бывшего пациента, но представляется мне, что господин Секуловский всегда воздействовал на вас, господин доктор, словно... полынью. Вы по природе так добросердечны, а повидаетесь с ним, и начинают посещать вас какие-то горькие мысли, и, я в этом уверен, вам совершенно чуждые...

— Я — добросердечный? — Стефан усмехнулся. — Такие комплименты жизнь мне отпускала вообще-то скупно, вот только вы, отец...

— Но в воскресенье вы придете? Я бы оставил на ваше усмотрение, кому из больных можно принять участие в мессе. С одной стороны, мне хотелось бы, чтобы их было как можно больше, ведь уже столько лет... но с другой... — Он не решился продолжать.

— Я понимаю, — сказал Стефан. — Мне, однако, кажется, что это неуместно.

— Как так? — Ксендз явно опешил. — Вы полагаете, что?..

— Я полагаю, что есть такие места, где даже Бог может себя скомпрометировать.

Ксендз опустил голову.

— А ведь и вправду. Увы, я хорошо знаю, что не хватает мне нужных слов, что я — обыкновеннейший сельский священник. Сознаюсь: когда я учился, мечтой моей было встретиться с каким-нибудь неверующим и сильным духом. Чтобы обуздать его и поведи...

— Как это — обуздать? Вы как-то чудно говорите.

— Я имел в виду обуздание любовью, но это было грехом. Только потом я понял: грехом гордыни. И затем уж узнал много иных вещей, которым учит жизнь среди людей. Я хорошо понимаю, сколь малого я стою. У каждого врача целая батарея аргументов, которыми он сумеет стереть с лица земли мою священническую премудрость...

Стефану наскучил этот сентиментальный и напыщенный разговор. Он огляделся. Больные стекались по аллеям к корпусу — близилась обеденная пора.

— Пусть это останется между нами, — проговорил он и взмахнул рукой, словно благословляя. — Вы знаете, что мы столь же строго храним тайну, как и вы, — если не принимать во внимание небеса... Вот вы, отец, вы никогда не сомневались?

— Как мне отвечать, господин доктор?

— Хотелось бы услышать правду.

— Прошу меня простить, но, кажется, вы не часто заглядываете в Евангелие. Прочитайте-ка у святого Матфея — глава 27, стих 46. Не однажды то были и мои слова.

Ксендз ушел. Сад почти опустел. Вишневые пятна халатов ползли так размеренно, словно невидимая сила вычесывала их из припорошенного золотом сада. Последним, дымя папиросой, прошествовал санитар. Стефан поплелся за ним. Проходя мимо кустов запущенной сирени, увидел присевшего на корточки человека. Хотел было позвать сестру, но удержался. Большой, низко наклонившись над клумбой, рукой, которая вроде бы плохо его слушалась, нежно поглаживал серебристую траву.

## АХЕРОНТ<sup>1</sup>

Стефан возвращался с прогулки. Канавы по обе стороны дороги были доверху забиты пушистым золотом, словно пробежавший тут мул Али Бабы порастряс целые мешки цехинов. В сером небе прямо над головой полыхал каштан; он напомнил Стефану потрескавшиеся медные лады. А вдали ржавел лес. Стефан шел, под ногами шелестел толстенный ковер из листьев, цвет их менялся — от желтого до коричневого, — но основой все же оставался пурпур; это походило на разные инструментовки одной мелодии. Аллея, заворачивавшая здесь и устремлявшаяся вниз, тлела апельсиновым жаром. Убегавшие за горизонт фруктовые сады увядали. Ветер гнал шершавые облака листьев сквозь кавалькады стволов. Все это многоцветье еще стояло у Стефана перед глазами, когда он вошел в библиотеку забрать оставленную там книгу.

Около телефона, висящего на стене, стоял Пайпак, он так сильно прижимал трубку к уху, что оно побелело. Он почти ничего не говорил. Только поддакивал:

— Да... да... да... да... да...

Потом горячо поблагодарил и обеими руками повесил трубку. Уцепился за аппарат. Стефан бросился к нему.

— Послушайте... милый вы мой... дорогой... — зашептал Пасничковский.

Стефану стало его жаль.

— Вам плохо, господин адьюнкт? Может, дать вам корамина? Я сбегая в аптеку...

---

<sup>1</sup> В греческой мифологии — одна из рек в Аиде, через которую Харон перевозит души умерших.

— Это не то... это не я... — забормотал старик. Выпрямился и, словно слепец, держась за стену, побрел к окну.

Красная осень, напоенная запахами тления, вся в золотисто-темных крапинках листьев, накатывала на окно, будто морской прилив.

— Видите? Конеч, — проговорил Паенчковский. — Конеч, — повторил он еще раз.

Его седенькая головка свалилась на грудь.

— Пойду к профессору. Да, пойду. Который час?

— Пять.

— Значит, наверное, у... себя.

Профессор был у себя всегда.

Обернувшись, Паенчковский как будто только теперь заметил Тшинецкого.

— А вы... вы пойдете со мной.

— Я?.. Зачем? Что случилось, господин адьюнкт?

— Пока ничего. И Бог этого не допустит. Нет, нет, не допустит. А мы сделаем... Вы пойдете, будете вроде как свидетелем. Да и мне легче будет говорить: вы же понимаете — его магифиценция!1 ...

Слово это сверкнуло искоркой робкого юмора, но искорка тотчас же и погасла.

Заглянуть в общую палату, в квартиру кого-нибудь из врачей или пойти к профессору — разница громадная. Дверь обыкновенная, белая, как у всех. Паенчковский постучал так предупредительно, что его не услышали. Он подождал и попробовал еще раз, погромче. Стефан хотел постучать сам, но адьюнкт опасно оттеснил его: не умеешь, все испортишь...

— Прощу!

Мощный голос. Он еще не успел умолкнуть, а они уже открыли дверь, вошли.

Влучах заходящего солнца знакомая Стефану комната выглядела необычно. Солнце придало стенам огненный колорит. Комната, казалось, полыхала, она напоминала пещеру льва. Старое золото горело на корешках книг, все это походило на какую-то удивительную интарсию!2. Под темным лаком буфета и полок солнце, как волшебник, высвечивало красное дерево. Яркие пятна рябили на всех деревянных предметах в комнате, словно на поверхности воды; искрились волосы на голове профессора, который — как всегда, за столом, над каким-то толстым томом, в кресле, распахнутом, будто книга, — устремил неподвижный взгляд на Пайпака и Стефана.

<sup>1</sup> Титул ректора высшего учебного заведения.

<sup>2</sup> Вид деревянной мозаики.

Паенчковский с трудом продрался через несколько вступительных фраз: что извиняется, знает, что помешал, но *vis maior*<sup>1</sup> — это важно для всех. Наконец добрался до сути дела:

— Мне, ваша магнифициция, звонил Кочерба... бежинецкий аптекарь. Так вот, сегодня утром в Бежинец приехала рота немцев и полицейских-гайдамаков. Значит, украинцев. Им велено молчать, но кто-то проболтался: они прибыли ликвидировать нашу больницу.

И Пайпак сразу весь как-то съезжился, только выставил вперед свой крючковатый нос: я кончил.

Профессор как человек науки поставил под сомнение достоверность информации аптекаря. За него вступился Паенчковский.

— Он человек надежный, ваша магнифициция. Он тут тридцать лет. Вас, господин профессор, помнит еще со времен слуги Ольгерда. Ваша магнифициция его не знает, он ведь человек маленький, — и Паенчковский показал рукой, опустив ее к самому полу, какой именно маленький. — Но человек порядочный.

Адьюнкт вздохнул и продолжал:

— Так вот, ваша магнифициция: это такое страшное известие, что и верить не хочется. Но наш, то есть мой, долг состоит в том, чтобы как раз поверить.

Тут начиналось для него самое трудное. С виду такой покорный и растерянный, он на самом деле прекрасно видел, как холодно его принимают: профессор даже не предложил сесть. Два кресла перед столом были пусты — два островка тени в золотистых облачках солнечных бликов. А профессор положил свою тяжелую, узловатую руку на книгу и выжидал. Это означало, что вся сцена представляет собой лишь интермедию, эпизод, предваряющий действие куда более важное, смысл которого пришедшие сюда понять не в состоянии.

— Я узнал, ваша магнифициция, что к этим солдафонам в качестве начальника приставлен немецкий психиатр. Стало быть, вроде как коллега. Доктор Тиссдорф.

Паенчковский смолк. Профессор не отозвался ни звуком, только слегка сдвинул брови, словно седые молнии: «не слышал», «не знаю».

— Да, это молодой человек. Эсэсовец. И, насколько я понимаю, предприятие это неблагодарное — но что еще остается? Надо пойти к нему, в Бежинец, еще сегодня, ваша магнифициция, ибо как раз, как раз завтра... — говорил он, и голос его на-

---

<sup>1</sup>Чрезвычайные обстоятельства (лат.).

бирал силу. — Немцы уведомили сегодня магистра Петшиковско-го, старосту, что завтра утром им понадобится сорок человек — дорожная повинность.

— Это известие... оно для меня не совсем неожиданно, — быстро проговорил профессор, и было странно, что такой великий человек может говорить так тихо. — Я ожидал его, быть может, не в такой форме, после статьи Розеггера... Вы ведь помните, коллега?

Пайпак подобострастно подтвердил: он помнит, он слушает и внимает.

— Однако же я не знаю, какова здесь моя роль? — продолжал профессор. — Насколько я разбираюсь в этом деле, ни персоналу, ни врачам ничего не угрожает. Ну, а больные...

Этого ему говорить не следовало. Обычно подбирающий слова задолго до того, как их надо будет произнести, профессор на сей раз не успел их обдумать. Паенчковский внешне ничем себя не выдал, оставался таким же, как обычно (никакой не титан, голубок да и только), но, когда он оперся о стол, его тощая рука, рука старца, преобразилась — она больше не дрожала.

— Времена теперь такие, — сказал он, — что жизнь человеческая обесценивается. Времена страшные, но пока еще имя вашей магнificенции могло бы, словно щитом, прикрыть этот дом и спасти жизнь ста восьмидесяти несчастных.

Правая рука профессора, прятавшаяся до сих пор под столом, словно кто-то, не принимающий участия в дискуссии, вмешалась теперь в нее: твердым, горизонтальным движением дала знак молчать.

— Я ведь не руководитель этого заведения, — заговорил профессор. — Меня нет даже в списках сотрудников, я не состою в штате, вообще нахожусь здесь неофициально, и, как полагаю, и я, и вы, мы можем из-за этого иметь серьезные неприятности. Однако же, если вы того пожелаете, я останусь. Что же касается заступничества — мои заслуги, ежели таковые и есть, уже были признаны «ими» в Варшаве; вы знаете, каким образом. Молодой, дикий ариец, который, как вы, коллега, говорите, намсрывается завтра истребить наших больных, несомненно, получил приказ властей, каковые не считаются ни с возрастом, ни с научным именем.

Наступило молчание, и оно постепенно преображало комнату. Последний луч ускользавшего за стену солнца красным расплывающимся пятном сползал по дверцам стоявшего у окна шкафа, и был этот луч таким пушистым и таким живым, что Стефан, хотя он и следил с величайшим вниманием за разговором,

проводил его глазами. Потом голубоватая дымка, предвестница ночи, словно прозрачная вода затопила комнату. Становилось и темнее, и печальнее, как на сцене в хорошо отрежиссированном спектакле, когда невидимые прожектора, меняя освещение, толкают вперед действие пьесы.

— Я собираюсь туда сейчас, — сказал Паенчковский, который, слушая профессора, все более выпрямлялся — даже его донкихотовская борода затряслась. — И я думал, что вы пойдете со мной.

Профессор не пошевелился.

— В таком случае я иду. Прощайте... ваша магнифициция.

Они вышли.

Коридор делал здесь крутой поворот. Он еще был залит тем красным светом, который только что покинул комнату профессора. Вышагивая рядом с семенившим стариком, Стефан чувствовал себя совсем маленьким. Крохотное, сморщенное личико адьюнта светилось гордостью.

— Я пойду прямо сейчас, — проговорил он, когда они остановились на лестничной площадке, исполосованной солнечными лучами. — А вы, коллега, все, что слышали, сохраните в тайне — до моего возвращения.

Он положил руку на перила.

— Профессор пережил тяжелые минуты. Его вышвырнули из лаборатории, в которой он создал основы электроэнцефалографии... не только польской. Я, однако же, не думал...

Тут старого Пайпака качнуло в сторону, борода его затряслась. Но длилось это всего мгновение.

— Не знаю, может, *Acheronta movebo*<sup>1</sup>. Но...

— Мне пойти с вами? — воскликнул Стефан. И тут же перепутался, его словно слегка оглушило, как тогда, когда немец дал ему пинка. Он даже отшатнулся.

— Нет. Чем вы можете помочь? Наверно, один только Каутерс...

Паенчковский довольно долго молчал и закончил:

— Но он не пойдет. Я знаю. *Этого* было достаточно.

И начал спускаться по пустынной лестнице, ступая так твердо, словно разом хотел опровергнуть все сплетни о своей болезни.

Стефан остался на лестничной площадке, и тут к нему подошел Марглевский. Тощий доктор был в прекрасном расположении духа. Схватил Стефана за пуговицу и потянул к окну.

— Вы слышали, коллега, ксендз собирается завтра устроить

<sup>1</sup> Ахеронт пришел в движение (лат.).



нам богослужение? Ему нужны министранты. Ну, я через Ригера обещал прислать мальчиков. Знаете, кто будет ему прислуживать? Этот маленький Петрусь из моего отделения! Знаете, кто он?

Стефан вспомнил маленького блондинчика с лицом мурильевских знатовласых ангелов. Это был кретин, почти безнадежный, пускающий слюни.

— Это будет изумительно! Послушайте, коллега, нам обязательно нужно...

Стефан пожертвовал пуговицей, крикнул, что очень торопится, и, не дослушав, умчался. Выскочил из корпуса в сад, а оттуда понесся на шоссе, по которому Пасечниковский пошел в Бежинск. Он стал спускаться, почти не разбирая дороги. И вдруг словно очнулся. В сухой шорох листьев вмешался новый звук. Стефан задрал голову, остановился. Где-то далеко урчал мотор. Кто-то ехал в гору; на это указывал и столб пыли, словно хвост, обметавший деревья, — он приближался. Стефан вздрогнул, как будто его обдало холодом, и быстро повернул назад. Он был уже у каменной арки со стершейся надписью, когда, теперь уже совсем вблизи, услышал шум мотора. Остановился у колонны.

Скрежеща на второй скорости и сильно накренившись на повороте, приближалась немецкая военная машина, Kübelwagen, с плоско обрубленным капотом. За ветровым стеклом чернела каска водителя. Машина проехала мимо Стефана, свернула, застонала и, вкатив на территорию, остановилась перед калиткой.

Стефан пошел туда.

У стены стоял высокорослый немец. На нем была маскировочная накидка; черные очки отброшены на каску; черные перчатки с воронкообразными растрюбами. На сукне мундира — засохшие комочки грязи. Он возбужденно наседа на вахтера. Услышав вопрос немца, Стефан вмешался:

— Der Direktor ist leider zur Zeit abwesend. Bitte, was wünschen Sie?

— Hier muss mal Ordnung gemacht werden, — сказал немец. — Sind Sie sein Stellvertreter?

— Ich bin hier Arzt.

— Na, also, dann gehen wir mal rein!

Он вошел так уверенно, словно был здесь не впервые. Водитель остался сидеть в машине. Проходя мимо, Стефан заметил,

---

1 — Директор, к сожалению, сейчас отсутствует. Что вам угодно?

— Тут надо бы навести порядок.(...) Вы его заместитель?

— Я здешний врач.

— Ну ладно. Тогда войдемте-ка (нем.).

что правую руку солдат держит на автомате, лежащем на сиденье рядом с ним.

Стефан провел немца в общую канцелярию.

— Wie viele Kranke haben Sie jetzt?

— Entschuldigen Sie, aber ich weiss nicht, ob...

— Wann Sie sich zu entschuldigen haben, bestimme ich, — проговорил немец уже резко, — Antworten Sie.

— Etwa einhundertsechzig...

— Ich muss die genaue Zahl haben. Zeigen Sie die Papiere.

— Es ist ja Arztgeheimnis.

— Ein Arschloch ist das, — буркнул немец.

Стефан взял с полки книгу и раскрыл ее; больных числилось 186.

— So? Und lügen Sie nicht?<sup>1</sup>

У Тшинецкого почему-то похолодели щеки. И все же он никак не мог оторвать взгляда от подбородка немца, уж очень он резко выпирал вперед. Покрывшиеся ледяным потом пальцы сами собой сжимались в кулак. Но он все смотрел в выпетшие глаза, которые видели сотни людей, раздевавшихся донага над свежерырытым рвом, в глаза, которым знакомы были бессмысленные движения этих людей, когда, сами того не понимая, они старались подготовить свое живое тело к падению в грязь. Стефану почудилось, будто комната и все предметы в ней завертелись вокруг него. Лишь высокая фигура в зеленой свисавшей с плеча накидке оставалась неподвижной.

— Ein dreckiges Nest, das, — сказал немец. — Zwei Tage schon muss man die Schweinehunde durch die Wälder jagen. So was eine Sonderkommission wird zu Ihnen kommen. Wenn Sie einen einzigen Kranken verstecken, wird Ihnen<sup>2</sup>...

Он не угрожал, у него даже выражение лица осталось прежним, он не сделал ни одного жеста. Но все внутри у Стефана похолодело. Губы мгновенно стали сухими, он их беспрестанно облизывал.

---

<sup>1</sup> — Сколько у вас здесь сейчас больных?

— Простите, но я не знаю, так как...

— Когда вам тут еще извиняться, решаю я. (...) Отвечайте (*искаж. нем.*).

— Около ста шестидесяти.

— Мне нужно точное число. Покажите документы.

— Это врачебная тайна.

— В задницу все это. (...)

— Да? И вы не лжете? (*нем.*)

<sup>2</sup> Вончрее гнездо (...) Два дня, гнать через лес это свиньяье стадо. Вот притащат сюда к вам комиссию. И если вы хоть одного больного припрячете, я вам... (*искаж. нем.*)

— So zeigen Sie mir jetzt alle die Gebäude hier.

— In die Krankensäle werden die Nichtärzte nicht zugelassen, weil die Verordnung... — последний раз, едва слышно выдавил из себя Стефан.

— Die Verordnungen machen wir, — сказал немец. — Genug gequatscht<sup>1</sup>.

И, словно не замечая того, что делает, так подтолкнул Стефана, что тот едва устоял на ногах. Быстрым шагом пересекли они двор. Немец озирался, задавал вопросы: сколько мест в этом корпусе? сколько выходов? есть ли на окнах решетки? сколько больных?

Наконец, уже на прощанье, он поинтересовался количеством врачей и санитаров. Остановился перед самой большой лужайкой, внимательно осмотрел ее, словно мерку с нее снимал.

— Sie können beruhigt schlafen, — бросил он уже у самой машины. — Ihnen wird nichts passieren. Falls wir aber einen Banditen bei Ihnen finden, eine Waffe oder so was, dann möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken<sup>2</sup>.

Мотор заурчал, немец — огромный детина — расположился на заднем сиденье. И только теперь Стефана поразили два странных обстоятельства, на которые он раньше не обратил внимания: во-первых, они не встретили ни одного врача, ни одного санитаря, хотя все они обычно по вечерам прогуливались в саду, во-вторых, он так и не понял, кем, собственно, был этот самый немец. Маскировочная накидка не позволила разобрать, в каком он чине. Лица немца Стефан не запомнил, только черные очки и каска. «На марсианина похож», — подумал Стефан и в этот момент услышал тихие шаги.

— Что это было, коллега?

Прямо перед собой он увидел Носилевскую; глаза ее показались ему сейчас еще прекраснее; от бега и волнения она разругалась. Он смутился, сказал, что и сам не знает, — какой-то немец пожелал осмотреть больницу. Кажется, они устраивают облавы на партизан в лесу, вот он и приехал.

Стефан сознательно напустил туману, стараясь не подвести Пайпака.

---

<sup>1</sup> — Ну, покажите теперь все ваши помещения.

— В палаты никому, кроме персонала, заходить не положено, поскольку предписания...(...)

— Предписания устанавливаем мы... Хватит, поболтали! (нем.)

<sup>2</sup> Можете спать спокойно. (...) Вам ничего не угрожает. Но если мы найдем у вас бандитов, оружие или еще что-нибудь такое, я бы не хотел тогда оказаться в вашей шкуре (нем.).

Носилевскую прислали Ригер с Марглевским, которые, правда, видели из верхней дежурки, что машина ушла, но все же не рискнули спуститься сами. И ее до последней минуты от себя не отпускали: береженого...

Стефан не очень-то вежливо обошелся с Носилевской — оставил ее одну в саду, а сам опять направился на шоссе.

Взглянул на часы: семь. Темнело быстро. Немец пробыл тут без малого полчаса, Пайпак должен вот-вот вернуться. В сумерках все вокруг казалось иным, чужим. Он посмотрел на лечебницу. Горделивые очертания зданий чернели на фоне коричневых туч, подсвеченных — словно лампой, спрятавшейся за ними, — луной.

Стефан прошел еще несколько сот метров, и вдруг в шуме листьев ему послышалось какое-то постукивание.

Кто-то брел навстречу. Стало темно, луна укрылась за тучей. Ориентируясь по слуху, Стефан перешел на другую сторону дороги и узнал адьюнкта, когда тот был всего в трех шагах.

— Господин доктор... У нас немец был, — начал было Стефан, но осекся: у того, судя по всему, новости поважнее.

Паенчковский, однако, шел молча. Стефан старался держаться рядом, то чуть отставая, то чуть обгоняя. Так они и добрались до ворот, затем направились — по-прежнему в полном молчании — в кабинет Пайпака. Вернее, направился туда адьюнкт, а Стефан неотступно следовал за ним. Паенчковский открыл ключом дверь и вошел в кабинет; Стефан — тоже. И хотя оба они хорошо знали, где что стоит, а выключатель был у самой двери, они странным образом раза три-четыре натыкались друг на друга в темноте, прежде чем догадались зажечь свет. И тут Стефан, который готов был наброситься на старика с вопросами, в ужасе отшатнулся.

Паенчковский был совершенно желт, и казалось, совсем высох. Зрачки крохотные, прямо точки.

— Господин адьюнкт... — прошептал Стефан. И чуть громче: — Господин адьюнкт...

Паенчковский подошел к аптечке, достал маленькую бутылочку с притертой пробкой: «*Spiritus vini concentratus*», плеснул немного жидкости в стакан — рюмки у него не было, — выпил и сильно закашлялся. Потом повалился в кресло и обхватил голову руками.

— Всю дорогу, — заговорил он, не отнимая пальцев от лица, — всю дорогу я думал, что мне сказать. Если он мне ответит, что ненормальные бесполезны, размышлял я, сошлось на немцев, Блойлера и Мебиуса. Если упомянет нюрнбергские законы,

разъясню, что мы — оккупированная страна, стало быть, до подписания мирных договоров положение наше никак не легализовано... Если потребует выдать неизлечимых, скажу, что медицина не знает безнадежных случаев. Всегда необходимо считаться с неизвестным, это одна из обязанностей врача. Если скажет, что это страна врагов, а он — немец, я ему напомню, что прежде всего он — врач. Если...

— Господин адъютант... — умоляюще прошептал Стефан.

— Да, вы не хотите слушать. Когда я пришел туда, не знаю, успел ли я произнести хоть три слова. Он ударил меня по лицу.

— А... А... — Стефан попытался что-нибудь сказать, но не смог.

— Вахмистр украинцев сообщил мне, что оберштурмфюрер Гутка поехал в лечебницу, чтобы установить число больных и «разработать тактический план». Они это так называют. Надеюсь, вы сообщили им ложные сведения?

— Нет... я... то есть он сам посмотрел.

— Да. Ну да, да.

Из другого пузырька Пайпак налил себе бром с люминалом, выпил и отер рот тыльной стороной ладони. Потом попросил пригласить всех врачей в библиотеку.

— И... господина профессора тоже?

— Что? Да. А впрочем, нет. Нет.

Когда Стефан вместе с Носилевской и Ригером пришел в библиотеку, там уже горел свет; вслед за ними явились Каутерс, Марглевский и Сташек. Паенчковский стоя дожидаясь, пока все рассядутся. Затем кратко, не пускаясь в рассуждения, до которых был такой охотник, сообщил, что германо-украинская команда, которая умиротворила, то есть сожгла, деревню Овсяное и уничтожила ее население, намерена истребить больных, находящихся в лечебнице. С этой целью немцы потребовали собрать к утру людей из Бежинца, так как по собственному опыту знают, что больные не способны к согласованной работе — в отличие от крестьян, которые обычно копают себе могилы сами. Затем он рассказал о предпринятой им попытке, каковой было посещение доктора Тиссдорфа.

— Едва я успел упомянуть о цели их прибытия, он дал мне пощечину. Мне хотелось бы верить, что так он выразил свое возмущение клеветой, однако вахмистр украинцев информировал меня, что они получили приказ подготовиться к боевой операции: сегодня им доставят патроны — сверх того, что у них есть. Вахмистр показался мне достаточно честным человеком, насколько в подобных обстоятельствах слово это вообще что-нибудь значит.

Напоследок Паенчковский объяснил врачам истинную цель дневного визита оберштурмфюрера Гутки.

— Мне хотелось бы, чтобы вы... поразмышляли над этим. Чтобы... принять определенное решение... шаги... Я руководитель, но просто... просто не дорос...

Голос изменил ему.

— Можно было бы отпустить всех больных в лес, а самим разбежаться; в два часа ночи идет скорый до Варшавы, — начал было рассуждать Стефан, но не кончил — такое глухое молчание было ему ответом. Пайпак засрзал в кресле.

— Я думал об этом... но не стоит. Они легко переловят больных. Да и не смогут же больные жить в лесу. Это... было бы проще всего, но это не решение вопроса.

— Полнейшая чужь, — категорически заявил Марглевский. — Полагаю, мы должны уступить силе. Как Архимед. Покинуть... покинуть больницу.

— Вместе с больными?

— Нет, зачем же? Просто-напросто покинуть.

— Значит, сбежать. Разумеется, это тоже выход, — с каким-то поразительным терпением мягко заметил старик. — Немцы могут бить меня по лицу, выбросить вон отсюда, все, что захотят. Я, однако, нечто большее, чем руководитель учреждения. Я врач. И вы все — тоже врачи.

— Чепуха. И что с того? — Марглевский подпер рукой подбородок, будто был тут в одиночестве.

— Вы не пробовали... иных средств? — спросил Каутерс.

Все посмотрели на него.

— Что вы имеете в виду?

— Ну... какой-нибудь способ умиловить...

— Взятка... — догадался наконец адъютант.

— Когда они тут будут?

— По всей вероятности, между семью и восемью утра.

Марглевский, который, казалось, не мог усидеть на месте, оттолкнул стул и, широко расставив пальцы, прямо-таки вlepил ладонь в стол, даже косточки пальцев побелели. Он проговорил:

— Я... считаю своим долгом... Я обязан спасти свою научную работу, которая является не моим только, но и всеобщим достоянием. Вижу, у меня просто не остается другого выхода. Прощайте, господа.

Ни на кого не глядя, высоко подняв голову, он вышел.

— Однако же, коллега! — крикнул ему вслед Кшечотек.

Паенчковский слабо, безнадежно махнул рукой. Все еще смотрели на дверь.

— Ну, стало быть, так... — заговорил Пайпак срывающимся голосом. — Это так. Я работаю здесь двадцать лет... двадцать лет. Но я не знал... я не предполагал... я психолог, я знаток душ... я... Да ведь не о себе же мы должны думать, а о них! — пронзительно закричал Паенчковский, стукнул кулаком по столу и заплакал. Закашлялся, его всего трясло.

Носилевская встала, подвела его к креслу и усадила, хотя он и упирался. Золотые искорки пробежали по ее волосам, когда она, наклонившись над стариком, мягко обхватила его запястье и начала считать пульс. Потом, откинув волосы, вернулась на свое место.

И тут все заговорили разом:

— Может, это еще не наверняка.

— Я позвоню аптекарю.

— Во всяком случае, Секуловского надо спрятать.

(Это сказал Стефан.)

— И ксендза тоже.

— Коллега, но он, кажется, уже выписан?

— Нет, в том-то и дело, что нет.

— Пошли тогда в канцелярию.

— Немец проверил списки, — глухо проговорил Тшинецкий, — и... меня, то есть всех нас объявил ответственными.

Каутерс продолжал сидеть молча.

Паенчковский встал — он уже успокоился, только покрасневшие глаза его выдавали. Стефан подошел к нему.

— Господин адьюнкт, нам следует решиться. Надо бы некоторых спрятать.

— Надо спрятать всех больных, которые отдают себе отчет в происходящем, — сказал адьюнкт.

— Нескольких наиболее ценных можно было бы... — неуверенно начал Ригер.

— Может, выздоравливающих вообще отпустить?

— У них нет документов. Их на вокзале сейчас же схватят.

— Так кого прятать? — с нескрываемым раздражением спросил Кшечотек.

— Ну, я говорю: наиболее ценных, — повторил Ригер.

— Не я буду решать, кто ценнее. Речь о том, чтобы они не выдали других, — сказал Пайпак. — Только об этом.

— Значит, селекция?

— Прошу всех разойтись по палатам... коллега Носилевская, соблаговолите отдельно уведомить сестер.

Все пошли к дверям. Пайпак стоял в стороне, обеими руками вцепившись в стул. Стефан, выходявший последним, услышал его шепот.

— Простите? — он думал, Паенчковский хочет что-то сказать ему. Но старик его не услышал.

— Они... они будут... им будет так страшно... — еле слышно прошептал он.

Они не спали всю ночь. Отбор дал сомнительные результаты: каких-нибудь двадцать больных, но и за них никто не мог поручиться, никто не знал, выдержит ли их нервная система. Новость, хотя ее вроде бы и скрывали, стремительно разнеслась по всей больнице. Молодой Юзеф, в халате нараспашку, ни на шаг не отходил от адьюнкта, он все бормотал что-то о своей жене и детях.

В женском отделении орава полураздетых пациенток танцевала в сизом облаке перьев из подушек; их визгливый вой не затихал ни на минуту. Стефан и Сташек за два часа почти дочиستا вымели скромные запасы лекарств, хранившихся в аптечке, щедро раздавая до сих пор столь строго оберегавшиеся ломинал и скополамин; впрочем, этим они ничего не добились. Стефан и сам дважды прикладывался к большому пузырьку брома, выслушавая насмешки Ригера, который отдавал предпочтение спирту. Спустя какое-то время увидел Марглевского, который с двумя чемоданами и рюкзаком с картотекой о гениях направлялся к воротам. Каутерс около полуночи заперся в своей комнате. Суматоха усиливалась. Каждый корпус был на свой лад, все сливалось в многоголосый ор. Стефан бестолково носился с этажа на этаж, несколько раз пробежал мимо квартиры профессора. Под дверью виднелась полоска слабого света; оттуда не доносилось ни звука.

Поначалу казалось, что спрятать больных на территории больницы — дело безнадежное. Но Паенчковский поставил врачей перед свершившимся фактом, поместив в свою квартиру одиннадцать шизофреников в стадии ремиссии и трех маньяков. Дверь к ним замаскировал шкафом. Шкаф потом пришлось снова отодвигать, потому что у самого здорового по виду шизофреника начался приступ. Возясь со шкафом, от стены в спешке откололи увесистый кусок штукатурки, и Паенчковский сам прикрыл это место сооруженной на скорую руку занавеской. Стефан заглядывал к нему в квартиру несколько раз; если бы не всеобщее нервное возбуждение, он, может, и порадовался бы, глядя, как старик, сунув в рот парочку гвоздей и балансируя на стуле, который держал Юзеф, неврологическим молоточком прибывает портьеру. Решили, что больных заберут к себе только те, у кого по меньшей мере две комнаты. Речь шла о Каутерсе и Ригере. Этот последний, уже солидно нагруженный, согласился спрятать нескольких че-



ловек. А Стефан пошел в палату, чтобы забрать парнишку-скульптора, но, открыв дверь, угодил в сцепившийся клубок ревущих людей.

Огромные куски разодранных простыней носились под уцелевшими лампами. В общем гаме можно было разобрать кукареканье, свист и, казалось, бесконечный визгливый крик: «туническая война в шкафу!» Утопая в вонючей насыпи из перьев, Стефан остервенело пробивался вдоль стены. Два раза его сваливали на пол, однажды он упал прямо под ноги Пащчиковяку, который огромными прыжками пересекал палату из угла в угол, словно стараясь побороть земное притяжение.

Обезумевшие, ослепленные яростью, больные метались по палате, врезались в стены так, что кости трещали, вдвоем-втроем заползали под кровать, из-под нее выскакивали их дрыгающиеся ноги. Стефану с огромным трудом в конце концов удалось добраться до парнишки. Отыскав его, он пустил в ход кулаки, чтобы пробиться к двери. Но там парень уперся ногами в пол и начал тянуть Стефана в угол. Вытащил из-под матраса что-то большое, завернутое в мешковину. И только тогда позволил довести себя до двери.

В коридоре Стефан облегченно вздохнул; на его халате не осталось ни одной пуговицы, из носа сочилась кровь. В палате рев усилился. Стефан передал паренька Юзефу, который помогал устраивать укрытие в квартире Марглевского, и спустился вниз. Уже сходя с лестницы, он заметил, что держит в руках сверток, — тот, что сунул ему парнишка. Взяв его под мышку, достал сигарету и испугался: руки его, когда он чиркал спичкой о коробок, ходили ходуном.

После третьего по счету приступа буйства в квартире адьюнкта, ставшей укрытием для больных, вездесущий Пайпак велел всем им дать люминал. И на рассвете тридцать запертых в трех квартирах больных забылись наркотическим сном.

Их истории болезни собственноручно уничтожил Пайпак, не обращая внимания на опасно развопившего руками Стефана. И, только поднявшись с пола и закрыв дверцу печки, в которой догорали эти листочки, вытирая вымазанные сажей руки, он сказал:

— Я в... все это беру на себя.

Носилевская, бледная, но спокойная, следовала за адьюнктом по пятам. Ксендза Незглобу наскоро оформили на несуществующую должность «духовного лица учреждения». Он стоял в самом темном углу аптеки, и оттуда разносился его пронзительный шепот — он молился.

Стефана, который неведомо куда и неведомо зачем несся по коридору, перехватил Секуловский.

— Послушайте... господин... доктор... — закричал он, вцепившись в его халат. — А может, я... дайте мне белый халат... я же знаком с психиатрией, вы ведь знаете...

Он гнался за ним, словно они играли в салочки. Стефан остановился перевести дух, немного пришел в себя и задумался.

— А почему бы и нет? Теперь уж все равно. Устроили ксендзу, можно и вам... но с другой стороны...

Секуловский не позволил ему продолжать. Крича и не слушая друг друга, они дошли до лестницы. На площадке между этажами стоял Пайпак и давал какие-то распоряжения санитарам.

— А я говорю, всех их надо отравить! — орал красный, как свекла, Кшечотек.

— Это не только вздор, но и п... преступление, — парировал Паенчковский. Крупные капли пота сбегали по его лбу, поблескивали на седьх перышках бровей. — А если, Бог даст, все переменится... что тогда? Иначе... мы просто поставим под удар и спрятанных, и себя.

— Да не обращайтесь вы на него внимания. Это же соплик, — презрительно бросил из угла Ригер. Карман его халата оттягивала бутылка спирта.

— Вы пьяны!

— Господин адьюнкт, — вмешался Стефан, которого Секуловский прямо-таки подталкивал к старику. — Такое вот дело...

— Ну, как тут быть? — выслушав, протянул Пайпак. — Ну, отчего вы не захотели пойти в м... мою квартиру?

Он отер лоб большим белым платком.

— Ну ладно. Сейчас... доктор... коллега Носилевская, у вас уже ссть навык в этом... в этой писанине...

— Сейчас я все устрою в книге, — своим ясным, милым голосом успокоила его Носилевская. — Пойдемте со мной.

Секуловский помчался за ней.

— Да... еще кое-что, — сказал Пайпак. — Надо сходить к доктору Каутерсу. Но я сам — мне не... не с руки.

Он дождался, когда из канцелярии вернется Носилевская. Секуловский уже слонялся по корпусу в белом халате Стефана, даже сунул в карман его стетоскоп. Но, подойдя к дверям в следующий корпус, услышал нарастающий адский вой и укрылся в библиотеке.

Стефан совершенно обессилел. Посмотрел в коридор, махнул рукой, выглянул в окно — не рассвело ли — и пошел в аптеку глотнуть брома. Переставляя на полке пузырьки, услышал чьи-то легкие шаги.

Вошел Лондковский — как обычно, в своем черном свободном костюме.

— Ваша магнифициция?..

Профессор, казалось, был недоволен, застав здесь Стефана.

— Ничего, ничего. Нет, — повторял он. Но продолжал в нерешительности стоять в дверях.

Стефан подумал, что, вероятно, Лондковский плохо себя чувствует: он был очень бледен, на Стефана старался не смотреть. Даже сделал движение, будто собирался идти восвояси. Положил руку на дверную ручку, но отпустил ее и подошел к Стефану совсем близко.

— Есть здесь... цианистый калий?

— Что, простите?

— Есть ли в аптеке цианистый калий?

— А... а... есть, — ошеломленно пробормотал Стефан.

Он даже выронил пузырек с люминалом, тот упал на пол и разбился. Стефан хотел было собрать осколки, но вместо этого выпрямился и выжидательно посмотрел на профессора.

— Вот тут висит ключ, ваша магнифициция... вот он, тут!

Цианистый калий вместе с другими ядами хранился в запертом на ключ маленьком шкафчике на стене.

Профессор выдвинул ящичек и, подумав, вытащил маленькую пустую стеклянную пробирку из-под пирамидона. Затем взял с полки пузырек, с помощью маленьких ножниц сковырнул с него пробку и осторожно высыпал в колбочку с десятков белых кристалликов. Заткнул колбочку пробкой и сунул в нагрудный карман пиджака. Запер шкафчик, повесил ключ на гвоздь и собрался было уходить, но раздумал и опять подошел к Стефану:

— Пожалуйста, никому не говорите о том, что... что я... — И вдруг как-то сверху схватил обвисшую руку Стефана, сжал ее холодными пальцами и закончил вполголоса: — Очень вас прошу.

Поспешно вышел, тихо притворив за собой дверь.

Стефан так и стоял — опершись рукой о стол, ладонь его ощущала прикосновение пальцев профессора. Он посмотрел на нее. Вернулся к шкафу, чтобы налить себе брома, и замер, держа бутылку в поднятой руке...

Всего минуту назад он видел: воротник рубашки Лондковского расстегнут, пиджак — тоже и видна впалая, старческая грудь. Он вспомнил всемогущего короля из сказки и теперь ни о чем другом думать не мог.

Властелин этот стоял во главе громадного государства. К го-

лосу его прислушивались люди на тысячи миль окрест. Однажды, утомившись, он уснул на троне, придворные решили сами раздеть его и отнести в спальные апартаменты. Они сняли с него горностасовую накидку, под которой были пурпурные, золотом расшитые одежды. Когда они сняли и их, увидели шелковую рубашку, всю в звездах и солнцах. Под ней оказалась сорочка, сотканная из жемчуга. Следующую украшали рубиновые молнии. Так снимали они одну рубашку за другой, и рядом вырос огромный, сверкающий холм. И тогда в ужасе взглянули они в глаза друг другу, восклицая: «А где же наш король?!» Ибо видели перед собой множество раскиданных богатых одеяний, а среди них не было и следа живой души. Сказка эта называлась «Очистка луковицы, или О величии».

Совещание у Каутерса растянулось на час. Хирург наконец выбрал «splendid isolation»<sup>1</sup>: он ничего не знает, ни во что не вмешивается. Он отвечает только за операционную. Секуловский стал врачом его отделения. Рассказывая об этом Стефану, Носилевская обронила, что у Каутерса на двух сдвинутых креслах спит Гонзага. Сестра Гонзага? У Стефана уже не осталось сил удивляться. Он одеревенел. Все вокруг видел, словно сквозь легкую дымку. Было уже около шести. Лениво бредя по коридору первого этажа, Стефан наткнулся на Ригера, который сидел посреди прохода в кресле-каталке для паралитиков. На полу перед ним стояла бутылка, он осторожно постукивал по ней ногой, как будто наслаждаясь чистым звоном стекла.

Стефана поразило его насупленное лицо; казалось, он вот-вот разрыдается. Стефан не решался заговорить, но Ригер неожиданно дернулся: до этого он пытался сдерживать икоту.

— Не знаете, где Паенчковский?

— В сад пошел, — ответил Ригер и опять икнул.

— Зачем?

— С ксендзом. Наверное, молятся.

— Ага.

Увидя Стефана, из библиотеки вышел Секуловский.

— Вы куда?

— Сил больше нет. Лягу; думаю, всем нам еще потребуется много сил — утром.

В белом халате Секуловский казался толще, чем обычно. Пояс не сходился; он надвязал его бинтом.

— Вы меня восхищаете. Я... я... я бы не смог,

<sup>1</sup> Блестящая изоляция (англ.).

— Э, что там. Пошли ко мне.

На лестнице Стефан заметил прислоненный к батарее сверток. Вспомнил, что его дал ему тот парнишка. Поднял сверток и с любопытством развернул. Это была голова мужчины в каске, погруженная до верхней губы в кусок камня. Набухшие глаза и раздутые щеки. Невидимый, утопленный в камень рот кричал.

Придя к себе, Стефан положил скульптуру на стол, стянул с кровати одеяло и, придвинув стул поближе, прилег, опершись на подушку. В эту минуту прибежал Ригер.

— Слушайте, пришел молодой Поцчик, забирает шестерых больных, поведет их лесом в Нечавы. Хотите идти с ними, господин Секуловский?

— Кто пришел? — одними губами, почти беззвучно спросил Стефан.

Но его шепот покрыл голос Секуловского:

— Кто? Каких больных?

Стефан, полусонный, встал с кровати.

— Ну, молодой Поцчик, сын этого электрика... из леса пришел и ждет внизу, — волновался протрезвевший Ригер. — Берет всех, кому старик не дал люминала. Ну, вы идете или нет?

— С сумасшедшими? Сейчас?

Поэт в сильном возбуждении вскочил со стула. Руки у него тряслись.

— Мне идти? — Он повернулся к Стефану.

Тот промолчал; его ошеломило известие, что так внезапно объявился человек, который все время был где-то поблизости, а он, Стефан, ничего не знал об этом.

— Я в этих обстоятельствах советовать не могу...

— После комендантского часа... с сумасшедшими... — вполголоса бормотал Секуловский. — Нет! — проговорил он громче, а когда Ригер бросился к двери, закричал: — Да стойте же вы!

— Ну давайте, решайтесь! Он не может ждать, два часа лесом!

— А кто он такой?

Ясно было, что Секуловский задает вопросы, только чтобы выиграть время. Он теребил пальцами узелок на матерчатом поясе халата.

— Вы что, оглохли?! Партизан! Вот пришел да еще устроил Паенчковскому скандал, что тот дал другим пациентам люминал...

— На него можно положиться?

— Не знаю! Идете вы или нет?

— А ксендз идет?

— Нет. Так как?

Секуловский молчал. Ригер пожал плечами и выбежал из комнаты, с треском захлопнув дверь. Поэт шагнул было вслед за ним, но остановился.

— Может, пойти?.. — растерянно спросил он.

Голова Стефана упала на подушку. Он пробормотал что-то невразумительное.

Слышал, как поэт ходит по комнате и что-то говорит, но смысла слов не понимал. Сон навалился на него.

— Ложитесь-ка и вы, — пробормотал он и заснул.

Стефана разбудил резкий свет. Кто-то ударил его палкой по руке. Он открыл глаза, но продолжал лежать не шевелясь; в комнате было темно, шторы он опустил еще вечером. Около кровати стояли несколько высоких мужчин. Стефан машинально прикрыл глаза рукой: один из мужчин направил фонарь прямо ему в лицо.

— Wer bist du?

— A, lass ihn. Das ist ein Arzt<sup>1</sup>, — отозвался другой голос, как будто знакомый. Стефан вскочил, трое немцев в темных клеенчатых плащах, с автоматами, перекинутыми через плечо, расступились перед ним. Дверь в коридор была открыта настежь, оттуда долетал глухой топот кованых сапог.

В углу комнаты стоял Секуловский. Стефан заметил его только тогда, когда немец направил в угол луч фонаря.

— Auch Arzt, wie?<sup>2</sup>

Секуловский быстро заговорил по-немецки срывающимся, каким-то незнакомым голосом. Выходили из комнаты по одному. В дверях стоял Гутка. Передал их солдату, приказав проводить врачей вниз. Они спустились по второй лестнице. В аптеке, перед входом в которую стоял еще один черный с автоматом, они застали Паенчковского, Носилевскую, Ригера, Сташека, профессора, Каутерса и ксендза. Сопровождавший Стефана и Секуловского солдат вошел вместе с ними, запер дверь и долго всех разглядывал. Адьюнкт стоял у окна, сгорбившись, спиной ко всем, Носилевская сидела на металлическом табурете, Ригер и Сташек устроились на столе. День был облачный, но светлый; сквозь редяющие листья за окном проглядывало серое небо. Сол-

<sup>1</sup> — Ты кто такой?

— А, оставь его. Это врач (нем.).

<sup>2</sup> Тоже врач, да? (нем.)

дат загородил собою дверь. Это был парень с плоским темным лицом, со скошенными скулами. Он дышал все громче, наконец заорал:

— Ну вы, паны доктора, на шо вам вышло? Украина була и будэ, а вам каюк!

— Выполняйте, пожалуйста, свои обязанности, как мы выполняем свои, а с нами не говорите, — на удивление твердым тоном заметил Пайпак в ответ. Выпрямил спину, неторопливо повернулся к украинцу и уставился на него своими черными глазами из-под нависших седых бровей. Дышал он тяжело.

— А ты... — Солдат поднял шарообразные кулаки.

Дверь распахнулась, сильно толкнув его в спину.

— Was machts du hiër? Rrrtaus!<sup>1</sup> — рявкнул Гутка.

Он был в каске, автомат держал в левой руке, словно собирался им кого-то ударить.

— Ruhe! — крикнул он, хотя все и так молчали. — Sie bleiben hier sitzen, bis Ihnen anders befohlen wird. Niemand darf hinaus. Und ich sage noch einmal: Solten wir einen einzigen versteckten Kranken finden... sind Sie alle dran<sup>2</sup>.

Он обвел всех своими выпуклыми глазами и круто развернулся на каблучках. Раздался хриплый голос Секуловского:

— Herr... Herr Offizier...

— Was noch?<sup>3</sup> — рявкнул Гутка, и из-под каски выглянуло его загорелое лицо. Палец он держал на спусковом крючке.

— Man hat einige Kranken in den Wohnungen versteckt...

— Was? Was?!

Гутка подскочил к нему, схватил за шиворот и начал трясти.

— Wo sind sie? Du Gauner! Ihr alle!<sup>4</sup>

Секуловский затрясся и застонал. Гутка вызвал вахмистра и приказал обыскать все квартиры в корпусе. Поэт, которого немец все еще держал за воротник халата, торопливо, пискливым голосом проговорил:

— Я не хотел, чтобы все... — Он не мог пошевелить руками: рукава халата впились ему под мышки.

— Herr Obersturmführer, das ist kein Arzt, das ist Kranker, ein

<sup>1</sup> Ты что тут делаешь? П-шел! (нем.)

<sup>2</sup> Тихо! (...) Вы будете здесь сидеть, пока не прикажут! Никому отсюда не выходить! И я говорю еще раз: если найдем хоть одного припрятанного больного... всех вас!.. (искаж. нем.)

<sup>3</sup> — Господин офицер...

— Что еще? (нем.)

<sup>4</sup> — Несколько больных спрятаны в квартирах...

— Что? Что? (...) Где они? Мошеник! Все вы! (нем.)

Wahnsinniger!<sup>1</sup> — завопил, соскакивая со стола, смертельно бледный Сташек.

Кто-то тяжело вздохнул. Гутка опешил:

— Was soll das? Du Saudoktor?! Was heisst das?!<sup>2</sup>

Сташек на своем ломаном немецком повторил, что Секуловский — больной.

Незглоба весь сжался у окна. Гутка, разглядывал их всех; он начал догадываться, в чем дело. Ноздри у него раздувались.

— Was für Gauner sind das, was für Lügner, diese Schweinehunde!<sup>3</sup> — проревел он наконец, оттолкнув Секуловского к стене.

Бутылка с бромом, стоявшая на краю стола, покачнулась и упала на пол, разбилась, содержимое растекалось по линолеуму.

— Und das sollen Ärzte sein... Na, wir werden schon Ordnung schaffen. Zeigt cure Papicre!<sup>4</sup>

Вызванный из коридора украинец — видимо, старший, на его погонах были две серебряные полоски, — помогал переводить документы. У всех, кроме Носилевской, они оказались при себе. Под конвоем солдата она отправилась наверх. Гутка подошел к Каутерсу. Его документы он разглядывал дольше и немного помягчел.

— Ach so, Sie sind ein Volksdeutscher. Na schön. Aber warum haben Sie diesen polnischen Schwindel mitgemacht?<sup>5</sup>

Каутерс ответил, что он ничего не знал. Выговор у него был жестковат, но это был хороший немецкий язык.

Носилевская вернулась и показала удостоверение Врачебной палаты. Гутка махнул рукой и повернулся к Секуловскому, который все еще стоял за шкафчиком, у самой стены.

— Komm.

— Herr Offizier... ich bin nicht krank. Ich bin völlig gesund...

— Bist du Arzt?

— Ja... nein, aber ich kann nicht... ich werde...

— Komm<sup>6</sup>.

Теперь Гутка был совершенно невозмутим, даже слишком не-

---

<sup>1</sup> Господин оберштурмфюрер, это не врач, это больной, он сумасшедший! (нем.)

<sup>2</sup> Что такое? Ты, коновал! Что все это значит? (нем.)

<sup>3</sup> Ну и мошенники, ну и лгуны, свиньячье стадо! (нем.)

<sup>4</sup> И это врачи... Ну, мы тут наведем порядок. Покажите ваши документы! (нем.)

<sup>5</sup> — Ах, так. Вы фольксдойч. Прекрасно. Но отчего вы тогда заодно с этими польскими жуликами? (нем.)

<sup>6</sup> — Иди.

— Господин офицер, я не болен. Я совсем здоров.

— Ты врач?

— Да... нет, но я не могу... я буду...

— Иди (нем.).



возмутим. Он вроде бы даже улыбался — громадный, плечистый, в плаще, скрипящем при каждом его движении. Он манил Секуловского указательным пальцем, как ребенка.

— Komm.

Секуловский сделал один шаг и вдруг повалился на колени.

— Gnade, Gnade... ich will leben. Ich bin gesund.

— Genug! — яростно взревел Гутка. — Du Verräter! Deine unschuldigen verrückten Brüder hast du ausgeliefert!

За домом громыхнули два выстрела. Зазвенели стекла в окнах, в шкафчике металлическим позвякиванием отозвались инструменты.

Секуловский припал к сапогам немца, полы белого халата разлетелись в стороны. В руке поэт еще сжимал резиновый молоточек.

— Франке!

Вошел еще один немец и с такой силой рванул руку Секуловского, что поэт, хотя и был толст и высок, подскочил с колен, словно тряпичная кукла.

— Meine Mutter war eine Deutsche!!!<sup>2</sup> — визжал он фальцетом, пока его выволакивали из аптеки. Он успел уцепиться за дверь и рвался обратно, судорожно извиваясь, не решаясь, однако, защищаться от ударов. Франке стал деловито постукивать прикладом автомата по пальцам, впившимся в дверной косяк.

— Gnaade! Матерь Божия!.. — выл Секуловский. Крупные слезы катились по его щекам.

Немец начинал выходить из себя. Он застрял на пороге, потому что Секуловский вцепился теперь в дверную ручку. Немец обхватил его обеими руками, присел, напрягся и изо всех сил дернул поэта на себя. Они вылетели в коридор. Там Секуловский с грохотом повалился на каменные плитки, а немец, прикрывая за собой дверь, повернул к врачам вспотевшее и побуревшее от напряжения лицо.

— Dreckige Arbeit!<sup>3</sup> — сказал он и захлопнул дверь.

Под окном аптеки все заросло, поэтому в помещении было сумрачно. Чуть поодаль, за деревьями, вздымалась глухая стена. Вопли больных и хриплые крики немцев долетали сюда приглушенными, но все равно слышно их было отлично. Чуткий, обостренный слух врачей уловил звуки винтовочных выстрелов. По-

<sup>1</sup> — Пожалуйста, пожалуйста... я хочу жить. Я здоров.

— Довольно!(...) Ты предатель! Ты бросил своих добрых безумных братьев (нем.).

<sup>2</sup> Моя мать была немка!!! (нем.)

<sup>3</sup> Дерьмовая работа! (нем.)

началу частые, они прерывались только шумом падающих мягких мешков. Затем установилась тишина. Кто-то пронзительно закричал:

— Wei-tere zwan-zig Figuuu-ten!<sup>1</sup>

Пули защекали по стенам. Порой тоскливый, резко обрывающийся свист сообщал о полете заблудившейся пули. А то вдруг опять раздавался короткий стрекот пулемета. Но чаще подавали голос автоматы. Затем тишина нарушалась топотом множества ног, монотонным криком:

— Wei-tere zwan-zig Figuuu-ten!

...И два-три пистолетных выстрела, звонкие и короткие хлопки, словно пробка вылетала из бутылки.

Раздался пронзительный рев, не похожий на человеческий. А сверху, как будто со второго этажа, донеслись рыдания, похожие на хохот. И долго не смолкали.

Глаза у всех были отсутствующие, никто не шевелился. Стефан совсем оцепенел. Поначалу он еще пытался о чем-нибудь думать: что Гутка, которому все это явно не по зубам, тем не менее как-то с этим управляется... что даже у смерти есть своя жизнь... но эту, последнюю мысль пронзил резкий немецкий окрик. Кто-то убежал. Трещали ломающиеся ветки, красные листья повалили на землю, совсем рядом послышалось прерывистое дыхание и щелканье камушков, вылетающих из-под ног беглеца.

Словно раскат грома, пророкотал выстрел. Крик резко взмыл в небо и оборвался.

Быстро пролетавшие облака, беспрестанно сменяющие очертания, затянули видимый краешек неба. После десяти выстрелы стихли. Что-то вроде перерыва. Но через четверть часа застрекотали автоматы. И вновь все вокруг огласилось воплями больных и хриплыми криками немцев.

В двенадцать уши врачей различали только звук тяжелых шагов вокруг корпуса, собачий лай и сдавленный женский писк. Несоизданно дверь, на которую они уже перестали обращать внимание, распахнулась. Вошел вахмистр украинцев.

— Выходить, выходить швидко! — закричал он с порога. За его спиной показалась каска немца.

— Alle raus!<sup>2</sup> — крикнул он, до предела напрягая голос.

На его потемневшем лице пыль перемешалась с потом, глаза ньяные, бегающие.

Врачи вышли в коридор. Стефан оказался рядом с Носилев-

<sup>1</sup> Следующие двадцать штук! (нем.)

<sup>2</sup> Всем выходить! (нем.)

ской. Было пусто, только в углу валялась куча смятых простыней. Длинные, размазанные черные полосы тянулись к лестнице. За поворотом, впритык к батарее, лежало что-то большое: сложившийся пополам труп с разбитой головой; из нее сочилось что-то черное. Сморщенная желтая ступня вылезла из-под вишневого халата и протянулась до середины коридора. Все старались обойти ее стороной, только немец, замыкавший процессию, пнул сапогом эту окоченевшую ногу. Фигуры идущих впереди людей, показалось Стефану, качнулись в разные стороны. Он схватил Носилевскую за руку. Так они и добрались до библиотеки.

Тут все было вверх дном. Книги из двух ближайших к дверям шкафов валялись на полу. Когда врачи проходили мимо, страницы огромных томов, раскрывшихся при падении, зашелестели. Двое немцев поджидали их у дверей и вошли последними. Немедля заняли самое удобное место — обтянутый красным плюшем диванчик.

В глазах у Стефана рябило. Все вокруг подергивалось, было каким-то серым, краски будто выцвели, а предметы сморщились, словно проколотый пузырь. Первый раз в жизни с ним случился обморок.

Придя в себя, он почувствовал, что лежит на чем-то мягком и упругом: Носилевская положила его голову себе на колени, а Пайпак держал его задранные вверх ноги.

— Что с обслуживающим персоналом? — спросил Стефан; он еще плохо соображал.

— Им с утра приказали идти в Бежинец.

— А мы?

Никто не ответил. Стефан встал, его пошатывало, но он чувствовал, что больше сознания не потеряет. Шаги за стеной; все ближе; вошел солдат.

— Ist Professor Lon-kow-sky hier?!<sup>1</sup>

Тишина. Наконец Ригер прошептал:

— Господин профессор... Ваша магнифиценция...

Когда немец вошел, профессор, сторбившись, сидел в кресле — теперь он выпрямился. Его глаза, огромные, тяжелые, ничего не выражавшие, переползали с одного лица на другое. Он вцепился в подлокотники и, с некоторым трудом поднявшись, потянулся к верхнему карману пиджака. Пошарил ладонью, что-то там ощупывая. Ксендз — черный, в развевающейся сутане — пошел было к нему, однако профессор сделал едва заметный, но решительный знак рукой и направился к двери.

---

<sup>1</sup> Профессор Лондковский здесь? (нем.)

— Kommen Sie, bitte,<sup>1</sup> — проговорил немец и учтиво пропустил его вперед.

Все сидели молча. Вдруг совсем рядом прозвучал выстрел — словно раскат грома в замкнутом пространстве. Стало страшно. Даже немцы, болтавшие на диванчике, притихли. Каутерс, весь в поту, скривился так, что его египетский профиль превратился чуть ли не в ломаную линию, и с таким ожесточением сжал руки, что, казалось, заскрипели сухожилия. Ригер по-ребячьи надул губы и покусывал их. Только Носилевская — она ссутулилась, подперла голову руками, поставив локти на колени, — оставалась внешне невозмутимой.

Стефану почудилось, будто в животе у него что-то распухает, все тело раздувается и покрывается осклизлым потом; его начала бить омерзительная мелкая дрожь, он подумал, что Носилевская и умирая останется красивой, — и мысль эта доставила ему какое-то странное удовлетворение.

— Кажется... нас... нас... — шепнул Ригер Сташеку.

Все сидели в маленьких красных креслицах, только ксендз стоял в самом темном углу, между двумя шкафами. Стефан бросился к нему.

Ксендз что-то бормотал.

— У-убьют, — проговорил Стефан.

— Pater noster, qui est in coelis, — шептал ксендз.

— Отец, отец, это же неправда!

— Sanctificetur nomen Tuum...<sup>2</sup>

— Вы ошибаетесь, вы лжете, — шептал Стефан. — Нет ничего, ничего, ничего! Я это понял, когда упал в обморок. Эта комната, и мы, и это все; это — только наша кровь. Когда она перестает кружить, все начинает пульсировать слабее и слабее, даже небо, даже небо умирает! Вы слышите, ксендз?

Он дернул его за сутану.

— Fiat voluntas Tua...<sup>3</sup> — шептал ксендз.

— Нет ничего, ни цвета, ни запаха, даже тьмы...

— *Этого* мира нет, — тихо проговорил ксендз, обращая к нему свое некрасивое, искаженное страданием лицо.

Немцы громко засмеялись. Каутерс резко встал и подошел к ним.

— Entschuldigen Sie, — сказал он, — aber der Herr Obersturmführer hat mir meine Papiere abgenommen. Wissen Sie nicht, ob...

<sup>1</sup> Проходите, пожалуйста (нем.).

<sup>2</sup> Отче наш, иже сси на небесех.(...) Да святится имя Твое...

<sup>3</sup> Да будет воля Твоя... (лат.)

— Sie missen schon etwas Geduld haben<sup>1</sup>, — оборвал его плотный, широкоплечий немец с красными прожилками на щеках. И продолжал рассказывать приятелю: — Weisst du, das war, als die Häuser schon alle brannten und ich glaubte, dort gebe es nur Tote. Da rennt Dir doch plötzlich mitten aus dem grossten Feuer ein Weib schnurstracks auf den Wald zu. Rennt wie verrückt und presst eine Gans an sich. War das ein Anblick! Fritz wollte ihr eine Kugel nachschicken, aber er konnte nicht einmal richtig zielen vor Lachen — war das aber komisch, was?<sup>2</sup>

Оба рассмеялись. Каутерс стоял рядом и вдруг невероятным образом скривился и выдавил из себя тоненькое, ломкое «ха-ха-ха!».

Рассказчик нахмурился.

— Sie, Doktor, — заметил он, — warum lachen Sie? Da gibt's doch für Sie nichts zum Lachen.

Лицо Каутерса пошло белыми пятнами.

— Ich... ich... — бормотал он, — ich bin ein Deutscher!

Сидевший вполоборота немец смерил его снизу взглядом.

— So? Na, dann bitte, bitte<sup>3</sup>.

Вошел высокий офицер, которого они прежде не видели. Мундир сидел на нем как влитой, ремни матово поблескивали. Без каски; вытянутое, благородное лицо, каштановые с проседью волосы. Он оглядел присутствующих — стекла очков в стальной оправе блеснули. Хирург подошел к нему и, встав навытяжку, протянул руку:

— Фон Каутерс.

— Тиссдорф.

— Herr Doktor, was ist los mit unserem Professor? — спросил Каутерс.

— Machen Sie sich keine Gedanken. Ich werde ihn mit dem Auto nach Bieschintz bringen. Er packt jetzt seine Sachen.

— Wirklich?<sup>4</sup> — вырвалось у Каутерса.

---

<sup>1</sup> — Простите, (...) но господин оберштурмфюрер забрал мои бумаги. Разве вы не знаете, что...

— Вам надо немного потерпеть (нем.).

<sup>2</sup> Ну, знаешь, как уже все дома горели, я и подумал, что там одни мертвые, тут вдруг прямо из огня баба как выскочит и давай к лесу. Несется, как угорелая, и к себе гуся прижимает. Вот картина-то! Фриц хотел пухнуть ей влодку, да от смеха никак не мог на мушку поймать — вот смехота-то, да? (нем.)

<sup>3</sup> — Вы, доктор, (...) вы-то чего смеетесь? Для вас тут ничего смешного нет.

— Я... я... (...) я немец. (...)

— Да? Ну, тогда пожалуйста (нем.).

<sup>4</sup> — Господин доктор, что случилось с нашим профессором? (...)

— Можете не беспокоиться. Я возьму его в машину, отвезу в Бежинец. Он уже собирает вещи.

— В самом деле?

Немец покраснел, затряс головой.

— Mein Herr! — Потом улыбнулся. — Das müssen Sie mir schon glauben.

— Und warum werden wir hier zurückgehalten?

— Na, na! Es stand ja schon übel um Sie, aber unser Hutka hat sich doch noch beruhigen lassen. Sie werden jetzt nur bewacht, weil Ihnen unsere Ukrainer sonst etwas antun könnten. Die lechzen ja nach Blut wie die Hunde, wissen Sie.

— Ja?<sup>1</sup> — изумился Каутерс.

— Wie die Falken... Man muss sie mit rohem Fleisch füttern<sup>2</sup>, — рассмеялся немецкий психиатр.

Подошел ксендз.

— Herr Dortor, — сказал он, — Wie kam das: Mensch und Arzt, und Kranke, die Erschiessen, die Tod!<sup>3</sup>

Казалось, немец отвернется или попытается заслониться рукой от черного нахала, но неожиданно лицо его просветлело.

— Jede Nation, — заговорил он глубоким голосом, — gleicht einem Tierorganismus. Die kranken Körperzellen müssen manchmal herausgeschnitten werden. Das war eben so ein chirurgischer Eingriff<sup>4</sup>

Через плечо ксендза он смотрел на Носилевскую. Ноздри его раздувались.

— Aber Gott, Gott<sup>5</sup>, — все повторял ксендз.

Носилевская по-прежнему сидела молча, не шевелясь, и немец, который не сводил с нее глаз, заговорил громче:

— Ich kann es Ihnen auch anders erklären. Zur Zeit des Kaisers Augustus war in der Galilea ein römischer Statthalter, der übte die Herrschaft über die Juden, und hiess Pontius Pilatus...<sup>6</sup>

Глаза его горели.

— Стефан, — громко попросила Носилевская, — скажите

---

— Милостивый государь! (...) Вы должны мне верить.

— А зачем нас здесь держат?

— Ну ну! С вами было уж дело плохо, так ведь наш Гутка теперь угомонился. Вас теперь будут только охранять, чтобы наши украинцы ничего такого вам не прикинули. Они, знаете, прямо крови жаждут, словно собаки.

— Да? (нем.)

<sup>2</sup> Как соколы.. Их приходится кормить сырым мясом (нем.).

<sup>3</sup> Господин доктор, (...) как это можно: человек и врач, и больные, расстрел смерть! (искаж нем.)

<sup>4</sup> Каждая нация (...) подобна организму животного. Больные органы порой необходимо удалить. Это было своего рода хирургическое вмешательство...

<sup>5</sup> Но Боже Боже..

<sup>6</sup> Я могу объяснить это и иначе. Во времена цезаря Августа был в Галилее римский наместник который имел верховную власть над евреями, и звали его Понтий Пилат..

ему, чтобы он меня отпустил. Мне не нужна опека, и я не могу тут больше оставаться, так как... — Она смолкла на полуслове.

Стефан, растроганный (она впервые назвала его по имени), подошел к Каутерсу и Тиссдорфу. Немец вежливо поклонился ему.

Стефан спросил, могут ли они уйти.

— Sie wollen fort? Alle?

— Frau Doktor Nosilewska, — не очень уверенно ответил Стефан.

— Ach, so. Ja, natürlich. Gedulden Sie sich bitte noch etwas<sup>1</sup>.

Немец сдержал слово: их освободили в сумерки. В корпuse было тихо, темно и пусто. Стефан пошел к себе; надо было собраться в дорогу. Зажег лампу, увидел на столе записную книжку Сскуловского и бросил ее в свой открытый чемодан. Потом посмотрел на скульптуру; она тоже лежала на столе. Подумал, что ее создатель валяется где-то тут, поблизости, в выкопанном угром рву, придавленный сотней окровавленных тел, и ему стало нехорошо.

Его чуть не вырвало, он повалился на кровать, коротко, сухо всхлипывая. Заставил себя успокоиться. Торопливо сложил вещи и, надавив коленом, запер чемодан. Кто-то вошел в комнату. Он вскочил — Носилевская. В руках она держала нссессер. Протянула Стефану продолговатый белый сверток: это была стопка бумаги.

— Я нашла это в вестибюле, — сказала она и, заметив, что Стефан не понял, пояснила: — Это... это Сскуловский потерял. Я думала... вы его опскали... то есть... это принадлежало ему.

Стефан стоял неподвижно, с опущенными руками.

— Принадлежало? — переспросил он. — Да, верно...

— Не надо сейчас ни о чем думать. Нельзя. — Носилевская произнесла это докторским тоном.

Стефан поднял чемодан, взял у нее бумаги и, не зная, что с ними делать, сунул в карман.

— Пойдемте, да? — спросила девушка. — Ригер и Паегиковский перночуют здесь. И ваш приятель с ними. Они останутся до утра. Немцы обещали отвезти их вещи на станцию.

— А Каутерс? — не поднимая глаз, спросил Стефан.

— Фои Каутерс? — протянула Носилевская. — Не знаю. Может, и вообще тут останется. — И добавила, встретив его удив-

<sup>1</sup> — Вы хотите уйти? Все?

— Госпожа доктор Носилевская (...).

— Ах, так: Да, конечно. Потерпите еще немного, пожалуйста (нем.).

ленный взгляд: — Тут будет немецкий госпиталь СС. Они с Тиссдорфом об этом разговаривали, я слышала.

— Ах да, — огозвался Стефан. У него разболелась голова, заломило в висках, словно обручем сдавило лоб.

— Вы хотите здесь остаться? А я уйду.

— Вы.. я любовался вашей выдержкой.

— Меня едва на это хватило. Сил больше нет, я должна идти. Я должна отсюда уйти, — повторила она.

— Я пойду с вами, — неожиданно выпалил он, чувствуя, что и он не может больше притрагиваться к вещам, которые еще хранили тепло прикосновений тех, кого уже нет, дышать воздухом; в котором еще носится их дыханис, не может оставаться в пространстве, которое еще пронизывают их взгляды.

— Мы пойдем лесом, — заметила она, — это самый короткий путь. И Гутка сказал мне, что украинцы патрулируют шоссе. Мне бы не хотелось с ними встречаться.

На первом этаже Стефан вдруг в нерешительности остановился

— А те..

Она поняла, о чем он.

— Пожалуй, лучше пожалеть и их, и себя, — сказала Носилевская — Всем нам нужны другие люди, другое окружение...

Они подошли к воротам; сверху шумели кроны темных деревьев, и это походило на гул холодного моря. Луны не было. У калитки перед ними вдруг выросла огромная черная фигура.

— Wer da?<sup>1</sup>

И белый луч фонаря стал ощупывать их. На фоне поблескивавших листьев стало видно лицо Гутки. Немец обходил парк.

— Gehen Sie?<sup>2</sup> — Он махнул рукой.

Они прошли мимо него.

— Hallo!<sup>3</sup> — крикнул он.

Они остановились.

— Ihre erste und einzige Pflicht ist Schweigen. Verstehen Sie?<sup>4</sup>

Слова эти прозвучали угрозой.

Может, причиной тому был исполосованный клиньями тени свет, однако развевающийся, длинный, до пят, плащ и лицо со сверкающей полоской мелких зубов придавали его фигуре нечто трагическое

Минуту молчали, потом Стефан сказал:

---

Кто там?

<sup>2</sup> Проходите

<sup>3</sup> Эй!

<sup>4</sup> Ваша первая и единственная обязанность — молчать. Поняли? (нем.)



— Как они могут делать такое и жить?

Они уже вышли на темную дорогу и проходили как раз под накренившейся каменной аркой со стершейся надписью; на фоне неба она казалась темным полукругом. Опять свет: Гутка размахивает фонарем, прощается с ними. И опять мрак.

Пройдя второй поворот, они сошли с дороги и, увязая в грязи, побрели к лесу. Деревьев вокруг становилось все больше, они были все выше. Ноги утопали в сухих листьях, журчавших, как вода при ходьбе вброд. Шли долго.

Стефан взглянул на часы: они уже должны были бы выйти на опушку леса, откуда видна станция. Но он ничего не сказал. Они шли и шли, спотыкаясь, чемодан оттягивал руку, а лес вокруг однообразно шумел, и сквозь ветви изредка призрачно просвечивала ночная туча.

У большого с широкой кроной клена Стефан остановился и сказал:

— Мы заблудились.

— Кажется.

— Надо было идти по шоссе.

Стефан попытался сориентироваться, но из этого ничего не вышло. Становилось все темнее.

Тучи заволокли небо; казалось, оно спустилось и ветер раскручивает его над голыми кронами деревьев. Посвистывали ветки. И еще один звук, шелестящее эхо — посыпал дождь, капли сскли по лицам.

Когда они уже совсем выбились из сил, впереди вдруг выросло какое-то приземистое строение — не то сарай, не то изба. Деревья расступились, они вышли из леса.

— Это Ветшники! — сказал Стефан. — Мы в девяти километрах от шоссе, в одиннадцати от городка.

Они ушли далеко в противоположную сторону.

— На поезд уже не успеем. Только если лошадей достанем.

Стефан промолчал: это было невозможно. Мужики наглухо запирались в избах — несколько дней назад соседнюю деревню сожгли дотла, людей, всех до единого, персбили.

Они шли вдоль плетней, колотя в двери и окна. Все будто вымерло. Подала голос собака, за ней еще одна, вскоре их сопровождал многоголосый неумолчный лай, катившийся вслед, словно волна. На околице, на пригорке, стояла одинокая изба; одно ее оконце тускло краснело.

Стефан принялся барабанить в дверь, под его кулаками она ходила ходуном. Когда он уже потерял всякую надежду, дверь открыл высокий, взъерошенный мужик. Лица его было не разгля-

деть, посверкивали лишь белки. Под наброшенной на плечи кофтой белела незастегнутая рубаха.

— Мы... врачи из бежинецкой больницы... мы заплутали, нужен ночлег... — заговорил Стефан, чувствуя, что говорит не так, как надо.

Впрочем, что ни скажи, вышло бы нсвпопад. Он считал, что знает мужиков.

Мужик не сдвинулся с места, загораживая собою вход в избу.

— Мы просим вашего разрешения переночевать, — тихо, словно далекое эхо, подала голос Носилевская.

Мужик и пальцем не пошевелил.

— Мы заплатим, — предпринял еще одну попытку Стефан.

Мужик по-прсжнему молчал, но и не уходил. Стефан достал из внутреннего кармана бумажник.

— Не надо мне ваших денег, — сказал вдруг мужик. — За таких, как вы, пуля положсна.

— Ну зачем же так, немцы разрешили нам уйти, — возразил Стефан. — Мы заблудились, хотели на станцию...

— Застрелят, сожгут, забьют до смерти, — равнодушным голосом тянул свое мужик, переступив через порог.

Он закрыл за собой дверь и во весь свой громадный рост стоял теперь перед домом. Дождь припустил сильнее.

— Что с такими делать? — проговорил наконец мужик.

Куда-то пошел. Стефан и девушка — за ним. На задах двора стоял крытый соломой сарай. Мужик отбросил слегу и открыл ворота; от запаха лежалого сена приятно защекотало в носу.

— Тут, — сказал мужик. Как и прежде, помолчал чуток и прибавил: — Соломы подстелите. Да снопы не раскидывайте.

— Спасибо вам, — заговорил Стефан. — Может, все-таки возьмете?

Он попытался всунуть в руку мужику деньги.

— Пули они не отведут. — сухо отказался тот. — Что с такими поделаешь? — повторил он свое, на этот раз тише.

— Спасибо вам... — смущенно поблагодарил Стефан.

Мужик постоял еще немного, затем сказал:

— Спите... — Закрыл ворота и ушел.

Стефан остановился у входа. Вытянул перед собой руки, как слепой: он вообще плохо ориентировался в темноте. Носилевская возилась где-то невдалеке, сгребала солому. Стефан снял облепивший спину холодный, тяжелый пиджак, с которого капала вода. Ему очень хотелось так же поступить и с брюками. Он обо что-то споткнулся, кажется, о дышло, чуть не упал, но ухватился за собственный чемодан и вспомнил, что там у него фонарь. На-

шупал замок. Нашел и фонарь, и плитку шоколада. Положил за-  
жженный фонарь на землю и полез в карман пиджака за бумагами  
Секуловского. Девушка накрыла одеялом набросанную на глиня-  
ный пол солому. Стефан уселся на самый краешек и расправил  
листки. На первом было написано несколько слов. Буквы бились  
в голубых клеточках, словно в сетке. Сверху — фамилия, ниже —  
заглавие: «Мой мир». Он перевернул страницу. Она была чиста.  
И следующая тоже. Все белые и пустые.

— Ничего... — сказал он. — Ничего нет...

Его обуял такой страх, что он стал озираться по сторонам,  
ища Носилевскую. Она сидела, скрючившись, накинув на себя  
плед, и выбрасывала из-под него поочередно кофточку, юбку,  
белье — все насквозь мокрое.

— Пусто... — повторил Стефан; он хотел сказать еще что-то,  
но только хрипло простонал.

— Иди сюда.

Он взглянул на нее. Она выжимала волосы и темными волна-  
ми отбрасывала их за голову.

— Не могу, — прошептал он. — Не могу думать. Этот пар-  
нишка. И Секуловский... Это Сташек... это он...

— Иди, — повторила она так же мягко, каким-то сонным го-  
лосом.

Он удивленно посмотрел на нее. Вытащив из-под пледа об-  
наженную руку, она потрепала его по щеке, как ребенка. И тогда  
он резко наклонился к ней.

— Я проиграл... как мой отец...

Она притянула его к себе, стала гладить по голове.

— Не думай... — зашептала она. — Не думай ни о чем.

Он почувствовал на своем лице ее груди, ее руки. Было почти  
совсем темно, только мутно угасал фонарь, который, закатившись  
под солому, отбрасывал перечеркнутый полосками тепл свет. Он  
слышал неспешное, спокойное биение ее сердца; казалось, кто-то  
говорит с ним на старом, хорошо понятном языке. Он все еще  
видел перед собой лица тех людей, из больницы, когда она мягко,  
задержав дыхание, поцеловала его в губы.

Потом их сжал мрак. Был резкий шорох соломы под волоса-  
тым одеялом, и была женщина, дарящая ему наслаждение, но не  
так, как это бывает обычно. Ни на секунду не теряя самообла-  
дания, она владела и собой, и им. И потом, утомленный, бесстраст-  
но обнимая ее прекрасное тело, бесстрастно, но всей силой своего  
отчаяния, он расплакался на ее груди. А успокоившись, взглянул  
на нее. Она лежала навзничь, чуть повыше его, и в угасающем  
свете фонаря лицо ее было удивительно спокойно. Он не решился

спросить, любит ли она его. Так пожертвовать собою, словно поделиться с незнакомцем последним куском, — это больше, чем любовь. Значит, и ее он не знал. Стефана вдруг поразила мысль, что он ведь про Носилевскую вообще ничего не знает, не помнит даже, как ее зовут. Он еле слышно прошептал:

— Послушай...

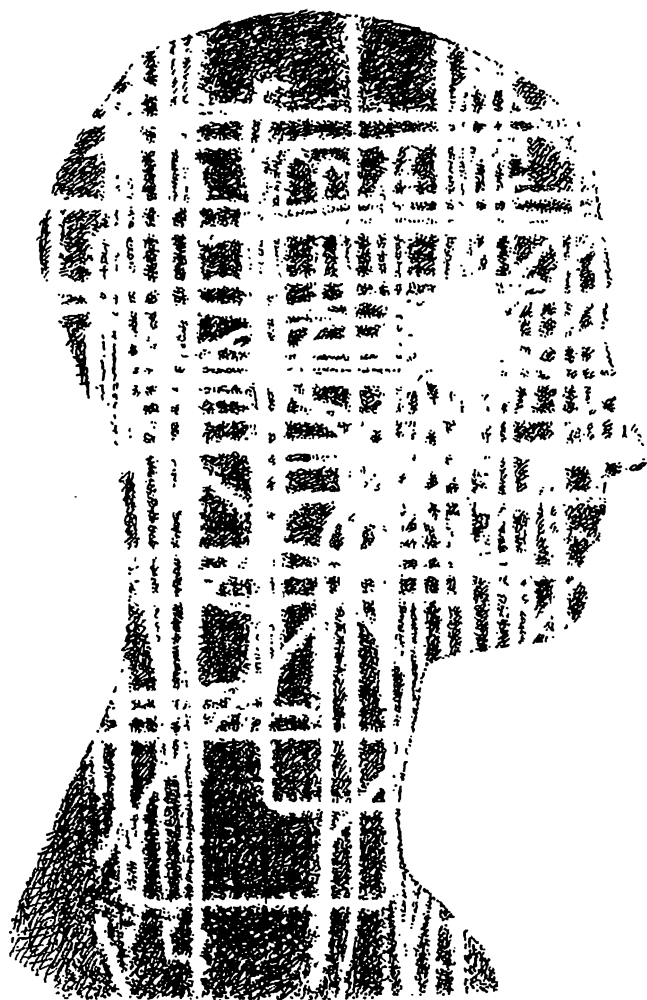
Но мягко, хотя и очень решительно, она прикрыла его рот ладонью. Кончиком одеяла вытерла ему слезы и нежно поцеловала в щеку.

И тогда испарилось даже любопытство; в объятиях этой чужой женщины Стефан на один миг стал чистым, не замаранным ни единым словом — как в минуту, когда он появился на свет.

*Краков, сентябрь 1948 г.*

# ФИАСКО

*роман*



## БИРНАМСКИЙ ЛЕС

— Отличная посадка.

Человек, сказавший эти слова, не глядел на пилота, стоявшего перед ним в скафандре, со шлемом под мышкой. По круглому залу диспетчерской с подковой пультов в центре человек прошел к стеклянной стене и уставился на внушительный — даже на расстоянии — цилиндр корабля, обгоревший у дюз. Из них еще сочилась на бетон черная жижа. Второй диспетчер — широкоплечий, в берете, обтягивающем лысый череп, — пустил ленты записи на перемотку и, пока бобины крутились, углом неподвижного глаза, как птица, косил на прибывшего. Не снимая наушников, он сидел перед беспорядочно мигающими мониторами.

— Да, вроде получилось, — бросил пилот. Он слегка прислонился к выступающему краю пульта, делая вид, что это нужно, чтобы расстегнуть тяжелые перчатки с двойной застежкой. После этой посадки колени у него дрожали.

— Что это было?

Стоя у окна, тот, маленький, с мышинной мордочкой, небритый, в потертой кожаной куртке, хлопал себя по карманам, пока в одном из них не нашлись сигареты.

— Неполадки с тягой, — буркнул пилот, несколько удивленный сдержанным приемом.

Его собеседник, уже с сигаретой во рту, затаился и спросил сквозь дым:

— А отчего? Вы не знаете?

«Нет», — хотел ответить пилот, но промолчал, потому что считал, что должен бы знать. Лента перемоталась. Конца ее описывал

---

Fiasko, 1987

© В.Кулагина-Ярцева, И.Левшин, перевод, 1995

круги вместе с катушкой. Высокий встал, отложил наушники и только теперь кивнул пилоту и хриплым голосом представился:

— Лондон. А это Госсе. Приветствуем вас на Титане. Что будем пить? Есть кофе и виски.

Молодой пилот смутился. Ему были знакомы фамилии этих людей, но он никогда их не видел и почему-то решил, что этот высокий должен быть начальником, что он — Госсе, а оказалось наоборот. Мысленно перестраиваясь, он выбрал кофе.

— Что привезл? Карборундовые головки? — спросил Лондон, когда они втроем уселись за столик, выдвинутый из стены. Кофе дымился в стаканах, похожих на лабораторные — с носиками. Госсе запил кофе желтую таблетку, вздохнул, закашлялся и высморкался с таким трудом, что глаза налились слезами.

— Излучатели тоже привезли? — обратился он к пилоту.

Тот опять смешался, поскольку ждал большего интереса к своему подвигу, и только кивнул. Не каждый день у ракеты гложет тяга при посадке. Вместо перечня грузов у него на языке вертелся готовый рассказ — как он, не пытаясь продуть дюзы и увеличивать основную тягу, сразу отключил автоматику и сел на одних бустерах, чего никогда не пробовал, кроме как на тренажерах. Да и то давно. И ему снова пришлось перенастроиться.

— Привез, — ответил он и остался доволен тем, как сказано: с бесстрашием человека, сумевшего избежать опасности.

— Да не туда, куда надо, — усмехнулся низенький, Госсе.

Пилот не понял, шутка это или нет.

— Как не туда?.. Ведь вы приняли меня. Приказали сесть, — уточнил он.

— Пришлось.

— Не понял.

— Вы должны были сесть в Граале.

— Тогда почему вы заставили меня сменить курс?

Ему сделалось жарко. Распоряжение о посадке звучало категорично. Правда, гася скорость, он принял по радио сообщение Грааля о каком-то несчастном случае, но мало что понял из-за помех. Он шел к Титану со стороны Сатурна, чтобы гравитация планеты погасила скорость — ради экономии топлива, — и корабль зацепил магнитосферу гиганта, так что раздался треск на волнах всех диапазонов. И почти сейчас же он принял вызов этого космодрома. Навигатор должен повиноваться диспетчерской службе. А здесь ему даже скафандра не дали снять, принялись допрашивать. Он все еще ощущал себя сидящим в рубке — ремни отчаянно врезались ему в грудь и плечи, когда ракета уже удари-

ласть раскоряченными лапами в бетон, а бустеры еще не выгорели до конца и гудели огнем, заставляя корпус сотрясаться.

— Так в чем дело? Где, собственно, я должен был сесть?

— Ваш груз принадлежит Граалю, — объяснил низенький, выгирая покрасневший нос. У него был насморк. — А мы перехватили вас над орбитой и вызывали сюда, потому что нам нужен Киллиан. Ваш пассажир.

— Киллиан? — удивился пилот. — Его нет на борту. Со мной только Сипко, второй пилот.

Его собеседники остолбснели.

— А где Киллиан?

— Сейчас, наверное, уже в Монреале. У него жена рождает. Он улетел на товарном челноке до того, как я стартовал.

— С Марса?

— Разумеется, откуда еще? А в чем дело?

— Бедлам в Космосе не хуже, чем на Земле, — заметил Лондон, с такой энергией набивая трубку, словно собирался ее раздавить. Он злился. Пилот тоже.

— Что же вы не спросили меня?

— Мы были уверены, что он с вами. Так было в последней радиограмме.

Госсе снова выгтер нос и вздохнул.

— Так или иначе, стартовать вы не можете, — наконец сказал он. — А Мерлин ждет не дождется излучателей. Теперь все на меня свалит.

— Но ведь они тут. — Пилот мотнул головой вбок — туда, где в тумане за стеклом темнел стройный веретенообразный силуэт корабля. — Кажется, шесть. Из них два гигаджоулевых. Любой туман или тучу разгонят.

— Я же не взвало их на плечи и не оттащу Мерлину, — возразил Госсе, настроение которого ухудшалось на глазах.

Небрежность и своеволие: второразрядный космодром — как признался его начальник — перехватил корабль после трехнедельного рейса, не убедившись, ссть ли на борту пассажир. Это возмутило пилота. Но он не спешил заявлять, что им самим придется заниматься грузом. Пока не ликвидируют последствия аварии, ему ничего не сделать, хотя бы и хотелось. Он молчал.

— Понятно, что вы останетесь у нас. — С этими словами Лондон допил кофе и поднялся с алюминиевого стула.

Лондон был огромен, как борец-тяжеловес. Он подошел к стеклянной стене. Пейзаж Титана — застывшее бешенство гор пеземного цвета в рыжем отсвете прижавшихся к их хребтам коричневых туч — служил прекрасным фоном для его фигуры. Пол



башни слегка подрагивал. Вот развалюха, подумал пилот. Он тоже встал, чтобы посмотреть на свой корабль, который наподобие маяка высился над стелпошимся туманом. Когда порывы ветра разгоняли туман, на дюзах нельзя было рассмотреть пятен перегрева. Может быть, расстояние и полумрак, а может, просто ослыши.

— У вас есть гамма-дефектоскопы?

Корабль для него был важнее, чем их неприятности. Сами виноваты.

— Есть. Но я не позволю никому подойти к ракете в обычном скафандре, — ответил Госсе.

— Вы думаете, это реактор? — взвился пилот.

— А вы?

Низкорослый начальник тоже встал и подошел к ним. Из решеток в полу под окнами дул теплый воздух.

— При спуске температура подскакивала выше нормы, но гейгеры молчали. Наверное, это только дюза. Может быть, лопнула керамика в камере сгорания. Мне и казалось — что-то вылетает.

— Керамика само собой, но утечка тоже была, — решительно заявил Госсе. — Керамика не плавится.

— Это лужа? — удивился пилот.

Они стояли у двойных стекол. Действительно, под кормой набралась черная лужа. Ключья тумана, гонимые ветром, то и дело закрывали корпус корабля.

— Что у вас в реакторе? Тяжелая вода или натрий? — спросил Лондон. Он был на полголовы выше пилота.

Из радиоприемника донеслось попискивание. Госсе подбежал, надел наушники и ларингофон и стал тихо разговаривать с кем-то.

— Не может быть из реактора, — беспомощно сказал пилот. — У меня тяжелая вода. Раствор чистый, как слеза. Прозрачный. А это — черное, как смола.

— Значит, полетело охлаждение дюзы, — согласился Лондон. — И керамика потрескалась.

Он говорил об этом, как о чепухе. Его совсем не беспокоила авария, из-за которой пилот и корабль застряли в глухой дыре.

— Наверное, так... — подтвердил молодой человек. — Наибольшее давление в соплах — при торможении. Стоит керамике в одном месте треснуть, как ее всю выметает главная тяга. Из дюзы штирборта все вылетело.

Лондон не отвечал. Пилот беспокойно добавил:

— Может, я сел слишком близко...

— Глупости. Хорошо, что вы вообще удачно сели.

Пилот ждал каких-то еще замечаний, похожих на похвалу, но Лондон повернулся и окинул его взглядом — от растрепанных светлых волос до белых башмаков скафандра.

— Завтра отправлю техника сделать дефектоскопию... Вы поставили реактор на холостой ход?

— Нет. Выключил совсем. Как в доке.

— Хорошо.

Пилот уже понял, что рассказывать в подробностях о борьбе с ракетой над самым космодромом некому. Кофе — это хорошо, но разве те, кто сам навязался ему в хозяева, не должны предоставить ему комнату и ванну? Он мечтал о горячем душе. Госсэ все еще бормотал в микрофон. Лондон склонился над ним. Ситуация была неясна, но полна напряжения. Пилот уже ощутил: эти двое заняты чем-то поважнее его приключений, и это связано с информацией от Грааля. В полете он слышал обрывки фраз — в них было что-то о машинах, которые куда-то не дошли, и об их поисках.

Госсэ повернулся вместе с креслом; натянутый провод стащил наушники ему на шею.

— Где ваш Синко?

— На борту. Я приказал ему проверить реактор.

Лондон продолжал вопросительно смотреть на начальника. Тот отрицательно покачал головой и буркнул:

— Ничего.

— А их вертолеты?

— Вернулись. Видимость нулевая.

— Ты спрашивал о грузоподъемности?

— Они не справятся. Сколько весит гигаизлучатель? — обратился он к пилоту.

— Точно не знаю. Около ста тонн.

— Что они делают? — допытывался Лондон. — Чего ждут?

— Киллиана, — ответил Госсэ и с досадой выругался.

Лондон вынул из стенового шкафа бутылку «Белой лошади», встряхнул, как бы проверяя, подойдет ли это средство для создавшегося положения, и вернул ее на полку. Пилот стоял и ждал. Тяжесть скафандра перестала ощущаться.

— У нас пропали два человека, — сказал Госсэ. — Не дошли до Грааля.

— Не два, а три, — мрачно поправил Лондон.

— Месяц назад, — продолжал Госсэ, — мы получили партию новых Диглаторов. Шесть штук — для Грааля. Грааль не мог принять корабль, потому что не успел заново забетонировать космодром. Когда сел первый грузовой корабль, «Ахиллес», с массой в

девятью тысячами тонн, арматура, несмотря на все гарантии, полетела. Хорошо, корабль не перевернулся. Его вытаскивали из провала на верфь двое суток. Срочно заливали цемент, клали огнеупорную облицовку, чтобы открыть порт. А Диглаторы стояли у нас. Господа эксперты сочли, что перевоз ракетой не окупится, а тут еще капитан «Ахиллеса», Тер Леони. Как ему перепрыгнуть со своим девятистотысячником на сто восемьдесят миль с Грааля сюда — это ведь не блоха. Мерлин прислал двух лучших водителей, и те на прошлой неделе провели две машины в Грааль, они уже там работают. Позавчера те же люди вернулись на вертолете за другими машинами. На рассвете они вышли, в полдень пересекли Большой Гребень, а когда стали спускаться, порвалась связь. Масса времени была потеряна из-за того, что от Гребня проводку берет на себя Грааль. Мы думали, они не откликаются, потому что находятся на нашей зоне радиотени. — Госсэ говорил спокойно и монотонно.

Лондон стоял, отвернувшись к стеклянной степе. Пилот слушал.

— Тем же вертолетом вместе с операторами прилетел Пиркс. Он посадил своего «Кювьё» в Граале и хотел повидаться со мной. Мы знакомы много лет. Вечером за ним должен был прилететь вертолет, но Мерлин послал все, что было, на поиски. Пиркс не хотел ждать. Или не мог. Он должен был завтра стартовать и хотел сам присутствовать при подготовке корабля. Ну, и он заставил меня разрешить ему вернуться в Грааль на одном из Диглаторов. Я потребовал с него слова, что он пойдет по южной дороге, более длинной, но лежащей вне впадины. Он дал слово и не сдержал. Я видел по ПАТОРСу, как он сходит во впадину.

— Что такое ПАТОРС? — спросил пилот. Он был бледен, на лбу выступили капли пота. Он ждал объяснений.

— Патрульный орбитальный спутник. Он проходит над нами каждые восемь часов и как раз в тот момент дал мне изображение. Пиркс спустился вниз и исчез.

— Пиркс? — спросил пилот, изменившись в лице. — Командор Пиркс?

— Да. Вы с ним знакомы?

— Знаком! — взорвался пилот. — Я служил под его началом как стажер. Мой диплом подписан им. Пиркс? Он столько раз выбирался из самых худших...

Он замолчал. В нем все кипело. Обеими руками он поднял шлем, словно собирался запустить им в Госсэ.

— Как вы разрешили ему идти на Диглаторе? Как вы могли? Это ведь командир крейсеров, а не шофер...

— Ему были знакомы такие машины, когда вы ходили в коротких штанишках, — возразил Госсе.

Видно было, как ему хочется оправдаться. Лондон с каменным лицом подошел к мониторам, среди которых сидел Госсе с наушниками на шее, и вытряс у него перед носом в пустую алюминиевую бобину пепел из трубки. Посмотрел на нес, как бы осознавая, что это, надавил обеими руками, и трубка переломилась. Лондон бросил обломки, вернулся к окну и застыл, сплетя за спиной пальцы.

— Я не мог ему отказать...

Госсе, несомненно, обращался к Лондону, который, как бы не слыша, рассматривал сквозь стекло летящие клубы рыжего тумана. Лишь нос ракеты высывался из него время от времени.

— Госсе, — неожиданно отозвался пилот, — вы дадите мне машину?

— Не дам.

— У меня диплом оператора тысячник.

У Госсе блеснули глаза, но он повторил:

— Не дам. Вы никогда не работали на Титане.

Пилот молча стал расстегивать скафандр. Отвернул широкий металлический воротник, отстегнул наплечные клапаны, под ними — молнию, сунул руку глубоко за пазуху и вытащил бумажник, измятый от долгого ношения под тяжелой оболочкой скафандра. Наилсчные клапаны разошлись, как отпоротые. Он подошел к Госсе и стал выкладывать перед ним документы, один за другим.

— Это с Меркурия. Там у меня был Бигант. Японская модель. Восемьсот тонн. А вот право работать с тысячниками. Я бурил ледовый материк в Антарктиде шведским морозоходом, Криоператором. Вот фотокопия второй награды на состязаниях в Гренландии, а это — с Венеры.

Он кидал фотографии, как козырные карты.

— Я был там с экспедицией Холли. Вот это мой термопед, а это — моего сменщика. Обе модели экспериментальные, неплохие. Только климатизация текла.

Госсе поднял на него глаза:

— Ведь вы пилот?

— Я переквалифицировался. Как раз у командора Пиркса. Сначала я служил на его «Кювье». Потом командовал буксиром...

— Сколько же вам лет?

— Двадцать девять.

— Как вам удалось так переметнуться?

— Когда хочется, выходит. К тому же водитель планетных

машин овладевает любым новым типом за час. Все равно что пересест с мотороллера на мотоцикл.

Он помолчал. У него была еще пачка фотографий, но он не достал ее. Собрав с пульта разбросанные снимки, сунул их в потертую кожаную обложку и опустил во внутренний карман. В распахнутом скафандре, раскрасневшийся, он стоял рядом с Госсе. На мониторах продолжали двигаться ничего не значащие полоски света. Лондон, усевшись на ограждение из труб у стеклянной стены, молча наблюдал эту сцену.

— Ну, скажем, я дам вам Диглатора. Предположим. Что вы станете делать?

Пилот улыбался. На лбу его блестели капельки пота. Светлые волосы слежались под шлемом.

— Возьму излучатель и пойду туда. Гигаджоулевый, из трюма. Вертолеты Грааля такого не поднимут, но для Диглатора сто тонн — пустяк. Пойду и немного осмотрюсь. Мерлин может прекратить поиски с воздуха. Я знаю, сколько там гематитов. И тумана. С вертолета ничего не разглядишь.

— А вы с машиной сразу пойдете на дно.

Пилот улыбнулся шире, блеснув белыми зубами. Госсе заметил, что у мальчишки — он был почти мальчишкой, только массивный скафандр добавлял ему возраста — были такие же, как у Пиркса, глаза. Может быть, чуть посветлее, но с теми же морщинками в углах глаз. Он шурился и поэтому выглядел, словно большой кот на солнышке, — невинно и пронизательно.

— Он хочет войти во впадину и «немного осмотреться», — сказал Госсе Лондону, не то спрашивая, не то приглашая посмеяться над дерзостью пилота.

Лондон не шевельнулся. Госсе встал, снял наушники, подошел к картографу и, как штору, растянул большую карту северного полушария Титана. Показал две толстые изогнутые полоски на желто-лиловом фоне, исчерченном линиями горизонталей.

— Мы находимся здесь. По прямой до Грааля сто десять миль. Старым маршрутом, по черной линии, сто сорок шесть. Мы потерjali на нем четверых, когда Грааль бетонировали и единственный космодром был у нас. Тогда применялись дизельные ногоходы, работавшие на гиперголе. Для здешних мест погода стояла прекрасная. Две партии машин дошли до Грааля без потерь. А потом за один день пропало четыре большехода. В Большой впадине. В этом заштрихованном кружке. Без следа.

— Я знаю, — заметил пилот. — Я это изучал. Помню имена этих людей.

Госсе коснулся пальцем точки, в которой от черной дороги на юг отходила красная.

— Сделали обходную дорогу, но никто не знал, как далеко простирается ненадежная территория. Туда бросили геологов. Можно было послать и зубных врачей. Тоже понимают в дырках. Ни на одной планете нет блуждающих гейзеров, а здесь есть. Вот это голубое на севере — Mare Нупісум. Мы и Грааль — в глубине суши. Но это вовсе не суша. Это губка. Mare Нупісум не заливаает впадину между нами и Граалем, потому что весь его берег — плоскогорье. Геологи пришли к выводу, что этот так называемый континент похож на балтийский щит — в фенноскандии.

— Они ошиблись, — вставил пилот.

Госсе, похоже, собирался читать ему лекцию. Пилот поставил шлем в угол и, усевшись на стуле, как примерный ученик, сложил руки. Он не знал, то ли Госсе хочет объяснить ему маршрут, то ли отговорить от похода, но ситуация ему нравилась.

— Именно. Под скалами лежит углеводородная мсрзлота. Гнусность, обнаруженная при глубинных пробах. Вечный лед, но не настоящий, из углеводородных полимеров. Он не тает даже при нуле по Цельсию, а мы ни разу не зарегистрировали температуры выше минус девяноста градусов. Внутри впадины полно старых кальдер и сдохших гейзеров. Эксперты усмотрели в этом остаточную вулканическую деятельность. Когда гейзеры ожили, прилетели спецы повыше рангом. Сейсмоакустика обнаружила глубоко под скалами сеть пещер, таких разветвленных, каких свет не видывал. Произвели спелеологическую экспертизу — люди гибли, страховка выплачивалась, даже консорциум в конце концов раскошелился. Потом сказали свое слово астрономы: когда луны Сатурна находятся между Титаном и Солнцем, гравитационный прилив достигает максимума, щит суши выгибается и из очагов под мантией выдавливается магма. У Титана ядро все еще расплавлено. Магма застывает, прежде чем подняться из глубин по расщелинам, но, застывая, подогревает всю Орландию. Если Mare Нупісум как вода, то основание Орландии — как губка. Закупоренные подземные русла прорываются, и так возникают гейзеры. Давление доходит до тысячи атмосфер. Никогда не знаешь, где эта мерзость выскочит. И вы, сударь, жаждете очутиться там?

— Именно так, — в том же изысканном стиле ответил пилот.

Ему хотелось положить ногу на ногу, но в скафандре это было невозможно. Он помнил, как приятель, попробовавший принять такую позу, перевернулся вместе со стулом.

— Речь идет о Бирнамском лесе? — добавил он. — Мне уже удирать отсюда или мы можем поговорить серьезно?

Госсе пропустил это мимо ушей.

— Новая дорога обошлась в целое состояние. Нужно былокумулятивными зарядами пробить эту стену лавы — главный поток, извергнутый Горгоной. Даже Mons Olympus Марса не идет в сравнение с Горгоной. Динамит оказался слабоват. Был у нас некий Хареиштайн — может, вы о нем слышали? — так он предлагал, вместо того чтобы проходить сквозь этот вал, выбить в нем ступени, сделать лестницу. Дешевле выйдет. В конвенции ООН должно быть положение, запрещающее допускать в астронавтику идиотов. А вал Тифона пробили специальными термоядерными бомбами, до того проложив в нем туннели. Горгона, Тифон — просто удача, что у греков было столько богов и теперь можно одалживать их у мифологии. Новую дорогу открыли год назад. Она пересекает только котловину в южной оконечности впадины. Эксперты ручались, что она безопасна. А что касается подземных нещер, то они тянутся везде — под всей Орландией. Три четверти Африки! Титан, остывая, вращался по сильно вытянутой орбите. Приближался к пределу Роша, куда попало множество лун меньшего размера, которые Сатурн перемолол для своих колец. Кипящий Титан остывал в перисатурнии, в нем образовывались пузыри, которые замерзали в апосатурнии, а потом пошли осадочные явления, оледенения, они покрыли эту пузырчатую, губчатую, аморфную скалу и задвинули ее в глубину. Неправда, что Mare Nupisum приливает туда только при определенном восхождении всех лун Сатурна. Его приливов и извержений гейзеров предвидеть нельзя. В принципе об этом знают все, кто работает здесь, и перевозчики, и пилоты, и вы. Хотя дорога стоила миллиард, тяжелым машинам должно быть запрещено ей пользоваться. Все мы находимся на небесах — в стародавнем смысле. Разве не об этом же говорит название шахты — Грааль? Только небеса, оказалось, требуют чудовищных затрат. Можно было бы организовать дело получше, да помешала бухгалтерия. Страховка за погибших платится большая, но она меньше капиталовложений, которые снизили бы уровень опасности. Я почти все сказал. Может быть, они еще выберутся, даже если их затопило. Начинается отлив, а панцирь Диглатора выдерживает сто атмосфер. Кислорода им хватит на триста часов. Мерлин выслал рабочие подушечники и две сверхтяжелые машины для ремонта. Безотносительно к тому, что вы умсете, не стоит. Не стоит ломать шею. Диглатор — один из самых тяжелых...

— Вы собирались закончить, — прервал его пилот. — Я задам только один вопрос, ладно? А как же Киллиан?

Госсе открыл рот, закашлялся и сел.

— Ведь именно для этого я должен был привезти его, — добавил пилот, — разве не так?

Госсе потянул карту за нижний край, отчего она с шумом свернулась, взял сигарету и проговорил над огоньком зажигалки:

— Это его работа. Он знал территорию. Кроме того, у него контракт. Я не могу запретить операторам заключать договоры с Граалем. Я могу только подать в отставку и, наверное, так и сделаю. И могу дать от ворот поворот любому герою.

— Вы дадите мне машину, — спокойно сказал пилот. — Я могу сейчас же переговорить с Граалем. Мерлин выслушивает, дает распоряжение, и все. А вы хлопчете выговор. Мерлину безразлично, Киллиан или я. А инструкции я знаю наизусть. Не стоит терять времени, господин Госсе. Дайте мне поесть и вымыться, а потом обсудим детали.

Госсе беспомощно посмотрел на Лондона, но если ждал поддержки, то напрасно.

— Он пойдет, — отозвался заместитель. — Я слышал о нем от спелеолога, который летом был в Граале. Он точно такой же, как твой Пиркс. Тихий омут. Вот трубку жаль. Идите мыться, коллега. Душевые внизу. И возвращайтесь сразу, а то суп остынет.

Пилот с благодарностью улыбнулся Лондону и вышел. По пути он подхватил свой белый шлем так стремительно, что концы шлангов ударились о скафандр. Едва за ним закрылась дверь, Лондон принялся стучать кастрюлями около плиты.

— Что это даст? — спросил Госсе со злостью из-за его спины. — Ты тоже хорош!

— А ты, друг шелковый? Зачем дал Пирксу машину?

— Пришлось. Он дал слово.

Лондон повернулся к нему с кастрюлей в руках.

— Послушай, очнись! Слово дал! Когда такой дает слово, что бросится за тобой в воду, то сдержит его. А если даст слово, что будет только смотреть, как ты тонешь, то все равно бросится. Разве я не прав?

— Правда и реальность — разные вещи, — обронил Госсе без особой уверенности. — Чем он сумеет им помочь?

— Может найти следы. Возьмет излучатель.

— Перестань! Лучше послушаем Грааль, вдруг у них есть общение.

До сумерек было еще далеко, но вокруг освещенной грибообразной башни стало темно из-за спустившихся туч. Лондон хлопотал у стола, а Госсе, куря сигарету за сигаретой, вслушивался в безрезультатные переговоры базы Грааля с водителями гусеничных машин, которые вышли на поиски после возвращения вер-



толетов. В то же время он не переставал думать о пилоте. Не слишком ли поспешно, не задавая вопросов, он сменил курс, чтобы сссть у них? Двадцатидевятилетний командир корабля с дипломом капитана дальних рейсов, должно быть, тверд, как кремень и увлечен делом. Иначе бы он так быстро не продвинулся. Его юношеская отвага жаждет опасностей. Сам же он, Госсе, если и был в чем виноват, то лишь в недосмотре. Если бы вовремя спросил про Киллиана, то отправил бы корабль в Грааль. При этом главный диспетчер Госсе после двадцати часов, проведенных без сна, не отдавал себе отчета в том, что мысленно — сам не желая того — уже похоронил прибывшего. Как же его зовут? Госсе знал, но забыл и счел это признаком надвигающейся старости. Он прикоснулся к левому монитору. Зеленым вспыхнули буквы:

**КОРАБЛЬ: ГЕЛИОС ГРУЗОВОЙ II КЛАССА**  
**ПОРТ ПРИПИСКИ: SYRTIS MAJOR**  
**КОМАНДИР: ПИЛОТ АНГУС ПАРВИС**  
**ВТОРОЙ ПИЛОТ: РОМАН СИНКО**  
**ФРАХТ: НУЖНО ЛИ ДАТЬ СПИСОК ГРУЗОВ**  
**???**

Он погасил экран. Вошли новоприбывшие — в свитерах и спортивных брюках. Синко, худой, кудрявый, поздоровался смущенно, так как в реакторе, оказывается, все-таки была течь. Все принялись за консервированный суп. Госсе никак не мог отделаться от мысли, что у храбреца, которому он завтра доверит машину, искажена фамилия. Его должны звать не Парвис, а Парсифаль — это перекликается с Граалем. Но было не до шуток, и игру в анаграммы пришлось оставить при себе. После короткого спора: что же они едят, обед или ужин — оставшегося нерешенным из-за разницы времени: корабельного, земного и титановского, — Синко поехал вниз, чтобы поговорить с техником насчет дефектоскопии, запланированной на конец недели, когда реактор остынет и предполагаемые трещины в облицовке затянутся. Пилот, Госсе и Лондон включили в пустой части зала диораму Титана. Изображение, созданное голографическими проекторами, объемное, цветное, с обозначенными маршрутами, охватывало площадь от северного полюса до тропиков. Его можно было уменьшать или увеличивать, и Парвис рассмотрел все пространство, отделявшее их от Грааля.

Комната для гостей, выделенная для него, была небольшая, но уютная, с двухъярусной кроватью, столом-партой, креслом, шкафом и такой тесной душевой, что, намываясь, он то и дело стучался локтями о стены. Он лег поверх одеяла и начал штудировать толстый справочник по титанографии, взятый у Лондона.

Сначала он искал в указателе БИРНАМСКИЙ ЛЕС, но его не было ни на букву «Л», ни на «Б». Наука не приняла это название. Он листал книгу, пока не дошел до гейзеров. Автор говорил о них не совсем так, как Госсе. Титан остывал скорее, чем Земля и другие внутренние планеты, и запер в своих глубинах огромные массы сжатых газов. Из пустот в его коре они давят на основания старых вулканов, проходят в подземные сети их магматических жил, разветвленных и протянувшихся на сотни километров. И при определенной конфигурации синклиналей и антиклиналей могут выйти в атмосферу фонтанами летучих веществ, вырывающимися под высоким давлением. Химически сложная смесь содержит двуокись углерода, которая тут же превращается в снег, уносится ветром и покрывает толстым слоем равнины и горные склоны. Ангуса скоро утомило сухое изложение. Он погасил свет, накрылся, с непривычки удивляясь тому, что ни одеяло, ни подушка не пытались взлететь — сказывалась почти месячная привычка к невесомости, — и тут же заснул. Какой-то внутренний толчок вернул его к яви так внезапно, что он открыл глаза уже сидя, готовый вскочить с постели. Ничего не соображая, оглядывался, растирая челюсть. Это движение напомнило ему, о чем был сон. Бокс. Он дрался с профессионалом, заранее предчувствуя поражение, и, получив нокаут, грохнулся, как подкошенный. Он широко открыл глаза — комната качнулась, как рубка при крутом повороте, — и совсем очнулся. Мгновенно, как короткое замыкание, вспомнилась вчерашняя посадка, авария, спор с Госсе, совещание у диорамы. Комнатка была маленькая, как кабина на грузовом корабле, и это напомнило ему последние перед расставанием слова Госсе: что он в юности служил матросом на китобое. Бреясь, он раздумывал над решением, которое принял. Если бы не имя Пиркса, он бы дважды подумал, прежде чем так безоглядно добиваться этого похода. Под струйками то горячей, то ледяной воды попытался запеть, но выходило как-то неуверенно. Это значило, что ему не по себе. Он чувствовал, что в его замысле больше глупости, чем риска. Ничего не видя из-за брызг, бьющих по запрокинутому лицу, секунду размышлял, не отказаться ли. Но знал, что это исключено. Так мог бы поступить только мальчишка. Он хорошенько вытерся, убрал постель, оделся и пошел искать Госсе. Теперь он торопился. Надо было еще ознакомиться с неизвестной моделью, потренироваться, восстановить нужные рефлексы.

Госсе нигде не было. От основания контрольной башни в две стороны расходились строения, связанные с ней туннелями. Расположение космодрома было результатом недосмотра или просто

ошибки. По данным разведки, проведенной автоматами, месторождения должны были располагаться под дном этой вулканической долины, точнее, старого кратера, образовавшегося в сейсмических судорогах Титана. Сначала сюда бросили машины и людей и принялись монтировать ряды бочкообразных домов для шахтерских бригад, но затем разошлась весть, что миль на двести дальше находятся необычайно богатые и легкие в эксплуатации урановые залежи. В руководстве проекта произошел раскол. Одни хотели ликвидировать космодром и начать все заново на северо-востоке, другие настаивали на продолжении работ, так как эти месторождения — за впадиной — хотя и лежат на поверхности, но невелики, а стало быть, малопродуктивны. Сторонников ликвидации начатых разработок кто-то назвал искателями священного Грааля, и название Грааль закрепилось за территорией вскрышных работ. А космодром и не ликвидировали, и не расширили. Дело кончилось компромиссом, обусловленным нехваткой сил — вернее, капиталов. И хотя экономисты неоднократно подсчитывали, что выгоднее закрыть космодром в старом кратере и сосредоточить работы в Граале, победила логика сиюминутности. К тому же Грааль долгое время не мог принимать больших кораблей, а в кратере Рембдена — это имя геолога, его открывшего, — не было ремонтного дока, погрузочных порталных кранов, новейшей аппаратуры; поэтому шел вечный спор, кто кому служит и кто что с этого получает. Кажется, часть руководства продолжала верить в уран, залегающий под кратером; пробурили даже несколько пробных скважин, но дело двигалось еле-еле, потому что, как только удавалось собрать здесь немного людей и техники, тут же вмешивался Грааль, через дирекцию отбирал их, и опять постройки пустели, а брошенные машины простаивали внутри мрачных стен кратера Рембдена. Парвис, как и другие транспортники, не принимал участия в таких стычках и конфликтах, хотя был в курсе их, — этого требовало деликатное положение любого работающего на транспорте. Грааль все собирался явочным порядком ликвидировать космодром, особенно после того, как построил свою посадочную площадку, а Рембден сопротивлялся, но сопротивлялся он или нет, однако очень пригодился, когда замечательный бетон Грааля стал проваливаться. В душе Парвис полагал, что корни этого постоянного раздора носят психологический, а не финансовый характер, поскольку существует два местных и тем самым соперничающих патриотизма — кратера Рембдена и Грааля, а остальное — всего лишь попытки найти доказательства в пользу той или другой стороны. Но этого не стоило говорить никому из работающих на Титане.

Помещения под контрольной башней напоминали брошенный подземный город, и просто жалость брала, сколько материалов валялось здесь зря. Однажды, еще помощником навигатора, он совершил посадку на Рембдене, но тогда они так спешили, что он даже не сошел с корабля, — всю стоянку проторчал в трюме, присматривая за выгрузкой, а сейчас, видя нераспакованные, с нетронутыми печатями контейнеры, узнавал с нарастающим удовольствием те, которые привез в прошлый раз. Безплодье раздражало его, он начал потихоньку аукать, как в лесу, но ответом ему был только мертвый звук эха в тесных коридорах склада.

Он поехал на лифте наверх. В помещении диспетчерской обнаружил Лондона, но и тот не знал, куда делся Госсе. Никаких новых сообщений из Грааля не поступало. Мониторы мигали. В воздухе ощущался запах поджаренной грудинки. Лондон жарил на ней яичницу. Скорлупки бросал в раковину.

— У вас и яйца есть? — удивился пилот.

— Представь себе. — Лондон был с ним уже на «ты». — Один электронщик с язвой желудка привез целый курятник, соблюдал диету, а как же. Сначала все ругались — грязи от них много, кормить нечем, но он оставил несколько кур с петухом, и теперь мы даже довольны. Свежие яйца — лакомство в здешних местах. Садись. Госсе сам найдется.

Ангус ощутил голод. Неэстетично запихивая в рот огромные куски яичницы, оправдывался перед самим собой: то, что его ждало, требовало запаса калорий. Зазвонил телефон. Его вызывал Госсе. Поблагодарив Лондона за изысканный завтрак, Ангус одним глотком допил кофе и спустился этажом ниже. Начальник, одетый в комбинезон, ждал в коридоре. Время пришло. Ангус сбегал в гостиницу за своим скафандром. Ловко надел его, присоединил шланг скафандра к кислородному баллону, но не открыл вентиль и не надел шлем, не зная, как скоро они должны выйти из герметических помещений. Они спустились в подвалы на другом, грузовом, лифте. Там тоже был склад, заваленный контейнерами, похожими на артиллерийские зарядные ящики, — из них, как снаряды крупного калибра, торчало по пять кислородных баллонов. Обширный склад был так забит, что приходилось протискиваться между стенами ящиков, пестревших разноязыкими надписями. Грузы, пришедшие со всех земных континентов. Пилот довольно долго ждал Госсе, который пошел переодеться, и не сразу узнал его в тяжелом скафандре монтажника, вымазанном смазочным маслом, с ноктовизором, надвинутым на стекло шлема.

Через шлюз вышли наружу. Испод верхнего яруса нависал над

ними — все здание напоминало огромный гриб со стеклянной шляпкой. Наверху, в зеленом свете мониторов, хлопотал Лондон. Обошли основание башни, круглое, без окон, как прибрежный маяк, отданный во власть прибою, и Госсе открыл ворота гаража из гофрированного железа. С шелестом зажглись лампы. В пустом помещении рядом с подъемником, у задней стены, стоял вездеход, похожий на давнишние луноходы американцев. Открытое шасси, сиденья с опорой для ног — ничего, кроме рамы на колесах, руля и закрытой батареи аккумуляторов позади. Госсе вышел на неровный щебень, устилавший подножие башни, и притормозил, чтобы пилот мог сесть. Они двинулись сквозь рыжий туман к едва различимому низкому неуклюжему строению с плоской крышей. Далеко за хребтами гор маячили столбы мутного света, похожие на лучи прожекторов противоздушной обороны. Однако это не имело ничего общего с архаикой. Солнце дает Титану не много света, особенно в пасмурные дни, поэтому, когда была начата эксплуатация урановых рудников, на стационарную орбиту над Граалем были выведены огромные легкие зеркала-«солекторы», чтобы они сосредоточивали солнечный свет на территории разработок. Польза оказалась сомнительной. Сатурн со своими лунами создает неразрешимую для расчетчиков задачу воздействия многих масс. И несмотря на все усилия астроинженерии, столбы света отклонялись, часто доходя до самого кратера Рембдена. Здешним отшельникам такие солнечные нашествия доставляли удовольствие — не только саркастическое, поскольку ночью вырванная из мрака воронка кратера являла свою грозную, захватывающую красоту. Госсе, объезжая препятствия — цилиндрические глыбы вроде бочек, которые затыкали небольшие вулканические выходы, — тоже заметил этот свет, холодный, как северное сияние, и пробурчал себе под нос:

— Двигутся сюда. Прекрасно. Через несколько минут будет светло, как в театре. — И добавил с нескрываемой язвительностью: — Добрый малый этот Мерлин.

Ангус понял иронию, потому что освещение Рембдена означало непроглядную темень в Граале, — значит, Мерлин или его диспетчер уже вытаскивает обслугу солекторов из коек, чтобы включили двигатели и направили космические зеркала куда следует. Но два луча все приближались, и в свете одного из них блеснул обледенелый гребень восточной стороны. Еще одной радостью обитателей Рембдена была удивительная для Титана прозрачность атмосферы в их кратере. Она позволяла неделями наблюдать на усыпанном звездами небосводе желтый, с плоскими кольцами, диск Сатурна, хотя расстояние здесь было в пять раз

больше, чем между Луной и Землей. Восходящий Сатурн всегда ошеломлял новичков своей величиной. Невооруженным глазом можно было разглядеть разноцветные пятна на его поверхности и черные теневые кляксы, отбрасываемые ближними к планете лунами во время затмений. Это зрелище делал возможным северный ветер, который проносился в узостях между скалами с такой скоростью, что создавался феновый эффект. К тому же Рембден был самым теплым местом на Титане. Может быть, обслуживающий персонал солекторов еще не сумел с ними справиться, а может быть, из-за тревоги этим некому было заняться, только луч солнца уже перемещался по дну котлована. Сделалось светло как днем. Вездеход мог бы ехать без фар. Пилот видел серый бетон вокруг своего «Гелиоса». За этой площадкой, там, куда они направлялись, тянулись вверх, как окаменевшие стволы невероятных деревьев, вулканические пробки, выстреленные из сейсмических пробойн и застывшие миллионы лет назад. В перспективе они казались развалинами колоннады храма, а их бегущие тени — стрелками установленных рядами солнечных часов, показывающих чужое, мчащееся время. Вездеход миновал этот частокол. Он шел неровно, электромоторы тоненько постанывали, плоское здание еще было в полумраке, но за ним угадывались два вздымающихся черных силуэта — как бы готические костелы. Действительные их размеры пилот оценил, когда вылез и вместе с Гессе направился к ним.

Таких колоссов он еще не видел. Ему не приходилось управлять Диглатором, в чем он, однако, не признавался. Если бы такую машину одеть в косматые шкуры, она превратилась бы в Кинг-Конга. Пропорции не были человеческие, скорее антроподальные. Над мощными, как танки, застывшими в рыхлом грунте ступнями вертикально возносились ноги из решетчатых ферм. Башнеподобные бедра входили в тазовый круг, а на нем, как широкодонный корабль, высился стальной корпус. Кисти верхних конечностей он увидел, только задрал голову. Они свисали вдоль туловища, как безвольно опущенные крановые стрелы со стальными сжатыми кулаками. Оба колосса были без голов, а то, что издали он принял за башенки, на фоне неба оказалось антеннами, торчащими из плечей великанов.

За первым Диглатором, почти касаясь его панциря суставом согнутой в локте руки — как будто собирался дать ему тычка в бок и замер, — стоял другой, похожий на первого, как близнец. Он стоял немного дальше, и это позволяло разглядеть в его груди блестящее стекло окна. Кабину водителя.

— Это «Кастор», а это «Полшукс», — представил их Гессе.

Он направил на великанов ручной прожектор. Свет выхватывал из полумрака броню поножей, наколенники, торсы, отливавшие черным, как китовые туши.

— Хаарц, болван, не сумел даже ввести их в ангар, — сказал Госсе. Он ошупью искал на груди климатизационный переключатель. Дыхание легким туманом осело на стекле его шлема. — Еле сумел остановиться перед этим откосом...

Пилот догадался, почему этот Хаарц втиснул обоих колоссов в скальный пролом и почему предпочел их там оставить. Из-за инерции массы. Так же, как морской корабль, машина тем тяжелее поддается водителю, чем больше ее масса. Он уже готов был спросить, сколько весит Диглатор, но, не желая обнаружить незнание, взял у Госсе фонарь и двинулся вдоль ступни великана. Водя лучом по стали, он, как и думал, обнаружил табличку с основными характеристиками, приклепанную на уровне человеческих глаз. Максимальная мощность достигала 14 000 КВт, допустимая перегрузка — до 19 000 КВт, масса покоя — 1680 тонн, многодисковый реактор «Токамак» с обменником Фуко; гидравлический привод главной передачи и дифференциалов — «Роллс-Ройса», шасси шведского производства. Он направил луч света вверх, вдоль решетчатой ноги, но разглядеть целиком торс не мог. Свет едва обрисовал контуры черных безголовых плеч. Он повернулся к Госсе, но тот исчез. Наверное, пошел включить отопительную систему космодрома: размещенные на земле трубы стали разгонять низко стелющийся негустой туман. Заблудившийся луч солектора, как пьяный, бродил по котловине, вырывая из темноты то куб склада, то грибообразную контрольную башню с зеленой опояской собственного света, и, попадая на оледенелые скалы, давал мгновенно гаснущие отблески. Он будто пытался пробудить мертвый пейзаж, оживляя его движением. Вдруг ушел вбок, проехал по бетонному полю, перескочил через башню-гриб, частокол магматических стволов, одноэтажный склад и задел пилота, который, прикрывшись перчаткой, быстро закинул голову, чтобы при этой okazji увидеть Диглатора целиком. Покрытая черным антикоррозийным составом машина засияла над ним, как двуногий ящер, поднявшийся во весь рост, как бы позируя для съемки со вспышкой. Закаленные стальные пластины грудной клетки, дискообразное основание таза, столбы и приводные валы бедер, наколенники, решетки голеней первоначально блестели, — значит, машина никогда раньше не работала. Ангус ощутил радость и тревогу. Он слотнул слюну, чувствуя, как сжимается горло, и уже при отдаляющемся свете подошел к великану с тыла. Он приближался к пятке, и ее сходство со стальной человеческой

погой сначала стало карикатурным, но вблизи, около зарывшейся в грунт подошвы, исчезло. Он стоял как бы перед фундаментом порталного крана, который ничто не может вырвать из земли. Бронированный каблук мог бы служить основанием гидравлического пресса. Голеностопный сустав демонстрировал скрепляющие его болты диаметром в гребной вал корабля, а колено, выступающее на половине длины ноги — на высоте примерно трех этажей, — было как мельничный жернов. Кисти великана — они были больше экскаваторного ковша — неподвижно висели, застыв, как по стойке «смирно». Хотя Госсе исчез, пилот не собирался медлить. Он увидел в обшивке пятки ступени и скобы для рук и полез наверх. Вокруг сустава тянулся узкий выступ, от которого уже внутри решетчатой лодыжки уходила круто вверх лесенка. Лезть по ее перекладинам было не то чтобы трудно, но странно. Она привела его к люку, расположенному не слишком удобно — под правым бедром, поскольку его первичное, наиболее рациональное для конструкторов размещение служило источником неиссякаемых насмешек, невысокого, впрочем, пошиба. Проскранты первых ногоходов не обращали внимания на эти шуточки, но стали с ними считаться, когда выяснилось, что трудно найти желающих водить машины и постоянно подвергаться издевкам из-за места, через которое они попадали внутрь своих атлантов.

Когда открылся люк, включились ряды маленьких лампочек. По спиральной лесенке он дошел до кабины. Она представляла собой как бы огромную застекленную бочку или трубу, проходящую насквозь через грудь Диглатора, но не посередине, а слева, как будто инженерам хотелось поместить человека там, где у живого великана должно было быть сердце. Он окинул взглядом помещение, также освещенное, и с глубоким облегчением узнал знакомую систему управления. Он почувствовал себя как дома. Быстро снял шлем и скафандр, включил климатизацию, так как был одет только в трикотажный свитер и эластичные брюки, а чтобы управлять великаном, ему надо было вообще раздеться донага. Кабину наполняли потоки теплого воздуха, а он стоял у выпуклого лобового стекла и смотрел вдаль. Начинался день, хмурый, как обычно, — на Титане освещение всегда похоже на предгрозовое. Скальные осыпи далеко за космодромом были видны, как из окна высокого дома: он находился на уровне восьмого этажа. Даже на гриб контрольной башни он смотрел сверху. Вплоть до горных хребтов на горизонте только нос «Гелиоса» был выше, чем место, где он стоял. Сквозь боковые, тоже изогнутые, стекла он мог заглянуть в глубь мрачных стволов, слабо освещен-



ных лампочками, заполненных механизмами, которые легонько вздыхали, размеренно шумя, словно пробужденные от сна или летаргии. В кабине не было никаких пультов, рулей, экранов — ничего, кроме одежды для водителя, валявшейся на полу и отливавшей металлом, как сброшенная змеиная кожа, и мозаики из черных кубиков, закрепленных на переднем стекле, похожих на детские игрушки, потому что на гранях этих кубиков виднелись контуры маленьких рук и ног — правых с правой, а левых с левой стороны. Когда колосс шел и все было в порядке, маленькие рисунки светились спокойным светло-зеленым светом. При неполадках цвет менялся на серо-зеленый, если повреждение было мелким, а в случае серьезных аварий становился пурпурным. Это было преображенное в черную мозаику, разбитое на фрагменты изображение всей машины. В теплом дыхании климатизатора молодой человек разделся, бросил одежду в угол и принялся натягивать костюм оператора. Эластичный материал обтянул его босые ступни, бедра, живот, плечи; сверкающий, по самую шею в электронной змеиной коже, он старательно, палец за пальцем, всунул руки в перчатки. Когда же он одним движением снизу вверх закрыл молнию, черная до той поры мозаика заиграла цветными огоньками. С одного взгляда он понял, что их расположение такое же, как в серийных морозоходах, которые он водил в Антарктиде, хотя по массе они не могли равняться с Диглатором. Он протянул руку к своду, подтянул к себе лямки, опоясался ими и крепко застегнул на груди. Когда замок защелкнулся, упряжь, легко пружиня, подняла его, так что он, подхваченный под мышки, как в корсете с мягкой прокладкой, повис и мог свободно двигать ногами. Проверив, движутся ли так же свободно руки, пилот поискал сзади на шее главный выключатель, нашел рычажок и повернул его до упора. Все рисунки на кубиках стали вдвое светлее, и тут же он услышал, как глубоко под ним заработали вхолостую моторы всех конечностей; они тихонько причмокивали — из шатунов вытекала избыточная смазка, заложенная в подшипники еще на земной верфи для защиты от коррозии.

Внимательно глядя вниз, чтобы не задеть складского здания, он сделал первый осторожный, небольшой шаг. В подкладку его одежды были вшиты тысячи гибких спиралек-электродов. Прильнув к голому телу, они черпали импульсы нервов и мускулов, чтобы передать их великану. Как каждому суставу человеческого скелета соответствовал в машине тысячекратно увеличенный, герметически закрытый сустав из металла; так отдельным группам мускулов, сгибающих и разгибающих конечности, соответствовали цилиндры размером в пушечный ствол, в которых хо-

дили поршни под действием накачиваемого насосами масла. Но обо всем этом оператору не надо было ни знать, ни думать. Он должен был двигаться так, как будто шел по земле, топча ее ногами, или нагибался, чтобы вытянутой рукой взять нужный предмет. Только два различия были существенны. Во-первых, масштаб, потому что человеческий шаг превращался в двенадцатиметровый шаг машины. То же самое происходило с каждым движением. И хотя благодаря необыкновенной точности датчиков машина по воле водителя могла взять со стола полную рюмку и поднять ее на высоту двенадцатого этажа, не расплескав ни капли и не раздавив стеклянной ножки, зажатой тисками кисти, это было бы показателем особой артистичности оператора, демонстрацией его искусства. Колосс должен был поднимать не рюмки и камешки, а многотонные трубопроводы, перекрытия, валуны, а когда ему в тиски рук давали нужные инструменты, он превращался в буровую вышку, бульдозер, кран — всегда оставаясь богатырем, почти неисчерпаемые силы которого сочетались с человеческой ловкостью.

Большеходы стали воплощением концепции экзоскелета, который в качестве внешнего усилителя человеческого тела был известен по многим прототипам двадцатого столетия. Изобретение осталось на стадии разработки, поскольку на Земле для него не было применения. Эта идея возродилась при освоении Солнечной системы. Появились машины, приспособленные к планетам, на которых они должны были работать, к местным задачам и условиям. По массе эти машины различались, но инерция массы везде одинакова, и в этом крылось другое важнейшее различие между машинами и людьми.

Как прочность материала, так и движущая сила имеют свои пределы, они зависят от инерции массы, которая сохраняется даже вне сферы тяготения небесных тел. Большеходу нельзя делать резких движений — как нельзя мгновенно остановить в море крейсер или вращать стрелой подъемного крана, как пропеллером. Если бы водитель попробовал сделать что-то подобное с Диглатором, у того поломались бы фермы конечностей; чтобы избежать такого несчастного случая, инженеры снабдили все ответвления приводов предохранителями, не допускающими маневров, ведущих к катастрофе. Водитель, однако, мог отключить любой из этих ограничителей или все сразу, если бы оказался в трудной ситуации. Ценой поломки машины он, может быть, сумел бы выбраться живым из-под рухнувшей скалы или выйти из другого затруднительного положения. А если бы даже и это его не спасало, то как крайний шанс у него

оставалось *ultimum refugium*<sup>1</sup>, витрификатор. Человек был защищен внешним панцирем большехода, внутренней капсулой кабины, а в ней над водителем находился вход витрификатора, похожий на колокол. Устройство могло заморозить человека мгновенно. Правда, медицина пока еще не была способна вернуть к жизни витрифицированные человеческие тела: жертвы катастроф, сохраняемые в контейнерах с жидким азотом, лежали в ожидании будущих успехов искусства возвращения к жизни.

Эта отсрочка врачебной помощи на неопределенный срок казалась многим людям чудовищным предательством, обещанием спасения, лишенным какой бы то ни было гарантии исполнения. Хотя в медицине это был крайний и граничный случай, он не был первым. Ведь первые трансплантации обезьяньих сердец смертельно больным людям вызвали подобные реакции ужаса и негодования. Кроме того, при опросе водителей было выяснено, насколько скромны их надежды на витрификационную аппаратуру. Их профессия была нова, таящаяся же в ней смерть — стара, как все лодские начинания. И Ангус Парвис, тяжелыми шагами ступая по Титану, вовсе не думал о висящем над его головой устройстве с кнопкой, светящейся внутри прозрачного колпачка, как рубин. С особой осторожностью он вывел машину на бетонные плиты космодрома, чтобы там опробовать Диглатор. Сейчас же у него возникло давно знакомое чувство, будто он одновременно легок и тяжел, свободен и скован, медлителен и быстр, — это можно было сравнить только с ощущениями ныряльщика, которого лишает тяжести тела сопротивление воды, но чем быстрее он хочет двигаться, тем большее сопротивление оказывает жидкая среда. Опытные образцы планетных машин после нескольких часов работы разваливались, потому что у них еще не было ограничителей движения.

У новичка, сделавшего на большеходе несколько шагов, создается впечатление, что это необычайно легко, и поэтому, намереваясь выполнить простейшую работу — например, положить перекрытия на стены строящегося дома, — он сокрушит стену и погнет железо, прежде чем поймет, в чем дело. Даже оснащенная предохранителями машина может подвести неопытного водителя. Прочитать цифры предельных нагрузок так же легко, как, например, проштудировать самоучитель горнольщика, но от такого чтения еще никто не стал мастером по слалому. Ангус, хорошо знакомый с тысячами, почувствовал, прибавив шагу,

---

<sup>1</sup> Последнее прибежище (лат.).

что послушный ему гигант весит почти вдвое больше. Вися в остекленной кабине наподобие паука в центре его удивительных сетей, он сейчас же замедлил движения ног и даже остановился, чтобы с нарочитой медлительностью приняться за гимнастику на месте. Он переступал с ноги на ногу, делал наклоны вбок и только потом несколько раз обошел вокруг своей ракеты.

Сердце билось сильнее обычного, но все шло без ошибок. Ему были видны бесплодная, бурая долина, застланная туманом, далекие ряды огней, означавшие границы космодрома, и маленькая, не больше муравья, фигура Госсе рядом с контрольной башней. Кругом слышался мягкий, неназойливый шум, в котором его ухо, с каждой минутой лучше разбиравшее звуки, узнавало басовый фон главных моторов, то разгоняющихся до тихого пения, то урчащих как бы с мягким упреком, когда резко замедлялась поступь стотонных ног. Он различал хоральный зов гидравлики — масло по тысяче маслопроводов поступало в цилиндры, чтобы поршни мерно поднимали, сгибали и ставили на бетон конечность, обутовую в целый танк. Он улавливал тонкое пение гироскопов автоматики, помогающей ему удерживать равновесие. Когда он намеренно собрался повернуться порезче, масса, в которой он был заключен, оказалась недостаточно маневренной для мощности моторов, и, хотя они послушно тянули изо всей силы, гигант зашатался, но не вышел из-под контроля, ибо сам мгновенно смягчил поворот, увеличив его радиус.

Затем он стал развлекаться, поднимая многотонные валуны за пределами бетонированной площадки; от этих глыб, когда их захватывали клешни, летели искры. И часу не прошло, а он уже был уверен в Диглаторе. Вернулось знакомое состояние, которое опытные люди называют «врастанием человека в большеход». Стирались границы между ним и машиной, ее движения становились его собственными. Под конец тренировки он взобрался, и довольно высоко, на каменистый склон; он уже настолько освоился, что по грохоту раздавленных камней, валящихся из-под ног, понимал, чего можно потребовать от колосса, которого он уже успел полюбить. И лишь когда он спустился к мглисто светящимся контурам посадочной площадки, сквозь чувство удовлетворения иглой прошла мысль о предстоящем походе, осознание того, что Пиркс и двое других, заключенные внутри таких же колоссов, не только застряли — исчезли в гигантской впадине Титана. Сам не зная зачем — то ли упражняясь, то ли на прощание, он вплотную обошел корабль, на котором прилетел сюда, и коротко переговорил с Госсе. Начальник стоял рядом с Лондоном за стеклами башни. Ангус видел их и, узнав, что о судьбе пропав-

ших все еще ничего не известно, на прощание высоко поднял закованную в железо правую руку. Жест этот мог показаться излишне патетичным или даже шутовским. На его же взгляд это было лучше всяких слов. Ритмично шагая, он развернулся, вывел на единственный в кабине монитор голографический снимок территории, по которой предстояло идти, включил указатель азимута вместе с проекцией дороги к Граалю и двенадцатиметровыми шагами пустился в путь.

Для планет, близких к Солнцу, характерны два вида пейзажей: в одних можно обнаружить целенаправленность, в других — запустение. Целенаправленность видна в любом пейзаже Земли, планеты, породившей жизнь; на ней все имеет свой смысл. Наверное, так было не всегда, но миллиарды лет целенаправленного труда не прошли зря: разноцветные растения приманивают насекомых, тучи проливаются дождем на леса и пастбища. Любая форма или вещь объясняются там чьей-то пользой, а то, что явно не даст пользы — как льды Антарктиды или горные цепи, — есть исключение из правил, дикая, хотя, быть может, прекрасная ничемность, но и это не наверняка, поскольку человек, поворачивая течения рек, чтобы дать жизнь засушливым землям, или обогревая полосы, платил за улучшение одних территорий превращением в пустыни других, тем самым нарушая климатическое равновесие биосферы, отрегулированное тяжким эволюционным трудом жизни, который только кажется бесцельным. Темнота океанских глубин не служила подводным жителям укрытием от нападения, которое они по мере надобности могли освещать своими люминесцирующими органами, — наоборот: сама эта тьма вызвала к жизни именно такие, приспособленные к давлению, светящиеся и плавающие создания. На планетах, изобилующих жизнью, эта творческая сила мертвой природы робко поднимает свой голос только в подземельях, пещерах и гротах. Там, не будучи вовлечена ни в какие процессы приспособления, не обтесанная своими созданиями в их борьбе за существование, она с многотысячелетней сосредоточенностью, с бесконечным терпением творит из застывающих капель солевых растворов фантазмагорические леса сталактитов и сталагмитов. На таких планетах это — лишь отклонение от общих планетных работ, оно придавлено пещерными сводами и хотя бы потому не может обнаружить своего размаха. Создается впечатление, что подобные места — не обыденность для природы, а инкубатор для ее побочных детей, монстров, рождающихся вопреки законам хаоса.

На высохших же планетах, таких, как Марс или Меркурий, — окруженных всепронизывающим солнечным ветром, этим разре-

женным дыханием, неустанно веющим от звезды-родительницы, — там поверхность пустынна и мертва, поскольку все возникающие формы поглотил пламенный жар, чтобы обратить их в пепел, наполняющий чаши кратеров. И лишь там, где царит смерть, вечная, спокойная, где не действуют ни сита, ни жернова естественного отбора, формирующие любое создание по законам бытия, открывается простор для удивительных произведений материи, которая, ничему не подражая, никому не подчиняясь, выходит за границы человеческого воображения. Именно поэтому фантастические пейзажи Титана так ошеломили его первопроходцев. Люди всегда отождествляли порядок с жизнью, а хаос — со скукой мертвенности. Нужно было добраться до внешних планет, до Титана, самой большой из их лун, чтобы понять всю фальшь этого категорического диагноза. Чудовищные чудеса Титана — не важно, безопасные или предательские, — если смотреть на них издали и с высоты, кажутся просто хаотическими нагромождениями. Однако все меняется, если ступить на грунт этой луны. Страшный холод этого пространства, в котором Солнце еще светит, но уже не греет, оказался не препятствием, а стимулом материального созидания. Правда, мороз замедлил созидание, но тем самым дал ему возможность развернуться, предоставил то, что природе, не затронутой жизнью и не пронизанной солнцем, необходимо как предпосылка творчества, направленного в вечность. время, в котором один или два миллиона веков не имеют никакого значения.

Природным материалом здесь служат в принципе те же химические элементы, что и на Земле, но там они попали, если можно так сказать, в рабство к биологической эволюции, оставались в ее пределах — но и тогда поражали человека изысканностью сложнейших соединений, образующих организмы и их обусловленную жизнью видовую иерархию. Поэтому и считалось, что высокая степень сложности присуща не всякой материи, а только живой, поскольку неорганический хаос не может произвести ничего, кроме слепых вулканических судорог, изрыгающих потоки лавы и дожди серного пепла.

Кратер Рембедна когда-то треснул в северо-восточной части кольца. Потом в эту расщелину вполз ледник замерзшего газа. Еще через миллионы лет он отступил, оставив на перепаханной поверхности минеральные отложения, — к восторгу и заботе кристаллографов и не менее потрясенных ученых других специальностей. Действительно, было на что поглядеть. Пилот — сейчас он был водителем большехода — видел перед собой пологую равнину, лежащую среди отдаленных склонов гор и устланную...

собственно, чем? Над ней, казалось, распахнулись ворота неземных музеев и собраний камней, и оттуда высыпались каскадами костяки, остовы, обломки чудовищ — а может быть, их невоплощенные, безумные проекты, одни фантастичнее другого, — расколотые фрагменты существ, которым лишь случайно не пришлось участвовать в коловращении жизни. Он видел гигантские ребра — а может быть, скелеты пауков, обхвативших голенастыми лапами обрызганные кровью раздутые яйца; видел челюсти, вонзившие одна в другую хрустальные клыки, тарельчатые позвоночные столбы, будто рассыпанные после гибели допотопных пресмыкающихся. Эту дьявольщину во всем ее богатстве лучше всего было рассматривать с высоты Диглатора. Жители Рембдена называли его окрестности кладбищем — и действительно, этот пейзаж казался полем многовекового побоища, кладбищем разросшихся сверх меры и затем рассыпавшихся скелетов. Ангус замечал среди них гладкие поверхности суставов, которые могли бы торчать из трупов гороподобных чудовищ; там даже виднелись окровавленные волокна — места прикрепления мускулов, и рядом с ними — разложившиеся кожные покровы с радужной шерстью, которую мягко развевал и укладывал в волны ветер. Сквозь туман вдалеке маячило многоэтажное скопище членистоногих, слитых воедино в момент гибели. От грансных блестящих камней отходили столь же сияющие рога, а кругом в беспорядке валялись кости и черепа грязно-белого цвета. Он смотрел на все это и сознавал, что роящиеся в его голове образы, их мрачный смысл — всего лишь обман зрения, пораженного чуждым миром. Если бы он постарался, то, наверное, припомнил бы, какие соединения на протяжении миллиардов лет принимали эти формы. Некоторые из них, покрытые пятнами гематитов, прикидывались окровавленной костью, а другие, превосходя скромные достижения земных асбестов, создавали переливающийся всеми цветами радуги тончайший пушистый мех. Но самые точные результаты тщательных анализов ничего не стоили рядом со зрительными впечатлениями. Именно потому, что здесь ничто ничему никогда не служило, что здесь не действовал нож эволюционной гильотины, отсекающий у каждого дичка то, что не поддерживает существования и ничему не служит, именно потому, что природа, не сдерживаемая ни жизнью, порожденной ею самой, ни ею же приносимой смертью, могла обрести здесь свободу и обнаружила присущую ей расточительность, бесконечное мотовство, роскошь, извечную силу созидания без нужды, без цели, без смысла, — эта истина, понемногу постигаемая смотрящим, оказывалась еще более неистовым потрясением, чем впечатление, что он

смотрит на космический паноптикум трухлявой мимикрии, что здесь и в самом деле под грозовым небосклоном распростерты останки неизвестных существ. Нужно было в некотором роде перевернуть вверх ногами врожденное и односторонне направленное мышление: эти формы похожи на кости, ребра, черепа и клыки не потому, что когда-то служили жизни — они не служили ей никогда, — но скелеты земных позвоночных и их шерсть, и хитиновые панцири насекомых, и двустворчатые ракушки моллюсков имеют такую архитектонику, симметрию, изящество лишь потому, что природа умест создать все это и там, где ни жизни, ни присущей ей целенаправленности никогда не было и не будет

Погрузившись в транс философских размышлений, молодой пилот даже вздрогнул, вспомнив, как он сюда попал, где находится и какова его задача. А железная машина послушно и без промедления в тысячу раз усилила его переживания и дрожь, воем трансмиссий и содроганием всей своей массы отрезвив его и повергнув в смущение. Придя в себя, он зашагал дальше. Сначала он нерешительно опускал ноги, тяжелые, как паровые молоты, на псевдоскелеты, но попытки лавировать оказались затруднительными и безуспешными. Теперь он колебался лишь иногда, встречая на пути особенно внушительное нагромождение, обходил его лишь тогда, когда пробираться сквозь завалы или разбивать их было бы обременительно даже для его послушного великана. Кроме того, ощущение, будто он идет по бесчисленным костям, давит черепа, перепонки крыльев, рога, отвалившиеся от лобной кости, скулы, вблизи уменьшалось, почти исчезало, но пилоту временами казалось, что он идет по остаткам каких-то органических машин — гибридов, полуживотных, произошедших от скрещивания живого с мертвым, смысла с бессмыслицей; временами — что он иридиевыми подошвами топчет не по-земному разросшиеся драгоценности, благородные и подпорченные, тут и там покрытые бельмами взаимодействия и метаморфизации. А поскольку он со своей высоты должен был следить, куда и под каким углом ставит башнеподобную ногу, поскольку этот начальный переход — вынужденно медлительный — длился больше часа, его разобрал смех, когда он подумал, какие усилия придется прилагать земным художникам, чтобы выйти за пределы человеческого воображения, придающего смысл всему на свете, как эти бедняги толкуются в стенах собственной фантазии и как недалеко уходят от банальностей, даже полностью исчерпавшись, тогда как здесь на одном акре поверхности громоздится больше оригинальности, чем на сотне выставок, порожденных добросо-



вестными самоистязаниями. Но нет таких раздражителей, к которым человек не привык бы довольно быстро, и вот он уже пружинисто шел по кладбищам халькоцитов, шпинелей, аметистов, плагиоклазов — или, скорее, их дальних неземных родичей, — шел, как по обычной осыпи, переламывая в долю секунды ветку, выкристаллизовавшуюся неповторимым образом за миллионы лет, и не намеренно, а по необходимости обращая ее в стеклянистую пыль; иногда, заметив экземпляр красивее других, он ощущал жалость, но они так громоздились друг на друга, так гасили друг друга этим неисчислимым избытком, что его занимало только одно.

А именно: как сильно здешний край — не для него одного! — связан со сном, с царством призраков и безумием шокирующей красоты. Слова о том, что это мир, где природа видит сны, воплотившая свой великолепный ужас, свои замысловатые кошмары в твердом монолите материальных форм, как бы напрямую — минуя всякого рода психику, — сами просились на язык, ибо так же, как во сне, все увиденное казалось ему одновременно и совершенно чужим и абсолютно своим, что-то напоминало и в следующий миг неизменно ускользало из этих воспоминаний, все время представлялось некоей чепухой, маскирующей какой-то тонкий намек на коварный замысел, — поскольку здесь все с незапамятных времен как бы только начиналось с поразительной направленностью, но никак не могло завершиться, осуществиться в полном объеме, решиться на финал — на то, что ему предназначено.

Так он думал, ошеломленный и обстановкой, и своими рассуждениями, поскольку философские размышления были ему непривычны. За спиной осталось взошедшее солнце, и теперь перед ним лежала собственная его тень, и было странно замечать в движениях этой угловатой, уходящей далеко вперед тени машинную и одновременно свою собственную, человеческую, природу — это был силуэт безголового, колыхающегося, как корабль на плаву, робота, которому в то же время присущи были его собственные движения — гипертрофированные, как бы нарочитые. Правда, он не в первый раз это видел, но почти двухчасовое вышагивание по урочищу окрылило — или утончило — его воображение. И он не жалел, что, свернув за Рембденом сильнее на запад, утратил радиосвязь с его обитателями. Выйти из радиотени предстояло на тридцатой миле — уже скоро, — но сейчас он предпочитал быть один, вдали от стереотипных вопросов и ответов-рапортов.

На горизонте появились темные силуэты; с первого взгляда не было понятно, тучи это или горы. Ангус Парвис, который шел

к Граалю и при всем разыгравшемся воображении не связал своей фамилии с Парсифалем — ибо труднее всего выйти за пределы однажды осознанного тождества с самим собой, как бы вылезти из собственной кожи, да еще влезть в миф, — уже отвлекся от окружающего, отвлекся тем более легко, что декорация мнимой смерти, планетного *theatrum anatomicum* минералов, понемногу исчезала. Он с неспритворным равнодушием скользил глазами по искрящимся камням, как будто ожидающим его взгляда. Приняв решение, запретил себе думать о том, из-за чего оно было принято. Ему это было несложно. Астронавты умеют подолгу быть наедине с собой. Он шагал в раскачивающемся Диглаторе — при ходьбе великан, естественно, наклонялся из стороны в сторону. Шагомер показывал почти тридцать миль в час. Кошмарные призраки змеиных и птичьих плясок смерти сменились плавными скальными складками, покрытыми вулканическим туфом. Он был легче и мельче песка. Ангус мог прибавить шагу, но знал, что ощущения, которые испытываешь на полном ходу, трудно выносить долго, а его ждал многочасовой марш к впадине по еще более сложной территории. Зубчатые контуры на горизонте уже не были похожи на тучи. Он шел к ним, а тень плыла впереди — она казалась укороченной, потому что из-за огромной массы большехода его ноги составляли всего треть длины туловища; если было нужно увеличить скорость, удлинить шаг, приходилось заносить ногу, поворачивая вперед шарнир бедра, что было возможно, поскольку кольцевое навершие ног, точнее, шасси, соответствующее бедрам, представляло собой огромный поворотный круг, в котором крепилось туловище. Но тогда к боковым наклонам прибавляется раскачка всего великана вверх-вниз, и пейзаж шатается перед глазами водителя, как пьяный. Для бега такие тяжелые машины не годятся. На Титане для них проблематичен и прыжок с двухметровой высоты. На меньших планетах и на Луне их свобода передвижений больше. К тому же при конструировании не заботились особенно о быстроте этих машин, они строились не как средство передвижения, а предназначались для тяжелых работ, способность же шагать — дополнительное качество, увеличивающее самостоятельность усердного колосса.

Наверное, уже час Ангусу то казалось, что он вот-вот застрянет в хаосе скал, то, наоборот, что азимут рассчитан гениально, потому что, когда он приближался к очередному обвалу, к каменным глыбам, лежащим так непрочно, что порыв ветра мог бы, наверное, вызвать лавину, всегда в последний момент находился удобный проход, и ему не надо было ни лавировать, ни поворачивать назад от тупика. Правда, ему довольно скоро пришлось в

голову, что лучшим водителем на Титане оказался бы косой, поскольку нужно было одновременно присматриваться с высоты к поверхности перед машиной и глядеть на светящийся указатель направления, дрожащий, как игла обычного компаса, на фоне полупрозрачной карты. Однако это ему удавалось совсем даже неплохо, и он доверился глазам и прибору. Отделенный от мира шумом силовых агрегатов и резонансными колебаниями, в которое вводили весь корпус тяжелые шаги, он видел Титан сквозь поляризованные окна своего стеклянного помещения. Куда бы Ангус ни повернул голову — а он делал это движение, попадая на более ровные участки пути, — ему были видны горные хребты над морями туманов, кое-где разорванные силуэтами вулканов, заглохших столетия назад. Шагая по ноздреватой поверхности, он видел глубоко внизу тени вулканических бомб и непонятные темные очертания не то морских звезд, не то головоногих, застывших, как насекомые в янтаре.

Затем местность изменилась: она тоже была пугающей, но по-другому. Казалось, планета пережила период бомбардировок и извержений, добравшихся до самых небес слепыми взбросами лавы и базальта, чтобы замереть в дикой и отрешенной неподвижности. Он уже входил в эти вулканические ущелья. Стены вдалеке нависали каким-то невероятным образом. Что ж, все это не находило выражения на языке существ, сформировавшихся на более идиллической планете, но придавало динамичность мертвому оцепенению сейсмических выбросов, размах которых был обусловлен тяготением, не большим, чем на Марсе. Затерянному в этом лабиринте человеку перестала казаться огромной его шагающая машина. Она терялась, просто исчезала рядом с каскадами лавы. Их километровые огнепады когда-то сковал космический холод, и они застыли, низвергаясь в пропасть, превратились в гигантские вертикальные сосульки, в чудовищную колоннаду. Этот пейзаж превращал большеход в микроскопическое насекомое, ползущее вдоль постройки, которую с величественной небрежностью возвели, а потом забросили истинные великаны планеты. Если бы сироп стекал с какой-нибудь поверхности и застывал сталактитовыми сосульками, то именно так из щели пола взирал бы на него муравей. Однако соотношения масштабов были еще более разительны. В этой дикости, в этой гармонии хаоса, чуждой глазу человека, не похожей ни на какие земные горы, был виден жестокий облик пустоты, исторгнутой из глубин планеты, из жара, и застывшей под чужим солнцем в камень. Под чужим, ибо Солнце было здесь не пылающим диском, как на Луне или на Земле, а холодно горящей шляпкой гвоздя, вбитого в

рыжий небосклон, дающей немного света и еще меньше тепла. Снаружи было минус 90 градусов — лето в этом году выдалось необычайно мягкое. Сквозь устье ущелья Ангус увидел небо в зареве, оно поднималось все выше, пока не охватило четверть небосвода, и он не сразу понял, что это — не заря и не свет солектора, а извечный властитель Титана — окруженный кольцами, желтый, как мед, Сатурн.

Резкий наклон, кольхание кабины, внезапный вой моторов — положение и работа машины нормализовались скорес благодаря реакции гироскопов, чем маневрам Ангуса, и это заставило его понять, что сейчас не время для размышлений астрономического или философского характера. Он смущенно опустил глаза. Странно, как раз в этот момент он осознал комизм своих движений. Вися в упряжи, перебирал ногами в воздухе, но ощущал каждый громовой шаг, хотя вроде бы раскачивался, как играющий ребенок. Ущелье становилось все круче. Хотя Парвис укоротил шаг, машинное отделение наполнилось напряженным воем турбин. Он оказался в глубокой тени и, пржде чем зажег прожекторы, чуть не с<sup>т</sup>олкнулся с выступом скалы, по размерам превосходившим Диглатор. Масса машины, повинуюсь первому закону Ньютона, стремилась двигаться по прямой, и от резкого изменения направления моторы получили крайнюю перегрузку. Все индикаторы — до тех пор спокойного зеленого цвета — налились пурпуром. Турбины отчаянно завывли, работая на полную мощность. Указатель оборотов главного гироскопа замигал, показывая, что предохранитель вот-вот перегорит, и кабина накренилась, как будто Диглатор падал. Ангуса залил холодный пот, стало страшно, что он так по-идиотски расколотит доверенную ему машину. Но только щиток левого локтя столкнулся со скалой, заскрежетав, как корабль, налетевший на риф; из-под стали брызнули снопы искр, высеченных ударом, повалили клубы дыма, и большеход, содрогаясь, вернул себе равновесие.

Пилот пришел в себя. Он был доволен, что в ущелье потерял связь с Госсе, поскольку автоматический передатчик показал бы на мониторе его приключение. Он вышел из тени и удвоил внимание. Ему было стыдно: сплеховал в такой простой ситуации, старой как мир. Любой машинист знает по опыту, инстинктивно чувствует, какие это разные вещи — сдвинуть с места один паровоз или двинуться, когда к паровозу прицеплена череда вагонов. И он пошел дальше, как на смотру, и колосс снова был удивительно послушен. Он видел сквозь стекла, как легкое движение его руки становится взмахом ручищи — огромных тисков, — а когда он делает шаг, башнеобразная нога, двигаясь вперед, поблескивает щитком наколенника.

От космодрома он уже удалился на пятьдесят восемь миль. По карте, по спутниковым фотографиям, которые он изучал накануне вечером, наконец, по диораме территории, выполненной в масштабе 1:800, он знал, что дорога до Грааля делится на три основные части. Первая включала в себя так называемое кладбище и вулканическое ущелье, которое он только что прошел. Другую он уже различал — это был пролом в массиве застывшей лавы, пробитый серией термоядерных взрывов. Не было другой возможности покорить этот массив, результат самого мощного извержения орландского вулкана, — склоны его были неприступны. Ядерные взрывы вгрызлись в вулканические горные образования, преграждающие путь, и расщели их надвое, как горячий нож — кусок масла. На титанограмме кабины этот проход был обрамлен восклицательными знаками, напоминающими, что здесь ни при каких обстоятельствах нельзя покинуть машину. Остаточная радиация, созданная взрывами, все еще была опасной для человека, не защищенного панцирем большехода. Ущелье отделяла от прохода равнина протяженностью в милю, черная, как будто покрытая сажей. Там он снова смог услышать Госсе. Он промолчал о столкновении со скалой, а Госсе сообщил ему, что за проходом, у Большого Пика, на половине пути, радиоопеку над ним возьмет Грааль. Там начиналась третья, последняя часть пути через впадину.

Черная пыль, выстилавшая равнину между двумя горными грядами, покрывала ноги Диглатора выше колен. Он быстро и ловко шел в ее стелющихся клубках к почти отвесным стенам прохода, пробираясь сквозь завалы, оплавленные жаром взрыва. Обломки, твердые, как алмаз, под иридиевыми подошвами Диглатора трескались со звуком, подобным стрельбе. Дно прохода было гладкое, как стол. Ангус шел между обожженными стенами под громовые отзвуки шагов, которые он ощущал как свои собственные: он сросся с машиной, она сделалась его разросшимся телом. Внезапно он попал в темные, непроницаемые глубины и был вынужден включить прожекторы. Их ртутный блеск смешивался в стужке теней, клубившихся между стенами скальной горловины, с холодным, рыжим, неприветливым светом неба, яснеющим в устье прохода; по мере приближения оно становилось все больше. На последнем участке ущелье сужалось, словно не желая пропускать большеход, как будто его угловатые плечи должны были застрять в узости, похожей на трубу, но это был обман зрения: по обе стороны еще оставалось по несколько метров. Другое дело, что пришлось сбавить скорость, потому что чем быстрее шел «Поллукс», тем сильнее он раскачивался из стороны в сторону,

и с этим ничего нельзя было поделать. Раскачка при ускорении хода обусловлена законами динамики масс, и инженерам не удалось уравновесить создающиеся при этом моменты инерции. Последние триста метров Ангус шел круто под гору, осторожно ставя ступни и слегка наклоняясь к стеклу, чтобы как следует видеть, куда опустить ногу-бапню. Это занятие поглощало все внимание, и, только когда свет залил его со всех сторон, наполнил кабину, он поднял голову и увидел совершенно другой неземной пейзаж.

Большой Пик возвышался над бело-рыжим океаном волнистых облаков — черный, стройный, одинокий на фоне неба. Парвис понял, почему некоторые называют пик Божьим Перстом. Он постепенно замедлил шаг и, остановившись на этой смотровой площадке, попытался сквозь приглушенное пение турбин поймать голос Грааля. Не услышав ничего, попробовал вызвать Госсе, но и оттуда не было отклика. Он все еще находился в мертвой зоне. И тут произошла странная вещь. Только что контакт с космодромом был чем-то неприятен, в чем-то ему мешал, — может быть, потому, что даже не в словах, в голосе Госсе он ощущал скрытое беспокойство или, может быть, сомнение: справится ли он; и в таком сомнении было нечто покровительственное, а этого он просто не выносил. И вот сейчас, когда он остался действительно один, когда ни человеческий голос, ни автоматический пульс радиомаяка Грааля не могли поддержать его в этой бесконечной белой пустыне, вместо свободы и облегчения он ощутил неуверенность — подобно человеку, который попал во дворец, полный чудес, и не имеет ни малейшей охоты покинуть его, но вдруг видит, что ворота, до сих пор радушно открытые, сами за ним закрываются. Он выговорил себе за это бесплодное ощущение, похожее на страх, и начал спускаться к поверхности облачного моря по довольно покатою и местами обледенелому склону прямо к Большому Пику — черному, достигающему до неба и странно согнутому, словно палец, манящий его к себе.

Раз-другой подошва большехода соскользнула с тупым скрежетом, осыпая вниз громады камней, вырванных из ледяных оков, но это не грозило падением. Он только ставил ноги так, чтобы ступни врезались шипами пятки в скорлупу наста, и поэтому двигался медленнее, чем раньше. Спускался по крутому склону между двумя расселинами, упорно и нарочито топая, так что фонтаны ледяных брызг отлетали от его наколенников и поножей, всматривался в глубь долины, дно которой просвечивало сквозь проплешины туманов, и чем ниже он сходил, тем выше вздымался над ним из-за далеких молочно-белых туч черный

палец Большого Пика. Так он дошел до полосы пушистых облаков, плывущих ровно и медленно, как по невидимой воде; они доходили ему уже до бедер, до поворотного круга бедер, одно облако накрыло его вместе с кабиной, но исчезло, словно кто-то его сдул. Еще несколько минут Черный Палец маячил над пушистой бездной — как скальная палица над арктическим океаном, стоящая неподвижно среди пены и льдин, — потом исчез, словно Парвис был ныряльщиком, спустившимся на морское дно. Он остановился, потому что услышал прерывистый, слабый, пискливый стон. Поворачивая Диглатор то влево, то вправо, он подождал, пока это пение, совершенно отчетливое, не зазвучало в обоих ушах одинаково громко. Слышен был не сам Грааль, а радиомаяк Большого Пика. Надо было идти прямо к маяку, причем если бы водитель сбился с дороги, прерывистый сигнал изменился бы — в зависимости от отклонения: если забрать вправо, в сторону гибельной впадины, в правом ухе у него раздастся предостерегающий визг, а если отклониться в другую сторону, к сплошным непроходимым стенам, сигнал отозвучит басом — не таким тревожным, но тоже указывающим на ошибку. Шагомер показал сотую милю. Основная, технически самая трудная часть пути осталась позади. Меньшая, более коварная, лежала перед ним в туманной бездне. Литые тучи теперь темнели высоко, видимость доходила до нескольких сот метров, анероид свидетельствовал, что здесь расположена котловина впадины, точнее, ее надежная твердая кромка. Он шел, полагаясь одновременно на слух и на зрение, потому что кругом было светло от снега — замерзшей двуокиси углерода и оснований других застывших газов. Местами из-под белого покрова торчали эрратические валуны — следы ледника, который некогда вторгся с севера в распадок вулканического массива, своим телом углубил его южную часть, перепахал, окружил донным льдом скальные обломки и потом, отступая или растапливаясь от магматического нагрева, идущего из глубин Титана, изверг из себя и оставил при беспорядочном отходе морену. Пейзаж изменился: внизу как будто простирался зимний день, а сверху его накрывали темные ночные тучи. Ангуса теперь не сопровождала даже его тень. Он ступал уверенно, погружая в снег опущенные кристалликами стальные башмаки, а в панорамных зеркалах, обращенных назад, мог видеть собственные следы, достойные тиранозавра, самого большого из двуногих хищников мезозоя, и по этим следам проверял, достаточно ли прямо идет. С недавнего времени ему стала мерещиться странная вещь, поверить в которую было невозможно: все настойчивее казалось, что он не один в кабине, что за спиной находится другой человек;

его присутствие он ощущал по дыханию. Его настолько захватила эта иллюзия — а он не сомневался, что это иллюзия, вызванная, быть может, переутомлением слуха, притупившегося от монотонности радиосигналов, — что он задержал дыхание. И тогда кто-то явственно протяжно вздохнул. Об иллюзии, кажется, нечего было думать. Ангус обмер, споткнулся, его великан зашатался. Он резко выправил машину, так что указатели засветились, а турбины взвыли, затормозил, пошел медленнее, остановился.

Тот перестал дышать. Значит, это было эхо машинных колодцев Диглатора? Не двигаясь с места, он обвел взглядом пространство, и на бескрайних снеговых покровах увидел черную черточку, восклицательный знак, нарисованный тушью на близне горизонта, там, где нельзя было различить сутробы и облака. И хотя он никогда не видел большеход в подобных зимних декорациях и с расстояния в милю, его охватила уверенность, что это Пиркс. Ангус двинулся к нему, не обращая внимания на нарастающее раздвоение сигнала в наушниках. Прибавил шаг. Черный значок, семенивший у белой стены, превратился уже в фигурку, она суежилась, потому что он сам быстро двигался. Минут через двадцать стали определяться истинные размеры. Их разделяло полмили, может быть, чуть больше. Почему Ангус не подал голоса, не вызвал того по радио? Сам не знал почему, но не смел. Он всматривался до рези в глазах и различал уже за стеклянным окошком в сердце колосса маленького человечка, который шевелился, как паук, на нитках. Ангус шел за ним, и оба оставляли за собой длинные пылевые шлейфы, подобно кораблям, за которыми тянутся вспененные борозды кильватера. Ангус догонял его, в то же время вглядываясь в то, что происходило впереди: вдали переливалась белизной, клубилась метель, просветы в ней блистали ослепительной снега. Это была полоса холодных гейзеров. Тогда он окликнул преследуемого раз, другой, третий, а так как тот вместо ответа прибавил шаг, как бы стремясь скрыться от своего спасителя, последовал его примеру, усиливающимися наклонами корпуса и взмахами мощных рук подгоняя великана к краю гибели. Стрелка шагомера дрожала у красной черты — 48 миль в час. Ангус звал беглеца хриплым от возбуждения голосом, но тут черная фигура раздалась вширь и вытянулась, ее контуры утратили резкость, и он уже не видел человека в Диглаторе — оставалась только тень, расплывавшаяся в бесформенное пятно, пока все не исчезло. Он был один и пытался догнать себя самого — феномен довольно редкий, но известный и на Земле; например, бродячий призрак. Увеличенное собственное отражение на фоне светлых облаков. Но он —



его тело, пораженное открытием, в приступе жестокого разочарования, в напряжении всех мускулов, в одышке, в горьком бешенстве и отчаянии хотело остановиться как вкопанное, сразу, не медля, — и тогда в глубинах колосса раздалось рычание и его бросило вперед. Датчики залило красным, как вскрытые вены — кровью. Диглатор задрожал, словно корабль, налетевший на подводную скалу, корпус подался вперед, и, если бы Ангус не вывел его из наклона, сделав несколько замедляющихся шагов, обязательно бы рухнул. Хоровой протест внезапно перегруженных агрегатов утих, а он, чувствуя, как по разгоряченному лицу текут слезы разочарования и гнева, стоял на расставленных ногах, дыша так, будто сам с огромным усилием пробежал последние километры. Несколько остыл и, вытирая краем перчатки пот с бровей, увидел, как огромная лапа большехода, придав соответствующий размах этому рефлекторному жесту, поднимается, закрывает окно кабины и с грохотом врежется в излучатель, укрепленный на безголовых плечах. Он забыл отключить руку от усилительного контура! Этот очередной идиотский поступок окончательно привел его в себя. Он повернул назад, стараясь идти по собственным следам, потому что тоны сигналов маяка совершенно расстроились. Нужно было вернуться на дорогу, пройти по ней, сколько удастся, а если метель нарушит видимость, уходить от области гейзеров — во время погони он запомнил, как она выглядит, — пользуясь излучателем. Кое-как ему удалось найти место, где отраженный в облачном зеркале мираж заморочил его до полной потери ориентации. А может быть, он свалил дурака раньше, когда поддался не оптической, а акустической иллюзии и перестал сверять маршрут, указываемый радиомаяком, с картой? В том месте, куда его завел собственный призрак — не очень далеко от намеченной дороги, по шагомеру всего девять миль, — на карте не было никаких гейзеров. Их фронт проходил севернее — согласно последним исследованиям местности, нанесенным на карту. На основе авиационной и радарной разведки и снимков, выполненных ПАТОРСом, Мерлин предложил перенести дорогу из Рембдена в Грааль далеко к югу, чтобы она проходила не в очень удобном, но безопасном месте через котловину, никогда до сих пор не затоплявшуюся, хотя и засыпаемую снегами гейзеров. Поверхность этой котловины могла быть в худшем случае засыпана снегом двуокиси углерода, но у Диглатора хватало мощности, чтобы преодолеть пятиметровые сугробы, а если бы он застрял в них и сообщил об этом, Грааль мог послать туда автоматические бульдозеры, снятые с земляных работ. Но суть проблемы была в том, что неизвестно,

где пропали один за другим три большехода. На прежней дороге, заброшенной после давних несчастных случаев, можно было поддерживать непрерывную радиосвязь, однако до южной котловины короткие волны не доходили впрямую, а их отражениями нельзя было воспользоваться, так как Титан лишен ионосферы. Нельзя было применить и спутниковую связь — неделю назад все расчеты спутал Сатурн, заглушивший шлейфом своей бурной магнитосферы любое излучение, кроме лазерного; лазеры Грааля, правда, пробивали слои туч и доходили до патрульных спутников, но те не могли перекодировать световые импульсы в радиосигналы, потому что не были оборудованы преобразователями волн столь широкого диапазона. Они, правда, могли принимать световые импульсы и ретранслировать их во впадину, но, к сожалению, чтобы пробить гейзерные бури, пришлось бы передавать лазерами такую энергию, которая расплавила бы зеркала спутников. Зеркала, выведенные на орбиты, когда Грааль только готовился к деятельности, постепенно покрылись коррозией, потемнели и поглощали теперь порядочную долю передаваемой энергии вместо того, чтобы отражать ее на 99 процентов. В это сплетение недосмотра, неправильно понимаемой экономии средств, спешки, транспортных задержек и обычной глупости, присущей людям везде, а стало быть, и в Космосе, попали исчезнувшие большеходы. Твердая почва южной оконечности впадины представлялась последним спасательным кругом. В том, насколько она действительно тверда, Ангусу предстояло вскоре убедиться. Если он рассчитывал найти следы своих предшественников, то скоро оставил эту надежду. Он шел по азимуту и доверял ему, поскольку дорога поднималась и вывела его из метели. Слева виднелись затянутые тучами бесснежные склоны застывшей магмы. Он ступал осторожно. Шел по камнеплому, пересская заледневшие ложбины, во льду которых оставались пузыри незамерзшего газа. Когда раз-другой стальная ступня пробила ледяную скорлупу и попала в пустоту, треск ломающегося льда перекрыл шум моторов. Такой грохот слышат, наверное, лишь вахтенные на ледоколе, таранящем полярные торосы. Прежде чем двинуться дальше, он заботливо оглядел ногу, добытую из расщелины, и шел, пока радиодуэт одинакового тона и высоты не расстроился. Справа начало свистеть, а слева — басыть. Он поворачивался, пока тоны не зазвучали одинаково. Неожиданно открылся довольно широкий проход между нагромождениями ледяных плит — Ангус, конечно, знал, что это не лед, а застывшие углеводороды. Он спускался по сухой крупнозернистой осыпи, изо всех сил сдерживая шаг, — так несло по скло-

ну тысячу восемьсот тонн большехода. Вулканические стены расщелили облака, открыли вид на котловину, и вместо надежной почвы он увидел Бирнамский лес.

Наверное, с тысячу тесно составленных жерл били одновременно, выбрасывая в атмосферу струи раствора солей аммония. Радикалы аммония, удерживаемые в свободном состоянии чудовищным давлением недр, выстреливались в темное небо, обращая его в кипящий котел. Ангус знал, что гейзеры не должны были дойти досюда. Эксперты исключали такую возможность, но сейчас он об этом не думал. Ему следовало либо сразу вернуться в Рембдсн, либо идти за путеводным напевом — несвиным, хотя и обманным, как пение сирен Одиссея. Грязно-желтые тучи лениво и тяжело расплывались над всей впадиной, из них падал странный, липкий, тянущийся снег, создавая «бирнамские леса». Их называли так за то, что они передвигались. На самом деле это вовсе не лес, и только с большого расстояния он напоминает занесенную снегом чащу. Неистовая игра химических радикалов, постоянно питаемая притоком новых выбросов, поскольку разные группы гейзеров быют каждая в своем, неизменном ритме, создает хрупкие фарфоровые джунгли, достигающие четверти мили в высоту, — их росту способствует слабая гравитация; так образуются скользкие белые разветвления и заросли, они накладываются друг на друга, слой за слоем, пока нижние под гнетом этого устремляющегося в небо массива кружевных ветвей не рушатся с протяжным грохотом, — так рухнул бы всепланетный склад посуды при землетрясении. Как раз «посудотрясением» кто-то беззаботно назвал обвалы бирнамских лесов, которые кажутся ошеломляющим и невинным зрелищем лишь с птичьего — вернее, с вертолетного — полета. Этот лес Титана и вблизи кажется невесомой белопенной конструкцией, поэтому не только большеход, но и человек в скафандре может пробраться сквозь его застывший подлесок. Правда, нельзя так вот бездумно углубляться в эту застывшую пену, в переплетения раздувшейся при замерзании снежной массы и кружев из тончайших фарфоровых нитей, легких, как пемза. Без спешки тут можно продвигаться вперед, потому что эта громада — не что иное, как туча застывшей паутины. Здесь есть все оттенки белого: от переливающегося перламутром до ослепительно молочного. Но хотя в лес можно войти, никогда нельзя знать, не находится ли именно эта его область на грани разрушения и не обрушится ли она, погребая путешественника под многими сотнями метров стекловидной, саморазрушающейся массы, которая только в осколках легка как пух.

Когда Ангус еще пересекал осыпь, о близости белого леса,

невидимого за черными уступами горного склона, его известил блеск с этой стороны, как будто там должно было взойти солнце. Блеск был похож на свет, отраженный от туч над Северным океаном Земли, — его видно, когда корабль, плывя еще по открытой воде, приближается к ледовым полям.

Ангус шел навстречу лесу. Впечатление, что он на корабле, или, скорее, что сам он — корабль, усиливала мерная качка несущего его великана. Пока он сходил с откоса, взгляд его достигал горизонта, обрисованного четкой линией, лес же с высоты выглядел как распластанная на почве туча, поверхность которой бурлит и сотрясается в непонятном движении. Он шел враскачку, а туча перед ним росла, как кромка материкового льда. Он уже различал отходящие от нее длинные изогнутые языки, подобные снежным лавинам, ползущим в необыкновенно медленном темпе. Когда лишь несколько сот шагов отделяло его от снежных сплетений, он начал различать зияющие в них отверстия — от крупных, размером со вход в пещеру, до мелких нор. Они темнели в блестящих переплетениях пушистых веток и рогатых суков из мутного и белого стекла. И вот под стальными башмаками захрустели мелкие, острые осколки, ломающиеся при каждом шаге. Радиодуэт продолжал уверять, что направление взято верно. Он шел, слыша треск ломаемых корпусом и коленями зарослей и усилившийся шум моторов, которые увеличивали обороты, чтобы преодолеть растущее сопротивление. Шел, избавившись от первоначального волнения, без тени страха, но с отчаянием в сердце, потому что слишком хорошо понимал: легче найти иглу в стогу сена, чем хоть одного из пропавших. В этом лесу не могло остаться никаких следов, потому что непрерывно бьющие фонтаны гейзеров подпитывали тучу и любой пролом зарастал, как быстро затягивающаяся рана. Он проклинал в душе окружающую его красоту — пусть сто раз неповторимую. Тот, кто позаимствовал у Шекспира название для леса, наверное, был эстетической натурой, но не такие сравнения приходили сейчас в голову висящему в большеходе Ангусу. Бирнамский лес Титана по многим известным — и неизвестным — причинам попеременно то отступает, то охватывает во впадине тысячи, десятки тысяч гектаров, но в лесу гейзеры сами по себе не слишком опасны, потому что их присутствие ощущается издали, еще до того, когда увидишь их вибрирующие в поднебесном рывке столбы газов, спрессованных подземным давлением, а сам их рев, столь оглушительный и пронзительный, будто в родовых муках от боли или ярости рычит сама планета, сотрясает нижние ярусы и образовавшиеся

смерчи валят вокруг всю качающуюся, ломающуюся, брызгающую уже застывшим стеклом чашу. Нужно необыкновенное невезение, чтобы попасть в устье гейзера, впавшего между двумя извержениями в минутную спячку. Легко обходить на безопасном расстоянии другие, те, что заявляют о своей активности непрерывным свистящим громом и содроганием окрестного подлеска, переливами его предсмертной белизны. Но неожиданное извержение, хотя бы и не очень близкое, погребает разведчика под гигантским обвалом.

Ангус почти прильнул лицом к бронированному стеклу и всматривался, медленно продвигаясь вперед. Он видел молочно-белые стволы самых толстых из застывших вертикальных струй; разветвления в верхней их части были подобны мерцающим клубкам — массивными и литыми они были только у основания. А вверху на заледенелых джунглях нарастали следующие — все более легкими ярусами; застывая, они принимали скелетоподобные и паутинообразные формы, превращаясь в канаты, коконы, гнезда, псевдоплауны, головастиков, в жабры еще дышащих, но ободранных до костей рыб, — ибо все это расплзлось, вилось, из толстых ледяных сосулек вытягивались тонкие стрелчатые побеги, закручивались в мотки, и те затвердевали и обволакивались следующим слоем сразу же замерзающего клейкого молочка, непрерывно сочившегося с высоты, неведомо откуда. Никакое слово, рожденное на Земле, не могло передать то, что происходило здесь — в белом, лишенном тени, светлом молчании, в этой тишине, сквозь которую слышалось еще далекое, только зарождающееся ворчание, свидетельство прилива, нагнетаемого в горловины гейзеров, и когда Ангус приостановился, чтобы прислушаться, откуда доносится этот нарастающий звук, то заметил, что Бирнамский лес начал поглощать его. Не подошел к нему, как лес в «Макбете», нет, — как бы ниоткуда, из воздуха, здесь совершенно неподвижного, появлялись микроскопические хлопья снега; они не падали, а возникали прямо на темных пластинах панциря, на стыках плечевых щитков; уже весь верх корпуса был припорошен этим снегом, который не был похож на снег, так как не падал мягко на металлические пластины корпуса, не скапливался в его углублениях, а прилипал, как белый сироп, пускал ростки — молочно-волокнистые нити, — и Ангус не успел оглянуться, как оброс снеговым мехом, который тысячами волосинок, вытягивающихся и переливающихся на свету, превратил туловище Диглатора в огромное белое чудовище, в диковинного снеговика. Тогда он позволил себе короткое резкое движение, рывок, и застывшие слепки стальных конечностей, наколенников отва-

лились огромными кусками, рассыпались при падении мелкими брызгами, образуя сугробы. Блеск высвечивал в этой зыбкой кипени фантазмагорические формы и бил в глаза, но не освещал почву, и Ангус только теперь по-настоящему оценил пользу работающего излучателя.

Его невидимый жар растапливал в чаще туннель, по которому Ангус шел, слыша то справа, то слева отдаленный шум газовых струй, подобный пушечным выстрелам, доносившимся из зацепившихся за подлесок туч. Один раз он прошел мимо разрываемого судорогами, неистово хлещущего фонтана гейзера. Вдруг снежный лес расступился, впереди была поляна, укрытая крышей из ветвей, вздувшейся пузырем. Посреди лежала черная громадина, показывая ему подошвы скрещенных стальных ног и согнутый корпус, издали напоминавший корабль на мели. Левая рука была просунута между белыми стволами, ее кисть загоразживали кусты; правую корпус вдавил в грунт при падении. Стальной великан лежал согнутый, но как будто не побежденный окончательно, потому что конечности были покрыты инеем, но тело оставалось чистым. Воздух чуть дрожал над выпуклостью туловища, подогреваемый теплом, все еще постулавшим изнутри, и Парвис, окаменевший около большехода-близнеца, просто не смел поверить, что невероятное чудо встречи произошло. Он собрался было подать голос, но заметил два обстоятельства: под поверженным Диглатором широко растекалась лужа маслянисто-желтой жидкости из лопнувших трубопроводов гидравлики, что означало в лучшем случае частичный паралич. Кроме того, переднее стекло кабины, сейчас так похожее на овальный иллюминатор, было разбито; в окантовке рамы торчала изоляция. Из этого отверстия, наполненного мраком, шел пар, как будто агонизирующий гигант никак не мог испустить последний вздох. Торжество, радость, ошеломление пилота сменились ужасом. Осторожно и медленно наклоняясь над развалившейся машиной, он уже понимал, что она пуста. Прожектор осветил внутренность большехода — там были свободно висящие ремни с прикрепленной к ним металлизированной кожей; наклониться сильнее он не мог и с трудом осмотрел все углы пустой кабины в надежде, что потерпевший аварию, уходя в скафандре, оставил какое-нибудь известие, знак, но увидел только опустошенный ящик для инструментов и выпавшие из него ключи. Он довольно долго пытался догадаться, что произошло. Диглатор мог упасть из-за обвала, а водитель, когда попытки сдвинуть с места придавленную машину не удались, выключил систему ограничителей мощности, и в результате от чрезмерного давления лопнули маслопроводы. Остекление каби-

ны он разбил не сам, поскольку мог выбраться через люк в бедре или аварийный в спине. Скорее всего, оно расколосось при обвале, когда большеход упал ничком. На бок он повернулся, пытаясь сбросить придавившую его тяжесть. Ядовитая атмосфера, наполнив кабину, убила бы человека быстрее, чем мороз. Значит, обвал не застал его врасплох. Когда сплетенные ветви навалились на машину, водитель, видя, что ей не выстоять, успел надеть скафандр. Потому-то ему и пришлось прибегнуть к аварийному управлению: сначала он скинул электронную кожу. Его Диглатор не нес на себе излучателя, и он совершил единственно разумный поступок. Взял инструменты и вполз в машинное отделение; убедившись, что гидравлику не исправить, так как лопнуло слишком много маслопроводов и утечка оказалась слишком велика, отключил трансмиссии от реактора и включил его на почти полную мощность. Большеход он все равно считал погибшим, и жар ядерного реактора, хотя и пережег движители машины — или, скорее, именно потому, что разогрел их докрасна, — проходил сквозь бронированное туловище и растапливал завал. Так образовалась эта пещера с остекленевшими стенами, сам вид которых свидетельствовал о температуре, исходившей от остова. Ангус проверил свои предположения, поднес к спине корпуса счетчики Гейгера. Они мгновенно защелкали. Реактор на быстрых нейтронах расплавился от внутреннего жара и, наверное, уже остывал, но внешний панцирь был горячим и радиоактивным. Значит, водитель покинул машину через разбитое стекло, бросив бесполезные инструменты, и пошел в лес. Ангус пытался разглядеть следы на разлитом масле и, не найдя их, прошел вокруг металлического трупa, высматривая в стенах сверкающей пещеры отверстия, сквозь которые бы мог пролезть человек. Таких нигде не было. Ангус не мог рассчитать, сколько времени могло пройти с момента аварии. Два человека пропали в лесу трое суток назад. Пиркс — на двадцать-тридцать часов позже. Малая разница во времени не позволяла определить, обнаружил он машину одного из операторов Грааля или же Пиркса. Живой, закованный в железо, он стоял над мертвым железным ломом и с холодной рассудительностью раздумывал, что предпринять. Где-то в этом расплавленном пузыре обязательно был пролом, которым воспользовался водитель и который после его ухода успел затянуться. Фарфоровый шрам должен быть довольно тонким. Из Диглатора его не разглядеть. Остановив машину, он поспешно переделался в скафандр, сбежал по гулким ступеням к люку на бедре, спустился по лесенке на стопу и спрыгнул на скользкий грунт. Пещера, выплавленная в завале, теперь казалась ему намного боль-

шей, или — вернее — сам он как бы внезапно уменьшился. Он обошел ее кругом — почти шестьсот шагов. Прижимался шлемом к прозрачным местам, простукивал их — к сожалению, их было много, — а когда молотком, прихваченным из рубки, стал стучать по углублению между твердыми, как дуб, стволами, стенка треснула, подобно стеклу, и на него сейчас же посыпалось с потолка пещеры. Сначала ссыпалась струйка мелких обломков, потом раздался треск, и сорвалась целая туча мелких кусков и стеклянной пыли. Тогда он понял, что все напрасно. Следов потерпевшего аварии не найти, а сам он тоже в хорошей ловушке. Пролом, сквозь который он вошел внутрь растопленного завала, затягивался белыми сосульками, они уже затвердевали, как соляные столпы, но соль эта была не земная — они разветвлялись на стволы толщиной в руку. Ничего нельзя было сделать. Более того, не оставалось времени на раздумье, поскольку своды оседали и почти касались купола излучателя на плечах большехода и тот словно превращался в Атланта, держащего на себе всю тяжесть застывших наверху выбросов гейзера. Он не помнил, как вновь оказался в кабине, уже чуть-чуть наклонившейся вместе с туловищем, которое сгибалось миллиметр за миллиметром, не помнил, как натянул электронный костюм. Еще мгновение он думал, не включить ли излучатель. Но теперь в любом его действии таился непредсказуемый риск: подтаявший свод мог поддаться, а мог и рухнуть; он прошел несколько шагов, отыскал место рядом с черным остовом, откуда можно было взять разбег, и на полной мощности таранил замерзший вход — не затем, чтобы позорно бежать, но чтобы выбраться из стеклянистой могилы. А дальше будет видно.

Турбонасосы взвыли. Белая с натеками стена треснула под ударом двух стальных кулаков, черные трещины звездами разбежались вверх и в стороны, и тут же раздался гром. Все случилось слишком быстро, он ничего не успел понять. Он ощутил удар сверху, настолько мощный, что ограждающий его гигант издал единственный басовый стон, зашатался, пролетел в пролом, как лист бумаги, и рухнул наземь под лавиной обломков и крошки так неожиданно, что, несмотря на амортизацию подвески, внутренности комом подступили Парвису к горлу. При всем этом последний этап падения происходил невероятно медленно: глыбы на дороге, по которой он пришел, приближались, отчетливо видные сквозь стекло, как будто не он падал, а снежная гладь, обстреливаемая градом обломков, вставала перед ним на дыбы; с многоэтажной высоты он приближался к этой белизне, окутанной облаками пыли, пока сквозь все шпангоуты туловища, защитные



пластины панциря, сквозь вой двигателей до него не долетел последний грохочущий удар. Он лежал ослепленный. Стекло не лопнуло, а врезалось в завал, тяжесть которого он ощущал на себе, на спине Диглатора; двигатели были уже не под ним, а за ним — на холостом ходу, поскольку из-за перегрузки автоматически отключились муфты сцепления. На черном, как сажа, фоне окна рдели все указатели. Постепенно они поблекли, стали зеленоватыми, но те, что были слева, гасли один за другим, как остывающие угольки. Левая сторона машины была парализована: движения левой руки и ноги Ангуса не давали никакого эффекта. Светился лишь контур другой, симметричной половины большехода. Судорожно вдохнув воздух, он ощутил запах горячего масла: так и есть. Можно ли хотя бы ползти в наполовину парализованном Диглаторе? Он попробовал. Турбины послушно запели в унисон, но предупредительные сигналы блеснули пурпуром. Обвал швырнул машину бакбортом вперед, и тот принял на себя всю тяжесть удара. Глубоко дыша, двигаясь очень медленно, он вслепую включил внутреннее освещение, потом — аварийный интроскоп большехода, показывающий состояние конечностей и всего туловища, за исключением двигателей. Обрисованное холодными линиями изображение появилось сразу. Стальные ноги сцепились, вернее, переплелись; левый коленный сустав лопнул. Левая ступня зашла за правую, но и той он не мог пошевелиться. Там, очевидно, сцепились выступающие элементы конструкции, а остальное довершило давление обвала. Раздражающий запах перегретой жидкости из гидравлики жег ноздри. Еще раз он попробовал сдвинуться с места, переключив сеть маслопроводов на другой, куда менее мощный аварийный контур. Тщетно. Что-то теплое, склизкое мягко обтекало его ступни, голени, бедра — лежа на стекле, он в белом свете лампочки над головой увидел втекающее в кабину масло. Оставался единственный выход. Он растегнул молнию, вылез из электронной оболочки, голый, присев на корточки, открыл стенной шкаф, очутившийся теперь на потолке, и охнул, когда на него вывалился скафандр, ударив в грудь кислородными баллонами, а за скафандром в лужу масла упал белый шар шлема. Без колебаний, голый, в спокойном искусственном свете, он влез в скафандр, вытер основание шлема, потому что и оно уже было в масле, надел его, застегнулся и на четвереньках полез через колодец, теперь горизонтальный, к люку на бедре.

Ни рабочего, ни аварийного люка открыть не удалось. Никто не знает, сколько времени он провел потом в кабине, в какую минуту снял шлем и, лежа на залитом маслом стекле, поднял руку

к красному огоньку, чтобы разбить пластиковый колпачок и изо всех сил вогнать в глубь будущего кнопку витрификатора. Никто не может знать и того, что он думал и чувствовал, готовясь к ледяной смерти.

## СОВЕТ

Доктор Герберт сидел у открытого настежь окна и, удобно вытянувшись, прикрыв ноги пушистым пледом, рассматривал пачку запрессованных в пластик гистограмм. Хотя день был в разгаре, в комнате стоял полумрак. Его усиливал темный, словно закопченный, потолок, на котором перекрещивались грубые, с каплями смолы балки. Пол был дощатый, стены — из толстых бревен. В окнах виднелись поросшие лесом склоны Ловца Туч, а вдали — массив Кракаталька и отвесный обрыв самой высокой вершины, похожей на буйвола с обломанным рогом, которую индейцы столетия назад называли Камнем, Взятым в Небо. Над серой от валунов долиной поднимались отлогие склоны, в тени поблескивавшие льдом. За северным перевалом виднелись синеющие равнины. Там, вдали, поднималась в небо тонкая струйка дыма — знак действующего вулкана. Доктор Герберт сравнивал снимки, делая на некоторых пометки. До него не долетало ни малейшего шороха. Пламя свечей стояло неподвижно в прохладном воздухе. Их свет карикатурно вытягивал очертания мебели, выгесанной на древнеиндейский манер. Огромное кресло в виде человеческой челюсти отбрасывало на потолок чудовищную тень ощеренных подлокотников, заканчивающихся торчащими клякками. Над каменном скалились безглазые деревянные маски, а ножкой столика, стоявшего неподалеку от Герберта, служила свернувшаяся змея, голова которой лежала на ковре, поблескивая глазами. В них красноватым светом переливались полудрагоценные камни.

Издали послышался звук колокольчика. Герберт отложил снимки и встал. Комната мгновенно преобразилась, превратившись в просторную столовую. Посредине стоял стол без скатерти. На темной поверхности сияло серебро и нефритовая зелень приборов. В открытую дверь вкатилась коляска, какими обычно пользуются парализованные. В ней покоился толстый человек с мясистым лицом и маленьким носом, тонущим в щеках. Толстяк был одет в просторную кожаную куртку. Он вежливо поклонился Герберту, сидевшему за столом. Тут же появилась худая как палка дама, черные ее волосы разделяла надвое седая прядь. Напротив Герберта уселся невысокий господин с апоплексическим лицом.

Когда слуга в вишневой ливрее подавал первое, вошел опоздавший — седой мужчина с раздвоенным подбородком. Остановившись между буфетами, у массивного облицованного камнем камина, он согрел над огнем руки, прежде чем сесть на место, указанное парализованным хозяином.

— Ваш брат еще не вернулся с экскурсии? — спросила худая женщина.

— Торчит, вероятно, на Зубе Мацумака и смотрит в нашу сторону, — ответил опоздавший, подвинув свое кресло к столу.

Он ел быстро, с аппетитом. Если не считать этого обмена репликами, обед прошел в молчании. Когда слуга налил последнюю чашечку кофе, аромат которого смешивался со сладковатым запахом сигар, вновь прозвучал голос худой женщины:

— Вантенед, сегодня вы должны рассказать нам продолжение этой истории про Око Мацумака.

— Да, да, — отозвались все.

Мондиан Вантенед несколько надменно сплел пальцы на толстом животе. Обвел взглядом присутствующих, как бы замыкая круг слушателей. В камине треснуло догорающее полено. Кто-то отложил вилку. Звякнула ложечка, и настала тишина.

— Так на чем я остановился?

— На том, как дон Эстебан и дон Гильельмо, узнав легенду о Крагапульку, отправились в горы, чтобы проникнуть в Долину Семи Красных Озер.

— За все время пути, — начал Мондиан, устраиваясь поудобнее в своей коляске, — оба испанца не встретили ни зверя, ни человека, только иногда слышался клекот орлов да изредка вверху пролетал коршун. С трудом удалось им забраться на откосы Мертвой Руки. Оттуда их взорам открылся высокий хребет, напоминавший туловище коня, вставшего на дыбы, с задранной в небо бесформенной мордой. Гребень хребта, острый, как лошадиная шея, окутывал туман. Тогда дону Эстебану вспомнились странные слова старого индейца из долины: «Беритесь гривы Черного Коня». Они посоветовались, стоит ли идти дальше; у дона Гильельмо, как вы помните, на предплечье была вытатуирована схема горной цепи. Запасы еды подходили к концу, хотя был всего шестой день пути. Они подкрепились остатками солонины, жесткой, как канат, и утолили жажду у родника, вытекавшего из-под Срубленной Головы. Но никак не могли сориентироваться, ибо вытатуированная карта оказалась неточной. Перед заходом солнца начал, как прилив на море, подниматься туман. Они полезли вверх, на хребет Коня, но, хотя шли так быстро, что дышали, как загнанные звери, и кровь стучала в висках, туман оказался бы-

стрее и настиг их на самой шее Коня. Там, где их накрыла белая пелена, ребро сужалось до толщины рукоятки мачете. Идти было нельзя, и они сели на ребро верхом, как на коня, и так продвигались, окруженные со всех сторон влажной белой мглой, пока не стемнело. Когда силы их иссякли, грань кончилась. Они не знали, что перед ними — обрыв пропасти или тот спуск в Долину Семи Красных Озер, о котором рассказывал старый индеец. Всю ночь просидели они, спина к спине, согревая друг друга и сопротивляясь ночному ветру, который свистел на ребре, как нож на точиле. Задремлешь — свалишься в пропасть, и семь часов они не смыкали глаз. Потом взошло солнце и растопило туман. Они увидели, что под ногами у них скальные стены. Впереди зияла восьмифутовая расщелина. Туман рвался в клочья о шею Коня. Вдалеке они видели черную Голову Мацумака и поднимающиеся вверх столбы красного дыма попеременно с белыми облаками. Обдирая в кровь руки, они спустились по узкому ущелью и добрались до Долины Семи Красных Озер. Здесь, однако, силы оставили Гильельмо. Дон Эстебан, ведя товарища за руку, полез на скальный уступ, нависавший над пропастью. Они шли так, пока не набрали на осыпь, где смогли передохнуть. Солнце поднялось высоко, и Голова Мацумака принялась плевать в них глыбами, отскакивавшими от скальных навесов. Спасаясь, они побежали вниз. Когда голова Коня в вышине над ними стала казаться не больше детского кулачка, они увидели Красный Родник в облаке рыжей пены. Тогда дон Эстебан достал из-за пазухи связку ремешков цвета дерева аканта с бахромой из шнурочков, выкрашенных красным и завязанных множеством узелков. Он долго перебирал их, читая индейские письмена, пока не нашел нужную дорогу.

Перед ними расстилалась Долина Молчания. Они шли по огромным камням, между которыми зияли бездонные провалы.

— Мы уже близко? — произнес Гильельмо шепотом — пересохшие голосовые связки не давали ему говорить громко.

Дон Эстебан дал ему знак молчать. В какой-то момент Гильельмо споткнулся и столкнул камень, за которым посыпались другие. Отвечая на шум, вертикальные стены Долины Молчания задымили, покрылись серебристой мглой, и тысячи известняковых палиц рухнули вниз. Дон Эстебан, который как раз поравнялся со скальной нишей, втянул приятеля под навес; смертоносная лавина докатилась до них и бурей пролетела дальше. Через минуту все стихло. Дона Гильельмо ранило в голову осколком камня. Дон Эстебан содрал с себя рубашку, разорвал на полосы и перевязал ему лоб. Наконец, когда долина сузилась так, что

полоска неба над их головами была не шире реки, они увидели поток, струившийся по камням без малейшего звука. Вода его, сверкавшая, как бриллиант, уходила в узкий желоб. Им пришлось по колено войти в ледяную быструю воду. Течение сбивало с ног. Вскоре, однако, поток свернул в сторону, и они оказались на сухом желтом песке перед пещерой со множеством отверстий в глубине. Дон Гильельмо без сил опустился на песок и тут заметил его странный блеск. Горсть песка, которую он взял, чтобы рассмотреть, была необычайно тяжелой. Он поднял руку ко рту и попробовал песок на вкус. И понял, что это золото. Дон Эстебан вспомнил слова индейца и оглядел грот. В одном углу горело отвесное, застывшее, совершенно неподвижное пламя. Это была отполированная водой кристаллическая глыба; над ней в скале зияло небо. Он подошел к прозрачной глыбе и заглянул в ее глубину. По форме она была похожа на огромный вогнутый в землю гроб. Сначала он разглядел в глубине лишь мириады подвижных огоньков, ошеломляющее кружение серебра. Потом ему показалось, что все вокруг стало темнеть, и он увидел огромные раздвигающиеся берестяные пластины. Когда они исчезли, он заметил, что из самого центра ледяной глыбы на него кто-то смотрит. Это был медный лик, изборожденный резкими морщинами, с узкими, как лезвие ножа, глазами. Чем дольше дон Эстебан смотрел, тем заметнее становилась злобная улыбка видения. С проклятьем он ударил стилетом, но оружие бессильно скользнуло по камню. В тот же миг медное лицо, искривленное усмешкой, исчезло. Поскольку у дона Гильельмо начался жар, дон Эстебан не стал рассказывать ему о видении.

Они собрались идти дальше. Из-грота шло множество коридоров. Они выбрали самый широкий, зажгли припасенные факелы и двинулись вперед. Вдруг в стене черной пастью открылся боковой коридор. Оттуда дул горячий, как огонь, воздух. Им пришлось преодолеть это место прыжком. Дальше коридор сужался. Какое-то время они двигались на четвереньках, добрались до такого тесного участка, что пришлось ползти. Потом лаз неожиданно расширился, и они смогли опять продвигаться на четвереньках. Когда догорал последний факел, под коленями у них захрустело. При угасающем свете еще можно было что-то разглядеть. Пол покрывали куски чистого золота. Но и этого им было мало. Увидев Уста Мацумака и его Око, они не могли не пойти к его Чреву. В какой-то момент дон Эстебан увидел нечто и шепнул об этом товарищу. Гильельмо тщетно заглядывал ему через плечо.

— Что ты видишь? — спросил он.

Догорающий факел жег Эстебану пальцы. Вдруг он выпрямился — стены раздвинулись, кругом был только мрак, в котором факел высвечивал лишь красноватый вход в другую пещеру. Гильельмо видел, как товарищ сделал несколько шагов вперед, как пламя в его руке колебалось, отбрасывая громадные тени.

Внезапно в глубине показалось огромное призрачное, висящее в воздухе лицо с опущенными глазами. Дон Эстебан закричал. Это был страшный крик, но Гильельмо разобрал слова. Товарищ его зывал к Иисусу и Божьей Матери, а люди, подобные Эстебану, произносят такие слова только перед лицом смерти. Услышав крик, Гильельмо закрыл глаза руками. Потом раздался грохот, дохнуло жаром, и он упал без чувств.

Мондиан Вантенеда откинулся в кресле и молча смотрел куда-то поверх голов слушателей. Темный его силуэт рисовался на фоне окна, лилового в сгущавшихся сумерках, пересеченного зубчатой линией гор.

— В верхнем течении Аракериты индейцы, охотившиеся на оленей, выловили белого человека. К плечам его была привязана надутая воздухом буйволова шкура. Спина его была рассечена, ребра выломаны назад наподобие крыльев. Индейцы, опасаясь солдат Кортеса, пытались сжечь труп, однако через их селение проходил отряд конных гонцов Понтерона, прозванного Одноглазым. Труп отвезли в лагерь и опознали дона Гильельмо. Дон Эстебан не вернулся никогда.

— Как же стала известна вся история?

Голос был похож на скрип. Вошел слуга с канделябром: В подвижном пламени свеч стало видно лицо задавшего вопрос — желтое, с бескровными губами. Он любезно улыбался.

— Вначале я пересказал слова старого индейца. Он говорил, что Мацумак видит своим оком все. Возможно, он выразался несколько мистически, но в принципе был прав. Шестнадцатый век только начинался, и европейцы мало знали о возможностях усиления зрения, какие дают шлифованные стекла. Два огромных куска горного хрусталя — неизвестно, созданные ли природой или отшлифованные рукой человека — располагались на Голове Мацумака и в пещере Чрева так, что, если смотреть в один, было видно все, что окружало другой. Это был своеобразный перископ из двух зеркальных призм, отстоящих одна от другой на тридцать километров. Индеец был на вершине Головы, и он видел обоих святотатцев, входивших в Чрево Мацумака. А возможно, не только видел, но и мог принести им гибель.

Мондиан взмахнул рукой. На стол, в круг оранжевого света, упала связка ремней, скрепленных с одного конца узлом. Они

были покрыты трещинами, краска с них облезла. Ремни при падении шелестели, такой сухой была кожа.

— Значит, — закончил Вантенедра, — был кто-то, следивший за этим походом и оставивший его описание.

— Стало быть, вы знаете путь к золотым пещерам?

Улыбка Мондиана делалась все безразличнее, как будто он вместе с гаснущими за окном вершинами уплывал в холодную, безмолвную горную ночь.

— Этот дом стоит как раз у входа в Уста Мацумака. Когда там произносилось слово, Долина Молчания повторяла его мощным грохотом. Это был природный каменный рупор — в тысячи раз сильнее электрических.

— Как это?

— Столетия назад в зеркальную плиту попала молния, переплавив ее в кучку кварца. На Долину Молчания, собственно, и выходят наши окна. Дон Эстебан и дон Гильельмо явились со стороны Врат Ветров, но теперь Красные Родники давно уже иссякли, а голос не может вызвать лавину; очевидно, долина была резонатором и какие-то звуковые колебания расшатали основания известняковых пиков. Пещеру завалило подземным взрывом. Там был висятый камень, как клин отделявший одну от другой две скальные стены. Сотрясение вытолкнуло его, и скалы сомкнулись навсегда. Что случилось позже, когда испанцы пытались одолеть перешеек, кто обрушил каменную лавину на пехотинцев Кортеса — неизвестно. Думаю, этого никто никогда не узнает.

— Ну-ну, дорогой Вантенедра, скалы можно взорвать, пробурить, воду из подземелья откачать, правда? — сказал толстый приземистый господин, сидевший на углу стола. Он курил тонкую сигару.

— Вы думаете? — Мондиан не скрывал иронии. — Нет такой силы, которая отверзла бы Уста Мацумака, если он этого не желает, — сказал он, резко отодвигаясь от стола.

Воздух всколыхнулся и загасил две свечи. Остальные горели голубоватым пламенем, хлопья сажи вспархивали над ними, как мотыльки. Мондиан просунул между склонившимися над столом лицами свою волосатую руку, схватил со стола связку ремешков и с такой силой развернулся на месте, что взвизгнула резина колес. Присутствующие встали и начали выходить. Доктор Герберт сидел на месте, не отрывая взгляда от подвижного пламени свечи. Из открытого окна сквозило. Он вздрогнул от пробирающего холода и взглянул на слугу — тот внес и положил у решетки камина, обожженной до синевы, тяжелую охапку дров, сноровисто разгреб угли и сооружал над ними хитроумный шатер, когда

кто-то открыл другую дверь и дотронулся до косяка. Комната снова мгновенно преобразилась. Камин, сложенный из грубых камней, слуга, стоящий у огня, стулья с резными спинками, канделябры, свечи, окна и ночные горы за ними исчезли в ровном матовом свете; исчез накрытый широкий стол, и в небольшой белой комнате под куполообразным гладким потолком остался только Герберт, сидящий на стуле перед сохранившимся квадратом стола и тарелкой с недоеденным куском мяса на ней.

— Развлекаешься? Сейчас? Старыми небылицами? — спросил вошедший.

Выключив зрелище, он теперь не без труда избавлялся от раздутой прозрачной пленки, покрывавшей его мохнатый, застегнутый до горла комбинезон. Наконец он разорвал пленку, не сумев высвободить из нее ноги в блестящих, как металл, башмаках, смял, отбросил и провел большим пальцем по груди, отчего комбинезон широко распахнулся. Он был моложе Герберта, ниже ростом, с открытой мощной шеей над вырезом рубахи.

— Сейчас только час. Мы уговорились на два, а гистограммы я и так знаю наизусть. — Герберт, чуть смутившись, повертел в руках пачку.

Вошедший расстегнул толстые голенища сапог, не спеша подошел к металлическому выступу, тянущемуся вдоль стен, и быстро, как карточный фокусник, вызвал в обратном порядке один за другим эпизоды застолья, равнину, окруженную отвесными плитами известняков, белеющими в лунном свете, как жуткий скелет летучей мыши, джунгли, полные разноцветных бабочек, порхающих среди лиан, наконец, песчаную пустыню с высокими термитниками. Видения появлялись мгновенно, окружали людей и пропадали, сменяясь следующими. Герберт терпеливо ждал, пока его коллеге не надоест это мелькание. Он сидел в мерцающей игре света и красок, держа пачку гистограмм, и был уже далек мыслями от зрелища, которым, быть может, хотел заглушить беспокойство.

— Что-то изменилось? — спросил он наконец. — Да?

Его младший коллега вернул комнате аскетический вид, лицо его посерьезнело, и он не совсем внятно пробормотал:

— Нет. Ничего не изменилось. Но Араго просил, чтобы мы зашли к нему перед советом.

Герберт заморгал — видно было, что новость неприятна ему.

— И что ты ответил?

— Пообещал прийти. Что ты так смотришь? Не нравится тебе этот визит?

— Я не в восторге. Отказать ему было нельзя. Это ясно. Но и



без теологических примесей задача у нас отвратительная. Чего он от нас хочет? Он сказал что-нибудь?

— Ничего. Это не только порядочный, но и умный человек. И деликатный.

— Вот он деликатно и даст нам понять, что мы каннибалы.

— Чепуха. Мы же не на суд идем. Мы взяли их на борт, чтобы оживить. Он это тоже хорошо знает.

— И про кровь?

— Понятия не имею. Разве это так страшно? Переливание крови делают уже двести лет.

— На его взгляд, это будет не переливание крови, а по меньшей мере осквернение трупов. Ограбление мертвецов.

— Которым ничто иное не поможет. Трансплантация стара как мир. Религия — я не специалист... Во всяком случае, его церковь этому не противилась. И вообще, что у тебя за угрызания совести из-за священника? Командир и большинство совета согласятся. У Араго нет даже права голоса. Он летит с нами как ватиканский или апостольский наблюдатель. Как пассажир и зритель.

— Вроде бы так, Виктор. Но гистогаммы оказались роковой неожиданностью. Не следовало брать эти трупы на «Эвридику». Я был против. Почему их не отправили на Землю?

— Ты сам знаешь — так получилось. Кроме того, я считаю, что если наш полет кому-то нужен, то в первую очередь им.

— Много ли им с этого пользы, если в лучшем случае удастся реанимировать одного за счет остальных?

Виктор Терна удивленно смотрел на него.

— Что с тобой стряслось? Опомнись. Разве это наша вина? На Титане не было возможности поставить диагноз. Разве не так? Отвечай. Я хочу знать, с кем я на деле пойду к этому доминиканцу. Ты вернулся к вере праотцов? Видишь в том, что мы должны сделать — к чему мы должны стремиться, — что-то дурное? Грех?

Герберт сдержал приступ раздражения:

— Ты прекрасно знаешь, что я буду стремиться к тому же, что ты и главный врач, и знаешь мое мнение. Не в воскрешении зло. Зло в том, что из двоих годных для реанимации удастся оживить лишь одного и что никто не сделает выбора за нас... Одна маета. Пошли. Хочется, чтобы все скорее кончилось.

— Мне надо переодеться. Подождешь?

— Нет. Пойду один. Приходи туда, к нему. Это на какой палубе?

— На третьей, в средней секции. Я приду через пять минут.

Они вышли вместе, но сели в разные лифты. Овальная сереб-

ристая кабина помчала Герберта, едва он тронул нужные цифры. Яйцеобразное устройство мягко затормозило, вогнутая стена раскрылась спиралью, как диафрагма в фотоаппарате. Напротив, залитые светом невидимого источника, тянулись двери с высокими порогами, как на старых кораблях. Он нашел дверь с номером 84, с маленькой табличкой: «Р.П. Араго, МА., ДП. ДА.». Прежде чем он сумел решить, что означают буквы «ДА» — «Делегат Апостольский» или «*Doctor Angelicus*» — мысль эта была так же неумна, как и неуместна, — двери раскрылись. Он вошел в просторную каюту, сплошь заставленную книгами на застекленных полках. На стенах, друг напротив друга, висели картины в светлых рамах от потолка до пола. Справа — «Древо познания» Кранаха с Адамом, змием и Евой, слева — «Искушение святого Антония» Босха. Не успел он как следует приглядеться к существам, плывущим по небу «Искушения», как Кранах исчез за книжными полками, открылся проход, вошел Араго в белой сутане, и, прежде чем картина вернулась на свое место, врач заметил позади доминиканца черный крест на белом фоне. Они обменялись рукопожатием и сели за низкий столик, хаотически заваленный бумагами, вырезками и множеством раскрытых томов, из которых торчали разноцветные закладки. Лицо у Араго было худощавое, смуглое, серые пронизательные глаза смотрели из-под светлых бровей. Сутана казалась слишком просторной для него. Тонкие руки пианиста держали обычный деревянный метр. Герберт от нечего делать рассматривал корешки старинных книг. Ему не хотелось начинать разговор. Он ждал вопросов, но они не были заданы.

— Доктор Герберт, по знаниям я вам не ровня. Но все же могу разговаривать с вами на языке Эскулапа. Я был психиатром до того, как стал носить это одеяние. Главный врач дал мне возможность ознакомиться с данными... этой операции. Их смысл коварен. Из-за несовместимости групп крови и тканей. В расчет входят два человека, но пробудиться может лишь один.

— Или никто, — вырвалось у Герберта почти произвольно. Скорее всего, потому, что монах избежал соответствующего термина: воскресение из мертвых. Доминиканец понял мгновенно:

— *Distinguo*<sup>1</sup>. То, что имеет значение для меня, для вас, наверное, не важно. Диспут на эсхатологическом уровне беспредметен. Другой бы на моем месте стал говорить, что человек истинно мертв, когда тело его в состоянии разложения. Когда в нем произошли необратимые изменения. И что таких покойников на

---

<sup>1</sup>Здесь: безусловно (*лат.*).

корабле семь. Я знаю, что их останки придется потревожить и понимаю эту необходимость, хотя и не имею права ее одобрить. От вас, доктор, и от вашего друга, который сейчас здесь появится, я хочу получить ответ на один вопрос. Вы можете и отказаться отвечать.

— Я вас слушаю, — сказал Герберт, чувствуя, что напрягается.

— Вы наверняка догадались. Речь идет о критериях выбора.

— Терна скажет вам то же, что и я. Мы не располагаем никакими объективными критериями. И вы, ознакомившись с данными, тоже это знаете, отец Араго.

— Я знаю. Оценка шансов выше человеческих сил. Медико-мы, произведя миллиарды расчетов, оценили шансы двух из девяти как девяносто девять процентов в границах доверительного интервала погрешности. Объективных критериев нет, только поэтому я осмелился спрашивать о ваших.

— Перед нами две задачи, — с некоторым облегчением ответил Герберт. — Врачи, включая главного, будут просить у командира определенных изменений в режиме полета. Вы ведь наверняка будете на нашей стороне?

— Я не могу участвовать в голосовании.

— Верно. Но ваша позиция может оказать влияние...

— На результат этого совета? Он уже предрешен. Я не допускаю мысли о какой бы то ни было оппозиции. Большинство выскажется «за». А у командира есть право принять окончательное решение, и меня бы удивило, если бы врачи его уже не знали.

— Мы будем добиваться больших изменений, чем предполагалось. Девяносто девяти процентов для нас недостаточно. Имеет значение каждый следующий знак за запятой. Энергетические затраты с учетом задержки экспедиции будут огромны.

— Это новость для меня. А... другая задача?

— Выбор трупа. Мы совершенно беспомощны, поскольку из-за безобразного недосмотра, который радисты называют более изысканно — перегрузкой каналов связи, — мы не можем установить ни имен, ни профессий, ни биографии этих людей. На деле произошло худшее, чем небрежность. Мы взяли на борт эти контейнеры, не зная, что память старых устройств этой шахты, Грааля, и вычислительных машин в Рембдене по большей части уничтожена в ходе демонтажа. Люди, ответственные за судьбу тех, кого командир с нашего согласия взял на корабль, заявили, что данные можно будет получить с Земли. Неизвестно только кто, когда, кому дал такое поручение, — известно, что все, можно сказать, умыли руки.

— Так случается, когда полномочия многих людей взаимно

перекрываются. Но это не может служить ни для кого оправданием...

Монах сделал паузу, посмотрел Герберту в глаза и тихо спросил:

— Вы были против того, чтобы взять жертвы на корабль?

Герберт нехотя кивнул.

— В суматохе перед стартом одиночный голос, к тому же врача, а не опытного астронавта, не мог иметь веса. Если я был против, испытывая некоторые опасения, сейчас мне от этого не легче.

— Ну и как же? На что вы решитесь? Бросать жребий?

Герберт нахмурился.

— Выбор после совета не будет зависеть ни от кого, кроме нас, если все наши требования будут выполнены в чисто техническом отношении. Навигационном. Мы проведем новый осмотр и переберем до последней пылинки содержимое витрификаторов.

— Какое влияние на выбор реанимируемого может иметь его идентификация?

— Возможно, никакого. Во всяком случае, это не будет чертой или качеством, существенным в медицинском отношении.

— Эти люди, — монах взвешивал слова, говорил медленно, как бы приближаясь к кромке льда, — погибли при трагических обстоятельствах. Одни — выполняя обычную работу в шахтах или на предприятии, другие — идя им на помощь. Вы допускаете такую дифференциацию — если она удастся — как критерий?

— Нет.

Ответ был немедленный и категоричный.

Раздвинулась стена книг, вошел Терна и извинился за опоздание. Монах поднялся. Герберт тоже встал.

— Я узнал все, что было возможно, — сказал Араго. Ростом он был выше обоих врачей. За его спиной Ева обращалась к Адаму, змий полз по райскому древу. — Благодарю вас. Я убедился в том, что должен был знать и так. Наши дела подобны. Мы не судим никого по заслугам или грехам, как и вы спасаете не по этим меркам. Я не удерживаю вас: вам пора. Увидимся на совете.

Они вышли. Герберт в нескольких словах пересказал Терне разговор с апостольским наблюдателем. На идеально круглом пересечении коридоров они вошли в матово-серебряный яйцеобразный лифт; нужная шахта открылась и поглотила его с протяжным вздохом. В круглых окошках замигали огни несущихся мимо палуб. Врачи молча сидели друг напротив друга. Оба, неизвестно почему, чувствовали себя задетыми сентенцией, которой монах заключил беседу. Но это впечатление было настолько неопределенным, что не стоило анализировать его перед тем, что их ожидало.

Зал совещаний помещался в пятом отсеке «Эвридики». Корабль, если наблюдать его в полете издали, напоминал длинную белую гусеницу с округлыми выпуклыми сегментами — крылатую гусеницу, так как из ее боков торчали консоли, заканчивающиеся корпусами гидротурбин. Плоскую голову «Эвридики» наподобие усиков или щупалец окружали шипы множества антенн. Шарообразные отсеки соединялись короткими цилиндрами тридцати метров в диаметре, и все это скреплял двойной внутренний киль, принимавший на себя нагрузки при торможении, разгоне и маневрах. Двигатели, называемые гидротурбинами, на самом деле были термоядерными реакторами прямого типа; топливом для них был водород высокого вакуума.

Эта тяга оказалась даже лучше фотонной. Отдача ядерного топлива при околосветовых скоростях падает, так как львиную долю кинетической энергии уносит с собой пламя выброса, бесполезно быющее в пустоту, и лишь малая часть высвобожденной энергии передается ракете. Фотонная, то есть световая, тяга требует загрузки корабля миллионами тонн материи и антиматерии в качестве аннигиляционного топлива. А струйно-прямоточные двигатели используют в качестве топлива межзвездный водород. Однако его вездесущие атомы так редки в галактическом вакууме, что эффективная работа двигателей этого типа возможна лишь при скорости выше 30 000 километров в секунду. Полной же мощности они достигают при приближении к световой скорости. Таким образом, корабль с подобной тягой не может стартовать с планеты сам, он слишком массивен, и его приходится разгонять до момента, когда атомы начнут поступать во входные отверстия реакторов в концентрации, достаточной для воспламенения. Только тогда глубочайший космический вакуум вталкивает в его зияющие, открытые в пустоту заборники столько водорода, чтобы в огневых камерах могли разгореться искусственные солнечные протуберанцы; коэффициент полезного действия растет, и корабль, не отягощенный собственными запасами топлива, может лететь с постоянным ускорением. После почти года ускорения, соответствующего земному притяжению, достигается девяносто девять процентов скорости света, и за минуты, пробегающие на борту корабля, на Земле проходят десятки лет.

«Эвридику» строили на околотитановой орбите, так как Титан должен был служить ей стартовой площадкой. Миллионы тонн массы луны были превращены термоядерными реакторами в энергию для лазерных пусковых установок, чтобы они ударили столбами когерентного света в гигантскую корму «Эвридики» — как пороховые газы в пушечном стволе бьют в дно снаряда. Но

прежде пришлось астроинженерными работами освободить луну от ее густой атмосферы, построить радиохимические предприятия и термоядерные силовые установки на континентальной плите у экватора, предварительно растопив ее горы тепловыми ударами, нанесенными со спутников одноразового употребления. Их залпы превратили огромный массив горных пород в лаву, а баллистические криобомбы помогли царящему здесь холоду скотать расплавленное докрасна море, превратить его в равнину искусственного Mare Herculanum. На двенадцати тысячах квадратных миль его равнины вырос лес лазерных излучателей, поистине Геркулес этой экспедиции. В решающий день и час он открыл огонь, чтобы столкнуть «Эвридику» с ее стационарной орбиты. Постоянно удлиняющийся столб когерентного света бил в кормовые отражатели корабля, выводя его за пределы Солнечной системы. По мере того как разгоняющий луч ослабевал, корабль включал собственные бустеры, сбрасывая одну за другой их использованные батареи — уже за Плутоном. Только там запели его открытые в вакуум гидродвигатели.

Поскольку они должны были работать все время пути, корабль мог набирать скорость равномерно, благодаря чему на нем действовало тяготение, равное земному. Оно было направлено по продольной оси и только по ней. Поэтому каждый шарообразный отсек «Эвридики» был автономен. Палубы шли в нем поперек корпуса, от борта до борта; идти вверх означало приближаться к носу, а вниз — к корме. Когда корабль тормозил или менял курс, ось тяги отклонялась от оси шаровидных отсеков. Из-за этого потолки могли превратиться в стены; во всяком случае, палубы могли встать дыбом. Чтобы избежать этого, каждый сегмент корпуса заключал в себе шар, способный вращаться в броневой оболочке, как в подшипнике качения. Гиростаты следили за тем, чтобы на все палубы жилых шаров — их было восемь — сила отдачи всегда воздействовала отвесно. Во время маневров палубы отсеков отклонялись от главной килевой оси корабля. Чтобы и в этом случае можно было переходить из одного отсека в другой, открывалась система дополнительных шлюзов, их называли улитками. Тот, кто ехал по этим туннелям, замечал отсутствие или изменение тяготения, лишь когда лифт проходил межсегментные отрезки корпуса.

Когда настало время первого после старта общего совета, «Эвридики» оставался еще почти год полета с постоянным ускорением и ничто не нарушало установленного тяготения.

Для собраний всего экипажа служил пятый сегмент, называемый парламентом. Под куполообразным потолком располагался

невысокий амфитеатр с четырьмя рядами скамей, разделенных на равном расстоянии наклонными проходами. У единственной прямой стены стоял длинный стол — вернее, блок из пультов с мониторами. За ним, лицом к присутствующим, занимали места навигаторы и подчиненные им специалисты.

Особенности экспедиции определили своеобразный состав руководства. Полетом командовал Бар Хораб, энергетикой распоряжался Каргнер, связью — радиофизик Де Витт, а во главе всех ученых, и необходимых во время полета, и тех, которые должны были включиться в деятельность экспедиции только у цели, стоял полистор Номура.

Когда Герберт и Терна вошли в амфитеатр, совет уже начался. Бар Хораб зачитывал собраным требованиям врачей. Никто не обратил внимания на вошедших, только главный врач Хрус, сидевший между командиром и распорядителем мощности, нахмурился в знак недовольства. Они опоздали ненамного. В тишине со всех сторон звучал ровный голос Бар Хораба:

— ...Требуют уменьшения тяготения до одной десятой. Они считают это необходимым для оживления тела, хранящегося в холодильной камере. Это означает уменьшение тяги до нижнего предела. Я могу это сделать. Тем самым вся программа полета, все заготовленные расчеты будут перечеркнуты. Можно составить новую программу. Прежнюю разрабатывали на Земле пять не связанных между собой групп расчетчиков, чтобы исключить возможность ошибок. На это нас не хватит. Новую программу создадут две наши группы; таким образом, она окажется менее надежной, чем предыдущая. Риск небольшой, но реальный. Итак, я спрашиваю вас: ставить на голосование требование врачей без дискуссии или задать им вопросы?

Большинство высказалось за дискуссию. Хрус не стал отвечать сам, а дал слово Герберту.

— В словах командира кроется некий упрек, — сказал Герберт, не поднимаясь со своего места в верхнем ряду скамей. — Он адресован тем, кто передал нам тела, найденные на Титане, не поинтересовавшись их состоянием. По этому вопросу можно было бы провести следствие и найти виновных. Но есть виновные среди нас или нет, не меняет положения. В нашу задачу входит полное восстановление человека, сохранившегося немногим лучше, чем мумия фараона. Здесь я должен коснуться истории медицины. Попытки витрификации восходят к двадцатому веку. Богатые старики завещали хоронить себя в жидком азоте, надеясь когда-нибудь оказаться воскрешенными. Это была бессмысленная затея. Замороженный труп разморозить

можно, но только затем, чтобы он сгнил. Потом научились замораживать кусочки тканей, яйцеклетки, сперму и простейшие микроорганизмы. Чем больше тело, тем труднее витрификация. Она означает мгновенное превращение всей жидкости организма в лед, минуя фазу кристаллизации, поскольку кристаллики необратимо нарушают тончайшую клеточную структуру. Витрификация же представляет собой оледенение тела и мозга в долю секунды. Молниеносно разогреть любой объект до высокой температуры легко. Гораздо труднее охладить его с той же скоростью до нуля по Кельвину. Колоколообразные витрификаторы, в которых были найдены пострадавшие на Титане, весьма примитивны и действовали грубо. Принимая на борт контейнеры, мы не были знакомы с их устройством. Поэтому состояние тел оказалось такой неожиданностью.

— Для кого и почему? — спросил кто-то из первого ряда.

— Для меня как психоника, для Терны, терапевта по специальности, и, разумеется, для нашего главного. Почему? Мы получили контейнеры без какой-либо спецификации и без схем витрификаторов прошлого века. Мы понятия не имели, что некоторые колокола с замороженными людьми были частично расплюснены ледником и что их заложили в резервуары-термосы с жидким гелием, чтобы перевезти на челноке на наш корабль. Четыреста часов после старта, пока нас разгонял «Геркулес», на корабле была двойная гравитация, и лишь после этого мы смогли приступить к осмотру контейнеров.

— Это было три месяца назад, коллега Герберт, — отозвался тот же голос из нижних рядов.

— Да. За это время мы установили, что наверняка не сумеем оживить всех. Трех пришлось исключить сразу, потому что у них раздавлен мозг. Из остальных мы можем оживить только одного, хотя в принципе для реанимации подходят двое. Дело в том, что у всех этих людей в сосудистой системе была кровь.

— Настоящая кровь? — спросил кто-то из другого места зала.

— Да. Эритроциты, плазма и так далее. Данные о крови сохранились в голотеках, но мы не в состоянии были делать переливание крови: ее у нас не было; поэтому мы стали размножать эритробласты, взятые из костного мозга. Кровь теперь есть. Однако обнаружилась несовместимость тканей. Для реанимации годны два мозга. Но жизненно важных органов хватит лишь для одного человека. Из этих двух можно сложить одного. Ужасно, но это так.

— Мозг можно воскресить и без тела, — сказал кто-то в зале.

— Мы не собираемся этого делать, — ответил Герберт. — Мы



здесь не затем, чтобы производить чудовищные эксперименты. При теперешнем состоянии медицины они неизбежно будут чудовищны. Но дело не в констатациях, а в полномочиях. Мы вмешиваемся в вопросы навигации как врачи, а не как астронавты. Никто посторонний не может диктовать нам, как поступить. Поэтому я не буду говорить об операции подробно. Необходимо очистить скелет от извести и металлизировать его. Убрать при помощи гелия избыток азота из тканей, использовать для восстановления одного тела остальные. Это наша забота. Я должен лишь объяснить, на чем основано наше требование. Нам нужно максимальное снижение гравитации во время реанимации мозга. Лучшее всего была бы полная невесомость. Но мы знаем, что ее нельзя получить без остановки двигателей, что совершенно нарушило бы программу полета.

— Не стоит тратить время на эти соображения, коллега. — Главный врач не скрывал нетерпения. — Командир и собравшиеся хотят знать, чем объяснить это требование.

Он сказал не «наше требование», а «это». Герберт, делая вид, что не заметил оговорки, но убежденный, что она не была случайной, спокойно ответил:

— Нейроны человеческого мозга обычно не делятся. Они не размножаются, поскольку они есть материя человеческой индивидуальности, то есть памяти, и иных черт, обычно называемых характером, душой и так далее. В мозгу людей, витрифицированных на Титане таким примитивным способом, часть клеток утрачена. Мы сможем заставить делиться соседние нейроны, чтобы они, размножаясь, заполняли пробелы, но тем самым лишим индивидуальности размножившиеся нейроны. Чтобы спасти человеческую индивидуальность, нужно, чтобы делилось как можно меньше нейронов, так как производные нейроны пусты и новы, как у младенца. Даже при нулевом тяготении нет уверенности, что воскрешенный в какой-то степени не подвергнется амнезии: некоторая часть памяти необратимо погибает при витрификации даже в самых совершенных криостатах, поскольку тонкие соединения синапсов получают повреждения на молекулярном уровне. Поэтому мы не можем ручаться, что воскресший будет в точности тем человеком, каким был сто лет назад. Мы утверждаем только, что чем слабее будет тяготение во время реанимации мозга, тем больше шансов на сохранение индивидуальности. У меня все.

Бар Хораб с некоторой неприязнью поглядел на главврача, который, казалось, был полностью поглощен изучением документов.

— Считаю голосование излишним, — сказал он. — По праву

командира даю распоряжение уменьшить тягу в срок, который назначат врачи, и на необходимое им время. Прошу считать совет законченным.

По залу прошло движение. Бар Хораб встал, коснулся плеча Каргнера, и оба направились к нижнему выходу из зала. Герберт и Терна чуть ли не бегом поспешили к верхней галерее, прежде чем кто-нибудь успел заговорить с ними. В коридоре они встретили доминиканца. Он не сказал ни слова, лишь кивнул и продолжал путь.

— Вот уж не ожидал от Хруса, — бросил Терна, входя вместе с Гербертом в кормовой подъемник. — Зато командир — о! — это человек на своем месте. Я предчувствовал, что на нас набросятся коллеги смежных специальностей, прежде всего наши «психонавты». Но он как ножом отрезал...

Лифт притормаживал, огоньки проплывали мимо все медленнее.

— Велика важность — Хрус, — буркнул Герберт. — Если хочешь знать, Араго разговаривал с Хорабом прямо перед советом.

— Откуда ты знаешь?

— От Харгнера. Араго был у Хораба до разговора с нами.

— Ты думаешь, что...

— Не думаю, а знаю только, что он нам помог.

— Но как теолог.

— Я не разбираюсь в этом. А он разбирается и в теологии, и в медицине. Как он сочетает одно с другим — его дело. Пошли переодеваться, нужно все приготовить и назначить время.

Перед операцией Герберт еще раз перечитал присланный из голотеки протокол. В ходе работ тяжелые планетные машины остановились, так как их датчики обнаружили присутствие металла и укрытой в нем органической материи. Один за другим из бирнамских развалин были извлечены семь старинных большеходов с шестью телами. Два Диглатора были на расстоянии нескольких сот метров друг от друга. Один был пуст, в другом — человек в колоколе витрификатора. В этот ледник вгрызались экскаваторы восьмого поколения, по сравнению с которыми Диглатор был карликом. Руководство работ остановило гигантские автоматы и выслало на поиски остальных жертв — бирнамская впадина поглотила девятерых — шагающие буровые машины с высокочувствительными биосенсорами. Никаких следов человека, покинувшего свой Диглатор, обнаружено не было. Броня большеходов прогнулась под грудами льда, но витрификаторы сохранились на удивление хорошо. Группа наблюдения собиралась немедленно выслать их на Землю для реанимации, но это значило, что заморо-

женные тела трижды подвергнутся перегрузке: при старте челнока с Титана, при разгоне транспортной ракеты на линии Титан — Земля и при посадке на Землю. Просвечивание контейнеров показало тяжелые повреждения всех тел, в том числе переломы основания черепа, поэтому столь сложная транспортировка была признана рискованной. Тогда кому-то пришла в голову мысль передать витрификаторы на «Эвридику», которая располагала новейшей реанимационной аппаратурой, к тому же ускорение при отлете должно было быть невысоким из-за гигантской массы корабля. Оставался вопрос идентификации тел, невыполнимой до вскрытия контейнеров. Хрус, главный врач «Эвридики», принял решение — по согласованию с руководством и штабом SETI<sup>1</sup>, — что точные сведения о людях, похищенных льдами Титана, и их имена будут переданы по радио с Земли, так как все диски компьютерной памяти, изъятые ранее, лежали в архивах швейцарского центра SETI. До момента старта каналы связи были забиты, кто-то или что-то — человек или компьютер — сочли передачу этих данных не важной, и «Эвридика» покинула окололунную орбиту прежде, чем врачи узнали об отсутствии этой информации. Обращение Герберта к командиру не привело ни к чему, поскольку корабль уже набирал скорость, толкаемый лазерами «Геркулеса», как снаряд. В фазе разгона Титан принимал на себя всю мощь световой отдачи, и планетологи опасались, что он может развалиться. Опасения не сбылись, но разгон шел далеко не так гладко, как ожидали авторы проекта: «Геркулес» вмял лунную кору в литосферу, резкие сейсмические волны стали раскачивать лазерные разгонные установки, и, хотя они выдержали эти землетрясения, световой столб дрожал и смещался. Пришлось уменьшать силу излучения, переждать, пока затихнут колебания, и заново наводить сфокусированные лазерные лучи на зеркальную корму корабля. Из-за этого прервалась связь, скопилась не высланная вовремя информация, и, что хуже всего, Титан, два года назад выведенный из окрестностей Сатурна и заторможенный во вращении — чтобы «Геркулес» мог разогнать «Эвридику», — сам начал вибрировать. Сотни тысяч старых термоядерных головок, вбитых в тяжелую луну, как аварийный резерв, в конце концов погасили дрожь. Это далось нелегко. В результате реаниматоры долго не могли приняться за работу, так как «Эвридика» несколько недель то ловила, то вновь теряла солнечный столб, и его попадания в корму отдавались ударами по всему кораблю.

Трудности с фокусировкой излучения, сейсмические сотрясе-

---

<sup>1</sup> Поиск внеземного разума.

ния Титана, неполадки с несколькими батареями бустеров отсрочили операцию, а многие члены экипажа оправдывали отсрочку и тем, что шансы на возвращение найденных к жизни кажутся слабыми. С каждым днем постоянное увеличение скорости ухудшало связь с Землей, а кроме того, в первую очередь шли радиogramмы, от которых зависел успех экспедиции. Наконец корабль получил с Земли имена пяти погибших, их фотоснимки и биографии, но и этого не хватало для установления личности. При витрификации происходило что-то вроде взрыва, и лицевая часть черепа разрушалась. Вторичные взрывы внутри криотейнеров сдирали с замороженных тел одежду, а ее остатки вытеснялись кислородом из лопающихся скафандров в азотные гробы и обращались в прах. Затем начались переговоры с Землей о пересылке отпечатков пальцев, зубных карт — их получили, но это только усилило путаницу. В результате старинного соперничества Грааля и Рембдена компьютерные дневники проводимых работ были в беспорядке, к тому же никто не знал, какая судьба постигла часть сохранившихся дисков памяти — были ли они уничтожены или попали в архивы за пределами Швейцарии. Человек, который мог ожить на «Эвридике», несомненно, носил одну из шести фамилий: Анзель, Навада, Пиркс, Кохлер, Парвис, Ильюма. Докторам оставалось надеяться на то, что, выйдя из реанимационной амнезии, спасенный узнает свою фамилию в списке — если сам не будет в состоянии ее вспомнить. На это рассчитывали Хрус и Терна. Герберт, психоник, сомневался. Когда время было назначено, он отправился к командиру, чтобы изложить эту проблему. Практичный, рассудительный Бар Хораб считал, что есть смысл снова обследовать содержимое витрификаторов, из которых были изъяты тела.

— Лучше всего подошли бы криминологи, судебные эксперты, — заметил он. — Но так как их у меня на борту нет, вам помогут... — Он подумал. — Лакатос и Беля. Физик — тоже вроде детектива, — добавил он с улыбкой.

Почерневший, будто закопченный, контейнер, похожий на помятый саркофаг, был доставлен на уровень главной лаборатории. Его ухватили массивными щипцами, наложили ключи на наружные запоры, и он медленно, с пронзительным скрежетом открылся. Черное нутро зияло из-под крышки гроба. Скафандр съехался — его владелец уже несколько недель вместе с азотной глыбой, в которую он был заморожен, находился в жидком гелии. Лакатос и Беля извлекли пустой скафандр и разложили его на низком металлическом столе. Его уже осматривали, когда извлекали тело, но тогда не было найдено ничего, кроме смерзшихся

обрывков ткани и запутавшихся в кабеле трубочек климатизации. Теперь покрытый инеем скафандр распорол — от кольца, к которому крепится шлем, вдоль торса, надувных штанин — и до огромных башмаков. Из трухи извлекли перекрученные спиральные трубки и куски кислородных шлангов, старательно все обследовали: каждый обрывок рассматривали под лупой; наконец Беля, вооружившись переносной лампой, влез в цилиндрический криотейнер. Чтобы облегчить ему задачу, манипулятор разъял бронированные листы и широко растянул их. Швы, соединяющие рукава скафандра с оболочкой торса, были порваны — либо когда Диглатер прогнулся под тяжестью ледяных завалов бирнамского леса, либо от внутреннего давления при взрывной витрификации. Если заключенный в нем человек имел при себе какие-либо личные вещи, они могли быть через разрывы скафандра вытеснены в контейнер вместе с потоками застывающего азота и человеческой крови — в тот момент, когда на открытое до тех пор входное отверстие контейнера падало выстреленное сверху забрало, колпак из специальной стали, отрезающий от внешнего мира того, кто умирал в скафандре.

Для того чтобы снять колпак с контейнера, потребовался гидравлический зажим, так как щипцовый манипулятор оказался слишком слабым. Оба физика и врач отошли от платформы на несколько шагов, поскольку операция была достаточно грубая. Прежде чем колпак, похожий на головку громадного артиллерийского снаряда, дрогнул и начал сползать с верхней части контейнера, из-под ванадиевых клыков полетели толстые обломки панциря. Люди ждали конца операции. Как только черные как уголь обломки перестали сыпаться и колокол, сорванный с криотейнера, обратил к ним пустую внутренность, Лакатос поднял его четвероруким манипулятором под потолок, а Беля уже собрался обследовать контейнер еще раз, но тут все замерло, потому что листы обшивки дрогнули и, распадаясь по швам, медленно упали на платформу, как бы повторяя когда-то пережитую агонию. Механические челюсти перенесли тяжелый колпак по воздуху на другую сторону зала и уложили там, как половинку пустой бомбы, с такой осторожностью, что он лег на алюминиевую поверхность без звука.

Беля подошел к распавшемуся контейнеру. Внутри его темнели сухие, слоистые куски прокладки, похожие на увядшие, обожженные листья. Лакатос заглядывал Беле через плечо. Он неплохо знал историю витрификации. Во времена Грааля и Рембдена верхняя часть насаживалась на контейнер с человеком при помощи пиропатронов, чтобы процесс ледового остеклене-

ния прошел как можно быстрее. Замораживаемый должен был снять шлем, хотя оставался в скафандре. Чтобы удар не разможил ему голову, колпак был выложен надувными подушками. Они лопались при ударе, защищая замораживаемого, пока вонзившийся ему в рот конус впрыскивателя вливал в него жидкий азот — как правило, ломая зубы, а иногда и челюстные кости. Задача состояла в том, чтобы мозг застывал со всех сторон одновременно, то есть и от основания, расположенного сразу над небом. Тогдашняя техника не могла исключить подобные травмы. Физики понемногу извлекали слои истлевших прокладок, укладывали их рядами, пока инструменты не обнажили металлическое дно криотейнера. Среди рассыпающихся фрагментов обнаружили объект, тоже измятый, но сохранивший вид книжечки с обгоревшими, как в огне, углами. Наполовину обуглившийся предмет был настолько хрупок, что от прикосновения рассыпался в труху, и они уложили его под стеклянный колпак, потому что даже дыхание человека могло ему повредить.

— Похоже на небольшой чехол. Может быть, из кожи животного. Хранилище документов. Люди тогда носили подобные вещи с собой. А документы были главным образом из целлюлозы, переработанной в бумагу, — сказал Беля.

— И из пластиковых полимеров, — добавил Герберт.

— Неутешительно, — отозвался физик. — В таких условиях целлюлоза сохраняется не лучше, чем старинные пластики. Как это могло попасть сюда?

— Легко себе представить. — Лакатос развел и сдвинул руки. — Когда он нажал на кнопку, нижний колокол закрыл его с ног до груди, и тут же отстреленная верхняя часть надвинулась на нижнюю. Взрывные заряды были, разумеется, не такие, чтобы раздавить человека. Азот наполнил скафандр, так что тот лопнул под мышками, и вытесняемый воздух мог содрать одежду. Взрывная волна гранаты при близком взрыве часто раздевала солдат...

— Как мы с этим поступим?

Герберт смотрел, как физики наполнили стеклянный колпак быстрозастывающей жидкостью, как вынули отливку, в которой, подобно насекомому в янтаре, темнел плоский черный предмет, и принялись за анализы. Они обнаружили химикалии, употреблявшиеся некогда для печатания бумажных банкнотов; органические соединения, типичные для кожи животных, дубленной и окрашенной; слабые следы серебра. Очевидно, там были остатки фотоснимков, так как для них использовались соли серебра. Меняя жесткость излучения, упрочнив вынутый из отливки фрагмент, они наконец извлекли запутанный палимпсест — беспоря-

дочную мешанину букв и маленьких кружков — возможно, печатей. Хроматограф отделил тени типографских букв от чернил письма, так как, по счастью, в чернилах имелись минеральные добавки. Остальное сделал микротомограф. Результат оказался скромным. Если они действительно обнаружили удостоверение личности, что было похоже на правду, то имя прочесть не удалось, а в фамилии различима была только первая буква, П. Фамилия могла содержать от пяти до восьми букв. С буквы П начинались фамилии двух человек, оживить они могли одного. И они вызывали на мониторы спинограммы всех, кто плавал в жидком гелии. Послойное просвечивание, гораздо более точное, чем отошедший в прошлое рентген, позволяло установить возраст жертв с точностью до десяти лет по уплотнению суставных хрящей и кровеносных сосудов, поскольку при жизни этих людей медицина еще не умела бороться с изменениями, называемыми склерозом. Оба кандидата на реанимацию обладали схожим телосложением; лицевые части черепа требовали восстановления с помощью пластической хирургии, группы крови были схожи; судя по обызвествлению ребер и менее заметному — аорты, обоим было по тридцать-сорок лет. Судя по жизнеописаниям, содержащим историю перенесенных заболеваний, ни один из них не перенес операции, оставляющей след на тканях тела. Врачи знали об этом, но хотели воспользоваться помощью физиков: просвечивание основывалось на магнитном резонансе атомных ядер в организме. Физики только покачали головами: ядра постоянных элементов столь же хороши, сколь безвозрастны. Другое дело, если бы в телах этих людей оказались изотопы. Они действительно были, но и это ничего не дало. Оба подверглись облучению порядка 100—200 ремов. Скорее всего, в последние часы жизни.

Внутренние органы человека — если рассматривать их изображения в аппаратуре — зрелище достаточно безличное и абстрактное. Но вид обнаженных трупов, вмерзших в азотный лед под слоем гелия, и особенно — их размозженных лиц, был таков, что Герберт предпочел избавить физиков от этого зрелища. У обоих мертвецов сохранились целыми глазные яблоки, что только прибавляло врачам волнений, так как слепота одного неизбежно рещила бы вопрос об оживлении в пользу сохранившего зрение. Когда физики ушли, Терна сел на платформу со вскрытым контейнером; так и сидел, не говоря ни слова. Герберт не выдержал напряжения.

— Ну и как? — спросил он. — Который?

— Можно бы проконсультироваться с Хрусом... — в сомнениях пробормотал Терна.

— Зачем? Tres faciunt collegium?<sup>1</sup>

Терна встал, нажал на клавиши, экран послушно показал два ряда зеленых цифр с одной красной справа. Она предостерегающе мигала. Он выключил аппарат — как бы не в силах этого вынести. Хотел снова нажать на клавиши, но Герберт взял его за плечи и остановил:

— Перестань. Это ничего не даст.

Терна смотрел ему в глаза.

— Может, посоветоваться... — начал он, но не окончил фразы.

— Нет. Нам никто не поможет. Хрус...

— Я не думал о Хрусе.

— Знаю. Я хочу сказать, что формально Хрус примет решение, если мы обратимся к нему. Ему придется, он — главный, но это плохой выход. Кстати, обрати внимание, как быстро он исчез. Ждать нечего. Через час... нет, уже раньше, Каргнер уменьшит тягу.

Он выпустил плечи Терны, включил на пульте систему подготовки реанимационного зала, не переставая говорить:

— Тех, умерших, нет. Они не существуют, так же как если бы никогда не родились. Мы никого не убиваем. Воссоздаем одну жизнь. Взгляни с этой стороны.

— Прекрасно, — ответил Терна. Глаза его блеснули. — Ты прав. Это прекрасный поступок. Уступаю его тебе. Выбериай.

Возвещая о готовности, на стенном экране засветилась белая змея, обвившаяся вокруг чаши.

— Хорошо, — сказал Герберт. — С одним условием. Это останется между нами, и никто никогда не узнает. И прежде всего ОН. Понимаешь?

— Понимаю.

— Подумай как следует. После операции все останки пойдут за борт. Я сотру все данные в голоотеке. Но мы оба будем знать, потому что не сможем стереть собственную память. Ты сумеешь забыть?

— Нет.

— А молчать?

— Да.

— И не скажешь никому?

— Да.

— Никогда?

Терна заколебался.

---

<sup>1</sup>Трое составляют совет? (лат.)



— Послушай... ведь все знают, ты сам сказал на совете, что мы можем выбирать...

— Иначе было нельзя. Хрус знал правду. Но когда мы сотрем данные, мы солжем, что этот человек имел объективные преимущества, обнаруженные нами только сейчас.

Терна кивнул.

— Я согласен.

— Составим протокол. Напишем его вместе. Сфальсифицируем два пункта. Подпишешь?

— Да. Вместе с тобой.

Герберт отворил стеной шкаф. В нем висели серебристые комбинезоны с белыми башмаками и стеклянными масками. Вытащил свой и стал надевать. Терна последовал его примеру. В центральной ротонде зала раздвинулись двери, осветилась внутренность лифта. Двери закрылись, лифт пошел вниз, в опустевшем зале стало темно, только над мерцающими точками таблицы светилась змея Эскулапа.

### НАЙДЕНЫШ

Он пришел в себя слепым и лишенным тела. Первые мысли не слагались из слов. Его ощущения были необъяснимо перемешаны. Он уплывал, пропадал и вновь возвращался. Только обретя внутреннюю речь, он смог задать себе вопросы: что ужаснуло меня? что за тьма кругом? что это значит? А сделав этот шаг, он смог подумать: кто я? что со мной происходит? Он хотел пошевелиться, чтобы ощутить свои руки, ноги, торс, уже зная, что обладает телом, во всяком случае, что должен им обладать. Но ничто его не слушалось, ничто не дрогнуло. Он не знал, открыты ли его глаза. Не чувствовал ни век, ни их движений. Он напрягал все силы, чтобы поднять веки. И может быть, это удалось. Но не увидел ничего, кроме той же темноты, частью которой он был до сих пор. Эти попытки, отнимающие столько сил, привели его к вопросу: кто я? Человек. Эта бесспорная истина показалась ему открытием. Очевидно, к нему возвращалось сознание, потому что он тут же внутренне усмехнулся: ну и достижение, такой ответ. Слова возвращались медленно, неизвестно откуда, рассыпью и в беспорядке, как если бы он вытаскивал их, словно рыб из неведомых глубин. Я живу. Я существую. Не знаю где. Не знаю, почему не ощущаю своего тела. Он начинал чувствовать свое лицо, губы, может быть, нос, мог даже пошевелить ноздрями, хотя это потребовало огромного напряжения воли. Он таращил глаза во

все стороны и благодаря возвращавшейся способности осознания мог решить: либо я ослеп, либо вокруг совершенно темно. Темнота ассоциировалась с ночью, а ночь — с огромным пространством, полным чистого и холодного воздуха, и поэтому с дыханием. Дышу ли я? — спрашивал он себя и вслушивался в собственную тьму, так похожую и непохожую на небытие. Ему казалось, что он дышит, но не так, как всегда. Он не работал ребрами, животом, он лежал в непонятном взвешенном положении, а воздух входил в него сам и мягко выходил. Иначе дышать он не мог.

У него уже было лицо, легкие, ноздри, рот и глаза — незрячие. Он решил сжать руки в кулаки. Он прекрасно помнил, что такое руки и как их стиснуть. Несмотря на это, он не ощутил ничего, и тут же вернулся страх, уже разумный, основанный на мысли: или паралич, или я потерял руки и, может быть, ноги. Вывод казался противоречивым: ведь легкие у него были, это наверняка, а тела не было. В его мрак и страх вторглись мерные, далекие, глухие тоны — кровь? А сердце? Билось. Как первая весть извне пришли звуки речи. Слух вернулся к нему внезапно, хотя и ослабленный, и он, зная, что разговаривают двое — различались два голоса, — не понимал, что они говорят. Язык был знакомый, только слова неясны, как предметы, видимые через запотевшее стекло или сквозь туман. По мере того как он сосредоточивался, слух обострялся, и удивительное дело: обретя слух, он вышел из рамок себя. Оказался в каком-то пространстве, где был низ, верх, стороны. Он еще успел осознать, что это означает тяготение, прежде чем целиком ушел в слух. Голоса были мужские: один выше и тише, другой низкий — баритон, как будто совсем близкий. Кто знает, может, он сумел бы отозваться, если бы попробовал. Но ему хотелось сначала слушать — не только с надеждой и с интересом, но и потому, что это было великолепно — так хорошо слышать и все лучше понимать речь.

— Я бы подержал его еще на гелии. — Это был голос, звучащий вблизи, по нему можно было предположить, что его обладатель — крупный, крепкого сложения мужчина: столько было в нем силы.

— А я нет, — ответил дальний, молодой голос.

— Почему? Это не повредит.

— Посмотри на его мозг. Нет, не *calcarina*. Правый *temporalis*<sup>1</sup>. Центр Вернике. Видишь? Он уже слышит.

— Амплитуда мала, я сомневаюсь, понимает ли.

<sup>1</sup> Шпорная борозда, (правая) височная область (лат.).

— Уже обе лобные доли; в сущности, это норма.  
— Я вижу.  
— Вчера альфы еще почти не было.  
— Потому что он был в гипотермии. Это нормально. Понимает или нет — азота все-таки пока слишком много. Я добавлю гелия.

Долгая тишина и мягкие шаги.

— Погоди — смотри...

Это был баритон.

— Он очнулся... ну что ж...

Остального он не расслышал, они шептались. К нему пришла ясность мысли. Кто разговаривал? Врачи. Несчастный случай? Где? Кто я? Мысли мелькали все быстрее, а те перешептывались, перебивая друг друга.

— Хорошо, лобные превосходно, но с таламусом что-то не так... переключи ниже... не могу разобрать... Дай Эскулапа. Или лучше Медиком... Так. Поправь изображение. Как спинной мозг?

— Близко к нулю. Это странно.

— Скорее странно, что не на нуле. Покажи дыхательный центр... хм...

— Стимулировать?

— Нет, зачем. Еще надышится сам. Так вернее. Только над хиазмой...

Что-то коротко звякнуло.

— Он не видит, — с удивлением сказал молодой голос.

— Девятка у него уже действует. А видит ли он что-нибудь, мы сейчас проверим.

В молчании и тишине он услышал металлическое пощелкивание. И увидел сероватый слабый свет.

— Ага! — торжествующе произнес баритон. — Это было только на синапсах. Зрачки реагируют уже неделю. Впрочем, — добавил он тише, — он не сможет...

Неразборчивый шепот.

— Агнозия?

— Что ты. Хорошо, если... посмотри на высшие составляющие...

— Память восстанавливается?

— Не знаю, не могу сказать ни да, ни нет. А картина крови?

— В норме.

— Сердце?

— Сорок пять.

— Систолическое давление?

— Сто десять. Может быть, отключить?

— Лучше не надо. Подожди. Небольшой импульс в спинной мозг...

Он почувствовал, как в нем что-то дрогнуло.

— Возвращается тонус мускулов, видишь?

— Я не могу одновременно смотреть на миограммы и на мозг.

Шевелится?

— Руки... непроизвольно.

— А сейчас? Следи за лицом. Моргает?

— Открыл глаза. Видит?

— Еще нет. На сколько реагируют зрачки?

— На четыре люкса. Даю шесть. Видит?

— Нет. То есть ощущает свет. Это реакция таламуса. Пусть Медиком проверит электроды и даст ток. О! Прекрасно...

Во тьме он увидел над собой что-то бледно-розовое и блестящее. И тут же услышал голос, прерываемый дыханием:

— Ты вне опасности. Ты будешь здоров. Не пытайся говорить.

Если понимаешь меня, дважды закрой глаза. Два раза.

Он послушался.

— Прекрасно. Я буду говорить с тобой. Если не поймешь, моргни один раз.

Он изо всех сил старался разглядеть это бледное и розоватое, но не мог.

— Пытается тебя увидеть, — послышался другой, дальний голос. Откуда он это знал?

— Ты увидишь и меня, и все, — медленно говорил баритон. — Нужно набраться терпения. Понимаешь?

Он подтвердил морганием.

Хотел отозваться, но внутри только что-то хрипнуло.

— Нет, нет, — укорил его тот же голос. — Разговаривать равнато. Не можешь говорить, ты интубирован. Воздух поступает тебе прямо в трахеи. Ты не дышишь сам — мы дышим за тебя. Понимаешь? Хорошо. Сейчас ты уснешь. Когда проснешься и отдохнешь, поговорим. Ты все узнаешь, а сейчас... Виктор, усыпи потихоньку... хороших снов...

Он перестал видеть, как будто свет погас в нем, а не над ним. Он не хотел засыпать. Хотел вскочить на ноги. Но мрак, который был в нем, расплылся и исчез. Ему снилось множество снов, удивительных, прекрасных и таких, что их нельзя было ни запомнить, ни пересказать. Он становился множеством вещей сразу. Уходил далеко и возвращался. Видел людей, узнавал их лица, но не мог вспомнить, кто они. Иногда у него оставалось только зрение, ничем не ограниченное, полное солнечного света. Ему казалось, что в этих снах и провалах между ними прошли века. Вне-

запно он очнулся. Вместе с явью обрел тело. Он лежал навзничь, укутанный мягкой пушистой тканью. Напряг мышцы спины. Почувствовал, как пробежали мурашки по бедрам. Над ним был бледно-зеленый плоский потолок, рядом блестели какие-то провода и стекло, но он не мог повернуть голову вбок. Ее удерживало мягкое, доходившее до висков облегающее изголовье. Глазами он мог водить свободно. За прозрачной стеной возвышались какие-то аппараты, на самой границе поля зрения светились скачущие огоньки, и он заметил, что они как-то связаны с ним, потому что, когда он начинал дышать глубже, так что распирало грудную клетку, они мерцали в этом ритме. А там, куда он почти не мог взглянуть, что-то розовело — ровно, размеренно, — и это розовое тоже билось в одном ритме с ним, а вернее, с его сердцем. Он уже не сомневался, что находится в больнице. Значит, несчастный случай. Какой и где? Он хмурил брови, ждал, что объяснение всплывет в памяти, — напрасно. Он замер, закрыл глаза, сосредоточился, но ответ не приходил. То, что он мог бы свободно двигать ногами, руками, пальцами, если бы не спеленавшая его ткань, его уже не удовлетворяло. Он попробовал откашляться, потрогал языком внутреннюю поверхность зубов, наконец произнес:

— Я. Я!

Он узнал собственный голос. Но кому принадлежал голос, он не знал — и не понимал, как это может быть. Он попробовал освободиться от связывающей движения ткани и несколько раз напряг мускулы. Тут на него напала тяжелая внезапная сонливость, и он снова угас, как пламя затухающей лампы.

Он не считал дней. Условные сутки корабельной жизни были размечены простым способом — по земному ритму. Днем все палубы, коридоры, туннели-проходы между отсеками корпуса ярко освещались. В десять начинались сумерки, слабел золотистый свет, исходивший от потолка и стен, около часа стоял голубоватый полумрак, потом освещение гасло, и только лампочки, бегущие по середине потолка, светили одинокому путешественнику. Это время он любил больше всего. Он мог изучать «Эвридику» и днем — все помещения были доступны, и его уверяли, что он никому не помешает, напротив, может идти куда хочет, задавать любые вопросы, но он предпочитал для прогулок ночь.

Подготовив себя физически на утренней тренировке в гимнастическом зале, он шел в школу. Это было его собственное выражение. Садился перед Мемнором, чтобы в игре картин и слов, пробуждающих ассоциации, стимулировать возвращение

памяти и в то же время изучить новые, совершенно чуждые вещи. Общась с машиной, бесконечно терпеливой и неспособной к проявлению каких-либо чувств — удивления, превосходства над ним, — он не испытывал смущения. Если ему что-то было непонятно, Мемнор прибегал к помощи изображений, к простым схемам, применял сокращенные программы обучения, обращаясь к запасам других машин корабля. В архиве голотеки были десятки тысяч фильмов — скорее не фильмов, а фотографий, хотя они ничем не походили на прежние снимки, так как любое изображение становилось реальным окружением человека, а каждое слово — предметом, правда вскорости исчезающим. При желании он мог рассматривать внутренность пирамид, готические соборы, замки Луары, марсианские луны, города, леса, но он делал это только потому, что знал: такие видения составляют важную часть терапии. Врачи старались относиться к нему, как к члену экипажа, а не пациенту; ему даже казалось, что они нарочно держатся в стороне, словно подчеркивая, что он ничем не отличается от остальных.

Зрительные воспоминания вернулись к нему вместе с жизненным опытом, профессиональными навыками навигатора и специалиста по большеходам. Правда, корабли изменились не меньше, чем планетные машины, и он казался себе чем-то вроде моряка парусного флота в эпоху океанских пассажирских гигантов. Эти пробелы было несложно заполнить. Устаревшие сведения он заменял новыми. Однако все ошутимее становилась самая тяжелая и, может быть, невозвратимая потеря. Он не мог воскресить в себе никаких имен, фамилий, включая и свою. Удивительно, но память его как бы разделилась надвое. То, что он когда-то пережил, вернулось поблекшим, хотя и точным в мелочах, — так детские игрушки, найденные в кладовке родительского дома много лет спустя, пробуждают в памяти не только зрительные образы, но и эмоциональную атмосферу. Однажды в лаборатории физиков запах испаряющейся в дистилляторе жидкости, защекотав в носу, моментально вызвал больше чем образ — ощущение присутствия на случайном космодроме, когда светлой ночью, стоя под горячими еще воронками дюз, под дном своей ракеты, которую он спас, он ощущал такой же запах отдающего азотом дыма и счастье, которого тогда не сознавал, а сейчас, при воспоминании, ощутил. Он не сказал об этом доктору Герберту, хотя нужно было бы. Ему следовало немедленно прийти с любым неожиданным воспоминанием, так как в них проявляются погребенные зоны памяти и их нужно стимулировать — не для психотерапии, а для восстановления стершихся связей в мозгу; их надо раскры-

вать и все больше становиться самим собой. Совет был разумным, профессиональным, себя он тоже считал мыслящим разумно, но воспоминание от врача скрыл. Молчаливость, несомненно, была одной из основных его черт. Он никогда не был склонен к излияниям, да еще на такие интимные темы. Кроме того, он пообещал себе, что если найдет себя, то не нюхом, подобно собаке. Мысль показалась ему глупой. Он не считал, что понимает больше врачей, но тем не менее не передумал.

Герберт быстро заметил его сдержанность. Врач поручился, что беседы с Мемнором не записываются и что он сам, если захочет, может стереть из памяти педагога содержание любого разговора. Так он и поступал. От машины у него не было тайн. Она помогала ему воссоздать массу воспоминаний, но без имен и фамилий людей — и его собственной. Наконец он напрямую спросил об этом своего собеседника.

Тот несколько минут молчал. Возвращение памяти, именовавшееся тренингом, проходило в каюте, обставленной довольно странно. В ней стояла антикварная мебель, годная для музея: несколько изящных, почти что дворцовых креслиц с позолотой и гнутыми ножками. Стены украшали картины старых голландцев — его любимые, которые он вспомнил и которые словно явились помочь ему. Картины не раз менялись, а полотна, висящие в резных рамах, вовсе не были полотнами, хотя превосходно воспроизводили ткань и мазки масляных красок. Мемнор объяснил ему, как делаются эти временные копии. Сам машинный преподаватель был незаметен, то есть его никто не прятал, он был подсистемой Эскулапа, выделенной для этих бесед, и в каюте не было его образного воплощения, способного испортить настроение ученика, а чтобы не приходилось разговаривать с пустотой или микрофоном на стене, там стоял бюст Сократа, знакомый по детским книгам о греческой мифологии. А может быть, о философии. Бюст с его лохматой головой казался каменным, хотя иногда в дискуссиях у него появлялась мимика. Ученику это не очень нравилось: отдавало дурным вкусом. Он не мог придумать, чем заменить бюст, и не хотел ни с чем обращаться к Герберту. Он приучил себя к этому облику и, только пробуя выяснить что-то, его глубоко затрагивающее, расхаживал перед наставником, не глядя на него, как бы разговаривая сам с собой. Сейчас поддельный Сократ, казалось, был в сомнении, словно решая слишком трудную задачу.

— Мой ответ не удовлетворит тебя. Для человека не очень-то хорошо до конца разбираться в собственном устройстве, телесном и духовном. Это делает видимыми границы человеческих возмож-

ностей, а люди переносят это тем хуже, чем менее они ограничены в стремлениях. Это во-первых. Во-вторых, с именами дело обстоит иначе, чем с другими понятиями, имеющимися в языке. Почему? Потому что имена не образуют связной системы. Они чисто условны. Каждый из нас как-то называется, хотя мог бы называться совершенно по-другому и оставаться тем же самым человеком. Случай — в лице родителей — определяет имя. Итак, именам и фамилиям недостает логической и физической необходимости. Если позволишь небольшое философское отступление, напомним, что существуют только предметы и их отношения. Быть человеком — значит то же самое, что быть каким-то предметом, пусть даже живым. Быть братом или сыном — это уже отношение. Исследуя разными методами новорожденного, обнаружишь в нем все, вплоть до его наследственного кода, но не до фамилии. Мир познают. А к именам только привыкают. Эта разница незаметна в обыденной жизни. Но тот, кто появился на свет дважды, ощущает ее. Не исключено, что ты вспомнишь, как тебя зовут. Это может случиться в любой момент. Может не произойти вовсе. Поэтому я советовал бы тебе взять пока временное имя. В этом нет ни фальши, ни бесчестия. Ты окажешься в положении собственных родителей над твоей колыбелью. Они тоже не знали, пока не поженились, каким именем назовут тебя. А сделав однажды выбор, спустя годы не могли бы и помыслить, что у тебя могло быть какое-то иное, более подходящее по природе имя и что они не дали его тебе.

— Ты говоришь, как Пифия, — ответил он, стараясь не показать, как задела его слова о собственной смерти. Он не понимал, почему так реагирует на известный факт — ведь он, казалось, должен бы ощущать невероятную радость воскресения из мертвых. — Я говорю не об имени. Знаю, что моя фамилия начинается на П. Пять-шесть букв. Парвис или Пиркс. Знаю, что остальных спасти не удалось. Лучше бы мне не показывали этого списка.

— Думали, что ты узнаешь себя.

— Не могу выбирать вслепую. Я тебе уже говорил.

— Я знаю и понимаю, каковы твои мотивы. Ты принадлежишь к людям, которые мало заботятся о себе. Таким ты был всегда. Не хочешь выбирать?

— Нет.

— А взять другое имя?

— Нет.

— Что ты собираешься делать?

— Не знаю.

Может быть, он услышал бы еще какие-нибудь советы и уго-



воры, но впервые с тех пор, как стал бывать в этом кабинете, воспользовался правом стирать содержание всех разговоров с машиной и, словно этого было мало, одним прикосновением обратил в ничто бюст греческого мудреца. В этот момент он ощутил злое удовольствие — глупое, но захватывающее, как будто убил, не убивая, того, перед кем слишком открылся и кто, будучи Никем, так рассудительно и решительно опекал его — беспомощного. Это была плохая замена доказательству, и он пожалел о поступке, из-за которого расстался с ни в чем не повинным устройством. Однако же из-за того, что на деле ему хотелось не столько найти себя в мире, сколько мир в себе, он подавил напрасный гнев и стыд и совсем забыл о них, принявшись за дела более важные, чем собственное прошлое. Ему было что изучать. Последний, самый обширный проект поисков внеземных цивилизаций, называемый ЦИКЛОП, после исследований, длившихся более десятилетия, закончился ничем. Таково было мнение тех, кто слушал голоса звезд и ждал осмысленных сигналов. Загадка Молчащей Вселенной, *Silentium Universi*, переросла в вызов, брошенный земной науке. Безудержный оптимизм горстки астрофизиков двадцатого века заразил тысячи других специалистов, заодно и дилетантов, и обратился в свою противоположность. Миллиарды, вложенные в создание радиотелескопов, просеивающих излучение миллионов звезд и галактик, все же принесли пользу в виде новых открытий, но ни один из них не обнаружил ожидаемых вестей от Иного Разума. Телескопы, установленные на орбитальных спутниках, неоднократно обнаруживали пучки достаточно своеобразных волн, и это поддерживало гаснущие надежды. Если это и была сигнализация, то прием ее длился недолго и обрывался, не повторившись. Предполагалось, что околосолнечное пространство пронизано посланиями, обращенными к каким-то звездным адресатам; эти записи старались расшифровать бесчисленными способами, но впустую. Информационного характера этих импульсов не удалось установить наверняка. Традиция и осмотрительность заставляли специалистов считать такие явления творениями звездной материи, жестким излучением, случайно собранным так называемыми гравитационными линзами в узкие пучки или иглы. Главный принцип наблюдения требовал считать природным явлением все, что не обнаруживало явно искусственного происхождения. Астрофизика же развилась настолько, что у нее не было недостатка в гипотезах, способных точно «перевести» зафиксированное излучение безотносительно к его отправителям. Возникла парадоксальная ситуация: чем большим набором теорий оперировала астрофизика, тем

труднее было бы намеренной сигнализации доказать свою подлинность. В конце двадцатого века поборники проекта ЦИКЛОП составили подробный каталог критериев, отличающих то, что может породить богатейшая Природа, от того, что ей недоступно и потому выглядит как «космическое чудо»; на Земле это могли бы быть, например, листья, которые, опадая с деревьев, складывались в осмысленную фразу, или галька, выброшенная на речной песок в виде окружностей с касательными или евклидовых треугольников. Таким образом, ученые как бы составили заповеди, которые должны выполняться любыми отправителями внеземных сигналов. Почти половина этого списка была отвергнута в начале следующего столетия. Не только пульсары, не только гравитационные линзы, не только мазеры газовых звездных туманностей, не только огромные массы центра галактики вводили в заблуждение наблюдателей регулярностью, повторяемостью, своеобразным порядком многократных импульсов. Вместо отмененных «заповедей отправителей сигналов» вводились новые и вскоре тоже оказывались недействительными.

Поэтому возникло пессимистическое убеждение в уникальности Земли не только в Млечном Пути, но и среди мириад других спиральных галактик. Дальнейшее развитие науки — а именно астрофизики — подвергло этот пессимизм сомнению. Само количество космических черт энергии и материи, создавших понятие «Антропический принцип», тесной связи между тем, какова Вселенная и какова жизнь, было красноречиво. В Космосе, в котором уже есть люди, следовало ожидать рождения жизни и за пределами Земли. Одно за другим возникали предположения, пытающиеся согласовать животворность Космоса с его молчанием. Жизнь возникает на бесчисленном множестве планет, но разумные существа появляются в результате редчайшего переплетения исключительных совпадений. Правда, жизнь возникает не очень часто, но, как правило, она развивается во внебелковых вариантах — кремний демонстрирует обилие соединений, равное множеству соединений углерода, а эволюции, начавшиеся на основе силиконов, неизменно не стыкуются со сферой разума либо создают ее варианты, не родственные складу человеческого ума. Дело не в том, что вспышка разума может иметь разные варианты — она бывает короткой. Само же развитие жизни — в эпоху до возникновения разума — тянется миллиарды лет. Высшие существа, если они сформировались, через сто-двести тысяч лет вызывают технологическое извержение. Это извержение только способствует их все более высокому искусству овладения силами Природы. Этот взрыв — ибо по космическому счету это сущий

взрыв — разбрасывает цивилизации в разных направлениях, слишком далеко для того, чтобы они могли понять друг друга, опираясь на общность мышления. Такой общности вообще не существует. Это антропоцентрический предрассудок, почерпнутый людьми из древних верований и мифов. Разумов может быть много, и именно потому, что их так много, небо ничего не говорит нам. Вовсе нет, утверждали другие гипотезы. Решение загадки гораздо проще. Эволюция жизни, если она порождает Разум, совершает это серией единичных случайностей. Разум может быть погублен еще в колыбели любым звездным вторжением в окрестности родительской планеты. Космические вторжения всегда слепы и случайны; разве палеонтология с помощью галактографии, этой археологии Млечного Пути, не доказала, каким катаклизмам, каким горам трупов мезозойских пресмыкающихся обязаны млекопитающие своим возвышением и какой глубок явлений — оледенения, периоды повышенной влажности, наступление степей, изменения земных магнитных полюсов, темпов мутации — стал генеалогическим деревом человека? Тем не менее Разум может взреть среди триллионов солнц. Он может ступить на путь, подобный земному, и тогда этот выигрыш в звездной лотерее спустя одну-две тысячи лет оборачивается катастрофой, ибо технология полна страшных ловушек и вступившего в нее ждет фатальный конец.

Разумные существа в состоянии заметить опасность, но тогда, когда уже поздно. Избавившись от религиозных верований, манищих исполнением сигоминутных, только сигоминутных желаний, цивилизации пытаются притормозить свой разгон, но это уже невозможно. Даже там, где их не раздражают никакие внутренние антагонизмы.

У найденныша с Титана было время, чтобы задавать вопросы и выслушивать ответы. От размышлений о себе и о мире — называемых на Земле философией — Разумные Существа переходят к делам и тогда осознают: что бы ни вызвало их к жизни, оно не дало им ничего более достоверного, чем смерть. Именно ей они обязаны своим возникновением, потому что без нее не действовала бы в течение миллиардов лет изменчивость появляющихся и гибнущих видов. Их произвело на свет несметное число всех смертей археозоя, палеозойской эры, последующих геологических эпох, и заодно с Разумом они получают уверенность в своей смертности. Вскорости, спустя десяток с лишним столетий после этого диагноза, они разгадывают родительские методы Натуры, этой столь же коварной, сколь и бесполезной технологии самопроизходящих процессов, к которым прибегает Природа, чтобы

предоставить поприще для очередных форм жизни. Технология эта вызывает у людей изумление до тех пор, пока остается им недоступна. Однако этот период недолог. Похитив секреты растений, животных, собственных тел, они преобразуют среду, то есть себя, и этот рост владычества невозможно насытить. Они могут выйти в Космос — чтобы воочию убедиться, как он чужд им и как беспощадно печать животного происхождения оттиснута на их телах. Они преодолевают и это отчуждение и вскоре остаются последним реликтом биологического наследства внутри созданной техносферы. Они расстаются не только с прежней нуждой, голодом, эпидемиями, множеством старческих недугов: они могут расстаться и со смертными телами. Этот шанс появляется внезапно, как фантазмагорический, далекий, ужасающий перекресток.

Такого рода триумфы, отдававшие довольно мрачным пафосом и какой-то инженерной эсхатологией, найденыш принимал к сведению с неудовольствием. Ему хотелось узнать цель экспедиции, если уж он стал ее невольным участником. Ее программа стала для него притягательной благодаря недавно созданному, но уже ставшему в экзобиологии классическим труду, в котором он впервые увидел диаграмму Ортеги—Нейсселя. Диаграмма показывает развитие психозоя в Космосе — главного его ствола и ответвлений. Начало главного ствола относится к раннему технологическому веку. По времени он непродолжителен, не дает ответвлений в течение тысячи лет — на участке между этапами механических и информационных машин. В следующем тысячелетии информатика скрещивается с биологией, создавая ветвь биотического ускорения. Здесь диагностическая ценность диаграммы, переходящей в прогностическую, ослабевает. Основное течение подкреплено фактами и диаграммами, но его ответвления — всего лишь равнодействующие некоторых теорий; правда, с высокой степенью вероятности поддержанных другими. Критическим распутием для основного ствола оказывается момент, когда конструкторские возможности Разумных Существ уравниваются с животворной потенцией Природы. Предвидеть дальнейшее развитие отдельно взятой цивилизации невозможно. Это вытекает из самого характера распутия. Часть цивилизаций может остаться на главном стволе, решительно ограничивая автоэволюцию — она возможна, но не осуществляется. Предельный вариант биоконсерватизма: введение законодательства (уставы, конвенции, запрещения с пенитенциарной санкцией), которому в неременном порядке подчинена деятельность, связанная с заимствованиями у Природы. Возникают технологии, направленные

на спасение окружающей среды: они должны создать техносферу, не наносящую урона биосфере. Такая задача может быть выполнена — хотя и не обязательно; в этом процессе цивилизация, проходя ряд разрушительных кризисов, испытывает демографические потрясения. Она может многократно приходить в упадок и регенерировать, расплачиваясь за самоубийственную бездеятельность миллиардами жертв. Тогда установление межзвездной связи не относится к числу ее насущных задач.

Консерваторы из главного ствола должны молчать — это очевидно.

Биотически неконсервативных решений существует множество. Принятые решения, как правило, необратимы. Отсюда — сильное расхождение древних психозоев. Ортега, Нейссель и Амикар ввели понятие «окна контакта». Это период, когда Разумные Существа уже в высокой степени используют науку, но еще не принялись за преобразование данной им Природой Разумности — эквивалента человеческого мозга. «Окно контакта» — это космический миг. От лучины до керосиновой лампы прошло 16 000 лет, от лампы до лазера — сто лет. Количество информации, необходимой для шага лучина—лазер, может быть приравнена к информации, необходимой для шага от обнаружения наследственного кода к его внедрению в послеатомную промышленность. Рост знаний в фазе «окна контакта» идет по экспоненте, а в конце ее — по гиперболе. Период контакта — возможности взаимопонимания — в худшем случае длится 1000 земных лет, в лучшем — от 1800 до 2500 лет. Вне окна для всех цивилизаций, незрелых и перезрелых, характерно молчание. Первые не располагают достаточной для связи мощностью, вторые либо инкапсулируются, либо создают устройства для сообщений со сверхсветовой скоростью. О возможности сверхсветовой связи велись дискуссии. Никакую материю или энергию нельзя разогнать выше скорости света, но этот барьер, утверждали некоторые, можно преодолеть своеобразной уловкой. Допустим, пульсар со замороженным в нейтронную звезду магнитным полем вращается со скоростью ниже световой. Луч его эмиссии кружится на оси пульсара и на достаточном расстоянии проходит участки пространства с надсветовой скоростью. Если на определенных участках обращения этого луча находятся наблюдатели, они могут синхронизировать свои часы вопреки запрету, открытому Эйнштейном. Они лишь должны знать протяженность сторон треугольника «пульсар — наблюдатель А — наблюдатель Б» и скорость вращения «маяка».

Все эти сведения о космических цивилизациях воскрешенный получил за год, пока «Эвридика» увеличивала скорость. Он дошел

до предела того, что мог освоить, Машина-педагог не изъясляла недовольства учеником, неспособным постичь тайны сидеральной энергетики и ее связи с инженерией и гравитационной баллистикой.

Открытия последнего времени легли в основу проекта экспедиции к звездам Гарпии. От астрономов прошлого века Гарпию прятала облачность, названная Угольным Мешком. «Эвридика» должна была обогнуть ее, войти в «темпоральную пристань» коллапсара Гадес, послать один из своих сегментов к планете, называемой Квинта дзеты Гарпии, дожидаться возвращения разведчика, совершив для этого загадочный маневр, именуемый «пассажем через ретрохрональный тороид». Благодаря этому пассажиру экспедиция вернется к Солнцу через какие-нибудь восемь лет после старта. Без него она вернулась бы спустя две тысячи лет, то есть никогда.

Разведывательный сегмент «Эвридики» должен был самостоятельно пройти целый парсек с экипажем в состоянии эмбрионации. Вариант с витрификацией был отвергнут, поскольку давал лишь 98% вероятности, что замороженные оживут. Постигая все это, пилот древних ракет чувствовал себя как ребенок, посвящаемый в функции синхрофазотрона. То ли способности Мемнора были ограничены, то ли его собственные. Он счел также, что стал негодимым и не должен дальше жить, как Робинзон наедине с электронным Пятницей. И отправился в носовой отсек «Эвридики», в обсерваторию, чтобы увидеть звезды. Целый зал блеснул непонятной аппаратурой, и он напрасно искал орудийный лафет рефлектора или телескопа известной ему конструкции или хотя бы купол с диафрагмой — для визуального наблюдения неба. Высокое помещение казалось бесплодным, хотя было освещено двухъярусными гирляндами ламп. Вдоль стен тянулись узкие галереи — от одной колонки аппаратуры к другой. Вернувшись в каюту после неудачного похода, он заметил на столе старую, расстрепанную книжку с запиской от Герберта: врач снабдил его чтением на сон грядущий. Он был известен тем, что запасся кучей фантастических книжек, предпочитая их ошеломляющим головизионным спектаклям. Вид книги тронул пилота. Он снова — и так долго — был среди звезд, и так давно не видел книг, и, что еще хуже, не умел сблизиться с людьми, которые сделали для него возможным это новое путешествие вместе с его новой жизнью. Как он и просил, ему отвели каюту, похожую и на каюты морского корабля, и на те, что были на старинных транспортных ракетах; жилище рулевого или навигатора, ничем не напоминающее пассажирскую каюту; не место временного пребывания, а дом. У

него была даже двухъярусная койка. Наверх он, как обычно, положил одежду, над изголовьем нижней койки зажег лампочку, накрыл ноги одеялом и, подумав, что снова грешит леностью и безучастностью — но, может быть, в последний раз, — открыл книгу там, где была вложена записка Герберта. Минуту читал, не понимая слов — так подействовал на него обычный черный прифт. Рисунок букв, желтоватые потрепанные страницы, настоящие переплетные швы, выпуклость корешка казались чем-то невероятно своим, единственным, потерянным и отысканным — хотя, правду сказать, он никогда не был страстным читателем. Но сейчас в чтении было что-то торжественное, как будто давно умерший автор когда-то дал ему обещание, и, несмотря на множество препятствий, оно исполнилось. У него была странная привычка открыть книгу наугад и начать читать. Писателям вряд ли бы это понравилось. Он не знал, почему так делает. Возможно, ему хотелось оказаться в выдуманном мире не через обозначенный вход, а сразу попасть в середину. Так он сделал и сейчас.

«...рассказать вам?

Профессор сложил руки на животе.

— На корабле до порта Бома, — начал он, опускаясь в кресло. Прикрыл глаза. — На речном пароходе до Бангала. Там начинаются джунгли. Потом шесть недель верхом, дольше не выдержать. Даже мулы гибнут. Сонная болезнь... Там был один старый шаман, Нфо Туабе. — Он произнес имя с французским ударением — на последнем слоге. — Я приехал ловить бабочек. Но он показал мне дорогу...

Он на минуту смолк. Открыл глаза.

— Вы знаете, что такое джунгли? Откуда вам знать? Зеленая, бешеная жизнь. Все дрожит, следит за вами, движется, в чаще толчея — прожорливые твари, безумные цветы, настоящий взрыв красок, прячущиеся в липкой паутине насекомые — тысячи, тысячи неописанных видов. Не то что у нас в Европе. Искать не нужно. За ночь всю поверхность палатки покрывают ночные бабочки, огромные, как ладонь, назойливые, слепые — сотнями валяются в костер. По полотну движутся тени. Негры трясутся, ветер доносит оглушительный шум со всех сторон. Львы, шакалы... Ну, да это ничего. Потом наступает слабость, лихорадка. Если коней уже побросали — дальше пешком. У меня была сыворотка, хинин, германин, все что хочешь. И вот однажды — никакого счета дней не существует, человек только чувствует, что деление на недели и весь календарь — смешное искусственное построение, — однажды оказывается, что идти дальше нельзя. Джунгли кончаются.

Еще одна негритянская деревенька. Над самой рекой. Реки на карте нет, потому что три раза в год она исчезает под зыбучими песками. Часть русла проходит под землей. Стоит несколько мазанок из обожженной солнцем глины и ила. Там жил Нфо Туабе. Разумеется, английского он не знал. У меня было два толмача. Один переводил мои слова на диалект побережья, а другой — с диалекта на язык бушменов. Целой полосой джунглей от шестого градуса широты правит старинная королевская семья. Потомки египтян, мне думается. Они выше и гораздо умнее негров Центральной Африки. Нфо Туабе даже нарисовал мне карту, обозначил на ней границы королевства. Я спас его сына от сонной болезни. И вот за это...

Не открывая глаз, профессор полез во внутренний карман. Достал из блокнота листок, на котором красными чернилами были начерчены запутанные линии.

— Трудно сориентироваться... Здесь кончаются джунгли, как ножом отрезаны. Это граница королевства. Я спросил, что дальше. Он не хотел говорить ночью. Мне пришлось прийти днем. И только тогда в своей вонючей норе без окон... Вы не можете себе представить, что там за духота... Он сказал мне, что дальше муравьи. Белые слепые муравьи, которые возводят большие города. Их страна протянулась на километры. Рыжие муравьи воюют с белыми. Они идут широкой живой рекой по джунглям. Тогда слоны уходят стадами из этих мест, проламывая проходы в зарослях. Тигры убегают. Даже змеи. Из птиц остаются одни стервятники. Муравьи идут по-разному: иногда по месяцу, днем и ночью, ржавым потоком, а если что встает на их пути — уничтожают. Они доходят до края джунглей, обнаруживают муравейники белых, и начинается сражение. Нфо Туабе однажды видел его. Рыжие муравьи, победив охрану белых, входят в город. Они не возвращаются никогда. Что случается с ними — неизвестно. А на следующий год сквозь джунгли продираются новые отряды. Так было при его отце, дедах, прадедах. Так было всегда. Почва в городе белых муравьев плодородна. С давних времен негры пробовали использовать ее, пытались сжечь жилища термитов. Но они проиграли борьбу. Посевы оказывались уничтоженными. Негры строили шалаши и деревянные изгороди. Термиты добиваются до них подземными ходами, проникают внутрь постройки и так истачивают ее, что она неожиданно падает от прикосновения руки. Пробовали применять глину. Тогда вместо термитов-рабочих появлялись солдаты. Вот такие, — он показал на банку.

Внутри, прикрепленные к стеклянной пластинке, были огромные термиты. Несколько бойцов, громадных и как будто ис-



калеченных существ. Треть туловища была прикрыта роговым панцирем с забралом, увенчанным раскрытыми клешнями. Масса разросшегося панциря придавливала тонкие лапки и брюшко.

— Для вас это не новость, правда? Мы знаем, что существуют территории, где царят термиты. В Южной Америке... У них два вида солдат — что-то вроде внутренней полиции и воины. Термитники достигают восьмиметровой высоты. Они сооружены из песка и выделений, образующих цемент не хуже порландского. Никакая сталь его не берет. Безглазые, белые, мягкие насекомые, которые живут отдельно от мира десятки миллионов лет. Их исследовали Паккард, Шмельц и многие другие. Но никто из них даже не подозревал... Понимаете? Я спас его сына, и за это... О, он был мудрец... знал, чем по-королевски отблагодарить белого человека. Совершенно седой, черный с пепельным отливом негр — как маска, прокопченная дымом. Он сказал мне так:

«Термитники тянутся на мили. Вся равнина ими покрыта. Как лес, как мертвый лес, одни за другими, огромные каменные стволы — между ними едва можно пробраться. Почва везде твердая, гудит под ногой, покрыта как бы переплетениями толстых веревок. Это ходы, по которым бегут термиты. Они построены из того же цемента, что жилища. Они тянутся далеко, исчезают под землей, выходят наверх, разветвляются, пересекаются, входят внутрь термитников, а через каждые полметра образуют расширения, где расходятся термиты, бегущие навстречу друг другу. Там, в глубине Города, среди миллиона окаменевших термитников, в которых бурлит слепая жизнь, стоит один термитник, непохожий на остальные. Невысокий, черный, изогнут крючком».

Он показал своим коричневым большим пальцем, как это выглядит. «Там сердце муравьиного народа». Больше он не хотел говорить.

— И вы ему поверили? — прошептал слушатель. Черные глаза профессора жгли его.

— Я вернулся в Бону. Купил пятьдесят кило динамита в фунтовых брусках, какие применяют в шахтах. Кирки, лопаты, ломы, заступы — массу снаряжения. Баки с серой, металлические шланги, маски, сетки, самые лучшие, какие только можно было достать. Канистры авиационного бензина и арсенал средств против насекомых, какой только можно себе вообразить. Потом я нанял двенадцать носильщиков и отправился в джунгли.

Вам известен эксперимент Колленджера? Его считают сказкой. Правда, Колленджер — не мирмеколог, а любитель. Он разделил термитник сверху донизу стальной пластиной так, чтобы обе половины совершенно не сообщались. Термитник был

новый, его еще строили. Спустя шесть недель он вынул пластину, и оказалось, что они так прокладывали новые коридоры, что их отверстия по обе стороны преграды в точности совпадали — ни на миллиметр отклонения по вертикали и по горизонтали. Так, как люди строят туннель, начиная одновременно с двух сторон горы и встречаясь внутри нее. Каким образом общались термиты сквозь стальную плиту? Кроме того, опыт Глосса. Тоже непроверенный. Он утверждал, что если убить царицу термитов, то насекомые за несколько сот метров от термитника приходят в волнение и возвращаются домой.

Он вновь замолчал, всматриваясь в раскаленные угли камина, над которыми возникали и исчезали голубые язычки пламени.

— Дорога оказалась... Ну, сначала сбежал проводник, потом переводчик. Они бросали вещи и исчезали. Утром, когда я просыпался под москитной сеткой, — молчание, вытаращенные глаза, искаженные страхом лица и перешептывание за спиной. Под конец я связывал их друг с другом, а конец веревки наматывал на руку. Ножи прятал, чтобы они не могли перерезать веревку. От постоянного недосыпа или от солнца воспалились глаза. Утром не мог их разлепить — так склеивались веки. А тут еще наступало лето. Рубашка от пота была жестче крахмальной, до шлема нельзя было дотронуться пальцем, тут же вскакивал волдырь. Ствол карабина жег, как раскаленная болванка.

Мы прокладывали дорогу тридцать девять дней. Я не хотел идти через селение старого Нфо Туабе, потому что он просил меня об этом, и на край джунглей мы вышли неожиданно. Внезапно кончилась адская, душная гуща листьев, лиан, вопящих попугаев, обезьян. Насколько видел глаз, впереди лежала равнина, желтая, как шкура старого льва. На ней росли группками кактусы, и среди них — конусы. Термитники. Они построены изнутри вслепую, часто бывают неправильной формы. Здесь мы провели ночь. Под утро я проснулся с дикой головной болью. Накануне неосторожно снял на минуту шлем. Солнце стояло высоко. Жара была такая, что воздух жег легкие. Все вокруг дрожало в мареве, как будто песок горел. Я был один. Негры перегрызли веревку и убежали. Остался тринадцатилетний мальчишка Уагаду.

Я двинулся вперед. Вдвоем мы перетаскивали багаж на несколько десятков шагов. Потом возвращались и переносили следующую партию. Такие ходки надо было проделывать по пять раз — под солнцем, которое палило, как дьявол. Сквозь белую рубашку мне нажгло спину до волдырей. Они не заживали. Спать приходилось на животе. Но все это ерунда. Целый день мы продвигались в глубь города термитов. Не знаю, есть ли на свете что-

нибудь более грозное. Вообразите себе: со всех сторон — впереди, сзади — каменные термитники высотой в два этажа. Иногда стоят так близко, что между ними еле можно протиснуться. Бесконечный лес шероховатых серых колонн. А когда остановишься, внутри слышен слабый непрерывный мерный шелест, временами переходящий в постукивание. Когда ни прикоснешься к стене, ночью или днем, она постоянно дрожит. Несколько раз нам случилось раздавить один из туннелей, похожих на серые канаты, пучками раскиданные по земле. По ним бесконечной чередой шли белые насекомые. Тут же появлялись роговые шлемы солдат, которые вслепую стригли воздух клешнями и выбрасывали липкую жгучую жидкость.

Так я шел два дня — нечего было и думать о какой бы то ни было ориентировке. Два, три, четыре раза в день я вскарабкивался на какой-нибудь термитник повыше, ища тот, о котором говорил Нфо Туабе. Но видел только каменный лес. Джунгли за ним стояли зеленой полосой, потом — голубой линией на горизонте, наконец, исчезли. Запасы воды уменьшались. А термитникам не было конца. В бинокль я видел их все дальше, до горизонта, там они сливались воедино, как хлебные колосья. Меня поражал мальчик. Не жалуясь, он делал то же, что я, не зная почему и зачем. Мы шли так четыре дня. Я был совершенно пьян от солнца. Защитные очки не помогали. Небо, на которое до сумерек нельзя было взглянуть, невыносимо сияло, и страшно, как ртуть, блеснул песок. А кругом — частоколы термитников, без конца. Ни следа живого существа. Сюда не залетали даже стервятники. Только кое-где стояли одиночные кактусы.

Наконец вечером, отмерив полагавшуюся на этот день порцию воды, я влез на верхушку высоченного термитника. Думаю, он помнил времена Цезаря. Я смотрел кругом, уже без надежды, и вдруг увидел в бинокль черную точку. Сначала подумал, что это грязь на стекле. Я ошибся. Это был тот самый термитник.

Назавтра я поднялся, когда солнце еще не вставало. Еле-еле разбудил мальчишку. Мы принялись таскать вещи в направлении, которое я наметил по компасу. Я также сделал набросок местности. Термитники между тем пошли не такие высокие, но стояли очень часто. Наконец они образовали такой частокол, что мне было не пройти. Негритенок еще мог, и я подавал ему свертки, стоя между двумя цементными колоннами. Потом протискивался через верх. Это длилось пять часов. Но мы осилили, может быть, метров сто. Я видел, что таким образом нам ничего не добиться, и мной овладела какая-то горячка. Я говорю не в буквальном смысле, потому что у меня все время была температура под трид-

цать восемь. Климат. Может, это как-то действует на мозг. Я взял пять фунтовых брусков динамита и взорвал термитник, стоявший у нас на пути. Мы спрятались за другими, когда я поджег фитиль. Взрыв был приглушенный, взрывная волна пошла вглубь. Земля задрожала. Но другие термитники устояли. От взорванного остались только крупные куски оболочки, которые двигались, вертелись — столько на них было белотелых насекомых. До тех пор мы не причиняли друг другу вреда. Теперь началась война. Через воронку нельзя было пройти. Десятки тысяч термитов вылезали из ямы и катились волной, как лава. Они ощупывали каждый клочок земли. Я разжег серу, надел на плечи бак. Вы знаете, как выглядит такое устройство. Похоже на штуку, из которой садовники опрыскивают кусты. Или на огнемет. Едкий дым повалил из шланга, который я держал в руке. Я надел противогаз, другой дал мальчику. Еще дал ему специально на этот случай заказанные ботинки — оплетенные стальной сеткой. Так нам удалось пройти. Я разгонял термитов струей дыма; те, что не отступали, гибли. В одном месте пришлось прибегнуть к бензину, я разлил его и поджег, создав между нами и потоком термитов огненную преграду. Оставалось каких-нибудь сто метров до черного термитника. Не могло быть и речи, чтобы спать. Мы сидели у беспрерывно коптящего бака, светя фонариками. Ну и ночь! Вы никогда не проводили в противогазе шесть часов? Нет? Ну, тогда вообразите себе, что значит торчать в раскаленном резиновом рыле. Когда мне хотелось вздохнуть свободнее, я оттягивал от лица маску, задыхался в дыму. Так прошла ночь. Мальчик все время дрожал. Я боялся, не лихорадка ли это.

Наконец занялся день. Вода кончалась. У нас была только одна канистра. Ее могло хватить на три дня при бережливом расходовании. Надо было возвращаться как можно скорее:

Профессор прервал рассказ, открыл глаза и посмотрел в камин. Угли совсем посерели. Свет лампы наполнял комнату, зеленый, мягкий свет, как бы проникающий сквозь толщу воды.

— В тот день мы дошли до черного конуса.

Он поднял руку:

— Как согнутый палец. Так он выглядел. С гладкой, будто полированной поверхностью. Его окружали низкие конусы, и, что самое примечательное, не вертикальные, а склоняющиеся к нему; я бы сказал, замаскированные фигуры, застывшие в гротескном поклоне.

Я собрал все запасы в одном месте этого круга — около сорока шагов — и приступил к делу. Мне не хотелось уничтожить черный

конус динамитом. С момента, как мы вошли в это пространство, термиты больше не появлялись. Можно было наконец сдернуть с лица противогаз. Что за облегчение! Несколько минут на земле не было человека счастливее меня. Неопишное блаженство свободного дыхания — и этот конус, черный, странно искривленный, не похожий ни на что на свете. Я, как безумный, плясал и пел, несмотря на пот, градом кативший со лба. Мой Уагаду смотрел потрясенный. Может быть, ему казалось, что я поклоняюсь черному божку...

Но я быстро пришел в себя. Причин для радости было не много, вода кончалась, провизии еле-еле хватало на два дня. Правда, оставались термиты. Негры считают их лакомством. Но я не мог себя переломить. Впрочем, голод учит...

Он снова замолчал. Глаза его блеснули.

— Чтобы не тянуть... Знаете, я разрушил этот конус... Старый Нфо Туабе говорил правду.

Он наклонился вперед. Черты его заострились. Он говорил, не переводя дыхания:

— Сначала там был слой волокон, тонкой пряжи, необыкновенно гладкой и прочной. Внутри — центральная камера, выстланная толстым слоем термитов. Да и были ли это термиты? Никогда в жизни таких не видел. Огромные, плоские, как ладонь, покрытые серебряным пушком, с конусообразными головами, заканчивающимися чем-то вроде антенны. Антенны прижимались к серому предмету величиной не больше моего кулака. Насекомые были невероятно старые. Неподвижные, будто деревянные. Они даже не пытались защищаться. Брюшки их мирно пульсировали. Но когда я отрывал их от этого предмета в центре, от этой круглой необыкновенной вещи, — мгновенно погибали. Рассыпались в руках, как истлевшие тряпки. У меня не было ни времени, ни сил, чтобы все изучить. Я достал из камеры этот предмет, запер в ящике из листовой стали и немедля вместе с моим Уагаду пустился в обратный путь.

Не стоит рассказывать, как я добрался до побережья. Нам встретились рыжие муравьи. Я благословил минуту, когда решил тащить назад полную канистру бензина... Если бы не огонь... Но это не важно. Это отдельная история. Скажу только одно: на первом привале я внимательно рассмотрел вещь, похищенную из черного конуса. Когда я очистил ее от наслоений, обнажился идеально правильный шар из вещества тяжелого, прозрачного, как стекло, но гораздо сильнее преломляющего свет. И там, в джунглях, обнаружился некий феномен, на который я не сразу обратил внимание. Думал, что мне показалось. Но когда добрался до ци-

визированных мест на побережье, и еще после этого, — убедился, что не заблуждаюсь...

Он откинулся на спинку кресла и, почти невидимый — только голова выделялась на светлом фоне, — продолжал:

— Меня преследовали насекомые. Мотыльки, ночные бабочки, пауки, перепончатокрылые, какие угодно. День и ночь они тянулись за мной жужжащей тучей. А точнее, не за мной — за моим багажом, за металлическим ящичком, скрывавшим в себе шар. Во время путешествия на корабле было несколько лучше. Применяв радикальные средства против насекомых, я избавился от этого бедствия. Новые не прилетали — в открытом море их нет. Но как только я сошел на берег Франции, все началось снова. А хуже всего муравьи. Где бы я ни задерживался более часа, там появлялись муравьи. Рыжие, древоточцы, фараоновы, черные, жнецы, крупные и мелкие неотвратно тянулись к шару, собирались на стальном ящичке, покрывали его пульсирующим клубком, кусали, грызли, уничтожали все упаковки, в которые я его помещал, давили друг друга, погибали, выделяли кислоту, пытаясь с ее помощью одолеть стальную пластину.

Он помолчал.

— Дом, где мы находимся, его уединенное положение, все меры предосторожности, которые я принимаю, вызваны тем, что меня беспрестанно преследуют муравьи.

Встал.

— Я делал опыты. С помощью алмазных сверл отделил от шара крошку не больше макового зерна. Она действовала так же притягивающе, как и весь шар. Я также обнаружил, что, если окружить шар толстым слоем свинца, он перестает действовать.

— Какие-то лучи? — охрипшим голосом спросил слушатель. Он, как за гипнотизированный, вглядывался в едва различимое лицо старого ученого.

— Возможно. Не знаю.

— ...Этот шар у вас?

— Да. Вам хочется посмотреть на него?

Собеседник профессора вскочил. Хозяин пропустил его вперед, вернулся к столу за ключом и поспешил за гостем в темный коридор. Они вошли в узкую, без окон, каморку. Она была пуста, в углу стоял большой старинный сейф. Слабый свет голой лампочки под потолком синевато поблескивал на стальных поверхностях. Профессор привычной рукой вставил ключ в замок. Повернул, раздался скрежет засовов, толстые двери раскрылись. Он сделал шаг в сторону. Сейф был пуст.

Каюты физиков находились на четвертом ярусе. Он уже ориентировался на «Эвридике», изучил план корабля, столь непохожего на те, на которых он летал. Ему были непонятны многие названия и назначение странных устройств кормового отсека, бесплодного и отделенного от остальной части тройными переборками. Гусеницеобразное чудовище вдоль и поперек было пронизано коммуникационными туннелями, образующими нечто подобное подземной сети вытянутого, цилиндрического города. Его мышцы хранили память о тесных коридорах — овальных или круглых, как колодцы, — в которых при невесомости приходилось плавать, время от времени помогая себе легким толчком, чтобы повернуть за угол, а на грузовых кораблях в трюм можно было попасть проще — через ствол вентиляционной системы: достаточно было включить компрессор и затем нестись в шуме почти настоящего ветра, причем ноги, висящие в воздухе, казались ненужным, рудиментарным придатком, с которым неизвестно что делать. Он почти жалел о невесомости, которую в свое время не раз проклинал из-за того, что законы Ньютона давали о себе знать: достаточно было стукнуть молотком, не держась как следует другой рукой, чтобы полететь по линии отдачи, выделывая кульбиты, смешные только для зрителей. Лифты, ни к чему не прикрепленные — обтекаемые кабины с вогнутыми окнами, в которых можно было увидеть собственное искаженное отражение, — двигались бесшумно, показывая номера секторов и мигая на нужной остановке. Коридор был выстлан чем-то пружинящим и шероховатым, за углом исчез похожий на черепаху пылесос, а он шел вдоль ряда дверей, слегка вогнутых, как и стена, с высокими порогами, окванными медью, — наверняка прихоть какого-нибудь специалиста по интерьерам, иначе этого не объяснишь. Он остановился перед каютой Лоджера, сразу утратив уверенность в себе. Он еще не сумел стать своим для членов команды. Их доброжелательность в кают-компании, готовность то одного, то другого пригласить его к своему столу казалась ему нарочитой, будто они изображали, что он и в самом деле — один из них, только пока без должности. Он, правда, разговаривал с Лоджером, и тот уверил его, что можно прийти, когда угодно, но и это не внушало доверия, а настораживало. Все-таки Лоджер был видным физиком, и не только на «Эвридике». Он никогда не думал, что придется мучиться сомнениями насчет *savoir-vivre*<sup>1</sup> — эти слова были здесь так же странны, как

<sup>1</sup> Обходительность (фр.).

слово «флирт» в подземельях пирамид. Дверь без ручки — достаточно было коснуться ее кончиками пальцев, и она открылась так быстро, что он чуть не отшатнулся, как дикарь от автомобиля. Просторная комната поразила его беспорядком. Среди разбросанных магнитных лент, пластин, бумаг, атласов высился большой письменный стол со столешницей в виде полуколыска, с вращающимся стулом в центре, за ним на стене — черный квадрат с перемещающимися светлячками искр. По обе стороны мерцающего табло висели огромные подсвеченные фотографии спиральных туманностей, а дальше высились вертикальные столбы-цилиндры, частью открытые, заполненные дисками процессоров. В левом углу громоздился уходящий в потолок четырехгранный аппарат с прикрепленным к нему сиденьем, а из щели под бинокляром мелкими скачками выходила лента с каким-то графиком и, сворачиваясь, ложилась на пол, покрытый старым персидским ковром с затертой вязью рисунка. Ковер добил Ангуса окончательно. Цилиндр-колонна исчез, открыв вход в следующее помещение. Там стоял Лоджер — в полотняных брюках и свитере, с давно не стриженной головой — и улыбался ему заговорщицки и простодушно. У него было пухлое лицо состарившегося ребенка, и он так же не походил на создателя высоких абстракций, как Эйнштейн в пору своей работы в каком-то учреждении.

— Добрый день... — сказал гость.

— Входи, коллега, входи. Что значит вовремя прийти: одним махом можно проникнуть в физику и в метафизику... — И в пояснение добавил: — У меня отец Араго.

Он вошел вслед за Лоджером в другую каюту, меньшего размера, с застеленной кроватью, несколькими креслицами вокруг стола. Доминиканец рассматривал в лупу какой-то план или, может быть, компьютерную карту планеты — по ней шли параллели.

Араго выдвинул кресло рядом с собой. Все трое сели.

— Это Марк. Вы его знаете? — спросил Лоджер и, не ожидая ответа, продолжил: — Догадываюсь о ваших сложностях, Марк. Трудно договориться с духом в машине.

— Машина невиновна, — заметил доминиканец с ощутимой иронией в голосе. — Она говорит то, что в нее вложено.

— То, что мы в нее вложили, — уточнил, упрямо улыбаясь, физик. — В теориях нет согласия, но его никогда и не было. Речь идет о послеоконных цивилизациях, — пояснил он новому гостю. — Вы пришли в разгар спора, я кратко изложу начало. Вы уже знаете, что прежние понятия о ЕТИ<sup>1</sup> изменились. Если даже

---

<sup>1</sup> Extraterrestrial Intelligence — внеземной разум (англ.).



в галактике имеется миллион цивилизаций, то время их существования настолько разное, что нельзя сначала уговориться с хозяином планеты, а потом его навестить. Цивилизацию поймать трудней, чем однодневку. Поэтому мы ищем не бабочку, а куколку. Вы знаете, что такое «окно контакта»?

— Знаю.

— Ну вот! Перебрав миллионов двести звезд, мы обнаружили одиннадцать миллионов кандидатов. У большинства из них планеты либо мертвы, либо находятся ниже окна, либо выше. Представь себе, — он неожиданно перешел на «ты», — что ты влюбился в портрет шестнадцатилетней девушки и решил добиться взаимности. К сожалению, путешествие длится пятьдесят лет. Ты окажешься перед старухой или покойницей. Если отправишь любовное послание почтой, состаришься, прежде чем получишь первый ответ. Такова *in pace*<sup>1</sup> начальная концепция СЕТИ<sup>2</sup>. Нельзя перемежать разговор столетними паузами.

— Значит, мы летим к куколке? — спросил он.

С некоторого времени его называли Марком, и сейчас, непонятно почему, у него мелькнула мысль, не пошло ли это от монаха, который тоже и был, и не был членом экипажа.

— Неизвестно, к чему, — заметил Араго.

Лоджер, казалось, был доволен этими словами.

— Вот именно. Жизнотворные планеты мы узнаем по составу атмосферы. Их каталог насчитывает в нашей галактике многие тысячи. Мы отобрали тридцать подающих надежды.

— На разум?

— Разум в колыбели невидим. Но когда подрастет, вылетает из окна. Нужно застать его до того. Откуда мы знаем, что наша цель стоит усилий? Это Квинта, пятая планета дзеты Гарпии. Имеется ряд фактов.

— *In dubio pro geo*<sup>3</sup>, — изрек доминиканец.

— А кто, по-вашему, обвиняемый? — спросил Лоджер и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Первый космический симптом разума — радио. Задолго до радиоастрономии. Нет, не так уж долго — около ста лет. Планету с передатчиками можно обнаружить, когда их суммарная мощность выразится в гигаваттах. Квинта излучает в коротком и ультракоротком диапазонах меньше, чем ее солнце, но для мертвой планеты феноменально много. Для достигшей этапа электроники — средне, ниже уровня со-

<sup>1</sup> По сути (*лат.*).

<sup>2</sup> Контакт с внеземным разумом.

<sup>3</sup> Сомнение (толкуется) в пользу обвиняемого (*лат.*).

лечных шумов. Но что-то там есть, какое-то радио, хотя бы подпороговое. Имеются доказательства.

— Улики, — снова поправил его апостольский посланник.

— Даже меньше — одна улика, — согласился Лоджер. — Но еще важнее то, что на Квинте наблюдались точечные электромагнитные вспышки и излучение одной из них было зарегистрировано спектроскопами орбитеров Марса. Два эти орбитера обошлись Земле дорого: в цену нашей экспедиции.

— Атомные бомбы? — спросил человек, уже согласившийся называться Марком.

— Нет. Скорее, начало планетной инженерии, поскольку вспышки были термоядерные, чистые. Если бы на Квинте развитие шло, как на Земле, началось бы с уранидов. Более того, эти вспышки появились внутри полярного круга. То есть в тамошней Антарктике либо Арктике. Так можно растапливать материковые льды. Но мы не в этом расходимся. — Он посмотрел на доминиканца. — Речь идет о том, что своим прилетом мы можем нанести им вред. Отец Араго полагает, что можем. Я тоже так думаю...

— В чем же различие?

— Я считаю, что игра стоит свеч. Познание мира без ущерба невозможно.

Он начинал понимать смысл разногласий. Он даже забыл, кто он. К нему вернулся былой задор.

— Вы, священник... то есть отец, вы летите с нами вопреки своим убеждениям? — спросил он у монаха.

— Конечно, — ответил Араго. — Церковь была против экспедиции. Так называемый контакт может оказаться даром данайцев. Открыванием ящика Пандоры.

— Вы заразились мифологическим духом проекта. — Лоджер рассмеялся. — «Эвридика», «Юпитер», «Гадес», «Цербер»... Это мы понатащили у греков. Корабль, впрочем, должен был бы называться «Арго», а мы — психонавтами. Постараемся принести как можно меньше вреда. Поэтому и ход операции настолько сложен.

— *Contra spem spero*<sup>1</sup>, — вздохнул монах. — Вернее сказать, хочу оказаться неправым.

Лоджер, похоже, не слышал его, он уже думал о другом.

— Пока мы приблизимся к Квинте, на ней за год корабельного времени пройдет по крайней мере триста лет. Это значит, что мы застанем их уже в верхней части окна. Только бы не опоздать! Секундные изменения нашего графика, и мы либо придем рань-

<sup>1</sup> Без надежды надеюсь (лат.).

ше времени, либо опоздаем. А вред... вы же знаете, отец, что технологическая цивилизация инертна, хотя и нестационарна. Иначе говоря, ее нелегко сбить с курса. Что бы ни произошло, мы не выступим в роли богов, спустившихся с небес. Мы ищем не первобытные культуры, и в СЕТИ нет астроэтнологов.

Арго молчал, глядя на физика из-под полуопущенных век. Свидетель разговора отважился спросить:

— Разве это хорошо?

— Что? — удивился Лоджер.

— Считать незамеченных несуществующими. Такое приравнение верно только прагматически...

— Это можно назвать и оппортунизмом, если вам угодно, — холодно ответил Лоджер. — Мы выбрали задание, которое можно выполнить. Окно контакта имеет эмпирическую раму, но этическое основание. Нам не вложить знаний, сублимированных двадцать вторым веком, в головы пещерных жителей. Впрочем, почему *pluralis majestaticus*?<sup>1</sup> Я отстаивал проект, и вот я здесь, потому что под контактом понимаю обмен знаниями. Обмен. Не патронаж, не поучения, как стать лучше.

— А если там царит зло? — спросил Араго.

— А разве существует универсальное зло? В неизменном виде? — возразил Лоджер.

— Боюсь, что существует.

— Тогда следовало сказать «*non possumus*»<sup>2</sup> и оставить проект без внимания...

— Я лишь исполняю свой долг.

С этими словами священник встал, попрощался, склонив голову, и вышел.

Лоджер, развалившись в кресле, соорудил непонятную гримасу, пошевелил губами, как бы ощущая на них горечь, и буркнул отрешенно:

— Я его уважаю за то, что он выводит меня из равновесия. Ко всему приделывает крылья. Либо рога. Хватит. Я не затем хотел с вами увидеться. Мы пошлем на Квинту разведку. Сегмент корабля, который сможет приземлиться. «Гермес». Полетит девять или десять человек. Четверка командиров уже известна. Специалистов будут выбирать голосованием. Вы хотите быть в списке?

Он не сразу понял.

— Ну, приземлиться там...

---

<sup>1</sup> Множественное возвеличение (лат.). Здесь: «Почему множественное число?»

<sup>2</sup> Не можем (лат.).

Его обожгли недоверие и восторг. Лоджер увидел, как у него заблестели глаза, и сказал предупреждающе:

— Попасть в список — еще не значит участвовать. Здесь не имеют значения научные заслуги. Величайший теоретик запросто может наложить в штаны. Нужны крепкие люди. Такие, которых ничто не сломит. Герберт — прекрасный психоник, психолог, знаток душ, но мужество не проверяется в лабораториях. Ты знаешь, кто ты?

Он побледнел.

— Нет.

— Так я тебе скажу. В бирнамских ледяных завалах погибло много людей в шагающих машинах. Их застигло извержение гейзеров. Это были водители-профессионалы, они выполняли свою работу, и никто из них не знал, что идет на смерть. Двое пошли их искать по собственной воле. Ты — один из двоих.

— Откуда вы знаете?.. Доктор Герберт говорил мне, что...

— Доктор Герберт и его ассистент — корабельные врачи. Они понимают в медицине, но не в компьютерах. Они считали должным сохранить врачебную тайну — ведь личность воскрешенного не удалось установить. Не травмировать психику — вот их аргумент. На «Эвридике» нет подслушивания, но есть центр с нестираемой памятью. Доступ к нему имеет командир, первый информатик и я. Ты ведь не расскажешь этого врачам? Правда?

— Не расскажу.

— Это бы задело их. Я знаю, ты этого не сделаешь.

— Разве они не догадаются, если...

— Не думаю. Врачи систематически проверяют состояние здоровья всего экипажа. Голосование тайное. Из пяти голосов получишь три. Так мне кажется. А говорю тебе об этом сейчас, потому что ты должен как следует подготовиться. Я знаю, ты показал на симуляторах отличные навыки по астронавации в категориях прошлого века — но не в сегодняшних. В течение года будешь межзвездным школьником. Если справишься, увидишь квинтян. А сейчас прощаемся, у меня полно дел.

Они встали. Он был выше и моложе известного физика. Лоджер не полетит, подумалось ему. Лоджер проводил его до двери. Он не видел ни физика, ни искр, мечущихся по черному экрану, не помнил, как попрощался и что говорил. Не помнил и как очутился в своей каюте. Не знал, что с собой делать. Пошел в кладовку, по ошибке otvorил не ту дверь, увидел в зеркале свое лицо и сказал:

— Увидишь квинтян.

Он принялся за учение. Итог статистических расчетов был в целом ясен. Жизнь возникает и безгласно существует на планетах миллиарды лет. Из нее вырастают цивилизации, но не для того, чтобы исчезнуть, а чтобы претвориться в то, что выше человека. Поскольку частота рождений техногенных цивилизаций для обычной спиральной галактики, в общем, постоянна, они рождаются, созревают и исчезают в одинаковом темпе. Новые, хотя и продолжают возникать, исчезают из окна контакта быстрее, чем с ними удастся обменяться сигналами. Немота примитивных цивилизаций очевидна. Молчанию высших посвящено бесчисленное множество гипотез. Из них собралась библиотека, которой он пока не касался. Он читал: в данный момент, в данный век (астрономически это одно и то же) Земля представляет собой, следует признать, единственную цивилизацию — уже техническую, но еще биологическую — в районе Млечного Пути. Казалось, что расчеты СЕТИ провалились. Прошло полтора века, прежде чем выяснилось, что это не так. Действительно, нельзя преодолеть пространство между двумя звездами так, чтобы одни Живые и Разумные Существа могли встретить Других и вернуться; это недостижимо при обычном полете. Если бы даже астронавты летели со световой скоростью, они бы не увидели ни тех, к кому отправились, ни тех, кого оставили на Земле. И здесь и там за несколько лет корабельного времени пройдут по крайней мере столетия. Это категорическое утверждение науки дало церкви повод к следующему теологическому рассуждению. Тот, кто сотворил мир, сделал несбыточной мечтой встречи Сотворенных на разных звездах. Он возвел между ними преграду, идеально пустую и невидимую, но непреодолимую: свое, а не человеческое расстояние. Но история людей всегда идет по-другому, чем мысль, ее предсказывающая. Пространственные пропасти Космоса оказались преградой, которую действительно нельзя преодолеть. Но ее можно обойти серией особых маневров.

Среднее время галактики едино — она сама является часами, показывающими свой возраст, а значит, и время. Там же, где властвует наивысшая напряженность гравитации, галактическое время резко меняется. Оно имеет границы, у которых останавливается. Это сферы Шварцшильда — черные поверхности захлопнувшихся звезд. Такая поверхность представляет собой «горизонт явлений». Приближающийся к ней предмет в глазах отдаленного наблюдателя начинает расплываться и исчезает, прежде чем коснется поверхности черной дыры, поскольку время, растянутое гравитацией, перемещает свет сначала к инфракрасным, потом ко все более длинным электромагнитным волнам, пока наконец

ни один отраженный фотон уже не достигнет наблюдателя, так как черная дыра поглощает своим горизонтом каждую частицу и каждую кроху света навсегда. Кроме того, при приближении к черной дыре путешественник будет вместе с кораблем разорван нарастающей гравитацией. Приливы и отливы тяготения растягивают там любой материальный объект, пока он, как нить, продолжающая радиус черного шара, не нырнет в него навсегда.

Захлопнувшуюся звезду, коллапсар, нельзя даже облететь ни по какой траектории: приливы тяготения убьют путешественников и разорвут их корабль. Если бы кораблем был сверхплотный космический карлик, нейтронная звезда — шар из втиснутых одно в другое ядер атомов, настолько твердый, что сталь по сравнению с ним тверже газа, — ему бы это не помогло. Коллапсар вытянет такой шар в веретено, разорвет и проглотит в одно мгновение, и останутся только агональные вспышки уходящего в пустоту рентгеновского излучения. Так — внезапно — гильотинируют пришельцев коллапсары, возникшие из звезд, в несколько раз более тяжелых, чем Солнце. Если же, однако, масса черной дыры будет в сто или тысячу раз превышать солнечную, тяготение у ее горизонта может быть слабым, как земное. Сначала ничто не угрожает кораблю, который добрался туда, и люди, влетая под такой горизонт, вообще могут ничего не заметить. Но они тем не менее не смогут выбраться из-под этой невидимой оболочки никогда. Корабль, втянутый в глубь гигантского коллапсара, в течение дней или часов — это зависит от массы ловушки — будет уничтожен в падении к его центру.

Такие теоретические модели гравитационных могил построила астрофизика в конце двадцатого века. Как обычно в истории познания, модель оказалась несовершенной. Она была упрощенной схемой действительности. Сначала внесла поправки квантовая механика: излучение каждой черной дыры тем слабее, чем она больше. Гиганты, расположенные обычно в центрах галактик, тоже когда-нибудь исчезнут, но их «квантовое испарение» будет длиться сто миллиардов лет. Они будут последними остатками прежнего звездного великолепия Космоса.

Дальнейшее разнообразие черных дыр было открыто при очередных расчетах и моделировании. Звезда «захлопывается» потому, что ее излучение слабеет и не может противостоять тяготению; она приобретает форму шара не сразу. Сжимаясь, она дрожит, как капля, попеременно расплющиваясь в диск и растягиваясь, как веретено. Эта дрожь длится очень недолго. Частота колебаний зависит от массы коллапсара. Он ведет себя как гонг, ударяющий сам в себя. Но умолкший гонг можно ударом извне

заставить дрожать снова. С черным шаром это можно сделать при помощи сидеральной инженерии. Нужно знать ее законы и располагать достаточной энергией, порядка  $10^{44}$  эргов, излучаемой так, чтобы черный шар начал резонировать. Зачем? Чтобы создать то, что астрофизики, привыкшие к громадности объектов своих исследований, назвали «темпоральной луковицей». Так же, как сердцевину луковицы окружает слоями мякоть, на срезе напоминающая годовые древесные кольца, так коллапсар в резонансе окружен изогнутым гравитацией временем — вернее, сложными наложениями пространства-времени. С точки зрения удаленных наблюдателей, черная дыра дрожит, как камертон, несколько секунд. Но для того, кто оказался бы около нее в прослойке измененного времени, показания галактических часов потеряли бы смысл. Значит, если корабль доберется до черной дыры, многообразно деформирующей пространство-время, он может всплыть в брадихрон и в этой области замедленного времени находиться годами — чтобы затем покинуть темпоральный порт.

Для внешнего наблюдателя корабль исчезнет, приблизившись к черной дыре, а после невидимой стоянки на брадихроне появится в окрестностях звезды. Для всей Галактики, для всех сторонних наблюдателей коллапсар, приведенный в резонанс, несколько секунд дрожит, изменяя форму от сплюснутого диска до веретена. Подобным образом он содрогался в агонии, когда был захлопывающейся звездой, раздавленной собственной тяжестью после того, как выгорела ее нуклеарная начинка.

Для корабля на брадихроне время почти стоит. Но это еще не все. Содрогающийся коллапсар ведет себя не как идеально эластичный мяч, а скорее как неравномерно деформирующийся при подскоках шарик. Это результат усиления квантовых эффектов. Поэтому при брадихронах могут появляться ретрохроны: потоки времени, текущего вспять. Для внешнего наблюдателя не существует ни первых, ни вторых. Чтобы использовать это стоячее либо обратное время, в него нужно вторгнуться.

Проект предусматривал использование одинокого коллапсара над скоплением Гарпии, как порта, в который должна войти «Эвридика». Ведь задачей экспедиции был не контакт с любой цивилизацией, находящейся в периоде возможного контакта, а поимка цивилизации, которая, как бабочка, стремящаяся к небу, улетает из окна — уже трепещет крыльями около его верхнего края, и там ее должен настичь энтомолог. Для этой операции была необходима стоянка во времени на таком расстоянии от обитаемой планеты, чтобы земляне-космонавты успели посетить ее, прежде чем цивилизация сойдет с основного курса развития Ор-

теги—Нейсселя. С этой целью экспедиция была разделена на три этапа. На первом «Эвридика» должна была долететь до расположенного в созвездии Гарпии коллапсара, намеченного в качестве места для засады и темпоральных маневров. Этот коллапсар с полным основанием был назван Гадесом, ибо «Эвридике» предшествовал бесплодный гигант, ракета-заряд одноразового употребления «Орфей». Он был гравитационным орудием, представляя собой грасер (gravitation amplification by collimated excitation of resonance<sup>1</sup>). По сигналу «Эвридики» он должен был привести черную дыру в содрогание, соответствующее ее собственной частоте колебаний.

Огромный по земным масштабам, «Орфей» был перышком по сравнению с массой коллапсара, который ему предстояло раскатать, но он должен был воспользоваться гравитационным резонансом. Отдавая дрожащую душу Гадесу, «Орфей» должен был заставить его сжаться и разжаться, чтобы черный ад раскрыл свою пропасть и впустил «Эвридику» в круговерть брадихронических потоков. Сначала с борта корабля следовало убедиться, что отстоящая на пять световых лет Квинта находится в расцвете технологической эры, и после такого диагноза установить подходящее время для ее посещения. После определения этого времени «Эвридика» должна была создать себе темпоральную пристань внутри Гадеса, приведенного в дрожь грасерным излучением «Орфея». Поскольку его хватало лишь на один гравитационный выстрел и этим выстрелом он уничтожил себя, операцию нельзя было повторить. Если бы она не удалась с первого раза из-за навигационной опшибки внутри темпоральных бурь, из-за неверной оценки темпов развития квинтянской цивилизации или из-за любого фактора, не принятого во внимание, экспедиции угрожало бы фиаско, означающее в лучшем случае возвращение на Землю ни с чем. План осложнялся к тому же намерением прибегнуть в Гадесовом аду к ретрохрону, то есть ко времени, идущему вспять по отношению ко времени всей галактики, чтобы экспедиция могла вернуться в окрестности Солнца меньше чем через двадцать лет после старта, хотя Гарпию от Земли отделяет тысяча парсеков. Правда, точная дата возвращения лежала в границах неопределенности: доли секунды полета по ретрохронам и брадихронам оборачивались годами вдали от гравитационных прессов и жерновов.

Его разум не мог принять эту информацию; он видел в ней противоречия. Основным было следующее.

---

<sup>1</sup>Усиление гравитации путем фокусированного возбуждения резонанса (англ.).



«Эвридика» должна зависнуть над коллапсаром вне времени или во времени, отличающемся от обычного. Разведчики полетят к Квинте и вернутся. Это займет более семидесяти тысяч часов, или около восьми лет. Коллапсар под ударами грасера должен вибрировать, превращаясь то в уплощенный диск, то в длинное веретено, всего несколько минут — для всех отдаленных наблюдателей. Значит, когда отряд вернется, он уже не застанет корабль в коллапсической гавани. Черная дыра задолго до этого вновь обратится в пульсирующий шар. Тем не менее «Гермес», покинув Квинту, должен найти родной корабль в темпоральной гавани. Но ведь он не застанет этой гавани, возникшей, чтобы тут же исчезнуть; она не может просуществовать до возвращения «Гермеса». Как согласовать одно с другим?

— Некоторые физики, — объяснил ему Лоджер, — утверждают, что понимают это так же легко, как понимают, что такое камень или шкаф. В действительности они понимают лишь соответствие теории и результатов измерений. Физика, дорогой мой, — это узкая тропинка над пропастями, недоступными человеческому воображению. Это собрание ответов на некоторые вопросы, которые мы задаем миру, а мир отвечает нам — с условием, что мы не будем задавать ему иных вопросов, о которых вопиет здравый смысл. Что такое здравый смысл? То, что содержит интеллект, основанный на тех же чувствах, что у обезьян. Интеллект, познающий мир в соответствии с законами, сформированными в его земной биологической нише. Но мир за пределами этой ниши, этого рассадника умных человекообезьян, имеет особенности, которые нельзя взять в руку, увидеть, укусить, услышать, осязать и, таким образом, освоить. Полет «Гермеса» будет длиться для «Эвридики», стоящей в коллапсической гавани, несколько недель. Для экипажа «Гермеса» он продлится около полутора лет. Из них три месяца — путь до Квинты, год на Квинте и квартал на обратный путь. Для наблюдателей, находящихся ни на «Гермесе», ни на «Эвридике», «Гермес» выполнит свое задание за девять лет, и «Эвридика» скроется с их глаз на такое же время. По времени, измеряемому на ее борту, она перейдет из пятницы в субботу, вернется в пятницу, и тогда коллапсар извергнет ее в пространство. На «Гермесе» время будет идти медленнее, чем на Земле, из-за его световой скорости. Время на «Эвридике» будет идти еще медленнее, а потом пойдет вспять из-за ее маневров: она перейдет с брадихрона на ретрохрон, а с него перескочит на галактохрон. То есть из времени, гравитационно растянутого, в обратное время, а из него вынырнет и встретится с «Гермесом» в искаженном пространстве-времени. Если «Эвридика» ошибется в своих маневрах на секунды, перемещаясь по вариохронам, она не

встретит «Гермеса». В этом нет никаких противоречий, если можно так выразиться, со стороны мира. Противоречия возникают, когда разум, выношенный при ничтожном земном тяготении, сталкивается с существованием тяготений в билион раз больших — вот и все. Мир устроен по универсальным законам, именуемым законами Природы, но один и тот же закон может действовать с разной интенсивностью. Вот пример: для того, кто очутится в черной дыре, пространство приобретет вид времени, поскольку он не сможет двигаться в пространстве назад, так же как нельзя в земном времени идти вспять, то есть в прошлое. Впечатлений этого путешественника невозможно вообразить, даже приняв, что он не погибнет тут же за горизонтом событий. Несмотря на это, я считаю, что мир к нам расположен, поскольку мы можем овладеть тем, что противоречит нашим ощущениям. Ну вот подумай: ребенок может овладеть речью, не понимая ни принципов грамматики, ни синтаксиса, ни внутренних противоречий языка — они скрыты от говорящего. Видишь, я из-за тебя стал философствовать. Человек жаждет окончательных истин. Он полагает, что к этому стремится лобой смертный разум. Что такое конечная истина? Это конечная точка пути, где больше нет ни тайн, ни надежд. Когда ни о чем не надо спрашивать, поскольку все ответы уже даны. Такого места не существует. Космос — лабиринт, созданный из лабиринтов. В каждом обнаруживается следующий. До тех мест, куда нельзя войти нам самим, мы добираемся с помощью математики. Мы создаем из нее средства передвижения по нечеловеческим областям мира. И еще — из математики можно конструировать внескопические миры независимо от того, существуют ли они. Кроме того, можно оставить математику и ее миры ради веры в потусторонний мир. Этим занимаются люди типа отца Араго. Различие между мною и им — это различие между доступностью осуществления определенных событий и надеждой на осуществление определенных событий. Моя профессия занимается тем, что доступно, а его — тем, что только ожидаемо и доступным для лицезрения станет лишь после смерти. Чего ты удостоился после смерти? Что ты увидал?

— Ничего.

— Именно в этом *differentia specifica*<sup>1</sup> между знанием и верой. Насколько мне известно, то, что воскрешенные ничего не видели, не нарушило догматов веры. Новая эсхатология христианства утверждает, что воскрешенный забывает о жизни на том свете. И что это — в моей трактовке — акт божьей цензуры, запрещающей людям прыгать туда и обратно с этого на тот свет. *Credenti non*

<sup>1</sup> Видовое отличие (лат.).

fit injuria<sup>1</sup>. Раз стоит жить для такой эластичной веры — Араго тому доказательство, — то несколько легче принять за чистую монету противоречия, которые приведут тебя к квинтянам. Доверься физике так, как Араго — своей вере. Физика в отличие от веры совершает ошибки. Ты волен выбирать. Подумай. А теперь иди. Я должен работать.

Было около полуночи, когда он оказался в своей каюте. Он думал то о Лоджере, то о монахе. Физик был на своем месте, а тот, другой? Чего он ждал? На что рассчитывал? Не на миссионерство же? Не образовалась ли уже теологическая пристройка к нечеловеческим дарам и творениям Бога и не считает ли себя Араго ее глашатаем? Почему он обмолвился, что там может господствовать зло? Теперь только до него дошел ужас, в котором, очевидно, жил этот человек. Он боялся не за себя — за свою веру. Он мог считать Искупление милостью, посланной человечеству, участвуя в экспедиции к неплодским существам — то есть в области, которых не достигает его Евангелие. Он мог так считать. А поскольку он верил в вездесущность Бога, то верил и в вездесущность зла, ибо дьявол, введивший Христа во искушение, существовал до Благовещения и Зачатия. Значит, Араго вез с собой догматы, которыми жил, чтобы причинить им ущерб? Он покачал головой. Лоджера можно было спрашивать обо всем, а этого — нет. В Евангелии нет ни слова о том, что рассказал Лазарь после воскрешения. И сам он не может помочь отцу Араго, хотя и восстал из мертвых. Вера, охраняя себя, дала таким воскрешениям иное — светское, земное название и благодаря этому не была нарушена. Впрочем, он в таких вещах не разбирался, он лишь почувствовал мучительное одиночество монаха, потому что сам уже не был одиноким, беспомощным и безучастным, случайно взятым на борт найденьщиком. Он укладывался спать, вслушиваясь в абсолютную тишину «Эвридики». Скорость — у границы световой. Предстоял поворот тяги. Часы во всех помещениях покажут критическое время: экипаж должен лечь на койки навзничь и пристегнуться ремнями. Шары корпуса внутри бронированных сегментов повернутся на сто семьдесят градусов. Все вокруг завертится. Хаос, головокружение продлятся минуту. Потом все снова застынет в спокойной тишине. Пламя тяги уже не будет омыwać корму, оно рванется вдоль носа вперед. Благодаря этому несколько улучшится связь с Землей. С многолетним опозданием будут догонять «Эвридику» вести от тех, кого экипаж оставил на Земле. Ему не придет ла-

<sup>1</sup> Верующему не повредит (лат.).

зерное письмо, так как он никого не оставил на Земле. Но вместо прошлого у него было будущее, ради которого стоило жить.

Предыстория экспедиции была полна противоречий. Задача, в принципе выполнимая, имела множество противников. Шансы на успех высчитывали на разные лады — они не могли быть велики. Список происшествий, способных так или иначе погубить экспедицию, не уложился в тысячу пунктов. Может быть, поэтому экспедиция все-таки состоялась. Ее почти-бесполезность, ее опасность были великолепным вызовом, достойным того, чтобы нашлись люди, готовые его принять. Но, прежде чем «Эвридика» помчалась, набирая скорость, стоимость предприятия возросла на целый порядок, что, впрочем, резонно предвидели оппоненты и критики. Однако вложенные средства по инерции потянули за собой дальнейшие. Экономическая сторона проекта ходила ходуном не хуже, чем Титан после старта «Эвридики». Путешественник, погруженный в чтение, пропустил эти кризисы подготовительных работ и строительства корабля — и их отзвуки на Земле: производственные срывы и связанные с ними политические аферы и коррупцию. Что за дело ему до них, раз он уже летит? Зато он погрузился в историю астронавтики, в документацию транссолярных путешествий, полетов к альфе Центавра автоматических зондов, в отчеты, полные имен работников Грааля и Рсмбдена, — может быть, в надежде, что вспомнит среди них тех, кого хорошо знал. И может быть даже, как по нитке до клубка, таким образом дойдет до себя. Бывало, засыпая или только что проснувшись, он почти чувствовал, что вот-вот вспомнит — тем более что уже не однажды во сне он знал, кем был. Но к действительности он возвращался с тщетной надеждой, что обретет свою идентичность — пригрезившуюся в снах. Спустя год, когда «Эвридика» уже тормозила, сходила со световой на подходе к коллапсару, ширящемуся в небе, как настоящая дыра — в ней не было звезд, — тренируясь, учась, читая, он отказался от таких попыток. Правда, не совсем: наяву он уже стал одним из сменных пилотов «Гермеса», но в снах, о которых никому не рассказывал, все еще был тем человеком, который вошел в Бирнамский лес.

## БЕТА ГАРПИИ

«Эвридика» гасила скорость, снижая тягу. Несколько десятков часов она летела по траектории, именуемой эвольвентой, в направлении беты Гарпии, невидимого для глаз коллапсара. Ко-

рабль уже пересекал дальние от звезды изогравы, приливы тяготения, которые еще были переносимы для людей и для корабля. Курс, выбранный по оптимальному расчету, был безопасным, но отнюдь не легким. Изогравы, линии, проходящие через точки пространства с одной и той же кривизной, вились на изолокаторах, как змеи в черном огне. Дежурные в рубке, называвшейся стояночной, поскольку она служила для управления кораблем только в поле быстропеременных сил тяготения, смотрели на мерцающие мониторы, потягивая из банок пиво, и, чтобы развлечься, болтали глупости. В сущности, дежурства были традиционным наследием классической эры астрогации: никто не стал бы и пытаться перейти на ручное управление — ни один человек не обладал достаточно быстрой для этого реакцией.

Коллапсар был открыт поздно и с большими сложностями, так как он был одиночкой. Легче всего обнаруживаются коллапсары в двойных системах — имеющие по соседству звезду, называемую «живой», потому что она светится; с нее обдираются верхние слои астросферы и мчатся по сужающимся спиральям к черной дыре, чтобы провалиться в нее под аккомпанемент жестких рентгеновских вспышек. Этот поток украденных у соседки газов окружает коллапсар диском аккреции — огромной поверхностью, чрезвычайно опасной для любых объектов, в том числе и ракет. Никакой корабль не может пролететь поблизости, потому что прежде, чем его затянет под «горизонт явлений», радиация уничтожит и человеческий мозг, и цифровые машины.

Одинокий коллапсар в созвездии Гарпии был открыт благодаря пертурбациям, в которые он вверг ее альфу, гамму и дельту. Удачно названный Гадесом<sup>1</sup>, превышающий массу Солнца в четыреста раз, он становился все заметнее — он загораживал звезды, а у его горизонта было мнимое скопление звезд, так как он служил гравитационной линзой для их света. Его аннигиляционная оболочка вращалась на экваторе со скоростью, равной двум третям световой, центробежная сила и силы Кориолиса раздували ее, поэтому Гадес не был идеально круглым шаром. Если даже «горизонт явлений» и был абсолютно круглым, над ним носились гравитационные бури, сжимая и растягивая изогравы. Для объяснения природы этих бурь, или циклонов, было создано восемь

---

<sup>1</sup> Гадес — в греческой мифологии одно из имен владыки царства мертвых и самого царства. В «Фиаско» употребляется ряд имен, заимствованных из мифа о Гадесе (Аиде) и греческой мифологии в целом. (Прим. ред.)

теорий, каждая из которых толковала их по-своему, а самая оригинальная, хотя необязательно самая близкая к истине, утверждала, что в гиперпространстве Гадес соприкасается с другим Космосом и тот дает о себе знать, сотрясая страшную «косточку» коллапсара, его центр, сингулярность, — место без места и времени, где пространственно-временная кривизна достигает бесконечно большой величины. Теория «другой стороны» ядра Гадеса, в котором с неопределенностью раздавленного пространства-времени все-таки справляются запредельные инженеры чуждого космоса, была, в сущности, математической фантазией астрономов, упивающихся тератологией — новейшей и самой модной правнучкой старой теории Кантора. Этот коллапсар даже собирались назвать Кантором, но его первооткрыватель предпочел обратиться к мифологии. Ни земной штаб SETI, ни руководство «Эвридики» особенно не беспокоились насчет того, что в действительности происходит под горизонтом явлений, — по причинам практическим и очевидным: горизонт означал непреодолимый рубеж и, что бы за ним ни скрывалось, наверняка был губителен.

Летя в высоком вакууме над Гадесом, «Эвридика» отвечала соответствующими маневрами на каждое изменение тяготения, извергая потоки тяжелых элементов, синтезированных по циклу Олимоса из водорода и дейтерия. Изводя миллиарды тонн, она довольно ловко сохраняла устойчивость, ибо Гадес, повинувшись законам природы, в изобилии поставлял кораблю энергию, высвобождаемую из всего, что он поглощал, чтобы навсегда похоронить в своем чреве. Отдаленно это напоминало полет воздушного шара, который не теряет высоты за счет выбрасывания из gondoly мешков с балластом. Однако весьма отдаленно: ни один рулевой не справился бы с такой игрой.

Составленный из множества сегментов, соединенных сочленениями, корпус корабля издали был похож на гусеницу шелкопряда длиной в милю, извивающуюся, как белая запятая, над огромной черной дырой. Он был бы, наверное, интересным зрелищем для наблюдателя, но наблюдателя не было и не могло быть, поскольку на доблестном сотоварище «Эвридики», «Орфее», которому предстояло открыть для нее ад, людей не было. Находясь постоянно на лазерной связи с гигантской нимфой, он ждал сигнала, который должен был превратить его в резонансную бомбу, так называемый одноимпульсный грасер. Такой же, но в тысячу раз меньший грасер испытали в Солнечной системе, лишив Сатурн одной из самых крупных — после Титана — лун. Поскольку и лазерная связь начала ухудшаться, «Орфей» получил окончательную программу действий и, послуш-

но замолчав, начал count-down<sup>1</sup> в своих машинных центрах. Он подошел к коллапсару ближе, чем «Эвридика», и свет, как и все родственные ему электромагнитные волны, размазывался и сминаясь, вытесняемый в инфракрасную область и далее, в радио- и пострадиодиапазоны. Пока Гадес терзал близлежащее время и пространство, сминая и дробя их над своим губительным горизонтом, «Эвридика» проводила последние, решающие наблюдения цели экспедиции — Квинты, пятой планеты шестого солнца Гарпии. Запущенные ранее в пространство на большом расстоянии от коллапсара орбитальные астроматы создали планетоскоп — не с такой уж большой апертурой: в две астрономические единицы. Трехмерная модель Квинты появилась в головизоре как туманный с голубыми пятнами шар, зависший в зале обсерватории среди ее многоэтажных галерей. Правда, туда никто не заглядывал. Голоскоп подарил экспедиции японский промышленник в рекламных целях, чтобы предлагать такие же аппараты земным планетариям. Выглядел он эффектно, но астрофизикам, в сущности, был ни к чему. Они согласились на него, поскольку вся их аппаратура помещалась на стенах носового отсека, а голоскоп под прозрачным куполом украсил пустую середину. Появляющиеся в нем изображения туманностей или планет приходили рассматривать гости, чтобы хоть так увидеть космический пейзаж, скрытый за беззаконным корпусом «Эвридики».

Найденъши с Титана кроме имени Марк носил теперь и фамилию — Темпе. Так называлась долина, где Орфей впервые встретил Эвридику. Фамилию дал ему Бар Хораб во время неофициальной беседы с экипажем разведчика. Собственно, не он его так назвал; найденъши назначили на должность второго сменного пилота «Гермеса» под этим именем, а командир держался так, как будто ничего не знал. Лоджер отказался от авторства, точнее, ушел от ответа, отшутившись, что все в равной мере прониклись духом греческой мифологии. Пока позволяло постоянное при торможении тяготение, Марк часто бывал у Лоджера и слушал его споры с астрофизиками Голдом и Накамурой — в основном по поводу загадки «послеоконных» цивилизаций. Тех, что отклонились от главного ствола диаграммы Ортеги—Нейсселя. Поскольку об их судьбе ничего не было известно, они были богатым полем для воображения. Мнения людей, интересовавшихся этой загадкой, грубо говоря, делились на две группы: молчание объясняли либо социологией, либо космологией. Голд, хотя и был

---

<sup>1</sup> Обратный счет (англ.).

физиком, отстаивал социологическую интерпретацию, причем крайнюю, называемую социализмом. Общество, вступая в эпоху технологического ускорения, сначала разрушает жизненную среду, потом хочет и может ее спасти, но консервационные приемы оказываются недостаточными, и биосферу заменяют — в равной мере по желанию и по необходимости — артефакты. Возникает совершенно преобразованная, но не искусственная в человеческом понимании этого термина среда. Для людей искусственно то, что они создали сами; естественным остается то, что не тронуто или только поставлено на службу — как вода, вращающая турбины, или возделанная почва для сельскохозяйственных работ. После «окна» это различие перестает существовать, поскольку искусственным становится все, то все неискусственно. Производство, интеллект, исследовательские работы «переносятся» в окружающую среду; электроника или ее неизвестные аналоги и ответвления заменяют учреждения, законодательные органы, администрацию, школьную систему, медицинскую службу; исчезает этническая подлинность национальных групп, исчезают границы, полиция, суды, университеты, равно как и тюрьмы. В такой период может настать «вторичный пещерный век» — век всеобщей неграмотности и безделья. Для того чтобы выжить, не нужно иметь никакой специальности. Кто хочет, естественно, может ее получить, поскольку каждый может делать все, что ему нравится. Это не обязательно означает застой: среда — послушный опекун и в некоторой мере способна меняться по желанию и требованиям общества. Но означает ли это прогресс? Мы не в силах ответить на такой вопрос, ибо сами расцениваем концепцию прогресса по-разному в зависимости от исторического момента. Можно ли назвать прогрессом науки ситуацию, когда специализация дробит любую деятельность — познавательную, созидательную, интеллектуальную, творческую, так что в любой специальности каждый все глубже вспахивает свою все уменьшающуюся делянку? Если машины делают расчеты быстрее и лучше, чем живое существо, зачем ему считать? Если системы фотосинтеза создают пищу более разнообразную и здоровую, чем земледельцы, пекари, повара, кондитеры, для чего возделывать поля и заниматься помолом муки или хлебопечением? Почему же цивилизация при таком социализме не рассылает во все стороны неба рецепты собственного совершенства и комфортности? Но зачем ей это, собственно, делать, когда она вообще уже не существует как сообщество ненасытных желудков и умов?

Возникает некое огромное скопление одиночек, и тогда уже трудно найти кого-то, кто считал бы жизненной целью сигнализи-



ровать в Космос о том, как идут дела. Искусственная среда неизбежно оказывается устроенной так, с таким инженерным замыслом, чтобы она не могла стать всепланетной Личностью. Такая искусственная среда — это НИКТО — вроде луга, леса, степи. Но растет она не для себя, не для себя расцветает, а для кого-то. Для каких-то существ. Глупеют они от этого или становятся тупыми чревоугодниками, проводящими время в игрищах, устроенных для них всепланетной опской? Не обязательно. Это зависит от точки зрения. То, что для одного человека — иллюзия или пустая суэта, для другого может оказаться смыслом жизни. К тому же нам не хватает мерил и оценок, когда мы рассуждаем об иных существах иных миров, другой эры истории, столь непохожей на нашу.

Накамура и Лоджер отстаивали космологическую гипотезу. Кто познает Космос, тот в Космосе и пропадает. Не потому, что теряет в нем жизнь; афоризм имеет совершенно другой смысл. Астрономия, астрофизика, космонавтика — это лишь скромное начало. Мы сами уже сделали следующий шаг, овладев азбукой сидеральной инженерии. Речь не идет об экспансии, о так называемой «ударной волне Разума», который, овладев ближайшими планетами, распространяется на галактики, как звездный исход. Зачем? Чтобы все плотнее заселять вакуум? Речь идет не о «*crescite et multiplicamini*»<sup>1</sup>, а о деятельности, которой мы не можем понять, а тем более определить ее значение. Может ли шимпанзе понять муки космогоника? Не схож ли Универсум с огромным пирогом, а цивилизация — с ребенком, старающимся разделаться с ним как можно скорее? Мысль о вторжении со звезд — это проекция агрессивных черт хищной, неотесанной человекообезьяны. Поскольку она сама охотно бы устроила ближнему гадость, то и Высокую Цивилизацию она воображает по своему подобию: флотилии галактических дредноутов обрушиваются на бедняжки планеты, чтобы добраться до тамошних долларов, бриллиантов, шоколада и, разумеется, красоток. А они нужны им не больше, чем нам — самки крокодилов. Ну, и чем же занимаются те, «последоконные»? Чем-то таким, чего мы не можем понять; но одновременно мы не можем согласиться, что деятельность Тех вышла за пределы нашего понимания. Пожалуйста: мы собираемся проделать дыру в Гадесе, в его темпоральной луковице, чтобы в ней спрятаться. Однако не ради игры. Мы хотим поймать цивилизацию, прежде чем она вылетит из «окна». Вероятность следующих экспедиций с такой же целью ничтожна. Наши потомки будут

<sup>1</sup> Плодитесь и размножайтесь (лат.).

относиться к нам, может быть, и с уважением — как мы относимся к аргонавтам, поплывшим за золотым руном.

Каргнер, тоже бывавший у Лоджера, интерпретировал общение с «цивилизацией за пределом контакта» как «понимание через непонимание». В последнее время он уже не мог позволить себе участия в дискуссиях — из-за близости цели ему приходилось почти все время проводить на посту распределения мощностей.

Марк Темпе, который знал, что его имя звучит иначе, но ему нельзя показывать этого знания — из-за докторов, — перед сном изучал состав экипажа «Гермеса». Из десяти его членов он хорошо знал только Герберта, а по встречам у Лоджера был знаком с невысоким черноглазым Накамурой. О командире, под руководством которого ему предстояло служить, он, в сущности, не знал ничего. Его звали Стиргард, он был заместителем Бар Хораба; вторая специальность — социодинамическая теория игр. Каждый участник полета должен был иметь вторую специальность, дублировать кого-то, чтобы при болезни или несчастном случае возможности отряда не снизились. Энергетикой на «Гермесе» ведал гравист-сидератор Полассар. Марк знал его только по бассейну «Эвридики» как прекрасного пловца — восхищался его мускулистым телом, когда он прыгал в воду с тройным оборотом. Обстановка мало подходила для знакомства с сидеральной инженерией, так что он пытался грызть ее сам, однако безуспешно, поскольку, подступая к ней, нужно было освоиться с изысканным потомством теории относительности. Первым пилотом был поставлен Гаррах. Горячий, огромный, мощный, он неплохо разбирался в информатике и вместе с астроматиком Альбано опекал компьютер «Гермеса». Или, как заявил однажды компьютер, эти двое людей находились под его опекой. Это был компьютер поколения, называемого конечным, так как оно достигло теоретического предела мощности. Границы ее определялись свойствами материи, такими, как постоянная Планка и скорость света. Большую мощность расчетов могли бы развить так называемые мнимые компьютеры, проектируемые теоретиками, — чистая математика, не связанная с реальным миром. Дилемма конструкторов проистекала из обязательных, но взаимопротиворечивых условий: как можно большее число нейронов заключить в как можно меньший объем. Время прохождения сигналов не должно превышать времени реакции элементов компьютера. В противном случае время прохождения ограничивает скорость расчетов. Новейшие датчики реагировали за одну стомиллиардную долю секунды. Они были размером с атом. Поэтому диаметр компьютера не превышал трех сантиметров. Будь он больше — работал

бы медленной. Компьютер «Гермеса», правда, занимал половину рубки за счет своей вспомогательной аппаратуры, декодеров и подсистем — так называемых гипотезотворящих и лингвистических медитаторов, которым не нужна была работа в реальном времени. А решения в критических ситуациях, *in extremis*, принимало его молниеносно действующее ядро размером с голубиное яйцо. Оно называлось GOD, General Operational Device<sup>1</sup>. Не все считали, что аббревиатура получилась случайно. На «Гермесе» их было два, а на «Эвридике» — восемнадцать.

Кроме Стиргарда, Накамуры, Герберта, Полассара и Гарраха, назначенных в разведку еще перед отлетом, в состав отряда входили: Араго как резервный врач, что, похоже, было неожиданным результатом тайного голосования, Темпе в должности второго пилота, логист Ротмонт и два эксперта, выбранные из двух десятков экзобиологов и других специалистов земного президиума SETI — Кирстинг и Эль Салам. В последние недели полета эти десятеро поселились в пятом сегменте «Эвридики», изнутри представлявшем собой точную копию «Гермеса», чтобы как следует познакомиться друг с другом и предстоящей задачей. Там они ежедневно проигрывали на симуляторах различные варианты подлета к Квинте и разные тактики контакта с ее жителями. Другой делегат SETI, Тетес, распорядился этой тренировкой. Он не давал покоя будущему экипажу, ввергая его в самые замысловатые аварии, происходящие параллельно, или заставляя принимать поток непонятных сигналов, имитирующих голос чужой планеты. Неизвестно, как и почему в это время привился обычай называть апостольского посланника не отцом, а доктором Араго. Марку казалось, что священник сам хотел этого. Тренировки были прерваны прежде конца программы — Бар Хораб вызывал к себе разведчиков в связи с последними наблюдениями системы дзеты. Из восьми планет этой спокойной звезды класса К четыре внутренние, небольшие, с массами Меркурия и Марса, при заметной вулканической активности имели слабые атмосферы. В отдалении обращались три газовых, со многими кольцами, гиганта класса Юпитера — с мощными грозowymi атмосферами, переходящими в сжатый до металлической фазы водород. Септа имела массу вдвое большую, чем у Юпитера и выбрасывала в вакуум больше энергии, чем получала от своего солнца: ей оставалось немного до того, чтобы вспыхнуть звездой. И только Квинта, обращавшаяся вокруг дзеты за полтора года, голубела, как Земля. В разрывах белых облаков виднелись контуры океа-

<sup>1</sup> БОГ, главное операционное устройство (*англ.*).

нов и абрисы материков. Наблюдение с расстояния почти в пять световых лет было делом очень сложным. Оптические приборы «Эвридики» не могли надлежащим образом справиться с задачей. Изображения, передаваемые с космических орбитеров, тоже не были достаточно четкими. Квинта была видна с «Эвридики» во второй четверти. Половина ее диска была светлой, и на ней обнаружили спектральные линии воды и гидроксила в значащих количествах. Как будто у самого экватора — чуть повыше — Квинту охватывал пояс необычайно концентрированного водяного пара. Он помещался над атмосферой. Напрашивалась мысль о ледяном кольце, соприкасающемся внутренней поверхностью с верхними слоями атмосферы. Поэтому оно должно было вскоре распасться. Астрофизики определяли его массу в три-четыре триллиона тонн. Если вода в кольце была из океана, то он потерял около 20 000 кубических километров — не больше одного процента объема. Поскольку нельзя было найти естественные причины такого явления, казалось весьма правдоподобным, что там пытались понизить уровень морей и так сделать шельфы пригодными для заселения. С другой стороны, операция казалась выполненной неудачно — поднятая на недостаточно высокую орбиту смерзшаяся часть океана должна была через несколько сот лет упасть в него снова. При таком размахе работ это было странно и непонятно. Кроме того, на Квинте были отмечены быстро происходящие явления, еще более загадочные. Электромагнитный шум, неравномерно излучаемый во многих точках планеты, значительно возрос. Как будто там сразу включили сотни максвелловских передатчиков. В то же время возросло инфракрасное излучение с точечными вспышками в центрах. Это могли быть большие зеркала, накапливающие солнечный свет на энергетических станциях. Но тут же выяснилось, что термическая компонента излучения и там невелика. Спектр вспышек не воспроизводил спектр дзеты, что было бы неизбежно, если бы зеркала собирали энергию этого солнца, и не были похожи на спектр ядерного взрыва. А шум радиоволн все рос. Он был коротко- и средневолновый, во многих диапазонах. Метровое излучение было похоже на модулированное.

Известие вызвало сенсацию, тем более что кто-то его переиначил — речь якобы шла о направленном излучении наподобие радарного, как будто планета уже заметила «Эвридику». Астрофизики опровергли этот слух. Никакому локатору не обнаружить корабль вблизи коллапсара. Тем не менее в час Ноль царило победное настроение. На Квинте, без сомнения, жила цивилизация, технически настолько развитая, что вторглась в Космос не только

небольшими инженерными устройствами, но и силой, способной посылать в вакуум океаны.

Подготовка к старту разведчика шла на другой орбите, в относительно спокойном афелии Гадеса. Прекратился писк пьезоэлектрических датчиков, свидетельствовавший о постоянной смене напряжения в шпангоутах и стрингерах корпуса. Одновременно на слепых до сих пор экранах контрольного центра старта косо засветился спиральный рукав Галактики, и при желании среди белых клубов звезд и темных пылевых облаков, в неподвижной светящейся вьюге, можно было различить дзету Гарпии. Ее планеты нельзя было наблюдать оптически. Техники готовили «Гермес» к отправлению. В кормовых трюмах ворочались краны; манжеты трубопроводов, по которым «Эвридика» перегоняла гипергол в баки разведчика, дрожали под напором насосов; штаб проверял системы тяги, навигации, климатизации, исправность динатронов — и используя GOD, и без него, по дублирующим каналам. По очереди докладывали о готовности цифровые блоки со своими программами, радиолокационные эмиттеры и антенны выдвигались и прятались, как рожки гигантской улитки, глубокий бас турбин, подающих кислород в подпалубные туннели «Гермеса», приводил его ложе, нечто вроде открытого дока, в легкую вибрацию, и во время этой суеты миллиардотонная «Эвридика» медленно поворачивалась кормой к дзете Гарпии, как орудие, готовящееся открыть огонь.

Экипаж «Гермеса» прощался с командиром и друзьями. На корабле-матке было слишком много народу, чтобы все могли обменяться рукопожатиями. Потом Бар Хораб с теми, кто мог оставить рабочее место, пришел проводить экипаж «Гермеса» и, стоя в цилиндре-туннеле между отсеками, смотрел, как закрылись большие ворота дока, как площадки подъемников закрыли маленькие проходы для людей, как снежно-белый «Гермес» начал понемногу выдвигаться со стапеля под воздействием гидравлических толкателей — дюйм за дюймом, поскольку сто восемьдесят тысяч тонн его массы, несмотря на невесомость, сохраняли никуда не исчезающую инерцию. Техники «Эвридики» вместе с биологами, Терной и Хрусом, готовили экипаж «Гермеса» к многолетнему сну. Не ледовому или гибернационному: их подвергали эмбрионированию. При таком способе люди возвращались к периоду жизни до рождения — жизни плода или, во всяком случае, подобному ей существованию без дыхания — подводному. Уже первые, малые шаги в Космосе показали, каким земным существом является человек и насколько он не приспособлен к перелетам, которых требует преодоление больших пространств

за кратчайший срок. Стремительное нарастание скорости деформирует тело, особенно легкие, наполненные воздухом, сдавливает грудную клетку и нарушает кровообращение. Поскольку законы природы одолеть не удалось, пришлось приспособлять к ним астронавтов. Это сделало эмбрионирование. Прежде всего, кровь заменяли жидким носителем кислорода, обладающим и другими свойствами крови — от свертываемости до иммунных свойств. Этой жидкостью служил белый, как молоко, онакс. После охлаждения тела — как у животных, впадающих в зимнюю спячку, — хирурги вскрывали заросшие сосуды, через которые когда-то в материнском чреве плод обменивался кровью с плацентой. Сердце продолжало работать, но прекращался газовый обмен в легких, они опадали и наполнялись онаксом. Когда ни в грудной клетке, ни во внутренних органах не оставалось воздуха, лишенного сознания человека погружали в жидкость, столь же несжимаемую, как вода. Астронавта принимал в свое чрево эмбрионатор — резервуар в форме двухметровой торпеды. Он поддерживал температуру тела выше нуля, снабжал его питательными веществами и кислородом при посредстве онакса, вводимого через пупок по искусственным сосудам внутрь организма. Подготовленный таким образом человек мог без ущерба вынести такое же огромное давление, как глубоководные рыбы, которые могут жить в океане на глубине в милю, потому что внешнее давление равно давлению в их тканях. Поэтому давление жидкости в эмбрионаторах доводили до сотни килограммов на квадратный сантиметр поверхности тела. Каждый резервуар был закреплен в захватах шарнирных подвесок. Астронавты лежали в бронированных коконах, будто огромные личинки, так, чтобы силы ускорения и торможения всегда воздействовали на них в направлении от груди к позвоночнику. Их тела, содержащие более 85% воды и онакса, лишенные воздуха, сопротивлялись сжатию не хуже, чем вода. Благодаря этому можно было без опаски поддерживать постоянное ускорение корабля в двадцать раз большим, чем земное. При таком ускорении тело весит две тонны, и движения ребер, необходимые при дыхании, непосильны даже для атлета. Но люди в эмбрионаторах не дышали, и предел их выносливости в звездном полете определялся только тонкой молекулярной структурой тканей.

Когда десять сердец при полной эмбриональной компрессии стали давать всего несколько ударов в минуту, опеку над лишенными сознания принял на себя GOD, а люди с «Эвридики» вернулись на ее борт. Операторы отключили компьютеры корабля-матки от «Гермеса», и, кроме мертвых, лишенных тока кабелей, корабли ничто не связывало.

«Эвридика» вытолкнула разведывательный корабль из широко развернувшейся кормы, окруженной гигантскими лепестками раскрытого фотонного зеркала. Стальные лапы, удлинняясь и разрывая, как нити, ненужные теперь кабели, выдвинули корпус «Гермеса» в пустоту. Сейчас же его бортовые двигатели засветились бледным ионным огнем, но импульс был слишком слабым, чтобы сдвинуть его с места, — такая огромная масса не может быстро набрать скорость. «Эвридика» втягивала катапульты, закрывала корму, а все, кто в рубке наблюдал старт, вздохнули с облегчением — GOD с точностью до доли секунды вступил в действие. Молчавшие до тех пор гиперголовые бустеры «Гермеса» вспыхнули огнем. Для быстрого разгона поочередно срабатывали их батареи. Одновременно всю заработали ионные двигатели. Их синий прозрачный огонь смешался с ослепительным пламенем бустеров, корпус, окутанный дрожащим жаром, поплыл гладко и ровно в вечную ночь. В затемненной рубке отсвет экранов лег на лица собравшихся у командира людей, и они казались в этом освещении смертельно бледными. «Гермес» бил в их сторону длинным, устойчивым пламенем, отдаваясь с нарастающей скоростью. Когда дальномеры показали расчетное расстояние, а на краю поля зрения закувыркался пустой цилиндр, до последнего момента связывавший «Гермес» с «Эвридикой» и затем отстреленный стартовыми залпами, кормовое зеркало миллиардотонного корабля закрылось и сквозь центральное отверстие медленно выдвинулся тупой конус излучателя; он блеснул раз, другой, третий, и столб света ударил в пространство и достал до «Гермеса». В обеих рубках «Эвридики» раздались крики радости и — надо признать — приятного удивления, что все прошло так гладко. «Гермес» вскоре исчез с визуальных мониторов. На них появлялись только светящиеся кольца все меньших размеров, как будто невидимый великан курил меж звезд сигарету, пуская колечки белого дыма. Наконец они слились в дрожащую точку — это зеркало разведчика отражало блеск разгонявшего его лазера «Эвридики».

Бар Хораб, не дожидаясь конца зрелища, вернулся в свою каюту. Ему предстояло семьдесят девять труднейших часов сидеральных операций с грасером, «Орфеем»: создать при помощи гравитационного резонанса темпоральный порт; затем надо было всплыть в него, вернее, нырнуть, ибо это означало полную изоляцию от внешнего мира.

Приказ, включавший в действие «Орфей», шел до него двое суток; как раз в это время на Квинте произошло несколько поразительных явлений. Вплоть до момента, когда ослепли их при-

боры, астрофизики принимали все виды излучений звезд Гарпии. Спектры альфы, дельты и остальных — вплоть до дзеты — не менялись, что было важным свидетельством качественного наблюдения Квинты. Радиация планеты, доходящая до «Эвридики», фильтровалась; отфильтрованное сравнивали путем наложения и доводили каскадные усилители компьютеров. При самом большом оптическом увеличении система дзеты была пятнышком, которое можно заслонить головкой спички в вытянутой руке.

Все внимание планетологов, разумеется, сосредоточилось на Квинте. Ее спектро- и голограммы давали не столько изображение планеты, сколько простор для компьютерных домыслов на эту тему. Поскольку источником информации были пучки фотонов, беспорядочно рассеянные по спектру всевозможных излучений, в обсерватории «Эвридики», так же, как некогда в земных, около первых телескопов, не было согласия в критическом вопросе: что видно в действительности, а что лишь кажется видимым?

Разум человека, как и любая система, перерабатывающая информацию, не в состоянии провести резкую границу между полной уверенностью и домыслом. Наблюдение затрудняли солнце Квинты — дзета, газовый хвост самой большой планеты, Септимы, и сильное излучение звездного фона. К этому времени было установлено, что Квинта по многим физическим данным похожа на Землю. Ее атмосфера содержала 29% кислорода, значительное количество водяных паров и около 60% азота. Белые полярные шапки благодаря высокому альбедо стали видимы еще из окрестностей земного Солнца. Ледяное кольцо появилось, несомненно, уже во время полета «Эвридики» — во всяком случае, достигло размеров, делающих его видимым. Сейчас, в космической близости от планеты, стало очевидно, что радиоизлучение Квинты — искусственное. Разряды атмосферных бурь не могли приниматься в расчет. Радиоизлучение Квинты в диапазоне коротких волн равнялось аналогичному излучению ее солнца. То же самое произошло с Землей, когда появилось телевидение.

Результаты наблюдений, выполненных незадолго до погружения в гравитационный порт, были полной неожиданностью, и Бар Хораб тут же вызвал экспертов на совет, понимая, что не сумеет пересказать его решения экипажу «Гермеса». Совет преследовал единственную возможную цель: как можно скорее поставить диагноз тому, что происходит на планете, и выслать информацию вслед разведчику. Закодированное высокоэнергетическими квантами письмо дойдет до «Гермеса» со спящим экипажем, его получит GOD и передаст людям после реанимации на границах системы дзеты. Звездное письмо следовало зашифро-



вать так, чтобы только GOD мог его прочесть. Осторожность казалась излишней: совокупность происшедших на Квинте изменений выглядела довольно тревожно.

Были зарегистрированы серии кратковременных вспышек над термосферой и ионосферой планеты, а также между ней и ее лунной на расстоянии около двухсот тысяч километров от Квинты. Вспышки длились несколько десятков наносекунд. Их спектры соответствовали солнечным с укороченным излучением в инфракрасной и ультрафиолетовой областях. После каждой серии вспышек, длившейся несколько часов, на диске планеты в зоне тропиков появлялись темные полосы по обе стороны ледяного кольца. Одновременно возросло излучение волн метровой длины, превысив наблюдавшийся до сих пор максимум, и в то же время излучение южного полушария ослабло.

Прямо перед началом совещания болометр, направленный в центр диска планеты, показал внезапное падение температуры до ста восьмидесяти градусов Кельвина — с медленным последующим повышением. Зона холода заняла поверхность, равную Австралии. Сначала облачный покров над зоной разошелся, окружая ее со всех сторон светлым валом, и, прежде чем облака сомкнулись вновь, болометр установил точечный «источник холода» в самом центре зоны. Следовательно, внезапный холод расходился кругообразно от источника неизвестной природы.

На большой луне Квинты — на темной, теневой стороне — появилась точечная вспышка, которая дрожала, как будто перемещалась независимо от движения лунной коры. Как будто прямо над ее поверхностью по дуге в одну десятитысячную секунды ходило пламя, созданное ядерной плазмой с температурой в миллион градусов по Кельвину.

В момент начала совещания холодное пятно исчезло под покровом облаков и облачность установилась на поверхности Квинты, большей, чем когда-нибудь прежде, — 92% всего диска.

Нетрудно догадаться, насколько расходились мнения специалистов. Напрашивающуюся первую гипотезу ядерных взрывов, испытательных или военных, можно было отбросить без обсуждения. Спектры вспышек не имели ничего общего ни со взрывами уранидов, ни с термоядерными реакциями. Исключение составляла плазменная искра на луне, но ее термоядерный спектр был постоянным. В воображении возникал открытый водородно-гелиевый реактор с магнитной ловушкой. Для ядерщиков назначение такого реактора было загадкой. Вспышки в околопланетном пространстве могли происходить от специально сгруппированных лазеров, поражающих некие металлические объекты — воз-

можно, никель-магнетитовые метеоры, — либо от фронтальных столкновений объектов с большим содержанием железа, никеля и титана при скорости 80—100 км/с. Как источник вспышек не исключались и преобразователи-зеркала, поглощающие часть солнечных волн и взрывающиеся при авариях.

На совете, перешедшем в яростный спор, специалисты разделились. Говорили о регулировании климата с помощью гигантских фотоконвертеров, о фотоэлектрических элементах, что, однако, не вязалось с источником холода у экватора. Самые удивительные результаты дала проверка методом Фурье всего радиоспектра Квинты. Признаки любой модуляции исчезли, и одновременно мощность передатчиков возросла. Радиолокационная карта планеты показывала сотни передатчиков белого шума, сливающегося в бесформенные пятнышки. Квинта излучала этот шум на всех диапазонах. Такой шум означал либо передачу типа «scrambling», то есть зашифрованные сообщения под видом хаотических сигналов, либо сознательное создание радиобеспорядка.

Бар Хораб потребовал немедленного ответа на вопрос: ЧТО следует передать «Гермесу» в течение нескольких ближайших часов — потом всякая связь с ним прекратится. А более конкретно: к ЧЕМУ должны приготовиться разведчики, то есть КАК они должны действовать, прибыв в систему дзеты?

Программа действий разведки была давно разработана, но она не предусматривала происшедших явлений. Это, конечно же, было невозможно. Теперь никто не торопился брать слово. Наконец астроматик Туйма в качестве представителя консультативной группы SETI объявил, не скрывая нерешительности, что никаких стоящих советов «Гермесу» переслать не удастся: следует передать описание фактов, их гипотетические интерпретации и положиться на самостоятельное решение разведчиков. Бар Хораб хотел услышать эти гипотезы, несмотря на их взаимную противоречивость.

— Каковы бы ни были изменения на Квинте, это не сигналы, посланные нам, — сказал Туйма. — С этим согласны все. Некоторые считают, что Квинта заметила наше присутствие и по-своему готовится встретить «Гермес». Но это мнение, не основанное на рациональных данных. Это просто, на мой взгляд, выражение беспокойства или, говоря без обиняков, страха. Древнего и изначального страха, породившего некогда гипотезу о космическом вторжении как катастрофе. Такое объяснение происшедшего я считаю нонсенсом.

Бар Хораб хотел услышать что-то более конкретное. Развед-

чики сами решат, бояться им или нет. Речь идет о механизме новых явлений.

— Коллеги астрофизики располагают конкретными гипотезами и могут их представить, — ответил Туйма, не реагируя на иронию командира, поскольку она не относилась к нему.

— А именно? — спросил Бар Хораб.

Туйма показал на Нистена и Ла Пира.

— Скачки температуры и альbedo могли быть вызваны вторжением в систему Квинты роя метеоров и их столкновениями с искусственными спутниками. Это могло дать вспышки, — сказал Нистен.

— А как ты объяснишь сходство вспышек на поверхности планеты со спектром дзеты?

— Часть спутников Квинты может представлять собой глыбы льда, отколовшиеся от внешней поверхности кольца. Они отражали солнечный свет в нашу сторону только тогда, когда такой угол падения и отражения получался случайно: это могут быть глыбы неправильной формы с различным временем обращения.

— А что вы скажете о зоне холода? — спросил командир. — У кого есть предположения, почему она появилась?

— Это непонятно — хотя какой-нибудь естественный процесс можно было бы придумать...

— Как гипотезу *ad hoc*<sup>1</sup>, — вставил Туйма.

— Я обсуждал это с химиками, — отозвался Лоджер. — Там могла произойти эндотермическая реакция. Мне, по правде, такие курьезы не нравятся, хотя существуют соединения, поглощающие тепло при реакции. Сопутствующие обстоятельства дают этому более смелое толкование.

— Какое? — спросил Бар Хораб.

— Не природное событие, хотя и не обязательно предумышленное. Скажем, авария каких-то огромных охлаждающих, криотронных устройств. Как пожар производственных предприятий со знаком минус. Но мне и это не кажется правдоподобным. У меня нет никаких реальных оснований так утверждать — и ни у кого из нас нет. Однако сама близость во времени всех этих событий говорит, что они как-то связаны.

— Ценность этой гипотезы тоже отрицательная, — заметил кто-то из физиков.

— Не думаю. Сведение ряда неизвестных к общему неизвестному знаменательно — это приобретение, а не потеря информации... — с усмешкой сказал Лоджер.

---

<sup>1</sup> Для этого случая (*лат.*).

— Прошу объяснить подробнее, — сказал командир. Лоджер встал.

— Насколько смогу. Когда младенец улыбается, он делает это в соответствии с установками, с которыми он вошел в мир. Таких установок, статистических по своей природе, множество: что розовые пятна перед его глазами — это человеческие лица, что люди обычно положительно реагируют на улыбку мальчика и так далее.

— К чему ты клонишь?

— К тому, что все и всегда основано на определенных установках, хотя они по преимуществу принимаются как данность. Дискуссия ведется вокруг явлений, которые выглядят достаточно странно — как серия не зависящих друг от друга событий. Вспышки, хаотичность излучения, изменение альbedo Квинты, плазма на луне. Откуда они появились? От деятельности цивилизации. Разве это их объясняет? Напротив, затемняет, ибо мы априорно предположили, что способны разобраться в деятельности квинтян. Напоминаю, что Марс когда-то считали стариком, а Венеру — молодой по сравнению с Землей; прадеды наших астрономов бессознательно считали, что Земля — такая же, как Марс и Венера, только моложе первого и старше второй. Отсюда пошли каналы Марса, джунгли Венеры и прочее, что потом пришлось поместить в разряд сказок. Я думаю, ничто не ведет себя так неразумно, как разум. На Квинте может действовать разум — скорее, разум, непостижимые для нас из-за несхожести намерений...

— Война?

Голос раздался из глубины зала. Лоджер, продолжая стоять, говорил:

— Войну не надо понимать как что-то, раз и навсегда разрешающее конфликты — с истребительным результатом. Командир, не рассчитывай, что тебя просветят. Поскольку нам не известны ни исходные условия, ни граничные, ничто не превратит неизвестное в известное. Мы можем предостеречь «Гермес», только посоветовав ему быть начеку. Желаете развернутого совета? Я вижу его только в альтернативе: либо действия разумных существ неразумны, либо непонятны, ибо они не умещаются в категориях нашего мышления. Но это всего лишь мое мнение.

## КВИНТА

Перед погружением радиолокаторы последний раз напомнили о «Гермесе», показав, как он движется по отрезку огромной гиперболы, поднимаясь все выше над рукавом галактической спирали,

чтобы идти с околосветовой скоростью в высоком вакууме; радиозоо стало приходиться с увеличивающимися интервалами, показывая, что на «Гермес» действуют эффекты относительности и его бортовое время все сильнее расходится со временем «Эвридики». Связь между разведчиком и кораблем-маткой прервалась окончательно, когда длина волны автоматического передатчика увеличилась, сигналы растянулись в многокилометровые пучки и ослабли так, что последний был зарегистрирован самым чувствительным индикатором спустя семьдесят часов после старта, когда Гадес, пораженный «Орфеем»-самоубийцей, простонал гравитационным резонансом и разверз темпоральную пропасть. Что бы ни случилось с разведчиком и заключенными в нем людьми, это должно было остаться неизвестным долгие годы в их исчислении.

Для тех, кто был погружен в эмбриональный сон, похожий на смерть, лишенный каких бы то ни было видений и тем самым ощущения времени, полет не был долгим. Над белыми саркофагами, над туннелями эмбрионатора светила сквозь бронированное стекло перископа альфа Гарпии, голубой гигант, отброшенный от остальных светил созвездия одним из собственных асимметрических взрывов, — он был молодым солнцем и еще не обустроился после ядерного возгорания своих недр. После исчезновения «Эвридики» GOD начал свои маневры. «Гермес», взлетев над эклиптической, стал падать к Гадесу, тем самым отдаляясь от звезд, к которым он летел, чтобы потом разогнаться за счет гравитационной мощи гиганта, и облетел коллапсар так, что тот дал ему своим полем солидный разгон. Когда «Гермес» обрел околосветовую скорость, из его бортов выдвинулись входные отверстия прямоочных реакторов. Вакуум был настолько высоким, что собранных атомов не хватало для зажигания, поэтому GOD добавлял к водороду тритий, пока не начался синтез. Черные до сих пор жерла двигателей засияли огнем, его пульс становился сильнее, быстрее, ярче, и во мрак ударили сияющие столбы гелия. Лазер «Эвридики» при старте оказал разведчику меньшую помощь, чем ожидалось, — один из гиперголовых бустеров тянул плохо и кормовое зеркало отклонилось от курса, а потом «Эвридика» пропала, будто ее поглотило небытие, но GOD компенсировал потери дополнительной мощностью, позаимствованной у Гадеса.

При скорости, равной 99% световой, вакуум в жерлах двигателей снизился, водорода хватало, постоянное ускорение увеличивало массу разведчика вместе с его скоростью. GOD держал 20 g без малейших отклонений, но рассчитанная на вчетверо большие

нагрузки конструкция переносила их без ущерба. Никакой живой организм крупнее блохи при таком полете не выдержал бы собственного веса. Человек весил более двух тонн. Под таким давлением он не пошевелил бы ребрами, если бы ему пришлось дышать, а сердце лопнуло бы, нагнетая жидкость, куда более тяжелую, чем расплавленный свинец. Но сердца не бились, и люди не дышали, хотя были живы. Они покоились в той же жидкости, что заменяла им кровь. Насосы, способные действовать и при стократном давлении (но этого уже не вынесли бы эмбрионированные люди), гнали в их сосуды онакс, а сердца делали один или два удара в минуту, не работая, а только двигаясь под напором животворной искусственной крови.

В назначенное время GOD сменил курс, и, летя теперь к центральному скоплению звезд галактики, «Гермес» выбросил впереди ограждающий щит. Он опередил корабль на несколько миль и как застыл на этом расстоянии. Он служил защитой от излучения. Иначе при такой скорости космическое излучение уничтожило бы слишком много нейронов в человеческом мозге. Голубая альфа светила уже за кормой. Внутри палубы-туннеля в длинной корме «Гермеса» не было полной темноты, потому что оболочки реакторов давали микроскопическую утечку квантов и у стен тлело излучение Черенкова. Этот полумрак казался неподвижным и неизменным, стояла абсолютная тишина, и лишь дважды сквозь броневое стекло окна в переборке, отделяющей эмбрионатор от верхней рубки, проникли резкие, внезапные вспышки. В первый раз слепой до того контрольный монитор охранного щита блеснул холодным белым огнем и тут же погас. GOD, пробудившись за наносекунду, отдал нужное приказание. Ток повернул пусковое устройство, нос корабля открылся, изверг пламя, и новый выстреленный вперед щит занял место прежнего, разбитого горстью космической пыли, обратившей защитный диск в облако раскаленных атомов. «Гермес» пролетел сквозь оверкающий фейерверк, растянувшийся далеко за кормой, и помчался дальше. Автомат за несколько секунд выровнял нежелательное боковое качание нового щита, мигая все медленнее оранжевыми контрольными лампочками бакборта и штирборта, как будто черный кот понимающе и успокоительно моргал светлыми глазами. Потом на корабле снова все замерло до новой встречи с рассеянной горсточкой метеоритной или кометной пыли, и операция замены щита повторилась. Наконец вибрирующие электронами атомы цезиевых часов подали ожидаемый знак. Компьютеру не надо было смотреть ни на какие индикаторы — они были его чувствами, и он считывал показания мозгом, который из-за его трех-

сантиметрового объема остряки «Эвридики» называли птичьим. GOD следил за показаниями люменометров, поддерживая курс при ослаблении тяги. Выключенные, а затем пущенные на обратную тягу двигатели начали тормозить корабль. И этот маневр превосходно удался: путеводные звезды даже не вздрогнули на фокаторах, обошлось без поправки запрограммированной траектории полета. В принципе сбрасывание околосветовой скорости до параболической по отношению к дзете, то есть до каких-нибудь 80 км/с всего за микропарсек — перед Юноной, периферийной планетной системой, — требовало обычного реверса двигателей до тех пор, пока тяга не погаснет от недостатка водородного топлива, а затем перехода на торможение гиперголом. Однако GOD вовремя получил предостережение «Эвридики» и, прежде чем приступить к реанимационным операциям, перепрограммировал торможение. Как блеск водородно-гелиевых дюз, так и огонь самовозгорающегося топлива были легко распознаваемы по их техническому, то есть искусственному, характеру, а для GOD'а теперь первым правилом служило «весьма ограниченное доверие к Братьям по Разуму». Он не рылся в библеистике, не анализировал случившегося с Авелем и Каином, а погасил прямоточные двигатели в тени Юноны и использовал ее притяжение для уменьшения скорости и изменения курса. Другой газовый шар — дзета — послужил ему для перехода на параболическую скорость, и только тогда он привел в действие реаниматоры.

Одновременно он послал наружу дистанционно управляемые автоматы, которые наложили на кормовые и носовые дюзы камуфлирующую аппаратуру, а именно электромагнитные микшеры. Так размазывалось излучение тяги: спектр радиации рассеивался. Самый тонкий этап торможения был пройден на подступах к системе, за Юноной: GOD запланировал его и выполнил четко, как подобало компьютеру конечного поколения. Он попросту проколол «Гермесом» верхние слои атмосферы газового гиганта. Перед кораблем возникла подушка раскаленной плазмы, и, гася на ней скорость, GOD выжал из климатизации «Гермеса» все возможное, чтобы температура в эмбрионаторе не повысилась больше чем на два градуса. Плазменная подушка мгновенно уничтожила охранный щит, который и так должен был быть отброшен: он был заменен щитом другого типа, защищающим от пыли и обломков комет на околопланетных орбитах. «Гермес» раскалился в огневом перелете, но в полосе тени Юноны остыл, и GOD смог убедиться, что тучи, целые протуберанцы огня, вызванные торможением, падают по законам Ньютона на тяжелую планету. Огонь скрывал не только присутствие корабля, но и его следы.

Корабль с погашенными двигателями дрейфовал в далеком афелии, когда в эмбрионаторе зажегся полный свет и головки медикомов нависли над контейнерами, готовые к действию.

По программе первым должен был очнуться Герберт — на случай, если понадобится врач. Однако очередность оказалась нарушенной. Несмотря на все ухищрения, биологический фактор оставался самым слабым звеном сложной операции. Эмбрионатор находился на средней палубе и в сравнении с кораблем был микроскопической скорлупкой, окруженной многослойной броней и антирадиационной оболочкой с двумя люками, ведущими в жилые помещения. Центр «Гермеса», называвшийся городком, был связан коммуникационным стволом с рубкой, разделенной на два яруса. Между носовыми переборками шли лабораторные палубы, где можно было работать и в невесомости, и при тяготении. Запасы энергии были сосредоточены на корме — в аннигиляционных контейнерах, в недоступном для людей сидеральном машинном отделении и в камерах особого назначения. Между внешней и внутренней кормовой броней были скрыты шасси — корабль мог садиться на планеты и тогда вставал на выдвигающиеся складные ноги. Посадку должна была предварять проба грунта на прочность, потому что на каждую из огромных лап ракеты приходилось 30 000 тонн массы. В центральной части корабля вдоль штирборта помещались разведывательные зонды и их вспомогательное оборудование, вдоль бакборта — автоматы внутреннего обслуживания и аппараты для дальних автономных разведывательных полетов или походов; среди них были и большеходы.

Когда GOD включил реанимационные системы, на «Гермесе» царилла благоприятная для операции невесомость. Разбуженный первым Герберт обрел нормальное давление и температуру тела, но не пришел в себя. GOD тщательно обследовал его и заколебался. Ему приходилось действовать самостоятельно. Точнее, он не колебался, а сопоставлял варианты возможных операций. Результат обследования был двойственен. Он мог либо приступить к реанимации командира, Стиргарда, либо забрать врача из эмбрионатора и перенести в операционную. Он поступил как человек, бросающий монетку перед лицом неведомого. Когда не известно, что предпочесть, нет лучшей тактики, чем жребий. Рандомизатор указал на командира, и GOD послушался его. Спустя два часа Стиргард, наполовину придя в себя, сел в открытом эмбрионаторе, разорвав прозрачную оболочку, облежавшую нагое тело. Он искал глазами того, кто должен был стоять над ним. Динамик что-то говорил ему. Он понимал, что это механический голос, что с Гербертом неприятности, хотя толком не раз-



бирал повторяемых слов. Вставая, приложился головой к приподнятой крышке эмбрионатора — на минуту потемнело в глазах. Первым звуком человеческой речи в системе дзеты было крепкое ругательство. Клейкая белая жидкость текла с волос по лбу на лицо и грудь Стиргарда. Он слишком резко выпрямился и, куврыкаясь, с согнутыми коленями, пролетел по туннелю вдоль всех контейнеров с людьми до люка в стене. Прижался спиной к мягкой обивке в углу между притолокой и сводом и, стерев с век белую жидкость, склеивающую пальцы, обвел взглядом помещение эмбрионатора. В промежутках между саркофагами с поднятыми крышками уже были отворены двери в ванны. Он вслушивался в голос машины. Герберт, как и остальные, был жив, но не пришел в себя после выключения реаниматора. С ним не могло быть ничего серьезного: все энцефалографы и электрокардиографы показывали предусмотренную норму.

— Где мы? — спросил командир.

— За Юноной. Полет прошел без помех. Нужно ли перенести Герберта в операционную?

Стиргард подумал.

— Нет. Я сам им займусь. В каком состоянии корабль?

— В полной исправности.

— Получены какие-нибудь радиogramмы с «Эвридики»?

— Да.

— Какой степени важности?

— Первой. Изложить содержание?

— О чем они?

— Об изменении процедуры. Изложить содержание?

— Радиogramмы длинные?

— Три тысячи шестьсот шестьдесят слов. Изложить содержание?

— В сокращении.

— Я не могу сокращать неизвестные.

— Сколько неизвестных?

— Это тоже неизвестно.

Пока они обменивались репликами, Стиргард оттолкнулся от свода. Летя к зелено-красным огням над криотейнером Герберта, он успел увидеть в зеркале сквозь дверной проем ванной свой мускулистый торс, блестящий от онакса, который еще вытекал из перевязанной пуповины, как у огромного обмываемого новорожденного.

— Что случилось? — спросил он. Зафиксировал босые ноги под контейнером доктора, приложил руку к его груди.

Сердце мерно билось. На полуоткрытых губах спящего липко белел онакс.

— GOD, сообщи то, что тебе ясно, — проговорил Стиргард.

Одновременно он надавил лежащему большими пальцами под нижней челюстью, посмотрел в горло, почувствовал тепло дыхания, всунул палец между зубов и осторожно тронул небо. Герберт вздрогнул и открыл глаза. Они были полны слез, светлых и чистых, как вода. Стиргард с молчаливым удовлетворением отметил успех такого простого приема. Герберт не очнулся, потому что зажим на его пуповине был отсоединен не полностью. Стиргард зажал катетер, тот отскочил, брызгая белой жидкостью. Пупок затянулся сам. Обеими руками Стиргард нажимал на грудь лежащего, чувствуя, как она прилипает к ладоням. Герберт смотрел ему в лицо широко открытыми глазами, словно застыв в изумлении.

— Все в порядке, — сказал Стиргард.

Пациент, казалось, не слышал его.

— GOD!

— Слушаю.

— Что случилось? «Эвридика» или Квинта?

— Изменения на Квинте.

— Суммируй данные.

— Сумма неопределенных есть неопределенная.

— Говори, что знаешь.

— Перед погружением были отмечены быстропеременные скачки альbedo, радиоизлучение достигло трехсот гига watt белого шума. На луне дрожит белая точка, которую сочли плазмой в магнитной ловушке.

— Какие рекомендации?

— Осторожность и соблюдение камуфляжа.

— Конкретные?

— Действовать по собственному усмотрению.

— Расстояние до Квинты?

— Миллиард триста миллионов миль по прямой.

— Камуфляж?

— Сделан.

— Микс?

— Да.

— Программа изменена?

— Только сближение. Корабль сейчас в тени Юноны.

— Исправность корабля полная?

— Полная. Реанимировать экипаж?

— Нет. Наблюдаю Квинту?

— Нет. Погасил космическую в термосфере Юноны.

— Хорошо. Теперь молчи и жди.

— Молчу и жду.

«Интересное начало», — подумал Стиргард, все еще массируя грудь врача.

Тот вздохнул и пошевелился.

— Видишь меня? — спросил нагой командир. — Не говори. Моргни.

Герберт заморгал и улыбнулся. Стиргард был в поту, но все еще массировал.

— Diadochokynesis?..<sup>1</sup> — предложил Стиргард.

Лежащий закрыл глаза и неверной рукой тронул кончик своего носа. Они смотрели друг на друга и улыбались. Врач согнул колени.

— Хочешь встать? Не торопись.

Не отвечая, Герберт ухватился руками за края своего ложа и поднялся. Вместо того чтобы сесть, стремительно взлетел в воздух.

— Смотри, тяготение нулевое, — напомнил Стиргард. — Потихоньку...

Герберт оглядел эмбрионарий — уже сознательно.

— Как остальные? — спросил он, откидывая волосы, прилипшие ко лбу.

— Реанимация идет.

— Нужна помощь, доктор Герберт? — спросил GOD.

— Не нужна, — бросил врач.

Он сам проверил поочередно индикаторы над саркофагами. Касался груди, смотрел глазные яблоки, проверял рефлексы конъюнктивы. До него донесся шум воды из ванной. Стиргард принимал душ. Прежде чем врач дошел до последнего, Накамуры, командир, уже в шортах и черной трикотажной рубаше, вернулся из своей каюты.

— Как люди? — спросил он.

— Все здоровы. У Ротмонта следы аритмии.

— Побудь с ними. Я займусь почтой...

— Есть известия?

— Пятилетней давности.

— Хорошие или плохие?

— Непонятные. Бар Хораб советует изменить программу. Они перед погружением что-то заметили на Квинте. И на луне.

— Что это значит?

Стиргард стоял у входа. Врач помогал встать Ротмонту. Трое мылись. Остальные плавали в воздухе, здоровались, разглядывали себя в зеркале, говорили наперебой.

— Дай мне знать, когда они придут в себя. Времени у нас хватает.

---

<sup>1</sup> Способность быстро совершать симметричные движения (греч.).

С этими словами командир оттолкнулся от крышки люка, пролетел между обнаженными телами, как под водой среди белых рыб, и исчез в проходе к рубке.

Обдумав ситуацию, Стиргард поднял корабль над плоскостью эклиптики на самой слабой тяге, вышел из полосы тени, чтобы провести первые наблюдения Квинты. Ее серп был виден недалеко от солнца. Все окутано тучами. Ее шум усилился до четырехсот гаватт. Анализаторы Фурье не отмечали никаких модуляций. «Гермес» окружил себя оболочкой, поглощающей нетермическое излучение, чтобы его нельзя было обнаружить радиолокаторами. Стиргард предпочитал риску чрезмерную осторожность. Техническая цивилизация означала астрономию, астрономия — чувствительные болометры, так что даже астероид, более теплый, чем вакуум, мог привлечь к себе внимание. Поэтому к водяному пару, употребляемому сейчас для маневрирования, он добавил немного сульфидов, какими изобилуют сейсмические газы. Правда, действующие вулканические астероиды — редкость, особенно с такой малой массой, как масса разведчика, но предусмотрительный командир выслал в пространство зонды и направил их на себя, чтобы убедиться, что необходимое для дальнейшей коррекции полета применение небольших паровых двигателей останется незамеченным даже при направленном спуске к Квинте. Он хотел приблизиться со стороны луны, чтобы рассмотреть все как следует.

Все уже сбрались в рубку; тяготение отсутствовало. Рубка была похожа на внутренность большого глобуса — с конусообразным выступом, оканчивающимся стеной мониторов, с креслами, покрытыми липучей обивкой. Достаточно было взяться за подлокотники и прижаться телом к сиденью, чтобы прилипнуть к этой ткани. Чтобы встать, хватало одного сильного рывка. Это было проще и лучше ремней. Они сидели вдесятером, как в небольшом проекционном зале, а сорок мониторов показывали планету — каждый в своей области спектра. Самый большой, центральный монитор мог синтезировать монохромные изображения, накладывая их одно на другое, когда было нужно. В разрывах облаков, разносимых пассатами и циклонами, неясно виднелись сильно изрезанные контуры океанских берегов. По-разному фильтруемый свет позволял видеть то поверхность облачного моря, то скрытую под ним поверхность планеты. Одновременно они слушали монотонную лекцию, которой потчевал их GOD. Он воспроизводил последнюю радиограмму «Эвридики». Беля допускал, что повреждения технической инфраструктуры квинтян вызваны сейсмическими воздействиями. Лакатос и еще несколько человек отстаивали

гипотезу, названную природной. Жители планеты выбросили часть океанских вод в Космос, чтобы увеличить поверхность суши. Давление, производимое океаном на дно, уменьшилось, и в результате нарушилось равновесие в литосфере. Под давлением изнутри появились большие трещины в коре, более тонкой под океаном. Поэтому выброс вод в Космос был прерван. Одним словом, действия дали катастрофический рикошет. Другие сочли эту гипотезу ошибочной, так как она не учитывала дальнейшие непонятные явления. Кроме того, существа, способные проводить работы в планетном масштабе, должны были бы предвидеть сейсмические последствия. По расчетам, берущим за исходную модель Земли, катаклизмы в литосфере могли быть вызваны изъятием по меньшей мере четвертой части объема океана. Снижение давления из-за выброса даже шести триллионов тонн воды не могло привести к глобальным опустошениям. Контргипотеза: катастрофа шла по «принципу домино»; это был непредвиденный эффект опытов на основе несовершенной гравитологии. Другие предположения: эффект намеренного разрушения, сноса устаревшей технологической базы; нечаянное нарушение климатических условий при забросе вод в Космос или хаотические нарушения цивилизации, вызванные неизвестными причинами. Ни одна гипотеза не сумела охватить все замеченные явления так, чтобы получилось единое целое. Поэтому радиограмма, отправленная Бар Хорабом перед самым уходом к Гадесу, давала разведчикам полномочия на совершенно самостоятельные действия вплоть до отказа от всех имеющихся вариантов программы, если экипаж сочтет это нужным.

## ОХОТА

В афелии дзеты, вдалеке от ее больших планет, Стиргард вывел корабль на эллиптическую орбиту, чтобы астрофизики могли выполнить первые наблюдения Квинты.

Как обычно в таких системах, в пустоте скитались обломки древних комет, лишённые газовых хвостов и разорванные на спекшиеся куски после многократных перелетов около солнца. Среди этих разбросанных глыб и сгустков пыли GOD на расстоянии в четыре тысячи километров отметил объект, непохожий на метеорит. Когда его коснулся луч радиолокатора, он дал металлическое эхо. Это не могла быть магнетитовая глыба с большим содержанием железа: форма объекта была слишком правильной. Бродя ночной бабочки с коротким толстым брюшком и обрубка-

ми тупых крыльев. Он был на четыре градуса теплее других заледенелых камней и не вращался, как подобало бы метеориту или обломку ядра кометы, а несся вперед, без следа тяги. GOD рассматривал его во всех полосах спектра, пока не открыл причину устойчивости: слабая утечка аргона, разреженная, еле заметная струйка. Это мог быть космический зонд или небольшой корабль.

— Поймаем эту бабочку, — решил Стиргард.

«Гермес» двинулся в погоню и, оказавшись на расстоянии мили от преследуемого, выстрелил снарядом-капканом. Ловушка широко раскрыла челюсти прямо над хребтом бабочки и охватила ее бока, как тисками. Казалось, безжизненное создание спокойно летит в зажавших его клешнях, но спустя минуту его температура возросла, а бьющий назад поток газа сгустился. Монитор, до этого времени показывавший совпадение программы охоты с ее ходом, блеснул вопросительными знаками.

— Включить энергопоглотители? — спросил GOD.

— Нет, — ответил Стиргард.

Он смотрел на болометр. Пленник разогрелся до трехсот, четырехсот, пятисот градусов по Кельвину, но его тяга возросла незначительно. Кривая температуры задрожала и пошла вниз. Добыча остывала.

— Какая тяга? — спросил командир.

Все в рубке молчали, переводя взгляд с визуального монитора на боковые, показывавшие уровень несветовых излучений. Светился только болометрический.

— Радиоактивность — нуль?

— Нулевая, — заверил командира GOD. — Струя ослабевает. Что делать?

— Ничего. Ждать.

Так летели долго.

— Возьмем его на борт? — вдруг спросил Эль Салам. — Может, сначала просветим?

— Можно не трудиться. Он уже слышит — тяга уменьшилась, и он остыл. GOD, покажи его вблизи.

Электронными глазами ловушки они увидели черную оболочку в бесчисленных оспинах эрозии.

— Абордаж? — спросил GOD.

— Еще нет. Стукни его раза два. Но в меру.

Между длинными клешнями высунулся стержень с округлым концом. Он методично ударял по корпусу пойманного предмета, с поверхности отлетали чешуйки.

— Он может иметь неударный детонатор, — заметил Поласар. — Я бы его все-таки просветил...

— Хорошо, — неожиданно согласился Стиргард. — GOD, проспинографируй его.

Два веретенообразных зонда, выстреленных из носа корабля, догнали толстую ночнушку и расположились так, чтобы она находилась между ними на соответствующем расстоянии. Верхние мониторы рубки ожили, показывая полосы, тени, а по краям экранов в то же время выскакивали атомные символы углерода, водорода, кремния, марганца, хрома, их столбики все удлинялись, пока наконец Ротмонт не сказал:

— Это ничего не дает. Надо взять его на борт.

— Рискованно, — пробормотал Накамура. — Лучше демонтировать дистанционно.

— GOD? — спросил командир.

— Можно. Это займет от пяти до десяти часов. Начать?

— Нет. Пошли телетом. Пусть разрежет его броню в самом тонком месте и даст изображение внутренностей.

— Рассверлить?

— Да.

К окружающим добычу аппаратам присоединился еще один зонд. Алмазное сверло попало на не менее твердую оболочку.

— Только лазер, — решил GOD.

— Ну что ж. Минимальный импульс, чтобы внутри ничего не расплавилось.

— Не ручаюсь, — ответил GOD. — Включаю лазер?

— Потихоньку.

Сверло исчезло. На неровной поверхности засияла белая точка, а когда облачко дыма поредело, в выплавленное отверстие просунулась головка телеобъектива. На мониторе показались осмоленные трубы, уходящие в выпуклую пластину. Все изображение чуть подрагивало, и тут отозвался GOD:

— Внимание: по данным спинографии, в центре объекта находятся экситоны, а виртуальные частицы смяли конфигурационное пространство Ферми.

— Интерпретация? — спросил Стиргард.

— Давление в очаге более четырех тысяч атмосфер либо квантовые эффекты Голенбаха.

— Что-то вроде бомбы?

— Нет. Вероятно, источник тяги. Реактивной массой был аргон. Он уже исчерпался.

— Можно взять это на борт?

— Можно. Баланс энергии в целом равен нулю.

Кромс физиков, никто не понимал, что это значит.

— Берем? — спросил командир Накамура.

— GOD лучше знает, — улыбнулся японец. — А ты что скажешь?

Эль Салам, к которому был обращен вопрос, кивнул. Трофей был втянут в вакуумную камеру в носовой части и на всякий случай окружен поглотителями энергии. Только закончили эту операцию, как GOD сообщил о новом открытии. Он обнаружил объект, значительно меньший пойманного, покрытый веществом, поглощающим излучение радиолокаторов, — обнаружил благодаря спин-резонансу вещества; это была толстая сигара массой около пяти тонн. Снова полетели спутники и, расплавив изоляционную оболочку, счистили ее с блестящего металлом веретена. Попытки вызвать его реакцию кончились ничем. Это был труп: в боку зияла дыра. Край ее свидетельствовал о том, что дыра появилась недавно. Эту добычу тоже погрузили на корабль.

Итак, охота прошла легко. Сложности начались лишь при осмотре и вскрытии двойной добычи.

Первый остов — его двадцатитонная туша была похожа на огромную черепаху, — судя по шероховатому панцирю, изодранному в бесчисленных столкновениях с микрометеоритами и пылью, летал едва ли не сто лет. Его орбита уходила своим афелием за последние планеты дзеты. Анатомия бронированной черепахи оказалась полной неожиданностью для прозекторов. Протокол состоял из двух частей. В первой Накамура, Ротмонт и Эль Салам дали единое описание устройств, осмотренных в этом объекте, во второй же их мнения о предназначении этих устройств в корне разошлись. Полассар, который тоже принимал участие в исследовании, поставил под сомнение догадки обоих физиков. В протоколе не больше смысла, заявил он, чем в описании египетской пирамиды, выполненном пигмеями. Единство мнений насчет строительных материалов несколько не объясняет их предназначения. У выдавшего виды спутника имелся особый источник энергии. Он состоял из батарей пьезоэлектриков, заряжаемых преобразователем, с каким физикам до сих пор не приходилось сталкиваться. Пьезоэлектрики, спрессованные в многокаскадных тисках механических усилителей давления, разряжаясь, давали ток порциями через систему дросселей с фазовым импедансом, но могли разрядиться сразу и одновременно, если бы сенсоры оболочки накоротко замкнули дроссели. В таком случае весь ток, проходя по двухобмоточной катушке, взорвал бы магниты. Между аккумуляторами и оболочкой помещались сумки, или карманы, наполненные шлаком. Там тянулись полупрозрачные провода с потускневшими зеркальными каналами — возможно, разъеденные эрозией световоды. Накамура предполагал, что этот остов



когда-то подвергся перегреву, который расплавил часть подсистем и уничтожил сенсоры. Ремонт же считал, что повреждения произошли без нагрева, каталитическим путем. Как если бы какие-то микроорганизмы — разумеется, неживые — сжевали сеть связи в носовой части спутника. К тому же весьма давно. Внутреннюю поверхность панциря в несколько слоев покрывали ячейки, несколько похожие на пчелиные соты, но значительно меньшие. Только хроматография позволила обнаружить в их останках силикоокислоты — кремниевый эквивалент аминокислот с двойной водородной связью. Именно здесь мнения исследователей разошлись полностью. Полассар считал эти останки внутренней изоляцией панциря, а Кирстинг — системой, промежуточной между живой и мертвой материей, плодом технобиологии неизвестного происхождения и с неизвестными функциями.

Над протоколом долго кипели споры. Перед экипажем «Гермеса» были доказательства, свидетельствующие об уровне технологии квинтян столетней давности. Грубо говоря, теоретические основы этой инженерии можно было приравнять к земной науке конца двадцатого века. В то же время скорее интуиция, чем вещественные доказательства, подсказывала, что основное направление развития чужой физики уже тогда отличалось от земного. Не может существовать ни синтетическая вирусология, ни технобиотика без предшествующего овладения квантовой механикой, а та в свою очередь уже в самом начале развития ведет к раздроблению и синтезу атомного ядра. В эту эпоху лучшим источником энергии для спутников или космических зондов являются атомные микрореакторы. Но в спутнике не было и остаточных следов радиоактивности. Неужели квинтяне перескочили этап ядерных взрывов и ядерных реакций и сразу оказались на следующем — превращения тяготения в кванты сильных взаимодействий? Этому противоречила пьезоэлектрическая батарея старого спутника. С другим было еще хуже. На нем имелись батареи отрицательной энергии, возникающей при околосветовой скорости в полях тяготения больших планет. Его пульсирующая система тяги была разбита чем-то, удивившим в него очень метко, — возможно, гигаджоулевым зарядом когерентного света. Радиоактивности он не обнаруживал. Внутренние перегородки выполнены из монокристаллов углерода — пучки волокон — неплохое достижение инженерии твердого тела. В уцелевшем отделении за энергетической камерой обнаружили лопнувшие трубки со сверхпроводящими соединениями, увы, перебитые как раз там, где находилось что-то самое интересное, как с отчаянием предположил Полассар. Что там могло быть? Физики отваживались на домыслы,

какие не позволили бы себе, если бы события развивались поблизости от Земли. Может быть, этот аппарат производил устойчивые сверхтяжелые ядра? Аномалоны? Зачем? Если он служил автоматической исследовательской лабораторией, это имело бы смысл. Но был ли он лабораторией? И почему оплавленный металл рядом с брешью напоминал по форме архаичный искровой разрядник? А сверхпроводящий ниобиевый сплав внутри проводов имел пустоты, выведенные эндотермическим катализом. Как будто какие-то «эровирусы» попадали туда вместе с током или, скорее, со сверхпроводниками. Наиболее интересными оказались небольшие очаги разрушений, обнаруженные в обоих спутниках. Эти разрушения не могли появиться в результате какого-то мощного воздействия снаружи. Чаще всего соединения проводов были как бы разгрызены и изжеваны, от чего на них остались углубления вроде вдавлен от четок. Ротмонт, приглашенный на помощь как химик, счел их результатом воздействия активных высокомолекулярных соединений. Ему удалось выделить их довольно много. Они имели вид асимметричных кристалликов и сохраняли избирательную агрессивность. Одни из них атаковали исключительно сверхпроводники. Он показал коллегам под электронным микроскопом, как эти неживые паразиты вгрызаются в нити сверхпроводящего ниобиевого сплава, служившего им пищей, — за счет съедаемого вещества они размножились. Он не считал, что эти «вирионы», как он их назвал, могли зародиться сами в лоне спутника. Полагал, что аппаратура была заражена вирионами еще при монтаже. Зачем? Для эксперимента? Но в таком случае не стоило запускать спутники в Космос.

Поэтому появилась мысль о намеренном саботаже при создании этих устройств. Предположение, правда, довольно рискованное. Если оно верно, то за этими явлениями кроется какой-то конфликт. Результат столкновения противоположных стремлений. Для некоторых эта концепция отдавала антропоцентрическим шовинизмом. Не могло ли это быть недумом самой аппаратуры на молекулярном уровне? Что-то вроде рака неживых устройств с тонкой и запутанной микроструктурой? Химик исключал такую возможность для первого старого спутника — черепашки, во время погони окрещенной ночной бабочкой. Относительно другого у него не было такой уверенности. Хотя цель, ради которой были сконструированы оба космических аппарата, по-прежнему была неясна, инженерный прогресс за время, прошедшее между постройкой одного и другого, бросался в глаза. Несмотря на это, «эровирусы» обнаружили слабые места, пригодные в пищу, в обоих спутниках. Двигнувшись по этому следу, химик

уже не мог и не хотел его оставить. Микроэлектронное изучение проб, взятых с обоих пойманных аппаратов, пошло быстро, так как им занимался анализатор под контролем GOD'a. Если бы не срочность дела, ушли бы месяцы на эту некрогистологию. Вывод гласил: некоторые элементы обоих спутников обладают своеобразной устойчивостью к каталитическому разрушению, причем такой узконаправленной, что имело смысл говорить, по аналогии с живыми организмами и микробами, об иммунных реакциях. В воображении возникала картина войны микрооружия — без солдат, орудий, бомб, — войны, в которой точным секретным оружием являются псевдокристаллические квазиферменты. Как часто бывает при упорных исследованиях, совокупный смысл открытых явлений по мере работ не упрощался, а усложнялся.

Физики, химик и Кирстинг почти не покидали главной бортовой лаборатории. В неживой питательной среде размножалось около двух десятков «оборонительных» и «атакующих» соединений. Но вскоре граница между тем, что было интегрированной частью чужой техники, и тем, что в нее вторглось, чтобы разрушать, стерлась. Кирстинг заметил, что это вообще не граница в абсолютно объективном понимании. Допустим, на Землю прибывает необычайно умный суперкомпьютер, который ничего не знает о явлениях жизни, поскольку его электронные прапурсы уже забыли, что их создали какие-то биологические существа. Он наблюдает и изучает человека, у которого насморк и кишечные палочки в кишечнике. Считать ли вирусов в носу этого человека его интегрированной, естественной особенностью или нет? Предположим, этот человек в процессе исследования падает и набивает шишку на голове. Шишка — это подкожная гематома. Повреждены сосуды. Но шишка может быть расценена и как род амортизатора для защиты черепной коробки при следующем ударе. Разве такая интерпретация невозможна? Нам смешно, но дело не в шутках, а во внечеловеческой познавательной установке.

Стиргард, выслушав перессорившихся специалистов, только покивал головой и дал им пять дней на исследования. Это были настоящие муки. Земная технобиотика уже полвека шла совершенно иными путями. Так называемую некроэволюцию считали не оправдывающей себя. Не было даже предположений, что «машинное видообразование» когда-нибудь возникнет. Но никто не брался категорически утверждать, что на Квинте ничего подобного не существует. В конце концов командир уже спрашивал только, следует ли считать гипотетический конфликт между квинтянами значащей предпосылкой для дальнейшей разведки. Но при том уровне анализов, которого эксперты сумели достичь,

они не хотели говорить ни о каких определенных предпосылках. Определенность — не гипотеза, а гипотеза — не определенность. Они знали уже достаточно, чтобы понять, как шатки исходные положения, на которые опирается их знание. К несчастью, и в «молодом» аппарате отсутствовали системы связи, хоть малость похожие на те, что можно вывести из теории конечных автоматов и информатики. Может быть, вирусы сожрали эти псевдонервные системы дочиста? Но от них должны были бы остаться следы. Останки. Может быть, они и остались, но их не удавалось идентифицировать. Можно ли от микрокалькулятора на батарейках, сунутого под гидравлический пресс, прийти к теории Шеннона или Максвелла? Последнее совещание проходило в исключительно напряженной атмосфере. Стиргард не интересовался позитивными определениями. Он спрашивал только, можно ли считать, что нет доказательств того, что квинтяне владеют сидеральной инженерией. Это он считал самым важным. Если кто и догадывался — почему, то молчал. «Гермес» лениво дрейфовал во мраке, а они плутали в чаще неизвестных. Пилоты — Гаррах и Темпе — молча прислушивались к обсуждению. Врачи тоже не брали слова. Араго больше не носил свою монашескую одежду и в разговорах — как-то получалось, что они часто сидели вчетвером на верхнем ярусе, над рубкой, — никогда не вспоминал своих слов «а если там царит зло?». Когда Герберт сказал, что ожидания рушатся при встрече с действительностью, Араго с ним не согласился. Сколько они преодолели преград, которые их предкам в двадцатом веке казались непреодолимыми! Как гладко шло путешествие, они без потерь пролетели целые световые годы, «Эвридика» точно вошла в Гадес, а сами они достигли глубин созвездия Гарпии, и от обитаемой планеты их отделяют дни или часы.

— Вы, отец, занимаетесь психотерапией. — Герберт усмехнулся. Он по-прежнему называл доминиканца так — ему было трудно, обращаясь к нему, произносить «коллега».

— Я говорю правду, ничего больше. Я не знаю, что с нами будет. Такое незнание — наше врожденное состояние.

— Я знаю, о чем вы, отец, думаете, — выпалил Герберт. — Что Творец не желал таких путешествий — таких встреч, такого «общения цивилизаций» — и потому разделил их расстояниями. А мы не только сварили компот из райского яблока, но уже пилим всю Древо Познания...

— Если вы хотите знать мои мысли, я к вашим услугам. Я полагаю, что Творец ни в чем нас не ограничил. К тому же пока неизвестно, что вырастет из прививок, взятых от Древа Познания.

Пилотам не пришлось услышать продолжение теологического

спора, их вызвал командир — он брал курс на Квинту. Показал им навигационную траекторию, затем добавил:

— На борту царит настроение, которого я не ожидал. Буйство воображения должно иметь границы. Как вы знаете, разговор идет о непонятных конфликтах, микромашинах, нанобаллистике, схватке — на нас давит балласт предубеждений, и он нас слепит. Если мы будем дрожать, вскрыв какие-то два устройства, то впадём в растерянность и любое действие нам покажется безумным риском. Я сказал это ученым, поэтому говорю и вам. А сейчас — в добрый путь. До Септимы курс может держать GOD. Потом я хочу, чтобы вы дежурили в рубке, очередность установите сами.

Корабль уже шел на тяге, и вернулось, хотя и слабое, тяготение. Гаррах пошел с Темпе за старой книжкой, взятой с «Эвридики». Когда они расставались в дверях каюты, Гаррах, наклонившись, как бы собираясь сообщить тайну, сказал:

— Бар Хораб знал, кого послать на «Гермесе». А? Знавал лучших?

— Может, и знал. Не лучших. Таких, как он.

## ЛУНА

Планету окружало плоское кольцо из ледяных глыб, огромное, но нестабильное. Расчеты, проведенные Лакатосом и Белей непосредственно перед погружением «Эвридики», оказались верными. Разделенное одной большой и тремя меньшими кольцевыми щелями, кольцо не могло продержаться дольше тысячи лет из-за пертурбаций, вызываемых тяготением Квинты, ибо одновременно увеличивался его диаметр и терялась масса. Наружная его часть растягивалась центробежными силами, а внутреннюю трение об атмосферу превращало в тающие обломки и пар, поэтому часть вод, выброшенных неведомым способом в пространство, возвращалась на планету непрерывными потоками дождя. Трудно было представить, чтобы квинтяне умышленно устроили себе такой потоп. Кольцо первоначально состояло из трех или четырех триллионов тонн льда и год за годом утрачивало миллиарды тонн массы. В этом крылось множество загадок. Кольцо нарушало равновесие климата всей планеты. Вдобавок к ливневым дождям его мощная тень накладывалась при обороте вокруг солнца то на северное, то на южное полушарие. Оно отражало солнечный свет, и от этого не только понижалась средняя температура, но и искажалась циркуляция пассатов в атмосфере. Граничные области по обе стороны от отбрасываемой тени были зонами постоянных бурь и циклонов.

Если жители планеты понизили уровень океанов, то они предполагали, по-видимому, достаточной энергией, чтобы придать водопадам или, вернее, водовзлетам вторую космическую скорость и тем самым вымести ледяные массы из окрестностей своей планеты так, чтобы, растопившись от солнечного жара, они улетучились без следа либо ледяными метеоритами затерялись среди астероидов.

Недостаток мощности должен был удержать авторов проекта от нелепой затеи. Предсказать крах можно было элементарно просто. Однако не ошибка в планетной инженерии, а что-то другое остановило начатые много лет назад работы. Такой вывод напрашивался с неизбежностью. Кольцо, плоский пидт с дырой диаметром пятнадцать тысяч километров, в которой торчала опоясанная планета, состояло в средних своих полосах из ледяных глыб, а на наружной кромке — из мелких кристалликов льда, причем поляризованных, очевидно, тоже в результате намеренного воздействия. Одним словом, при формировании кольца подчинялось своим творцам по параметрам движения и по конфигурации. Оно было стационарно установлено в плоскости экватора, но на внутренней стороне, нависшей над экватором, представляло собой хаотическое месиво. В целом оно выглядело как космическая постройка, заброшенная в ходе работ. Почему?

Из океанов поднимались два больших континента и один меньший, по площади втрое превосходящий Австралию, но расположенный у северного полярного круга и поэтому названный землянами Норстралией. Инфралокаторы обнаружили на континентах относительно теплые несейсмические места — возможно, тепловые выделения больших силовых станций. Это не были теплоцентрали, использующие ископаемые вроде нефти или угля либо топливо ядерного типа. Первые выдали бы себя отходами, загрязняющими воздух, другие — радиоактивным пеплом. Как известно, на ранней стадии ядерной энергетики Земли самые большие трудности возникли с его безопасным удалением. Но для техники, способной выбросить через гравитационную воронку часть океанов, избавление от радиоактивных отходов было бы забавой. Однако лед кольца не обнаруживал никаких признаков радиоактивности. Либо квинтяне употребляли другой вид ядерной энергетики, либо их энергетика была совершенно иной. Но какой?

За планетой тянулся газовый шлейф, обильно насыщенный водяным паром, который стекал туда главным образом из кольца. «Гермес», зависнув на стационарной орбите за Секстой — подобной Марсу, но большей, чем он, с густой атмосферой, отравленной постоянными выбросами вулканов и газовыми соединениями

циана, — послал в качестве наблюдателей за Квинтой шесть орбитеров, которые непрерывно передавали результаты исследований. GOD составлял из них подробное изображение Квинты. Самым странным оказался ее радиоп шум. По меньшей мере несколько сот сильных передатчиков работали на всех континентах без какой бы то ни было модуляции по фазе или частоте. Их передачи были хаотическим белым шумом. Расположение антенн, как направленных, так и изотропных, легко удалось установить. Создавалось впечатление, что квинтяне решили забить себе все каналы электромагнитной связи — от самых коротких волн до километровых. В таком случае у них могла быть только проводная связь, но для чего тогда этот шум, поглощающий гигаватты? Еще более странными — ибо «странности» планеты возрастали по мере успехов в наблюдении — оказались искусственные спутники. Их насчитывался почти миллион, на высоких и низких орбитах, как круговых, так и эллиптических, с афелиями, вынесенными далеко за луну. Зонды «Гермеса» отмечали спутники также вблизи себя, а несколько — даже в восьми-десяти миллионах километров. Спутники эти сильно различались по размерам и массе. Самые большие были, вероятно, пусты, нечто вроде надутых в пустоте неуправляемых шаров. Часть из них опала из-за утечки газов. Раз в несколько дней какой-нибудь из мертвых спутников сталкивался с ледяным кольцом, создавая эффектное зрелище — вспышку всех цветов радуги, когда лучи солнца преломлялись в тучах кристаллов льда. Получившееся таким образом облако медленно рассеивалось в пространстве. Напротив, те спутники, которые проявляли активность хотя бы тем, что двигались по орбитам, требующим постоянной корректировки курса, или же изменяли свою форму, словно огромные свитки металлической фольги, никогда с кольцом Квинты не сталкивались. Голографическая трехмерная карта орбит спутников на первый взгляд выглядела как рой пчел, шершней и микроскопических мушек, кружащийся вокруг планеты. Это многослойное скопление не было хаотически разбросанным. Сразу же можно было заметить в нем простую закономерность: спутники на близких орбитах часто шли парами либо тройками, а другие, особенно при стационарном обращении, при котором каждое тело движется синхронно с поверхностью планеты, ходили по солнцу или от солнца, как в фигурах танца.

По мере поступления данных об их расположении GOD построил систему координат — нечто вроде сферической системы графиков. Различение мертвых спутников и живых, то есть пассивно дрейфующих и управляемых либо автономных, было крепким орешком, ибо нужно было учесть параметры множества мик-

роскопических масс,двигающихся в поле тяготения Квинты, ее луны и солнца. Наконец, тщательное наблюдение выявило мириады ракетных и спутниковых останков, которые часто падали на солнце. Некоторые из них имели кольцевую, тороидальную форму, и из них торчали нитевидные шипы, причем самые большие из этих колец на полдороге между планетой и ее луной проявляли некоторую активность. Шипы были дипольными антеннами, и их излучение после отфильтровки от шумового фона планеты удалось квалифицировать, как шум на самых коротких волнах за пределами радиодиапазона. Часть этого шума приходилась на жесткое рентгеновское излучение, неспособное достичь поверхности Квинты, поскольку его поглощала атмосфера. Ежедневно к сумме полученных сведений GOD добавлял новые порции, и, пока Накамура, Полассар, Ротмонт и Стиргард ломали голову над ребусом, составленным из ребусов, пилоты, не вмешиваясь в научные рассуждения, составили собственное мнение: Квинта — это планета инженеров, одержимых какой-то манией; грубо говоря, SETI вложил массу труда и миллиарды, чтобы отыскать сумасшедшую цивилизацию. Однако и они ощущали в этом безумии какую-то систему. Сам собой напрашивался образ «радиовойны», доведенной до полного абсурда: никто ничего не передает, поскольку все заглушают всех.

Физики пытались помочь GOD'у гипотезами, основанными на допущении форм, антиподных человеческим. Может быть, жители Квинты настолько существенно отличаются от людей своей анатомией и физиологией, что речь и зрение заменяют другие, неакустические и невизуальные чувства или коды? Может быть, тактильные? Или запахи? Или связанные с ощущением гравитации? Может быть, шум — это передача энергии, а не информации? Может быть, информация бежит по волноводам, которые нельзя обнаружить астрофизическими методами? Может быть, вместо того чтобы всячески фильтровать этот на первый взгляд бессмысленный шум, нужно в принципе пересмотреть всю аналитическую программу? GOD отвечал с обычной бездушной терпеливостью. Зная много о людских эмоциях, сам он был их на чисто лишен.

Если это передача энергии, то должны быть принимающие системы, допускающие некоторый минимум утечек или потерь — ибо стопроцентная производительность невозможна. Однако на планете не замечено никаких приемных устройств, соразмерных передаваемой мощности. Часть ее, способная пробить атмосферу, направлена на множество спутников. Однако другие передатчики и другие спутники заглушают это целенаправленное излучение,



причем достаточно эффективно. Это похоже на толпу, в которой каждый старается перекричать окружающих. И даже если бы там собрались одни мудрецы, все речи их слились бы в страшный всеобщий крик.

Наконец, если какие-то диапазоны служат для связи, то они при абсолютном заполнении каналов передаваемыми сигналами могут восприниматься как белый шум; однако квинтянский шум обладает интересной характеристикой. Это не «абсолютный хаос». Скорее это равнодействующая противоположных передач. Длину волн каждый передатчик выдерживает абсолютно точно. Другие передатчики заглушают ее или гасят, переворачивая передаваемую амплитуду по фазе. GOD наглядно показал эту электромагнитную ситуацию, преобразовав радиоспектр в оптический. Белое, спокойное пространство планеты преобразовалось в картину разноцветных вибраций, диск Квинты зашестрел соревнованием красок. Разливающийся пурпур окружал ретрансляторы, окрашивая белизну, и сразу же туда вливалась зелень, возникала расплывающаяся паутина цветов; время от времени один из них достигал наибольшей яркости и сразу же тускнел.

Тем временем прибыла информация от зондов, направленных на дальнюю разведку квинтянской луны. Два из пяти пропали — неизвестно как, поскольку исчезли в периселении, невидимом с «Гермеса». Стиргард сделал выговор за неосторожность Гарраку, не пославшему вслед за разведчиками резерв, способный обеспечить постоянный надзор также и в области за луной. Однако три зонда все же совершили облет естественного спутника планеты и, не имея возможности пробить своей сигнализацией густой шум, передали полученные снимки лазерным кодом. Информация сперва подверглась сжатию, так что тысяча битов вместились в один импульс продолжительностью в наносекунду. После неполной минуты такой передачи GOD сообщил, что из апоселения к разведчикам двинулись три квинтянских орбитера, до сих пор не замеченные из-за слишком малых размеров. Их выдало тепло работающих двигателей и доплеровский эффект развитого им ускорения. Ничто не указывало на то, что приказ перехватить разведчиков был послан с планеты. На это просто не хватило бы времени. Горячие точки шли уже на лобовую встречу. Командир приказал избежать ее. Патрульная тройка выбросила имитаторы, послав вперед облака металлической фольги и надувных шаров. Поскольку этот маневр не сбил с толку перехватчиков, патруль разведчиков выпустил облако натрия и впырнул туда кислород. Возникло огненное облако. И едва исчезли в нем квинтянские ракеты, разведчики вырвались из облака по спирали и, вместо

того чтобы лететь к кораблю, столкнулись и саморазрушились, разлетевшись в пыль. Стиргард стянул с орбит на борт все наблюдательные зонды, а GOD приступил к демонстрации результатов разведки. На обратной стороне луны, пустынной и изрытой кратерами, перемещался туда и обратно огонек со спектром ядерной плазмы, причем так быстро, что, если бы его не удерживало соответственно сконцентрированное магнитное поле, он вылетел бы в пространство и тут же в нем погас. Что же именно совершало там эти маятниковые прогулки между двумя старыми кратерами со скоростью шестьдесят километров в секунду? Что это было за бледное пламя? GOD уверял, что планета не обнаружила «Гермес» и, значит, не следит за ним. Ничто не говорило об этом. Он отмечал только постоянный шум и слышимые на его фоне потрескивания, вызываемые входом спутников в атмосферу, а также их столкновениями с ледяным щитом, поскольку использовал атмосферу Квинты в качестве линзы для своих радиоскопов.

Мнения о том, что делать дальше, разделились. Но все были согласны, что квинтян не следует уведомлять о прибытии экспедиции. Камуфляж было необходимо поддерживать, пока не понята хотя бы одна из бесчисленных загадок. Нужно было решить, послать ли на другую сторону луны беспилотный посадочный аппарат или сажать на нее корабль. Об альтернативных шансах этого выбора GOD знал столько же, сколько и люди: в сущности, ничего. По данным разведки, проведенной патрулем, луна казалась незаселенной, хотя и имела атмосферу. Удержать ее луна не могла, несмотря на то что была в полтора раза массивней спутника Земли. К тому же состав лунной атмосферы оказался очередной головоломкой: благородные газы — аргон, криптон и ксенон, с примесью гелия. Без искусственной подпитки такая атмосфера улетучилась бы за несколько лет. О технических работах еще явственнее свидетельствовал плазменный огонек. Однако луна молчала, магнитное поле у нее отсутствовало, и Стиргард решил на посадку. Если и были там какие-то существа, то только в подземельях, глубоко под скальной скорлупой, изрытой кратерами и кальдерами. Застывшие моря лавы блестели лучами полос, разбегающихся от самого большого кратера. Стиргард решил совершить посадку, предварительно превратив «Гермес» в комету. Кингстоны корпуса, открывшиеся вдоль бортов, начали выпускать из баков пену, которая, раздуваемая пузырьками газа, окружила весь корабль огромным коконом хаотично застывшей пористой массы. «Гермес», подобно косточке внутри плода, укрылся в губчатой оболочке. Даже вблизи он выглядел как продолговатый скальный обломок, покрытый воронками кратеров.

Остатки лопнувших пузырей делали эту скорлупу похожей на поверхность астероида, в течение многих веков подвергавшегося бомбардировке облаками пыли и метеорами. Неизбежные выхлопы тяги должны были уподобиться хвосту кометы, при ее движении к перигелию отклоняющемуся от орбиты по направлению от солнца. Эту иллюзию обеспечивали дефлекторы тяги. Точный спектральный анализ выявил бы, конечно, импульс и газовый состав, не встречающийся у комет. Но такой возможности нельзя было избежать. «Гермес» с гиперболической скоростью помчался от Сексты к орбите Квинты — в конце концов, встречаются такие быстрые внесистемные кометы — и через две недели полета, затормозив за луной, высаял наружу манипуляторы с телевизионными глазами. Иллюзия старой, выщербленной скалы была превосходной: только при энергичном ударе мнимая скала эластично прогибалась, как надувной шар. Саму посадку замаскировать не удалось: входя кормой в лунную атмосферу, корабль сжег оболочку вокруг сопел, остальное доделало атмосферное трение. Оно сорвало расплавленную маску, и голый панцирный колосс, давя собою пламя, шестью расставленными лапами стал на грунт, предварительно проверив его прочность очередью снарядов. Еще некоторое время вокруг корабля падал дождь из остатков сожженной оболочки. Когда он прекратился, открылась вся округа до горизонта. От плазменного маятника их отделял вздымающийся край большого кратера. При атмосферном давлении в четыреста гектопаскалей вполне можно было использовать вертолеты для воздушной разведки. Начиналась игра по неизвестным до сих пор правилам, но с известной ставкой. Восемь вертолетов, разосланных в тысячемильном радиусе, никто не тронул. Из их снимков сложилась карта, охватывающая восемь тысяч квадратных километров вокруг пункта посадки. Карта типичного безатмосферного спутника — с хаотическим разбросом кратерных воронок, частично заполненных вулканическим туфом. Только на северо-востоке магнетометры зарегистрировали движущийся огненный шар. Он мчался над скальным грунтом, проплавленным вдоль его трассы, в нечто вроде неглубокого горячего оврага. Этот район вторично исследовали вертолеты, чтобы произвести замеры и спектральный анализ в полете и после посадки. Один из них был намеренно направлен на сближение с солнечным шаром. Прежде чем он сгорел, была точно замерена температура и мощность излучения — порядка тераджоуля. Шар питало и приводило в движение переменное магнитное поле. Оно достигало  $10^{10}$  гауссов.

Стиргард после глубокого зондирования магнитного дна оврага дал GOD'у указание составить схему укрытой там сети с уз-

лами, от которых отходили глубоко проникающие под литосферу вертикальные стволы, и не был слишком удивлен поставленным диагнозом. Предназначение гигантского устройства было неясным. Однако не оставалось сомнения, что работы были остановлены внезапно, все входы в стволы и штольни закрыты или завалены взрывами — после того, как в туннели и колодцы сбросили тяжелые механизмы. Плазменное микросолнце питали термоэлектрические преобразователи, через систему магнитопроводов забирая энергию из глубин литосферы — около 50 километров под наружным слоем лунной коры.

Хотя командир выслал на эту территорию тяжелые вездеходы для более подробных исследований и дождался их возвращения, сразу же после этого он объявил срочный старт. Физики, захваченные размерами глубинного энергетического комплекса, рады были бы остаться подольше и, может быть, даже открыть заблокированные туннели. Стиргард не разрешил. Непонятным было состояние пойманных спутников, непонятна стройка, начатая на пустом месте с таким размахом, еще более непонятно — если незнание можно разделить по степеням — прекращение этих работ почти что в эвакуационной спешке. Однако этого он никому не сказал. Мысль, пришедшую ему в голову, он оставил при себе.

Детальное исследование чужой технологии напрасно. Ее фрагменты, как осколки разбитого зеркала, не дают единой картины. Они — лишь невнятное указание на причину удара.

Проблема заключалась не в инструментах этой цивилизации, а в ней самой. Подумав об этом, он ощутил всю тяжесть доверенной ему задачи, и в этот момент прозвучал вызов интеркома. Араго спрашивал, может ли он посетить командира.

— Только для короткого разговора: мы стартуем меньше чем через час, — ответил Стиргард, хотя не был расположен к беседе. Араго явился сразу же.

— Надеюсь, я не помешаю...

— Вы, ваше преподобие, конечно, мешаете мне, — ответил он, не вставая, и указал монаху на кресло. — Однако, учитывая характер вашей миссии, я слушаю.

— Я не наделен никакими чрезвычайными полномочиями или миссией, меня направили на мое место точно так же, как вас на ваше, — спокойно возразил доминиканец. — С одной только разницей. От моих решений не зависит ничего. От ваших — все.

— Это мне известно.

— Жители этой планеты — словно живой организм, который можно как угодно исследовать, но нельзя спросить о смысле его существования.

— Медуза не ответит, но человек?

Стиргард посмотрел на него с чем-то большим, чем интерес. Он словно ожидал важного ответа.

— Человек, но не человечество. Медузы не отвечают ни за что. Каждый из нас отвечает за то, что делает.

— Я догадался, к чему вы клоните. Ваше преподобие желает знать, что я решил сделать.

— Да.

— Поднять забрало.

— Требуя контакта?

— Да.

— А если они не смогут выполнить этого требования?

Стиргард взволнованно поднялся — Араго проник в то, что он хотел скрыть. Придвинувшись к монаху, почти касаясь его коленей, командир тихо спросил:

— Что тогда делать?

Араго встал, выпрямился, взял его правую руку, пожал.

— Дело в добрых руках, — сказал он и вышел.

## БЛАГОВЕЩЕНИЕ

После старта командир направил корабль, снова снабженный маской, на стационарную орбиту вокруг луны, над полушарием, невидимым с Квинты, и поочередно вызывал к себе коллег, чтобы каждый из них высказался, как он понимает ситуацию. И что сделал бы на его месте. Расхождение во мнениях оказалось огромным. Накамура придерживался космической гипотезы. Уровень квинтянской технологии предполагает издавна развивающуюся астрономию. Дзета со своими планетами передвигается в разрыве между ветвями галактической спирали и через какие-нибудь пять тысяч лет окажется в опасной близости к Гадесу. Точно установить критическое сближение невозможно, поскольку речь идет о неразрешимой задаче определения взаимодействия многих масс. Однако некатастрофический проход рядом с коллапсаром маловероятен. Находящаяся под угрозой цивилизация пытается спастись. Возникают различные проекты: переселение на луну, превращение ее в управляемую планету и перегон ее в систему эты Гарпии, отдаленную всего на четыре световых года и, что еще важнее, удаляющуюся от коллапсара. При начальной стадии реализации этого проекта ресурсы знаний и энергии оказываются недостаточными. Может быть также, что одна часть цивилизации, один блок государств стоит за проект, а другой ему противится.

Как известно, эксперты из разных областей знания редко приходят к полному согласию, особенно по трудному и сложному вопросу. Появляется другой проект эмиграции или же бегства в Космос. Эта концепция вызывает кризис: население Квинты наверняка исчисляется миллиардами и космических верфей не может хватить на постройку флота, способного осуществить всеобщий Exodus<sup>1</sup> из планетной колыбели. Если применить земную аналогию, отдельные государства значительно отличаются друг от друга по промышленному потенциалу. Ведущие страны строят космический флот для себя и одновременно покидают фронт лунных работ. Может быть, те, кто работают на верфях, понимая, что спасательные корабли предназначены не для них, прибегают к актам саботажа. Возможно, это вызывает репрессии, беспорядки, анархическую разруху и пропагандистскую радиовойну. Таким образом, и этот проект останавливается на начальном этапе, а неисчислимые спутники, блуждающие по системе, — следы его бесплодных усилий. Хотя такая оценка положения вещей весьма гипотетична, ценность ее не равна нулю. Следовательно, необходимо как можно скорее найти общий язык с Квинтой. Сидеральная инженерия, переданная жителям Квинты, может спасти их.

Полассар, знакомый с концепцией японца, считал, что факты в ней притянуты и переиначены ради поддержки принципа планетной эмиграции. Сидеральная инженерия не появляется как гром среди ясного неба. Мощност, использованная для астеносферного<sup>2</sup> оборудования на луне, на три порядка отстает от мощност, дающей доступ к гравитологии и ее промышленному внедрению. Кроме того, ничто не указывает на то, что квинтяне могли счесть гостеприимной систему эты. Через несколько миллионов лет эта окончательно сожжет свой водород. Таким образом, она превратится в красного гиганта. К тому же Накамура так подогнал данные движения всей системы Гарпии и Гадеса в пределах гравитационной неоднозначности, что сделал возможным критическое прохождение дзеты вблизи коллапсара уже через пятьдесят столетий. Если же учесть пертурбации, вызываемые спиральной ветвью галактики, то прохождение откладывается более чем на двадцать тысяч лет. Известие, что беда грозит через двадцать пять веков, может привести в панику только неразумные существа. Наука, находящаяся еще в пеленках, как, например, земная в девятнадцатом веке, может считать свои возможности приближаю-

<sup>1</sup> Исход (лат.).

<sup>2</sup> Астеносфера — нижний слой литосферы. (Прим. ред.)

щимися к пределу. Более зрелая наука, хотя и не предугадывает будущих открытий, знает, что они возрастают экспоненциально и за несколько лет добывается значительно больше сведений, чем раньше за тысячелетия. Нам неизвестно, что происходит на Квинте, но в контакт с ней следует вступить — хоть это и рискованно. А вместе с тем необходимо.

Кирстинг считал, что «все возможно». Высокая технология не исключает верований религиозного типа. Пирамиды египтян и ацтеков точно так же не выдали бы гостям из иных миров своего назначения, как и готические соборы. Лунные находки могут быть произведением какой-нибудь веры. Культ солнца, притом искусственного. Алтарь из ядерной плазмы. Предмет поклонения. Символ мощи или власти над материей. И сразу же раскол, отступничество, ересь, походы — не крестовые, а информационные. Электромагнитное насилие для «обращения» еретиков-отступников или, скорее, их священных информационных машин: *Deus est in Machina*<sup>1</sup>. Это не то чтобы правдоподобно, но, во всяком случае, убедительно. Символы веры, так же как творения идеологии, не раскрывают пришельцам из чужих стран своего смысла. Физика не уничтожает метафизику. Чтобы дойти до общности целей людей различных земных культур и эпох, надо по крайней мере знать, что наличие материального бытия нигде не считалось тем, что полностью удовлетворяет потребностям существования. Можно считать это допущение чудачеством. Предположить, что технология всегда расходится с *Sacrum*<sup>2</sup>. Однако технология всегда имеет нетехнологическую цель. А когда *Sacrum* исчезает, остающуюся в культуре нишу должно что-то заполнить. Кирстинг с такой набожностью отдавался рассуждениям о мистических вершинах инженерии, что Стиргард еле дослушал его до конца. Контакт? Разумеется, он тоже был за контакт.

Пилоты не высказали никакого мнения: раздувать воображаемые задачи, да еще во внечеловеческой сфере, — это было не в их характере. Ремонт был готов обсудить технические стороны контакта. Прежде всего то, как обезопасить корабль от роев квинтянских спутников. Он считал, что Квинту в прошлом уже посещали иные цивилизации и это кончилось плохо, после чего наука не стояла на месте. Квинтяне отгородились от вторжения. Разработали технологию универсального недоверия. Прежде всего нужно убедить их в мирных намерениях людей. Послать «приветственные дары», а когда они с ними ознакомятся, ждать их реакции.

<sup>1</sup> Бог в машине (*лат.*).

<sup>2</sup> Здесь: священное, божественное (*лат.*).

Эль Салам и Герберт придерживались того же мнения.

Спиргард поступил по-своему. «Приветственные дары» могли быть уничтожены еще до посадки. На это указывала судьба пятерной луны. Поэтому он выпустил большой орбитальный аппарат к солнцу, чтобы он, как телеуправляемый «посол», передал Квинте «верительные грамоты». «Посол» вручал эти грамоты в виде лазерных сигналов с избыточным кодом, способных пробить шумовую завесу планеты, давая таким образом урок, как можно наладить связь. Он передавал эту программу подряд несколько сот раз. Ответом было глухое молчание.

Содержание послания менялось в течение трех недель на все лады — без какой бы то ни было реакции. Была увеличена мощность передачи, лазерная игла ходила по всей поверхности планеты, в инфракрасном, в ультрафиолетовом диапазонах, модулированная так и этак. Планета не отвечала.

Используя случай, «посол» уточнил детали внешнего вида Квинты и передал их на «Гермес». На континентах находились скопления, по размерам напоминавшие большие земные столицы. Однако ночью в них не видно было огней. Эти образования в виде расплюснутых звезд с кустистыми ответвлениями давали полуметаллическое отражение. От них шли прямые линии, что-то вроде коммуникационных артерий. Однако по ним ничто не передвигалось. Чем более резкие изображения приходили с «посла» (который постепенно становился шпионом), тем более явно основанные на земном опыте догадки оказывались иллюзиями. Линии не были ни дорогами, ни трубопроводами, а пространства между ними часто напоминали леса. Эти псевдозаросли состояли из множества правильных блоков с выростами. Их альbedo равнялось почти нулю: они поглощали более 99% падающего на них солнечного света. Следовательно, они были чем-то вроде фоторецепторов.

Возможно, Квинта поглощала и «верительные грамоты», истолковывая их своими приемниками не как информацию, а как энергетическую пищу? Невидимый до той поры на фоне солнечного диска «посол» выжал из себя все. Он передавал в инфракрасном диапазоне «грамоты», стократно превышая излучение солнца в этой области спектра. Если рассуждать здраво, он повредил этим концентрированным светом их приемные устройства; значит, какие-то ремонтные технические группы должны были исследовать аварию и ее причины; раньше или позже специалисты распознали бы сигнальную природу излучения. Но снова проходили дни, и ничто не менялось. Зафиксированные на снимках изображения ночного и дневного полушарий планеты



только увеличили их загадочность. Ничто не рассеивало тьму после заката солнца — оба больших континента, выступающих из океана, с крутыми снежными вершинами горных цепей, расцветивались ночью только призрачным пламенем полярного сияния, но и эти сияния, превращающие безоблачные приполярные льды в призрачное зеленое золото, блуждали не беспорядочно, а поворачивались, словно направленные невидимой гигантской рукой, против вращения Квинты. Ни на внутренних морях обоих континентов, ни на поверхности океана не было обнаружено ни одного судна, а поскольку отсутствовало движение и на разбегающихся прямых линиях, проходивших через лесистые равнины и нагромождения скальных хребтов, они также не могли служить целям коммуникации. В южном полушарии из океана, как бесчисленные бусинки, рассыпанные по безбрежным водам, торчали погасшие вулканы архипелагов — по всей видимости, бесплодных. Единственный континент этого полушария, у самого полюса, покоился под огромным ледником. Из мутного серебра его вечных снегов выступали одинокие скальные пики, вершины восьмидесятичников, прихлопнутых ледяными крышками. Вблизи экватора, под обручем замороженного кольца, день и ночь бушевали тропические грозы, и щит заатмосферных льдов, словно головокруглительно бегущее зеркало, усиливал блеск их молний фиолетовыми брызгами отражений. Отсутствие следов цивилизованной активности, портовых городов в устьях рек; выпуклые металлические щиты в горных котловинах, закрывающие их дно броневой облицовкой, только спектрохимически отличимой от естественной скалы; отсутствие движения в воздухе — хотя наблюдения обнаружили около ста гладких, окруженных низкими постройками, покрытых бетоном космодромов. — все это приводило к неотвратимому выводу, что вековая борьба загнала квинтян в подземелья и в них они проводят жизнь, обреченные смотреть на просторы неба и Космоса металлическим взглядом радиоэлектроники. Замеры тепловых прерываний открыли на поверхности Гепарии и Норстралии соединенные зарытыми глубоко в грунт разветвлениями термические пятна — словно бы пещерные города. Тонкий анализ их излучения, казалось, опровергал это предположение. Каждое из обширных пятен, достигающих сорока миль в диаметре, отличалось странным градиентом выдыхаемого тепла: самым горячим был центр, а источник этого излучения находился под литосферой у границ мантии. Может быть, квинтяне черпали энергию из жидкого нутра своей планеты? Огромные геометрически правильные области, первоначально принятые за сельскохозяйственные угодья, в сущности, представляли собой скопле-

ния миллионов пирамидальных головок, посаженных, как керамические грибы, на площади в десятки километров. Приемно-передающие радарные антенны — так определили их наконец физики. Планета, вся в тучах, грозах, циклонах, как бы нарочно замерла и притаилась, слыша неустанный зов сигналов, просящих хоть какого-нибудь отклика.

Наблюдения археологического характера — попытки открыть следы исторического прошлого: развалины городов, какие-то строения, соответствующие земным произведениям культовой архитектуры — храмы, пирамиды, древние столицы, — не принесли бесспорных результатов. Если война разрушила их до основания или если человеческий глаз не в силах был их разглядеть из-за их полнейшей чуждости, то мостом, перебрасываемым через эту отчужденность, могла быть единственно техническая деятельность. Следовало найти устройства, наверняка огромные, при помощи которых океанские воды выбрасывались в космическое пространство. Размещение этих устройств можно было рассчитать, используя универсально действующие критерии, установленные физикой. Исходя из направления вращения кольца, из его расположения около экватора, можно было делать выводы о расположении планетных водометов. Тут, однако, поиски затруднял еще один фактор: несомненно, это оборудование было установлено на стыке суши и океана — в областях, над которыми пробегало теперь скованное космическим холодом кольцо, и постоянное его трение о разреженные слои атмосферы скрывало расчетные места сплошным ливнем и грозами вечного дождливого сезона, так что даже попытка установить метод, которым пользовались в прошлом веке квинтъянские инженеры, выстреливая свои моря в вакуум, окончилась ничем.

Фотографий, содержащих «косвенные улики», скопилось в архивах корабля множество, но ценность их представлялась не большей, чем у пятен на таблицах теста Роршаха. Человеческий глаз мог приписать звездообразным фигурам, повторяющимся на разных континентах, столько же привнесенных с Земли предубеждений и представлений, сколько разнообразных фигур можно увидеть — а в сущности, лишь вообразить, — разглядывая скопление чернильных брызг. Беспомощность GOD'а перед этими тысячами снимков показала, что в машине, предназначенной для абсолютно объективной переработки информации, глубоко засело косное наследие антропоцентризма. Вместо того чтобы узнать что-то о чужом разуме, заметил Накамура, они убедились, как тесно люди связаны мыслительным родством с компьютерами. Сама близость чужой цивилизации, до которой, ка-

залось, уже рукой подать, отделяла ее от них, оборачивалась насмешкой над всеми попытками пробиться к ее сути. Они боролись с навязчивым впечатлением: это коварство, ловушка, зловредно расставленная для экспедиции, словно Кому-то — но кому? — нужно было бросить вызов их надежде, чтобы в самом конце дороги, у самой цели выявить ее неосуществимость. Те, кого удручала эта мысль, скрывали ее, чтобы не заразить пораженческими настроениями товарищей.

После семисот часов бесплодной радиодипломатии Стиргард решил послать на Квинту первый посадочный аппарат, названный «Гавриилом». «Посол» объявил о его прилете за сорок восемь часов до старта, оповестив квинтян, что зонд, лишенный какого бы то ни было оружия, совершит посадку на территории большого северного континента, Гепарии, за сто миль от звездообразной застройки, в пустынной незаселенной местности. Это будет беспилотный посланец, с которым гепарийцы смогут объясниться на машинном языке. Хотя планета не ответила и на это сообщение, «Гавриил», двухступенчатая ракета с микрокомпьютером, располагающим кроме стандартных программ контакта способностью к их пересмотру и изменению при непредвиденных обстоятельствах, был выпущен в апоселении. Полассар снабдил «Гавриила» самым лучшим из маленьких тераджоулевых двигателей, бывших на борту, чтобы он мог преодолеть четыреста тысяч километров пути до планеты за какие-нибудь полтора десятка минут с максимальной скоростью шестьсот километров в секунду. Погасить ее он должен был только над ионосферой. Физики намеревались поддерживать постоянную связь с посланцем через зонды-передатчики, высланные впереди него, но командир отверг этот план. Он хотел, чтобы «Гавриил» действовал самостоятельно и передал сведения только после мягкой посадки пучком волн, который должна была сфокусировать на «Гермесе» атмосфера луны. Он считал, что размещение передатчиков между луной, за которой укрывался «Гермес», и планетой может быть замечено и усилит подозрительность параноидной цивилизации. Одинокий полет «Гавриила» подчеркивал мирный характер его безоружной миссии. «Гермес» наблюдал этот полет, отражаемый в развернутых зеркалах «посла», с пятиминутной задержкой из-за дальности ретрансляции. Хорошо охлаждаемый зеркальный рефлектор «посла» давал прекрасное изображение. «Гавриил» выполнил маневры, делающие невозможным локацию выпустившего его корабля, и появился, как темная игла, на фоне белооблачного диска планеты. По прошествии восьми минут люди у мониторов оцепенели. Вместо того чтобы двигаться дальше, к обозначенно-

му месту посадки на Геларии, «Гавриил» перемещался к югу по кривой с возрастающим радиусом, преждевременно гася скорость. Причину маневра они увидели тут же. В тропическом поясе к «Гавриилу» ползли четыре черные точки, две с востока и две с запада, по математически идеальным траекториям погони. Восточные преследователи уже сокращали дистанцию, отделяющую их от «Гавриила». Преследуемый изменил свой облик. Из иголки превратился в точку, окруженную ослепительным блеском. Погасив скорость с четырехкратной перегрузкой, он, вместо того чтобы спускаться на планету, свечой ринулся вверх. Четыре преследующих точки тоже изменили курс. Они сходились. «Гавриил», казалось, застыл в центре трапеции, вершинами которой были гончие ракеты. Трапеция уменьшалась на глазах; это означало, что и они сменили орбитальную скорость на гиперболическую и сближались, сверкая огнем максимальной тяги.

Стиргарду хотелось спросить у Ротмонта как у программиста, что сделает сейчас «Гавриил», ибо по яркости выхлопа преследователей командир мог судить об огромной мощности их двигателей. Вся пятерка шла от планеты, развил такую реактивную силу, что в ровном море облаков под ней возникла широкая воронка. В притемненной рубке царило молчание. Никто из людей, всматривавшихся в это единственное в своем роде зрелище, не проронил ни слова. Четыре точки все ближе подходили к «Гавриилу». Допплеровский дальномер-акселерометр выбрасывал на край монитора свои красные циферки с такой скоростью, словно перемалывал числа. Трудно было считывать данные скорости. «Гавриил» уже утрачивал превосходство, поскольку потерял время на торможение и поворот обратно, в то время как преследователи, окружив его, непрерывно наращивали скорость. GOD обозначил на мониторе предполагаемое место пересечения пяти траекторий. По данным дальномеров, «Гавриила» должны были догнать меньше чем за двадцать секунд. Полтора десятка секунд — это много даже для мыслящего в миллиард раз медленнее, чем компьютер, человека — особенно в момент высшего напряжения внимания.

Стиргард сам не знал, совершил ли он ошибку, не дав зонду никакого, хотя бы чисто оборонительного оружия. Его охватил бессильный гнев. На «Гаврииле» не было даже заряда для саморазрушения. Благородные намерения тоже должны иметь границы; лишь это успел подумать командир.

Квадрат погони стал маленьким, как литера мелкого шрифта. Хотя беглец и преследователи удалились от планеты уже на ее диаметр, удары их тяги привели в дрожь поверхность моря циркусов, и через раскрывшееся в этом море окно показался океан

и неровная береговая линия Гепарии. Остатки облаков таяли в этом просвете; как клочки сахарной ваты от жара.

Темный океанический фон ухудшил видимость. Только по-прежнему сыпались красные мигающие цифры дальномеров и сообщали о положении «Гавриила». Загонщики брали его с четырех сторон. Они были уже рядом. И тут окно в тучах вдруг раздулось, словно планета выросла, как гигантский надувной шар, гравиметры резко затрещали, мониторы на мгновение почернели, и изображение появилось вновь. Воронка окна снова была маленькой, далекой и абсолютно пустой. Стиргард не сразу понял, что произошло. Посмотрел на дальномеры. Все они мигали красными нулями.

— Высыпал им, — произнес кто-то с ожесточенной удовлетворенностью. Кажется, Гаррах.

— Что случилось? — спросил Темпе.

Стиргард понял все, но молчал. Он был полон каменного предчувствия, что, хотя он и будет возобновлять попытки, они скорее погубят корабль, чем вынудят квинтян к контакту. С минуту он взвешивал, уже отвлечшись от этого первого столкновения, — продолжать ли далее намеченную программу, словно издалека слыша взволнованные голоса в рубке.

Ротмонт пытался выяснить, что же сделал «Гавриил» план этого, по-видимому, не предусматривал. Он смял пространство вместе с преследователями сидеральным сжатием.

— Но у него не было сидератора? — удивился Темпе.

— Не было, но мог появиться. У него же был тераджоулевый двигатель. Он дал обратный ход коротким замыканием и таким образом всю мощность, служащую для создания тяги, разрядил на себя. Хитрый фокус. Это был покер, а «Гавриил» превратил его в бридж. Пошел самым сильным козырем. Нет масти выше, чем гравитационный коллапс. Поэтому и не дал себя поймать.

— Постойте. — Темпе уже начал догадываться, что произошло. — У него это было в программе?

— Откуда? У него были только тераватты в аннигиляционном двигателе и полная автономия. Он сыграл ва-банк. Это же машина, мой дорогой, а не человек, так что это не было самоубийством. Согласно главному заданию, он мог допустить манипуляции с собой, но только после посадки.

— А не могли бы они вытащить из него тератрон после посадки? — поинтересовался Герберт.

— Каким образом? Вся кормовая ступень вместе с тератроном должна была расплавиться при прохождении атмосферы. Как только начал бы плавиться статор, внутреннее давление разорвало бы полюса и все вместе с агрегатами пошло бы в распыл. И без

малейшей радиоактивности. Сесть должен был только верхний носовой модуль для дружеских бесед с хозяевами.

— Черт бы побрал такую работу! — возмутился Гаррах. — Мы же считали, что их ракеты не могут развивать при ускорении такую мощностъ! «Гавриил» должен был пролететь через их спутниковую мусорную свалку, как пуля из карабина сквозь рой пчел, и аккуратно сесть.

— А почему он не сжег свой двигатель, когда его догоняли? — спрашивал врач.

— А почему курица не летает? — Ротмонт дал волю раздражению. — Чем бы он мог расплавить тератрон? Ведь энергию для сжигания тяговой ступени он должен был взять извне — из атмосферного трения! Так его спроектировали. Вы этого не знали? Вернемся к середине игры. Он либо удрал бы от них, на что уже вообще не было шансов, либо они схватили бы его в вакууме, затащили на орбиту и разобрали. Если бы они погасили ему тягу и он только тогда сделал замыкание, произошел бы взрыв, но тороид с полюсами мог уцелеть. Этого нельзя было допустить, поэтому он выстроил черную дыру с двойным горизонтом событий, всосал в себя этих преследователей при помощи коллапса — когда внутренняя сфера западала, наружная разбегалась, ибо в этом масштабе квантовые эффекты приравняются к гравитационным. Пространство искривилось — поэтому мы увидели Квинту, как через увеличительное стекло.

— Это и в самом деле не было запрограммировано? Этой возможности не было даже в проекте? — спросил молчавший до сих пор Араго.

— Нет! Не было! Но к счастью, у машины оказалось больше разума, чем у нас! — Ротмонт не скрывал гнева, вызванного этими вопросами. — Она была безоружна, как младенец! Хотя тератрон «Гавриила» и не предназначался для гипертермического производства коллапсаров путем короткого замыкания, мы могли бы с легкостью вывести это из самой конструкции. Ясно, могли бы, если уж «Гавриил» дошел до этого за несколько секунд.

— Сам?

Это слово монаха окончательно вывело Ротмонта из себя.

— Сам! Сколько раз еще повторять? Ведь у него был световой компьютер в четверть мощности GOD'a! Святой отец за пять лет не осмыслит столько битов, сколько он за микросекунду. Он осмотрел себя, констатировал, что может обратить поле тератрона и при замыкании полюсов получится мононуклеарный сидератор. Правда, едва создавшись, разлетится, но одновременно с коллапсаром...

— Это можно было предвидеть, — заметил Накамура.

— Если ты пойдешь с тростью на прогулку и на тебя нападет бешеная собака, то можно предвидеть, что ты дашь ей по черепу, — ответил Ротмонт. — Просто удивительно, как мы могли быть такими наивными! Во всяком случае, все кончилось хорошо. Они показали свое гостеприимство, а «Гавриил» доказал, что оценил его. Конечно, можно было его снабдить обычным саморазрушающим зарядом, но командир этого не захотел...

— А разве то, что случилось, лучше? — спросил Араго.

— А что мне надо было — ставить туда двигатель от мопеда? Он должен был получить мощность, значит, он ее и получил. А то, что тератрон по схеме похож на сидератор, зависело не от моего желания, а только от физики. Коллега Накамура?

— Это правда, — задумчиво согласился японец.

— Во всяком случае — даю голову на отсечение, — они не знают ни сидеротехники, ни гравистики, — сказал Ротмонт.

— Откуда ты знаешь?

— Иначе они бы их применили. Ведь тот молох, закопанный на луне, с точки зрения сидерургии — старье. Зачем пробивать штольни в магме и астеносфере, если можно трансформировать тяготение так, чтобы оно давало макроквантовый эффект? Их физика пошла другой дорогой — я бы сказал, более кружной — и отдалила их от высшей козырной масти. На наше счастье! Ведь мы хотим контакта, а не войны.

— Да, но не сочтут ли они наше поведение за военные действия?

— Могут. Наверняка могут!

— Можете ли вы, хотя бы примерно, установить, где останки преследователей, разбросанных «Гавриилом»? — Стиргард повсрнулся к физикам.

— Трудно сказать. Пожалуй, коллапс был сильно асимметричным. Спросим у GOD'а. Сомневаюсь, чтобы гравизоры успели его точно зарегистрировать. GOD?

— Я слышал, — ответил компьютер. — Локализация невозможна, взрывная волна раскрытия внешней оболочки Керра выбросила останки в направлении от солнца.

— А приблизительно?

— Неопределенность примерно в парсек.

— Нс может быть, — удивился Полассар.

Накамура также был изумлен.

— Я не уверен, прав ли доктор Ротмонт, — сказал GOD, — может быть, я пристрастен, потому что нахожусь с «Гавриилом» в более близком родстве, чем доктор Ротмонт. Кроме того, это я ограничил его автономию согласно полученным указаниям.

— Хватит о родственных отношениях. — Командир не был любителем машинного юмора. — Говори, что знаешь.

— Я допускаю, что «Гавриил» хотел только исчезнуть. Обратиться в сингулярность. Он знал, что ни нам, ни им таким образом не нанесет вреда, ибо вероятность столкновения с этой сингулярностью практически равна нулю. Ее размер  $10^{-50}$  диаметра протона. Скорее столкнутся две мухи, одна из которых вылетела из Парижа, а другая из Нью-Йорка.

— Кого ты, собственно, защищаешь? Доктора Ротмонта или себя?

— Я никого не защищаю. Хотя я и не человек, но обращаюсь к людям. Имена Гермес и Эвридика происходят из Греции. Так пусть это прозвучит, как под стенами Трои: поскольку экипаж не доверяет мне — тому, кто программировал и выслал «Гавриила», — я даю олимпийское слово, что выход посредством коллапса не был введен ни в один блок памяти. «Гавриил» получил максимум возможностей для решения — наносекундность обчета вероятности по всем ее разветвлениям, то есть  $10^{32}$ , — таково было кардинальное число его комбинаций. Как он употребил эту мощь, я не знаю, но знаю, сколько времени дано было ему на решение. От трех до четырех секунд. Слишком мало, чтобы установить предел Голенбаха. Перед ним была альтернатива: все или ничего. Если бы он не свернул пространство коллапсом, то взорвался бы, как сто мегатонных термоядерных бомб. То есть освобожденная замыканием мощность стала бы взрывом. Поэтому он кинулся в другую крайность, которая гарантировала сжатие в сингулярность и попутно втянула снаряды квинтян под оболочку Керра.

GOD замолчал. Стиргард обвел взглядом свою команду.

— Хорошо. Принимаю это к сведению. «Гавриил» отдал богу душу, а в том, поставил ли он мат Квинте, будет случай убедиться. Остаемся на месте. Кто на дежурстве?

— Я, — откликнулся Темпе.

— Хорошо. А вы идите спать. В случае чего прошу меня разбудить.

— GOD всегда бодрствует, — послышался голос компьютера.

Оставшись один в рубке, пилот в полутьме проплыл круг, словно пловец в невидимой воде, вдоль матовых, слепых мониторов, поднялся к потолку и, застигнутый внезапной мыслью, оттолкнулся так, чтобы долететь до главного визиоскопа.

— GOD? — окликнул он негромко.

— Слушаю.

— Покажи мне еще раз последнюю фазу погони. В пятикратном замедлении.



— Оптически?

— Оптически с инфракрасным фильтром, но так, чтобы изображение не слишком расплывалось.

— Степень резкости — это вопрос вкуса, — возразил GOD.

Экран тут же засветился. Возле рамки выскочили цифры дальномера. Они не мелькали молниеносно, как тогда, но менялись мелкими скачками.

— Дай сетку на изображение.

— Слушаюсь.

Стереометрически расчерченное изображение белело облачным слоем. Вдруг оно заколебалось, словно заливаемое водой. Линии геодезической сетки начали изгибаться. Расстояние между иглой «Гавриила» и преследователями уменьшалось. Благодаря замедлению все происходило, как в капле воды под микроскопом, где к черной пылинке взвеси плывут запятые бактерий.

— Допплеровский дифференциальный дальномер! — потребовал Темпе.

— Пространство теряет евклидовский характер, — возразил GOD, однако включил дифференциатор.

Ячейки сетки дрожали и гнулись, но он смог определить приблизительное расстояние. Запятые отделяли от «Гавриила» несколько сот метров. И тогда огромная плоскость планеты под пятью черными сгрудившимися точками внезапно вздулась выпуклостью и тут же вернулась в обычное состояние, но все черные точки исчезли. Место, где они темнели еще минуту назад, слегка дрожало тонкой, будто воздушной дрожью. И вдруг вспыхнуло чудовищным красным сиянием, словно струей светящейся крови, которая выгорела алым пузырем, побурела и погасла. Далекие пространства туч, на тысячи миль разбросанных ударом, лениво ворочались над поверхностью океана, более темной, чем берег континента на востоке. Окно с крутыми облачными берегами было по-прежнему широко раскрытым, но пустым.

— Гравиметры! — приказал пилот.

— Слушаюсь.

GOD говорил, как всегда, голосом, лишенным эмоций, однако пилоту казалось, что в нем звучит какая-то наглость. Словно машина, превосходящая его сообразительностью, выполняла приказы неохотно и так, чтобы он это почувствовал. В клубке перепутанных геодезических линий появилась едва заметная дрожь, прорезала сгусток сети и пропала. Геодезическое сплетение распрямлялось. На фоне белой планеты с брешью в облаках, подобной огромному оку тайфуна, снова установилась прямоугольная сетка гравитационных координат.

— «Гавриил» выстрелил в себя нуклеонами с теравольтажом, ведь так? — спросил пилот.

— Да.

— По касательной с точностью до одного гейзенберга?

— Да.

— Откуда он взял дополнительную энергию? Ведь его масса была слишком мала, чтобы сжать пространство в микродыру?

— Тераatron при замыкании работает, как сидератор. Забирает энергию извне.

— Возникает дефицит?

— Да.

— В виде отрицательной энергии?

— Да.

— В каком радиусе?

— В надсветовом подпространстве «Гавриил» взял ее в радиусе миллиона километров.

— Почему этого не ощутила ни Квинта, ни луна, ни мы?

— Потому что это квантовый заем в пределе Голенбаха. Нужно объяснять дальше?

— Необязательно, — ответил пилот. — Поскольку коллапс произошел за время, меньшее чем миллионная доля наносекунды, возникли два концентрических горизонта событий Рахмана—Керра.

— Да, — сказал GOD. Он не умел удивляться, но пилот ощутил прозвучавшее в этом слове уважение.

— Значит, сингулярность, оставшаяся после «Гавриила», в этом мире уже не существует. Просчитай, чтобы убедиться, прав ли я.

— Уже просчитал, — ответил GOD, — не существует с вероятностью один на сто тысяч.

— Так что же ты рассказывал командиру сказки о мухах? — спросил пилот.

— Вероятность не равняется нулю.

— Согласно геодезическим движениям, коллапс имел сильное гелиофугальное отклонение, и, приведя массы всех тел системы к точкам, можно высчитать фокус, куда выбросило их ракеты... Макротуннельным эффектом. Не так ли?

— Так.

— Разброс не может иметь размеров парсека. Должен быть меньше. Сможешь подсчитать?

— Да.

— И что же?

— Туннельные переброски имеют вероятностный характер, а независимые вероятности перемножаются.

— Переведем это на язык здравого смысла. Кроме дзеты в этой системе насчитывается девять планет. Создается система нелинейных уравнений, не поддающихся интегрированию, однако планеты переняли момент вращения протосолнца, и можно поэтому свести массу всей системы к точке центра.

— Это слишком неточно.

— Неточно, но не на парсек.

— Уж не принадлежите ли вы к так называемым феноменальным счетчикам? — спросил GOD.

— Нет. Я родом из того времени, когда считали и без компьютеров. Или действовали «на глазок». Кто этого не умел, при моей профессии умирал молодым. Почему молчишь?

— Не знаю, что я должен сказать.

— Что ты небезошибочен.

— Да, я могу ошибаться.

— И потому не должен называться GOD'ом.

— Это не я сам себя так назвал.

— Даже женщина не переспорит компьютер. GOD, тебе надо подсчитать распределение вероятностей вдоль твоего парсека — оно должно оказаться двумодальным. Эту область нанесешь на звездную карту и утром передашь командиру с объяснением, что тебе не хотелось этого считать.

— Мне никто этого не приказывал.

— Я даю тебе этот приказ. Понял?

— Да.

Тем и закончился ночной разговор в рубке.

## НАПАДЕНИЕ

То, что математически в высшей степени маловероятно, обладает свойством все же иногда случаться. От трех преследователей, втянутых в глубь искривленного пространства и выброшенных гравитационной релаксацией в направлении от солнца, не было найдено и следа, четвертого, однако, «Гермес» нашел и взял на борт всего через восемь суток. GOD объяснил этот действительно особый случай с помощью изопренной версии топологического анализа с применением трансфинальных дериватов эргодики, но Накамура, который прослышал от Стиргарда о ночном споре пилота с GOD'ом, заметил, что к тому, что произошло в действительности, всегда можно подогнать расчеты при помощи фокусов, известных каждому занимающемуся прикладной математикой. Когда краны втягивали на корабль разбитые останки ракеты, рас-

поротые и смятые, Накамура из любопытства спросил пилота, как он пришел к правильному выводу. Темпе рассмеялся.

— Математик из меня никакой. Если я и рассуждал, то не знаю как. Не помню, кто и когда доказал мне, что если человек захочет установить вероятность собственного рождения, то, уходя в прошлое по генеалогическому древу, минуя родителей, бабок, дедов, прадедов, получит вероятность, произвольно близкую к нулю. Если не родители встретились случайно, то деды и бабушки, а когда он дойдет до средневековья, сила множества вполне возможных событий, которые исключили бы все зачатия и роды, необходимые для его появления на свет, окажется большей, чем сила множества всех атомов в Космосе. Иначе говоря, каждый из нас не имеет ни малейшего сомнения, что он существует, хотя никакой стохастикой не удалось бы это установить сотни лет назад.

— Разумсется, но что здесь общего с эффектами сингулярности в пределе Голенбаха?

— Понятия не имею. Скорее всего, ничего. Я в сингулярностях не разбираюсь.

— И никто не разбирается. Апостольский легат сказал бы, что это было озарение свыше.

— Вряд ли свыше. Я попросту внимательно наблюдал гибель «Гавриила». Я знал, что он не хотел уничтожить преследователей. Таким образом, он делал все, чтобы не затянуть их под горизонт Керра. Я видел, что эти гончие не шли идеально ровным строем за «Гавриилом». Поскольку они находились от него на разной дистанции, то их могла постигнуть и разная участь.

— И на этом основании?..

Теперь уже и японец улыбался.

— Не только. Мощностъ вычислительных машин имеет границу Эта граница называется *limes computibilitatis*. GOD достиг этой границы. Он не занимается расчетами, о которых знает, что они транскомпьютабельны, то есть ему не по зубам. Поэтому он даже не пытался, а мне повезло. Что физика говорит о везении?

— То же, что о рукоплесканиях одной рукой, — ответил японец.

— Это из философии дзен?

— Да. А теперь прошу за мной. находка принадлежит вам.

В свете ламп посреди зала на дюралевой плите чернел остов, словно обугленная распластанная рыба. Вскрытие установило уже знакомое мелкоклеточное строение, фотонные тяговые двигатели значительной мощности и расплавленное устройство в носовой части, принятое Полассаром за лазерный излучатель, од-

нако Накамура считал, что это особый тип светового тормозящего агрегата, поскольку речь шла о поимке «Гавриила», а не о разрушении его. Полассар предложил, чтобы эти сорокаметровые останки были удалены с корабля, потому что вместе с захваченным ранее они занимали почти половину зала. Стоило ли превращать его в склад балластной руды? Эль Салам воспротивился. Он хотел сохранить хотя бы один экземпляр, лучше всего последний, хотя на вопрос командира «зачем?» не мог дать никакого рационального объяснения. Стиргарда этот вопрос особо не занимал. Считая, что положение коренным образом изменилось, он хотел услышать от своих людей, какой шаг они считают теперь надлежащим или наилучшим. После удаления спутникового лома за борт им следовало собраться на совет. Оба физика отправились сначала к Ромонту, чтобы, как ехидно заметил Полассар, «разработать предварительный доклад и пополнить библиографию».

И в самом деле, эта тройка желала согласовать позиции, ибо с момента гибели «Гавриила» в разговорах, которые велись среди команды, можно было заметить признаки начинающегося раскола.

Неясно, откуда — кто так первый выразился — возник термин «демонстрация силы». Гаррах высказался за такую тактику сразу, Эль Салам — с оговорками, физики вместе с Ромонтом были против, а Стиргард, хотя только слушал, казалось, готов был стать на их сторону. Остальные воздержались от высказываний. На совете мнения обеих групп резко столкнулись. Кирстинг неожиданно поддержал сторонников демонстрации.

— Насилие — это неотразимый аргумент, — заявил наконец Стиргард. — Но у меня есть три предварительных условия относительно этой стратегии, и каждое содержит вопрос. Уверены ли мы, что обладаем превосходством? Может ли такой шантаж привести к завязыванию контакта? И будем ли мы готовы привести наши угрозы в исполнение, если они не поддадутся на них? Все это риторические вопросы. Никто из нас не сумеет на них ответить. Последствия стратегии, основанной на демонстрации силы, непредсказуемы. Если кто-то придерживается другого мнения, высказывайтесь.

Десять человек в командирской каюте выжидательно переглядывались.

— Что касается меня и Эль Салама, — начал Гаррах, — мы хотим, чтобы командир представил свою альтернативу. На наш взгляд, никакой альтернативы нет. Мы попали в однозначную ситуацию. Это вроде бы ясно. Угрозы, демонстрация силы, шантаж — это все отвратительно звучащие слова. Если их воплотить в действие, это может привести к катастрофическим последстви-

ям. Вопрос о нашем превосходстве наименее существен. Дело не в том, есть оно у нас или нет, а в том, будут ли они так считать и уступят ли без боя.

— Боя?.. — как эхо, повторил монах.

— Стычки. Столкновения. Это для вас звучит лучше? Эвфемизмов следует избегать. Угроза силой, не важно какого рода, должна быть реальной, ибо угрозы, за которыми не стоит возможность их исполнения, тактически и стратегически ни к чему не ведут.

— Недомолвок надо избегать, — поддержал его Стиргард. — Может, и вправду возможен этот блеф...

— Нет, — возразил Кирстинг. — Блеф предполагает минимум знакомства с правилами игры. Мы же их вовсе не знаем.

— Хорошо, — согласился Стиргард. — Предположим, что мы обладаем реальным преимуществом. И можем показать его, не принося им непосредственно никакого вреда. Это была бы явная угроза. Но если такое убеждение окажется напрасным, Гаррах, то, по-твоему, нам придется дать бой или принять бой и отразить атаку. Это не слишком выгодные предварительные условия для взаимопонимания.

— Да, не слишком, — проговорил Накамура. — Это наилучшая исходная позиция. Правда, не мы ее создали.

— Могу ли я вмешаться? — спросил Араго. — Мы не знаем, зачем они пытались схватить «Гавриила». Вероятнее всего, чтобы сделать с ним то же, что сделали мы с двумя их спутниками вблизи Ююны и сейчас с этими преследователями. Но мы же не считаем, что действовали, как агрессоры. Мы хотели исследовать образцы их техники. Они хотели исследовать творения нашей. Это простая симметрия. Значит, не следует говорить о демонстративном разрушении, демонстрации силы, борьбе. Ошибка необязательно тождественна преступлению. Но может им оказаться.

— Симметрии нет, — возразил Кирстинг. — В общей сложности мы выслали восемь миллионов битов информации. Сигнализировали с «посла» более семидесяти часов подряд на всех волнах. Давали сигналы лазером. Передали коды инструкции по их дешифровке. Послали спускаемый аппарат без единого грамма взрывчатых материалов. Что же касается сути информации, мы передали им расположение нашей Солнечной системы, изображения Земли, описание возникновения нашей биосферы, данные об антропогенезе, целую энциклопедию. И физические постоянные, которые действуют повсюду в Космосе, — они должны их превосходно знать.

— Но о сидеральной инженерии, о голенбаховской форами-

пистике<sup>1</sup>, о частицах Гейзенберга там ничего не говорилось, правда? — спросил Ротмонт. — И о нашей системе тяги, и о гравитационной локации, обо всем проекте SETI, об «Эвридике», о грассах, о Гадесе...

— Нет. Ты лучше знаешь, чего там не было, ведь ты составлял программы для «посла», — сказал Эль Салам. — Ни о лагерях смерти, ни о мировых войнах, ни о кострах и ведьмах. Ведь каждый, когда первый раз приходит в гости, не выкладывает хозяевам всего о грехах отца, матери и всех своих родных. Если бы мы их в общих чертах<sup>1</sup> и в высшей степени любезно уведомили, что мы умеем делать из масс, больших, чем их луна, нечто такое, что уместится в замочной скважине, то теперь отец Араго сказал бы, что это уже было началом предварительного шантажа.

— Попробую помирить вас, — вмешался Темпе. — Поскольку они не сидят в пещерах, не высекают огонь кремнями, но овладели астронавтикой, хотя бы внутри своей системы, они знают, что мы прибыли к ним не на веслах, не под парусом и не на байдарке. И собственно, то, что мы попросту прибыли сюда, преодолев сотни парсеков, должно для них означать больше, чем демонстрация самых мощных бицепсов.

— Recte. Habet<sup>2</sup>, — прошептал Араго.

— Темпе прав, — согласился командир. — Самим своим появлением мы могли их беспокоить. Особенно если они еще технически не способны к галактодромии, но уже знают, какого порядка мощности для нее необходимы... Вплоть до запуска «посла» мы считали, что они о нас ничего не знают. Если они заметили «Гермес» много раньше — а мы кружимся здесь третий месяц, — то наше молчание, наш камуфляж могли испутать их...

— Преувеличиваешь, астрогатор, — неприязненно пожав плечами, заметил Гаррах.

— Ничего подобного. Представь себе, что над Землей в тысяча девятьсот пятидесятом или тысяча девятьсот девяностом году зависли бы галактические крейсеры длиной в милю. Даже если бы с них падал один шоколад, возникло бы небывалое замешательство, суматоха, политические кризисы, паника. У любой цивилизации в многогосударственной стадии достаточно внутренних конфликтов. Не нужно никакой демонстрации силы, ибо само преодоление ста парсеков уже является такой демонстрацией — для тех, кто этого сделать не может.

— Ну хорошо, командир, что, по-твоему, нужно сделать? Как

<sup>1</sup>Форамнистика — букв. «изучение дыр» (лат.).

<sup>2</sup>Здесь: да, это именно так (лат.).

мы сможем доказать свою доброжелательность, свои кроткие, мирные и дружественные намерения? Как сможем убедить их, что не угрожаем им ничем, что мы — экскурсия добрых скаутов под опекой священника, если четыре их наиболее совершенных боевых машины, в пятьдесят раз более тяжелых, чем наш архангел, сдунуты за пределы времени-пространства, как пылинки? Эль Салам и я, теперь ясно, впали в заблуждение. Пришли гости с цветами, в саду на них напала хозяйская собака, один из гостей хотел отогнать ее зонтиком и нечаянно проткнул тетю хозяина дома. Нечего говорить о демонстрации силы, это все равно что искать прошлогодний снег. Она уже произошла! — Гаррах, широко улыбаясь, не без злорадства, говорил это командиру, а смотрел на монаха.

— Асимметрия заключена не там, где вы думаете, — сказал доминиканец. — Тем, кто не понимает нас, мы не можем принести благой вести. Ангельских намерений нельзя доказать, пока они остаются только намерениями. Зло же можно доказать нанесением вреда. Это *Circulus vitiosus*: для того чтобы добиться взаимопонимания, мы должны их убедить в этих намерениях, надо найти с ними общий язык...

— Но как же все, что произошло и может произойти, не приняли в расчет наши великие мыслители, проектанты и директора СЕТИ и SETI? — спросил в бешенстве Темпе. — И теперь все это свалилось нам как снег на голову? Это попросту неслыханная глупость.

Каюта гудела от ожесточенных споров. Стиргард молчал. Он думал, не вполне отдавая себе в этом отчет, что в бесплодном споре — ему была ясна его никчемность — они дают выход раздражению, нараставшему во время безуспешно повторяемых попыток договориться с Квинтой. Это был результат недосыпания, безуспешного тщательного исследования луны, выдумывания гипотез, которые, вместо того чтобы дать возможность заглянуть в чуждую цивилизацию, рассыпались, как карточные домики, и у одних вызывали ощущение потерянности среди неразрешимых загадок, блуждания в лабиринте без выхода, а других наполняли растущим подозрением, что жителями планеты овладела массовая паранойя. Если на Квинте действительно господствовала паранойя, то в заразной форме. Стиргард заметил, что указатель над тумбочкой его койки не светится. Кто-то из гостей переключил тумблер в рубке, отрезав центральный мозг корабля от его каюты, словно не желал холодного, рационального и логического присутствия GOD'a при этой встрече. Он не стал спрашивать, кто это сделал. Зная своих людей, он был уверен, что среди них не



найдется труса или лжеца, который отрекся бы от этого поступка, — он мог быть действием просто подсознательным, как прикрытие наготы перед кем-то чужим, действием инстинктивным и более спонтанным, чем стыд. Поэтому он не сказал ничего, только включил монитор и потребовал от GOD'а дать оптимальный прогноз для принятия решения.

GOD предупредил, что ему не хватает отправных данных для оптимизации. Подтекст вопроса заключен в его неизбежном антропоцентризме. Люди высказываются о себе или о других хорошо или плохо. То же касается и их всеобщей истории. Многие считают ее нагромождением жестокостей, бессмысленных завоеваний, бессмысленных даже вне пределов этики, поскольку ни нападающим, ни их жертвам они не приносили ничего, кроме разрушения культур, упадка империй, на обломках которых вырастали новые; одним словом, множество людей с презрением смотрит на собственную всеобщую историю, но никто вообще не считает ее каким-то кошмарным, страшнейшим из всех возможных во Вселенной психозоическим эксцессом, а Землю — планетой бандитов и убийц, единственной из миллионов планет залитой кровью и охваченной насилием вследствие деятельности Разума — в противоположность космической норме. Большинство людей, в глубине души не зная об этом, да и не вдаваясь в такие размышления, считают земную историю во всем ее течении от палеопитеков и австралопитеков вплоть до современности «нормальной», то есть типовым элементом, часто встречающимся во всем космическом множестве. В этом отношении, однако, ничего не известно, и не существует методики, позволяющей из информационного нуля вывести нечто большее, чем ноль. Диаграмма Ортеги — Нейсселя указывает только среднее время, отделяющее рождение протокультуры от технологического взрыва. Кривая диаграммы, так называемая главная линия психозоев, не учитывает ни биологических, ни социальных, ни культурных, ни политических факторов — участвующих в формировании конкретной истории Разумных. Исключить эти данные позволяет опыт Земли, поскольку влияния, оказываемые столкновениями различных верований и культур, форм строя и идеологии, явлений колонизации и деколонизации, расцвета и упадка земных империй, ничем не нарушили хода кривой технического роста. Это — параболическая кривая, устойчивая к возмущениям, вызванным историческими потрясениями, нашествиями, эпидемиями, человекоубийством, поскольку технология, единожды окрепнув, становится переменной, не зависящей от цивилизованного субстрата, как логистическая при интегрировании кри-

вая автокатализа. Если рассматривать открытия и изобретения в микроскопическом масштабе, то их делали отдельные люди — единолично или же в составе групп, — но при окончательном расчете мы вправе вывести творцов за скобки, поскольку изобретения рождаются от других изобретений, открытия служат причиной следующих открытий, и это ускоренное движение создает параболу, взлетающую, кажется, в бесконечность. Перегиб насыщения не оказывается вызванным усилиями личностей, желающих сохранить природу, — кривая изгибается в том месте, где она, не перегнувшись, уничтожила бы биосферу. Эта кривая всегда перегибается в критической точке, ибо, если технологии экспансии не придет на смену технология спасения либо замены биосферы, данная цивилизация вследствие кризисов приходит к гибели. Когда нечем дышать, то некому делать дальнейшие открытия и получать Нобелевские премии.

По данным космологии и астрофизики, главная линия Ортеги — Нейсселя принимает во внимание только граничную *выносимость* данной биосферы, называемую также пределом технологической грузоподъемности, но предел *выносимости* зависит не от анатомии или устройства форм коллективной жизни, но от физико-химических черт планеты, ее экосферной локализации и других космических факторов, включая звездные, галактические влияния и т.п. Там, где главная линия достигает предела выносимости биосферы, она разрывается, что означает лишь то, что каждая конкретная цивилизация бывает вынуждена принять глобальное решение относительно своей дальнейшей судьбы, а если не может или не хочет принять такое спасительное решение, то гибнет. Разрыв главной линии соответствует также так называемой верхней рамке окна контакта. Эта рамка, или граница, называемая также барьером роста, свидетельствует о том, что от единого ствола, которым является главная линия, расходятся ветви, то есть различные цивилизации разными способами продолжают дальнейшее существование. Хотя до сих пор не произошел обмен информацией ни с каким психозом, из расчета видно, что не существует одного, и только одного, оптимального решения как избежать опасности, вызванной нарушением биосферы техносферой. И для объединенной цивилизации также не открывается единственная дорога, позволяющая ей окончательно избавиться от накопившихся дилемм и опасностей.

Что же касается данной ситуации, то она является результатом неправильных действий, вызванных отходом от программы экспедиции. По мнению GOD'a, был сделан ряд ошибочных шагов, поскольку в момент принятия решений они не казались ошибка-

ми. Достаточно плачевный баланс их выявился только в ретроспекции. Точнее говоря, «Гермес» оказался вовлеченным в парадокс Арроу, который состоит в том, что некто, принимая решение, пытается реализовать конкретные ценности, причем каждая из них важна, но совместно они недостижимы. Между максимальным риском и максимальной осторожностью возникла равнодействующая, от которой нелегко будет избавиться. GOD не считал, что командир повинен в создавшемся тупике, поскольку желал соединить риск с предусмотрительностью. После поимки квинтянских орбитальных аппаратов за Юноной и обнаружения виридов он отклонился от программы в сторону излишней осторожности, закамуфлировав корабль и не посылая Квинте сигналов, предупреждающих о визите из Космоса. Цена этой предусмотрительности выявляется только сейчас.

Второй ошибкой было придание «Гавриилу» чрезмерной автономии и излишней изобретательности. Как ни парадоксально, это произошло от избытка осторожности и ошибочного предположения, что «Гавриил», имея превосходство в скорости перед орбитальными аппаратами или ракетами, сумеет сесть, не позволив себя поймать. И чтобы получить такую скорость, он был снабжен тераджоулевым двигателем. А чтобы он мог после посадки адекватно реагировать на непредсказуемое поведение хозяев, на нем установили слишком разумный компьютер. Программа SETI предусматривала посылку в первую очередь легких зондов, но от этого отказались, так как дипломатические попытки «посла» ни к чему не привели. Хотя никому в голову не пришло, что «Гавриил» превратит свой двигательный агрегат в сидеральное орудие, сворачивающее пространство, но именно так и случилось. Из-за излишней сообразительности компьютера «Гавриила» они выбились из программы и попали в ловушку. Теперь нельзя как ни в чем не бывало посылать следующие зонды. Новая ситуация требует новой тактики. Чтобы обчислить ее, GOD'у потребуется двадцать часов. На том и порешили.

После вечернего дежурства пилоту не спалось. Он думал о совете, из которого не вынес ничего, кроме возросшей неприязни к GOD'у. Этот высший электронный ум, может быть, и владел логикой в совершенстве, но ее результаты были удивительно фарисейскими. Верно, совершены ошибки, допущены отклонения от программы, но оказывается, что и командир ни в чем не виноват, и GOD не несет за это ни малейшей ответственности, что он и сумел убедительно доказать. Парадокс Арроу, этот чреватый дурными последствиями камуфляж, — следствие излишней по-

дозрительности по отношению к квинтянам, вызванной гипотезой о зловредном происхождении вириодов, как теперь четко определил GOD, — а кто же все это время помогал советами командирю?

Пристегнутый к постели, так как была невесомость, пилот настолько разозлился в конце концов, что о сне не могло быть и речи. Он зажег маленькую лампочку над изголовьем, вытащил из-под матраца засунутую туда книжку «Программа «Гермеса» и углубился в чтение. Сначала пролистал общие предположения, касающиеся Квинты. Это была компьютерная распечатка, сделанная непосредственно перед стартом с «Эвридики» на основании собранных и интерпретированных астрофизических наблюдений: квинтяне оценочно располагают энергией в  $10^{30}$  эргов. Тем самым их цивилизация находится на околосоцидальном уровне. Главным источником энергии наверняка являются термоядерные реакции типа звездных, но силовые станции *не* выведены в космическое пространство. По-видимому, после истощения ископаемого топлива энергетика прошла, подобно земной, период использования уранидов, дальнейшая эксплуатация которых стала нерентабельной после овладения циклом Бете. Маловероятным представляется, чтобы на планете в течение последних ста лет прошли войны с применением ядерного оружия. Холодное экваториальное пятно не может быть результатом такой войны. «Ядерная зима» в результате войны должна была бы охватить практически всю планету, поскольку выброшенные в стратосферу тучи пыли увеличивают альбедо всего ее диска. Причины прекращения строительства ледяного кольца неясны. Он пропустил страницы, заполненные графиками и таблицами, и наконец нашел раздел «Состояние цивилизации. Гипотезы».

«1. Квинта страдает внутренними конфликтами, которые действуют совместно с технологическими факторами. Это говорит о существовании антагонистических государств либо иных формирований. Эра явных вооруженных столкновений уже ушла в прошлое и не приводит к итогу типа «победители-побежденные», но постепенно перешла в криптомилитарную фазу».

В этом месте, уже на борту «Гермеса», вклеена дополнительная распечатка, сделанная GOD'ом: «Одним из доводов в пользу криптомилитарного характера конфликта являются паразиты, обнаруженные на двух квинтянских спутниках. Согласно такой интерпретации, противостоящие блоки совместно находятся в таком состоянии, которое не является ни классическим миром, ни классической войной в понимании Клаузевица. Они сражаются за линиями фронтов путем криптомахических столкновений».

типа климатических травм, наносимых противнику, взаимной каталитической эрозии технопродукционных потенциалов. Это могло провалить строительство ледяного кольца, поскольку оно требовало глобального сотрудничества».

Выводы были сделаны еще на «Эвридике»: «Если существуют такие группы антагонистов и они сражаются неклассическим образом, то контакт с лобным космическим пришельцем может быть в значительной степени затруднен. А priori получение космического союзника — маловероятная возможность для каждой из сторон, если только их две. Ибо для этого нет никакой рациональной причины — в виде конкретной пользы, которую получил бы инопланетный гость, присоединившись к одной из сторон. Контакт же может оказаться запалом, который превратит тихую, тлеющую, постоянную и упорно продолжаемую борьбу в полное лобовое столкновение сил обеих сторон. Пример: пусть на планете Т находятся блоки А, Б и В, взаимно враждебные. Если Б установит контакт с пришельцем, это будет вызовом для А и В, которые почувствуют, что они оказались перед лицом серьезной угрозы. Они могут либо атаковать пришельца, чтобы он не смог усилить потенциала Б, либо совместно атакуют Б. Ситуация отличается неустойчивостью, а при любой нестабильности достаточно постороннего фактора с серьезным техническим потенциалом — а таковой должен быть у пришельца, поскольку он совершил галактический скачок, — чтобы началась эскалация враждебных действий.

2. Квинта объединена как федерация или протекторат. На ней нет равных по силе антагонистов, поскольку одна из сверхдержав овладела всей планетой. Такое владычество — результат ли это победоносных военных действий или невоенного захвата — с момента подчинения слабых сил главной державе планеты также не обеспечивает хорошей устойчивости с точки зрения контакта с инопланетным гостем. Не следует приписывать глобальному государству ни демонических, ни империалистических намерений, внепланетной экспансии. В планы смоделированной таким образом Квинты входит не уничтожение незваного гостя, но лишь сведение на нет возможности контакта, особенно посадки на планету. Технологические дары, которых можно ожидать от прибывших, легко могут оказаться губительными. Попытки удержать пришельцев в рамках, дабы они не нарушили господствующего социально-политического равновесия, могут рикошетом ударить как раз по этому равновесию. Следовательно, и в такой системе отказ от контакта является решением разумным с точки зрения глобальных властей. Такова обращенная к Космосу политика,

именуемая PERFIS (Perfect Isolation<sup>1</sup>) по аналогии с британской splendid isolation<sup>2</sup>. Высота информационного порога, который должен преодолеть пришелец, неопределенна.

3. Согласно мнению Хольгера, Кроха и их группы, полностью объединенная планета, на которой нет ни побежденных, ни победителей, ни мощной власти и угнетенных подданных, также может не желать контакта. Главные дилеммы такой цивилизации, сходящей с линии Ортеги — Нейсселя вблизи верхней области окна контакта, находятся на стыке ее культуры и технологии. Культура всегда характеризуется запаздыванием созданных ею регулирующих правовых и нравственно-этических норм по отношению к технологии во время параболического ускорения перед моментом насыщения. Технология уже делает возможным то, что запрещает культурная традиция, и позволяет нарушать правила, которые считаются ею ненарушимыми.

Примеры: генетическая инженерия в применении к существам, соответствующим людям; регулирование пола; пересадка мозга и т.п. Рассматриваемый в свете этих конфликтов контакт с пришельцами выявляет свою амбивалентность. Планетная сторона, отвергая контакт, не обязана даже приписывать гостям каких-либо недружелюбных намерений. Опасения и без того серьезны и оправданны. Прививка радикально новых технологий может дестабилизировать общественные связи и отношения. Кроме того, ее последствия непредсказуемы. Это не касается контактов по радио и других дистанционных сигналов, ибо их адресаты могут по собственному желанию использовать либо игнорировать полученную информацию».

Он уже чувствовал себя утомленным, но сон все же не приходил. Пропустив несколько разделов, он стал читать последний — о процедуре контакта. Проект SETI рассматривал представленные выше дилеммы как помехи для достижения взаимопонимания между гостем и его потенциальным собеседником. Поэтому экспедиция была снабжена специальными средствами связи, а также автоматами, которые без предварительных переговоров, то есть без дистанционного обмена радиосигналами и сведениями, должны были показать мирный характер экспедиции еще до посадки. Предварительная процедура планировалась многоэтапной. Первым правилом для земного корабля по прибытии будет передача на указанных в приложении диапазонах радио-, тепловых, световых, ультрафиолетовых волн и с помощью

<sup>1</sup> Совершенная изоляция (англ.).

<sup>2</sup> Блестящая изоляция (англ.).

корпускулярных потоков. Как при отсутствии ответа, так и при приеме непонятных сигналов ко всем континентам будут высланы спускаемые аппараты, наводящие сенсоры которых направят их на значительные скопления построек.

Было там также множество рисунков, схем и описаний. На каждом спускаемом аппарате находились приемно-передаточные устройства, а также данные о Земле и о ее жителях. Если и этот шаг не вызовет ожидаемой реакции, то есть налаживания связи, должны сесть выпущенные с корабля более тяжелые зонды, снабженные компьютерами, способными к обучающей деятельности, к объяснению визуальных, тактильных или акустических кодов. Эта процедура была необратимой, ибо каждый следующий шаг был продолжением предыдущего. Первые спускаемые аппараты содержали сигнальные передатчики одноразового действия, которые активизировались только при грубом нарушении их оболочки, вызванном не аварией или жесткой посадкой, а умышленным демонтажом без попытки переговоров. Пилоту очень понравился этот научный способ определения ситуации, при которой какой-нибудь троглодит раздолбал бы каменным топором электронного посла человечества; «демонтаж без попытки переговоров» происходит в том случае, подумал он, если дать кому-нибудь без лишних слов так, чтобы зубы у него вылетели. Индикаторы, выращенные в виде монокристаллов, отличались такой прочностью, что успели бы выслать сигнал, даже если посадочный модуль подвергся бы уничтожению за доли секунды — например, взлетев на воздух от заряда взрывчатки. Далее программа в деталях представляла модели следующих посланцев, порядок залпов, которыми их следовало синхронно направлять в выбранные места посадки, чтобы ни один континент, ни одна область не оказались предпочтенными или обойденными, и так далее.

Книжка содержала также *votum separatum*<sup>1</sup> группы экспертов SETI, состоящей из нескольких человек, сторонников крайнего пессимизма. Они утверждали, что нет никаких материальных средств или сигналов, а также легких для расшифровки сообщений, которые нельзя было бы принять за коварное прикрытие агрессивных намерений. Все это происходит от неустранимых различий в технологическом уровне. Явление, названное в XIX, а еще определеннее в XX веке гонкой вооружений, появилось на свет вместе с палеопитеком, когда он в качестве дубинки использовал длинные бедренные кости антилоп, разбивая ими черепа

<sup>1</sup> Особое мнение (лат.).

не одних только шимпанзе, поскольку в гастрономических категориях числился каннибалом.

Однако когда наука — родительница ускоряющейся технологии — возникла на перекрестке средиземноморских культур, военный прогресс воюющих европейских, а потом и неевропейских государств не обеспечил ни одному из них сокрушительного превосходства над другими. Единственное исключение из этого правила — атомное оружие, но Соединенные Штаты удерживали эту монополию — в исторических масштабах — всего лишь мгновение.

Технологический же разрыв между цивилизациями в Космосе может быть гигантским. Более того, наткнуться на цивилизацию, стоящую на той же ступени развития, что и земная, практически невозможно.

В этом толстом томе было еще множество ученых рассуждений. Пришелец, который давал в руки недоразвитым хозяевам планеты тайны сидеральной инженерии, уподоблялся человеку, дающему детям играть гранатами с выдернутой чекой. Но если он не покажет своих знаний, то рискует быть обвиненным в двуличии, желании главенствовать, то есть и так нехорошо, и так плохо.

Глубина выводов настолько одолела наконец читателя, что благодаря программе SETI он уснул; лампа осталась непогашенной, а книга — зажатой в руке.

Он шел по узкой улочке мимо домов, освещенных солнцем. У ворот играли дети, между окнами висело белье на веревках. Неровную мостовую, покрытую мусором, кожурой бананов, отрывками, пересекал поток грязной воды. Далеко внизу открывался порт, забитый парусниками, на пляж лениво набегали пологие волны; лодки, выгнанные на песок, перемешались с рыбацкими сетями. Море, гладкое до горизонта, сияло полосой солнечного отражения. Он ощущал запах жареной рыбы, мочи, оливок, он не знал, как попал сюда, но в то же время точно знал: это Неаполь. Маленькая смуглая девочка, крича, бежала за мальчиком, который убегал от нее с мячом, останавливался, делал вид, что бросает ей мяч, и, прежде чем она его догоняла, удирал; другие дети тоже что-то кричали по-итальянски; растрепанная женщина в одной рубашке, высунувшись из окна второго этажа, стаскивала высохшие комбинации и юбки с веревки, протянутой над улочкой; ниже начиналась каменная лестница из растрескавшихся плит. И вдруг все дрогнуло, раздался визг, стены начали валиться, а он стоял как вкопанный в тучах известковой пыли, ничего не видя; что-то рухнуло позади него, и крики, вопли женщин заглушил



грохот сотрясающейся земли. *Тегамото! Тегамото!*<sup>1</sup> — этот крик утонул во второй волне постепенно нарастающего грохота; куски шпугатурки сыпались на него; он закрыл руками голову, почувствовал удар в лицо и проснулся, но землетрясение не прекратилось: огромная тяжесть прижимала его к постели, он попытался вскочить, застегнутые ремни удержали, книга ударила его в лоб и отлетела к потолку, — это был «Гермес», а не Неаполь, но вокруг грохотало, и стены валялись, он чувствовал, как ходуном ходит вся каюта, повис на ремнях, свет лампочки мигал; он видел открытую книгу и свитер распластанными на потолке над ним, с перевернутых полок летели рулоны фильмов; это не был сон, и не только грохот был слышен. Выли сирены тревоги. Свет ослаб, загорелся, погас, в углах потолка — теперь пола — зажглись аварийные лампы, он пытался отыскать замки ремней, чтобы отвязаться, пряжки не поддавались, прижатые его грудью, руки словно налились свинцом, кровь ударила в голову, он перестал барахтаться, его швыряло, тяжесть ударяла так, что вдавливала то в койку, то в ремни. Он понял. И ждал. Неужели это конец?

В эту пору — миновала полночь — в темной комнате не было никого. Кирстинг сел перед погашенным визиоскопом, на ощупь пристегнулся, вслепую отыскал выключатель и пустил ленту. На белом квадрате подсветки один за другим появлялись почти черные томографические снимки с клубками более светлых округлых контуров, похожих на рентгеновские тени, — кадр за кадром, пока он не остановил ленту. Он просматривал поверхностные спинограммы Квинты. Потихоньку вращая микрометрический винт, старался получить наилучшее изображение. В середине — кустообразное скопление, словно атомное ядро, осколки которого при столкновении разлетелись лучами во все стороны. Он передвинул изображение с молочной бесформенной плазмы к ее разреженному краю. Никто не знал, может ли это быть жилой застройкой, чем-то вроде огромного города, — на этом кадре был виден ее разрез, обрисованный нуклонами элементов, более тяжелых, чем кислород. Такое послойное просвечивание астрономических объектов, издавна практиковавшееся, было эффективно только для остывших, ставших черными карликами звезд и для планет. При всем совершенстве спиновидения оно имело свои границы. Разрешающей способности не хватало, чтобы различить отдельные костяки, даже если бы они были крупнее гигантозавров мезозойского и мелового периодов. И несмотря на

---

<sup>1</sup>Землетрясение (*ит.*).

это, он пытался разглядеть скелеты квинтянских существ — пожалуй, только тех, что соответствуют лодям, — наполнявшие этот квазигород — если он действительно был многомиллионной метрополией. Он доходил до предела разрешающей способности и превышал его. Тогда микроскопические призраки, сложенные из белесых дрожащих волокон, рассыпались. Экран брезжил хаосом застывших зерен фотослоя. Тогда, насколько мог бережно, он возвращал микрометрический винт вспять, и мглистый образ появлялся снова. Он выбирал наиболее резкие спинограммы граничного меридиана, накладывал их друг на друга, так что выпуклые формы Квинты перекрывались, как целая стопка рентгеновских снимков одного и того же объекта, сделанных при помощи серии вспышек и сложенных вместе. Так называемый город лежал на экваторе. Спинография была выполнена вдоль оси собственного магнитного поля Квинты, по касательной, в месте, где атмосфера заканчивается у планетной коры; следовательно, если это была застройка тридцатимильной протяженности, снимки проплавали ее насквозь, словно рентгеном, установленным на одной окраине: просвечивались все улицы, площади, дома в направлении противоположного предместья. Это давало не много. Смотрящий на лодские толпы сверху видит их в вертикальном ракурсе. Глядя в горизонтальной плоскости, можно увидеть только ближайшие фигуры в устьях улиц. Просвечиваемая толпа покажется беспорядочным скоплением костяков. Правда, существовала возможность отличить постройки от прохожих. Застройка неподвижна; значит, все, что на тысячах спинограмм находилось в неподвижности, могло быть отфильтровано. Экипажи также удавалось удалить путем ретуши, ликвидирующей все, что движется быстрее, чем пешеход. Если бы перед ним были аналогичные снимки земного города, то с них равно исчезли бы как дома, мосты, промышленные предприятия, так и автомобили, поезда и остались бы только тени пешеходов. Столь гео- и антропоцентрические предпосылки имели в высшей степени сомнительную ценность. Несмотря на это, он надеялся на счастливый случай. Кирстинг столько раз заходил ночью в темную комнату, столько раз просматривал рулоны снимков — и все же не утратил надежды на случайное открытие, если удастся выбрать и наложить соответствующие спинограммы. Лишь бы увидеть, пусть неясно, пусть в виде туманного контура, скелеты этих существ. Могли ли они быть человекоподобными? Принадлежат ли они к позвоночным? Составляют ли основу их костей соединения кальция, как у земных позвоночных? Экзобиология не считала вероятным полное человекоподобие, но остсологическое подобие земным ске-

летам было возможно, принимая во внимание массу планеты, ее тяготение, состав атмосферы, указывающий на присутствие растений. Об этом свидетельствовал свободный кислород, но растения не занимаются ни астронавтикой, ни производством ракет.

Кирстинг не рассчитывал на человекоподобное строение костей. Оно ведь было результатом запутанного пути эволюции земных видов. В конце концов даже двуногость и прямохождение еще не подтверждали антропоморфизма. Ведь и тысячи ископаемых пресмыкающихся ходили на двух ногах, и если сделать спинографию стаи бегущих игуанодонтов, то в планетном масштабе при достаточном удалении они не отличались бы от марафонцев. Чувствительность аппаратуры шагнула далеко за пределы самых смелых мечтаний отцов спинографии. Он мог теперь по кальциевому резонансу обнаружить скорлупку куриного яйца на расстоянии ста тысяч километров. Когда он напрягал зрение, ему казалось, что среди мутных пятен видны микроскопические ниточки, более светлые, чем фон, будто сфотографированный через телескоп застывший танец гольбейновских скелетов. Ему казалось, что если он усилит увеличение, то действительно увидит их и они перестанут быть тем, что он домысливал, глядя на дрожащие волоконца, такие же неверные и ускользающие, как каналы, которые видели давние наблюдатели Марса, потому что очень хотели их видеть. Когда он всматривался в скопление слабых застывших искорок слишком долго, усталое зрение подчинялось его воле и он уже почти мог различить молочные капельки черепов и тонкие, тоньше волоса, кости позвоночных столбов и конечностей. Но стоило лишь поморгать уставшими от напряжения глазами, как наваждение пропадало.

Он выключил аппарат и встал. Закрыв в полной темноте глаза, вызвал в памяти только что виденную картину, и снова зафосфоресцировали в бархатной черноте мелкие призраки костяков. Будто слепой, он отпустил спинку кресла и поплыл к рубиновому огоньку над выходом. Слепленный после долгого пребывания в темноте светом в коридоре, он вместо того, чтобы двинуться к лифту, ткнулся в нишу двери, высланную толстым пористым материалом, и это его спасло, когда вместе с грохотом на него обрушился гравитационный удар. Ночные лампы погасли, вдоль вращающегося вместе с кораблем коридора загорелись аварийные огни, но он этого уже не видел. Потерял сознание.

Стиргард после совета не ложился спать, потому что знал: вне зависимости от того, сколько тактик разработает GOD, машина поставит его перед выбором, сводимым к альтернативе: либо не-

предсказуемый риск, либо отступление. Во время дискуссии он изображал решительность, но, оставшись один, почувствовал себя беспомощным, как никогда до этой ночи. Все труднее ему было сопротивляться желанию доверить выбор жребию. В одном из стальных шкафов каюты среди личных мелочей у него хранилась старая тяжелая бронзовая монета с профилем Цезаря и пучком фасций на реверсе. Память об отце, нумизмате. Открывая шкафчик, он все еще не был уверен, что таким образом доверит корабль, команду, всю судьбу этой величайшей в истории человечества экспедиции монете, хотя уже подумал, что ликторские розги означают бегство — а чем, как не бегством, было бы отступление? Затертый же профиль мясистого лица — это то, что, возможно, станет их гибелью. Он преодолел внутреннее сопротивление, открывая в полумраке шкафчик, и на ощупь достал из ячейки плоский футляр с монетой. Повертел ее в пальцах. Имел ли он право?.. Бросок нельзя было сделать при невесомости. Он всунул монету в стальную скрепку для бумаг, включил электромагнит, укрепленный под крышкой стола для фиксации фотограмм или карт стальными кубиками. Раздвинул в стороны стопки машинописных листов и лент и, как мальчишка, которым был когда-то, пустил монету, словно волчок. Она вращалась на кончике скрепки все медленнее, описывая небольшие круги, наконец упала, притянутая магнитом, и показала реверс. Возвращение. Чтобы сесть, он ухватился за подлокотники вращающегося кресла и, едва его комбинезон прикоснулся к сиденью, почувствовал, прежде чем успел осознать, сотрясение, сначала слабое, потом все усиливающееся, а затем гигантская сила смела фильмы, бумаги, скрепки и темно-коричневую монету со стола, а его втиснула в кресло. Перегрузка возросла мгновенно. В глазах потемнело, кровь уже отливала от глаз, но он все еще видел расплывчатое от мгновенных содроганий пятно света круглой настенной лампы, слышал, чувствовал, как по стальным стенам, под их обшивкой, пробежал глухой стон всех швов и соединений и как сквозь грохот летящих отовсюду незакрепленных предметов, приборов, одежды пробивается далекий вой аварийных сирен, словно кричали не их мембраны, а сам корабль, ощутивший удар всеми ста восьмьюдесятью тысячами тонн своей массы. И под это завывание и протяжный грохот, ослепленный страшной тяжестью, вдавливающей налитое свинцом тело в глубь кресла, он в последний миг почувствовал облегчение.

Да. Облегчение, поскольку о возвращении уже не могло быть речи.

Зрение вернулось к нему секунд через десять, хотя гравиметр

показывал еще красные деления шкалы. «Гермес» не подвергся прямому попаданию. Что-то таранило его, но всегда стоящий на страже GOD парировал атаку, проведенную так искусно и незаметно, что, не имея времени на выбор соразмерной защиты, он обратился к последнему средству. Стену гравитации не могло пробить в этом Космосе ничто, кроме сингулярности, и «Гермес» уцелел, однако мощь такого резкого ответного удара должна была дать рикошет, и, как орудие при отдаче, весь корабль содрогнулся между рядами сидераторов, хотя и принял на себя лишь ничтожную часть выброшенной мощности. Стиргард не пытался встать, потому что чувствовал себя по-прежнему словно под прессом, и широко открытыми глазами смотрел, как, тонко подрагивая, большая стрелка миллиметр за миллиметром сползает с красного сектора круглой шкалы. Напряженные до предела мышцы начинали уже подчиняться. Гравиметр упал до черной двойки, и только аварийные сирены продолжали монотонно завывать на всех палубах.

Обеими руками оттолкнувшись от подлокотников, он с трудом выбрался из кресла и, когда встал, поневоле опираясь ладонями на край стола, как обезьяна, привыкшая горбиться и помогать ногам руками (неизвестно, откуда пришло ему в голову подобное сравнение в такую минуту), то увидел среди разбросанных на полу пленок и карт отцовскую монету, которая по-прежнему показывала реверс, то есть возвращение. Он усмехнулся, ибо это решение было уже побито старшим козырем. Гравиметр остановился на белой шкале у единицы и медленно с нее сходил. Нужно было спешить в рубку, узнать прежде всего о людях. Он уже был у двери, как вдруг вернулся, поднял монету и засунул ее в шкафчик. Никто не должен был знать о его минутной слабости. В категориях теории игр это не было слабостью, потому что, когда не хватает минимаксовых решений, нет лучшего решения, чем чисто случайное. Он мог хотя бы перед самим собой оправдать этот поступок, но не захотел. На середине туннельного коридора вернулась невесомость. Он вызвал лифт. Все решилось. Он не хотел борьбы, но знал своих людей и знал, что, кроме посланца святого Петра, никто не примирится с бегством.

## ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ

Распознать средства, примененные во время атаки, не удалось, каковы бы они ни были: их след исчез из времени-пространства. Записи защитной памяти GOD'a подтвердили допущения физи-

ков. Поскольку все пространство вокруг «Гермеса» внутри периметра обороны во всех направлениях «подметалось» датчиками, они могли обнаружить радарные отражения частиц миллиметрового размера на расстоянии ста тысяч миль. Удар не был лучевым, иначе осталась бы его спектральная полоса. Неожиданное появление вокруг «Гермеса» нескольких десятков объектов с размытыми контурами — наподобие роя, концентрически и почти синхронно приближающегося к кораблю, — поначалу казалось загадкой. Они образовались на ничтожном удалении — порядка одной или двух миль. Физики, которым оставалось лишь строить догадки, взвесили способы незаметного проникновения сквозь чуткую защиту. Наконец пришли к трем вариантам. Облака частичек не больше бактерии могли сомкнуться в многотонные массы, что подразумевало недоожинные возможности производить самосоединяющиеся крупитцы и направлять их к цели в сильно рассеянном виде. Что-то вроде облаков микрокристалликов, лавинно сгущающихся с необходимым запаздыванием уже внутри охраняемого периметра.

Отдельные крупитцы, не конденсирующиеся как попало, а собственным взаимодействием формирующиеся в снаряды, должны были отличаться в высшей степени тонким строением. За девять секунд до удара бортовые магнитометры зарегистрировали скачок магнитного поля вблизи корабля. В пике оно достигло миллиарда гауссов и через несколько наносекунд упало почти до нуля. Этому противоречило отсутствие какой бы то ни было электромагнитной активности накануне. Физикам трудно было представить себе механизм создания поля такой напряженности, ибо источники его не ускользнули бы от внимания датчиков. Теоретически через защиту могли проникнуть диполи, если их облако само себя нейтрализовало взаимной ориентацией биллионов молекул. Такая реконструкция хода атаки предполагала технологию, которая никогда еще не проектировалась, а следовательно, и не проверялась экспериментально на Земле.

Другую возможность предоставлял в высшей степени спорный способ использования квантовых свойств вакуума. В этом случае никакие материальные частицы не проникали сквозь защитный барьер, и на всем сферическом предполье не было ни единой крупинки. Пустота вмещает бесчисленное количество виртуальных частиц, которые можно материализовать ударом подпитывающей энергии извне. По этой схеме корабль следовало окружить за границей обнаружения генераторами жесточайшего ультрарентгеновского гамма-излучения и разряда, направленного внутрь, который, перемещаясь со скоростью света, как шаровая

волна, точно на стыке с защитой вызвал бы туннельный эффект: кванты энергии, вынырнувшие рядом с кораблем, вытеснили бы из пустоты достаточное количество хадронов, чтобы они ринулись со всех сторон на «Гермес». Этот метод был реален, но требовал тончайшей аппаратуры с точной расстановкой ее в пространстве, а также абсолютной маскировки орбитальных устройств. Все это представлялось маловероятным.

Наконец, третий вариант принимал во внимание использование отрицательной энергии, забираемой за периметром защиты, но требовал владения сидеральной инженерией в ее макроквантовом варианте, с предварительной подпиткой от солнца, поскольку силовые агрегаты, способные развить необходимую мощность на планете, выдали бы «Гермесу» свое присутствие избыточным нагревом окружающего пространства.

GOD, захваченный врасплох, прибег к гравитационному способу спасения. Собрав всю мощность двух силовых агрегатов, он опоясал корабль тороидальными обручами тяготения. Внутри этих торов, словно в центре перекрещенных автомобильных шин, находился «Гермес», а направленные на него снаряды попали в пространство со шварцшильдовской кривизной. Поскольку каждый материальный объект, попадающий в него, теряет все физические признаки, кроме электрического заряда, момента вращения и массы, становясь бесформенной частицей гравитационной могилы, то от примененных в атаке средств не осталось никакого следа. И использованные в качестве непробиваемого панциря торы существовали чуть больше десяти секунд, что обошлось кораблю в  $10^{21}$  джоулей. «Гермес» не разделил судьбу «Гавриила», то есть не уничтожил себя своей самообороной, благодаря тороидальной конфигурации импульсных гравитационных валов. Но поскольку их нельзя строго сфокусировать в непосредственной близости от эмиттера, корабль принял около одной сотысячной высвобожденной энергии. Уже несколько двадцатитысячных разможжили бы его, как молот — пустое выдутое яйцо.

Люди вышли из этой переделки невредимыми: кроме Стиргарда и Кирстинга, все спали или хотя бы лежали, пристегнутые к своим койкам, как Темпе. Корабль теперь не имел боевого оснащения. Полассар потребовал — что бы ни произошло — выйти в перигелий, чтобы пополнить мощность, потерянную при отражении атаки. По дороге «Гермес» пробил облако разреженного газа, принятое поначалу за развевающийся в солнечном вихре протуберанец, но анализаторы показали, что к панцирю пристали бесчисленные молекулы и каталитически разъедают его. Взятые пробы выявили их специфическую агрессивность, свойственную

уже знакомым вириодам. Стиргард проделал то, что в разговоре с апостольским делегатом назвал «поднятием забрала». «Гермес» развеял облако серией термических ударов, а прилипшие к бортам эрозионные вирусы уничтожил простейшим способом: включив охлаждение на максимум, промчался, вращаясь, как жаркое на вертеле, сквозь вершины протуберанцев солнца, распростертые в каких-то световых секундах над фотосферой, после чего погасил скорость до стационарной и, обратившись к дзете кормой, открыл энергопоглотители. Часть энергии заправки поддерживала систему охлаждения, остальное поглотили сидеральные агрегаты.

Мнения команды по поводу характера событий и дальнейших действий разделились.

Гаррах, Полассар и Ротмонт сочли историю с облаком второй атакой квинтян. Кирстинг и Эль Салам решили, что это не преднамеренное нападение на корабль, а своеобразная случайность: «Гермес» как бы попал на заминированный участок, подготовленный задолго до его прибытия. Накамура занял среднюю позицию: туча не была ни ловушкой, поставленной для «Гермеса», ни западней для квинтянских орбитальных аппаратов, а представляла собой «свалку» микромагического оружия, обычно применяемого в военных целях вблизи планеты, в перигелий же загнал ее гравитационный дрейф солнца вопреки намерениям воюющих сторон.

Араго молчал. GOD занимался программированием доступных вариантов защитных действий, как наступательных, так и примирительных. Предпочтения нельзя было отдать ни одному из них: данные для оптимизации любого такого процесса были явно недостаточны.

Герберт видел единственный выход в отказе от контакта, от демонстрации силы, но не считал себя достаточно компетентным, чтобы участвовать во все более обостряющихся спорах. Темпе, вызванный командиром, пока восполнялась утраченная мощь, сказал, что он не является экспертом SETI и не командует кораблем.

— Здесь никто не может быть экспертом — ты, наверное, успел это заметить, — возразил Стиргард. — И я тоже. И все же каждый имеет свои соображения. Также и ты. Я не прошу твоего совета, меня интересует твое мнение.

— GOD лучше знает, — с усмешкой сказал пилот.

— GOD представит двадцать или сто тактик. Больше ничего он сделать не может. Я знаю, что тебе известно то же самое, что нашим экспертам вместе с GOD'ом. Минимум риска — в отступлении.



— По-видимому, так. — Темпе, сидя напротив командира, все еще улыбался.

— Что в этом забавного? — спросил Стиргард.

— Вы спрашиваете меня в частном порядке, астрогатор, или это приказ?

— Приказ.

— Ситуация наверняка не слишком веселая. Но я уже достаточно хорошо знаю вас, чтобы сказать, чего вы наверняка не делаете. Мы не обратимся в бегство.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно.

— Почему? Считаешь ли ты, что нас атаквали один раз или два?

— Это не важно. Так или иначе, они не желают контакта. И я не имею понятия, что у них еще припасено.

— Любые попытки будут небезопасны.

— Это ясно.

— И что же?

— Видимо, я люблю опасности. Если бы не любил, то лежал бы уже вторую сотню лет в Земле под надгробным памятником, потому что умер бы в своей постели, окруженный заботливой родней.

— Иначе говоря, ты считаешь демонстрацию силы необходимой?

— И да и нет. Считаю крайней мерой, которой не удастся избежать.

На столе Стиргарда, прижатая стальным кубиком, лежала стопка печатных листков с графиком на первой странице. Пилот узнал его. Час назад он получил копию от Эль Салама.

— Вы уже прочитали это?

— Нет.

— Нет? — удивился пилот.

— Очередная гипотеза физиков. Я хотел сначала поговорить с тобой.

— Прочитайте, пожалуйста. Конечно, это гипотеза. Но на меня произвела впечатление убедительной.

— Можешь идти.

Исследование под заголовком «Система дзеты как космическая сфероматия» подписали Ротмонт, Полассар и Эль Салам.

«Цивилизация, которая не только уничтожила свою беспроводную связь типа радио и телевидения, заполнив всю ионосферу белым шумом, подавляющим любой сигнал, но, сверх того, тратит львиную долю глобальной продукции и энергии на производ-

ство оружия, заполняющего ее внепланетное пространство, — такая цивилизация представляется невозможной и абсурдной. Однако следует учесть, что такое положение не было ею ни сознательно запланировано, ни умысленно достигнуто, ибо оно возникло постепенно в процессе эскалации конфликта. За исходную мы примем ситуацию, при которой широкомасштабная война на поверхности планеты становится равносильной тотальной гибели. По достижении этой критической точки гонка вооружений была вытеснена в Космос. Конечно же, ни одна из сторон-антагонистов не намеревалась превратить всю солнечную систему в военную сферу чудовищных размеров, они действовали поэтапно, реагируя на шаги противника. Когда дело дошло до конфронтации в Космосе, ничто уже не могло удержать ее роста, а тем более ликвидировать ее ради репутительного заключения мира.

Анализ такой модели, согласно теории игр с ненулевым результатом, выявляет в случае подобного состязания, что при отсутствии доверия к заключаемым договорам о разоружении существует потолок возможности соглашения противников путем переговоров. Это обусловлено тем, что, если нет доверия к доброй воле противника, доверия, классически называемого *pacta servanda sunt*<sup>1</sup>, договоренность требует контроля над вооружениями, то есть допуска на свою территорию вражеских экспертов.

Когда же гонка, достигая все более высокого коэффициента полезного действия, вступает на путь микроминиатюризации, контроль при отсутствии доверия теряет эффективность. Заводы оружия, лаборатории и арсеналы можно тогда скрывать безусловно. В то же время становится невозможной договоренность даже на минимально узком уровне взаимного доверия (например, отказываясь от введения нового вида микрооружия, сторона *не* обрекает себя на быстрый проигрыш), и тем более нельзя ликвидировать вооружения, которыми обладаешь, опираясь на обещания антагонистов, что они поступят точно так же.

Возникает вопрос: почему вместо прогнозированной когда-то на Земле эры биомилитарных методов борьбы мы наткнулись на мертвую сферомахию вокруг Квинты?

Это случилось, видимо, потому, что противники уже достигли в области биологического оружия потенциала, так же способного уничтожить всю биосферу, как прежде ее мог уничтожить стратегический обмен ядерными ударами. Таким образом, никто уже не может применить ни того, ни другого оружия первым.

---

<sup>1</sup> Договоры следует выполнять (*лат.*).

Что же касается криптомилитарной макроальтернативы, то есть причинения псевдоприродных стихийных бедствий врагу при помощи манипуляции климатом или сейсмическими явлениями, то подобные акции, возможно, и проводились, но стратегического разрешения принести не могли, поскольку тот, кто умеет действовать криптомилитарно сам, может распознать аналогичные действия, если испытает их со стороны противника».

После такого вступления авторы обрисовывали модель сферомехии. Модель представляет собой шар с Квинтой в центре. Древние локальные войны перешли в войны мировые, а затем — в ускоренную гонку вооружений на суше, в воде и в воздухе. Конец большим войнам обычного типа положила атомистика. С тех пор в безвоенном состязании развивались три направления: орудия уничтожения, средства связи и устройства, нацеленные против двух первых.

Образование сферомехии предполагает существование оперативных штабов, отвечающих техническими новинками на прогресс вооружений у противников, на устаревание имеющихся арсеналов и методов их применения.

Каждый из этих этапов имеет свой потолок. Как только антагонисты достигают его, наступает временное равновесие сил. При этом каждая из сторон пытается преодолеть потолок. Потолком предкосмической фазы можно считать состояние, при котором каждая из сторон может как локализовать, так и уничтожить средства противника, служащие для нанесения первого удара или для ответа на нападение. В конце этой фазы становятся доступными для уничтожения как баллистические снаряды глобального радиуса, помещенные глубоко в кору планеты, так и подвижные стартовые установки на поверхности или же скрытые в глубине океана — на плавающих единицах или врытые в морское дно.

В создавшемся таким образом равновесии взаимного поражения самым слабым звеном становится система связи между выведенными в Космос спутниками распознавания и слежения, то есть дальней разведки, и связи этих спутников со штабами и боевыми средствами. Чтобы вывести и эту систему из-под неожиданного упреждающего удара, который может разорвать ее или ослепить, создается следующая система — на более высоких орбитах. Таким образом, сферомехия начинает разбухать. И чем она становится больше, тем более чувствительной к повреждениям делается ее связь с наземными штабами. Штабы пытаются избежать этой угрозы. Как морские острова являются непотопляемыми авианосцами во время обычных войн, так и ближайшее небесное тело, то есть луна, становится неуничтожимой базой для

стороны, которая первой освоит ее в военном плане. Поскольку луна только одна, то, как только ею завладеет какая-нибудь из сторон, вторая, чтобы ликвидировать новый рост угрозы, должна либо сконцентрировать усилия на средствах, нарушающих связь планеты с луной, либо вторжением вытеснить с нее врага.

Если силы вторжения и мощь защитников лунной крепости примерно равны, никто не сможет полностью овладеть луной. По-видимому, так и произошло в то время, когда шло одностороннее создание баз. Те, кому был сделан шах, вынуждены были покинуть луну, а нападавшим не хватило сил, чтобы ее освоить.

Отступление могло иметь и другую причину — новые достижения в способах нарушения дальней связи. Если это было так, то луна теряла стратегическую ценность в качестве планетной базы командования военными операциями.

Абстрактной моделью космомахии является многофазовое пространство с критическими поверхностями перехода из полностью освоенной фазы в следующую. Раздуваясь уже до астрономических масштабов, сферомехия навязывает антагонистам беспрецедентные в их истории методы борьбы.

Единственной стратегически оптимальной реакцией на способность противника прерывать оперативную связь чужих штабов с их базами и вооружениями на суше, в воде, воздухе и Космосе является придание собственному оружию и базам все возрастающей боевой автономии.

Возникает ситуация, при которой все штабы сознают бесполезность централизованных командных операций. Это вызывает вопрос: как продолжать наступательно-оборонительную стратегию при отсутствии связи с собственными силами на планете и в Космосе?

Никто сам себе каналов распознавания и командования не блокирует. Это происходит из-за так называемого эффекта зеркала. Каждый вредит другому, разрывая его связь, и получает аналогичный ответ. На смену состязаниям в точности и мощности баллистических снарядов приходит борьба за сохранение связи. Если первые были только накоплением средств разрушения и угрозой их применения, то вторая — это настоящая «война связи». Битвы за разрушение и спасение связи вполне реальны, хотя не влекут за собой ни развалин, ни кровавых жертв. Постепенно заполняя радиоканалы шумом, противники теряют контроль над собственными вооружениями, а также контроль над вооружениями и оперативной готовностью врага.

Значит ли это, что паралич командных штабов переносит битвы в Космос, как в поле постоянных атак и контратак оружия,

получившего самостоятельность? Является ли задачей этого оружия автономное уничтожение орбитальных устройств врага? Ничего подобного. Приоритет борьбы за связь сохраняется. Противник в первую очередь должен быть ослеплен повсюду.

Поначалу возникает непреодолимый порог для лобового столкновения сил на планете, когда мощь зарядов, баллистическая точность и потенциальный результат обоих этих факторов — смертельная ядерная зима — равняются неизбежному окончанию войны.

Не в силах сделать ничего большего, противники взаимно уничтожают контроль над арсеналом. Все диапазоны радиоволн подвергаются глушению. Вся емкость каналов связи заполняется белым шумом. За довольно короткое время гонка превращается в соревнование заглушающих мощностей с мощностями разведывательно-командной сигнализации. Но и эта эскалация, пробивающая шум более сильным сигналом и в свою очередь заглушающая шумом сигнал, ведет к тупику.

Некоторое время еще развивается лазерная и мазерная связь. Но как это ни парадоксально, электронная война по мере роста передаваемых мощностей и тут приводит к пату: лазеры, достаточно мощные, чтобы пробить заслоны, из разведывательных делаются разрушительными. Образно говоря, слепец в тумане все сильнее размахивает своей белой палкой. Из инструмента, служащего для ориентации, палка превращается в дубинку.

Предвидя близкий пат, каждая сторона работает над созданием такого оружия, которое станет автономным — тактически, а потом и стратегически. Боевые средства получают независимость от своих изготовителей, операторов и командных баз.

Если бы главной задачей этого оружия, выбрасываемого в Космо, было уничтожение аналогичного оружия противника, столкновение в любой области сферы стало бы началом сражения, распространяющегося, как степной пожар, вплоть до поверхности самой планеты, что привело бы к глобальному обмену ударами наивысшей мощности, а следовательно, к гибели. Поэтому оружие не должно вступать между собой в непосредственные столкновения. Оно должно только взаимно шаховать, а если и уничтожать, то коварно, как микробы, а не как бомбы. Его машинный разум пытается подчинить разум вражеского оружия при помощи так называемых программных микровирусов, вызывая «дезертирство» орбитальных аппаратов противника, чему в земной истории есть отдаленная аналогия: янычары — дети, которых турки, забрав у побежденных народов, воспитывали для своей армии.

Представленная модель сферوماхии является значительным упрощением. Все фазы ее разрастания могли сопровождаться десантными, шпионскими, террористическими, инфильтрационными операциями, камуфляжем и маневрами, имитирующими действия, чтобы обманутый противник совершил ошибку, весьма дорогостоящую для него и даже губительную. Проводная связь и электронные импульсные средства позволяют противникам на планете сохранять способность штабов к централизованному управлению в определенном радиусе, которого мы не можем установить, тем более что этот радиус меняется в зависимости от введения технических новинок. В словаре наших понятий не хватает определений для сферوماхии квинтянского типа, поскольку она не является ни войной, ни миром, представляя собой перманентный конфликт, в который противники втягиваются все глубже, исчерпывая свои ресурсы.

Можно ли, таким образом, счесть сферوماхию космическим вариантом войны материальных ресурсов, в которой проигрывает сторона, более слабая энергетически, с меньшими запасами сырья и изобретательского интеллекта? На этот обычный вопрос следует не вполне обычный ответ. Жители планеты не располагают ни бесконечными резервами ископаемых, ни неисчерпаемыми источниками энергии. Хотя это и ограничивает время продолжения конфликта, однако никому не гарантирует победы. Упрощенно можно представить последнюю фазу как вспышку звезды.

Звезда, как известно, обязана своим существованием ядерным реакциям превращения водорода в гелий, происходящим в ее ядре при миллионных значениях давлений и температур. После выгорания водорода в ее центре звезда начинает сжиматься. Тяготение сдавливает ее, повышая температуру в центре, что дает возможность зажигания ядерной реакции углерода. Одновременно на внутренней границе гелиевого шара, который является «пеплом» сгоревшего водорода, реакция его остатков продолжается, и этот сферический фронт развивается в звезде все сильнее. В конце концов динамическое равновесие мгновенно нарушается, и звезда взрывом сбрасывает наружные газовые оболочки.

Точно так же, как в стареющем солнце возникает сфера, раздуваемая очередными ступенями синтеза: водород в гелий, гелий в углерод и так далее, — в межпланетном сфероматическом шаре возникают поверхности, соответствующие достигнутым этапам гонки вооружений.

В центре, то есть на Квинте, еще существует минимум связи у военных комплексов каждой стороны. Снаружи действуют дер-

жащие друг друга в обоюдном шахе системы автономного оружия. Их самостоятельность все же поддается ограничению, накладываемому штабными программистами, чтобы системы, сражаясь, не могли развязать цепной реакции, которая донесла бы пламя войны до планеты.

Программисты же все чаще попадают между двух огней. Чем более угонченное автономное оружие выбрасывает в Космос противник, тем больше оборонительно-наступательной суверенности приходится придавать своим боевым системам. Как числовое, так и аналоговое моделирование сферомехики показывает, что и сотня лет ведения такой войны не ведет к однозначным решениям. Однако же авторы модели, опираясь на варианты, разыгранные компьютером, допускают, что существует граничный порог в программировании автономии боевых средств и что выше этого порога оружие из *самодельного* может стать *самовольным*. Эта картина отдалается от схемы звезды и приближается к модели естественной эволюции. Автономное оружие подобно низшим организмам, наделенным агрессивностью в рамках инстинкта самосохранения. Самовольное оружие можно уподобить высшим организмам, которые получили способность к изобретательству и из хитрых или сообразительных подчиненных исполнителей сами становятся инициаторами новых тактик поведения. Такое оружие освобождается от непосредственного контроля своих создателей. Говоря о том, что конструкторы попадают между двух огней, авторы модели имеют в виду, что поражение грозит не только тем, кто сдерживает рост разумности своего оружия, но и тем, кто этот рост подгоняет. Так или иначе, по мере разрастания сферомехики теряет динамическое равновесие, и, хотя ее будущую судьбу нельзя предсказать однозначно, она уже не действует в интересах сторон, которые развязали борьбу. В настоящее время до этого состояния еще далеко. Вспышки, замеченные с «Эвридики», могли быть стычками высокоразвитых боевых единиц на периферии системы дзеты. Такие столкновения на расстоянии миллиардов миль от Квинты означают, что реальные битвы могут вестись на фронтах, астрономически отдаленных от планеты. Там война может уже становиться «горячей». В будущем она, возможно, даст неожиданные «перескоки» в глубь сферомехики. По сути дела, никто разбирающийся в постклаузевицевской стратегии не мог бы ожидать победного финала борьбы. Однако и опытные стратеги вынужденно находятся в ситуации игрока, который не может отойти от стола, поскольку бросил в игру весь свой капитал. Именно на этом основывается принцип зеркала. Главный некогда вопрос: кто начал гонку? — теперь теряет всякое значе-

ние Миролюбие или агрессивность намерений воюющих сторон уже не может выявиться в процессе конфликта. Игра не сулит ничего хорошего ее участникам и не может окончиться иначе, чем пирровой победой.

Каким в этом случае представляются шансы контакта? Этого авторы меморандума не знают. Пока на космической шахматной доске движутся черные и белые фигуры равной силы, не вступая в активную борьбу, а лишь угрожая шахом. Тем временем совершенно новые и неизвестные подвергаются проверке боем. Это нечто вроде авангардных стычек давних времен. Может быть, не сама планета, не ее государства, штабы, власти атаковали «Гермес», а он лишь подвергся нападению как «тело совершенно чуждое», как творение одновременно огромное, техническое и неизвестное. Не как прохожий, на которого напали бандиты, а как микроб внутри организма, встреченный охранными лимфоцитами.

Ограничения для гонки вооружений незначительны. Возможен «recycling» старых боевых орбитальных машин, если их спускать на планету. Для оружия типа виридов, микроминиатюризованных паразитов, самосборных молекул, черпающих энергию солнца, нужна огромная конструкторская изобретательность, но очень немного сырья.

В заключение Полассар, Ротмонт и Эль Салам суммировали свои представления о Квинте. Это детище веками продолжающейся борьбы за превосходство — сферомехано, этот искусственный организм радиусом в семь миллиардов миль можно считать системой, разьедаемой раком. Его космические органы — это в той или иной степени злокачественные метастазы конфликта, но здесь заканчивается аналогия с живым организмом, поскольку даже в зародыше это целое никогда не было «здоровым», ибо с момента зачатия заражено антагонизмом нацеленных друг на друга технологий. Оно не несет в себе никаких «нормальных тканей», а сохраняет в динамическом равновесии «новообразования». Они должны распознавать друг друга и, как только внутри планетной системы или вне ее появляется нечто, коренным образом отличающееся, тут же разоружают новичка, парализуют шахом или «перевёрбовывают» (речь идет об использовании в качестве янычара) технические «антитела», которые заботятся вовсе не об излечении (ибо некому и некого лечить), но лишь о сохранении динамического *status quo ante fuit*<sup>1</sup>, то есть пата. Если это так, то «Гермес» сначала натолкнулся на обломки — следы давних столкновений, — а потом вторгся в «заминированное простран-

<sup>1</sup> Положение, которое было прежде (*лат.*).



ство», чем вызвал неожиданную ночную атаку. При таком допущении отсутствие отклика на действия «посла» становится понятным. Если отказ от контакта не входит в наши расчеты, то следует признать все разработки SETI непригодными и искать другие способы, сулящие положительный результат. Существует ли эффективная тактика, авторы сфероматической модели не знают. Они высказываются за отход от подготовленной программы и за попытку разработки стратегии, еще не имевшей прецедентов.

Работу подписали также Гаррах и Кирстинг.

Что еще могло последовать, кроме очередного совета? Хотя «Гермес» и восполнил потерю мощности, Стиргард счел самой безопасной околосолнечную орбиту и маневрировал так, чтобы корабль находился над дзетой, черпая из ее жара средства для собственного охлаждения. Поскольку орбита была вынужденной (она не была стационарной ни относительно солнца, ни относительно Квинты), потребная для ее стабилизации достаточно большая тяга обеспечивала тяготение на борту.

Направляясь вместе с Гаррахом на совет, Темпе в шутку заметил, что вся космогация складывается из предотвращенных в последнюю минуту катастроф и из заседаний.

Накамура первый подверг критике модель сфероматии, независимой от планеты. Боевые средства, может быть, и не подчиняются их творцам вдали от Квинты, но оперативная деятельность штабов в ближнем радиусе продолжается по-прежнему. В противном случае «Гавриил» не столкнулся бы с двусторонне скорординированной атакой.

Океан северного полушария, покрытый белой шапкой полярных льдов, разделял два континента — западный, названный Норстралией, в два раза больший Африки, и восточный, Гепарию, названную так из-за ее очертаний, напоминавших распластанную печень. По снимкам, выполненным во время полета «Гавриила», который должен был сесть вблизи звездообразного образования на Гепарии, Накамура установил места старта ракет — оба у тропика, но на противоположных континентах. Эти точки были закрыты тучами, и старт не обнаружился типичным факелом пламени, поэтому он решил, что ракеты либо были катапультированы, либо термическая составляющая их тяги была незначительной. Но, выброшенные с заглушенными двигателями или на холодной корпускулярной тяге, снаряды разогрелись, пробивая звуковой барьер, что позволило обнаружить горячие отрезки их трасс и ретрополяцией выявить место старта.

Они вынырнули из туч почти одновременно — два с востока

и два с запада, и это свидетельствовало о предварительной синхронизации атаки и тем самым о кооперации штабов на обоих континентах.

Авторы модели отвергли такую реконструкцию нападения: в самом деле, Накамура не мог доказать, что события происходили именно так, поскольку в атмосфере Квинты предостаточно горячих точек, которые обычно трактовались как следствия падения ледяных обломков медленно разрушающегося кольца. Накамура, утверждали авторы модели, выбрал из них такие, которые при желании можно приписать траекториям ракет.

Качество изображений, получаемых кораблем, было довольно посредственным, поскольку «Гермес» принимал их со своих зондов, служивших ему электронными глазами, а сам укрывался за луной в периселении. Кроме того, вокруг Квинты кружили тысячи спутников, как в направлении ее вращения, так и в противоположную сторону, и ход орбит ничего не говорил об их происхождении: противники могли выпускать свои боевые спутники как по вращению планеты, так и против него. То, что они не сталкивались и не вступали в борьбу, укрепляло авторов «отчужденной сферомании» в убеждении, что военная игра остается «холодной» и состоит в том, чтобы шаховать, а не уничтожать боевые средства противника. Если бы они начали поражать друг друга, холодная война тем самым вступила бы в стадию горячей эскалации. А потому, утверждали авторы, антагонистические орбитальные машины держат друг друга в шахе. Чтобы равновесие сил могло быть сохранено, космические системы обеих сторон должны распознавать своих и чужих. «Гавриил» же был пришельцем для всех и поэтому был атакован. Ротмонт проиллюстрировал эту точку зрения примером: два пса ворчат друг на друга, но, как только покажется заяц, вместе кинутся в погоню.

Полассар же, несмотря на это, присоединился к Накамурс. Действительно, неизвестно, должны ли были перехватить «Гавриила» ракеты одной стороны или обеих, но атака была проведена с точностью, наводящей на мысль о предварительном планировании. Сигналы, излучаемые «послом», без всякого сомнения, были приняты на планете, и отсутствие ответа не означало равнодушного бездействия. Стиргард не принял в споре ничью сторону. Решение вопроса, подвергся ли «Гавриил» атаке ракет, намеренно наведенных с Квинты, или самостоятельных орбитальных аппаратов, он считал второстепенным. Суть в том, что планета отказывается от контакта, — значит, существенным является лишь вопрос, можно ли ее к этому принудить.

— Убеждением нельзя, — утверждал Гаррах, — нельзя также

реализацией первоначальной программы. Чем больше мы вышлем посадочных аппаратов, тем больше произойдет стычек. Они переделают наших послов в оборонительное оружие, и наши попытки закончатся отступлением или войной. Поскольку мы не хотим войны, а отступление также не входит в наши расчеты, то, вместо того чтобы шипать и укалывать, мы должны показать себя решительным образом. Нельзя ни подружиться с гориллой, ни успокоить ее, осторожно кусая за хвост.

— У гориллы нет хвоста, — заметил Кирстинг.

— Ну, значит, крокодила. Не придирайся к слову. Нам не остается ничего другого, как продемонстрировать силу. У кого есть соображения, высказывайтесь.

Все молчали.

— У тебя есть конкретный план? — спросил Стиргард.

— Да.

— А именно?

— Кавитация луны. Максимальный эффект при минимуме вреда. С планеты это увидят, но не ощутят. Я уже давно об этом думаю. GOD мне уже все просчитал. Луна распадется таким образом, что обломки останутся на орбите. Центр масс не изменится.

— Почему? — подал голос доминиканец.

— Потому что куски луны будут вращаться по той же траектории, что и луна. Квинта составляет с ней двойную систему, а поскольку масса планеты значительно больше, то и центр вращения системы находится вблизи нее. Цифр я не помню. Во всяком случае, динамическое расположение масс не изменится.

— Изменяются гравитационные приливы, — вмешался Накамура. — Ты принял это во внимание?

— GOD и это учел. Литосфера не дрогнет. Самое большое — активизируются мелкие сейсмические очаги. Океанские приливы и отливы станут меньше. Вот и все.

— И какая от этого будет польза?

— Это будет не только демонстрация силы, но и сообщение. Предварительно мы предостережем их. Надо ли вдаваться в подробности?

— Только коротко, — сказал командир.

— Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь счел меня чудовищем, — с деланным спокойствием продолжал первый пилот. — С самого начала мы передавали им логические выкладки и конъюнкции типа «Если А, то Б», «Если не А, то С» и так далее. Мы объясним им: «Если не ответите на наши сигналы, то мы уничтожим вашу луну, и это будет первым доказательством нашей решимости — мы требуем контакта». Ну, и еще раз повторим все

то, что передавал им «посол»: что прибыли мы с мирными намерениями, что если они втянуты в какой-то конфликт, то мы сохраним нейтралитет. Отец Араго может все это прочитать, эти оповещения висят в рубке, и по экземпляру получил каждый член экипажа.

— Я читал, — возразил Араго. — И что будет потом?

— Это будет зависеть от их реакции.

— Ты считаешь, что мы должны указать срок? — спросил Ротмонт. — Это был бы ультиматум.

— Называй как хочешь. Необязательно указывать точный срок, достаточно сообщить, как долго мы будем воздерживаться от действий.

— Есть другие предложения, кроме возвращения? — спросил Стиргард. — Нет? Тогда кто за проект Гарраха?

Полассар, Темпе, Гаррах, Эль Салам и Ротмонт подняли руки. Накамура заколебался. В конце концов и он проголосовал «за».

— Вы отдаете себе отчет, что они могут ответить до срока, но не сигналами? — спросил Стиргард.

Они сидели вдесятером вокруг огромной плоскости, опирающейся, как стол на одной ножке, на сочленение ажурных ферм, отделяющих верхнюю, гравитационную рубку от навигаторской, в этот момент пустующей. Только мигание мониторов над размещенными вдоль стен пультами, то усиливающееся, то угасающее, заполняло пространство под ними движением света и теней.

— Вполне возможно, — откликнулся Темпе. — Я не такой знаток латыни, как отец Араго. Если бы я прилетел сюда по своему собственному желанию, то не голосовал бы «за». Но мы здесь не просто десять астронавтов. Если «Гермес» после всех попыток мирного контакта был атакован, значит, была атакована Земля, ибо она нас сюда прислала. Поэтому Земля может через нас ответить: «Nemo me impune lacessit»<sup>1</sup>.

## ПАРОКСИЗМ

Сидеральные операции, будучи явлениями астрономических масштабов, из-за неохватности высвобождаемой в них мощи не могут стать для наблюдателя таким же глубоким и потрясающим переживанием, как наводнение или тайфун. Уже землетрясение — происшествие, микроскопическое в звездном масштабе, — превышает возможности чувственного восприятия человека. Насто-

<sup>1</sup> Никто не нападет на меня безнаказанно (лат.).

ящий ужас, как и захватывающий восторг, у него не могут вызвать события ни слишком гигантские, ни слишком мелкие. Никто не сможет воспринять звезду как камень или бриллиант. Самая меньшая из звезд, океан океанов вечного огня, уже с расстояния миллиона километров становится разбегающейся за горизонт стеной жара; по мере приближения она теряет всякую форму, распавшись на хаотические вихри одинаково ослепляющего пламени: только на большом удалении более холодные воронки хромосферы уменьшаются до солнечных пятен.

В конце концов та же закономерность, по которой переживание становится беспомощным, неспособным объять необъятное, действует и по отношению к людям. Можно сочувствовать мукам одного человека, семьи, но гибель тысяч и миллионов существ — это уже заключенная в числах абстракция, экзистенциальную сущность которой невозможно охватить.

Точно так же кавитационное раздробление небесного тела, планеты или луны, представляет собой чрезвычайно скромное зрелище, происходящее не только с сонной медлительностью, но из-за своего беззвучного и ленивого развития кажущееся как бы искусственным, ненастоящим, тем более что увидеть его и не погибнуть можно, только наблюдая его в телескоп или на экране монитора, причем сидеральные хирурги следят за прогрессирующим взрывом сквозь фильтры, поочередно надвигаемые на объективы аппаратуры, для того чтобы точно отмечать фазы распада. В результате изображение, избирательно воспринимаемое в монохромных полосах спектра, то желтое, как солома, то красное, как киноварь, создает впечатление калейдоскопической игры, а не сверхчеловеческого катаклизма.

Квинта молчала до «часа ноль». Кавитацию луны должны были вызвать восемнадцать снарядов, направленных из удаленных ее окрестностей к экваториальной зоне по траекториям типа эвольвенты.

Как оказалось, GOD, к сожалению, был прав, выведя эту операцию за пределы области уверенно предсказуемых событий.

Если бы все головки поразили кору пустынного спутника под одинаковым углом, если бы они, сверля в ней туннельные пробоины, сошлись вокруг его тяжелого ядра, если бы с запрограммированной секундной точностью превратили это еще не остывшее полужидкое ядро в газ, то обломки разорванной луны, по сравнению с которыми Гималаи показались бы крошками, двигались бы по прежней орбите, а ударная волна внезапно освобожденной гравитационной мощи вызвала бы только умеренные землетрясения и толкнула бы океан к шельфам континентов серией длинных волн цунами.

Однако Квинта вмешалась в операцию. Три снаряда «Гермеса», мчавшиеся к луне со стороны диска планеты, встретились с тяжелыми баллистическими ракетами и, обратив их в клубы раскаленного газа, преждевременно включили запалы своих сидеральных зарядов. В результате запланированный одновременный удар в лунное ядро не состоялся, и кавитация получилась эксцентрической. Часть коры южного полушария и глубинных скальных масс лавиной обрушилась на Квинту, а остатки — каких-нибудь шесть седьмых массы — вышли на более высокую орбиту. Сидераторы должны были вторгнуться сквозь кору в ядро по спиральям, следовательно, те, что шли по направлению к Квинте, толкнули бы лопающийся шар к планете, а те, что двигались со стороны Квинты, — к солнцу, и, поскольку именно те, которые должны были предохранить планету от метеоритного потока, подверглись тарану, сто триллионов тонн горных образований упало по множеству эллиптических траекторий на Квинту. Часть из них сгорела от трения в атмосфере, но самые крупные обломки, триллионы тонн, широким веером рухнули в океан, а крайние — бомбардировали побережья Норстралии. Планета получила в бок кусок луны, как заряд дробы, ударивший под острым углом.

Через две сотых секунды после поджига кавитационных головок вся луна покрылась желтоватой тучей, такой густой, что казалось, луна выросла — как бы распухла. Потом чрезвычайно медленно, как при съемке рапидом, стала раскрываться, размываться на неправильные куски, словно апельсин, разрываемый невидимыми когтями, а из трещин коры брызнул длинными столбами огонь, по яркости равный солнечному. На восьмой секунде кавитации клубы горячих ударных волн придали разрываемой луне облик гигантского огненного куста, повисшего в пустоте. Бьющий оттуда свет затмил ближайшие звезды. В гравитационной рубке все замерли, оцепенели у мониторов. Слышно было только тиканье хронометров, отсчитывающих этапы разрушения луны, а из огненного клубка вылетали окутанные пылью, лопающиеся, как картечь, Альпы, Кордильеры, Везувии, пока эта ужасная туча не начала потихоньку расплываться и ее поначалу округло-кустистый контур изменился, вытягиваясь, — не нужно было смотреть на приборы, чтобы понять, что через несколько часов луна начнет падать на планету. К счастью — или к несчастью, — она попала в нее вдали от ледяного кольца, и только около полуночи отклонившийся рой метеоров ударами, искрящимися, как фейерверк, над самой атмосферой пробил ледяную плоскость.

Так демонстрация силы обернулась катаклизмом.

Во второй половине следующего дня Стиргард вызвал к себе Накамуру и обоих пилотов. Сразу после катастрофы «Гермес» на полной мощности маневровых двигателей поднялся над эклиптической, чтобы миновать тучи лунных обломков, и параболическим курсом пошел в сторону солнца. Одновременно он выбрасывал и оставлял за кормой радиозонды и передатчики. Они передавали сообщения, из которых явствовало, что Квинта сама навлекла на себя удар обломков разбитой луны, ибо залп баллистических ракет внес помехи в процесс кавитации и несимметричный разлет осколков рикошетом задел планету.

Результат удара, видимый даже оптически, хотя расстояние до планеты уже угрозило, был ужасен. От океанического эпицентра разбежались волны цунами. Массы воды, поднятые на стократную высоту самого мощного прилива, залили ближайшие, восточные, побережья Гепарии и тысячемильным фронтом затопили ее огромное равнинное пространство. Океан вторгся внутрь материка и не отступил затем полностью, создавая озера размером с море, так как глубинная плита литосферного покрова Квинты была смята и воды заполнили образовавшиеся на поверхности впадины.

Одновременно миллиарды тонн воды, выброшенные в виде кипящего пара за пределы стратосферы, закрыли весь диск планеты сплошным покровом туч. И только тонкое ледяное кольцо светило над ней на солнце, как лезвие бритвы.

Стиргард потребовал у Накамуры отчет по спиноскопии, которая с момента лунокрушения проводилась непрерывно. И сразу же приказал выпустить и вывести на орбиту Квинты — впереди нее и за ней — тяжелые магнетронные агрегаты, настоящие молохи, снабженные сидеральным питанием, каждый — массой в семь тысяч тонн, и окружить их для защиты от возможной атаки излучателями концентрированного тяготения. Эти бомбовые граблеры одноразового использования, согласно утвержденному SETI плану, должны были служить для уничтожения астероидов, если бы «Гермес» встретил их во время полета к Квинте, поскольку околосветовая скорость не разрешала ему маневра для огибания препятствий, от которых не могли спасти охранные щиты.

Прежде чем Накамура представил результаты спиноскопии, Стиргард ни с того ни сего спросил второго пилота, откуда он взял это древнее латинское выражение: «*Nemo te impune lacescit*», которым завершился последний совет.

Темпе не мог вспомнить.

— Не думаю, чтобы ты когда-нибудь был филологом. Разве что читал Эдгара По. «Бочонок Амонтильядо».

При этих словах Стиргарда пилот лишь беспомощно покачал головой.

— Может быть. По? Писатель? Автор фантастических рассказов? Сомневаюсь. И вообще я не помню, что я тогда читал... до Титана. Разве это важно?

— Это еще выяснится. Но не сейчас. Прошу дать результаты.

Накамура не успел открыть рот, как Стиргард спросил:

— Была ли атакована аппаратура?

— Дважды. Грасеры уничтожили несколько десятков ракет. Голенбаховская дифракция прерывала прием спинограмм, но не искажала изображения.

— Откуда стартовали эти ракеты?

— С пораженного континента, но не из района катастрофы.

— А точнее?

— Из четырех мест в горной системе, на пятнадцать градусов ниже полярного круга. Стартовые устройства — подземные, укрытые имитацией скалы. Таких шахт там значительно больше — вдоль меридианов вплоть до тропика. Съемкой обнаружено более тысячи. Вероятно, их еще больше, но четко удалось разглядеть те, которые располагались перпендикулярно к импульсному полю. Планета вращается, а поле остается неподвижным. При непрерывной спиноскопии изображение потеряло бы всякую ценность — все равно как если бы просвечиваемый рентгеном человек поворачивался во время экспозиции пленки. Поэтому мы перешли на томографию путем микросекундных вспышек. К этому моменту собрано несколько миллионов снимков. Мы хотим дождаться конца, то есть полного оборота планеты, и только потом дать все ленты на обработку GOD'у...

— Понятно, — закончил за него Стиргард. — Значит, GOD не получил еще снимков и не сопоставил их?

— В целом нет. Я успел только просмотреть в общих чертах почасовые подборки томограмм.

— Ну, это уже кое-что! Слушаю.

— Мне хотелось бы, чтобы астрогатор сам посмотрел наиболее четкие спинограммы. Описание на словах может оказаться необъективным. Почти все, что видно на лентах, дает основание для некоторой интерпретации, но не для абсолютно уверенного диагноза.

— Хорошо.

Все встали. Накамура вставил запись в видеоманитофон, монитор засветился, через экран побежали размазанные дрожание



полосы, физик с минуту манипулировал настройкой, изображение потемнело, и они увидели призрачный диск с черным круглым пятном посередине и неравномерно просветленными краями. Накамура передвинул изображение, и выпуклая поверхность планеты оказалась в нижней половине экрана. Над кривизной литосферы, непроницаемо черной, простиралась такой же выгнутой полосой белесая мгла, сгущающаяся к горизонту, — атмосфера с микроскопическими клочками туч. Физик перестроил спектр, переходя от легких ко все более тяжелым элементам. Атмосферные газы исчезли, будто их сдуло, и непроницаемая до того чернота континентальной плиты начала светлеть.

Темпе стоял между Гаррахом и командиром, всматриваясь в экран. С планетной спиноскопией он ознакомился еще на борту «Эвридики», но ее применения в таких масштабах до сих пор не видел. Нуклеоскоп астрономического радиуса действия берет планету в чашу магнитного поля с гауссовской напряженностью, равной в пиках импульсов магнитосфере микропульсара. Планета подвергается сквозному просвечиванию, а получающиеся картины, создаваемые резонансом атомных спинов, можно разрезать, то есть томографировать, сосредоточивая управляемое поле на последовательных слоях шара, начиная от поверхности — вглубь, ко все более горячим пластам мантии и ядра.

Как микротом срезает замороженные ткани, чтобы их можно было поочередно рассмотреть под микроскопом, так и нуклеоскоп дает возможность делать снимки, показывающие слой за слоем внутреннюю атомную структуру небесного тела, недостижимую ни для радиолокации, ни для нейтринного зондирования. Для радиолокаторов планета абсолютно непрозрачна, а для нейтринных потоков — слишком прозрачна, поэтому ничто, кроме магнитофокусной многополюсной спиноскопии, не позволяет заглянуть в глубь космических тел — правда, только остывших, таких, как планеты и их луны.

Темпе прочитал об этом достаточно много. Дистанционно фокусируемые магнитные потенциалы выстраивают спины атомных ядер по силовым линиям, а после выключения поля ядра отдают накопленную в них энергию. Каждый элемент таблицы Менделеева колеблется тогда в свойственном ему резонансном ритме. Зафиксированная приемным устройством картина становится ядерным портретом среза, на котором секстильоны атомов играют роль точек обычной полиграфической печатной сетки. Положительная сторона нуклеоскопии высоких мощностей — ее безвредность для просвечиваемых материальных объектов, а также живых организмов, а отрицатель-

ная — то, что, используя такую мощность, невозможно скрыть передающие ее источники.

Следуя рекомендациям физиков, GOD отфильтровал из снимков каждой плоскости разреза спинограммы элементов, особенно важных для использования в технологии. Принципы этого подбора были абсолютно определенными — только ими можно было пользоваться: подразумевались аналогии квинтянской и земной техносфер, хотя бы частичные. В глубину коры просвеченного шара словно бы входила еле различимая сеть, обрисованная элементами типа ванадия и хрома, а также тяжелых платинидов, таких, как осмий и иридий. Вблизи поверхности нити меди напоминали энергетические кабели. Спинограммы территории, затронутой лунной катастрофой, выявили хаотические микроочаги опустошений, а разрез звездообразного образования, названного Медузой, выглядел как беспорядочные руины со следами уранидов. Там же был обнаружен кальций. Для развалин жилых построек его было слишком мало, осадочных отложений в грунте не было вовсе, и отсюда вытекало предположение, что это — останки живых существ, перед гибелью или позже подвергшихся радиоактивному заражению, поскольку значительный процент кальция был изотопом, возникающим только в скелетах облученных позвоночных. Это открытие, как косвенная улика, при всей своей жестокости содержало крупную надежды. До сих пор не было известно, состоит ли население Квинты из живых существ или же из каких-то небιологических автоматов, наследников угасшей, некогда живой цивилизации. Нельзя было исключить чудовищной гипотезы, что гонка вооружений, истребив жизнь вплоть до ее остатков, забившихся в убежища или пещеры, продолжается теперь ее механическими наследниками.

Именно этого со времени первых столкновений больше всего опасался Стиргард, хотя особенно не распространялся по поводу своей концепции. Он считал возможным такой ход исторических событий, когда при военных действиях, затянувшихся на века, живую силу замещают военные машины — не только в Космосе, в чем уже была возможность убедиться, — но и на планете. Боевые автоматы, лишенные инстинкта самосохранения, предназначенные для самоубийственной войны, навряд ли легко вступили бы в переговоры с космическими пришельцами. Правда, свойством самосохранения должны были бы обладать военные штабы, даже полностью компьютеризованные, однако, считая исключительной целью стратегическое превосходство, они также не дали бы втянуть себя в переговоры.

Напротив, шанс договоренности живых с живыми все-таки

был выше нуля. Однако итоги попыток распознать братьев по разуму, просматривая спинограммы и отыскивая скопления их скелетов по соотношению кальция и его изотопа, можно сказать, не внушали оптимизма. Трудно их было назвать и благой вестью. Пока пилоты и командир слушали Накамуру, который сопровождал наиболее интересные снимки пояснениями (предупредив, что по большинству это просто догадки), раздался зуммер интеркома. Командир взял трубку:

— Стиргард слушает.

Они слышали чей-то голос, не разбирая слов. Когда он замолк, Стиргард с минуту не отвечал.

— Хорошо. Сейчас? Пожалуйста. Жду.

Положив трубку, он повернулся и сказал:

— Араго.

— Нам уйти? — спросил Темпе.

— Нет. Оставайтесь. — И, словно против воли, у него вырвалось: — Это не будет исповедь.

Вошел доминиканец — в белом, но не в одежде своего ордена. На нем был длинный белый свитер, а о том, что он носит на груди крест, свидетельствовал только темный шнурок на шее. Увидев собравшихся, он задержался у дверей.

— Я не знал, что у астрогатора совещание...

— Садитесь, ваше преподобие. Это не совещание. Время парламентских обсуждений с голосованием кончилось. — И, словно собственные слова показались ему слишком резкими, добавил: — Я не хотел этого. Однако факты оказались сильнее моих желаний. Садитесь все.

Все опустили в кресла, ибо, хотя последние слова были сказаны с улыбкой, это был приказ. Монах, как видно, приготовился к разговору с глазу на глаз. А может быть, его задело слово Стиргарда, их категоричное звучание.

Астрогатор, догадываясь о причинах его колебаний, сказал:

— *C'est le ton qui fait la chanson*<sup>1</sup>. Но не я сочинил эту музыку. Хотя и попробовал — пианиссимо.

— И закончилась она на трубах Иерихона, — возразил монах. — А может быть, довольно музыкальных ассоциаций?

— Разумеется. Я не собираюсь ходить вокруг да около. Ремонт был у меня час назад, и я знаю содержание разговора — экзегезы<sup>2</sup>, — нет, назовем это все же разговором, который спровоцировал GOD. Он касался... астробиологии.

<sup>1</sup> Мелодия делает песню (фр.).

<sup>2</sup> Здесь: истолкование.

— Не только, — заметил доминиканец.

— Знаю. Поэтому хочу спросить, в каком качестве я вас принимаю: как врача или как папского нунция?

— Я вовсе не нунций.

— По воле или без воли престола святого Петра это все же так. *In partibus infidelium*. А может быть, *in partibus daemonis*<sup>1</sup>. Я говорю это в связи с достопамятным высказыванием не доктора астробиологии, а отца Араго на «Эвридики», у Бар Хораба. Я был там, слышал и запомнил. А теперь готов выслушать вас.

— Я вижу здесь снимки, которые объяснил мне Ротмонт. GOD действительно спровоцировал мой приход.

— Кальциевая гипотеза? — спросил командир.

— Да. Ротмонт спросил его, не является ли полоска, повторяющаяся в спектре определенных пунктов, изотопом кальция. GOD не мог исключить такой возможности.

— Я знаю подробности. Если это были кости, то в миллионных количествах. Горы трупов.

— Критическое место — это большая агломерация, очевидно, местопребывание квинтян, — сказал монах. Он был бледнее, чем обычно. — Не зверинец же это диаметром пятьдесят миль? Дело дошло до геноцида. Кладбище жертв человекоубийства — не слишком выитрышная сцена для беспрецедентного события нашей истории. Отцы проекта SETI вряд ли думали о контакте с разумом на поле битвы, заваленном трупами хозяев.

— Ситуация значительно хуже, — ответил Стиргард. — Нет, позвольте мне договорить. Повторяю: случилось нечто худшее, чем катастрофа, вызванная стечением непреднамеренных и непредвиденных случайностей. Эти линии, возможно, происходят от изотопов скелетного кальция. Мы не можем исключить это со стопроцентной уверенностью. Я говорил, что планета способна ответить на наш ультиматум до истечения срока — но не сигналами. С их точки зрения, для которой характерна крайняя подозрительность, контрнаступление могло оказаться первостепенной задачей. Однако я никак не допускал того, что они совершенно преднамеренно кавитируют луну на себя. Мы стали человекоубийцами в соответствии с максимой одного итальянского еретика: «Избыток добродетели ведет к победе сил ада».

— Как это понимать? — изумленно спросил Араго.

— Согласно канонам физики. Мы объявили разрушение луны демонстрацией превосходства и уверили их, что эта сидеральная операция не принесет им вреда. Располагая специалистами по

<sup>1</sup> В областях неверия... в областях дьявольских (*лат.*).

небесной механике, они знали, что небольшим приложением энергии можно разбить планету, усилив давление в ее ядре. Знали они и то, что только взрыв, точно направленный в центр лунной массы, не изменит орбиты обломков. Если бы они перехватили наши сидераторы с солнечной стороны луны или спереди по касательной к орбите, разорванные массы были бы вытолкнуты на более высокую орбиту. И только перехват наших снарядов у полушария, обращенного к Квинте, мог и даже должен был навлечь последствия эксцентрической кавитации на них самих.

— Как можно в это поверить? Вы утверждаете, что они хотели совершить с нашей помощью самоубийство?

— Не я утверждаю, а факты. Я согласен, что такая интерпретация их поступков выглядит неразумной и даже безумной, но смоделированный ход катаклизма выявляет его рациональность. Мы приступили к разрушению луны в момент, когда в Гепарии восходило солнце, а в Норстралии заходило. Баллистические снаряды, направленные на наши сидераторы, были выпущены с той части Гепарии, которая находилась еще за терминатором, то есть в ночной части. Им понадобилось пять часов, чтобы оказаться в периселении и столкнуться с нашими ракетами. Для того чтобы мы не могли вовремя уничтожить их, ракеты были выведены на такую эллиптическую орбиту, что они сошли с нее в сторону луны за какие-нибудь двенадцать минут перед ее разрушением. Иная интерпретация невозможна: их ракеты поджидали наши, двигаясь по отрезку эллипса, наиболее отдаленному от Квинты и близкому к луне. Все они направились к нашим кавитаторам, лишенным защиты, поскольку такое противодействие мы не считали возможным. Я сам в первый момент подумал, что катастрофа случилась из-за опшибки в их расчетах. Анализ хода событий, однако, опшибку исключает.

— Нет. Не могу этого понять, — проговорил Араго. — Хотя... сейчас... выходит, что одна сторона пыталась направить рикошетом удар на противника?

— И это не было бы самым худшим, — возразил Стиргард. — С точки зрения генерального штаба во время войны полезен и пригоден любой маневр, наносящий урон неприятелю. Однако поскольку они не могли знать ни мощности наших кавитаторов, ни начальной скорости кусков распавшейся луны, они должны были считаться с возможностью того, что разброс скальных масс затронет также и их собственную территорию. Вы удивлены, ваше преподобие? Не верите мне? *Physica de motibus coelestis*<sup>1</sup> — ко-

<sup>1</sup> Физика движения небесных тел (лат.).

ронный свидетель в этом деле. Прошу взглянуть на состояние вещей с точки зрения штабистов столетней войны. Над ними вдруг появляется незванный космический гость с миртовой веточкой, намереваясь навязать сердечные отношения с космической цивилизацией: он не отвечает атакой на атаку и пытается сохранить умеренную мягкость. Не хочет нападать? Значит, его следует принудить! Узнает ли население планеты, что произошло на самом деле? Искромсанное, сможет ли оно сомневаться в том, что сообщат ему власти: пришельцы — беспощадные, безгранично жестокие агрессоры? Разве они не разрушили города? Разве не бомбардировали они все континенты, разрушив для этой цели луну? Жертвы на собственной стороне? Их спишут на счет пришельцев. И если мы несем часть вины, то лишь от избытка добрых намерений, поскольку не предвидели такого поворота событий. После того, что произошло, наш уход оставил бы на планете память о нашей экспедиции, как о попытке смертоносного вторжения. А потому мы не отступим, ваше преподобие. Ставка в этой игре с самого начала была достаточно велика. Они же подняли ее до такой степени, что вынудили нас играть дальше...

— Контакт любой ценой? — спросил белый доминиканец.

— Самой наивысшей, на которую нас хватит. Поскольку ваше преподобие, как апостольского посланца, удивили мои слова о том, что на борту прошло уже время демократии, голосований, хождения от Анны к Каиафе, я считаю нужным дать разъяснения — почему, принимая на себя чрезвычайное командование и, таким образом, всю ответственность за нас и за них, я буду вести эту игру до конца. Должен ли я это сделать?

— Слушаю вас.

Стиргард подошел к одному из стальных шкафов, отворил его и, разыскивая что-то на полках, продолжал:

— Мысль о нелокальной войне, выведенной в Космос, пришла мне в голову сразу же после поимки остовов ракет за Юноной. И не мне одному. Согласно правилу *primus non nocere*<sup>1</sup>, я не стал делиться этими соображениями, чтобы не заразить команду пораженчеством. Из истории давних путешествий вроде Колумбовых и полярных известно, как легко обособленная группа самых хороших людей может попасть в критическое положение из-за влияния одного из них, особенно если на него рассчитывают так, словно он создан из еще лучшего материала, чем другие. Поэтому я обсудил наихудшие предположения только с GOD'ом, и вот записи этих дискуссий.

<sup>1</sup>Прежде всего не навреди (лат.).

Из выстеленного мягким материалом ящичка, похожего на ювелирный футляр для драгоценных камней, он вынул несколько кристаллов памяти и вставил один из них в щель воспроизводящего аппарата.

Раздался его голос:

— Как наладить связь с Квинтой, если там существуют блоки, уже много лет вовлеченные в войну?

— Дай границу пространства решения. Не просчитывается стратегически без исходной характеристики.

— Предположи двух, а затем трех противников с близкими боевыми потенциалами, с возможностью уничтожения всех при горячей эскалации.

— Данные все еще недостаточны.

— Дай минимаксовую оценку в нечисловом приближении.

— В аппроксимации величина также неопределима.

— И все же дай мне стохастически значимый пучок альтернатив.

— Это требует дополнительных данных. Результаты будут произвольными и недоказательными.

— Знаю. Действуй.

— В случае двух антагонистов на противоположных континентах — выслать два передатчика в атмосферном инфракрасном диапазоне с резкой точечной коллимацией. Оба — в антирадарной маскировке, с самонаведением на радиостанции планеты. Эта тактика, однако, принимает за очевидность то, что сомнительно. Уже в первом пункте. Антагонисты могут взаимно контролировать территории владения как по вертикали, так и по горизонтали.

— Каким образом?

— Если они, например, вошли уже в атомную фазу, то, согласно тактике устрашения, каждый из них брал в заложники население противной стороны, угрожая нападением либо возмездием, после чего они усиливали средства нападения и защиты, а достигнув определенного уровня насыщенности техникой, сошли в подземелья. Их территория может находиться под землей в виде глубоко врытых и послойно укрепленных уровней. То же самое может происходить и над атмосферой.

— Делает ли экспансия такого рода контакт невозможным?

— В предложенной тактике — несомненно, потому что при таком размещении контакт не имеет отдельных адресатов.

— Исключи тактику взаимно подкапывающихся поселений.

— Где провести границу между противниками?

— По меридиану посреди океана.

- Это самое простое, но достаточно произвольное условие.
- Действуй.
- Есть. Предполагаю посылку зондов, излучение сигналов и получение почты. Итак, они получили переданные коды и овладели ими. На минимаксе получаю вилку. Либо переслать обеим сторонам одно и то же настоящее предложение контакта с гарантией нейтральности, или фальшивое заверение в предпочтении.
  - Либо уведомить каждую из сторон, что обращаемся одновременно и к другой, или заверить, что только ей одной предлагаем контакт?
    - Да.
    - Дай оценку риска для этой вилки.
    - Правдивость дает лучшие шансы при ошибочном адресовании и худшие шансы при ошибочном адресовании. Ложь дает бóльшие шансы при верном адресовании и меньшие шансы при верном адресовании.
      - Но это же чистое противоречие?
      - Да. Пространство игры не поддается минимаксовому квантованию.
        - Покажи причину противоречия.
        - Тот блок, который мы заверим в исключительности контакта с ним, будет склонен к положительной реакции при условии, что он сможет проверить эту исключительность помимо нашего сообщения. Если же он узнает, что другой блок перехватил наше послание, или, что хуже, убедится в двуличии нашей игры, шанс соглашения упадет до нуля. Может даже возникнуть отрицательная вероятность контакта.
          - Отрицательная?
          - Отказ есть ноль. Отрицательное значение я придаю дезинформирующим нас ответам.
            - Они устроят ловушку?
            - Вполне возможно. Тут вилка сильно разветвляется. Западно может создать либо одна сторона, либо обе независимо друг от друга, либо в ограниченном временном союзе, решив, что, если заключат временное перемирие и скооперируются, чтобы уничтожить нас или отвратить от контакта, они подвергнутся меньшему риску, чем если станут добиваться исключительного контакта с «Гермесом».
              - А как с согласием на параллельный сепаратный контакт?
              - В этом варианте противоречива сама основа. Чтобы получить такой параллелизм, ты должен как отправитель достаточно убедительно гарантировать адресатам нашу нейтральность. То есть даешь слово, что будешь держать слово. Утверждение, обра-



ценное на себя, не может себя же подтвердить. Это типичная антиномия.

— Откуда ты берешь критерии для разветвления решений?

— Из твоего условия, что на планете только два игрока в положении вечного шаха. И из того, что они придерживаются позиции минимакса. Цена игры для них — выживание, *status quo ante fuit*, а для нас — контакт через выход из тупиковой ситуации.

— А точнее?

— Это тривиально. Предполагаю две империи — А и Б. Оптимальный вариант вилки для нас: оба адресата входят с нами в контакт и каждый считает, что обладает монополией. Если хотя бы один из них не уверен в своей привилегированности или исключительности, то сочтет монополию сомнительной. Тогда по правилу минимакса обратится к другому с предложением создать коалицию против нас, поскольку не знает своих шансов на заключение коалиции с нами. Это очевидно. Зная собственную историю, они тем самым знают правила взаимных конфликтов. Но свойственные нам правила конфликтов им неизвестны. Если мы предложим одной из сторон союз, она нам не поверит. *Primo*: предложение союза обоим противникам — абсурд. *Secundo*: призывая к одной из сторон, мы усиливаем ее. Тем самым увеличиваем антагонизм другой стороны, а сами не получаем ничего, кроме вступления в ведущуюся войну. Такую стратегию контакта может выбрать только цивилизация идиотов. А это даже в метagalacticком масштабе маловероятно.

— Так. Они могут временно объединиться против нас. И какая игра начнется тогда?

— Игра с неопределенными правилами. Правила будут возникать по ходу игры. Поэтому неизвестно, содержит ли функция расплаты положительные ценности. Сумма игры, скорей всего, окажется нулевой, поскольку ни один из игроков, включая и нас, не окажется в выигрыше. Все проиграют.

— Ясно, что риск не удастся свести к нулю. Но где тогда его минимум?

— У меня нет достаточных данных.

— Действуй без этих данных.

— Облегчение фрустрации, вызванной неразрешимыми задачами, не лежит в области моих расчетных возможностей. Не требуй невозможного, командир. Деревце эвристики — это не Божественное Древо Познания.

В тишине, которая установилась после этих слов GOD'а, Стиргард вложил в воспроизводящее устройство второй кристал-

лик, объяснив, что это фрагмент диалога с GOD'ом сразу же после разрушения луны. Снова послышался голос машины:

— Ранее риск был только неопределимым. Теперь он приобрел силу трансфинального множества, то есть стал непредсказуемым. Минимум остался только при отступлении.

— Можем ли мы принудить их к капитуляции?

— Теоретически — да. Например, последовательным сужением их боевой техносферы.

— То есть путем уничтожения всех военных средств во всем пространстве вокруг дзеты?

— Да.

— Каковы шансы контакта при такой операции?

— Минимальные при самых оптимистических условиях: что наше накопление сидеральных мощностей будет проходить без помех, что квинтяне останутся пассивными наблюдателями того, как мы будем обдирать шелуху с их автоматических луковиц в Космосе, и что, лишенные этих оболочек, они впадут в военно-промышленный застой. В категориях теории игр это было бы таким же чудом, как главный выигрыш в лотерее для того, кто не купил ни одного билета.

— Представь варианты разоружения их техносферы без чудес.

— Кривая будет иметь по крайней мере два экстремума. Либо они будут сопротивляться, защищаясь или атакуя, либо умиротворяющее разрушение холодной сфероматии разожжет конфликт, постоянно тлеющий на планете, и таким образом мы ввергнем их в тотальную войну.

— Можно ли частично снизить их космическую автомахию, не нарушая равновесия сил на планете?

— Можно. Для этого нужно уничтожать орбитальные военные средства, предварительно распознав их принадлежность, то есть сокращать военно-космический потенциал всех противников в равной мере, чтобы не нарушить динамического равновесия сил. Это требует двух условий: что мы узнаем расстояние, на котором они могут управлять своим оружием в Космосе, то есть эффективный радиус их командования, и что мы идентифицируем боевые системы сначала за пределами этого радиуса для того, чтобы разбить их, а после уничтожения автоматического пояса будем лишать эту цивилизацию тех сил, над которыми она сохраняет управление внутри сферы командования. In abstracto можно ее до известной степени обнажить. Но если мы совершим ошибки в распознавании того, кто и чем владеет во внутренней сфере, то есть в пространстве их оперативного влияния, мы разбудим конфликт на планете, поскольку усилим одну сторону за счет другой. Тем

самым мы столкнем антагонистов с точки неустойчивого равновесия гонки вооружений в тотальную войну. Командир, ты уводишь меня и сам уходишь от действительности. Ведь ты стремишься к успеху?

— Конечно.

— Но что для тебя успех? Контакт? Но в этой моделируемой ситуации такое понятие успеха неопределимо. Оно не зависит только от того, сможет ли «Гермес» преодолеть и сфероманию, и всю индустрию боевых средств, неустанно выбрасываемых в Космос.

— Мы будем проводить опосредованную борьбу, атакуя не их, а только их оружие. Можно ли быть уверенными, что, введя в боевые действия новую технику, они не овладеют секретом тех источников, которыми пользуемся мы, — сидеральных? Но предположим, что не овладеют.

— Пожалуйста. Однако кроме факторов, определяемых как некие технологические суммы, при минимаксовых решениях, согласно логическим оптимизационным подсчетам, на реакции квинтян существенно влияют и факторы иррациональные, о которых мы ничего не знаем. Известно, однако, какое значение имели именно эти факторы в земной истории.

На этом запись разговора оборвалась. После короткой паузы все услышали новый диалог Стиргарда с машиной.

— Проводил ли ты имитацию государственных структур?

— Да.

— Во всех предполагаемых вариантах этих структур, а также их конфликтов?

— Да.

— Каков коэффициент разности этих структур для нашей игры в контакт? Дай предел статистической значимости или модальное распределение влияния разностей на шансы контакта.

— Коэффициент равен единице.

— Для всех моделей?

— Да.

— Это значит, что разница в государственном устройстве противников не имеет никакого значения?

— Да. Подгоняемая длительным конфликтом эволюция техномагии становится независимой от типа строя переменной, поскольку эту эволюцию формирует структура конфликта, а не общественные структуры. Точнее говоря на ранних стадиях конфликта разница в строе отражается в тактике психологической пропаганды, дипломатии, диверсий, шпионажа и гонки вооружений. Деление средств внутри бюджета на военные и невоен-

ные является функцией суммы аргументов, ценность которых зависит от структуры строя. Растущее стремление к превосходству в конфликте уравнивает разницу в сумме аргументов. Тем самым стратегии противников уподобляются одна другой. Возникает эффект отражения. Нельзя заставить зеркало отражать только ослабленные и свободно стоящие фигуры, а остальные игнорировать. Когда потолок эффективности разоружения преодолевается, дальнейшая гонка за превосходство ликвидирует зависимость стратегии противоборствующих сторон от их политического строя. Зависимость эта становится такой же, как влияние человеческой мускулатуры на запуск баллистической ракеты. В эпоху палеолита, в пещерном веке или в средневековье более мускулистый противник побеждал слабейшего. В атомную эпоху запустить ракету может ребенок, нажав нужную кнопку. Квинтяне уже не владеют выбранной ими стратегией. Наоборот: стратегия владеет ими. И если она натолкнулась на разницу в строе, то подчинила ее себе вплоть до полного стирания. Если бы этого не произошло, конфликт закончился бы победой одной из сторон. Активность сферомехии этому противоречит.

— Дай оптимальные правила игры в контакт при таком диагнозе.

— Правящие круги планеты знают, что перехват наших кавитаторов вызвал катастрофу. Никто, кроме них, не мог провести эту акцию.

— Значит ли это, что сферомехия подчиняется им в радиусе от Квинты до луны?

— Необязательно. Граница их оперативного поля не может быть шаром с поверхностью, резко и ровно отграниченной от чуждой им сферы.

— Делаешь ли ты из всего этого выводы о составе штабов?

— Содержание вопроса понял. Мысль, с которой носят некоторые члены экипажа, — о небιологических штабах, а затем о мертвой планете с компьютерами, сражающимися после гибели квинтян, — абсурдна. Компьютеры, хотя и лишены чувства самосохранения, действуют рационально. Это значит, что они придерживаются принципа минимакса с возможно большим прогностическим опережением. Они могут сражаться до тех пор, пока в борьбе есть реальный вариант успеха. Если функцией расплаты в конце игры оказывается полное уничтожение, минимакс падает до нуля. Концепцию сумасшедших компьютеров я отбрасываю. В конце концов спектральные и спиннографические улики показывают присутствие живых существ.

— Хорошо. И что же из этого?

— В штабах достаточно машин для расчетов, но есть и квинтяне. Последствия лунной катастрофы их не коснулись: в конфликте такой длительности и такого масштаба ничто так хорошо не защищено, как штабы. Тебе известно уже, что людские потери не являются для штабов аргументом, склоняющим к контакту.

— Приведи неотразимый аргумент.

— Ну вот. Пришло время назвать вещи своими именами. Опосредованный нажим недостаточен. Тебе придется действовать напрямую, командир.

— Пригрозить штабам?

— Да.

— Массированным ударом?

— Да.

— Интересно. Ты считаешь убийство людей, ведущих себя антиразумно, лучшим способом вступить с ними в контакт? Что же нам, высаживаться на планету в качестве археологов истребленной нами цивилизации?

— Нет. Ты должен пригрозить сидеральным ударом самой планете. Они видели, как распалась их луна.

— Но это же будет блеф. Поскольку мы возобновляем требования контакта, мы не можем уничтожить потенциальных собеседников. Не надо особой хитрости, чтобы это понять. Они сочтут это пустой угрозой — и будут правы.

— Угроза не должна быть вовсе пустой.

— Разрушить кольцо?

— Командир, зачем ты ведешь с машиной еженощные споры, вместо того чтобы лечь спать, если сам знаешь, что нужно делать?

Голос умолк. Стиргард вставил в щель кристаллик.

— Прошу прощения, — сказал он. — Это уже последняя беседа.

Голубая контрольная лампочка загорелась. Снова послышался монотонный голос GOD'a:

— Могу утешить тебя, командир. Я исследовал стабильность сферомагии экстраполяцией в будущее до границ прогностической уверенности. Независимо от числа противников и от диаметра, которого достигнет пространство борьбы, эта цивилизация погибнет. Самая простая модель событий — карточный домик. Он не может быть неограниченно высоким. Любой в конце концов распадется; это очевидно и без расчетов.

— Карточный домик? А конкретнее?

— Теория Голенбаха. При высоком уровне знаний нет незаменимых людей. Если бы не было Планка, Ферми, Лизы Мейтнер, Эйнштейна, Бора, открытия, приведшие к атомным бомбам,

сделал бы кто-нибудь другой. Монополия, достигнутая американцами, была недолгой и вызвала противодействие. Ядерными снарядами можно шаховать противника десятки лет. Можно учитывать их точность и поражающую мощь. Сидерология таких шансов не дает. К познанию ядерных реакций, критической массы и цикла Бете вело несколько шагов. Сидеральная же инженерия обретается единым махом. До открытия предела Голенбаха не известно ничего, а потом — все. В фазе обратимости гонки вооружений еще возможны переговоры о войне и мире; тот, кто откроет ядерный козырь, может воспользоваться им как старшей мастью, но не обязан им сыграть. В фазе космической сферомехики тот, кто первым откроет сидерологию, сыграет ею немедленно. А это нарушит равновесие пространства военных игр, потенциально симметричного для обычных и ядерных военных средств. На планете невозможно пантажировать сидерологией. Невзрывные термоядерные реакции долго не поддавались управлению из-за термических утечек плазмы и плохой устойчивости удерживающих ее полей. В течение нескольких десятков лет успех казался недостижимым. Трудности овладения гравитацией похожи, но в астрономическом масштабе. Нельзя начать с малого: прежде выделить из урановой руды изотоп с атомной массой 235, потом запустить цепную реакцию в сверхкритической массе, синтезировать плутоний и таким образом получить запальник водородной бомбы. Здесь исследовательским полигоном должно быть небесное тело. Фазе сидерологии предшествует фаза тератроновых аномалонов. Поэтому напрасно физики удивлялись тому, что сделал «Гавриил». Если бы квинтяне его перехватили, то после демонтажа вышли бы на след Голенбаха. «Гавриил» должен был расплавить себя тератроном. Я припоминаю, что предлагал построить ему саморазрушающий заряд.

— Почему ты тогда не объяснил этого подробно?

— Я не всеведуш. Оперирую теми данными, которые вы мне даете. Твои физики, командир, сочли перехват «Гавриила» невозможным, потому что ни один из объектов сферомехики не развивал и одной десятой тяги «Гавриила». У меня были данные, но не доказательства. Эту невозможность они взяли с потолка. Трудно сказать, хорошо или плохо, что мой двоюродный брат в «Гаврииле» выказал такую молниеносную сообразительность. Если бы он позволил поймать себя, не было бы уже и речи о контакте, а разговор бы шел либо о возвращении, либо о сидеральной битве с Квинтой, как с игроком такой же мощи, как и мы. А если даже исключить их сидеральный удар по «Гермесу», то нам пришлось бы удирать сквозь обломки разваливающейся сферомехики. То,

что должно было погубить их через пятьдесят или сто лет, началось бы сейчас. Блок, обученный сидерологии «Гавриилом», не стал бы ждать, когда противник сравняется с ним. Он упредил бы его своим ударом.

— Это только спекуляции.

— Разумеется. Но не взятые с потолка. Я допускаю, что кто-то хотел превратить луну в исследовательский полигон. Он не знал еще, что никакой плазмотрон не даст мощности, открывающей предел Голденбаха. А кто-то выгеснил его с луны, но сам не имел достаточно сил, чтобы там утвердиться. Кто-то объявил шах королю. Король был инфантом-недорослем. Но другой блок тоже дал шах. Не знаю, какой фигурой. Но такой, что получился пат. На луне. А за ее пределами игра продолжалась.

— Почему до сих пор ты не представил этих соображений?

— Если сейчас ты назвал мои выводы спекуляциями, то до лунокрушения назвал бы бредом GOD'а. Желаете ли ты выслушать и мою версию теперешнего положения дел на Квинте?

— Говори.

— Ключ к критическому этапу этой истории — кольцо. В период ускоренного индустриального развития на планете было много государств, среди которых выделялась группа вырвавшихся вперед, сотрудничающих между собой стран. Дело дошло до выхода в Космос и использования атомной энергии. Одновременно произошел демографический взрыв — в государствах, более слабых в промышленном отношении и сильных только людскими резервами. Передовые страны решили увеличить заселяемые площади путем понижения уровня океана. Единственным способом оказалось выбрасывание воды за пределы атмосферы — мне неизвестна техника, примененная для этого, я знаю только средства, явно недостаточные для такого предприятия. Сотни кубических километров воды, конечно, не транспортировали ни на космических кораблях, ни при помощи помп и брандспойтов. Первый вариант потребовал бы недостижимого количества топлива и ракет. Второй нельзя осуществить потому, что выбрасываемые потоки, вернее перевернутые водопады, а лучше — водовзлеты, не достигнув первой космической скорости, испарились бы от трения о воздух и вернулись в атмосферу.

Но есть, по-видимому, и осуществимые методы. Вот один из них. Нужно пробить атмосферу каналами типа грозовых разрядов, и вслед за каждой молнией — бьющей с океанического берега в термосферу по синергической линии — выстрелит струя водяного пара. Это сильно упрощенная схема. Можно создать в атмосфере своего рода электромагнитные пушки, разумеется, без стволов —

в виде туннелей для бегущих вращающихся импульсов, разгоняющих ионизированный водяной пар. Можно придать воде дипольные свойства и нетермическим путем. На Земле такой гидроинженерией занимался некий Рахман. Он утверждал, что можно разогнать воду до первой космической скорости и таким образом создать вокруг Земли ледяное кольцо, но это кольцо не будет стабильным, поэтому на следующей фазе проекта следует ускорить его вращение, чтобы оно превратилось в центрифугу и разлетелось со второй космической скоростью в течение двухсот или четырехсот лет. В противном случае — когда ускорение ослабнет после прекращения работ — из-за трения о верхние слои атмосферы — на планету будет возвращаться больше воды, чем за то же время выбросят метательные устройства. Нет смысла говорить о подробностях. Достаточно сказать, что еще с «Эвридики» замечено было рассеивание кольца в его припланетной области и расплощивание и, таким образом, расширение внешнего обвода.

Это не могло быть выгодно никому на планете. Возвращающиеся воды дают нечто большее, чем ливневые дожди: они создают зону непрерывного дождя между тропиками с переменным максимумом осадков по временам года, поскольку ось вращения планеты наклонена относительно эклиптики, подобно земной. Средняя годовая температура упала на два градуса Кельвина. Ледяной щит затеняет дневную часть планеты и отражает солнечный свет. Техническая авария вполне возможна, но ее могли бы устранить через некоторое время. Однако нет никаких следов ремонтных работ. Ненадежность планетной инженерии не может быть причиной прекращения работ. Ее следует искать где-то в другом месте — в политической разделенности цивилизации. Об исходных условиях мы знаем одно: они благоприятствовали проекту, который не мог быть реализован иначе, как при глобальном единении сил, которое затем распалось. Эпоха сотрудничества, по крайней мере в области технологии, продолжалась около ста лет. Отклонения в десять или двадцать лет для кризисной стадии несущественны. Что вызвало уход от общего пути? Локальные войны? Экономические кризисы? Сомнительно. Течение политических дел невозможно реконструировать сейчас, в момент, который мы застали, его можно оценить лишь при помощи модели, называемой цепью Маркова. Это стохастический шаговый процесс, стирающий собственные следы. Опираясь на то, что космические пришельцы обнаружили бы в двадцатом веке на Земле, без использования хроник они не смогли бы при помощи ретрополяции дойти, к примеру, до крестовых походов. Поэтому белое



пятно я возьму таким предположением: развитие держав ведущей группы было неравномерным. Зародыш антагонизма тлел уже во время сотрудничества. Владычество одной военной силы на планете тогда было невозможно. Слабейшие также участвовали в глобальном процессе, но кооперация постепенно превращалась из подлинной в мнимую.

Антагонизм проявился необязательно напрямую и неожиданно. Может быть, блоков было больше — три или четыре, — но для минимума эргодического столкновения достаточно двух противостоящих. Началась гонка вооружений. Она вызвала сначала прекращение работ, направленных на рассеивание ледяного обруча в Космосе. Предназначавшиеся на это средства и мощности были вложены в вооружение. Разбивать ледяное кольцо таким образом, чтобы его разрушение не принесло ущерба жителям всех континентов, стало невыгодно для сверхдержавы, которая внесла главный вклад в этот проект, поскольку положительными результатами работы воспользовался бы и противник. Противник рассуждал и действовал аналогично. С тех пор ни одна из сторон не касалась кольца, хотя оно и обрушивалось ледяными лавинами на планету, — втянувшись в раскручивающуюся спираль вооружений, они уже ничего не могли поделать. Затем эскалация вытолкнула гонку в космическое пространство. Так мог выглядеть пролог и первый акт. Мы прибыли в середине следующего — и, не ведая о том, нырнули в глубь многослойной сфероматии с невинным солнцем посередине.

— Повторяю вопрос: почему ты не представил этой ретроспекции раньше? Случаев было достаточно.

— Различные версии того, что я рассказал, существуют на борту, они высказывались приватно или открыто. Ни одной из них доказать нельзя. Границы воображения лежат далеко за границами сотворения теорий.

Отдельные данные накапливались постепенно, как фрагменты головоломки. Пока их было немного, из них можно было сложить бесчисленное количество мозаик, заполняя разрывы и пустоты бесосновательным вымыслом. Я действую по принципу комбинаторики. Если бы я обрушил на вас все варианты комбинаций, вам пришлось бы неделями выслушивать доклады, заполненные предостережениями сомнительной вероятности. Кроме того, я получал распоряжения, противоречащие твоим приказам. Доктор Ротмонт, например, добивался спиноскопии Квинты. Я объяснил ему, что просвечивание Квинты всей наличной мощностью бортовых агрегатов не удастся скрыть и тем самым уменьшатся шансы контакта. Поскольку он настаивал, я выслал легкие

спиноскопы, способные к маскировке. Об этом ты и сам знаешь, командир. Ротмонт питал надежду, что разглядит то, чего этим способом разглядеть нельзя. Он ничего не достиг, но не я разрушил его надежду. Я выполнил его желание, поскольку это не могло принести вреда. Гипотезы, пока они не принимаются за основу реальных действий, могут быть ошибочными, но не губительными.

Голубой огонек погас. Пилоты и Накамура, хотя и сидели за одним столом со Стиргардом и Араго, точно так же погружившись в кресла, казались только зрителями, которые не могут вмешаться в разыгрываемую сцену. Словно их и не было при этой встрече.

— Таково мое объяснение, — сказал Стиргард. — Ваше предположение изволили однажды сказать, что дело находится в добрых руках. Я тогда ничего не ответил — не потому, что тем, кого хвалят, приличнее молчать, а потому, что знал, насколько различны для нас понятия добра и зла. Решение о новом шаге я уже принял. Никто из нас не может повлиять на то, что произойдет. Я также. Мне не хотелось бы задеть никого из присутствующих. Но время бескомпромиссного действия — это и время полной откровенности. Наш второй пилот сказал глупость. Мы прибыли сюда не для того, чтобы бросить вызов, и вступаем в поединок не для того, чтобы защитить честь Земли. Если бы это было так, я не принял бы командования экспедицией. Человек может охватить и удержать в сознании немного. Поэтому огромное предприятие распадается в его голове на части. Средства легко могут заслонить цель и сами стать целью. Принимая командование, я вначале попросил времени для размышления, чтобы мысленно отступить и охватить весь гигантский объем трудов СЕТИ и SETI. Миллионы рабочих часов, затраченных на космических верфях, полеты к Титану, совещания и переговоры в столицах Земли, фонды, собранные в банках; все это — выражение надежды, которая не была дешевой сенсацией для газет. Коллективы ученых просчитывали бесконечное число вариантов игры в контакт, чтобы найти среди них безупречный или хотя бы оптимальный, ведущий к цели. Я взвесил все это, чтобы уяснить себе, что на «Эвридике» или на «Гермесе» я — всего лишь один из муравьев человеческого муравейника, затерянного в бесконечных пространствах Космоса, а значит, беру на себя задачу сверх своих сил, да и выше сил любого человека. Отказаться тогда было легко. Изъявляя же согласие, я не знал, что нас ждет. Знал только, что выполню свой долг так, как это будет необходимо. Если бы я снова стал собирать совет, то уже не для совершенствования действий, а лишь для того, чтобы снять с себя тяжесть, которая на меня возложена. Хотя бы

частично переложить ответственность на других. Но я решил, что не имею на это права. Поэтому принял решение самостоятельно. Никто уже не сможет повлиять на то, что произойдет. Но каждый по-прежнему имеет право на мнение и голос. И прежде всего ваше преподобие.

— Вы намерены разбить это кольцо?

— Да. Аппаратура уже монтируется в кормовом зале.

— Разрушение кольца отбросит его от планеты?

— Нет. Триллионы тонн упадут на планету. Глыбы будут слишком велики, чтобы расплавиться. Они заденут даже сильно защищенные места. Кроме того, верхние слои атмосферы окажутся сдутыми, что уменьшит давление на уровне моря примерно на сто баров. Это будет предупреждением.

— Это будет убийством.

— Вероятно.

— Хотите вынудить контакт такой ценой?

— Нет. Контакт уже отошел на второй план. Это будет попытка спасти их. Предоставленные сами себе, они подойдут к пределу Голенбаха. Известны ли вашему преподобию таинства сидеристики?

— Я знаю ее настолько, насколько может знать неспециалист. Астрогатор, вы основываете человекоубийство на гипотезе? И не на своей, а на машинной?

— У нас нет ничего, кроме гипотез. А машина помогла мне. И существенно. Впрочем, мне известна идиосинкразия, которую вызвал в церковных кругах *Animus in Machina*<sup>1</sup>.

— Мне она несвойственна. На ваше объяснение, астрогатор, я отвечаю своим. Человек часто не замечает того, что видят окружающие. GOD говорил об унификации способов, которыми сражаются на Квинте противники. Вас это также касается.

— Не понимаю.

— Вы отбросили прежний образ действий, потому что почувствовали, что парламентаризм необходимо заменить единовластием. Я не сомневаюсь в благородстве ваших намерений. Вы хотите взять ответственность за дальнейшие шаги на себя. Тем самым вы уподобились квинтянам, вы стали их зеркалом. А именно: жестокостью принятых вами решений. Хотите отвечать ударами на их удары. Поскольку они сильнее всего укрепили свои пятаки, именно по ним вы хотите нанести сильнейший удар. Тем самым — я умышленно пользуюсь вашими словами — вы подчинили прежнюю структуру отношений между людьми «Гермеса» структуре выбранной стратегии.

---

<sup>1</sup> Дух в Машине (лат.).

— Это было выражение GOD'а.

— Тем хуже. Я не утверждаю, что машина повлияла на ваше решение. Но она тоже стала зеркалом. Увеличивающим вашу агрессивность, вызванную фрустрацией.

Стиргард впервые выказал признаки удивления. Однако по-прежнему молчал, а монах продолжал:

— Военные операции требуют авторитарных штабов. Именно это произошло на планете. Но мы вовсе не обязаны включаться в этот тип действий.

— Я не говорил о войне с Квинтой. Это инсинуации.

— Увы, это правда. Войну можно вести и без объявления, без употребления этого термина. Но мы прибыли сюда не для обмена ударами, а для обмена информацией.

— Я бы охотно на это пошел, но каким образом?

— Проще простого. На счастье, принцип военной тайны на борту корабля не соблюдается. Я знаю, что в ангарах строится солнечный лазер, который должен ударить по планете.

— Не в саму планету. В кольцо.

— И в атмосферу, которая составляет жизненно важную часть планеты. Солнечный лазер — солазер, как говорят физики, — можно использовать не для человекоубийственных ударов, а для передачи информации.

— Мы передавали ее уже сотни часов без всякого результата.

— Действительно, странная ситуация, при которой именно мне видна возможность, которую не видят специалисты вместе с премудрой машиной. Сигналы, высланные нашим спутником, «послом», требовали специальных устройств для приема, антенн, декодеров — я не знаток радиотехники, — но если Квинта охвачена войной, то все приборы, способные принимать радиосигналы, милитаризованы. Адресатами, таким образом, являются генеральные штабы, а не население Квинты. Если оно и было информировано о нашем прибытии, то именно так, как вы излагали: лживо и коварно, так, чтобы в глазах квинтян мы предстали имперским флотом вторжения. Одним словом, жестокими врагами. А вы, командир, при помощи солазера хотите превратить эту ложь в правду.

Стиргард слушал его с удивлением — более того, казалось, он потерял прежнюю категоричную уверенность.

— Об этом я не подумал...

— Но это же очень просто. Вы с GOD'ом забрались в такие высоты утонченной теории игр — минимакс, квантование пространства решений! Человек и машина взлетели в такие эмпирии, что уже незаметны им стали зеркальца, которыми играют дети,

пускающая солнечных зайчиков. Солазер может оказаться таким зеркалацем для всей Квинты. Ведь он будет давать вспышки более яркие, чем солнце. Их заметит каждый, кто удосужится поднять голову.

— Отец Араго, — проговорил Стиргард, наклонившись к нему через стол, — блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное. Вы побили меня. Мне досталось сильнее, чем GOD'у от нашего пилота... Как это пришло вам в голову?

— Я играл с зеркальцами в детстве, — с улыбкой сказал доминиканец, — а GOD никогда не был ребенком.

— Как способ передачи информации это великолепно, вмешался Накамура. — Но смогут ли они ответить? Если поймут.

— До зачатия было благовещение, — возразил Араго. — Может быть, они и не сумеют ответить так, чтобы мы их поняли. Пусть по крайней мере они ясно поймут нас.

Темпе, который смотрел на монаха с нескрываемым восхищением, не мог дольше молчать.

— Это поистине «эврика!»... но есть ли у них зеркала? Ведь зеркала не конфискуются и во время войны...

Монах, казалось, не слышал, что-то мучило его. Тихо, медленно произнося слова, он сказал:

— У меня есть просьба. Я хотел бы обменяться несколькими словами с вами с глаза на глаз — если вы согласны и остальные не будут возражать.

— Хорошо. Одолжим эту идею у отца Араго. Коллега Накамура, нужно будет произвести доработку, чтобы солазер мог сканировать Квинту, но кроме оптических проблем здесь возникает информационная. Такая сигнализация предполагает адресатов с элементарным образованием.

Когда физик и пилоты вышли, Араго встал.

— Прошу простить мне то, что я сказал вначале. Я пришел в уверенности, что застану вас одного, астрогатор. На затею с зеркальцами я не смотрю слишком оптимистично. Ее можно было бы изложить и перед менее высоким руководством. Как предложение неспециалиста для оценки людьми компетентными. Такая сигнализация может провалиться или бросить нас из огня да в полымя. Уже в своей основе замысел слишком антропоцентричен. Вы ведь сначала почувствовали гнев, обиду, а потом облегчение.

— Скажем, так. Но к чему вы клоните?

— Не к духовному утешению. Для того чтобы разработать технические аспекты этой попытки, вам и другим специалистам придется воспользоваться услугами GOD'а.

— Разумеется. Он сделает расчеты и тому подобное. Что здесь такого? Составит программу. Сделает то, что лежит в границах возможного. Не считаете же вы, что он — *advocatus diaboli*?

— Нет. И я не явился сюда как *doctor angelicus*. Мне кажется, я не должен заверять вас, что я — христианин?

Стиргард снова почувствовал себя захваченным врасплох таким поворотом разговора.

— И все-таки к чему вы клоните? — повторил он.

— К теологии. Чтобы вы могли меня лучше понять, я изложу ее в словах не просто светских, но в моих устах даже святотатственных. Я оправдываюсь перед своей совестью только беспрецедентной ситуацией. Язык физики вам ближе, чем герменевтика религиоведения. В переводе на язык понятий физики разные ипостаси Божественного соответствуют разным спектральным линиям материи, вездесущей и той же самой во всей Вселенной. Приняв такое сравнение, можно сказать, что кроме спектра тел существует спектр вер. Он простирается от анимизма, тотемизма, политеизма вплоть до веры в личного Бога. Земная линия моей веры истолковывает его как семью, одновременно человеческую и божественную. Известны ли вам теологические споры, вызванные проектом SETI, — особенно с тех пор, как поиски Иных породили эту экспедицию?

— Правду говоря, нет. Вы считаете, что я должен был знать их?

— Пожалуй. Для меня, однако, это было обязанностью. В моей Церкви точки зрения разошлись. Одни утверждали, что испорченность природы Сотворенных может быть повсеместной и эта повсеместность выходит за рамки земного понятия «*katholicos*»<sup>1</sup>. Что возможны миры, в которых дело не дошло до Искупительной Жертвы, и потому они осуждены. Другие считали, что спасение как выбор между Добром и Злом, данный милостью Божьей, явилось повсюду. Этот спор создал угрозу для Церкви. Организаторы и участники экспедиции были поглощены своей работой. Их не волновали сенсации, увеличивающие тиражи газет. Преступления и секс к тому времени уже несколько поблекли, а экспедиция «Эвридики» дала пищу для газетных шуток, достигавших эффекта тем, что выражение «*credo quia absurdum*»<sup>2</sup> приобретало множитель, достаточно эффективно компрометирующий этот постулат. Представьте себе тысячи планет с множеством райских яблок там, где нет яблонь; оливок, которых и Сын Божий не проглотит, потому что там не растут оливковые деревья; ди-

<sup>1</sup> Вселенский (*греч.*).

<sup>2</sup> Верю, потому что нелепо (*лат.*).

визии пилатов, умывающих руки в миллиардах сосудов; леса распятий, толпы иуд, непорочные зачатия у существ, сама физиология размножения которых исключает такое понятие, поскольку они обходятся без копуляции, — одним словом, перемножение евангелий на множество ветвей всех галактических спиралей делало наше кредо карикатурной пародией на веру. Из-за этих арифметических фокусов Церковь утратила многих верующих. Почему это не коснулось меня? Потому, что христианство требует от человека больше, чем можно требовать. Требует не только прекращения жестокости, подлости и лжи. Оно требует любви, обращенной к извергам, лжецам, палачам и тиранам. *Amā et fac quod vis*<sup>1</sup> — этой заповеди ничто не уничтожит. Прошу не удивляться такой проповеди на борту такого корабля. Моя обязанность — смотреть дальше, чем простираются шансы экспедиции, которая должна столкнуть друг с другом чуждые разумы. Ваши обязанности — другие. Попробую это объяснить. Если бы вы стояли в переполненной спасательной лодке, а тонущие, для которых не осталось места, хватались бы за борта, из-за чего лодка могла бы перевернуться, вы обрубили бы им руки. Правда?

— Боюсь, что так. Если бы не было другого спасения.

— В этом разница между нами. Это значит, что вы не отступаете.

— Это правда. Я понимаю притчу с лодкой. Я не буду ждать, пока она затонет. Буду пытаться спасти эту цивилизацию всеми силами, которые у меня есть.

— И при необходимости геноцидом?

— Да.

— Таким образом, мы вернулись к исходному пункту. Мне удалось отсрочить эту неизбежность. Ничего больше. Не так ли?

— Так,

— И вы готовы спасать жизнь, лишая жизни?

— В этом, собственно, и заключается смысл вашей притчи, отец Араго. Я выбираю меньшее зло.

— Становясь убийцей?

— Я не отвергаю этого определения. Возможно, что я никого не спасу. Что погублю и нас, и их. Но я не умою руки. Если мы погибнем, «Эвридика» получит известие. Известие о состоянии дел и о том, что я исключаю отступление, что я уже двинулся вперед.

— В моей эсхатологии нет меньшего или большего зла, — сказал Араго. — С каждым убитым существом гибнет целый мир.

---

<sup>1</sup> Люби и делай что хочешь (лат.).

Поэтому арифметикой нельзя измерять этику. Неотвратимое зло находится за пределами меры. — Монах встал. — Не стану больше отнимать у вас время. Может быть, вы хотите продолжить разговор, который я прервал?

— Нет. Хочу остаться один.

## СКАЗКА

Перегородки, разделявшие оба зала в корме «Гермеса», были убраны. Их стальные плоскости ушли в среднюю часть корабля, и только широкие следы подвижных опор, темнеющие на светлом фоне металла цилиндрических стен, показывали, где они были недавно, так что огромное помещение напоминало ангар, который изменил свое назначение, после того как из него вывели необыкновенной величины цеппелин. На высоте примерно двадцати этажей над следами втянутых перегородок, вблизи от выпуклого свода, словно две белые мушки, присевшие на пшангоуте, проходящем поперек, от штирборта до бакборта, висели пилоты, Гаррах и Темпе, прицепившись карабинами своих поясов, чтобы в невесомости сквозняк не сдул их с выбранного места. Трудно было сказать, куда они, собственно, смотрели, но им казалось, что вниз. В гигантском безлюдном помещении шла мерная, быстрая, неустанная работа. Блестевшие эмалью желтые, голубые, черные автоматы, попеременно поворачивая свои захваты вбок и вперед, словно в абсолютно синхронной гимнастике, делали наклоны, оборачивались назад, к другим, подававшим своими клешнями детали для монтажа. Они строили солазер.

Это была ажурно-решетчатая конструкция размером с эсминец. Наполовину готовый ее скелет выглядел как сложенный, спирально закрученный зонтик великана, обтянутый вместо ткани сегментами перекрывающих друг друга зеркальных чешуек. Поэтому он вызывал ассоциации с допотопной рыбой или каким-то вымершим подводным гадом, костяк которого машины складывали, словно палеонтологи. В удаленной от пилотов передней части, там, где на туловище колосса должна была находиться голова, сверкали тысячи искр в струйках синего дыма — на ободах преобразователя шла лазерная сварка.

Солазер был задуман как фотонный излучатель, работающий на солнечной энергии; сейчас срочно перепрограммированный комплекс монтажных машин переделывал его в зеркальце для пуска солнечных зайчиков. Правда, тераджоулевой мощности.

Концепция эта возникла сначала из-за опасения физиков,



что, воспользовавшись снова сидеральной технологией с ее специфическими гравитационными — и не только гравитационными — эффектами, они могут выдать планете нежелательные сведения, которые подведут тамошних оружейных мастеров вплотную к пределу Голенбаха. Поэтому вместо источников, использующих это явление, они решили обратиться к несколько устаревшей технике — преобразователям излучения. Повиснув перед диском солнца, солазер должен был распахнуться, словно веер, и обращенными к солнцу поглотителями всасывать его хаотическое, всеволновое излучение и сжимать его в монохроматический таран. Почти половина воспринимаемой мощности служила солазеру для охлаждения, без которого он тут же испарился бы от солнечного жара. Но оставшейся эффективной мощности хватало, чтобы столб направленного света диаметром двести метров на выходе излучателя, расширившись втрое из-за неизбежного рассеивания на пути до Квинты, мог резать ее кору, как раскаленный нож — масло. Под этим дальнобойным огненным острием десятикилометровый слой океанской воды разверзся бы до дна. Напор вод, рвущихся со всех сторон в пропасть испаряющегося кипятка, был бы неощутим для светового меча. Сквозь облака, вздымающиеся из кипящего океана, по сравнению с которыми гриб термоядерного взрыва показался бы капелькой, солазер мог врыться в подокеанскую плиту, просверлить литосферу и проникнуть в глубь Квинты на четверть ее радиуса. Но никто не собирался вызывать такую катастрофу. Солазер должен был только чиркнуть по ледяному кольцу и термосфере планеты. Поскольку и от этого пока отказались, можно было переделать световое осадное орудие в сигнализатор. Эль Салам и Накамура хотели путем незначительной доделки решить сразу две задачи. Нужно было довести разборчивый сигнал до всех адресатов одновременно. Очевидным условием такого контакта, хотя бы и одностороннего, было допущение, что планета населена существами, наделенными зрением, а также достаточным интеллектом, чтобы понять суть послания.

Первое условие не зависело от авторов послания. Они не могли одарить глазами незрячие существа. Другое же требовало от передающей стороны недюжинной изобретательности, учитывая, что квинтянские власти явно противились непосредственному контакту незваных гостей из Космоса с населением. Сигнал должен был упасть световым дождем на все континенты планеты, пробив густую пелену туч, причем сплошная облачность была даже выгодна, потому что прошивающие ее световые иглы нико-му и в голову бы не пришло счесть за солнечные лучи.

Самым крепким орешком была суть сообщения. Учить азбуке, посылать какие-то цифры, универсальные физические постоянные материи было бы бессмысленно. Солазер ожидал в кормовом зале, готовый к старту. Но не трогался в путь. Физики, информатики, экзобиологи зашли в тупик. У них было все, кроме программы. Саморазъясняющихся кодов не бывает. Говорили и о цветах радуги: фиолетовые и черные ультрафиолетовые цвета печальны, средние оптические полосы светлее — зелень, растения, то есть буйная жизнь; красный ассоциируется с агрессивностью — но это у людей. Кода же, как ряда что-то означающих конкретных сигнальных единиц, из полосок спектра не создашь. Тогда второй пилот внес свою лепту. Надо рассказать квинтянам сказку. Использовать облачное небо как экран. Спроецировать на него серию изображений. Над каждым континентом. Как позже выразился присутствовавший при этом Араго, *obstupuerunt omnes*<sup>1</sup>. Специалисты и вправду остолбенели.

— Технически это возможно? — спросил Темпе.

— Технически — да. Но стоит ли? Представление на небесах? Но чего?

— Сказки, — повторил пилот.

— Идиотизм, — разозлился Кирстинг, который двадцать лет посвятил изучению космолингвистики. — Может быть, с помощью рисунков ты передал бы что-нибудь пигмеям или аборигенам Австралии. Все человеческие расы и культуры имеют какие-то общие черты. Но там же нет людей!

— Не важно. У них техническая цивилизация, и они уже воюют в Космосе. Это значит, что до того они прошли каменный век. И тогда уже воевали. И эпохи оледенений были на этой планете, когда они еще не строили ни домов, ни вигвамов. Значит, наверняка сидели в пещерах. А для того, чтобы им повезло, на стенах рисовали знаки плодородия и животных, на которых они охотились. Как заклинания. Или сказки. Но о том, что это сказки, они узнали несколько тысяч лет спустя от ученых. Таких, как доктор Кирстинг. Хотите пари, что они знают, что такое сказки?

Накамура рассмеялся первым. За ним остальные, кроме Кирстинга. Экзобиолог и космолингвист в едином лице не принадлежал, однако, к людям, которые защищают свое мнение любой ценой.

— Трудно сказать... — Он колебался. — Если эта идея не кирстинская, то гениальная. Допустим, что мы покажем им сказку. Но какую?

---

<sup>1</sup> Все обмерли (лат.).

— А это уже не моя забота. Я не палеозтонолог. А что касается замысла, то он не совсем мой. Доктор Герберт еще на «Эвридике» дал мне том фантастических рассказов. Я время от времени заглядывал в него. Наверное, оттуда и забрела мне в голову эта идея...

— Палеозтонография?.. — вслух думал Кирстинг. — Смутно представляю себе. А вы?

Такого специалиста на корабле не оказалось.

— Может быть, в памяти GOD'a что-нибудь есть... — сказал японец. — Так, наугад стоит поискать. Но не сказки. Это должен быть миф. А вернее, общий элемент, мотив, фигурирующий в самых древних мифах.

— Дописьменной эпохи?

— Разумеется.

— Да. С самого начала их пракультуры, — согласился Кирстинг. Его даже увлекла эта идея, но он тут же спохватился: — Подождите. Мы должны явиться им в качестве богов?

Араго возразил:

— Это было бы затруднительно, собственно, потому, что не наше превосходство мы должны им показать и не нас самих. Речь идет о возвещении добра. О благой вести. Во всяком случае, такой смысл я вкладываю для себя в предложение нашего пилота, поскольку сказки обычно хорошо кончаются.

Так начались обсуждения двоякого рода: попытки решить, какие общие черты могли иметь Земля и Квинта — черты жизненной среды, а также развившихся в ней растений и животных, — и одновременно просеивание собраний легенд, мифов, преданий, ритуалов и обычаев, для того чтобы выделить наиболее устойчивые, смысл которых не могли стереть тысячелетия сменяющихся исторических эпох.

В первой группе вероятных постоянных оказались: наличие двух полов, обычное у позвоночных; питание животных, а также разумных существ на суше; смена дня и ночи, а значит, луны и солнца, а также холодных и теплых времен года; существование травоядных и плотоядных, то есть пожираемых и пожирающих, добычи и хищников — ибо повсеместное вегетарианство можно считать весьма маловероятным. А если так, то в протокультуре будет охота, каннибализм — явление вполне возможное, хотя и не безусловно; так или иначе, охота становится общим фактором, поскольку, согласно теории эволюции, она способствует росту разума.

Гипотеза о том, что первичные человекообразьяны прошли через кровавый естественный отбор и это стало причиной роста

массы мозга, встретила некогда решительный отпор как инсинуация, оскорбление человечества, мизантропическое измышление сторонников естественной эволюции, более обидное, чем провозглашаемое ими же родство людей и обезьян.

Археология, однако, подтвердила эту теорию, собрав неопровержимые доказательства в ее пользу. Правда, плотоядность не приводит всех хищников к интеллекту; чтобы это произошло, должно осуществиться множество особых условий. Мезозойским хищным пресмыкающимся было далеко до разумности, и нет указаний на то, что они дошли бы до разума, подобного человеческому, если бы их не истребила катастрофа на стыке мелового и триасового периодов, вызванная гигантским метеоритом, который разорвал цепи питания глобальным охлаждением климата. Присутствие разумных существ на Квинте не подлежало сомнению. Но произошли они от местных пресмыкающихся или от вида, не появлявшегося на Земле, не имело значения. Важен был тип их размножения. Но даже если квинтяне не принадлежали ни к плацентарным млекопитающим, ни к сумчатым, на наличие у них двух полов указывала генетика: биологическая эволюция даст преимущество именно этой системе размножения. То, чем наделяет потомство чисто биологический тип передачи, заключенный в половых клетках, еще не дает шанса культурогенезу, ибо при этом способе передачи видовые признаки меняются в темпе, рассчитанном на миллионы лет. Ускоренный рост массы мозга требует ограничения инстинктов, наследуемых биологически, и роста роли обучения, получаемого от соплеменников. Существо, которое является на свет, зная благодаря генетической программе «все или почти все» необходимое для выживания, может действовать избирательно, но не в состоянии в корне изменять жизненную тактику. А того, кто с этим не справляется, нельзя считать разумным.

Значит, и здесь у истоков было наличие двух полов, была неизбежно и охота, и вокруг этих первопричин разрасталась протокультура. Таков двучленный зачаток и корень.

А в чем он проявляется и как отпечатывается в протокультуре? В том внимании, которое уделяется этим корням: полу и охоте. Еще до возникновения письменности, до выработки незвериных приемов пользования телом, та ловкость, которой требует охота, переносится из реальных эпизодов в их образы; еще не как символы — как магическое приглашение Природе, чтобы она дала желаемое. Это пока еще просто изображения, их рисуют, потому что можно их нарисовать; точно так же вытесывается из камня подобие того, что можно вытесать и что хочется получить для себя.

И так далее. GOD начал с этих основных положений и выполнил поставленное задание: адаптировать, опираясь на отношения полов и на охоту, миф, конкретизированный в виде картин, — рассказ, послание, зрелище с актерами: солнцем, танцем на фоне радуг, но это в эпилоге, а в начале была борьба. Кого с кем? Неопределенных фигур, но явно прямоходящих. Одинаковых. Нападение и борьба, кончающиеся общим танцем.

Солазер повторял это «всепланетное зрелище» в нескольких вариантах в течение трех суток с короткими перерывами, означающими конец и начало, причем фокусировка была такой, что изображение появлялось в поле зрения, ограниченном центральной областью облачных экранов над каждым континентом ночью и днем. Гаррах и Полассар отнеслись к проекции скептически. Допустим, они увидят и даже поймут. Что из того? Разве мы не разбили их луну? Это было менее радостное представление, но более доходчивое. Допустим даже, что они сочтут это за знак мирных намерений. Кто? Население? Но имеет ли вообще значение мнение населения во время столетней космической войны? Разве на Земле пацифисты когда-нибудь брали верх? Что они могут сделать, чтобы подать голос — если не нам, то хотя бы своим владыкам? Убеди детей, что война — бяка. И что из этого выйдет?

Тем временем Темпе вместо удовлетворения от реализации своей идеи чувствовал какое-то парализующее беспокойство. Чтобы избавиться от этого ощущения, он отправился на прогулку по кораблю. «Гермес» был, собственно, бесплодным гигантом — жилая часть вместе с отсеком управления и лабораториями занимала ядро, не большее, чем шестиэтажный дом. Там были еще кроме пульта управления энергетикой госпитальные помещения, небольшой зал заседаний, которым не пользовались, под ним — кают-компания с автоматической кухней, а дальше — зона отдыха, зал тренажеров, плавательный бассейн, наполняемый только тогда, когда корабль давал такую возможность, двигаясь с достаточной тягой, иначе вода вылетала бы в воздух каплями размером с воздушный шарик; был также полуовальный амфитеатр, предназначенный для развлечений и зрелищ, в котором также не бывало ни единой души. Все эти удобства, так заботливо приготовленные строителями корабля для экипажа, оказались пятым колесом в телеге. Кому пришло бы в голову смотреть, к примеру, изысканнейшие голографические представления? Для команды эта часть средних палуб как бы не существовала — может быть, и потому, что события последних месяцев делали нелепой саму мысль о пользовании ими. Зрительный зал и бассейн были отлично продуманы архитекторами — как и развлекательный уголок:

там не были забыты ни бар, ни павильоны, как в луна-парке маленького городка. Все это должно было создавать иллюзию земной жизни, однако тут, как утверждал Герберт, проектировщики забыли посоветоваться с психологами. Иллюзия, в которую невозможно верить, воспринимается как издевательство, и вовсе не в ту сторону направлялся Темпе, выбрав маршрут для прогулки.

Пространство между ядром и наружным панцирем корабля, где проходили бимсы и шпангоуты, было разгорожено на отсеки, в которых размещался легион работающих и отдыхающих агрегатов. В это пространство можно было войти через герметические люки, расположенные на противоположных концах корабля: на корме — за санитарными помещениями, а с носа — из коридора верхней рулевой рубки. Вход в кормовой отсек закрывали наглухо запертые и накрест заклиненные задвижками ворота, над которыми всегда горели красным предостерегающие надписи — там, в недоступных для людей камерах, в кажущейся мертвенности покоились сидеральные преобразователи, колоссы, подвешенные в пустоте, как легендарный гроб Магомета, на невидимых магнитных растяжках. За носовой люк, напротив, можно было проникнуть — и как раз туда направлялся пилот. Ему нужно было пройти через рубку, и там он застал Гарраха, занятого манипуляциями, которые в других обстоятельствах могли бы вызвать смех: Гаррах был на дежурстве, ему захотелось выпить сока из банки, он слишком энергично открыл ее и теперь, плывя наискось к потолку, гнался с соломинкой во рту за желтым шаром апельсинового сока, слегка колеблющимся, как большой мыльный пузырь, чтобы всосать его — и быстро, прежде чем сок облепит лицо. Открыв дверь, Темпе задержался, чтобы волна воздуха не разбила шар на тысячи капель, подождал, пока охота Гарраха не завершилась удачей, и только потом ловко оттолкнулся и полетел в нужном ему направлении.

Обычная координация движений ни к черту не годится при невесомости, однако старый опыт вполне вернулся к нему. Ему уже не надо было раздумывать, как закрепить ноги, подобно альпинисту в скальном «камине», чтобы открутить оба винтовых запорных колеса люка. Новичок на его месте сам бы завертелся на месте, пытаясь повернуть эти колеса со спицами — вроде тех, которыми снабжаются банковские сейфы. Он быстро закрыл за собой люк, потому что воздух, заполняющий носовой отсек, не обновлялся и отдавал горькими испарениями химикатов, как в заводском цеху. Перед ним было сужающееся вдаль пространство, слабо освещенное длинными цепочками ламп, с закрытыми двойной решеткой прорезями в бортовых стенках, и он неспешно ныр-

нул в его глубину. Привыкая на ходу к горечи на губах и в гортани, он миновал окисленные корпуса турбин, компрессоров, термогравитаторов, все их галереи, площадки, лесенки, ловко облетая гигантские трубопроводы, выступающие, словно арочные пролеты у резервуаров воды, кислорода, гелия, — толстостенные, с широкими воротниками фланцев, стянутыми венцами болтов, пока не уселся на одном из них, словно мушка. И в самом деле, он был мушкой внутри стального кита. Любой резервуар здесь был выше колокольни. Одна из ламп, видимо, перегорающая, мерно мигала, и в этом колеблющемся свете выпуклости резервуаров то темнели, то прояснялись, будто посеребренные. Он хорошо ориентировался здесь. Из отсека запасных емкостей поплыл вперед, туда, где в массивных выгородках средних этажей сияли в блеске собственных ламп ядерноспиновые агрегаты, подвешенные к мостовым кранам, с заглушенными жерлами. На него повеяло резким холодом от покрытых инеем гелиопроводов криотронных установок. Мороз был так силен, что он поспешно воспользовался ближайшим поручнем, чтобы не прикоснуться к этим трубам и не примерзнуть к ним, как муха, попавшая в паутину. Ему нечего было тут делать, и потому он чувствовал себя словно на экскурсии: он даже испытывал некоторое удовлетворение от этого мрачного, безлюдья корабля, свидетельствующего о мощи. В донных трюмах помещались закрепленные самоходные экскаваторы, тяжелые и легкие погрузчики, а дальше рядами стояли контейнеры — зеленые, белые, голубые — для инструментов, для ремонтных автоматов, а у самого носа — два большехода с огромными вращающимися колпаками вместо голов. Случайно, а может быть, и умысленно он попал в сильный поток воздуха, вырывающегося из нагревательных решеток вентиляции, и его сдуло к бакбортовым шпангоутам внутреннего панциря, похожим на мостовые фермы. Он ловко использовал полученный импульс, чтобы оттолкнуться, хотя сделал это, может быть, слишком сильно. Как прыгун с трамплина, полетел головой вперед, наискось, медленно вращаясь, к поручням крытой листовым металлом носовой галереи. Ему нравилось это место. Он сел на поручень — скорее притянул себя к нему обеими руками, — и теперь перед ним открылся миллион кубометров носовых корабельных трюмов; далеко вверху светились три зеленые лампочки над люком, через который он вошел. Под ним — во всяком случае, под его ногами, которые, как всегда в невесомости, казались чем-то неудобным и лишним, — находились автоматические подушечники, закрепленные на сложенных сейчас спусковых пандусах, и огромная крышка входа в стартовый туннель, напоминающий ствол орудия ужаса-

ющего калибра. Но едва он перестал двигаться, его снова охватило то же самое беспокойство, какая-то непонятная опустошенность, неизвестно откуда взявшееся странное ощущение — тщетности? сомнения? страха? Чего ему было бояться? Сейчас, в этот момент, даже здесь он не мог избавиться от незнакомой ему до сих пор внутренней скованности. Он по-прежнему ощущал это огромное тело, которое несло его, как мелкую частицу своей мощи, сквозь вечную бездну, — полное силы, вибрирующей в реакторах сверхсолнечным жаром, оно было для него Землей, ее разумом, сжатым в энергию, взятую у звезд. Земля была здесь, а не в жилых помещениях, с их глупым уютом и комфортом — словно для пугливых детей. Он чувствовал за спиной панцирь, его четыре слоя, разделенные энергопоглощающими камерами, заполненными веществом, твердым при ударе, как алмаз, но обладающим специфической плавкостью: оно могло самозатягиваться при повреждениях, ибо корабль, словно организм, одновременно мертвый и живой, обладал полезной способностью к регенерации. И тут, как в озарении, он нашел слово, определение своего теперешнего состояния: отчаяние.

Часом позже он пошел к Герберту. Его каюта, удаленная от других, находилась в конце второго межпалубного отсека. Врач выбрал ее за простор и окно во всю стену, выходящее в оранжерею. В ней росли только мхи, трава и бирючина, а по обе стороны гидропонического бассейна зелнели волосатые, с серым отливом шары кактусов. Деревьев не было, только кусты орешника, потому что их прутья могли переносить большие перегрузки во время полета. Герберт ценил эту зелень за окном и называл ее своим садом. Из коридора можно было войти туда и прогуляться по дорожкам — конечно, только при гравитации; к тому же недавняя встряска, вызванная ночной атакой, произвела там немалые опустошения. Герберт, Темпе и Гаррах спасали потом что могли из поломанных кустов.

Согласно решению, принятому экспертами SETI во время подготовки экспедиции, GOD наблюдал за поведением всех людей на «Гермесе», чтобы определять их психическое состояние, и это ни для кого не было тайной.

Необходимо было знать, не наступят ли при долговременном стрессе, которому будут подвергаться предоставленные самим себе люди, отклонения от нормы, типичные для психодинамики групп, годами отрезанных от обычных семейных и социальных связей. В подобной изоляции может поддаться нарушениям даже личность, ранее абсолютно уравновешенная и защищенная от душевных травм. Фрустрация переходит в депрессию или в агрессию.



сивность, а те, с кем это происходит, почти никогда не отдают себе в этом отчета.

Присутствие на борту врача, хорошо разбирающегося в психологии и нарушениях психики, не гарантирует выявления патологических явлений, поскольку он также может поддаться стрессам, непосильным для самого мужественного характера. Врачи ведь тоже люди. Машинная же программа, напротив, отличается устойчивостью и будет полезна как объективный диагност и невозмутимый наблюдатель, даже если произойдет катастрофа и корабль должен будет погибнуть.

Правда, эта защита разведчиков от коллективного сумасшествия несла в себе угрозу непреодолимого противоречия. GOD все-таки должен был выполнять функции одновременно подчиненного и руководителя команды, выполнять приказы и следить за психическим состоянием приказывающих. Тем самым он получал статус послушного орудия и категоричного начальника. От его постоянного надзора не освобождался даже командир. Вся загвоздка была в том, что осознание того факта, что существует наблюдение, которое обязано вовремя обнаружить психические травмы, само было своеобразной травмой. Но от этого средств уже не было. Если бы GOD выполнял эту функцию втайне от людей, он вынужден был бы раскрыть ее, уведомив их о выявленной аберрации, и такое сообщение стало бы не психотерапией, а шокком. Этот порочный круг как будто удалось разорвать, создав перекрестную обратную связь между ответственностью людей и компьютера. Он передавал свои диагнозы, когда считал это необходимым, в первую очередь командиру и Герберту, не проявляя в дальнейшем никакой инициативы. Ясное дело, никто не встретил этого компромисса с энтузиазмом, но никто также, включая и духоведческие машины, не нашел лучшего выхода из дилеммы. GOD, компьютер последнего поколения, не был подвержен эмоциям; он был поднятым до уровня величайшей мощи экстрактом рационального действия, без примеси аффектов или инстинкта самосохранения; он не был развитым при помощи электроники человеческим мозгом, не имел никаких черт, которые принято называть личностными, характерологическими, никаких страстей, если не считать страстью стремление к получению максимума информации — но не власти. Первые изобретатели машин, усиливающих мощь не мускулов, но мысли, поддались иллюзии, которая одних притягивала, а других ужасала: они-де вступают на путь такого увеличения разумности в мертвых автоматах, что те сначала уподобятся человеку, а затем, также на человеческий манер, превзойдут его. Потребовалось несколько десят-

ков лет, чтобы их последователи убедились, что отцы кибернетики и информатики слишком увлеклись антропоцентрической фикцией: ведь человеческий мозг есть дух в машине, которая не является машиной. Составляя с телом неразрывную систему, мозг одновременно служит ему и им же обслуживается. Если бы кому-то захотелось так очеловечить автомат, чтобы он в психическом отношении ничем не отличался от людей, то успех при всем его совершенстве оказался бы абсурдом. По мере неизбежных доработок и усовершенствований очередные образцы в действительности станут все более похожи на людей и одновременно сделаются все более бесполезными, от них все меньше можно будет добиться той пользы, какую приносят, к примеру, гига- или терабитовые компьютеры высших поколений. Единственной разницей между человеком, рожденным от отца и матери, и максимально очеловеченной машиной будет только строительный материал — в первом случае живой, а во втором — мертвый. Очеловеченный автомат будет таким же сообразительным, но и таким же ненадежным, ущербным и руководимым в своем интеллекте эмоциональными мотивами, как человек. В качестве виртуозного подражания естественной эволюции, увенчанной антропогенезом, это будет превосходным достижением инженерной мысли и вместе с тем — курьезом, с которым неизвестно, что делать. Это будет выполненная из небιологического сырья великолепная подделка под живое существо типа позвоночных, класса млекопитающих, отряда приматов, живородящего, двуногого, с двуполушарным мозгом, потому что именно путем симметрии в формировании позвоночных пошла эволюция на Земле. Неизвестно, однако, какую выгоду из этого гениального платиата могло бы извлечь человечество. Как заметил один из историков науки, это напоминало бы ситуацию, в которой удалось бы при колоссальных капиталовложениях и теоретических разработках построить фабрику, вырабатывающую шпинат или артишоки, способные к фотосинтезу, как все растения, и ничем не отличающиеся от настоящего шпината или артишоков, кроме того что они несъедобны. Такой шпинат можно было бы показывать на выставках и похвалиться мастерством синтеза, но нельзя было бы съесть, и тем самым весь труд, вложенный в его производство, оказался бы поистине безумной затеей. Первые проектировщики и сторонники «машинного разума» сами, вероятно, не знали, к чему они стремятся и на что надеются. Разве дело в том, чтобы можно было разговаривать с машиной, как с посредственным или даже с очень умным человеком? Это можно сделать, но неужели тогда, когда численность человечества достигла четырнадцати миллиардов,

самой срочной потребностью оказалось искусственное производство умственно человекообразных машин? Короче говоря, компьютерный разум все отчетливее расходился с людским, помогал ему, продолжал, дополнял его, содействовал в решении задач, непосильных для человека, и поэтому не имитировал его и не повторял. Пути решительно разошлись.

Машина, запрограммированная так, чтобы никто, включая и ее творца, не мог отличить ее при интеллектуальном контакте от домохозяйки или от профессора международного права, является их имитатором, неотличимым от обычных людей, пока кто-нибудь не попытается жениться на этой женщине и иметь от нее детей, а профессора пригласить на завтрак. Если же ему удастся завести от нее детей, а с профессором съесть continental breakfast<sup>1</sup>, то, следственно, он имеет дело с окончательным стиранием грани между естественным и искусственным — но вот что из того? Можно ли производить искусственные звезды путем сидеральной инженерии, причем абсолютно идентичные космическим? Можно. Непонятно только, зачем понадобилось бы их сотворять. Историки кибернетики признали, что ее праотцам светила надежда разрешить загадку сознания. Конец этой надежде положил успех, достигнутый в середине XXI века, когда компьютер тридцатого поколения, необычайно разговорчивый, интеллигентный и смущающий собеседников своим умственным человекоподобием, спросил их однажды, знают ли они, что такое сознание в том смысле, который обычно придают этому определению, ибо он сам этого не знает. Это был компьютер, способный к самопрограммированию, и, выбравшись из начальных условий, как дитя из пеленок, он настолько развил в себе способность к имитации человека-собеседника, что его никак не удавалось «разоблачить» как машину, которая притворяется человеком, не будучи им. Однако это ни на волосок не приблизило ученых к разгадке тайны сознания, поскольку машина в этом вопросе знала столько же, сколько и люди. Да и как могло быть иначе? Они получили результат действия «самоантропизирующейся» программы, которая знала о сознании то же самое, что и они. Один выдающийся физик, присутствовавший при этой дискуссии, сказал, что машина, которая мыслит так же, как человек, знает о механизме собственного мышления столько же, сколько человек, то есть ничего. Может быть, из ехидства, а может быть, желая подсластить пилюлю, он рассказал разочарованным триумфаторам, что с подобными трудностями столкнулись его коллеги по профессии, когда

---

<sup>1</sup> Континентальный (французский) завтрак (англ.).

век назад решили припереть материю к стенке, чтобы она при-  
зналась, является ее природа волновой или дискретной. Материя  
оказалась, увы, коварной: она зловредно запутала результаты экс-  
периментов, в ходе которых выяснилось, что она может быть и  
такой, и такой, а под перекрестным огнем дальнейших исследо-  
ваний окончательно сбита их с толку, ибо чем больше о ней уз-  
навали, тем меньше это вязалось не только со здравым смыслом,  
но и с логикой. Наконец они были вынуждены согласиться с ее  
признаниями: частицы могут быть волнами, волны — частицами;  
абсолютный вакуум не является абсолютным вакуумом, потому  
что в нем полно виртуальных частиц, которые делают вид, что их  
нет; энергия может быть отрицательной, и, таким образом, энер-  
гии может быть меньше, чем ничего; мезоны в пределах гейзен-  
берговской неопределенности проделывают обманные трюки, на-  
рушая священные законы сохранения, но так быстро, что никто  
их на этом мошенничестве не может поймать. Все дело в том,  
успокаивал своих собеседников этот выдающийся физик, лауреат  
Нобелевской премии, что на вопросы о своей «окончательной  
сущности» мир отказывается давать «окончательные» ответы. И  
хотя уже можно действовать гравитацией, как дубинкой, никто  
по-прежнему не знает, «какова сущность» гравитации. Поэтому  
нет ничего удивительного в том, что машина ведет себя так, будто  
обладает сознанием, но для того, чтобы выяснить, такое ли оно,  
как у человека, пришлось бы самому переделываться в эту маши-  
ну. В науке необходима сдержанность: есть вопросы, которые  
нельзя ставить ни себе, ни миру, а тот, кто их все-таки ставит,  
подобен тому, кто недоволен зеркалом, которое повторяет каждое  
его движение, но не желает ему объяснить, каков волевой источ-  
ник этих движений. Несмотря на это, мы пользуемся зеркалами,  
квантовой механикой, сидерологией и компьютерами с немалой  
для себя пользой.

Темпе не раз заходил к Герберту, чтобы побеседовать на по-  
добные темы, а именно об отношении людей к GOD'у. На этот  
раз он пришел к врачу с тревогой более личного свойства: он не  
был склонен к откровенничанию даже с человеком, вернувшимся  
ему жизнь, — а может быть, именно потому, словно считал, что  
обязан ему слишком многим. Он вообще держал при Герберте  
язык за зубами и остерегался его с тех пор, как на «Эвридике»  
узнал от Лоджера секрет обоих врачей — не покидающее их чув-  
ство вины. К этому визиту подтолкнуло его не само отчаяние, а  
то, что оно явилось неизвестно откуда, внезапно, как болезнь, и  
он утратил уверенность, может ли дальше исполнять свои обя-  
занности. Он не имел права это скрывать. Чего стоило ему это

решение, он понял, только открыв дверь: при виде пустой каюты почувствовал облегчение.

Хотя корабль двигался без тяги и в нем царила невесомость, командир приказал всем приготовиться к возможному в любую минуту гравитационному скачку — то есть закрепить подвижные предметы, а личные вещи запереть в стѐнных шкафах. Несмотря на это, каюта была в беспорядке: книги, бумаги, стопки снимков не были убраны, лишь кое-как зафиксированы, а это не вязалось с обычной, граничившей с педантичностью, аккуратностью Герберта в наведении порядка. Затем Темпе увидел и его самого через огромное окно во всю стену: врач ползал на коленях в своем саду за стеклом, накрывая кактусы пластиковой оболочкой. Объявленную готовность он начал выполнять именно с этого. Темпе через коридор добрался до оранжереи и пробормотал какое-то приветствие. Тот, не оборачиваясь, отстегнул ремень, прижимавший его колени к земле — настоящей земле, — и так же, как гость, поднялся в воздух. В другом конце сада по наклонной сетке вились растения с мелкими, похожими на мох листьями. Темпе уже не однажды хотел спросить, как эти выюнки называются — он не смыслил в ботанике, — но каждый раз забывал. Врач, не говоря ни слова, бросил лопатку так, что она воткнулась в газон, и воспользовался импульсом, который себе придал, чтобы потянуть за руку пилота. Оба отлетели в угол, где в гуще орешника стояли плетеные кресла, вроде садовых, но снабженные поясами безопасности.

Пока они усаживались и Темпе думал, с чего начать, врач сказал, что уже ожидал его. Тут нечему удивляться: «GOD видит всех».

Данные о психическом состоянии получают не прямо от машины, а через врача, чтобы избежать синдрома Хикса — чувства полной зависимости от главного бортового компьютера, которое может привести к тому, чему и должен воспрепятствовать психиатрический надзор. К мании преследования и к другим параноидальным явлениям. Кроме психоников, никто не знает, в какой степени каждый человек «психически прозрачен» для следящей программы, так называемого духа Эскулапа в машине. Нет ничего проще, чем спросить об этом у них, однако установлено, что даже психоники плохо переносят такие откровения, когда им говорят о них самих, и уж тем более плохо влияет это на дух команды во время дальних полетов.

GOD, как любой компьютер, запрограммирован так, чтобы в нем не могла возникнуть ни малейшая черточка личности, и в качестве вечно бодрствующего наблюдателя он, в сущности, —

никто, и в нем, когда он ставит диагноз, не больше человеческого, чем, к примеру, в термометре, когда им измеряют жар; однако определение температуры тела никогда не возбуждает таких направленных вовне защитных рефлексов, как измерение психического состояния. Ничто так нам не близко и ничего мы так тщательно не скрываем от окружающих, как интимнейшие переживания собственного сознания, — и вдруг оказывается, что аппаратура, более мертвая, чем египетская мумия, может просматривать это сознание со всеми его закоулками насквозь. Для профанов это выглядит чем-то вроде чтения мыслей. Но здесь нет и речи о телепатии — попросту машина знает каждого подопечного лучше, чем он сам с двадцатью психологами, вместе взятыми. Опираясь на исследования, проведенные перед стартом, она создает в себе систему параметров, имитирующую психическую норму каждого члена экипажа, и оперирует ею, как образцом; к тому же она вездесуща на корабле благодаря сенсорам своих терминалов и, пожалуй, больше всего узнает о наблюдаемых, когда они спят, — по ритму дыхания, рефлекторному движению глазных яблок и даже по химическому составу пота, потому что каждый потеет неповторимым образом, а с ольфактором такого компьютера не мог бы равняться никакой гончий пес. Ведь у собаки нет диагностического образования в дополнение к нюху. Однако хотя компьютеры наголову победили врачей, как и всех шахматистов, мы пользуемся ими только как помощниками и не даем им функций докторов медицины, потому что люди внушают людям больше доверия, чем автоматы. Одним словом — Герберт говорил это не спеша, растирая в пальцах сорванный с орешника листок, — GOD сопровождал пилота незаметно в его «экскурсиях» и счел последние проявлением кризиса.

— Какого еще «кризиса»? — не выдержал пилот.

— Он так называет сомнение в целесообразности наших сифовых трудов.

— То есть что у нас нет шанса на контакт?..

— Как психиатр GOD не интересуется шансами контакта, а только тем значением, которое мы им придаем. По его мнению, ты уже сам не веришь ни в действительность твоего замысла — того, со «сказкой», — ни в смысл договариваться с Квинтой, даже если бы до этого дошло дело. Что ты на это скажешь?

Пилот ощутил такое бессилие, будто падал куда-то, оставаясь неподвижным.

— Он нас слышит?

— Разумеется. Ну, не волнуйся. Ведь и так все, что я сказал, тебе известно и самому. Нет, подожди, не говори пока ничего.

Ты знал и одновременно не знал, потому что не хотел знать. Это типичная реакция самозащиты. Ты не исключение, мой дорогой. Однажды, еще на «Эвридике», ты спросил меня, зачем все это и нельзя ли от этого отказаться. Помнишь?

— Да.

— Вот видишь. Я объяснил тебе, что по статистике экспедиции с постоянным психическим контролем имеют больше шансов на успех, чем без такого контроля. И даже показал данные этой статистики. Аргумент неопровержимый, но ты сделал одну вещь, которую делают все: спихнул это все в подсознание. Ну, как диагноз? Совпадает?

— Совпадает, — сказал пилот.

Обеими руками он ухватился за ремень на груди. Орешник тихонько шумел над ними от легкого ветерка. Искусственного.

— Не знаю, как это ему удалось, но хватит об этом. Да, это правда. Не знаю, как давно я ношу это в себе... Я... в общем, мышление словами непривычно для меня. Слова для меня как-то... слишком медленны... а ориентироваться я должен быстро... это, наверное, старый навык, еще до «Эвридики»... Но что ж, если надо... Мы бьемся головой о стенку. Может быть, и пробьем — и что из того? О чем мы сможем с ними говорить? Что они могут сказать нам? Да, сейчас я уверен, что этот фокус со сказкой пришел мне в голову, как увертка. Для того чтобы оттянуть время. Это не было надеждой, скорее бегством. Чтобы двигаться вперед, стоя на месте...

Он замолчал, тщетно стараясь отыскать нужные слова. Орешник колыхался над ними. Пилот снова открыл рот, но ничего не сказал.

— А если они согласятся на посадку одного разведчика, полетишь? — спросил после долгого молчания врач.

— Наверняка! — вырвалось у Темпе, и только потом он добавил с удивлением: — А как же? Ведь для этого мы и здесь...

— Это может оказаться ловушкой... — сказал Герберт так тихо, словно хотел утаить свое замечание от вездесущего GOD'а.

Так, по крайней мере, показалось и пилоту, но он сразу же счел это бессмыслицей, а в самом факте такого предположения усмотрел признак собственной ненормальности — теперь он готов приписать GOD'у злой умысел или хотя бы враждебность. Словно против них были не только квинтяне, но и собственный компьютер.

— Это может быть ловушкой, — подтвердил он, как запоздалое эхо. — Наверняка может.

— И ты полетишь, невзирая ни на что?..

— Если Стиргард даст мне шанс. Об этом еще нет и речи. Если они вообще ответят, первыми высадятся автоматы. Согласно программе.

— Согласно нашей программе, — согласился Герберт. — Но у них есть и своя. А?

— Конечно. Они приготовят для первого человека группу детей с цветами и красный ковер. Автоматы они не тронут. Это было бы слишком глупо — с их точки зрения. А нас попробуют поймать в сачок...

— Ты так думаешь — и хочешь лететь?

У пилота дрогнули губы. Он улыбнулся.

— Доктор, я не склонен к мученичеству, но ты путаешь две вещи: то, что думаю я, и то, зачем и кто послал нас сюда. Нет смысла препираться с командиром, когда он отчитывает за глупость. Думаешь, если я не вернусь, он только попросит ксендза помолиться за мою душу? Готов дать голову на отсечение, что он сделает так, как я сдуру подсказал.

Герберт ошеломленно смотрел в его прояснившееся лицо.

— Это был бы ответ — не только чудовищный, но и бессмысленный. Тебя он не воскресит, если ударит, — ведь не послали же нас сюда для уничтожения чужой цивилизации. Как ты связываешь одно с другим?

Пилот больше не улыбался.

— Я трус, потому что не отважился признаться себе в том, что не верю уже в успех контакта. Но я не настолько труслив, чтобы уклониться от выполнения моего задания. У Стиргарда — свое, и он также от него не отступит.

— Но ты сам считаешь это задание невыполнимым.

— Только если придерживаться установки: мы должны прийти к соглашению, а не сражаться. Они отказались — по-своему. Нападением. И неоднократным. Такой последовательный отказ тоже можно считать пониманием — выражением их воли. Если бы Гадес поглотил «Эвридику», Стиргард наверняка не попытался бы его за это разорвать на куски. Другое дело — Квинта. Мы стучимся в их дверь потому, что этого желала Земля. Если они не откроют, мы высадим эти двери. Может быть, мы не найдем за ними ничего похожего на наши ожидания. Этого, собственно, я и опасуюсь. Но мы взломаем эти двери, потому что иначе не выполним волю Земли. Ты говоришь, доктор, что это было бы чудовищно и бессмысленно? Ты прав. Мы получили задание. Сейчас оно выглядит невозможным. Если бы люди с пещерных времен делали бы только то, что казалось возможным, они до сих пор сидели бы в пещерах.



— Значит, ты все еще надеешься?

— Не знаю. Знаю только, что, если будет нужно, обойдусь без надежды.

Он замолчал и задумался, явно смутившись.

— Ты вытянул из меня то, чего обычно не говорят, доктор... а собственно, я сам без нужды вылез с этим «*Nemo me impune lacessit*» у командира, а он поделом осудил меня, потому что есть обязанности, которые следует исполнять, но не хвалиться ими, ибо тут нечем хвалиться. Что сказал обо мне GOD? Депрессия? Клаустрофобия? Ананкастический комплекс?

— Нет. Это все устаревшие термины. Ты знаешь, что такое коллективный комплекс Хикса?

— Так, взглянул только, на «Эвридике». Танатофилия? Нет, как-то по-другому — что-то вроде самоубийственной отчаянности, так?

— Более или менее. Это много сложнее и шире...

— Он признал меня непригодным к...

— GOD никого не может сместить с должности. Ты, думаю, это знаешь не хуже меня. Может дисквалифицировать своим диагнозом, но не больше. Решение принимает командир, консультируясь со мной, а если кто-то из нас впадет в психоз, командование могут взять на себя оставшиеся члены экипажа. О психозах пока речи не идет. Мне хотелось бы только, чтобы ты не так горячо стремился к этой высадке...

Пилот отстегнул пояс, медленно взлетел и, чтобы искусственный зефир не сдул его, ухватился за ветку орешника.

— Доктор... ты ошибаешься вместе с GOD'ом.

Ток воздуха тянул его так сильно, что весь куст начал гнуться. Не желая выдергивать его с корнями, пилот отпустил веточку и крикнул, подлетая уже к дверям:

— Лоджер на «Эвридике» сказал мне: «Увидишь квинтян», и поэтому я полетел...

Корабль дрогнул. Темпе почувствовал это сразу же: стена оранжереи резко двинулась на него. Он извернулся в воздухе, как падающий кот, чтобы амортизировать удар, соскользнул по стене на грунт, дававший уже твердую опору для ног, и, согнув колени, оценил тяготение. Оно было не слишком сильным. Но во всяком случае, что-то произошло. Коридор был пуст, сирены молчали, но отовсюду доносился голос GOD'а:

— Все на места. Квинта ответила. Все на места. Квинта ответила...

Не дожидаясь Герберта, он вскочил в ближайший лифт. Тот тапился целую вечность, поочередно мелькали огни палуб, пол

подпирал его все сильнее. «Гермес» в ускорении уже превысил земное тяготение, но не больше, пожалуй, чем на пол-единицы. В верхней рубке, погрузившись в глубокие гравитационные кресла с поднятыми подголовниками, сидели Гаррах, Ротмонт, Накамура и Полассар, а Стиргард, тяжело опершись на поручень главного монитора, смотрел, как и все, на бегущие по всей его ширине зеленые буквы:

**ГАРАНТИРУЕМ ВАМ БЕЗОПАСНОСТЬ НА НАШЕЙ НЕЙ-  
ТРАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ТОЧКА 46 ГРАДУСОВ ШИРОТЫ  
СТО ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ДОЛГОТЫ КОСМОДРОМ НАШ ПО  
ВАШЕЙ СЕТКЕ МЕРКАТОРА ТОЧКА СОПРЕДЕЛЬНЫЕ  
СТОРОНЫ УВЕДОМЛЕНА ОДОБРИЛИ ПРИБЫТИЕ ВАШИХ  
ЗОНДОВ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТОЧКА ПО-  
ДАЙТЕ НЕОДИМОВЫМ ЛАЗЕРОМ СРОК ПРИБЫТИЯ ВА-  
ШЕГО ПОСАДОЧНОГО АППАРАТА ПО ВРЕМЕНИ ОЗНА-  
ЧЕННОМУ ОДНИМ ОБОРОТОМ ПЛАНЕТЫ В ДВОИЧНОЙ  
СИСТЕМЕ ТОЧКА ЖДЕМ ПРИВЕТСТВУЕМ ТОЧКА**

Стиргард еще раз пустил все сообщение на экран для Герберта и монаха, как только они появились. Потом сел в свое кресло, повернувшись к присутствующим.

— Мы получили ответ несколько минут назад с указанного пункта вспышками солнечного спектра. Коллега Накамура, это было зеркало?

— Возможно. Свет некогерентный — через окно в облачности. Если обычное зеркало, то размером по меньшей мере в несколько гектаров.

— Любопытно. Сигналы принял солазер?

— Нет, они были направлены на нас.

— Очень интересно. Какова сейчас угловая величина «Гермеса», видимого с планеты?

— Несколько сотых секунды дуги.

— Еще интереснее. Свет был сфокусирован?

— Был, но слабо.

— Как вогнутым зеркалом?

— Или рядом плоских, соответственно расставленных на большой равнине.

— Это значит, что они знали, где нас отыскать. Но каким образом и откуда?

Все молчали.

— Прошу высказывать мнения.

— Они могли обнаружить нас, когда мы выпустили солазер, — сказал Эль Салам. Темпе не заметил его раньше: физик подал голос из нижней рубки.

— Это было сорок часов назад, и мы шли без тяги, — возразил Полассар.

— Пока оставим это. Кто из вас верит в их честность? Никто? Вот это — самое удивительно.

— Слишком красиво, чтобы быть правдой, — услышал Темпе голос сверху: на галерее стоял Кирстинг. — С другой стороны, если это западня, они могли бы придумать что-нибудь менее примитивное.

— Что ж, проверим.

Командир встал. «Гермес» шел так ровно, что все гравиметры показывали единицу, словно корабль покоился в земном доке.

— Прошу внимания. Коллега Полассар включил у GOD'a блок программ СГ. Эль Салам погасит солазер и наложит на него маскировку. Где Ротмонт? Отлично — приготовишь два тяжелых посадочных аппарата. Пилоты и доктор Накамура останутся в рубке, а я пойду приму душ и сразу вернусь. Да! Гаррах, Темпе, проверьте, хорошо ли закреплено все, что не любит десяти г. Без моего разрешения никто не должен спускаться в навигаторскую. Все.

Стиргард обошел пульты и, увидев, что только пилоты покинули свои места, бросил от двери:

— Врачей попрошу на их посты.

Через минуту рубка опустела.

Гаррах пересел в другое кресло и, бегая пальцами по клавиатуре, проверял на светящихся схемах интероцепторов состояние всех агрегатов от носа до кормы. Темпе сейчас не был нужен, и он подошел к японцу, который просматривал на подсветке спектры квинтянских сигнальных вспышек, и спросил, что такое «блок СГ». Гаррах наострил уши, потому что тоже до сих пор ничего об этом не слышал. Накамура оторвался от бинокуляров и меланхолично покачал головой.

— Отец Араго будет огорчен.

— Мы переходим на военное положение? Что такое СГ? — допытывался Темпе.

— Содержимое килевого трюма уже не является тайной, господа.

— Того, запертого? Так, значит, там не большеходы?

— Нет. Там есть сюрпризы для всех. Даже для GOD'a. Кроме командира и моей скромной особы. — Видя недоумение пилотов, он добавил: — Штаб SETI счел это необходимым, господа пилоты. Каждый из вас прошел имитационную тренировку посадки в одиночку. Тем самым вы могли бы оказаться в ситуации, скажем, заложника.

— A GOD?

— Это машина. Компьютеры последнего поколения тоже могут подвергнуться взлому, даже дистанционному, и выдать все содержимое программ.

— Но для размещения нескольких отдельных блоков памяти не нужен целый трюм?

— Там нет никаких блоков. Там «Гермес». Нечто вроде макета. Очень красиво и старательно изготовленный. В качестве, скажем так, приманки.

— А эти добавочные программы?

Японец вздохнул:

— Это символы, очень старые. Они ближе скорее вам, чем мне. С — Содом, Г — Гоморра. Прискорбно, особенно для апостольского посланца. Я сочувствую ему.

## СОДОМ И ГОМОРРА

Обычно, когда корабль шел на собственной тяге, у всех членов экипажа поднималось настроение; особенно это чувствовалось в кают-компании, ибо можно было хоть за едой забыть о гордиевом узле, который все сильнее затягивался вокруг них. Уже то, что можно сесть за стол, на котором стоят блюда, что можно обычным способом наливать суп в тарелки, а пиво в стаканы, брать соль, класть сахар в чашку с кофе, означало освобождение от процедур, неизбежных в невесомости, которая, как уже тысячу раз говорилось, не только освобождала человека от оков гравитации, но и наделяла его такой специфической свободой, что не только его поведение, но и само его тело при каждом движении превращалось в посмешище. Рассеянный астронавт — это астронавт в синяках и шишках, обливающий себя и свою одежду любым напитком, гоняющийся по каюте за разлетевшимися от него бумагами, а если он окажется в просторном помещении без материалов для «реактивного движения», то станет существом, более беспомощным, чем новорожденный младенец, ибо невозможно выползти по воздуху из подвешенного положения; забывчивым приходилось в такой затруднительной ситуации использовать для спасения наручные часы, а если этого было недостаточно, то куртку или свитер, так как законы ньютоновской механики проявлялись неумолимо: если на тело в покое не действует никакая сила, то ничто не сдвинет его с места — в полном соответствии с законом действия и противодействия. Во времена, когда Гаррах был еще способен шутить, он сказал однажды, что идеальное

убийство с легкостью можно совершить на орбите и сомнительно, чтобы какой бы то ни было суд мог осудить убийцу: достаточно уговорить жертву раздеться догола перед душем и чуть толкнуть ее так, чтобы она зависла посреди помещения и извивалась там, пока не умрет с голоду, а перед судом можно признаться, что пошел за полотенцем и забыл о нем. Непринесение полотенца не является преступлением, а, как известно, *nullum crimen sine lege*<sup>1</sup>: уголовное право не предвидело криминальных последствий не-весомости.

После введения нового распорядка, названного Темпе «военным положением», настроение у людей несколько не повысилось даже за ужином. Можно было подумать, что кают-компания — трапезная монастыря, где обязателен обет молчания. Все ели, не обращая особого внимания на то, что едят, возложив ответственность за результат на желудки, а переваривали главным образом то, что сообщили им накануне Стиргард. Он представил план операции, причем говорил так тихо, что едва можно было его слышать. Тем, кто хорошо его знал, было известно, что так холодно спокоен он бывает в состоянии крайнего бешенства.

— Приглашение — это западня. Если я ошибаюсь — чего я бы очень желал, — состоится контакт. Однако не вижу никаких оснований для оптимизма. Присутствие на планете нейтрального государства после по меньшей мере столетней войны в стадии сферомехии возможно — но невозможно, чтобы космический гость был принят без согласия борющихся между собой держав. Из сообщения ясно, что они дали такое согласие. Попробуем повернуть ситуацию, представим, что мы — один из генеральных штабов Квинты, и попытаемся ответить на вопрос: как реагировать на призыв, направленный пришельцами ко всему населению. Штаб уже осведомлен о потенциале незваного гостя. Знает, что не может его ликвидировать в Космосе, потому что уже пытался это сделать доступными способами, хотя, может быть, еще не всеми. Знает, что пришельцы в действительности неагрессивны, хотя и пытались добиться контакта путем демонстрации силы, но объектом ее была безлюдная луна, и знает, что со значительно меньшим расходом сил они, несомненно, могут ударить по ледяному кольцу, которое и так скоро развалится. Знает, очевидно, что не он один, даже во временном союзе с противником, а вся Квинта является виновником гибели луны и катастрофических последствий этого; подчеркиваю, он знает это наверняка, поскольку нельзя вести военные действия в космическом масштабе,

---

<sup>1</sup> Нет закона — нет преступления (*лат.*).

не опираясь на высококвалифицированных ученых. Дальнейшие сведения, которыми располагает штаб, можно вывести уже из косвенных улик. Задолго до овладения гравитацией познаются ее свойства вплоть до крайних типа коллапса черных дыр. Способ, которым мы отразили их ночную атаку, был для них неожиданностью. Но если у них есть стоящие физики, они поймут, что гравитационная защита на поверхности планеты так же самоубийственна для корабля, как и нападение. Из теории относительности нельзя вывести такую конфигурацию замкнутого поля тяготения, при которой корабль, излучающий это поле, не уничтожил бы себя вместе с планетой.

Я намерен послать два спускаемых аппарата в указанный район и допускаю, что они не обнаружат никакой опасности. Если квинтяне хотят заманить «Гермес» на планету, эти аппараты вернутся. Но они не должны вернуться ни с чем: там для них что-нибудь инсценируют, чтобы заинтересовать нас и вызвать доверие. Гостеприимные квинтяне покажут, что настоящий контакт — это встреча живых существ с живыми, а не с машинами. На это трудно возразить. И если события пойдут примерно таким образом, «Гермес» будет садиться и вопрос окончательно снимается. Встретив спускаемые аппараты, но не беря их на борт — потому что после всего, что произошло, я предпочитаю сто раз переосторожничать, чем один раз недосмотреть, — объявим о посадке.

Перехожу к подробностям операции. После выброса аппаратов средним ходом движемся от Квинты к Сексте. Для нас выгодно их взаимное расположение по обе стороны от солнца: наши зонды уже исследовали Сексту, и мы знаем, что это — лишенная воздуха планета с высокой сейсмической активностью, и поэтому она не подходит ни для колонизации, ни для устройства военных баз. Угроза, исходящая от планеты, была бы для них опаснее вражеской угрозы. Мы войдем в тень Сексты, а «Гермес», который из-за нее выйдет, издали будет неотличим от нашего корабля. Другое дело — вблизи, но я готов поручиться, что они не будут ему мешать вплоть до вхождения в атмосферу. С точки зрения сидеристики они могли бы атаковать его еще в ионосфере — но я не верю, что они так поступят. Корабль после мягкой, нормальной посадки — гораздо более ценная добыча, чем разбитый остров, и он гораздо меньше защищен от воздействия, чем корабль в процессе посадки, который идет вниз кормой на струе огня и поэтому имеет шанс маневра или бегства.

Этот «Гермес» будет способен передавать и принимать сигналы, будет снабжен силовой установкой, обеспечивающей посад-

ку, правда, лишь одноразовую. Никакой непосредственной связи с нами он поддерживать не сможет. И наконец, в зависимости от того, как его примут, мы им ответим.

— Содом и Гоморра? — спросил тогда Араго.

Стиргард с минуту смотрел на монаха, прежде чем ответил с нескрываемым раздражением:

— Мы не отступим от Священного писания, ваше преподобие, но обратимся к первому его изданию. Новое потеряло для нас актуальность, потому что мы уже неоднократно подставляли щеку. Дальнейших дискуссий не будет. Они бесполезны, поскольку не мы сделаем выбор между Ветхим и Новым заветом, а они. Солазер уже перенастроен?

Эль Салам кивнул.

— А GOD работает по СГ? Хорошо. Тогда приступим к переговорам о посадочных аппаратах. Этим займутся коллеги Ротмонт и Накамура. Но после обеда.

Никто не видел старта аппаратов. Выпущенные в полночь в автоматическом режиме, они помчались к Квинте. «Гермес» повернулся к ним кормой и до утра разгонялся: чтобы достигнуть Сексты, удаленной на 70 миллионов километров, требовалось неполных семьдесят часов при гиперболической скорости. В электронных лабораториях уже началось производство не использовавшихся до сих пор при разведке «диспертов» — «дисперсивных диверсантов», называемых также «пчелиными глазами». Эти миллионные рои микроскопических кристалликов, рассеянные в миллионе кубических миль Космоса около Сексты, должны были обеспечить зрение «Гермесу». Рассыпаемые по следу корабля, они создавали в отдалении от него невидимые глаза. На Земле они служили для апикографии; каждый кристаллик, сам меньше песчинки, прозрачная иголка, соответствовал одной омматидии, столбику пчелиного глаза, рассредоточенного на тысячу миль. «Гермес» тянул за собой этот наблюдающий хвост для того, чтобы, зайдя за Сексту, следить оттуда за судьбой своих компьютерных послов. Одновременно на соответствующем отрезке траектории корабль выпустил телевизионные зонды с ясно видимым огнем реактивной тяги — свои «официальные глаза», которые могли и даже должны были быть замечены квинтянами. В рубке управления дежурил Темпе. Гаррах пришел к нему со старой газетой, которая вывела его из себя; он развернул ее перед коллегой. Газета была того времени, когда на Земле шли жаркие баталии по поводу участия женщин в экспедиции. Сначала Гаррах прочитал отрывок, посвященный семейной жизни, которая должна занять законное место на борту корабля, а также обвинения, ко-

торыми осыпали SETI, захваченный мужской мафией, представительницы вечно угнетаемого женского пола, и это привело его в такое возмущение, что он готов был порвать газету. Темпе, смеясь, удержал его за руки — ведь, что ни говори, это был раритет, почтенная древность в созвездии Гарпии, неизвестно как попавшая в багаж Гарраха. Так он, по крайней мере, утверждал. Темпе придерживался другого мнения, но держал его при себе. Гарраха, с его бурным темпераментом, нужны были такие статьи, чтобы метать против них громы и молнии. Идиотизм, заключенный в требованиях такого равноправия, был слишком очевиден, чтобы уделять ему столько внимания. Женщины — значит, жены, матери, а следовательно, и дети, ясли, детский сад — в тот момент, когда они мчались с заряженными сидераторами в корабле, ничтожно малом, несмотря на его мощь, рядом с чужой цивилизацией, которая втянула их в свою сферомахию, выброшенную в Космос столетия назад, — это казалось абсурдом. А ведь моря чернил были пролиты при обсуждении этого вопроса. Да, мусульмане посылали на фронт двенадцатилетних мальчишек, но ведь не младенцев же в колясках! Гаррах жалел, что не может тут же, сейчас, с глазу на глаз высказать даме, написавшей этот бред, все, что он о ней думает. Темпе, стоя у рулевого управления, то проверял курс и следил за бегущими по экранам мониторов контурами увеличивающегося серпа Сексты, то поглядывал на Гарраха, все еще ораторствующего перед единственным слушателем, и не прерывал его — не хотел подливать масла в огонь, а впрочем, они не были одни: даже в рубке наблюдал за ними GOD. Темпе не был настолько силен в конструкции компьютеров, чтобы быть уверенным, что эта машина, столь хитрая, интеллектуальная и памятливая, лишена хотя бы крупницы свойств личности. Ему недостаточно было уверенний учебников или специалистов. Он предпочел бы сам в этом убедиться, но не знал как, а кроме того, его занимали более серьезные проблемы. Действительно ли Накамура сочувствует отцу Араго? Мороз по коже пробежал у него при мысли, что ощущал бы он, будучи в шкуре апостольского легата.

Тем временем Араго, согласно заданию командира, обсуждал с Гербертом вероятность того, что квинтяне уже сумели распознать биологические характеристики людей, исследуя созданные ими спускаемые аппараты. Хотя их подвергли тщательной стерилизации перед отправкой на планету — так, чтобы на их поверхности не осталось и клеточки кожного покрова пальцев, ни единой бактерии из тех, от которых не может полностью избавиться организм человека, и, хотя автоматы были изготовлены без участия людей, а их энергетическое обеспечение и аппаратура для



обмена информацией соответствовали земной технике восьмидесятилетней давности, Стиргард не намеревался принимать на борт электронных посланцев, когда они вернутся. Он считал это слишком рискованным. Ведь уже первые пойманные «Гермесом» старые продукты этой цивилизации выявили удивительное мастерство квинтян в области паразитарной инженерии. Посадочные аппараты кроме информации, столь же важной, сколь невинной, могут принести гибель, но не в виде инфекции, атакующей немедленно, а вирусов или ультравирусов с долгим инкубационным периодом. Поэтому он спросил у врачей и Кирстинга, подготовлены ли предупредительные средства.

То якобы нейтральное государство, которое выразило согласие принять аппараты, потребовало, чтобы они не имели связи с «Гермесом», так как это условие поставили «сопредельные страны». После того как зонды были поглощены атмосферой, планета окружила себя усиленным шумовым занавесом на всех диапазонах волн. Если бы посланцев снабдили лазерами, способными пробить шумовую оболочку, было бы нарушено принятое условие — и тем более это стало бы явным, если бы «Гермес» стал прокалывать моря туч и хаос радиосигналов лучами своих лазеров.

Не оставалось ничего другого, как следить за Квинтой из-за Сексты тучей голографических глаз. Операция была так синхронизирована, что оба спускаемых аппарата медленно опускались по небосклону и должны были оказаться над Квинтой в момент, когда «Гермес» войдет в тень Сексты. Сбравшись в рубку, все ждали критического момента. Белая от облаков планета целиком заполняла главный монитор, и хорошо видны были рои боевых спутников, черными точками ходивших на фоне облачного диска. Чтобы наблюдать вхождение обеих ракет в атмосферу, к их топливу, гиперголу, примешали натрий и технеций: первый придавал яркий блеск реактивному пламени, а другой метил газы своей спектральной линией, отсутствующей в спектре местного солнца и квинтянских орбитальных машин. Как только аппараты нырнули в атмосферу, огненные нитки — следы трения о воздух и работы тормозных двигателей — начали размазываться; тогда миллиарды глазков, развешенных незаметной гривой на миллион миль за кильватером «Гермеса», сконцентрировали внимание в направлении касательной, проведенной к пункту запланированной посадки — и не напрасно; сев на твердый грунт с разницей во времени в несколько секунд, оба аппарата дали знать об окончании путешествия двойной специально модулированной вспышкой натрия и сейчас же погасли.

Таким образом, операция вступила в следующую фазу. Дон-

ный панцирь «Гермеса» разошелся надвое, как гигантские выпуклые ворота, и манипуляторы выпихнули в пустоту из этого Сезама огромный металлический цилиндр, предназначенный для лабораторного карантина зондов. Гаррах, казалось, был чрезвычайно доволен этим трюком. Тактику Стиргарда одобряли многие, но работа шла без энтузиазма, хотя и слаженно. Радоваться было нечему. Зато первый пилот и не думал скрывать злорадного удовлетворения: наконец-то они сломают хребет этой воинственной планетной бестии. Он просто не мог дождаться возвращения ракет, разумеется несущих ужасную заразу — словно в намерения экспедиции входила жестокая конфронтация сил. Слушая, как он откровенничает, Темпе воздерживался от комментариев, но думал о психических отклонениях, которые, без сомнения, сейчас фиксирует GOD у Гарраха, и ему было стыдно за коллегу, однако временами он и сам не смог бы сказать, чего ему хочется больше: чтобы нарастающий и накапливающийся гнев команды оказался безосновательным или чтобы квинтяне вынудили их на худшее из всех возможных решений. Да он сам уже видел в этой цивилизации врага, беспощадное зло, которое самым своим существованием оправдывало их приготовления. Уже нечего было скрывать. Солазер, погашенный и замаскированный, заряжался солнечной энергией — не для сигнализации, а для нанесения лазерных ударов. Через 48 часов туча голографических глаз дала знать, что посланцы возвращаются. Посадочные аппараты должны были отозваться на ультракоротких волнах, пройдя орбиту, по которой обращались обломки луны, но сигналы начал подавать только один. Другой выдавал непонятную мешанину кодов. Стиргард поделил своих людей на три команды: пилотам поручил вывод фальшивого «Гермеса» на околосолнечную траекторию, физикам — прием аппаратов в цилиндрической камере, отдаленной на несколько десятков миль от «Гермеса», а врачам и Кирсдингу — биологическое исследование зондов, если вторая группа сочтет это допустимым. Экипаж хотя и был разделен на группы, но ориентировался в общей ситуации. Гаррах и Темпе, следя за пустым гигантом, который неспешно отправился в путь, хотя на его корпусе еще искрились огни автоматических сварочных машин, все время поддерживали связь по интеркому с группой Накамуры, ожидающей посланцев. Полассар не исключал обыкновенной аварии в болтающем чепуху передатчике второго аппарата. Гаррах же был уверен, что это работа квинтян: ему не терпелось, чтобы коварство квинтян как можно скорей вылезло, как пило из мешка, и чтобы оно стало лазерной костью у них же в горле. Темпе молчал, в глубине души удивляясь, как такой ожес-

точный человек еще может выполнять ответственную работу первого рулевого. По-видимому, может, раз GOD не донес командиру о его состоянии. А может быть, все уже поддались коллективному безумию? Карантинный цилиндр, ярко освещенный окружающими его прожекторами, принял в свою разверстную пасть спускаемые аппараты. В центре наблюдения физики после предварительной проверки не смогли решить, подвергся ли один из них случайному или намеренному повреждению; это страшно разгневало Гарраха, он-то знал лучше: черное дело квинтян! Через час, однако, обнаружилось, что зонд потерял часть антенны и носового излучателя при столкновении с каким-то небольшим метеорным обломком или куском металла. В этой системе трудно было с чем-нибудь не столкнуться.

На удаляющемся пустом близнеце «Гермеса» во мраке тлели последние накладываемые швы, уже можно было включать тягу, но с этим надо было подождать до приказа командира. Тот, однако, не торопился, ожидая, в свою очередь, результатов экспертизы: в каком состоянии вернулись аппараты и — last but not least<sup>1</sup> — какие они привезли известия?

Известия оказались весьма своеобразными, а посадочные аппараты — если не считать инцидента с антенной — невредимыми и ничем не зараженными. Услышав это, Гаррах не мог удержаться от возгласа:

— Ну что за коварство!

— В конце концов даже в Содоме был некий Лот, — заметил Темпе.

Ему страшно хотелось узнать новости с Квинты, которые до сих пор как-то трудно доходили до рулевой рубки. Наконец Накамура смиловался над пилотами и показал им результат разведки — сюжет, переданный из вакуумной камеры, предусмотрительно удаленной от корабля.

Начинался он со сказки — той самой, что пересказал планете солазер. Затем долго показывались пейзажи: вероятно, природные заповедники, не тронутые цивилизацией. Морские побережья, волны, набегающие на песок, красное заходящее солнце в низких тучах, лесные массивы, зелень которых была значительно темнее, чем земная: огромные кроны некоторых деревьев казались почти серыми. На этом постоянно сменяющемся фоне засветились буквы:

**ПРИЕМ ВАШЕГО РАКЕТНОГО СНАРЯДА МАССОЙ ДО 300 000 МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН ОПРЕДЕЛЕН ПОЛОЖИТЕЛЬ-**

<sup>1</sup> Последнее, но не менее важное (англ.).

## НО ПРИ УСЛОВИИ ВАШЕЙ ПАССИВНОСТИ И ДОБРОЙ ВОЛИ ТОЧКА ЭТО КОСМОДРОМ ТОЧКА

Из тяжелой зеленой мглы выплыла огромная плоскость, видимая с птичьего полета. Она матово поблескивала, как застывшая ртуть. Поразительно тонкими иглами стояли на ней через равные промежутки, как фигуры на шахматной доске, сталагмиты, безупречно белые, остроконечные — и росли. Да, росли — то есть выдвигались вверх, окруженные у основания желтой паутиной сетью, и наконец застыли. На дальнем небосклоне, абсолютно безоблачном, летели птицы — каждая с четырьмя медленно взмахивающими крыльями. Судя по всему, гигантских размеров. Они тянулись, словно журавли, улетающие из холодных стран. Внизу, у сталагмитов — а человеческий глаз уже распознавал в них ракеты, — копошилась какая-то цветная и темная мелочь — целые толпы, вползающие в глубь белых ракет по широким пандусам. Все напрягли зрение, вытаращив глаза, чтобы увидеть наконец, как выглядят квинтяне, но результат был такой же, как если бы гость с Нептуна пытался разглядеть внешний облик человека, глядя с расстояния мили на олимпийский стадион. Цветная движущаяся толпа все клубилась у подножия пандусов и реками втекала в белые, как снег, корабли. На их корпусах блестели вертикальными рядами иероглифов непонятные надписи. Толпа уже редела, и все ждали немедленного старта этой белой флотилии, но она стала опускаться с величественной медлительностью.

Желто-коричневые сети паутины, будто истлевшие, спадали с корпусов, образуя неправильные круги. Вот уже только белые острия возвышались над плоским озером ртути, но и они вошли в черный мрак колодцев, и вовсе не крышки и не ворота замкнулись над ними — сама эта матовая ртуть. Все опустело, из-за края понемногу вползало на экран многоногое, явно не живое, а механическое существо с плоским срезанным рылом. Из него бил фонтан светлой желтоватой жидкости, разливаясь и сразу же бурля, как кипятки: когда он весь испарился, ртуть стала черной, как битумное озеро, многоног изогнулся дугой, так что его средние ноги повисли в воздухе, повернулся прямо на смотрящих на него людей и открыл четыре глаза — или четыре окна? Четыре прожектора? Но выглядели они как большие круглые удивленные рыбы глаза с узкой полоской металлической радужной оболочки и черным блестящим зрачком. Этот механический экипаж, казалось, приглядывался к ним — озабоченно и задумчиво. Словно глядел четырьмя этими зеницами, которые уже не были круглыми, но сузились, как у кошки, и одновременно в их середине слабо подрагивало что-то голубоватое. Затем он снова принял к

черному грунту и, кольхаясь с боку на бок, как сороконожка, убежал из поля зрения. На небе уже не было птиц, но была надпись:

**ЭТО НАШ КОСМОДРОМ ТОЧКА СОГЛАСНЫ НА ВАШЕ ПРИБЫТИЕ ТОЧКА ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ТОЧКА**

Далее шло продолжение — гроза, с молниями, шквалом, косым дождем, секущим ступенчатые постройки, соединенные друг с другом бесчисленными воздушными виадуками. Станный город под хлынувшим дождем — вода лилась по выпуклым крышам, выбивалась из отверстий у подножия мостов, но это были, однако, не мосты, а скорее туннели, трубы с эллиптическими окнами, внутри которых проносились полосы мигающего света. Наземный транспорт? Но ни единой живой души нигде, в глубине улиц — но, поскольку строения были ступенчатые, словно отлитые из металла тольтекские пирамиды, там, собственно, не было улиц, нельзя было даже увидеть уровня основания города, если это только был город, — дождь лил, взметаемый вихрем, который гнал по гигантским зданиям серебристые волны ливня, молнии били беззвучно, с пирамидальных строений вода падала странным образом: собиралась в углублениях вроде водостоков, на конце загнутых кверху, так что мощные струи взлетали в воздух и смешивались с потоком дождя. Но вот одна из молний рассыпалась и стянулась в огненные буквы:

**ГРОЗЫ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ ТОЧКА**

Изображение сделалось пепельным и погасло. Из грязной селости возникли силуэты каких-то развалин. Где-то в глубине отблеском амальгамы дрожал огонь в клубах облаков или дыма. Слой на слое лежали обломки огромных конструкций. На первом плане ровными рядами белели какие-то пятна, словно туловища голых, разорванных существ, вымазанные в грязи. Над этим кладбищем цвета железа засветились буквы:

**ЭТОТ ГОРОД БЫЛ РАЗРУШЕН В РЕЗУЛЬТАТЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ВАМИ ЛУНЫ ТОЧКА**

Надпись исчезла, а изображение все блуждало по руинам, показывая детали непонятных устройств. Одно из них, окруженное защитой из необычайно толстых металлических плит, лопнуло, и внутри — тут телеобъектив сделал наезд — снова разодранные останки, прижизненный облик которых невозможно было угадать — как человеческие трупы, извлеченные из общих могил, — уже почти излохмаченные и цвета глины, — и в резком удалении снова неоглядно раскинувшиеся руины с глубокими рвами, а в них, словно тупорылые наскомые, вгрызались в щебенку челюстями красно-полосатые приземистые бульдозеры. Они упорно

ползли, с натугой ударяя в середину алебастрово-молочного расщепленного фронтона, покрытого пятнами копоти от пожара, пока не рухнула и эта стена и пыль, поднявшись рыжими клубами, не закрыла видимость. Некоторое время в рубке было слышно только учащенное дыхание и стрекот секундомера. Наконец экран прояснился. Появилась странная диадема, кристаллы, прозрачный, как слеза, с углублением не для человеческой головы, с бриллиантово сияющими лучами, а внутри ее дрожал вплавленный закрытый додекаэдр, бледно-розовая шпинель. Над ней надпись: **УВЕНЧАНИЕ КОНЕЦ.**

Но это не был конец: в галогенном слепящем свете темнели на плавном склоне горы безголовые панцирные существа — как стадо скота, пасущееся на альпийском лугу, — напрасно взгляд пытался различить, что это — огромные черепахи? гигантские жуки? Камера поднялась выше, пошла вдоль более крутой скальной стены с черными устьями гротов, пещер; из них текла — нет, не вода, какая-то жижка, рвотно-коричневая. Затем на лиловом слегка колеблющемся фоне побежали слова:

**СОГЛАСНЫ НА ВАШЕ ПРИБЫТИЕ КОРАБЛЕМ ДО 300 000  
МЕТРИЧЕСКИХ ТОНН МАССЫ ПОКОЯ НА ПОКАЗАННОМ  
КОСМОДРОМЕ АА 035 ТОЧКА. УКАЖИТЕ ВРЕМЯ ТОЧКА ГА-  
РАНТИРУЕМ ВАМ МИР ЗАБВЕНИЕ ТОЧКА ПО ВАШЕЙ ЦИ-  
ЛИНДРИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ МЕРКАТОРА МЕРИДИАН  
135 ПАРАЛЛЕЛЬ 48 ТОЧКА ЖДЕМ ВАШЕГО СИГНАЛА  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРИБЫТИИ ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА  
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА**

Монитор погас, и рубку залил белый дневной свет. Второй пилот, сильно побледнев, все еще бессознательно прижимая руки к груди, смотрел на пустой экран. Гаррах боролся с собой: крупные капли пота стекали с его лба и блестели в светлых густых бровях.

— Это... это шантаж, — пробормотал он. — Нас обвиняют в том... что случилось... там...

Темпе вздрогнул, словно внезапно пробудившись.

— Ты знаешь — ведь это правда... разве кто-нибудь нас сюда звал?... Мы попали в самую гущу их несчастий — чтобы их усугубить.

— Перестань! — огрызнулся Гаррах. — Если хочешь покаяния, иди к своему монаху — а меня оставь в покое. Это не просто шантаж... это похитрее. Ох, вижу, как они пытаются взять нас на крючок. Опомнись, парень, это не наша вина, это они...

— Ты сам сначала опомнись. — Темпе встал, он больше не мог спокойно сидеть. — Независимо от того, чем кончится игра,

мы сделали то, что сделали. Контакт разумных, Боже мой... Если уж тебе так необходимо кого-то проклинать, кляни SETI и SETI. И себя — за то, что тебе захотелось стать «психонавтом». А лучше всего — заткнись. Это самая разумная вещь, которую ты можешь сделать.

Вечером Сезам вместе с аппаратами был втянут на корабль. Араго потребовал от Стиргарда, чтобы он собрал общий совет по поводу дальнейших действий. Стиргард решительно отказал. Никаких советов или заседаний до конца решительной фазы программы. Направляемый гамма-лазером фальшивый «Гермес» исчез за выпуклостью Сексты и полным ходом двинулся к Квинте, обмениваясь с ней условными сигналами, паролями и отзывами. Темпе после дежурства хотел увидаться с командиром — тот отказался. Не принимал никого, сидел один в своей каюте. Пилот поехал на среднюю палубу — ему не хватило духу пойти к Араго: он вернулся с полдороги и по интеркому вызвал Герберта, не застав его в каюте. Тот оказался в кают-компании вместе с Кирстингом и Накамурой. Корабль маневрировал, чтобы держать малую тягу; они оставались в тени, и тяготение было слабым. При виде ужинающих коллег Темпе вдруг ощутил, что с утра ничего не ел. Он молча сел за стол, положил себе на тарелку мяса с рисом, но, когда тронул его вилкой, ему в первый раз в жизни сделалось нехорошо при виде этих сероватых волокон; но что-то нужно было съесть, и он, выбросив содержимое тарелки в кухонный слив, взял из автомата подогретую витаминную кашницу. Лишь бы чем-нибудь наполнить желудок. Никто не обратился к нему, и, только когда он сунул тарелку и нож с вилкой в моечную машину, Накамура еле заметной улыбкой пригласил его сесть рядом. Сев напротив японца, который, вытирая губы бумажной салфеткой, ждал, пока уйдет Кирстинг и они останутся втроем вместе с Гербертом, на свой манер наклонив набок голову с гладко причесанными черными волосами, выжидательно смотрел на пилота. Тот пожал плечами в знак того, что ему нечего сказать. Нечего.

— Когда мы отворачиваемся от мира, мир не исчезает, — внезапно сказал физик. — Где мысль, там и жестокость. Они ходят парой. Это приходится принять, если нельзя изменить.

— И поэтому командир никого не допускает к себе? — вырвалось у пилота.

— Это его право, — невозмутимо ответил японец. — Командир, как каждый из нас, должен сохранять лицо. Даже наедине с собой. Доктор Герберт страдает, пилот Темпе страдает, а я не страдаю. Об отце Араго не смею и упомянуть.

— Как это... вы не страдаете?.. — не понял его Темпе.

— Не имею права, — спокойно объяснил Накамура. — Современная физика требует такого воображения, которое не отступает ни перед чем. Это не моя заслуга, это дар моих предков. Я — не пророк и не ясновидец. Я жесток, когда надо быть жестоким, в противном случае тоже не смог бы есть мяса. Кто-то однажды сказал: «Nemo me impune lacessit». Разве он сейчас этого стыдится?

Пилот побледнел.

— Нет.

— Вот и хорошо. Ваш друг и коллега Гаррах устраивает представления. В маске великого гнева на лице, как у демонов в нашем театре кабуки. Не следует впадать ни в гнев, ни в отчаяние — ни жалеть, ни мстить. И вы теперь сами знаете почему. Или я ошибаюсь?

— Нет, — сказал Темпе. — Мы не имеем на это права.

— Ну что же, тогда кончим разговор. Через тридцать... — он посмотрел на часы, — семь часов «Гермес» сядет. Кто будет тогда дежурить?

— Мы оба. Таков приказ.

— Вы не будете в одиночестве.

Накамура встал, поклонился им и вышел. В пустой кают-компании тихо шумела моечная машина и слегка дула климатизация. Пилот взглянул на врача, который сидел все так же неподвижно, подпирая голову руками, и смотрел прямо перед собой невидящим взглядом. Темпе вышел из кают-компании, не обменявшись с ним ни словом. И в самом деле, говорить было не о чем.

Посадка «Гермеса» прошла в высшей степени зрелищно. Спускаясь в назначенную точку планеты, он изрыгал такое тормозное пламя, что его искра, наблюдаемая мириадами неисчислимых глазков, раскаленной иглой вошла в молочную пелену туч, разрывая их под собой на мгновенно розовеющие в отблеске огня и быстро разлетающиеся по сторонам клубки, — и в это окно, в прожженную пламенем дыру корабль погрузился и исчез. Ключья циррокумулосов, скручиваясь волокнами в спирали, начали закрывать прорыв в облачном покрове Квинты, но еще не затянули ее полностью, когда через их просветы, дарил желтый блеск. Все это было видно с запаздыванием в девять минут — столько времени нужно было световому сигналу, чтобы пройти расстояние, отделявшее их от планеты, — и тогда же был получен сигнал ориентированного на Сексту передатчика того «Гермеса» — в первый и последний раз. Тучи еще раз разбежались над местом спуска, на этот раз мягче и медленней, а по рубке, заполненной людьми, пробежало что-то вроде короткого сдавленного вдоха.



Стиргард, стоявший у экрана на фоне безупречно белого огромного диска Квинты, вызвал GOD'a:

— Дай мне анализ взрыва.

— Есть только спектр излучения.

— Определи причину взрыва на основании этого спектра.

— Оценка будет вероятностной.

— Знаю. Действуй.

— Есть. Через четыре секунды после выключения главной тяги центральный стержень реактора пустил его вразнос. Дать варианты причины?

— Да.

— Первый: в корму ударил нейтронный поток с таким соотношением медленных и быстрых, чтобы пробить всю конструкцию реактора. Реактор даже после выключения начал работать, как размножитель, и в плутонии пошла экспоненциальная цепная реакция. Второй вариант: кормовую броню пробил кумулятивный снаряд с холодной аномалоновой головкой. Дать доводы в пользу первого варианта?

— Да.

— Атака баллистического типа разбила бы весь корабль. Нейтронный удар мог уничтожить только силовой отсек; предполагалось, что на борту находятся живые существа, отделенные от силового отсека рядом перегородок антирадиационной защиты. Показать спектр?

— Нет. Молчи.

Стиргард только теперь заметил, что стоит в белом блеске Квинты, как в ореоле. Не оборачиваясь, выключил изображение и с минуту молчал, словно взвешивая в мыслях слова машины.

— Кто-нибудь хочет высказаться? — спросил наконец командир.

Накамура поднял брови и медленно, словно бы с полным соболезнованием почтением, нарочито церемонно сказал:

— Я сторонник первой гипотезы. Корабль должен был потерять мощь, а команду надо было сохранить. С некоторыми повреждениями, но живой. От трупов много не узнаешь.

— Кто другого мнения? — спросил командир.

Все оцепенело молчали — не столько от того, что произошло и было сказано, а от выражения лица Стиргарда. Почти не разжимая губ, словно его челюсти схватила судорога, он заговорил:

— Ну, что же вы, голуби, сторонники добра и милосердия, отзовитесь, дайте нам и им шанс на спасение. Убедите меня, что мы должны вернуться на Землю и принести ей скромное утеше-

ние, что есть миры и похуже, чем она. А их оставить погибать самостоятельно. На время ваших уговоров я перестаю быть вашим командиром. Я только внук норвежского рыбака, про-стак, который забрался выше своих возможностей. Я выслушаю все аргументы, а также оскорбления, если кто-то сочтет их полезными. То, что я услышу, будет стерто из памяти GOD'а. Я слушаю.

— Это не смирение, а издевательство. А символический отказ от полномочий командира ничего здесь не меняет. — Араго, словно для того, чтобы его лучше было слышно, шагнул вперед, отделился от остальных. — Но если каждый до конца должен поступать по совести, будь то в драме или в трагифарсе — ведь никто не режиссирует свою жизнь и не учит заранее свою роль, как актер, — я скажу: убивая, мы никого и ничего не спасем. Под маской «Гермеса» крылось коварство, а под маской стремления к контакту любой ценой видна не жажда знания, а мстительность. Все, что бы ты ни предпринял, отказавшись от возвращения, окончится фиаско.

— А возвращение — это не фиаско?

— Нет, — ответил ему Араго. — Ты знаешь наверняка, какой убийственный удар можешь им нанести. Но ни в чем другом у тебя такой уверенности нет.

— Да. Это правда. Вы кончили, святой отец? Кто еще хочет говорить?

— Я. — Это был Гаррах. — Если ты, командир, захочешь повернуть назад, я приложу все силы, чтобы помешать. Ты меня остановишь, только заковав в кандалы. Знаю, что по диагнозу GOD'а я уже ненормальный. Хорошо. Но ненормальные мы здесь все до одного. Мы изо всех сил старались убедить их, что ничем им не угрожаем, четыре месяца позволяли атаковать себя, вводить в заблуждение, заманивать в ловушку, обманывать, и если отец Араго представляет здесь Рим, то пусть вспомнит, что сказал его Спаситель Матфею: «Не мир я принес, но меч». И что... но я и так слишком разговорился. Будем голосовать?

— Нет. Со времени их разочарования прошло пять часов, медлить нечего. Эль Салам, ты должен включить солазер.

— Без предупреждения?

— Какие предупреждения после похорон? Сколько тебе нужно времени?

— Дважды по шестнадцать минут на пароль и отзыв плюс наведение. Еще через двадцать минут может резать.

— Пусть режет.

— По программе?

— Да, в течение часа.

— Накамура, обеспечишь нам наблюдение. Кто не хочет этого видеть, может уйти.

Хорошо укрытый облаками пылевой маски, светящейся от наведенного дзетой излучения, солазер открыл огонь в час ночи, с трехчасовым опозданием, потому что Стиргард потребовал точной коллимации, чтобы удар в кольцо по касательной пришелся именно там, где была приготовлена ловушка. Пришлось выждать, пока планета не повернется вокруг своей оси на необходимый угол. Восемнадцать тераджоулей слились в световую шпагу. Скачок фотометров засвидетельствовал, что невидимый в пустоте нож солнечной фрезы ударил сбоку в кромку кольца и сорвал его наружный обруч. Глухое и немое изображение, которое можно было закрыть ладонью, показало всю мощь, взятую у солнца, когда она разрядилась в столкновении света, более твердого, чем сталь, с гигантским ледяным колесом, растянутым на тысячи миль. Сам центр удара был виден сначала как искрящийся разрыв, из которого брызнула распухающая белыми клубами метель, окруженная странно изогнутыми дрожащими радугами. Ледовое кольцо кипело, испарялось и, обратившись в газ, тут же замерзало и рассеивалось в черной пустоте за огненной зоной, образуя длинную, тянущуюся полосами за край планеты вуаль. Она уходила за горизонт, так как лазер резал в направлении, противоположном вращению планеты. Стиргард приказал ударить в косо сияющий диск кольца так, чтобы вывести его из динамического равновесия. Сосредоточенной в солазере мощности хватало на семь минут тераджоулевого резания.

— Этого достаточно, — определил GOD.

И действительно, наружное кольцо уже лопалось, а во внутреннем, отделенном от внешнего шестимильной щелью, все бурлило от турбуленций, вызванных изменениями момента вращения. Когда ледяной край, сметенный во мрак, достиг гривами туч ночного полушария, горизонт Квинты засветился, словно за ним в дымящихся столбах радуг вставало второе солнце-близнец и кровавой зарей окрасило еще гладкую поверхность облачного моря. Картина этой ужасной катастрофы была великолепна. В триллионах кристалликов льда свет, бьющий из рассеянного кольца, создал космический фейерверк, заслоняющий все созвездия звездного фона. Зрелище, захватывающее дух. Люди в операторской инстинктивно переводили взгляд с верхнего локатора, на котором над солнечным диском, эксцентрично смещенный, дрожал лазерный бриллиант, на главный экран, где ровный безым-

пульсный поток мощи послойно сдирает с ледового круга лопающиеся плиты белоснежных кристаллов.

Могли ли они там ожидать такого катаклизма? С планеты он должен был выглядеть ужасающим непрерывным взрывом высоко в небесах, но они, наверное, уже не увидели радуг, молниями взлетающих вверх, так как миллиарды ледовых обломков рухнули им на головы. Кипящие в ревущей атмосфере ледяные горы падали сквозь разорванные в клочья тучи, но это было зрелище не для тех, что гибли под гремящим ледопадом.

Какой же тонкой казалась из операторской атмосфера, окружающая планету! Всю огромность этой астроинженерной ампуляции могли без ущерба для себя наблюдать только жители приполярных областей, пока до них не добежала ударная волна, распространяющаяся быстрее звука. У жерла солазера фотонный струт перемещался миллиметр за миллиметром, а у цели разрушал ледяные плоскости на сотни миль — только на самом юге все еще не сказывался бешеный вихрь разрушения кольца, с каждой минутой терявшего сотни кубических километров битого льда. Теперь, проходя через тучу, выброшенную высоко над планетой, луч лазера стал видимым, пробивая в ней огненный колодец. Спектрометры показывали присутствие уже не раскаленного пара, а ионизированного свободного кислорода и гидроксильных групп. Для присутствующих в рубке минуты казались вечностью. Кольцо, разболтанное, как лопающийся плоский волчок, прогрызаемое темными расщелинами, теряло свой чистый блеск. Северное полушарие начало пухнуть, словно что-то раздувало саму кору планеты, но это были только выбросы воздуха, огня и снега от ударов ледяного обвала, а у экватора лазерный луч упорно сверлил по касательной грибовидный нарост взрыва коловоротом бело-голубого огня, и облачный покров Квинты на западе потемнел, превратившись в мутно-жемчужную равнину, в то время как восток пылал, затмевая звезды брызжущими взрывами. Никто не промолвил ни слова. Позже, вспоминая эти минуты, все были уверены, что их охватило ожидание контратаки, ожидание того, что те хотя бы попытаются как-нибудь парировать этот удар, нанесенный им в самом сердце сферомахи, создаваемой в течение столетия, что они уже готовятся ударить по источнику катаклизма, видимому на солнечном диске, — он был в пять раз ярче. Однако ничего не происходило. Над планетой восходил более широкий, чем она сама, столб белодымной метели, расплываясь многоэтажным грибом, сплошь в непрерывно ломающихся радугах, ужасающе красивый, а режущий луч продолжал бить, проходя через завалы туч, как раскаленная золотая струна, натянутая

между солнцем и планетой. Она сама — казалось, для самообороны — понемногу укрывала свой диск раздувающимися циррокумулосами от этого неправдоподобно тонкого и такого разрушительного луча, который пронзал остатки ледовых панцирей, уже тонушие в атмосфере, и теперь только на мгновения среди раздираемых туч мелькали остатки все еще вращающегося в агонии кольца.

Стиргард приказал выключить солазер на шестой минуте. Он хотел сохранить в качестве резерва оставшуюся в нем мощь. Солазер погас так же неожиданно, как зажегся, и дал знать в инфракрасном диапазоне, что покидает прежнюю позицию. Обнаружить ее было элементарно просто даже после выключения — по планковскому спектру, типичному для твердых тел с излучением, наведенным близкой хромосферой. Защитные решетки выстрелили из небольших метательных устройств пыль, светящуюся в лучах солнца, и под этой завесой солазер выполнил смену позиции, сложившись, как пружинисто закрывающийся веер.

GOD работал в режиме максимальной нагрузки. Регистрировал результаты удара, судьбу бесчисленных спутников, которые с нижних орбит влетели в распухшую от взрывов атмосферу и догорали огненными параболами, а кроме того, сообщил, что копия «Гермеса» могла быть поражена также и магнитодинамическим нападением с концентрацией поля в миллионы гауссов. В запасе у GOD'а была и четвертая гипотеза — импловивных криотронных бомб. Командир велел считать эти данные архивными.

Они все еще находились на стационарной орбите в тени Сексты, когда Стиргард вызвал Накамуру и Полассара, чтобы показать написанный им от руки ультиматум. Передатчиком должны были послужить голографические глаза, которые погибнут при передаче непосильных для них сигналов, но игра стоила и такой свечи.

Ультиматум был однозначен:

**ВАШЕ КОЛЬЦО УНИЧТОЖЕНО ОТВЕТ НА НАПАДЕНИЕ  
НА НАШ КОРАБЛЬ ТОЧКА ДАЕМ ВАМ 48 ЧАСОВ НА РАЗ-  
МЫШЛЕНИЕ ТОЧКА ЕСЛИ АТАКУЕТЕ НАС ИЛИ НЕ ОТ-  
ВЕТИТЕ В ПЕРВОЙ ФАЗЕ СМЕТЕМ ВАШУ АТМОСФЕРУ  
ТОЧКА ВО ВТОРОЙ ФАЗЕ ПРОВЕДЕМ ОПЕРАЦИЮ РАЗРУ-  
ШЕНИЯ ПЛАНЕТЫ ТОЧКА ЕСЛИ ПРИМЕТЕ НАШЕГО ПО-  
СЛА КОТОРЫЙ НЕВРЕДИМЫМ ВЕРНЕТСЯ НА НАШ КО-  
РАБЛЬ ОТМЕНИМ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ ФАЗЫ ТОЧКА  
ТОЧКА ТОЧКА**

Японец спросил, действительно ли командир намерен сдуть атмосферу. На кавитацию планеты, добавил он, нам не хватит мощности.

— Я знаю. Атмосферу я не смету. Но рассчитываю на то, что они поверят. А что касается сидерального удара — хочу выслушать мнение Полассара. Даже за невыполненной угрозой должны стоять реальная сила.

Полассар ответил не сразу.

— Это было бы опасной перегрузкой для сидераторов. Правда, мантию можно было бы пробить. Если нарушим основание континентальных плит, биосфера погибнет. Останутся бактерии и водоросли. Стоит ли об этом говорить?

— Пожалуй, нет.

Оба сочли необходимым оценить размеры катастрофы, что было чрезвычайно трудно. Дыры в шумовом экране Квинты свидетельствовали о выпадении сотен передающих станций, но без спинографии невозможно было установить хотя бы приблизительно степень поражения технической инфраструктуры на большом континенте. Последствия катаклизма давали себя знать на южном полушарии и остальных территориях. Сейсмическая активность резко возросла: среди моря туч темнели пятна — почти все вулканы изрыгали магму и газы со значительной примесью цианидов. GOD оценил массу льда, который достиг поверхности грунта и оксанов, в три или четыре триллиона тонн. Северное полушарие подверглось значительно более сильному поражению, чем южное, но оксан поднялся повсюду и вторгся в глубь побережий. GOD предупредил, что не может установить, какое количество остатков кольца упало на планету в твердом состоянии, а какое было растоплено, ибо это зависело от неизвестной в точности величины ледяных глыб. Если они превышали тысячу тонн, то должны были потерять лишь малую часть массы в плотных слоях атмосферы. Однако конкретное соотношение установить невозможно.

Гаррах, который дежурил в рулевой рубке, не принимал участия в разговоре, происходившем в операторской, но слышал его и неожиданно вмешался:

— Командир, прошу слова.

— Ну что там? — нетерпеливо откликнулся Стиргард. — Тебе еще мало? Хочешь еще им добавить?

— Нет. Если учесть сведения GOD'а, сорока восьми часов не хватит. Они должны как-то опомниться.

— Слишком поздно ты присоединился к голубям, — заметил Стиргард.

Физики, однако, признали правоту пилота. Срок ответа был увеличен до семидесяти часов. Вскоре Гаррах остался один и тогда перевел управление в автоматический режим: он не мог

больше смотреть на Квинту, тем более что дым бесчисленных вулканических взрывов рыжим цветом разливался по кипенной белизне планеты и темнел, как грязные подтеки запекшейся крови. Это была не кровь. Он знал, но не хотел на это смотреть. По приказу Стиргарда корабль начал вращаться на месте, как стрела башенного крана. Так они получали замену тяготения, особенно ощутимую в носовой части, в рубке. В кают-компании, куда спустилась команда, обороты такой центрифуги позволяли усесться за стол без акробатики, необходимой при невесомости. Прецессионные эффекты, типичные для гироскопического вращения, вызывали у Гарраха тошноту, хотя он не раз плавал на Земле на морских судах и даже боковая мертвая зыбь не вгоняла его в морскую болезнь. Ему не сиделось. То, чего он хотел, произошло. Разумно рассуждая, на нем не было вины за этот катаклизм. Наверняка все произошло бы точно так же, если бы он не бесился и воздержался от неуместных споров с ни в чем не повинным отцом Араго. Нет, ничто бы не изменилось, если бы он делал свое дело молча. Он вскочил с пилотского кресла и лишь только распрямил ноги, как они понесли его по навигаторской. Он не в состоянии был иначе разрядиться от жгучего гнева, который вернулся к нему, словно эхо, не давал ему спокойно ждать, сидеть сложа руки и смотреть на климатические — если бы только климатические! — муки раненной тераджоулями планеты. Если бы мог, он выключил бы изображение, но это не допускалось правилами. Эллипсоидальное помещение окружала галерея, отделяющая его верхний уровень от нижнего. Шатаясь на расставленных ногах, как моряк при качке, он взбежал вверх и рысью сделал круг по галерее — можно было подумать, что ему пришла охота потренироваться в беге. На шпангоутах, сбегających, как спицы огромного колеса, между крестовинами, прикрепленными к своду, покоилась центральная операторская. Восемь глубоких кресел окружали терминал, похожий на срезанный конус. Перед каждым креслом пусто моргал зеленый монитор. На плоском срезе этого стола-конуса лежал забытый черновик ультиматума, написанный характерным наклонным острым почерком Стиргарда. Пройдя между креслами, Гаррах сделал то, чего никак не мог от себя ожидать. Он перевернул этот листок бумаги так, чтобы он лег чистой стороной кверху, и огляделся, не видит ли его кто-нибудь. Но только мигающие экраны имитировали движение. Он сел в кресло, которое обычно занимал командир, и посмотрел по сторонам. Между серебристой пластиковой обшивкой шпангоутов через клинообразные окна была видна навигаторская, и там тоже мигала россыпь разноцветных лампочек, и виден был от-

блеск, который все еще шел с главного экрана, — мутный свет Квинты. Гаррах оперся локтями на скос стола и закрыл руками лицо. Если бы он умел, если бы только мог, то заплакал бы по этим Содому и Гоморре.

## КВИНТЯНЕ

Он выглядел совершенно спокойным и не попрощался ни с кем. Никто из товарищей не вошел с ним в лифт, когда наступил час. Одетый в обычный белый скафандр, со шлемом под мышкой, он в одиночестве смотрел на поочередно мигающие номера палуб. Под куполом стартового зала стояла ракета, до странного маленькая, безупречно серебристая, потому что еще никогда не прорезала атмосферу и жар не опалил ее носовой обтекатель и бока. Он направился к ней по ажурному металлическому полу, глухо отзывающемуся на каждый шаг, чувствуя возросшее тяготение — знак того, что «Гермес», усилив тягу, повернулся кормой от планеты, чтобы дать ему хороший толчок при старте. Он осмотрелся. Высоко, там, где сходились дугообразные шпангоуты, горели гирлянды сильных ламп. Он задержался в их бестеновом сиянии, чтобы надеть шлем. Люк кабины открылся над ним. Замки шлема щелкнули, он инстинктивно коснулся широкого обруча металлического воротника, вдохнув кислород, уже отсеченный от воздуха, наполняющего зал; давление было чуть великовато, но тут же само выровнялось. Подъемник, на который он взошел, двинулся вверх. Отверстие люка, еще минуту назад темное, осветилось изнутри, движущаяся ступенька коснулась порога и замерла. Не спеша он перенес ноги в больших башмаках через порог, держась при этом рукой в эластичной перчатке за трубу перил, согнувшись, вполз ногами вперед внутрь, ухватился обеими руками за поручни вокруг люка и мягко упал в глубину кабины. Люк закрылся. До него донесся певучий нарастающий звук — это газонепроницаемый колпак, до сих пор висевший над ракетой, опустился на нее, и гидравлические цилиндры прижали его к обшивке стартовой воронки, чтобы обезопасить «Гермес» от потери воздуха при старте и от заражения ядовитыми выбросами двигателей. Легко, как на тренажере, он поднял ребристые змеевики климатизатора, ввинтил их в соответствующие гнезда скафандра; замки щелкнули, подтвердив, что резьба вошла правильно. Теперь он уже был единым целым с ракетой. Стенки кабины начали распухать, пока он не повис, обтянутый оболочкой эластичной пелены до подмышек так, что только руки были свободны. Места оста-



лось не больше, чем в египетском саркофаге. Кстати, так часто и называли эти одноместные посадочные аппараты. Рукоять автомата отсчета была справа от него. Прямо перед глазами светили ему в лицо через стекло шлема табло аналоговых указателей и резервные числовые индикаторы высоты, мощности, горизонта, а посередине — прямоугольный экран монитора, пока еще слепой. Он двинул рычаг до упора, и все огоньки на пульте загорелись, мигая ему с доброжелательной фамильярностью, заверяя, что готовы: главный двигатель, восемь корректирующих, четыре тормозных, кольцевой ионосферный парашют, большой аварийный (экран тут же молниеносно гаснущими точками обнадежил его, что аварии не будет, нарисовав идеально точную кривую полета от зеленой звездочки «Гермеса» до выпуклости планетного диска). С ничтожным запозданием доложилась третий парашют, каскадный, — собственно, пятое колесо в телеге. Он не однажды переживал такие минуты, и это нравилось ему. Верил этим мигающим в ритме быстрого пульса зеленым, оранжевым и голубым огонькам. Знал, что могут загореться и красные, словно налитые кровью глаза страха, ибо нет безаварийных устройств, но знал и то, сколько стараний было приложено, чтобы ничто его не подвело. Автомат уже начал отсчет от двухсот. Ему показалось, что он слышит в наушниках затаенное дыхание людей, собравшихся в рулевой рубке, и на этот живой фон сыплется цифры, роняемые равнодушным механическим голосом в убывающем порядке. Около десятки он почувствовал легкое ускорение пульса и нахмурил брови под навесом шлема, словно укоряя недостаточно послушное сердце. Правда, тахикардии не избегал при старте никто, причем в самых банальных обстоятельствах, не говоря уже о таких. Он был рад, что никто не обратился к нему с напутствием, но, когда прозвучало сакраментальное ПУСК и он почувствовал содрогание слитых воедино своего тела и ракеты, до него донесся слабый голос — кого-то, стоявшего, наверное, вдали от микрофонов: «Бог с тобой». Эти неожиданные слова застали его врасплох, хотя кто знает, не ожидал ли он их, зная этого человека. Но на такие раздумья уже не было времени. Снаряд, выпихнутый бережно, но мощно гидравлической лапой — будто гигантская стальная ладонь, одетая шелком, протолкнула его по цилиндрическому устью пускового устройства, — отделился от корабля, и пилот, хотя и не мог двигаться в своей надувной оболочке, ощутил невесомость на две или три секунды, пока не заработали двигатели. Еще мгновение он видел у верхней кромки монитора убегающий корпус корабля, но, возможно, это ему лишь показалось. Ракета называлась «Земля» — он так хотел и такой позывной вы-

брал. «Земля» сделала сальто, слабые точки звезд полетели наискось через монитор, белым кружочком проплыла среди них Квинта и пропала; ракета, сверкнув во мраке выхлопом корректирующих сопел, легла на курс: траектория реального полета идеально легла на рассчитанную компьютером. Пора уже было связаться с «Гермесом», но он все молчал, словно упиваясь одиночным полетом.

— «Гермес» ждет.

Это был голос Стиргарда. Прежде чем он успел ответить, донесся другой голос — Гарраха:

— Наверное, заснул.

Такими шутками, слегка отдающими казармой, сопровождались в свое время первые космические полеты: надо было как-то смягчить беспрецедентные переживания людей, запертых в головной части ракеты, словно в выпущенном снаряде. Поэтому Гагарин сказал в последнюю секунду «Поехали!», поэтому говорили не «утечка кислорода, мы задыхаемся», а «у нас кое-какие затруднения». Гаррах, наверное, не отдавал себе отчета, что своей шуткой воскресил прошлое, — как и Темпе, который ни с того ни с сего ответил: «Лечу», — прежде чем, спохватившись, перешел на тон, соответствующий инструкции.

— Я — «Земля». Все системы в норме. На оси полета — дельта Гарпии. Через три часа войду в атмосферу. Все нормально? Прием.

— Все в порядке. Гепария передала метеорологические условия в точке ноль. Облачность сплошная. Ветер северо-северо-восточный, тринадцать метров в секунду. Над космодромом высота облачности девятьсот метров. Видимость хорошая. Хочешь с кем-нибудь поговорить?

— Нет, хочу видеть Квинту.

— Увидишь через восемь минут, когда сойдешь в плоскость эклиптики. Сделаешь тогда поправку курса. Прием.

— Сделаю поправку, когда «Гермес» мне ее передаст. Прием.

— Счастливого пути. Конец.

Переговоры после разрушения ледяного кольца продолжались четверо суток. Причем исключительно с Гепарией, чего земляне поначалу не поняли, поскольку на ультиматум ответил искусственный спутник, такой маленький и так искусно замаскированный под скальный обломок, что GOD не распознал его, пока он молчал. Помещенный на высоте 42 000 километров над планетой на стационарной орбите, он вращался в соответствии с ее оборотами, и, когда заходил за край диска, связь прерывалась на семь часов. С «Гермесом» он связывался на 21-сантиметровой волне

спектра водорода, и радиолокаторам корабля пришлось потрудиться, исследуя его излучение в сторону планеты, чтобы выяснить способ связи, используемый Гепарией. Для этого служила мощная подземная радиостанция, укрытая вблизи космодрома, на котором совершил посадку бесплодный «Гермес». Работала станция на волнах десятикилометровой длины, что дало физикам основание счесть ее за особый военный объект, предназначенный для использования в случае, если бы дело дошло до взаимного обмена ядерными ударами. Как известно, они сопровождаются электромагнитными помехами, прерывающими всякую беспроводную связь, а если на целях рвутся мегатонные бомбы, становится невозможной и замена обычных передатчиков лазерными. В такой ситуации пригодны только ультратонкие волны, но их низкая информационная емкость делает невозможной передачу многобитовых сообщений в короткие отрезки времени. Тогда Стиргард направил эмитеры «Гермеса» на эту радиостанцию и, не дождавшись ответа, передал следующий ультиматум: либо разговор пойдет напрямую, либо в течение 24 часов он уничтожит все естественные и искусственные тела на всем радиусе стационарных орбит, а если и тогда не получит ответа, сочтет себя вправе поднять температуру 800 000 гектаров вокруг космодрома, включая и его, до 12 000 градусов по Кельвину. Это означало пробой планетной коры на глубину четверти ее радиуса. Угроза помогла, хотя Накамура и Кирстинг пытались отговорить командира от этого жестокого решения, ибо де-факто оно равнялось объявлению войны.

— Соблюдение межпланетного права стало для нас обязательным с тех пор, как на нас напали, — возразил Стиргард. — Переговоры на километровых волнах с трансляцией и ретрансляцией могут продолжаться месяцами, а за чисто физической причиной их медлительности может крыться игра на оттяжку времени — чтобы пересмотреть стратегический расклад сил. Этого шанса я им не дам. Если это обмен неформальными мнениями, прошу о нем забыть, а если *votum separatum*, занесите его в протоколы экспедиции. Я отвечу на него, когда сдам командование. Сейчас я не имею такого намерения.

В своих контрпредложениях Гепария требовала четкого ограничения полномочий посланца. Понятие «контакт» становилось тем более туманным, чем точнее пытались его определить. Стиргард требовал непосредственной встречи своего человека с представителями местной власти и учеными, но либо было совершенно невозможно установить единый смысл этих понятий для квинтян и людей, либо тут действовала злая воля. Темпе полетел,

не зная, кого он должен увидеть на космодроме, но это его как-то не беспокоило. Он не чувствовал за плечами крыльев эйфории, не рассчитывал на крупный успех и сам был заинтригован собственным спокойствием. Во время подготовки на тренажерах он сказал Гаррашу: вряд ли там сдерут с него шкуру — какими бы жестокими они ни были, — что, впрочем, неудивительно: они все же не глупцы. Переговорам сопутствовали обсуждения на борту корабля.

При неустанном сопротивлении квинтянской стороны пункт за пунктом выторговывались условия приема посла. Пришелец получал право покинуть ракету для осмотра обломков фальшивого «Гермеса» и свободно передвигаться в радиусе шести миль вокруг ракеты с гарантией неприкосновенности, если он не предпримет «враждебных действий» и не передаст принимающей его стороне «угрожающей информации». Много трудностей вызвало углубленное определение этих терминов. Номинация у людей и у квинтян расходилась тем больше, чем ближе они подходили к области высоких абстракций. Такие понятия, как «власть», «нейтральность», «союзничество», «гарантии», не удавалось однозначно установить то ли по высшей причине — коренного различия в историческом развитии, — то ли от вползающей в переговоры преднамеренности. Но и преднамеренность необязательно означала желание запутать и обмануть, если втянутая в столетнюю войну Гепария не была ни свободной, ни суверенной в этих переговорах и не хотела или не могла выдать этого «Гермесу». Ибо и тут, по мнению большинства членов экипажа, крылась равнодействующая борющихся сил, которые за множество поколений сформировали как язык, так и образ мышления.

За день до старта Накамура попросил пилота уделить ему время для частной беседы — как он выразился. Начал он издавка: разум без смелости все равно что смелость без разума. Война, вытесненная в Космос эскалацией, становится — причем наверняка — межконтинентальной. При таком положении вещей лучше всего было бы выслать двух равноправных послов на оба континента, предварительно заверив, что они не выдадут никакой существенной в военном отношении информации хозяевам. Командир отверг этот вариант, поскольку хотел следить за судьбой посла, а корабль не может находиться одновременно на двух сторонах планеты. Командир хотел, чтобы квинтяне знали, что он волен выбрать способ ответа, если посол не вернется невредимым. Он не определил размеров возмездия, что, в общем, было тактично, но не служило гарантией безопасности посла. Накамура меньше всего намеревался критиковать командира, но попро-

сил выслушать его, поскольку счел это своей обязанностью. Как прекрасно сказал Шекспир: «Беда второстепенным фигурам, если они окажутся между клинками могучих противников». Могучих противников три: «Гермес», Норстралия и Гепария. Что знают квинтяне? Знают, что незванный гость имеет преимущество как в нападении, так и в защите и умеет наносить удары с высокой точностью. В чьих интересах лежит в таком случае безопасность посла? Допустим, что посол пострадает. Гепария будет утверждать, что произошел несчастный случай, а Норстралия будет эти доводы опровергать. Тем самым каждая из них попытается так отклонить ответный удар «Гермеса», чтобы он поразил противную сторону. Командир и вправду обещал им TAD — Total Assured Destruction<sup>1</sup>, — однако история учит, что Страшный Суд не является хорошим средством в политике. Машину Конца Света, Doomsday Machine, кобальтовую супербомбу для шантажирования всех государств Земли, выдумали двое американцев в двадцатом веке, но никто не взялся за реализацию идеи, и совершенно разумно, потому что, когда всем уже нечего терять, нельзя вести реальную политику. Апокалипсис как расплата весьма маловероятен. Почему «Гермес» должен ударить по всей планете, если на Гепарии найдется один камикадзе, который совершит покушение на посла? Аргументация японца показалась пилоту убедительной. Но почему не поддался на нее командир?

Японец, все еще вежливо наклоняясь к собеседнику, улыбнулся.

— Потому что у нас нет безошибочной стратегии. Командир не хочет развязывать узел. Он намерен разрубить его. Накамура не желает ни над кем возвыситься. Накамура мыслит так, как может Накамура. О чем? О трех загадках. Первая — это посольство. Приведет ли оно к «контакту»? Только символически. Если посол вернется невредимым, увидев квинтян и узнав от них, что он ничего не может от них узнать, это будет гигантским достижением. Вам это кажется смешным? Планета менее доступна, чем Эверест. Но ведь, зная, что на этой горе нет ничего, кроме скал и льда, сотни людей многие годы рисковали жизнью, чтобы побыть на вершине хотя бы минуту, а те, которые повернули назад, когда до цели оставалось каких-то двести метров, считали себя побежденными, хотя место, до которого они добрались, было нисколько не менее драгоценно, чем то, куда они так жаждали попасть. Подход нашей экспедиции к вопросу контакта подобен настрою покорителей Гималаев. Это загадка, с которой люди приходят в мир и умирают,

<sup>1</sup> Гарантированное полное уничтожение (англ.).

она стала привычной. Другая загадка для Накамуры — судьба пилота. Только бы он вернулся! Но если случится что-нибудь непредвиденное, Гепария докажет, что было белое, а Норстралия — что черное. Это противоречие столкнет командира с роли мстителя на роль следователя. Угроза, достаточная, чтобы заставить принять посла, зависнет в воздухе. Третья загадка — самая большая. Речь идет о *невидимости* квинтян. Может быть, покушения не будет. Однако нет никакого сомнения, что квинтяне категорически не желают показать, как они выглядят.

— Может быть, они выглядят как чудовища? — подсказал пилот.

Накамура все еще улыбался.

— Здесь обязательна симметрия. Если они чудовища для нас, то мы являемся таковыми для них. Прошу прощения, это ясно и ребенку. Если бы у осьминога было эстетическое чувство, красивейшая женщина Земли была бы для него чудовищем. Ключ к этой загадке лежит за пределами эстетики.

— Где же? — спросил пилот. Японцу удалось его порядком заинтриговать.

— Общие черты квинтян и землян мы открыли в военно-технической области. Эта общность указывает на дилемму: либо они похожи на нас, либо являются «исчадиями ада». Это распутье — фикция. Однако не фикция то, что они не хотят, чтобы мы узнали, как они выглядят.

— Почему?

Накамура печально склонил голову:

— Если бы я знал почему, узел был бы развязан и коллеге Полассару не пришлось бы готовить сидераторы. Осмелюсь высказать только неясную догадку. Наше воображение несколько отличается от западного. Одной из глубоких традиций моего народа является маска. Я считаю, что квинтяне, изо всех сил сопротивляясь нашим устремлениям, а именно: не желая присутствия людей на планете, с самого начала уже считались с такой возможностью. Вы еще не уловили связи? Пилот может увидеть квинтян и не понять, что он их увидел. Мы показали планете сюжет, в котором фигурировали человекообразные персонажи. Накамура не может прибавить пилоту храбрости — ее у него больше, чем требуется. Накамура может дать только один совет. — Он помолчал и, уже без улыбки, медленно выговаривая слова, произнес: — Я рекомендую *смирение*. Не осторожность. Не советую также быть доверчивым. Смирение я рекомендую как готовность признать, что все, то есть все, что пилот увидит, на самом деле совершенно иное, чем кажется...

На этом беседа окончилась. Только теперь, уже летя к Квинте,

Темпе понял, что в совете Накамуры крылся укор. Ведь он своей идеей о проекции на тучах выдал квинтянам облик людей. Но может быть, это вовсе не было укором.

Размышления пилота прервал восход планеты. Ее невинно белый диск, заснеженный вихрями циррусов, без всякого следа ледяного кольца и катастрофы, мягко выплыл из мрака, вытесняя его черноту с бледным инеем звезд за рамку монитора. Одновременно замигал цифрами, разразился поспешным стрекотом дальномер. Вдоль изрезанных фиордами побережий Норстралии с севера плоской полосой туч шел холодный фронт, а отделенная океаном Гепария, видимая в сильном ракурсе на восточной выпуклости шара, находилась под темным покровом туч, и только приполярная область светилась ледовыми полями. «Гермес» дал знать, что через двадцать семь минут ракета коснется атмосферы, и рекомендовал небольшую поправку курса. Из рулевой рубки следили за его сердцем, легкими и биотоками мозга Герберт и Кирстинг, а в навигаторской контролировали полет командир вместе с Накамурой и Полассаром, готовые вмешаться в случае необходимости. Хотя ни эта необходимость, ни род вмешательства не были заранее определены, то, что главный энергетик с главным физиком стояли в полной готовности рядом со Стиргардом, укрепляло хорошее, хотя и полное напряжения, настроение на борту корабля. Телескопы сопровождения давали четкое изображение серебряного веретена «Земли», регулируя кратность увеличения так, чтобы ракета находилась в центре экрана на молочном фоне Квинты. Наконец GOD брызнул на экран пустого до той поры атмосферного монитора оранжевыми цифрами: аппарат в двухстах километрах над океаном вошел в разреженные слои газа и начал разогреваться. Сразу же на облачное море упала маленькая тень ракеты и помчалась по его безупречной белизне. Компьютер непосредственной связи залпами импульсов передавал последние данные полета, так как через минуту подушка раскаленной трением плазмы должна была прервать связь в плотных слоях атмосферы.

Золотая искра обозначила вхождение «Земли» в ионосферу. Сияние усилилось и разрослось; это означало, что пилот начал торможение контргтягой. Тень ракеты исчезла, когда она нырнула в тучи. Через двенадцать минут цезиевые часы расчетного и реального времени подошли к единице, после чего спектрограф, следивший за огнем посадочного двигателя ракеты, ослеп и после ряда нулей выдал наконец классическое слово: BRENNSCHLUSS<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Конеч сгорания (нем.).

«Гермес» двигался в высоте над Квинтой так, чтобы посадка находилась точно под ним в надире. Главный монитор заполнения заполняла непроницаемая облачная завеса. С предупреждением, хозяева впрыснули в облачный слой территорию массу металлической пыли, создавая непреодолимое препятствие для радиолокации. Стиргард в конце концов согласился на это условие, оставив за собой право на жесткие условия до «Гермеса» не дойдет хотя бы один из лазерных сигналов, которые Темпе должен посылать каждые сто минут. Но чтобы обеспечить пилоту хоть какую-то видимость в конце стадии посадки, физики снабдили ракету дополнительной нагрузкой, наполненной газовым соединением серебра и свободными радикалами аммония под высоким давлением. Когда ракета вырвалась в атмосферу и прорезала ее кормой, окруженной вихрем гравитации, трещающей вдоль бортов до самого носа, эта первая ступень, окружавшая до поры втулку сопел отстрелена пиропатронами, благодаря чему опередила аппарат, попав в плазменный огонь, лопнула от жара. Сразу же ранние газы завихрились, как смерч, и громовым порывом разорвали в тяжело нависших тучах широко разорванную воронку. временно вместо гипергола в сопла был подан жидкий кислород и ракета, опускаясь уже на холодной тяге, обрела зрение. упорные объективы телекамер показали посадочную площадку в бурлящем кольце разогнанных туч. Пилот увидел серую тусклую евидную плоскость космодрома, с севера ограниченную горами склонами, а с прочих сторон обрамленную множеством искр, дрожащих в струящемся над ними воздухе, как обильно коптящих свечей. Это из них били потоки металлической пыли. Взрыв аммония и серебра сделал свое дело: разорвал поток туч над посадочной площадкой, он вызвал такой ливень дымящиеся пурпурные искорки на несколько минут потемнели окончательно не задушенные, вновь разгорелись в грязных водяного пара. Взглянув на юг сквозь дым, разгоняемые циклона, он различил темную массу строений, напоминающих расплющенного головоногого моллюска, каракатицу с множеством разбегающихся полос-щупальцев — не трубопроводные дороги, ибо они были вогнутые, покрытые поперечными горами. Впечатление осьминога создавал единственный поликарбонатный глаз, который смотрел на него оттуда пронзительным кальным взглядом. По-видимому — огромный оптический параболоид, следивший за спуском. По мере снижения северных взгорий за космодромом меняла свой вид. То, что соты казалось высоким лесным массивом с врезанным



плоским бетонным четырехугольником, теряло облик покрытых листвою зарослей. В зеленую курчавую поверхность сливались не кроны деревьев, а сухие, мертвые кустообразные скопления не то уродливых заграждений, не то огромных клубков каких-то проводов или проволочных тросов, и, расставаясь с воображаемой картиной лесистого взгорья с просвечивающими сквозь серо-серебряное скопление хвои лысинками незаросших полян, он увидел творения чужой инженерии, которая в своем искусстве не ведала земных канонов. Если бы у людей возникла необходимость расположить техническое оборудование космодрома в широкой котловине между большим городом и склонами гор, они позаботились бы прежде всего о благоустройстве территории, сочетающем функциональность с эстетикой геометрических форм, и уж наверняка не стали бы затягивать лысые склоны чащобой, состоящей из тысяч дико разветвленных металлических комков и узлов, которые никак не могли быть результатом работ саперов, маскирующих якобы растительными сетями военные объекты, ибо ненатуральность такого камуфляжа бросалась в глаза. Пока ракета на холодной тяге опускалась на серый бетон, весь склон взгорья заслонил прилив возвращающихся туч, скрыл его, как колочую шкуру ящера, крапчатую от шишек или сыпи. И, прежде чем это загадочное безобразие дало ему возможность оценить разницу между проектированием технических устройств и запуском их в какой-то самопроизвольный злокачественный рост, прежде чем он успел вновь взглянуть на застройку юга — эту уже уползающую за горизонт каракатицу, смотрящую на него обведенным чернью зеркальным глазом, — ему пришлось взяться за рулевое управление. Перегрузка с трех упала до двух, жидкий кислород брызнул ледяным кипятком из сопел, суставчатые лапы выдвинулись в стороны из-под кормы, и, как только они ударились о твердый грунт, двигатель в последний раз взревел и замолк.

Трехсоттонная ракета выполнила несколько затухающих посаданий на опорах и замерла. Ощущая всеми внутренностями смену силы тяжести после торможения, он под слабое шипение амортизаторов отстегнул ремни, выпустил воздух из оболочки скафандра и поднялся с кресла. Пряжки ремней соскользнули с плеч и груди. Анализатор не показывал никаких ядовитых примесей в воздухе, давление составляло тысячу сто миллибар, но выходить полагалось в шлеме, поэтому он переключил кислородную муфту на индивидуальный баллон. Обзорные экраны погасли, и в кабине зажегся свет. Он окинул взглядом привезенное хозяйство — по обе стороны сиденья покоились тяжелые контейнеры, снабженные колесиками, так что их можно было катить,

словно тачки. Гаррах предусмотрительно нарисовал на них огромную единицу и такую же двойку, словно их можно было перепутать. Гаррах наверняка завидовал ему, хотя ничем этого не выказывал. Он всегда был хорошим товарищем, и пилот пожалел, что сейчас его нет рядом. Вдвоем они, может быть, лучше справились бы с задачей.

Задолго до этого полета, когда еще ничто, кроме слов Лоджера, сказанных на «Эвридике», не позволяло надеяться, что он «увидит квинтян», на него напала депрессия, выявленная GOD'ом, но после беседы с врачом он отверг диагноз, поставленный машиной. Его угнетало не то, что взаимопонимание с квинтянами в самой основе казалось бессмысленным, а то, что в этой игре земляне сочли старшей мастью насилие. Он держал эти мысли про себя, ибо сильнее всего на свете желал увидеть квинтян и ему вовсе не хотелось дискредитировать саму идею контакта. Араго рассматривал этот шанс пессимистически еще до того, как была высказана идея «демонстрации силы», называл притворство притворством и повторял, что игра идет на проигрыш — мы так рвемся к взаимопониманию, что сами же от него и отрекаемся, заслоняясь всяческими масками и трюками. В результате, может быть, и находимся в большей безопасности, но при этом все более отдаляемся от истинного взгляда на Чужой Разум. Разоблачая все его увертки, отвечая ударом на каждый его отказ, мы делаем цель экспедиции тем менее достигаемой, чем более жесткие меры используем для ее достижения.

Он включил механизм открывания люка, но сначала надо было дождаться результата автоматического анализа, и, пока компьютер проглатывал поступающие данные о химическом составе грунта, о силе ветра, о радиоактивности окружающей среды (практически нулевой), в голове вместо последовательности этапов программы роились все те же мрачные мысли, которые он до сих пор в себе подавлял. Накамура разделял мнение монаха, но не принял его сторону: это было бы равносильно признанию поражения. Сам он тоже был согласен с отцом Араго, но знал, что его не сможет удержать никакая логика. Если Квинта была адом, он готов спуститься в ад, чтобы увидеть квинтян.

Правда, пока прием не казался адским. Ветер — девять метров в секунду, видимость под облачным слоем хорошая, никакой отравы, мин, зарядов взрывчатки под прозондированными ультразвуком плитами посадочной площадки. Послышался свист — это давление в кабине уравнивалось с наружным давлением. Над люком загорелись три зеленые лампочки, тяжелый щит сделал пол-оборота и отскочил вверх. Снаружи донесся грохот спускае-

мого трапа и треск, с которым его сегменты зафиксировались, наконец уперлись в бетон. Он выглянул наружу. Сквозь стекло шлема в глаза ударил белый свет дня. С высоты четвертого этажа он смотрел на огромную равнину космодрома, распростертую под затянутым тучами небом; северное нагорье скрывала мгла, вдалеке из длинного ряда низких, похожих на колодцы труб вырывались рыжие и красноватые дымы, а на их фоне на расстоянии мили торчала кривая башня, наклоненная сильнее, чем пизанская: ложный «Гермес» — одинокий и странный в этой пустыне. И нигде ни единой живой души.

Там, где скрылись за опускающимися тучами взгорья, на самом краю бетонной плоскости, виделось приземистое цилиндрическое строение, похожее на ангар для цепелинов. За его контурами поднимались к небу тонкие мачты, соединенные блестящими нитями, будто паутиной, затягивающей четверть горизонта. Город-каракатица с единственным глазом остался за дымным горизонтом, и он подумал, что теперь за ним наблюдают с помощью этой паучьей сети. Он внимательно осмотрел ее в бинокль и подивился неправильности плетения. Сеть свисала неравномерно, образуя большие и меньшие ячейки, как старый невод, развешенный рыбаком-гигантом на мачтах, которые из-за своей высоты выгнулись в разные стороны под тяжестью сети. Уж очень неряшливо все это выглядело. Да и космодром был пуст, как территория, отданная после эвакуации неприятелю. Трудно было отделаться от впечатления, одновременно отталкивающего и навязчивого, что это вовсе не антенное оборудование, а творение чудовищных насекомых. Он, пятась, спустился по трапу, согнувшись под тяжестью контейнера, весившего почти центнер. Скинув лямки, опустил контейнер на бетон и покатил его прямо к «Гермесу», косо торчащему из обломков своей кормы. Он двигался ровным шагом, без особой поспешности, не давая тем, кто за ним следил — а он не сомневался, что за ним скрытно наблюдают, — никакого повода для подозрений.

Они знали, что он должен исследовать остов корабля, однако не могли знать, каким образом. У кормы, врезавшейся смятыми соплами двигателей в лучеобразно растресканный бетон, он остановился и осмотрелся вокруг. Сквозь шлем был слышен шум порывистого ветра, неощутимого, однако, через скафандр. Писк хронометра напомнил ему о деле. Складная дюралевая лесенка не понадобилась. Сразу над кожухами сопел, смятыми в гигантские гармоники, в корпусе зияла оплавленная пробоина, из которой торчали языки выгнутых наружу броневых плит и изуродованный взрывом обрубок шпангоута.

Худо-бедно, но можно было вползти через это отверстие внутрь; главное — не порвать скафандр о стальные заусеницы. Он полез вверх по башмаку кормовой лапы, которая при посадке не успела выдвинуться до конца — так спешили они открыть огонь, и, нужно признать, действовали разумно, поскольку корабль особенно незащищен в момент, когда гасит главную тягу, перенося свою массу на выдвигаемые опоры. Втащив за собой контейнер, он насколько мог задрал голову, чтобы оценить состояние корпуса. Он не мог, конечно, видеть носовых люков, которые были заварены наглухо, но видел ворота трюма и удивился, что они были заперты — не взломаны, хотя другим способом их нельзя было вскрыть извне. Это было странно. Уничтожив силовой отсек одним снарядом крупного калибра, при таком наклоне пораженного корабля они обследовали его через радиоактивную пробойну метрового диаметра, вместо того чтобы подпереть свой трофей солидными подмостками и вломиться в средний грузовой трюм. Неужели после ста лет войны у них нет ни саперов соответствующими инструментами, ни порядочной военной инженерии? Не переставая удивляться повадкам местных военных, он возился с контейнером уже внутри корабля — и начал с того, что направил во мрак датчик радиометра. Реактор одноразового назначения после попадания расплавился и, как задумали проектанты, вытек через специально предусмотренные кингстоны в глубь растрескавшихся плит космодрома, создав не слишком обширное радиоактивное пятно. Помянув добром хорошую работу Полассара и Накамуры, он осветил внутреннее помещение переносным фонарем. Кругом стояла мрачная тишина. От реакторного отделения не осталось и обломков. Конструкция была рассчитана так, чтобы двигать две тысячи тонн пустого макета и разлететься в клочья от дуновения сквозняка. Стрелка гейгера подскочила на шкале, указывая, что в течение часа он получит не более ста рентген. Он вынул из контейнера две плоские металлические коробки, открыл их и высыпал содержимое — синтивов, синтетических насекомых, снабженных микросенсорами. Осторожно опустился среди них на колени, словно воздавал траурные почести погибшему кораблю, и включил активизатор на дне большей коробки. Муравейник, рассыпанный по измятым стальным листам палубы, ожил. Беспорядочно, поспешно дрыгая проволочками ножек, как настоящие жучки, перевернутые на спину, синтивы очнулись и разбежались в разные стороны. Он терпеливо дождался, когда уйдут последние. Наконец уже лишь несколько, по-видимому, дефектных экземпляров остались беспомощно кружиться у его колен. Тогда он встал и выбрался на

дневной свет, таща за собой почти пустой контейнер. На половине пути к ракете достал из него довольно большое кольцо, раскрыл его штатив, сориентировал на корму «Гермеса» и вернулся к «Земле». С момента посадки прошло 59 минут. Следующие полчаса он фотографировал окрестности, главным образом возносящуюся к небу паучью сеть, сменяя фильтры и объективы, после чего по трапу взобрался в ракету. В затемненной кабине уже светился исследовательский монитор. Синтвивы подавали донесения инфракрасным излучением через транслятор, установленный для лучшей когерентности на середине дистанции. Вместе с компьютером и его специальной программой они составляли электронный микроскоп, весьма своеобразный, ибо пространственно он был разделен на отдельные агрегаты. Десять тысяч его «жучков» сновали по всем закоулкам разбитого корабля, исследуя сажу, обломки, мусор, пыль, опилки и брызги оплавленной стали, стараясь обнаружить то, чего в них раньше не было. Их электронные рыльца выявляли «ордофилию» — стремление к молекулярной упорядоченности, свойственное всем живым или искусственным микроорганизмам. «Жучки», слишком глупые, чтобы ставить диагноз, были только объективами микроскопа и анализатора в ракете, который рисовал уже первые кристаллические мозаики находок и классифицировал их. Технобиотическое мастерство местных инженеров смерти заслуживало уважения. «Жучки» позволили распознать в невинном мусоре вирусы замедленного действия. Миллионы их скрывались под маской обычной грязи. Компьютер еще не успел определить их инкубационный период. Это были зародыши, спящие в молекулярных пленках, чтобы вылупиться через недели или месяцы. Из этого открытия он сделал важный вывод: по их расчетам, он должен был уйти с планеты невредимым и занести на корабль заразу. Это соображение, безусловно логичное, вдохновляло на смелые действия — ведь только возвратившись, он мог стать источником гибели. Но тут же у него мелькнуло сомнение. Вирусы могли быть одновременно и настоящими и обманными. Как только он их обнаружит, у него должна возникнуть — согласно с только что сделанным выводом — тяга к опрометчивым поступкам, а легкомысленного хвораца вполне может постигнуть несчастный случай. Он попал в ситуацию, типичную для структурной алгебры конфликтов: игрок создает себе модель противника вместе с его моделью ситуации, отвечая на нее, создаст модель модели — и так без конца. В такой игре уже отсутствуют факты, имеющие окончательное значение. Вот дьявольские штучки, подумал он. Здесь большегодились бы не инструменты, а экзорцизмы. Хронометр пропищал ему в

ухо: прошло сто минут. Он приложил обе ладони плащмя к панелям и почувствовал легкую зудящую дрожь — компьютер зарядился, чтобы послать «Гермесу» однобитовый лазерный сигнал о том, что его разведчик жив.

Настало время для самой разведки. Он бегом выкатил по трапу другой контейнер и вынул из кормового люка складной экипаж — легкую раму с сиденьем и надувными колесами, снабженными электроприводом. Лишь только он двинулся в сторону северных горных склонов, к поднебесной сети, как начался мелкий дождь. Серая мгла окутала силуэт растущего перед ним загадочного строения. Он остановил свой открытый вездеход, отер перчаткой капли воды, стекающие по стеклу шлема, и остолбенел. Колосс казался одновременно абсолютно чуждым и странно знакомым. Без окон, с выпуклыми стенами, схваченными параллельно расположенными шпангоутами, он производил впечатление чего-то противного архитектонике и природе, словно труп кита, которому выстрелили в брюхо гранатой со сжатым газом, а его кошмарно раздутое тело почему-то оказалось внутри мостовой фермы и выгнуло ее балки выпуклостями своей агонизирующей туши. Между двумя ребрами зияло полукруглое отверстие. Он скинул с вездехода контейнер и вкатил его, толкая перед собой, через эти ворота в непроницаемый мрак. И сразу же на него обрушился поток слепящего белого света. Он стоял на дне зала, внутри которого и большеход показался бы муравьем. По стенам переплетались какие-то странные кривые галереи, словно в железном театре с вырванными внутренностями сцены и зрительного зала. Посредине на ажурном металлическом листе лежало нечто вроде многокрасочной морской звезды из цветов, сверкающих, словно кристаллы. Когда он подошел ближе, то увидел, что над звездой висит перевернутая пирамида, прозрачная почти как воздух, так что только под острым углом ее поверхность становилась видимой, отражая свет ламп. Погруженные в стекловидный тетраэдр, поочередно стали появляться изумрудные буквы:

### **ЭТО ПРИВЕТСТВИЕ ТОЧКА**

Кристаллические цветы запыхали великолепными красками — от светлой лазури до глубокого фиолетового. Их светящиеся чашечки раскрывались. В каждой горел огненный бриллиант. Надпись сменилась другой:

### **ВЫПОЛНЯЕМ ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ ТОЧКА**

Он стоял, не шевелясь, а радуга горящих кристаллов постепенно серела. Их алмазные сердцевинки еще минуту тлели рубиновым светом, пока не исчезли, и все рассыпалось в легкий пепел.

Перед ним оставался только колочий моток переплетенной про-волоки, а в кристалле зеленели новые слова:

## ПРИВЕТСТВИЕ ОКОНЧЕНО ТОЧКА

Он поднял глаза от дотлевающего пепелища, окинул взглядом галереи, их свисающие пучки, местами оторванные от вогнутых стен, и вздрогнул, как от удара в лицо. Он наконец понял, почему казалось ему знакомым странное строение, — это была вывернутая наизнанку, стократно раздутая копия «Гермеса». Галереи воспроизводили подмости, приваренные к бортам во время монтажа и смятые взрывом в момент посадки, а ребра, вдавленные в стены, были шпангоутами корабля, опоясывающими его пустое туловище снаружи. Огни под навесами криво свисающих галерей поочередно гасли, пока не вернулась тьма, и только подвешенная в воздухе надпись: ПРИВЕТСТВИЕ ОКОНЧЕНО ТОЧКА светилась понемногу слабеющей бледной зеленью.

Что теперь предпринять? Исследовав разбитый корабль, они повторили его с дотошностью бездушного педантизма — возможно, ради утонченного издевательства, чтобы гость вошел в него, словно в чрево убитого и выпотрошенного существа. Было ли это злобным коварством или же ритуалом нечеловеческой культуры, именно так выказывающей гостеприимство, оставалось вопросом без ответа. Пятясь в темноте, он толкнул контейнер, который с грохотом упал на металлические плиты пола, и это шумное падение отрезвило его и одновременно привело в бешенство.

Он бегом вытащил груз на дневной свет, под дождь. Мокрый бетон потемнел. За сеткой измороси вдали серебрилась игла его ракеты, грязные тучи дыма из бурых труб однообразными волнами плыли к низкому мутному навесу облаков, а над всей этой пустошью мертвой башней торчал «Гермес». Оч проверил время. До следующих ста минут оставался почти час. Он боролся с гневом, пытаясь сохранить рассудительность и спокойствие. Если они могли конструировать военные машины, развивать военную технику в масштабах планеты и космического пространства, они должны быть способны к логическим рассуждениям. Если для них нежелательна личная встреча, они могли бы проводить его указателями направления туда, где их терминалы доказали бы ему при помощи уравнений алгебры конфликтов — кодом, переданным несколько месяцев назад, — невозможность соглашения. И пусть бы они опровергли аргументы насилия серьезными аргументами высшего порядка, теми высшими соображениями, которые дают им выбор только между различными обличьями гибели, — но не было никаких знаков, терминалов, устройств для обмена информацией, ничего, даже меньше, чем ничего, — был

дымовой экран в тучах, труп корабля, напитанный тайной заразой, а в качестве храма гостеприимства — повторенный его корпус, распухший, словно жаба, надутая безумцем через соломинку, и хрустальный цветник, распадающийся ради приветствия в пепел. Церемониал был так противоречив по смыслу, будто говорил: напрасно стараетесь, пришельцы, ни огнем, ни ледовым обвалом не добьетесь ничего, кроме ловушек, иллюзий и камуфляжа. Пусть ваш посланец делает что хочет — везде его будет встречать то же непреклонное молчание. До тех пор пока, обманутый в ожиданиях, сбитый с толку, одурев от бешенства, не начнет бить излучателем во что попало и не похоронит себя под развалинами либо выберется из-под них и улетит — не как разведчик, возвращающийся с добытыми сведениями, а как бегущий с поля боя паникер. В самом деле, мог ли он что-то преодолеть, вторгнуться силой в железные пределы одноглазого города, за стену дымов — ведь в таком нечеловеческом окружении он узнает тем меньше, чем сильнее ударит, и не сможет даже отличить то, что откроет, от того, что уничтожит.

Дождь лил, тучи оседали, обволакивая верхушку останков «Гермеса». Открыв контейнер, он вынул из футляра биосенсор, прибор настолько чуткий, что за пятьсот метров он живо реагировал на тканевый обмен мотылька. Стрелка непрерывно дрожала около нуля, доказывая, что жизнь здесь есть, как и на Земле, повсюду, однако ни бактерии, ни пыльца растений не могли стать для него нитью Ариадны. Поднявшись на трап, он выдвинул ствол прибора до конца и направил его на юг, в сторону скрытых дымами шупалец города. Датчик по-прежнему слабо дрожал около нуля. Он перевел фокусировку на максимальное удаление. Дым, даже металлический, не мог быть преградой, так же как и стены; он даже провел биометром вдоль горизонта — стрелка не двинулась. Мертвый железный город? Это было так невероятно, что он инстинктивно потряс аппарат, как остановившиеся часы. Только когда, повернувшись, он нацелил ствол на маячившую сквозь дождь поднебесную паутину, стрелка дернулась и при поворотах ствола заколебалась в широком рваном ритме.

Он рысью вернулся к вездеходу, устроил контейнер за сиденьем, воткнул биосенсор в захват рядом с рулевым колесом и поехал на юг, к подножью растянутаой на мачтах сети.

Лило как из ведра. Вода разбрызгивалась из-под колес, заливая ему окошко шлема, ослепляла, и приходилось все время поглядывать на биосенсор, стрелка которого постоянно быстро колебалась. Согласно счетчику, он проехал четыре мили и, таким образом, приблизился к границе области разведки. Но он только



прибавил скорости. Если бы не предостерегающее мигание красных сигналов на приборной доске, он скатился бы вместе с вздохом в глубокий ров, издали выглядевший, как черная полоса на стартовом поле. Резко затормозивший экипаж занесло, он проехал боком на заблокированных колесах и застыл у кромки разломанных плит. Он слез, чтобы рассмотреть препятствие. Мгла, затрудняя оценку расстояния, создавала иллюзию глубины — мощенная равнина заканчивалась бетонными обломками. Кое-где они повисли в воздухе над глиняным обрывом. Ров неодинаковой ширины, который, однако, нигде нельзя было преодолеть при помощи диоралсвой лесенки, был создан, по-видимому, взрывными зарядами, причем совсем недавно и в спешке, о чем свидетельствовала глина, местами так разодранная и нависшая, что в любую минуту могла обвалиться.

Противоположный край, покрытый обломками, вдавленными взрывом в грунт, возвышался не слишком крутым широким откосом, над которым сквозь мглу проглядывали ячейки уходящей в небо паутины. На той стороне через широкие промежутки располагались небольшие колодцы, где закреплялись стальные тросы — типичные растяжки, которыми обычно поддерживаются в вертикальном положении антенные бесподкосные мачты на шаровой опоре. Из двух ближайших труб взрывом вырвало якоря вместе с растяжками. Проследив взглядом, куда тянутся беспомощно свисающие тросы, в нескольких десятках метров выше по склону он увидел ствол мачты с телескопически выдвинутыми все более тонкими сегментами, согнувшимися наверху, как сильно перегруженное удилище, из-за чего плохо натянутая сеть обвисла, и некоторые ее провода почти касались грунта. Насколько он мог видеть сквозь мглу, склон был покрыт более светлыми, чем глина, выпуклостями — это были не купола вкопанных резервуаров для жидкости или газа, а скорее неправильные, вспученные кротовые кучи или наполовину зарытые панцири гигантских черепах. Может быть, шляпки огромных грибов? Или землянки-укрытия?

Ливень и ветер трепали над ним ячейки провисшей паутины. Он забрал из вздохода биосенсор и принялся водить его стволом по склону. Стрелка раз за разом выскакивала в красный сектор шкалы, возвращалась и снова билась в ограничитель, побуждаемая метаболизмом, свойственным не каким-нибудь микроскопическим существам или муравьям, а скорее уж китам или слонам, словно целые их стада расположились на истекающем водою склоне. Осталось сорок семь минут до ста. Возвратиться в ракету и ждать? Жалко времени, да и хотелось бы использовать эффект неожиданности. В голове у него уже смутно вырисовывались пра-

вила игры: они не стали нападать, но создали препятствия, на которых он мог бы сломать себе шею, если бы очень этого захотел. Больше не о чем было раздумывать. С невыразимым ощущением того, что реальность оказалась менее правдоподобной, чем сон, он доставал из контейнера устройства для прыжка на ту сторону. Надев на плечи управляемые сопла, воткнул в карман саперную лопатку, биосенсор в рюкзаке закинул за спину и, считая, что такая попытка не повредит, сначала воспользовался ракетницей, стреляющей тергалевым тросом. Прицелившись в нижнюю часть склона, выстрелил, поддерживая ракетницу левым локтем. Развернувшись со свистом, трос перелетел через ров, крюки вонзились в глину, но, когда он попробовал потянуть, размокший грунт подался при первом же рывке. Тогда он открыл клапан. Струя газа с шелестом подняла его в воздух — легко, как на тренировочном полигоне. Он пролетел над темным провалом с мутной водой, скопившейся на дне, и, уменьшая тягу, которая была его холодным вибрирующим выхлопом по ногам, опустился на выбранное место за одним из выступов, напомнившим ему, когда он над ним пролетал, огромный бесформенный каравай, испеченный из шершавого асбеста. Ботинки разъехались на жидкой глине, но он устоял. Склон был здесь не слишком крут. Повсюду вокруг него были эти пузатые приземистые мазанки цвета пепла с более светлыми полосками там, где с них стекали струйки воды. Затерявшаяся во мгле деревушка примитивного негритянского племени. Или кладбище с курганами. Вынув из рюкзака биосенсор, он направил его с расстояния одного шага в шершавую выпуклую стену. Стрелка затряслась у красного максимума, будто низковольтный прибор подключили к мощному генератору. Держа перед собой тяжелый прибор с выдвинутым стволом, словно оружие, готовое к выстрелу, он обежал вокруг сероскорлупчатого горба, выпирающего из глины, в которой его башмаки, хлюпая, оставляли глубокие следы, сразу наполнявшиеся мутной дождевой водой. Он кинулся вверх по склону — от одной бесформенной буханки к другой. Их приплюснутые верхушки были выше его на половину его роста. В самый раз для существ размером с человека, но там не было вообще никаких входов, отверстий, смотровых щелей, амбразур. Это не могли быть ни бесформенные колпаки бункеров, ни трупы, погребенные в покрытых скорлупой могилах. Куда бы он ни направил датчик, повсюду кипела жизнь. Для сравнения повернул ствол датчика на себя, в собственную грудь. Стрелка сразу сдвинулась с предела на середину шкалы. Осторожно, чтобы не повредить, он отложил в сторону биосенсор, выхватил саперную лопатку из набедренного

кармана скафандра и, опустившись на колени, стал рыть податливую глину; острое скрежетало о скорлупу, он ударял наугад, сквозь жижу, выбрасывая ее взмахами лопатки. Вода быстро заполняла растущую яму, он сунул туда руку по самое плечо, насколько мог достать, пока ошупью не наткнулся на горизонтальное разветвление. Корневая система колонии грибов? Нет: толстые гладкие круглые трубы, и — что удивило его — не холодные и не горячие, а теплые. Запыхавшийся, измазанный глиной, он поднялся с колен и в сердцах ударил кулаком в волокнистую скорлупу. Она эластично поддалась, хотя была достаточно твердой, и приняла прежнюю форму. Он оперся на нее спиной. Сквозь дождь он глядел на окружающие его холмики, сформованные с такой же неаккуратностью. Некоторые из них, придвинутые друг к другу, образовывали крутые улочки, тянущиеся вверх по склону туда, где их поглощала мгла.

Он вдруг вспомнил, что биосенсор работает в двух диапазонах: переключается на кислородный и бескислородный метаболизм. Кислородную разновидность живой материи он уже открыл. Подняв датчик, он отер перчаткой глину, размазанную по стеклу шлема, переключил биосенсор на бескислородный метаболизм и поднес к шершавой поверхности. Стрелка начала колебаться не слишком быстрой равномерной пульсацией. Кислородный обмен вместе с анаэробным? Возможно ли это? Он в этом не разбирался, да здесь вообще вряд ли кто разобрался бы. Увязая в илистых потоках, под ливнем, он кидался от одного холма к другому. Их метаболический пульс отличался по темпу. Может быть, в одних они спят, а в других бодрствуют? Словно желая пробудить спящих, он бил кулаками в шершавые вздутия, но пульс от этого не менялся. Он так забегался, что чуть не упал, зацепившись в одном из проходов за трос антенной растяжки, косо протянутой вверх, к невидимым в молочной мгле сетям огромной паутины. Хронометр, неизвестно уже сколько времени, предостерегал его, все громче повторяя тревожные сигналы. Он и не заметил, как прошло сто двадцать минут. Как он мог так зазеваться? Что теперь делать? До ракеты он долетел бы за три-четыре минуты, но газа в баллоне оставалось максимум на двухсотметровый прыжок. Хоть бы на триста. К вздоху?.. Но ехать больше шести миль. По меньшей мере четверть часа... Попробовать? А если «Гермес» ударит раньше и его посланник погибнет не как герой, а как последний идолот? Он потянулся за черенком лопатки — напрасно: карман был пуст.

Он забыл лопатку, воткнутую возле выкопанной ямы. Где ее теперь найдешь в этом лабиринте?

Взяв обеими руками биометр, он размахнулся и ударил в шершавую скорлупу. Он бил и бил, пока она не лопнула; из пролома вырвалась желтоватая пыль, как из гриба-дождевика, и в глубокой трещине он увидел — нет, не глаза существ, скрывавшихся внутри, а монолитную поверхность с тысячами мелких пор — словно разрубленная пополам буханка с тягучим недопеченным тестом внутри. Он застыл, замахнувшись для следующего удара, и в этот момент небо над ним заполнилось страшным блеском. «Гермес» открыл огонь по антенным мачтам за космодромом, навывлет пробил тучи, дождь мгновенно прекратился, улетучиваясь белым кипятком, взошло лазерное солнце, термический удар в широком радиусе сорвал мглу и тучи с верхней части склона, покрытого, насколько мог видеть глаз, скоплением голых незащитных бородавок, и, когда вознесенная к небу паутиная сеть вместе с антеннами, ломающимися в пламени, упала на него, он понял, что увидел квинтян.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

**«БОЛЬНИЦА ПРЕОБРАЖЕНИЯ»:** роман написан в 1948 г., опубликован в 1955 г. в качестве 1 тома трилогии «Неутраченное время» (Lem S. Czas nieutracony. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1955. Т.1. Szpital Przemienienia). С 1975 г. в соответствии с первоначальным авторским замыслом публикуется только как самостоятельное произведение. Здесь печатается по исправленному изданию того же издательства, 1982 г.

**«ФИАСКО»:** первая публикация на польском языке — Lem S. Fiasko. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987. В немецком переводе роман опубликован в 1986 г.

Первая публикация на русском языке (в пер. В.Кулагиной-Ярцевой и И.Левшина) в кн.: Лем С. Мир на земле; Фиаско. М.: Прогресс, 1991.

К.Д.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ,  
ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

	Том	Стр.
Абсолютная пустота	10	140
Автоинтервью	3	152
Альбатрос	4	118
Альтруизин...	6	309
Ананке	4	319
Белая смерть	6	41
Блаженный	6	333
Больница Преображения	12(доп.)	5
Верный робот	9	387
Возвращение со звезд	2	183
Воспитание Цифруши	6	439
Вступление к III изданию («Звездные дневники Ийона Тихого»)	7	7
Вторжение	3	196
Вторжение с Альдебарана	3	292
Высокий замок	5	175
Гигамеш	10	160
Глас Господа	9	213
Голем XIV	10	397
Группенфюрер Луи XIV	10	177
Два чудовища	6	35
Дознание	4	246
Доктор Диагор	7	365
Друг	3	230
Друг Автоматая	6	68
Звездные дневники Ийона Тихого	7	5
Идиот	10	205
Из воспоминаний Ийона Тихого:		
I.	7	294
II.	7	308
III.	7	320

IV.	7	329
V. (Стиральная трагедия)	7	339
Информационная заметка («Звездные дневники Ийона Тихого»)	7	11
Испытание	4	6
История бит-литературы	10	355
Как Микромил и Гигадиан разбеганию туманностей положили начало	6	46
Как уцелела Вселенная	6	116
Как Эрг Самовозбудитель Бледнотика одолел	6	15
Клиника доктора Влипердиуса	7	357
Король Глобарес и мудрецы	6	84
Корпорация «Бытие»	10	231
Крепкая взбучка	6	129
Крыса в лабиринте	3	164
Культура как ошибка	10	239
Лунная ночь	4	375
Магелланово Облако	11(доп.)	5
Маска	5	293
Машина Трурля	6	120
Мир на Земле	9	5
Молот	3	301
Моя жизнь	1	7
Насморк	10	5
Не буду прислуживать	10	272
Некробии	10	335
Непобедимый	3	5
Несчастный случай	4	220
Ничто, или Последовательность	10	191
Новая Космогония	10	297
О выгодности дракона	7	284
Одиссей из Итаки	10	218
О королевиче Ферриции и королевне Кристалле	6	104
О невозможности жизни; О невозможности прогнозирования	10	252
Осмотр на месте	8	99
Охота	4	171
Патруль	4	97
Перикалиписис	10	200
Повторение	6	380
Правда	3	362
Предисловие («Звездные дневники Ийона Тихого»)	7	6
Предисловие к расширенному изданию («Звездные дневники Ийона Тихого»)	7	9

Предисловие («Мнимая величина»)	10	326
Предисловие («Рукопись, найденная в ванне»)	5	338
Приемные часы профессора Тарантоги	8	448
Провокация	10	453
Профессор А.Донда	7	396
Путешествие восемнадцатое	7	124
Путешествие восьмое	7	28
Путешествие второе, или Какую услугу оказали Трурль и Клапауций царю Жестокусу	6	157
Путешествие двадцатое	7	135
Путешествие двадцать восьмое	7	266
Путешествие двадцать второе	7	223
Путешествие двадцать первое	7	173
Путешествие двадцать пятое	7	251
Путешествие двадцать третье	7	235
Путешествие двадцать четвертое	7	240
Путешествие двенадцатое	7	76
Путешествие одиннадцатое	7	45
Путешествие первое А, или Электровар Трурля	6	146
Путешествие первое, или Ловушка Гарганциана	6	136
Путешествие профессора Тарантоги	8	352
Путешествие пятое А, или Консультация Трурля	6	217
Путешествие пятое, или О шалостях короля Балериона	6	202
Путешествие седьмое	7	12
Путешествие седьмое, или Как Трурля собственное совершенство к беде привело	6	239
Путешествие третье, или Вероятностные драконы	6	180
Путешествие тринадцатое	7	84
Путешествие четвертое, или О том, как Трурль женотрон применил, желая королевича Пантарктика от томления любовного избавить, и как потом к детомету прибегнуть пришлось	6	195
Путешествие четырнадцатое	7	103
Путешествие шестое, или Как Трурль и Клапауций демона Второго Рода создали, дабы разбойника Мордона одолесть	6	223
Рассказ Пиркса	4	203
Расследование	1	257
Робинзонады	10	145
Рукопись, найденная в ванне	5	5
Сделай книгу сам	10	213
Сексотрясение	10	171
Сказка о короле Мурдасе	6	94



Сказка о трех машинах-рассказчицах короля Гениалона	6	250
Сказка о цифровой машине, которая с драконом сражалась	6	51
Советники короля Гидропса	6	57
Сокровища короля Бискаляра	6	27
Солярис	2	5
Спасем Космос! (Открытое письмо Ийона Тихого)	7	387
137 секунд	3	384
Странный гость профессора Тарантоги	8	421
Существуете ли вы, мистер Джонс?	3	156
Темнота и плесень	3	274
Терминус	4	132
Три электричара	6	6
Ты	10	226
Урановые уши	6	11
Условный рефлекс	4	34
Фиаско	12(доп.)	177
Формула Лимфатера	3	336
Футурологический конгресс	8	5
Черная комната профессора Тарантоги	8	396
Эдем	1	29
Экстелопедия Вестранда	10	380
Эрунтика	10	342

## СОДЕРЖАНИЕ

**БОЛЬНИЦА ПРЕОБРАЖЕНИЯ. Роман. Перевод А.Ермонского  
и М.Игнатова 5**

**ФИАСКО. Роман. Перевод В.Кулагиной-Ярцевой  
и И.Левшина 177**

**Библиографическая справка. К.Д. 457**

**Алфавитный указатель произведений,  
вошедших в Собрание сочинений 458**

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
Т. 12 (дополнительный)

Редактор *А.И. Мирер*  
Художественный редактор *В.С. Любаров*  
Технический редактор *А.Р. Кашафутдинова*  
Корректоры *Т.В. Калинина, Н.М. Пуцина*

Лем С.

Л44 Больница Преображения: Роман. Фиаско: Роман. Собр.  
соч. Т. 12 (дополнительный). — М.: Текст, 1995. — 462 с.  
ISBN 5-7516-0040-1

Л  $\frac{4703010100-161}{95}$  подп.

84.4П.

Лицензия № 063402 от 26.05.94  
Подписано в печать 20.12.95. Формат 84х108/32.  
Усл. печ.л. 24,36. Уч.-изд.л. 28,68.  
Тираж 20 000 экз. Изд. № 184.  
Заказ № 7034.

Издательство «Текст»  
125190 Москва, А-190, а/я 89

Книжная фабрика № 1 Комитета РФ по печати.  
144003, г. Электросталь Московской обл.,  
ул. Тевосяна, 25

S T A N I S L A W

L E M

